



*Журнал*

*Редактор Евгений Беркович*

**СЕМЬ  
ИСКУССТВ**

Наука

Культура

Словесность

*2-3/2014*

**Журнал**  
**«Семь искусств»**

**Февраль–март 2014**

Главный редактор  
Евгений Беркович

Редакционная коллегия:  
Лев Бердников, Борис Болотовский, Эдуард Бормашенко,  
Юлий Брук, Элла Грайфер, Лорина Дымова, Борис Дынин,  
Игорь Ефимов, Александр Журбин, Виктор Каган,  
Борис Кушнер, Александр Ласкин, Мина Полянская  
Борис Тененбаум, Артур Штильман

Ответственный секретарь Изабелла Победина

ISBN 978-1-291-78600-2

Семь искусств  
Ганновер 2014

**Журнал**

**«Семь искусств»**

**Февраль–март 2014**

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная вёрстка и техническое  
редактирование Изабеллы Побединой

Семь искусств  
Ганновер 2014

# Содержание

## Слово редактора

<b>Евгений Беркович</b> Юбилей-50 .....	6
--	---

## Мир науки

<b>Евгений Беркович</b> Физики и время .....	9
<b>Илья Гинзбург</b> Воспоминания .....	29

## Культура

<b>Ирина Чайковская</b> Новые мысли о старом .....	70
<b>Ян Пробштейн</b> Искушение этикой .....	84
<b>Николай Кононов</b> Учитель рисования в Русском музее .....	88
<b>Светлана Надлер</b> "Cantus supra librum" .....	92

## Философия

<b>Михаил Носоновский</b> Спор Ньютона с Лейбницем и оккультные корни науки ...	100
--	-----

## Психологические тетради

<b>Илья Липкович</b> Сны в творчестве Набокова .....	117
---	-----

## История и современность

<b>Игорь Юдович</b> Парижская мирная конференция 1919 года .....	155
<b>Борис Тененбаум</b> Муссолини .....	175

## Галерея

<b>Галина Подольская</b> «Я открыл для себя Иерусалим Шагала» .....	195
<b>Михаил Юдсон</b> Дорогами Иерусалима .....	216

## Музыка

<b>Александр Туманов</b> Шаги времени .....	219
--	-----

## Мемуары

<b>Павел Нерлер</b> CON AMORE.....	242
<b>Ася Лapidус</b> Вокруг да около.....	259
<b>Александр Половец</b> Булат.....	278
<b>Лев Харитон</b> Визит Королевы .....	302
<b>Дмитрий Бобышев</b> Я в нетях Человекотекст, книга 3 .....	320

## Поэзия

<b>Юлия Дрaбкина</b> Средилетье.....	337
<b>Мишель Деза</b> Путями времени .....	345
<b>Бахыт Кенжеев</b> Стихи последних лет .....	359

## Поэзия

<b>Моисей Борода</b> Стрела.....	365
<b>Александр Матлин</b> Прибытие делегации болгарских профсоюзов в город Х..	376

## Переводы

<b>Сильвия Плат</b> Из ранних стихов и стихи из книги «Ариэль» В переводах Яна Пробштейна .....	383
---	-----

## Театр и кино

<b>Александр Левинтов</b> Солон и Писистрат.....	407
---	-----

## Люди

<b>Мина Полянская</b> Мемуарно-топографические записки.....	415
<b>Яков Корман</b> «Меня к себе зовут большие люди...» .....	429
<b>Андрей Алексеев</b> А.А. Ухтомский, В.Н. Муравьев и другие.....	444
<b>Семен Резник</b> Против течения .....	466

## Читальный зал

**Илья Корман**

Звезда Юд .....488

**Борис Сикар**

Золотой чёрт .....507

**Об авторах** .....513

# Евгений Беркович

## Юбилей-50



орогие коллеги, высокие сетевые друзья!

Перед вами юбилейный, пятидесятый номер журнала «Семь искусств».

Надо сказать, что слово «юбилейный» сейчас изрядно девальвировано. Стало обычным делом считать юбилейными числа и пять, и десять, и двадцать, и многие похожие. Между тем, строго говоря, на звание «юбилейного» претендует, прежде всего, число пятьдесят.

Само понятие «юбилей» идет из Торы, из третьей книги Пятикнижия Моисея, где сказано: «...и освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям её: да будет это у вас юбилей» («Ваикра, 25:10). Здесь слово «юбилей» явно связано с числом «пятьдесят».

Словарь Даля тоже начинает юбилейный счет с пятидесяти: «юбилей – это торжество, празднество по поводу протёкшего пятидесятилетия, столетия, тысячелетия...».

Так что мы с полным правом можем этот номер назвать «юбилейным».

По традиции, от редактора ждут отчета о проделанной работе. Мне не хочется приводить обычные для таких отчетов цифры: сколько было опубликовано статей, сколько авторов предложили нам свои работы... В конце концов, для серьезного журнала количество – не главное. Хотя пятьдесят увесистых томиков по 400-500 и больше страниц, стоящих рядом на полке, производят впечатление.

Сейчас уместно вспомнить, какую основную задачу я ставил перед журналом в первом номере в далеком уже декабре 2009 года: «главное стратегическое направление журнала: мы публикуем все, что интересно интеллигентному читателю, что "достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно"». Последние слова, как помнит читатель, принадлежат Аристотелю и стали эпиграфом «Семи искусств».

Судя по многочисленным отзывам читателей и авторов, мы это стратегическое направление выдерживаем. Разнообразие рубрик за последние годы увеличилось, добавились, например, «Психологические тетради», «Драматическая социология», «Педагогика», «Мемуары»...

Постоянно растет круг авторов: в каждом номере журнала от четверти до трети всех статей принадлежат перу дебютантов, впервые публикующихся в «Семи искусствах». Их статьи мы теперь специально отмечаем в оглавлении каждого номера.

Редационный портфель заполнен на много месяцев вперед и постоянно пополняется новыми интересными работами. За высоким уровнем публикуемых статей внимательно следит авторитетная редакционная коллегия, куда входят ведущие специалисты из разных областей науки и культуры.

Журнал всячески поддерживает активное обсуждение публикаций, каждый читатель может без дополнительной регистрации оставить комментарий к любой статье, при этом комментариев тут же дублируется в общей для портала Гостевой. Своей активной жизнью живут блоги «Семи искусств», где наряду с дневниковыми записями время от времени появляются и серьезные статьи. Уже несколько лет не прекращается уникальный эксперимент Ларисы Миллер, ежедневно добавляющей в свой блог «Стихи гуськом». Большую помощь читателю оказывают авторский и тематический каталоги, удобный архив всех номеров и всех статей.

На юбилеи принято дарить подарки. Не дожидаясь подарков от читателей, мы решили сами сделать им подарок и подготовили специальный «дайджест-50» - дайджест пятидесяти работ, опубликованных в пятидесяти номерах «Семи искусств» – по одной статье из каждого номера. Задача оказалась непростой, ведь каждый номер содержит по три десятка отборных статей, среди которых несколько выдающихся. Как тут выбрать только одну? При этом с составителем дайджеста – выпускающим редактором «Мастерской» – мы договорились, что, как правило, каждый автор появляется в дайджесте не более одного раза. Эта нелегкая работа, тем не менее, она была выполнена, и дайджест-50 предлагается вашему вниманию: <http://club.berkovich-zametki.com/?p=9945>.

Я благодарю всех, кто занят подготовкой и выпуском сетевой и бумажной версий журнала: членов редколлегии, технических редакторов, выпускающих редакторов, программистов, дежурных по сайту. Без согласованной и самоотверженной работы всех участников этой немалой команды

невозможно было бы поддерживать тот высокий уровень журнала, который отличает все пятьдесят номеров «Семи искусств».

Надеюсь, что этот юбилей журнала не последний, и желаю всем друзьям нашего портала удовольствия от встреч с новыми публикациями.



**Евгений Беркович**

## **Физики и время**

### **Портреты ученых в контексте истории**

(продолжение. Начало в №11/2013 и сл.)

#### **Часть вторая. Физики на войне**

##### **Джеймс Франк: «Колонна, направо, пожалуйста!»**



ольшую войну в 1914 году никто не ждал, для нее не было никаких разумных оснований. Экономика в большинстве цивилизованных стран быстро развивалась, Европа цвела и богатела, успехи в науке и технике обещали, что скоро острые социальные проблемы будут решены. Ни фашистские, ни коммунистические идеи не угрожали стабильности общества, у них было ничтожно мало последователей.

Как писал Макс Борн в воспоминаниях много лет спустя: *«Я не знаю, понимает ли кто-нибудь сейчас, что тогда действительно произошло. Мне это представляется крайней глупостью, мгновенным помешательством. Конечно, это большое упрощение, но мне кажется, каждая цивилизация несет в себе зародыш саморазрушения, самоубийства»*<sup>1</sup>.

Начало войны вызвало в Германии, да и в других странах-участницах, безумный взрыв патриотизма и народного ликования. Повсюду шли митинги, собрания, на которых приветствовали объявление войны России, а потом Франции и Великобритании. Солдат, отправляемых на фронт, провожали с музыкой, цветами и флагами.

В числе восторженных сторонников войны оказался и Томас Манн. Уже в первые дни августа 1914 года в нем проснулся яркий националист, превыше всего ставивший победу культурной

---

<sup>1</sup> [Born, 1975 стр. 224].

Германии над цивилизованной Антантой. В письме Генриху от 7 августа из Бад-Тельца он признается:

«Я все еще как во сне — и все же, наверно, должен теперь стыдиться, что не считал этого возможным и не в виде неизбежности катастрофы. Какое испытание! Как будет выглядеть Европа, внутренне и внешне, когда все пройдет? Я лично должен приготовиться к полной перемене материальной основы своей жизни. Если война затянется, я буду почти наверняка, что называется, «разорен». Ради бога! Что это значит по сравнению с переворотами, особенно психологическими, которые последуют за подобными событиями по большому счету! Не впору ли быть благодарным за совершенно неожиданную возможность увидеть на своем веку такие великие дела? Главное мое чувство — невероятное любопытство и, признаюсь, глубочайшая симпатия к этой ненавистой, роковой и загадочной Германии, которая, хоть доселе она и не считала «цивилизацию» высшим благом, пытается, во всяком случае, разбить самое подлое в мире полицейское государство»<sup>2</sup>.

Именно в эти дни стала углубляться пропасть между братьями в оценке «германской войны». Если Томас разделял с большинством своих сограждан *«глубочайшую симпатию»* к своей воюющей родине, Генрих открыто призывал к поражению Германии и считал, что *«война ведется... одной лишь буржуазией в интересах ее кармана и ее идеологии, которая так великолепно способствует его пополнению»*. Даже мать братьев, Юлия Манн, увещевала своего старшего сына *«не говорить с чужими людьми дурно о Германии»*<sup>3</sup>.

Вернувшись в Мюнхен, Томас риторически спрашивает брата в письме от 18 сентября: «неужели ты действительно думаешь, что эта великая, глубоко порядочная, даже торжественная народная война отбросит Германию в ее культуре и цивилизованности так далеко назад...»<sup>4</sup>.

После этого переписка братьев прекратилась на долгие три года, а настоящее примирение состоялось только в 1922 году, уже в другом политическом ландшафте их родины.

Государственные чиновники обязаны были подавать пример патриотизма. Не остались в стороне и многие

---

<sup>2</sup> Цитируется по книге Г. Манн – Т. Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество. «Прогресс», М. 1988, стр. 156.

<sup>3</sup> Там же, стр. 431-432.

<sup>4</sup> *Mann Thomas. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Band 22. Briefe II. 1914-1923* (см. прим. 1), стр. 42. Русский перевод С. Апта из книги Г. Манн – Т. Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество (см. прим. 17), стр. 158.

университетские профессора. Начиная с августа 1914 года, они выступали с речами в поддержку немецкого оружия. В том же году сборник патриотических профессорских речей вышел в свет под общим названием *«Немецкие речи в трудное время, выступления профессоров Берлинского университета»*<sup>5</sup>.

Одним из выступавших был историк Ганс Дельбрюк<sup>6</sup>, с которым был знаком Макс Борн. В своей автобиографии Борн так описывает профессора, с которым встречался в университетской комнате, где отдыхали преподаватели:

*«Историк Дельбрюк совсем другого типа, маленький, приятный, с выразительным, добрым лицом. Я находил его очень симпатичным и радовался, когда он со мной заговаривал. Он был либеральным немецким ученым в лучшем смысле слова, и я наслаждался короткими разговорами, которые мы вели до или после лекций»*<sup>7</sup>.

Сын Ганса Дельбрюка станет учеником Макса Борна, о нем у нас речь впереди.

Историк Дельбрюк, этот *«либеральный немецкий ученый в лучшем смысле слова»*, в речи от 11 сентября 1914 года так прославлял соотечественников:

*«Немецкий народ ведет свое происхождение от древних германцев и уже этим имеет перед другими народами то преимущество, что свою историю может проследить от времен, когда еще никто не умел ни читать, ни писать, до вершин высочайшей культуры»*<sup>8</sup>.

И далее Дельбрюк сравнивает немцев с их противниками:

*«Этот народ непобедим, его не победит никакой враг с Востока, который по высшим критериям человечности не может быть признан равноценным немцам. Но этот народ непобедим и в сравнении с любым островным народом, который горд своим величием, но не берет в свои руки тяжкое бремя защиты отечества, а верит, что с помощью наемников сможет победить народ, который сражается сам»*<sup>9</sup>.

Что уж говорить о высказываниях других авторов упомянутого сборника, которые, как, например, германист Густав

---

<sup>5</sup> Deutsche Reden in schwerer Zeit, gehalten von den Professoren an der Universität Berlin. Carl Heymanns Verlag, Berlin 1914.

<sup>6</sup> Ганс Дельбрюк (Hans Delbrück, 1848-1929) – немецкий историк и политик, профессор Берлинского университета.

<sup>7</sup> [Born, 1975 S. 233].

<sup>8</sup> Цитируется по книге [Lemmerich, 1982 S. 38].

<sup>9</sup> Там же.

Рёте (Gustav Roethe, 1859-1926), и в мирное время не скрывали своих националистических взглядов!

Макс Планк, который с 1913 года исполнял обязанности ректора Берлинского университета, более осторожно выбирал выражения. Он выступал третьего августа 1914 года на ежегодной научной конференции, проводимой по случаю дня рождения прусского короля Фридриха Вильгельма III (1770-1840), основателя университета. Сделав доклад на тему «Динамические и статические законы», Планк обратился к событиям дня текущего:

*«Сегодня мы не знаем, что принесет нам следующее утро; мы только чувствуем, что в недалеком будущем нашему народу предстоит нечто великое, нечто ужасное, что речь идет о Добре и Крови, о Чести и, возможно, о самом существовании нашего отечества. <...> Только если каждый, стар или млад, богатый или бедный, будет добросовестно и верно исполнять свой долг на назначенных им судьбой постах, тогда можем мы надеяться, что переворачиваемый сейчас лист всемирной истории окажется доброй вестью от нас грядущим поколениям»<sup>10</sup>.*



Джеймс Франк на фронте

Вполне вероятно, что Джеймс Франк успел еще услышать речь Планка перед своим отъездом: в первые же дни войны он добровольцем записался на военную службу. Пятого августа его направили на трехмесячные курсы саперов в Кёнигсберг, а в декабре Франк уже воевал на севере Франции, в Пикардии. В Берлине осталась жена с двумя маленькими дочерьми, вести из дома приходили только с полевой почтой.

---

<sup>10</sup> [Planck, 1922 S. 82].

Джеймс мог бы остаться в немецкой столице и продолжать успешные занятия наукой, но чувство долга для него было превыше всего. Не последней причиной было и желание доказать, что немецкие евреи – не меньшие патриоты, чем немцы. Точно так же ушел добровольцем на войну Карл Шварцшильд, принимавший экзамен у студента Борна. Несмотря на возраст – Карлу было уже за сорок – и положение профессора и директора национальной Астрофизической обсерватории, Шварцшильд тоже посчитал для себя обязательным доказать делом свой патриотизм. Заболев на фронте неизлечимой тогда болезнью кожи, он скончался, не дожив двух лет до окончания войны.

Джеймсу Франку повезло: он остался жив. К уставным взаимоотношениям в армии он никак не мог привыкнуть, и когда ему довелось командовать колонной, то к команде «Колонна, напра-во!» он добавлял, по своей интеллигентской привычке, слово «пожалуйста»<sup>11</sup>.

Но при всей кажущейся неприспособленности к военной службе, Франк проявил на фронте и храбрость, и находчивость. В апреле 1915 года его собрались произвести в офицеры, и командир Джеймса спросил, почему тот до сих пор не крестился. Франк вспоминал впоследствии, что он ответил вопросом на вопрос: «А что, крещение, принятое не по убеждению, поможет мне стать лучшим офицером?». Командир попытался найти еще один аргумент, сказав, что после крещения Франк стал бы «как все», на что тот ответил, что он и так себя ощущает, «как все». Других доводов для крещения у командира не было, он предложил Джеймсу окончить школу офицеров, как было принято перед присвоением офицерского звания. Франк отверг и это предложение, объяснив, что для войны у него достаточно знаний, а в мирное время его военная профессия не интересует.

Командир понял своего упрямого подчиненного, и в апреле 1915 года Франк стал лейтенантом без всякой офицерской школы – до войны такое продвижение еврея в армейской иерархии было бы невозможно. В том же году Джеймс был награжден Железным крестом второго класса, а через два года – Железным крестом первого класса<sup>12</sup>.

После битвы на реке Марна во Франции в сентябре 1914 года немецкое наступление захлебнулось, стратегический расчет германских генералов на быструю победу на Западе провалился,

---

<sup>11</sup> [Beyerchen, 1982 S. 37]. См. также автобиографию Макса Борна [Born, 1975 S. 235].

<sup>12</sup> [Lemmerich, 1982 S. 62].

войска перешли к затяжной позиционной войне, выматывающей силы воюющих сторон.

Для немецкой экономики, не подготовленной к длительной войне, продолжение такого противостояния было смерти подобно: ресурсов не хватало, запасы заканчивались. Нужно было найти средство снова начать активное наступление.

Неизвестно, кто первым предложил использовать ядовитый газ, чтобы «выкурить» противника из окопов. Применение отравляющих веществ в военных действиях было запрещено Гаагской декларацией 1899 года, но на войне, как многие считали, цель оправдывает средства. Известно зато, кто возглавил всю эту операцию – директор института Физической химии и электрохимии общества кайзера Вильгельма Фриц Габер. Он со всей энергией взялся за производство ядовитого газа и направил все силы своего института на совершенствование технологии газовой войны. Имевшихся в наличии сотрудников катастрофически не хватало. По распоряжению Габера, которому император присвоил чин майора и назначил начальником Центра газовой войны и газовой защиты при военном министерстве, с фронта в его распоряжение были отозваны солдаты и офицеры, имевшее физическое или химическое образование. Прикомандированной к команде Габера оказалась группа блестящих физиков, среди которых немало будущих лауреатов нобелевской премии: Джеймс Франк, Отто Ган<sup>13</sup>, Густав Герц, Ганс Гейгер и др.

Франк не любил вспоминать то время, но в одном из интервью, данном уже в конце жизни, он сказал: «Я никогда не считал газ каким-то особенным злом. Это такое же зло, как и другие. Война сама по себе есть преступление»<sup>14</sup>.

И все же применение отравляющего газа весной 1915 года вызвало шок у многих причастных к той операции людей. Жена Габера Клара, урожденная Иммервар (Immerwahr) от ужаса перед совершенным ее мужем покончила собой, застрелившись из служебного пистолета Фрица. Но и это не остановила великого химика, готового пожертвовать для родины всем самым дорогим, что у него было. Он и представить себе тогда не мог, что когда к власти придут нацисты, его безграничный патриотизм не будет иметь для них никакого значения, все достоинства перевесит один факт – Габер родился евреем.

---

<sup>13</sup> Отто Ган (Otto Hahn; 1879-1968) — немецкий физик и химик, открывший расщепление урана, лауреат Нобелевской премии по химии за 1944 год.

<sup>14</sup> [Lemmerich, 1982 S. 327].

По свидетельству родных Джеймса Франка, он глубоко переживал свое участие в газовой войне. Отвращение к массовым убийствам людей Франк сохранил на всю жизнь. Во время Второй мировой войны он был участником Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы. Когда бомба уже была готова, Франк и группа его единомышленников подготовила в июне 1945 года обращение к правительству США, вошедшее в историю под названием «доклад Франка». В нем призывалось не применять атомную бомбу против Японии, а провести показательный взрыв в необитаемом месте перед представителями Объединенных Наций. В «докладе Франка» прозорливо указывалось, что монополию на атомное оружие удержать не удастся никому. Но обращение не достигло цели: как это обычно бывает, правительство США не прислушалось к голосу ученых, и атомные бомбы в августе были взорваны в Хиросиме и Нагасаки.



Фриц Габер на фронте

Применение отравляющих газов в Первой мировой войне не принесло ожидаемого перелома – наступление немецких войск, едва начавшись, быстро остановилось. Однажды после очередной перестрелки товарищи потеряли Джеймса Франка из вида. В конце концов, его нашли в одной из воронок на поле боя, где он сосредоточенно выполнял порученное задание: невозмутимо брал пробы воздуха для последующего анализа.

Но и вдали от фронта, в исследовательских лабораториях габеровского института приходилось выполнять не менее опасные задания. Физики, конструировавшие газозащитные маски, проверяли их эффективность на себе: сидели в них в комнате, наполненной отравляющим газом, пока не замечали, что фильтр маски перестает действовать. Никто не знал точно, какая доза газа может стать смертельной, поэтому ученые рисковали жизнью.

Осенью 1915 года Франк заболел тяжелым плевритом, на несколько месяцев попал в лазарет. Не было бы счастья, да несчастье помогло – Джеймс снова смог заняться любимой научной работой, опубликовал вместе с Густавом Герцем статью. Конечно, новых экспериментов они ставить не могли, но для осмысления и обобщения их предыдущих результатов время было подходящим. Герц участвовал в военных действиях на восточном фронте, был ранен и тоже пребывал в госпитале.

После выздоровления в апреле 1916 года Франк снова вернулся в действующую армию. Родной Гамбург наградил его своим орденом – ганзейским крестом. В том же году увидела свет еще одна крупная работа Франка и Герца, в которой они впервые упомянули боровскую модель атома. Эта модель, поначалу встреченная физиками в штыки, постепенно становилась общепринятой. Перефразируя слова самого Нильса Бора можно сказать, что его идея оказалась достаточно безумной, чтобы стать верной.

Осенью 1916 года Франка послали на русский фронт, где он снова заболел и был окончательно отправлен домой в Берлин. Он прибыл таким слабым, что едва смог подняться по лестнице, и силы вконец оставили его. Выздоровление шло медленно, условия жизни в столице были нелегкие, в семье, где росли две дочки – семи и пяти лет – хронически не хватало еды, ведь у Франков не было родственников в деревне, никто им не помогал.

Единственная радостная весть пришла в то время из Берлинского университета: учитывая научные заслуги Джеймса, его назначили на должность экстраординарного профессора. Правда, ни о какой педагогической деятельности до конца войны говорить не приходилось – в университете катастрофически не хватало студентов, большинство молодых людей воевало на фронтах мировой войны.

Военное положение Германии становилось все хуже и хуже, а с вступлением в войну США на стороне Антанты в феврале 1917 года сделало его безнадежным. Не спас немцев и выход России из войны и Брест-Литовский мирный договор в марте 1918 года. Резервы были исчерпаны, терпение народа

подошло к концу, в Киле, Любеке, Бремене и Гамбурге начались матросские мятежи.

В ноябре 1918 года немецкий император отрекся от престола, Германия заключила перемирие с Антантой, через полгода последовал унижительный для немцев Версальский договор (28 июня 1919 года), завершивший Первую мировую войну. Союзники, чьи войска за все время войны ни разу не перешли границы Германии, оказались безоговорочными победителями и диктовали побежденным свои условия.

После войны научная жизнь стала постепенно налаживаться, вновь возросло число студентов в университетах и вузах. Место экстраординарного профессора не гарантировало стабильного оклада, который зависел от количества и посещаемости лекций. А должность ординарного профессора Берлинского университета для отказывающегося от крещения еврея была нереальной. Поэтому Франк с радостью принял предложение Фрица Габера стать руководителем отдела в его институте, оснащеном самой современной аппаратурой для физических экспериментов.

Согласно Версальскому договору Германии запрещалось проводить военные исследования и разработки, и Габер полностью изменил структуру института и его задачи, сделав упор на фундаментальные исследования. Договор с Франком от 10 января 1919 года был заключен на пять лет и предполагал годовой оклад семь тысяч рейхсмарок с доплатой 40% в счет инфляции, которая становилась все заметнее<sup>15</sup>. При этом Франк не оставлял и преподавательскую работу, читая раз в неделю лекции в университете по выбранным им самим темам. Кроме того, он руководил аспирантами, претендующими на докторские степени.

С Габером, который был на четырнадцать лет старше, у Франка были прекрасные дружеские отношения. Джеймс покорял всех, с кем общался, не только гениальной физической интуицией и профессионализмом. Он обладал прекрасными человеческими качествами: личной смелостью, бескомпромиссной честностью, высокой требовательностью к себе и мягкой доброжелательностью к людям.

В столице Германии вновь складывалась сильная школа физиков. К радости Франка среди берлинских коллег оказался и старый друг - Макс Борн.

---

<sup>15</sup> Там же, стр. 70.

## Макс Борн: из Гёттингена в Берлин и далее на фронт

В мае 1914 года у Хедвиг и Макса родилась первая дочка, названная в честь греческой богини мира Иреной. К этому времени Борн уже почти пять лет был приват-доцентом, а предложения занять где-нибудь должность профессора, пусть даже экстраординарного, все еще не было. Его друзья один за другим получали подобные назначения и разъехались: фон Карман работал в Ахене, Тёплиц - в Киле, Пауль Эренфест<sup>16</sup> – в голландском Лейдене, Хеллингер - в новом университете Франкфурта на Майне.



Макс Борн с женой Хедвиг

Не антисемитизм был причиной того, что Борна не приглашали на профессорскую должность – ведь все его друзья, получившие профессорские должности, были евреями, а Борн к тому времени уже превратился в лютеранина. Просто теоретическая физика не стала еще той профессией, важность которой признавали все университеты. Показательно, что из всех перечисленных друзей Макса физиком-теоретиком оказался один Эренфест.

Мирная жизнь в Гёттингене закончилась второго августа, в первую годовщину свадьбы Хедвиг и Макса. Как и по всей Германии, в Гёттингене царил безумное воодушевление, настоящий восторг перед разворачивающейся мировой бойней, повсюду реяли флаги, играли духовые оркестры...

---

<sup>16</sup> Пауль Эренфест (Paul Ehrenfest, 1880-1933) – австрийский и голландский физик-теоретик, профессор Лейденского университета.

В угаре военного патриотизма с чудовищною быстротой распространялись слухи о действиях иностранных шпионов и диверсантов, якобы отравлявших колодцы с водой и портящих лошадей, предназначенных для фронта. Граждане воюющих с Германией стран арестовывались и отправлялись в специальные лагеря для «враждебных иностранцев». Так попали в такой концлагерь ученые из России, оказавшиеся в Германии летом 1914 года. Макс Борну и его коллегам с большим трудом удалось добиться освобождения Сергея Богуславского<sup>17</sup> и его соотечественников, проходивших стажировку в Гёттингенском университете.

Макса Борна не призывали в армию по состоянию здоровья, морально он чувствовал себя скверно: многие его друзья и знакомые были на фронте, некоторые были ранены и убиты.

Среди призванных в армию был земляк Макса, выходец из Бреслау Рихард Курант ученик Гильберта и будущий преемник Феликса Клейна. После обязательной военной службы Рихард остался вицефельдфебелем запаса, а тут сразу был произведен в офицеры – в мирное время такое еврейю и не снилось. При прощании Борн подарил Куранту уникальный полевой бинокль необычной конструкции, доставшийся ему от дедушки Кауфмана. Бинокль создавал увеличенное стереоскопическое изображение.

Через пару месяцев этот оптический прибор, висевший на спине у Рихарда, спас ему жизнь: осколком снаряда бинокль разбило вдребезги, но его самого, к счастью, не задело.

Чтобы хоть чем-то помочь стране в трудное время, Борн со своим бывшим студентом Альфредом Ланде взялись помогать в сборе урожая. Каждое утро они на велосипедах добирались до поля вблизи городка Нордхайм, расположенного в тридцати километрах от Гёттингена, и до вечера, не разгибая спины, занимались традиционным крестьянским делом. Через неделю у Макса начался приступ астмы, и Ланде должен был один продолжать работу в поле.

\*\*\*

В суматохе первых дней войны неожиданно пришло долгожданное предложение из самого Берлина! Борн получил письмо от патриарха немецкой физики Макса Планка, в котором создатель квантовой физики сообщал, что прусское министерство науки и образования, которое курировало Берлинский университет, утвердило новую должность экстраординарного профессора

---

<sup>17</sup> Сергей Анатольевич Богуславский (1883-1923) — российский физик, профессор Московского университета в 1918-1923 годах.

теоретической физики, чтобы снизить его педагогическую нагрузку. На новую должность первоначально планировалось назначить Макса фон Лауэ, профессора Вюрцбургского университета, ученика и друга Планка.

Поразмыслив над предложением Планка, фон Лауэ отказался сменить высокое положение ординарного профессора на куда менее почетную должность экстраординарного. К тому же у него уже было предложение занять еще более престижную кафедру физики открывающегося в 1914 году университета богатого Франкфурта на Майне. Тогда Планк предложил пригласить в Берлин Макса Борна, которого знал только по его публикациям, но был уверен, что никто лучше него не справится с обязанностями нового лектора. У Борна и Планка были сходные взгляды на современную физику, оба высоко ценили гений Эйнштейна, видели в квантовой физике и теории относительности будущее их науки.

Борн тут же ответил, что для него предложение факультета – радостное потрясение, а возможность работать вместе с Планком – огромная честь. Планк обещал держать Борна в курсе дела, окончательное решение должно быть принято в ноябре на общем собрании факультета.

Большинство немцев верили в скорую победу, помня, очевидно, как быстро Пруссия в 1871 году победила Францию. Не были исключением и оба Макса – Планк и Борн. И хотя они в письмах не обошли начавшуюся войну стороной, настроение у обоих явно оптимистическое. Война, писал Планк, не освобождает его от обязанности думать о будущем. А Борн, со своей стороны, отвечал: *«Я надеюсь, что немецкие победы, в которые здесь каждый твердо верит, придут так быстро, чтобы мы могли зиму посвятить обычным мирным занятиям»*<sup>18</sup>.

Подобный оптимизм первых дней войны понятен: все в стране еще работало, как в мирное время, хотя эшелоны с новобранцами шли и шли на фронт. Почта, например, действовала так же быстро, как раньше: три письма из Берлина в Гёттинген и обратно были доставлены в течение шести суток.

Дни шли за днями, война набирала обороты, с фронтов шли сообщения о тысячах павших, а окончательного решения из Берлина все не было. Постепенно мысли о назначении на профессорскую должность отошли на второй план, оттесненные ежедневными военными сводками. Макс Борн вспоминал много лет спустя, что настойчивая пропаганда повлияла и на него,

---

<sup>18</sup> [Greenspan, 2006 S. 68].

старавшегося оставаться объективным и беспристрастным. Ненависть к англичанам, французам и, более всего, к русским переполняла его. В таком состоянии Борн написал однажды другу Эренфесту в голландский Лейден о своем возмущении русскими казаками, этими дикими «азиатскими ордами», которые разрушают ухоженные, симпатичные немецкие деревни и мучают немецких женщин и детей.

Ответ из Голландии немного остудил молодого приват-доцента. Эренфест, чья жена Татьяна была русской, не разделял возмущения своего друга. Напротив, он так же, как и миллионы голландцев, был возмущен тем, что «немецкие орды» разрушают ухоженные, симпатичные бельгийские деревни и мучают бельгийских женщин и детей. Борн пишет, что ответ из Лейдена помог ему восстановить душевное равновесие<sup>19</sup>.

Наряду со сражениями на фронтах шли жестокие схватки между учеными разных стран. Четвертого октября 1914 года был опубликован манифест девяноста трех выдающихся немецких интеллектуалов, озаглавленный «*Kulturwelt*» («An die Kulturwelt»). Под обращением среди других поставили свои подписи Макс Планк, Пауль Эрлих, Альберт Найссер, Фриц Габер, Вальтер Нернст... Гильберт и Эйнштейн отказались подписать манифест, а Борну, еще не ставшему профессором, никто и не предложил в нем участвовать. Каждый абзац в манифесте начинался со слова «Неправда»: «*Неправда, что Германия повинна в этой войне*» и т.д. Патриотический угар был так силен, что некоторые подписывали текст, не читая. Через несколько лет многие выражали сожаление, что участвовали в этом протесте. Планк уже в 1916 году написал открытое письмо, в котором отказывался безоговорочно поддерживать действия немецких военных.

Вместо понимания манифест вызвал бурю протестов в странах, воюющих на стороне Антанты. Многие английские и американские ученые выступили с резкой критикой Германии, поток писем с взаимными упреками и обвинениями долго не утихал с обеих сторон. И после войны манифест не забыли: немецким ученым объявили международный бойкот, им не разрешали участвовать в симпозиумах и конференциях. Например, организаторы международных математических конгрессов в Страсбурге (1920 год) и в Торонто (1924) не пригласили ни одного математика из Германии. Потребовалась настойчивая и терпеливая разъяснительная работа Эйнштейна, Гильберта,

---

<sup>19</sup> [Born, 1975 S. 227].

Планка и других немецких корифеев, чтобы бойкот был, в конце концов, отменен.

В конце ноября 1914 года Борну пришла радостная весть от Планка: на своем общем собрании факультет согласился с его предложением, фамилия Борна внесена первой в список кандидатов на должность экстраординарного профессора, теперь нужно только ждать решения министерства, в положительном исходе дела сомнений не было. В семье Борна царил ликование, в мыслях о переезде в столицу прошли праздничные рождественские и новогодние дни. Новый 1915 год начинался многообещающе.

Новое письмо от Планка, пришедшее 6 января<sup>20</sup>, подействовало на Макса и Хедвиг, словно ушат холодной воды. Профессор с глубоким прискорбием извещал «почтеннейшего коллегу», что положение в корне изменилось: назначение Борна профессором в Берлин отменяется, так как фон Лауэ передумал и согласен сам занять это место. Планк честно рассказал фон Лауэ, что уже сделал предложение Борну и не может от него отказаться, но посоветовал своему бывшему ученику лично обратиться в министерство с просьбой отдать это место ему. При этом, добавлял Планк для Борна, министерство практически наверняка примет предложение фон Лауэ, успевшего к тому времени прославиться своими работами по дифракции рентгеновских лучей в кристаллах<sup>21</sup>.

Разочарование Борнов было можно понять. Макс несколько раз принимался писать ответ Планку, но каждый раз рвал написанное и откладывал отправку письма на следующий день: не мог найти слова, чтобы скрыть обиду и раздражение. В конце концов, подходящий ответ был составлен. Борн признавал, что успехи в науке Макса фон Лауэ неоспоримы, и он имеет все основания стать профессором в Берлине. Кроме того, в военные дни личные интересы должны отойти на второй план.

---

<sup>20</sup> [Greenspan, 2006 S. 71]. Сам Макс Борн пишет в автобиографии [Born, 1975 S. 227], что письмо пришло перед Рождеством, т.е. в декабре. Скорее всего, автору изменила память, а его биограф права, так как ссылается на архив семьи Борн.

<sup>21</sup> Биограф Макса Борна Ненси Гринспен ([Greenspan, 2006 S. 71]), неверно пишет, что Макс фон Лауэ в 1912 году, т.е. за два года до описываемых событий, получил Нобелевскую премию. На самом деле, ему в 1915 году присудили премию за 1914 год. Так что вопрос о его назначении в Берлинский университет рассматривался до того, как он стал лауреатом.

Забегая вперед, можно сказать, что тон письма был найден правильно, и Планк потом говорил Борну, что ожидал ответ со страхом, но прочитал его с огромным облегчением и оценил терпение и благородство автора.

В день, когда ответ Планку был уже готов, случилась новая неожиданность: из министерства науки и образования Максу пришло письмо, датированное восьмым января 1915 года, в котором подтверждалось, что профессором в Берлинский университет назначен именно он, а не фон Лауэ, и предлагалось подписать приложенный договор. Не очень понимая, что происходит, Борн, во-первых, отправил Планку свой вежливый ответ на отказ от профессорской должности, и, во-вторых, не мешкая подписал договор и отправил его в тот же день министерство.

Позднее стало известно, что произошло в кабинетах власти. Начальник отдела, в котором рассматривались дела университета, воспринял визит фон Лауэ как вмешательство в его дела, и из принципа отправил Борну договор. Фон Лауэ остался в Вюрцбурге, правда, ненадолго. Вскоре он принял предложение недавно открытого университета во Франкфурте на Майне и возглавил там кафедру теоретической физики. А Макс Борн с женой Хедвиг и маленькой дочкой Иреной, которой не исполнилось еще и года, стали собирать вещи для переезда в Берлин. Эта новость не осталась незамеченной в университете, где преподавал Макс. В архиве семьи Борн хранится старая гёттингенская газета, где в разделе «Местные новости» сообщалось: *«Как мы слышали, приват-доцент доктор Борн получил назначение на должность экстраординарного профессора теоретической физики в Берлинском университете»*<sup>22</sup>.

В эти дни один из знакомых Макса по Бреслау, кузен Альберта Найссера физик Арнольд Берлинер<sup>23</sup>, получил, наконец, выигранный им приз в споре десятилетней давности. В начале двадцатого века в доме Найссера в Бреслау часто собирались гости. Среди них был и молодой Макс Борн, в 1904 году ставший студентом Гёттингенского университета. Берлинер поддерживал неуверенного в себе юношу, рассказывал ему о естествознании и о методах научных исследований, а однажды в присутствии множества гостей публично заключил с ним пари, предсказав, что

---

<sup>22</sup> [Greenspan, 2006 S. 71].

<sup>23</sup> Арнольд Берлинер (Arnold Berliner, 1862-1942) – немецкий физик, основатель и в течение долгого времени редактор журнала «Науки» («Naturwissenschaften»). В 1942 году из-за нацистских преследований покончил жизнь самоубийством.

Макс не позднее, чем через десять лет, станет профессором физики. Почти на грани оговоренного срока предсказание Берлинера сбылось. Свежеиспеченный профессор Борн с огромным удовольствием преподнес старшему товарищу бутылку отборного вина.

Одиннадцатого марта Борны тронулись в путь, чтобы Макс успел подготовиться к началу весеннего семестра 1915 года в Берлинском университете.

\*\*\*

В Берлине поначалу Макс чувствовал себя немного одиноко. С университетскими коллегами-преподавателями он еще не познакомился, в силу своей скромности с людьми он сходилась нелегко. Огромным утешением и радостью для него стало близкое знакомство с Альбертом Эйнштейном, переросшее в многолетнюю дружбу. До Берлина они встречались бегло на научных конференциях. Борн давно следил за работами автора теории относительности, две его последние публикации о новой теории гравитации Макс, к неудовольствию Хедвиг, брал с собой в свадебное путешествие и тщательно изучал.

Поэтому когда Эйнштейн пришел в гости в берлинскую квартиру Борнов, обоим ученым было о чем поговорить. Макса восхищала научная интуиция великого физика. Эйнштейн свято верил в простоту фундаментальных физических законов и обладал даром из известных фактов сделать абсолютно новые выводы, которые не увидели все его предшественники. Самый яркий пример – со времен Ньютона физики знали об эквивалентности инерционной массы тела и массы гравитационной. Но только Эйнштейн вывел из этого факта свои революционные представления о строении Вселенной, обобщающие классическую ньютоновскую динамику.

Сблизила обоих ученых не только физика, но и музыка. В гости к Борнам Эйнштейн пришел со своей скрипкой. Едва войдя в дом, он, к удивлению Хедвиг, снял пиджак, засучил рукава у рубашки и сыграл вместе с Борном несколько сонат. По словам Борна, Эйнштейн *«играл хорошо, с тонким пониманием музыки»*<sup>24</sup>.

Хеди быстро стала другом Эйнштейна, заботилась о нем, когда обострилась его язва желудка и врачи находили состояние ученого критическим. Хотя и Хедвиг, и кузина Альберта Луиза, ставшая второй женой Эйнштейна, изо всех сил старались обеспечить ему удобные условия быта и работы, сам физик продолжал вести весьма аскетический образ жизни: *«В его*

---

<sup>24</sup> [Born, 1975 S. 233].

комнате не было ничего, кроме кровати, стола, шезлонга и примитивной книжной полки, державшейся на стопке отписков статей. Как-то он сказал Хеди, что нет абсолютно ничего и никого, ни людей, ни вещей, без которых он не мог бы обойтись»<sup>25</sup>.

В июне 1915 года Борн случайно встретился в Берлине со своим давним знакомым Фрицем Габером, с которым не раз виделся в доме Найссера в Бреслау. Габер, сам родом из Бреслау, предложил земляку работу в своем институте над совершенствованием орудий газовой войны, в частности, разработку более надежных газовых масок. Макс взял пару дней для размышлений, а потом в письме категорически отказался, назвав отравляющие газы «трусливым орудием убийства», а не военным оружием. С этим мнением были согласны и многие прусские офицеры, воспитанные на классических образцах военных действий. В письме Габеру Борн подчеркнул: *«Если допустимому не поставить никаких границ, то скоро все будет разрешено»*<sup>26</sup>.

Ответ Борна возмутил Габера, который считал, что на войне все позволено, и нет разницы, умрет ли вражеский солдат от пули, гранаты или задохнется от смертоносного газа. Личные отношения Борна и Габера были прерваны на долгие годы.

Отвращение к войне, к оружию массового поражения Макс сохранил на всю жизнь. Здесь он был полным единомышленником Альберта Эйнштейна. Сын Макса профессор Густав Борн, выступая в институте, носящем имя его отца, по случаю пятидесятой годовщины со дня присуждения Максу Нобелевской премии по физике, с гордостью вспоминал, что в книге Роберта Юнга *«Ярче тысячи солнц»*<sup>27</sup>, рассказывающей об истории создания атомной бомбы, говорится: *«Из всех блестящих ученых, появившихся на этих страницах, только один, Макс Борн, отказался с самого начала иметь что-либо общее с этим дьявольским изобретением»*<sup>28</sup>.

Вернемся, однако, в Берлин, где весной и летом 1915 года экстраординарный профессор физики Макс Борн вел занятия со студентами. Правда, продолжалась эта педагогическая деятельность недолго. По мере того, как все больше студентов призывали на фронт, число слушателей в аудиториях университета катастрофически уменьшалось. К середине лета стало ясно, что продолжать занятия не имеет смысла, да и отсрочка от призыва,

---

<sup>25</sup> Там же, стр. 235.

<sup>26</sup> Цитируется по книге [Greenspan, 2006 S. 74].

<sup>27</sup> [Юнг, 1961].

<sup>28</sup> *Born Gustav. Max Born – A memoir.* In: [Forum-2005, 2005 S. 60].

связанные с астмой Борна, заканчивалась: мясорубка войны требовала все новых порций пушечного мяса, на здоровье призывников уже не обращали внимания.

Посоветовавшись с Планком, Борн решил добровольно записаться в специальную воинскую часть, состоявшую, главным образом, из бывших научных работников, которые занимались усовершенствованием радиосвязи для военной авиации.

Так третий раз в своей жизни Макс надел военную форму: он уже носил мундир драгуна и кирасира, а теперь оказался приписанным к авиации. По сравнению с представителями других родов войск, летчики, прежде всего истребители, сохранили в глазах Макса ореол романтики прежних войн, когда победа была результатом личного мужества и героизма, а не добивалась оружием массового поражения типа отравляющих газов. Поэтому Борна не мучила совесть, когда он работал над усовершенствованием связи пилотов с землей и между собой.

Военный лагерь Дёбериц (Döberitz), в котором разместили ученых, располагался недалеко от Берлина. Помимо собственно научно-технических разработок, они занимались и маршировкой, и изучали основы телеграфии. Занятия перед цветом немецкой физики, докторами и профессорами лучших университетов, вел простой фельдфебель, который сам недавно обучался незнакомой ему науке и мало понимал, как это все на самом деле происходит. Физики, в том числе, и специалисты по радиосвязи, с серьезным видом слушали его объяснения, стараясь не обращать внимания на явные ошибки.

Зато когда дело перешло к практическим занятиям по азбуке Морзе, авторитет фельдфебеля вырос необычайно. Никто из высокообразованных его слушателей и близко не мог подойти к той скорости, с которой он передавал телеграфные сообщения.

Борн в свободное от службы время читал верстку своей новой книги «Динамика кристаллической решетки» и беседовал с коллегами о новостях физики. На выходные он мог уезжать домой, благо от Дёберица до Берлина всего около двадцати километров.

Пока было тепло, Макса все устраивало в его новой службе. Но осенью пошли дожди, и после очередного марша он простудился, а простуда вызвала сильнейший приступ астмы. Рекомендованный старым другом семьи Арнольдом Берлинером врач установил непригодность к строевой службе, и с авиацией Борну пришлось расстаться.

Казалось, что можно было бы спокойно оставаться дома и продолжать свою научную работу. Но на сердце было беспокойно – страна воюет, а он в стороне. Он этих терзаний Макса избавил

его старый друг по Бреслау Рудольф Ладенбург. С начала войны Рудольф был на фронте, командовал кавалерийским эскадроном, совершавшем лихие рейды в тыл врага. Но вскоре война перешла в тягучую позиционную фазу, и с лошадьми пришлось проститься. Окопные будни показались Ладенбургу слишком скучными, и он решил заняться военно-техническими проблемами.

*(продолжение следует)*

## Литература

**2005, Festschrift zum Forum. 2005.** *Max Born und Albert Einstein im Dialog.* Recklinghausen : Förderverein des Max-Born-Berufskollegs Kemnastraße, 2005.

**Barbeck, Hugo. 1878.** *Geschichte der Juden in Nürnberg und Fürth.* Nürnberg : б.н., 1878.

**Beyerchen, Alan. 1982.** *Wissenschaftler unter Hitler: Physiker im Dritten Reich.* Frankfurt a.M., Berlin, Wien : Ullstein Sachbuch, 1982.

**Born, Max. 1975.** *Mein Leben. Die Erinnerungen des Nobelpreisträgers.* München : Nymphenburger Verlagshandlung, 1975.

**Born, Stephan. 1978.** *Erinnerungen eines Achtundvierziger.* Bonn : Dietz Verlag, 1978.

**Dohm, Christian. 1781.** *Über die bürgerliche Verbesserung der Juden.* Berlin, Stettin : б.н., 1781.

**Einstein-Born. 1969.** *Albert Einstein – Hedwig und Max Born. Briefwechsel 1916-1955.* München : Nymphenburger Verlagshandlung, 1969.

**Feuer, Lewis. 1963.** *The scientific intellectual. The Psychological & Sociological Origins of Modern Science.* New York, London : Basic Books, Inc., Publishers , 1963.

**Freud, Ernst L. (Hrsg.). 1970.** *The Letters of Sigmund Freud and Arnold Zweig.* London : Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, 1970.

**Goenner, Hubert. 2005.** *Einstein in Berlin.* München : Verlag C. H. Beck, 2005.

**Greenspan, Nancy Thorndike. 2006.** *Max Born – Baumeister der Quantenwelt. Eine Biographie.* München : Spektrum akademischer Verlag, 2006.

**Hamburger, Ernest. 1968.** *Juden im öffentlichen Leben Deutschlands.* Tübingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1968.

**Katz, Jacob. 1987.** *Aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschaft. Jüdische Emanzipation 1770-1870.* Frankfurt am Main : Jüdischer Verlag bei Athenäum, 1987.

**Kaznelson, Siegmund (Hrsg.). 1959.** *Juden im Deutschen Kulturbereich.* Berlin : Jüdischer Verlag, 1959.

**Lemmerich, Jost. 2007.** *Aufrecht im Sturm der Zeit. Der Physiker James Frank (1882-1964).* Diepholz, Stuttgart, Berlin : Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, 2007.

—, **1982.** *Max Born, James Frank, der Luxus des Gewissens: Physiker in ihrer Zeit.* Wiesbaden : Reichert, 1982.

- Mann, Katia. 2000.** *Meine ungeschriebenen Memoiren*. Frankfurt a.M. : Fischer Taschenbuch Verlag, 2000.
- Mendelssohn, Moses. 2005.** *Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum*. Hamburg : Felix Meiner Verlag, 2005.
- Planck, Max. 1922.** *Physikalische Rundblicke gesammelte Reden und Aufsätze*. Leipzig : S. Hirzel Verlag, 1922.
- Rathenau, Gerhart. 1983.** *James Franck. In: James Franck und Max Born in Göttingen. Reden zur akademischen Gedenkfeier am 10.11.1982*. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1983.
- Rechenberg, Helmut. 2010.** *Werner Heisenberg – die Sprache der Atome*. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2010.
- Roggenkamp, Viola. 2005.** *Erika Mann. Eine jüdische Tochter*. Zürich, Hamburg : Arche Literatur Verlag AG, 2005.
- Thomson, Joseph John. 1903.** *Conductions of electricity through gases*. Cambridge : б.н., 1903.
- Volkov, Shulamit. 2000.** *Antisemitismus als kultureller Code*. München : Verlag C.H. Beck, 2000.
- , **2001.** *Das jüdische Projekt der Moderne*. München : Verlag C.H.Beck, 2001.
- Willstätter, Richard. 1949.** *Aus meinem Leben*. München : Verlag Chemie, 1949.
- Документы истории Великой французской революции. 1990.** *Декларация прав человека и гражданина*. Москва : МГУ, 1990. Т. 1.
- Фридман, Соломон. 2004.** *Евреи - лауреаты Нобелевской премии*. Москва : Издательство: Право и закон XXI, 2004.
- Юнг, Роберт. 1961.** *Ярче тысячи солнц*. Москва : Государственное издательство литературы в области атомной науки и техники, 1961.



# Илья Гинзбург

## Воспоминания

*Основная часть этих воспоминаний посвящена моему образованию, преподавательской деятельности и т.п.*



взялся за этот труд для сборника к сорокалетию НГУ (1999). Редактор сборника Л.Ф. Лисс требовал от меня сокращения эпизодов, которые могли вызвать обиды и неудовольствия. Я следовал его указаниям, пока дело не дошло до эпизода с изгнанием из физико-математической школы С.И. Литерата, тут я не выдержал и отказался от публикации. Я вернулся к этой работе в 2012г., готовя связный текст к пятидесятилетию Новосибирской ФМШ, в создании которой я участвовал. Здесь я не сковываю себя рамками корректности, к которой призывали меня 15 лет назад. Я дал прочесть почти готовый текст некоторым коллегам и ученикам, их советы напомнили мне кое-что забытое ранее и позволили исправить некоторые неточности. Летом 2013 я передал то, что написал в довольно широкий оборот. В конце 2013г. я вернулся к тексту. Я добавил описание материальных условий нашей жизни, более подробное описание моих школьных лет, написал немного подробнее о студенческих годах и добавил (в соответствии с пожеланиями некоторых моих читателей) кое-что в свои размышления об образовании в нашей стране. Изменения в основной части – об НГУ и ФМШ – совсем невелики.

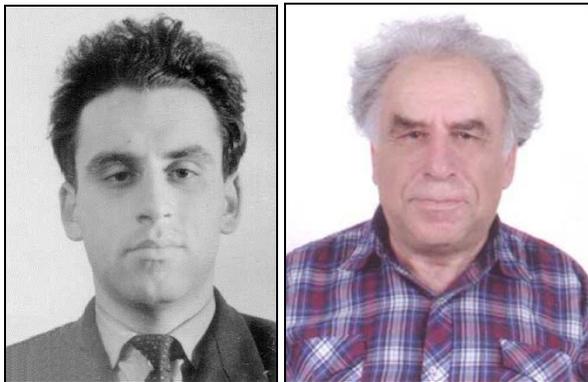
Я пишу о том, что видел сам, многие вещи, близкие к разбираемым темам, остались вне моего внимания. Я не обращался систематически к каким-нибудь архивам, поэтому не могу ручаться за точность дат и некоторых цифр.

Я кончаю этот текст размышлениями об образовании в нашей стране.

Раз начав, я хочу продолжить эти воспоминания, написав подробнее о своей семье, о моей научной жизни и о жизни в спортивном туризме, которым я занимаюсь почти профессионально с 1952г.

**1934-1960гг., МОСКВА, Немного о семье  
и о материальных вещах**

Я родился 28 декабря 1934г. в Москве. Мой отец Файвель Иосифович Гинзбург, (1905-1943), родом из Белоруссии, даже немного поучился в реальном училище. Он был инженером и работал на МОГЭС.



И.Гинзбург 1957 – И.Гинзбург 2007

В начале войны его направили на Магнитогорский комбинат. С начала войны он писал письма-прошения Сталину с просьбой отправить его на фронт, примерно десятое его прошение было удовлетворено, весной 1943 г. он попал на фронт, чтобы вскоре (8 августа) погибнуть под г. Карачевым на Курской дуге. Моя мама Роза Юльевна Малая (1904-1991), родом с Украины, до революции была безграмотной. Окончив рабфак, она собиралась стать инженером, но по партийному призыву пошла в Академию коммунистического воспитания, и стала учительницей истории и конституции в школе.

Сталинские репрессии задели нашу семью лишь немного. В 1938 г. моя тётя Маня проживала с сыном Юлием, 1926 г. рождения, в сравнительно большой комнате коммунальной квартиры (бывшей семейной квартире доходного дома). Её сосед полагал, видимо, что эта комната нужнее ему, и написал на неё донос. Её арестовали, и держали в Бутырской тюрьме 10 месяцев без допроса. Со снятием Ежова прошла кампания «против перегибов», людей, подобных моей тётке, без предъявленного обвинения, выпустили из тюрьмы, и они вернулись на свои рабочие места. Тем временем, мои родители решили взять племянника Юлия к себе в семью. За это нашей семье была

назначена высылка из Москвы. Освобождение тётки Мани отменило и это решение. Ещё одна мамина старшая сестра, тётка Берта была замужем за сотрудником Ленинградского обкома (или горкома) партии. Он был арестован в 1938г., и провёл 10 лет в Норильском лагере, затем в ссылке в Норильске. Его жена и сын в 1946-47гг. умерли в ссылке в Вологде. Когда после реабилитации он явился возвращаться на партийный учёт, ему сообщили, что из партии он выбыл «за неуплату членских взносов». Узнав это, он не стал восстанавливаться в партии. Муж папиной сестры тётки Сони, Лан был известным экономистом-международником. Позднее он рассказывал, как в войну участвовал в составлении рекомендаций Сталину по послевоенному устройству Германии. В 1948г. (видимо, по еврейским делам) он был сослан в Киргизию. Жена и дочь оставались в Москве, но в кооперативной квартире, купленной ими до войны, их «уплотнили», оставив одну комнату из трёх. После возвращения из ссылки он покупал новую квартиру. Брат моего папы дядя Лазарь, писатель, автор «Старика Хоттабыча» всю жизнь боялся, он вспоминал в 1970-е годы, что в 1930г. он учился в Институте Красной Профессуры, и был приглашен на какой-то вечер.



Мама, папа

Он не пошёл туда по случайной причине, все участники этого вечера потом были расстреляны или сгинули в лагерях. Слухи о репрессиях тихо пронизывали общество. Моя партийно послушная мама призывала меня к осторожности рассказами о том, как где-то кого-то посадили за невинные анекдоты, рассказанные в парке приятелю. Уже в 70-е годы, увидев у меня фотокопию книги Джиласа «Новый класс», она, улучив момент, сожгла её.

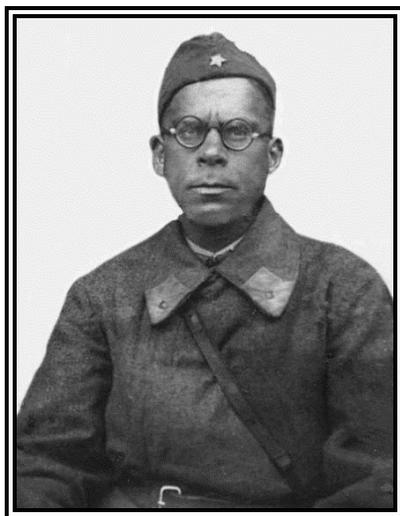
Мы жили в бараке, предназначенном на слом в 1918г., в комнате 14м<sup>2</sup> (она считалась большой), на ул. Ульяновской (ныне Николо-Ямская). В начале тридцатых в этом бараке держал своих экспериментальных собак нейрохирург Бурденко, а в 1936г. сюда поселили и нас – *сроком на 9 месяцев* (мы выехали оттуда в 1957г.). Здесь жило 14 семей с уборной в одно очко и двумя умывальниками на всех. Топили с трудом добываемыми дровами. Газ пришел на кухню в начале 50-х годов (саратовский газ). Отношения между соседями были хорошими и добрыми. Вход в наш большой двор охранялся, и чужие дети попасть сюда не могли.

Я долго не обращал внимания на то, что мы – евреи. Дома говорили только по-русски, как и все вокруг. Когда родители и их родные хотели сказать что-то неподходящее, по их мнению, для детей, они переходили на идиш (впрочем, изрядно ими забытый и дополнительно русифицированный). Моих ничтожных знаний немецкого языка, начиная с 5 класса, хватало, чтобы разобрать многое из этих «секретов». Вспоминаю, как мой дед Иосиф Павлович Гинзбург примерно в 1948г. сожалел, что мы – дети – не знаем языка и обычаев своего народа, и я заплакал. В 1949г. меня повели в Еврейский театр на Малой Бронной (все ожидали его скорого закрытия). Михоэlsa уже не было. Театром руководил Зускин. Давали «Блуждающие звёзды» (на идиш). Даже моих слабых знаний немецкого хватило, чтобы проникнуться печальной атмосферой спектакля. Я просто не могу посетить ни один другой театр, работающий в этом помещении. Никаких других проявлений еврейства вокруг меня я не помню, и мне это не казалось важным.

До войны работа папы считалась престижной и относительно высоко оплачиваемой. Родители, накопив денег, вступили в жилищный кооператив. Дом был построен, но родителям не понравились обои, и они задержались с въездом. Пока обои переклеивались, вышло постановление, ликвидирующее кооперативы. Те, кто уже въехал в новые квартиры (как папина сестра тётя Соня), оставались жить в них, у остальных право на новую квартиру прекращалось. Так мы и остались в бараке. Деньги, внесённые за квартиру, были возвращены. Родители распорядились этими деньгами, купив дачу – половину деревенского дома площадью 24 м<sup>2</sup> – с довольно большим по нынешним временам участком в пос. Деденево на станции Турист Савёловской ж.д. в немыслимой тогда дали, более 50 км от Москвы. Отец затеял здесь довольно большой сад. Во время войны и после неё приусадебный участок исправно снабжал нас вишней, яблоками и сливами, картофелем и некоторыми

другими овощами. Летний переезд на дачу мама воспринимала как большое счастье освобождения от тесной клетушки нашего барака. Мне и сестре Соне (1938 г. рождения) жизнь на даче тоже очень нравилась.

После гибели папы наша семья (мама, сестра Соня и я) жили на мамину учительскую зарплату (к 1947г. 600р., с конца 1947г. – 700р.) и пенсию на двух детей 340р. При моём поступлении в университет пенсия соответственно уменьшилась, с поступлением Сони выплата пенсии прекратилась. (Вдовья пенсия, если и была, к концу 1947г. отсутствовала).



Папа, 1943

Я помню, что впервые после начала войны я наелся вечером 6 ноября 1948г. Приобретение для меня новой рубашки было событием, о котором вспоминали ещё пару лет (мне доставалась одежда двоюродного брата, погибшего в 1945г., затем я носил кое-что из отцовской одежды, некоторые вещи приобретались по карточкам).

До конца 1947г. в стране действовала карточная система. Каждый «прикреплялся» к магазину, где всё отпускалось по карточкам (не всегда продукты, указанные в карточке, реально поступали в наш магазин). Наряду с этим в 1944г. были открыты (по крайней мере в Москве) «коммерческие» магазины, где ненормированные продукты продавались по ценам, в несколько раз более высоким. С нашими доходами мы и думать не могли о

приобретении этих продуктов. Я посетил такой магазин (Елисеевский на Тверской) в 1944г., когда мой приехавший с фронта дядя купил мне там МОРОЖЕНОЕ. В другом таком магазине, вблизи от Курского вокзала, я пару раз покупал по 200г. сливочного масла для моей одинокой тётки Мани, работавшей в одном из министерств.

В сентябре 1947г. вышло постановление о сближении цен «коммерческих» и обычных магазинов. Для нас это было просто большое повышение цен. Хорошо помню, что цена 1кг ржаного с 1р. повысилась до 3р. 40к. По этому поводу маме и её коллегам добавили к зарплате 100р. в месяц (она стала получать около 700р.). Из этих 700р. 10 или 20 % изымались на «добровольные государственные займы» (этот дополнительный налог взимался до конца 50-х годов). Облигации этих займов в основном остались простыми бумажками (нашей семье выигрышей по облигациям не досталось). Большинство жителей нашего барака (мед. сёстры, уборщицы) имели ещё меньшие доходы.

В декабре 1947г. были отменены карточки, и прошла денежная реформа. Деньги, хранившиеся дома разменивались по курсу 1:10, а в сберкассах – 1: 3. В течение одной или двух недель действовали старые деньги и люди покупали на них всё, что продавалось без карточек, т.е. не очень нужное (потом я хорошо понимал персонажа Маяковского, закупившего при подобной реформе в 20-е годы «двенадцать grossов барабанных палочек» - впрочем, в нашей семье, не имевшей накопленных денег, проблемы не возникло ни в 1947г, ни в 1991г.). Одновременно было объявлено и снижение цен. Упомянутый мною 1 кг ржаного хлеба стал стоить 3р. С тех пор 1 марта каждого года объявлялось очередное снижение цен. При последнем снижении цен 1 марта 1952г. цена 1 кг ржаного хлеба понизилась до 1р.70к. (напомню – до начала манипуляций – 1р. за кг) С тех пор цены почти на все основные продукты питания долго оставались постоянными (с точностью до деноминации рубля в 1961г.). Беда была в том, что качество этих продуктов неустанно ухудшалось, и большинство из них отсутствовало в открытой продаже, особенно в провинции; в сельских магазинах можно было видеть карамель «подушечки», да иногда крупу. В первые годы Новосибирского академгородка нас недолюбливали горожане, поскольку мы через свои *столы заказов* регулярно имели мясо и сливочное масло, практически отсутствовавшие в городе (постепенно положение «исправилось», у нас стало не лучше, чем в городе). В начале 1970-х мне приходилось привозить в Новосибирск из Москвы даже белый хлеб, а в конце 70-х – по рассказам моего ученика –

один из участников Иркутской областной партконференции вопрошал: *«До каких пор я буду привозить из Москвы мясо с клеймом Иркутского мясокомбината?»*

Общий уровень зарплат в стране был невысок. Я видел это во время своих многочисленных туристских походов. В деревне это было особенно заметно. Цена ведра картошки или ведра огурцов до конца 70-х годов составляла 1р. (как до, так и после деноминации 1961г.). Для провинциальных городов, как и для нашей семьи, даже наша студенческая стипендия выглядела вполне заметными деньгами.

В 40-е годы большинство школ страны давало только неполное среднее образование (семилетка). На весь наш Молотовский район Москвы было только две мужские средние школы. В 8-10 классы поступали только желающие. Обучение там было платным (цена не очень высокая, но всё же!). Платным было и обучение в университете (кажется, 250р. за полгода). Я был освобождён от этих оплат по двум показателям сразу – как сын погибшего на фронте и как сын учительницы. В 1954г. эти оплаты и в школе и в университете были отменены, но среднее образование не стало обязательным.

На 1 курсе физфака МГУ стипендия составляла 290 р. в месяц, на более старших курсах - 300 или 310р. (в других ВУЗах стипендия была ниже, на отделениях строения вещества и радиофизики – немного выше.) Стипендия повышалась на 20 % при сдаче сессии на все «пятёрки». Стипендия, особенно повышенная, была существенной добавкой в бюджет нашей семьи. Большинство моих знакомых жило в семьях, им не требовались регулярные подработки. Я мог позволить себе занятия туризмом, поскольку в МГУ туристы-спортсмены получали дотацию, достаточную для проезда в общем вагоне (без плацкарты). Возможности профкома МГУ ограничивали радиус наших путешествий.

По окончании университета я стал инженером МНИИ-1 («ящика») с зарплатой 980р. и ежеквартальными премиями. Когда я перешёл на работу в Институт Математики Сибирского отделения, кадровик хотел сначала положить мне те же 980 р., но узнав о моих премиях, положил 1200 р. (после деноминации 1961г. – 120р.). С этими деньгами, одинокий и без особых претензий, я чувствовал себя уже среднеоплачиваемым человеком, как сказали бы сейчас «нижним слоем среднего класса». До сих пор я оцениваю своё социальное положение именно таким образом.

### Школьные годы

Летом 1941 г. моя мама, сестра, я и бабушка с дедушкой (по отцу) были эвакуированы из Москвы в город Верхнеуральск Челябинской области, известный с XVIII века своим каторжным централом. Мы прожили здесь до лета 1943г. (дедушка с бабушкой уехали раньше по вызову сына – писателя Лагина). Мама приехала сюда начальником эшелона, и в начале зимы много ездила по окрестностям, добывая в окрестных сёлах пропитание для детей. Уже первой зимой её должность была упразднена, и она осталась простой учительницей<sup>1</sup>, одновременно ослабла добывательская активность оставшегося руководства. В нашем эшелоне был интернат (для детей, имевших родителей) и детский дом (для детей, потерявших родителей). За два года много детей было переведено из интерната в детский дом, некоторые умерли летом 1942г., отравившись самостоятельно добытыми ядовитыми травами из-за голодухи.

В конце 1941 г. моего папу перевели на работу в Магнитогорск, в 60км от нас, и он даже приехал к нам один раз – это была наша последняя встреча. Здесь многочисленные папины письма Сталину с просьбой о взятии в армию возымели успех, и видимо в конце зимы 1941-1942г. он, наконец, попал в армию. Он немного проучился на офицерских курсах, и был оставлен в школе преподавателем. Тут уже ему хватило одного письма Сталину, чтобы попасть на фронт. Очень скоро (летом 1943г.) он был убит. Когда стало известно о его призыве в армию, мама просила у своего начальства (сотрудника МосгорОНО) разрешения на краткосрочный отпуск за свой счёт (до Магнитогорска было всего 60 км), чтобы попрощаться с папой. Но начальство задержало мамин выезд, и она уже не застала папу, только взяла оставленные им вещи. Этой задержки хватило, чтобы на обратном пути она попала в весеннюю распутицу, и прибыла домой с опозданием на один день. То же начальство позаботилось отдать её под суд «за прогул», и она была приговорена к трудовым работам по месту службы, несколько месяцев получая пониженную зарплату (ещё в эвакуации судимость с неё была снята).

Последний папин урок я осознал значительно позднее. Согласно правилам военной цензуры, в письмах с фронта нельзя было указывать место, где воюет человек. Папа писал, что он находится в местах, связанных с рождением Ильи Муромца. Это

---

<sup>1</sup> Возможно, именно к периоду её начальствования относится возникновение трений с образовательным начальством, результаты которых не заставили себя ждать.

было неточно, но мы поняли, что он находится вблизи Карачарова (на самом деле – Карачева). Воспоминание об этом позволило мне позднее понять цену «секретности». В 1957г. я пытался найти его могилу по письму сослуживца – запахана.

Я пошел в школу в 1942г (по тем временам, довольно рано). Из-за трахомы я пришел в класс только в октябре, с тех пор у меня неважно с чистописанием. Помню, что иногда приходилось писать на газетных полях (не хватало бумаги).

Летом 1943г. мы вернулись в Москву. Для этого необходимо было иметь специальный «вызов», который организовал, видимо, мой дядя Лазарь – военный корреспондент какой-то газеты. Сначала мы жили в нашем бараке, на год или два нас приютили в школе, где работала мама – рядом с МЭИ, потом опять вернулись в барак, временами мы жили у моей тѣти в коммунальной квартире бывшего доходного дома в Малом Казѣнном переулке вблизи от Курского вокзала. За годы учёбы я сменил шесть школ, и у меня не было серьёзной школьной дружбы. Я вспоминаю только Вадима Ермакова, с которым дружил в 5 классе. Он кончил МАИ, и трудился в КБ Туполева. Представьте себе моѐ удивление, когда в 1964 г. в ресторане аэропорта Хабаровск (во время поездки для проведения олимпиады) ко мне подошёл человек, который назвал меня по имени и сказал, что учился со мной в 3-4 классе (т.е. в 1944-46 годах). Вспоминаю, как в конце 1944г. мне добыли билет на Новогоднюю ёлку в Колонном зале Дома Союзов (главная советская ёлка). За несколько дней до Нового года в коридоре школы проходивший мимо паренёк-второгодник из более старшего класса за что-то толкнул меня так, что я получил сотрясение мозга и сломанную ключицу. Перед Новым годом мама зеркалом проверяла, что я дышу. Выздоровление заняло около месяца. Так и не состоялся мой визит на «главную ёлку».

В 1943г. было введено раздельное обучение (мужские и женские школы), и с тех пор я всю жизнь проучился в мужской школе. На мой взгляд, раздельное обучение плохо влияло на дальнейшую жизнь людей. У меня связанные с этим комплексы исчезли только сильно после окончания университета, у некоторых моих друзей они остались на всю жизнь.

Вообще с середины войны Сталин начал восстанавливать некоторые предреволюционные формы. Летом 1943 г. в армии были введены погоны и восстановлено слово «офицер» (до того мы знали только «белых офицеров» - врагов). Летом 1944г. была введена школьная форма, в дополнение к этому были воссозданы кадетские училища – под названием «суворовские и нахимовские

училища». Летом 1945г. в школах были введены золотые и серебряные медали. (Упомянутые далее Герштейн и Щукин были среди первых, кто получил эти медали). Тогда же воинская табель о рангах была распространена на многие гражданские учреждения. Моя тётя Маня – экономист в Министерстве угольной промышленности – получила форму инженер-майора. Одели форму и многие другие чиновники (но не все – у учителей формы не было).

Война была страшным фоном нашей жизни. В 1943г. погиб на фронте мой папа, в мае 1945г. моя тётя Маня получила известие о гибели единственного сына Юлия, мамина сестра тётя Клара с ребёнком и мужем сгинули в блокадном Ленинграде, дядя Лазарь (Лагин) служил военным корреспондентом на флоте, воевали братья Зорины (мужья маминых сестер), один из них потерял часть лобной кости, инженер по канализации и водопроводу сапёр дядя Шевель (Саул) воевал с 1941г., и в 1944г. был вызван из армии для восстановления шахт Донбасса. Как я узнал позднее, на фронте не был муж одной из маминых сестёр – дядя Владимир, он «прохлаждался» в Норильске в качестве заключённого. Погибли отцы моих одноклассников.

Всю войну мы верили в Победу, и жили её ожиданием. Я долго верил, что это было общим для всех окружающих. Лишь недавно в моей памяти всплыл один эпизод. Моя сестра Соня родилась 21 июня 1938г., и в воскресенье 22 июня 1941г. наши многочисленные родственники собрались у нас на даче, чтобы отметить праздник. Вдруг стало известно о начале войны. И тут одна из моих тётё – жена папиного брата Шевеля (Саула) – вдруг сказала примерно так: *«Говорят, немцы против евреев. А нам-то за что страдать?!»* Значит, были люди, которые с первого дня войны считали реальным наше поражение. Конца разговора я не помню. Знаю лишь, что они развелись (когда?), а дядя Шевель довольно быстро оказался на фронте в сапёрных войсках (его специальность – инженер по канализации и водопроводу).

9 мая 1945г. я выбежал к ближайшей телефонной будке, чтобы радостно позвонить моей тёте об окончании войны. Вечером мы собрались отправиться в центр на действительно стихийную демонстрацию радости. Перед выездом моя мама и её сестра тётя Маня, только что потерявшая сына, сели друг против друга и долго ревели. Это зрелище надолго осталось для меня вторым символом войны и Победы.

В этой связи у меня есть два замечания. Уже в конце войны я – мальчишка – понял, что идёт чуть ли не сознательная девальвация боевых наград. До войны достаточно было сказать –

орденоносец. Сейчас веера наград повисли на груди начальников и тыловиков (а позднее я узнал, что людям на фронте награды не очень доставались). Сюда же добавлялись раздаваемые пачками «медали за оборону...» Мне было обидно, что оценка настоящего героизма теряется. Второе замечание касается модных сейчас георгиевских ленточек, вывешиваемых в память Победы. Изобретатели этого знака должны были бы знать, что в 1945г. за такую ленточку могли и срок дать.

Моя мама была красивая женщина. В 1948г. к ней сватался один демобилизованный еврей (не помню имени), приглашая поехать с ним в создающееся государство Израиль. Мама отказалась, видимо, к счастью – как я узнал значительно позже, большинство таких добровольцев было отправлено в лагерь.

В 1944-46 гг. мама отправляла меня на лето (на месяц) в пионерские лагеря, чтобы подкормить. Первый из этих лагерей был где-то в Щукине (ныне – почти центр Москвы). Где были другие, не помню. Мне очень не нравилась жизнь в этих лагерях (отряды формировались по классу обучения, а я был моложе и слабее большинства моих одноклассников, и не проходил школу дворовых компаний и драк из-за уединённости нашего двора). Я был счастлив, когда эти поездки прекратились.

В начале 1947 г. сестра мамы тётя Рахиль (вместе с мамой их было семь сестёр) решила, что в складывающейся тяжёлой обстановке (борьба с космополитами и т.п.) еврейский мальчик должен иметь специальность, и мне надо учиться играть на скрипке (точнее, на альте). Хотя у меня было обнаружено полное отсутствие слуха, я исправно пилил свой инструмент, испуская поистине душераздирающие звуки. Когда это происходило у моей тётки Мани, ко мне прибегал и подстраивал инструмент тот самый сосед, по чьему доносу когда-то эту тётку посадили.

Однажды я встретил своего бывшего одноклассника, и он поведал, что перескочил через класс. Я решил сделать то же самое, и начал заниматься. Мама с трудом добилась для меня права сдать экстерном программу 6 класса, и в семье меня освободили от обучения альту ради не менее важной возможности. В конце августа 1947г. я сдал экзамены за 6 класс, получив 3 за изложение (при подготовке я почти ничего не писал на бумаге, и допускал просто комичные описки) и 5 по многим другим предметам.

Уже в сентябре в 7 классе я получил урок того, что значит методика. На уроке по геометрии (её-то я знал) я был вызван к доске, и не мог путно ответить. Я полностью не владел математическим языком. Я говорил что-то в роде: «проведём линию из А в В». Двойка была вполне заслуженной. Я быстро

преодолел этот недостаток языка, в будущем этот урок служил мне важным ориентиром.

В 7 классе моей 479 школы-семилетки изучался французский язык, а в пятом классе я учил немецкий. Меньше чем через год я всё равно должен был переходить в другую – среднюю – школу. Поэтому было договорено о моём переводе в 401 школу. Тем временем, мама сумела добыть для меня (по состоянию здоровья) путёвку в знаменитый пионерлагерь «Артек» на ноябрь – декабрь 1947г. Этот сезон не пользовался особым спросом – холодно, иногда замерзали ручьи, но было интересно. В старшем отряде нас было несколько семиклассников – из Москвы, из Воронежа, ... Чтобы мы не очень отстали от своих школ, нас 4 часа в день учили по школьной программе. Уровень этого обучения был не высок. Тут я впервые узнал, сколь низка может быть культура учителя. Мы изучали стихотворение Некрасова «размышления у парадного подъезда». Там есть строчка *«развязали кошли пилигримы»*. Учительница всерьёз убеждала нас, что «пилигримы» это – обозначение типа кошлей. Мы со Львом Соловьёвым (с которым я позднее учился в МГУ) пытались объяснить ей, что значит это слово, но успеха не имели.

До войны мои родители собрали неплохую библиотеку. Я с большим интересом читал книгу о географических открытиях от древности до наших дней «Как открывали Земной шар» (автора не помню), книгу «Артиллерия», замечательные «Мифы древней Греции» Куна, многие исторические книги, среди которых помню восьмитомную «Историю XIX века» Лависса и Рамбо, довольно скучную «Историю инквизиции», некоторые литографированные тексты по российской истории. Я жадно пользовался школьными библиотеками и у себя в школе и в маминой школе. Я прочел книги Брэма, книгу «Охотники за микробами» Поля де Крюи (Крайва). Разумеется, я читал «Два капитана» Каверина, «Белеет парус одинокий» Катаева и «Кондуит и Швамбрания» Кассила, Жюль Верна, Майн Рида, Дюма, Стивенсона, Мате Залка (генерала Лукач). Марка Твена. Во 2-м или 3-м классе я впервые прочёл Пушкина. Чуть позднее (но, к счастью, раньше, чем полагалось по школьной программе) я читал Лермонтова, Гоголя, «Войну и мир» Толстого.

Мои воспоминания о школьном образовании в общем неплохи. Полезным оказался курс «естествознание», в 3, 4 или 5 классе, где нам рассказали о компасе и магнитных полюсах Земли, о Солнечной системе, о наклоне земной оси к плоскости эклиптики – о происхождении смены зимы и лета и т.п.

Курс математики был хорошо разработан методистами дореволюционной поры. Вспоминаю два явных пережитка. 1) От сшивки начальной и неполной средней школы в курсе арифметики остался год бессмысленного обучения решению «задач с вопросами» (он легко заменяется составлением и решением уравнений). 2) Раздел «применение алгебры к геометрии» - построение геометрических фигур, представляемых формулами, с помощью циркуля и линейки - выглядел анахронизмом уже и для тогдашних школьников. Учителя владели этой программой, и неплохо учили детей. Последующая реформа математического обучения не учитывала необходимости переучивания учителей и идеалистически рассматривала последующую практическую жизнь как не требующую серьёзных вычислений.

Курс русского языка и литературы объединял достижения и формализм дореволюционной педагогики с идейно-советским безумием 20-х- 30-х годов. Как я могу судить, серьёзные методы повышения грамотности не найдены до сих пор. Если ребёнок не имеет «врождённой» грамотности, принесённой из дома или из чтения книг, школа лишь немного способна улучшить его правописание. Упор на проверку вместо обучения, привёл к тому, что дети писали диктанты, изложения, сочинения, но так и не обучались писать «размышления» и деловые бумаги. Подбор изучаемых произведений в курсе литературы был совсем неплох. Большинство из них я читал заранее (за год или два), и это освобождало мои впечатления от омерзения, вызываемого изучением литературоведческих «образов» и других мёртвых схем. Я полюбил Пушкина, Лермонтова и Маяковского (раннего), Гоголя, Толстого и Салтыкова-Щедрина (к счастью мы изучали не любимую мной «Историю одного города», а довольно скучных «Господ Головлёвых»<sup>2</sup>). Я регулярно вспоминаю не устаревающие строки из «обращения к читателю» Истории одного города, где даётся мотивировка к написанию его истории сравнением с историей Рима. *«Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас - благочестие, Рим заражало буйство, а нас – кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас - начальники»*. Я довольно рано ощутил родство раннего Маяковского с Лермонтовым – в их сильно развитом комплексе юношеской неполноценности. К Чехову в школе я остался равнодушен, а Горький так и не вызвал у меня никакого интереса.

---

<sup>2</sup> Мне всегда казалось, что большинство тех, кто знакомился с классической литературой непосредственно по школьной программе, получало стойкое отвращение к соответствующим произведениям. Хорошо, если оно исчезало через много лет.

Достоевский, Блок, поэзия серебряного века остались совершенно неизвестными нам.

Пастернака я узнал и полюбил уже во время учёбы в МГУ. В мой круг чтения входили некоторые советские писатели (большинство которых я благополучно забыл), Бальзак, Мопассан, Шекспир, Киплинг, Гюго, Я.Гашек, Гейне, Гёте, ... Всё это создавало у меня общекультурную картину мира.

Курс географии был тоже достаточно интересным и поучительным. В моё познание мира существенный вклад внесла упоминавшаяся книга «Как открывали земной шар», столицы многих государств я узнал благодаря коллекционированию марок. К экзамену за 6 класс я готовился по учебнику издания, наверно 1941г. Во вложенной карте на месте Польши было написано «ЗОНА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГЕРМАНИИ». Из этого же учебника я узнал, что Куйбышевскую ГЭС начали строить до войны (позднее я узнал, что построенную частично насыпь плотины размывали в 1942г., опасаясь прихода немцев). Оттуда же я понял, что возводимые в те годы Куйбышевская и Сталинградская ГЭС получились из одного предвоенного проекта (их суммарная мощность та же, что и у предвоенного проекта Куйбышевской ГЭС).

Схема курса истории была, видимо, неплохой. Но благодаря маме, я обращал внимание на происходившее изменение оценок и ценностей. (До 1948г. Шамиль был героем национально-освободительной борьбы, за труд с такой оценкой дали Сталинскую премию, на следующий год премию отобрали, Шамиль стал агентом англичан. Мама горевала, что рассказывая о сталинской политике равноправия до 1948г. она поминала образцом женского равноправия академика Штерн, а после 1948г. упоминать её стало нельзя.) Мировую историю я знал по книгам из нашей домашней библиотеки. Современная история излагалась по калькам «Краткого курса истории ВКП(б)». С середины 50-х годов у нас стали издаваться военные мемуары и книги по истории войны. Я жадно поглощал их, помню потрясение, которое я испытал, читая «Историю 2 мировой войны» Типпельскирха, из которой я понял, что все наши победы достигались только за счет многократного превосходства в живой силе.

Из серьёзных биологических курсов нам остались только описательные «Ботаника», «Зоология», «Анатомия и физиология». После Лысенковской сессии ВАСХНИЛ обобщающий курс «основ дарвинизма» стал собранием рассказов об яровизации и других агроприёмах, об отсутствии внутривидовой борьбы, а тем временем в стране сажали лесополосы, используя квадратно-

гнездовой метод посева. Уже в начале 1960-х годов, более или менее представляя основы генетики, я прочитал в какой-то центральной газете статью Т.Д. Лысенко, где он говоря о «наследовании приобретённых признаков», иллюстрировал это «экспериментом», в котором жирность молока коров подымалась, когда их поили отходами с шоколадной фабрики.

Курс химии казался мне не очень интересным, хотя и заинтересовал немало моих одноклассников. Я запомнил из него иерархию химических активностей, запомнил, что  $\text{BaSO}_4$  – единственная нерастворимая соль серной кислоты (и сейчас понимаю, что со мной делают, когда предлагают «выпить барий» при рентгене желудка). И только уже в Новосибирске, преподавая квантовую механику, я обнаружил, что основные сведения о строении атома, о принципе Паули и т.п. студенты приносят из школьного курса химии.

С курсом физики в школах страны дело обстояло неважно. До революции физики в России почти не было, и хорошей традиции преподавания тоже не было. В значительной части советская физическая наука возникла как «дочка» немецкой и английской с принятием немецкой традиции преподавания. Возникновение и бурное развитие физической науки в стране сопровождалось (особенно после войны) изъятием почти всех достойных людей в промышленные НИИ с соответствующим оголением школ. Поэтому хорошее школьное обучение по физике было скорее исключением, чем правилом, средний школьный учитель по физике в хорошем случае добросовестно изучал предмет по (не очень хорошему) стандартному учебнику, сохранявшему следы идеологизации из «Материализма и эмпириокритицизма» Ленина. К концу моих школьных лет появился «Элементарный учебник физики» Ландсберга, полезный для самостоятельного обучения, но не подкреплённый набором задач и предложениями по самостоятельному эксперименту в школах.

В 1948-51гг. (7-10 классы) я учился в 401 школе Москвы в Верхних Сыромятниках, на берегу р. Яузы. Из учителей с нежностью вспоминаю математика Александра Марковича Бабада (попавшего в школу из МВТУ во время кампании против космополитизма). Зная о моих занятиях в математическом кружке МГУ, он давал мне свободу и полезные указания. Он умер через 2 года после нашего выпуска. Помимо моих кружковых занятий математикой, я увлёкся устным счётом, мне любопытны были разные признаки делимости, разложение на простые множители и т.п. Полученный при этом опыт оказался очень ценным в моей

жизни. Для меня выкладки в прослушиваемых лекциях и докладах никогда не составляли трудности, а громоздкие вычисления и численные оценки в моих работах делались без особого труда.

Замечательная учительница литературы Екатерина Тимофеевна Костенко умерла от рака горла вскоре после нашего окончания школы. Говорили, что в войну она была в подполье в Воронеже. Эта маленькая женщина начала работу с нами с грубой педагогической ошибки - на первом уроке в 8 классе она объявила: «Я – стреляный воробей», вызвав естественную реакцию учеников. Но очень скоро завоевала любовь и уважение класса. Она любила литературу, и пыталась заразить нас этой любовью, иногда это у неё получалось. Теперь я понимаю, как она защищала нас. К 70-летию Сталина в 1949г., мы должны были написать домашние сочинения на свободную тему, связанную с именем юбиляра. Полагая, что мы всё же занимаемся литературой, я изобрел тему "Сталин в гражданской войне в литературе". Я не нашел в художественной литературе о гражданской войне упоминаний о Сталине, помимо повести А.Толстого "Хлеб" и нескольких строк в романе Федина "Первые радости". Я был счастлив, найдя в диване у тёти книгу Барбюса "Сталин", цитаты из неё составили существенную часть моего сочинения. Много лет спустя я узнал, что книга была запрещена. Е.Т. не выпустила информацию о моём «подвиге» наружу, и это очень много. Другие учителя были не столь замечательны, хотя люди были все неплохие. Я вышел из школы с не очень глубоким пониманием физики. В дальнейшем (в Москве и в Новосибирске) я обнаружил, что вообще подавляющее большинство школьных учителей физики не знает и не понимает предмета. На их фоне наш учитель физики Александр Николаевич Склянкин выглядит довольно хорошо, он владел набором приёмов из учебника, но не видел в физике инструмента познания природы. Мне приятно вспоминать классного руководителя географа Берту Львовну Диденко. Директор А.М. Шапиро много сделал для того, чтобы мы учились спокойно, он не поднимал внешнего шума даже после очень жестоких каверз (однажды ему вылили на голову из окна помойное ведро с водой). В этой школе у меня уже появились настоящие друзья – Валерий Рапопорт, Саша Серебряный, Володя Жаров. Типичный гуманитарий Рапопорт поступил в МИЭИ, я потерял его следы. Химик Саша Серебряный 20 лет назад работал в Ин-те химфизики АН. Володя Жаров купился на обещание вербовщика из Бронетанковой Академии, обещавшего слушателям чин майора по окончании (он стал майором лишь много лет спустя). Куда его завела армейская судьба, я не знаю.

Мы читали много популярных книг по физике и математике. Вспоминаю книги Перельмана «Занимательная физика» (довольно легковесные для меня), очень содержательную «Занимательную механику» Кирпичёва, книгу «Волшебный двурог» о происхождении интегрального исчисления, написанную Бобровым, который, как я узнал позднее, в десятилетие-двадцатые годы был видным футуристом. Мы читали книги о строении атома и атомного ядра, среди них помню книгу Корсунского «Атомное ядро», мы с жадностью слушали популярные лекции в Политехническом музее. Из них мы узнали о том, что такое атомная бомба. Со жгучим интересом читал я у знакомых вышедший в 1945г. в США и перепечатанный у нас в переводе не очень большим тиражом доклад Смита, в котором описывались варианты устройства атомной бомбы и технологий – разумеется, без указания цифр и сделанного выбора. Тогда я и понял, что основной секрет бомбы был раскрыт в 1945г. – *она взорвалась*. Остальное – предмет технологической работы. Помню, как в 1951г. в Политехническом музее Д.Д. Иваненко объяснил нам, что скрывается за термином «водородная бомба», и тут же доказал, что такую бомбу нельзя осуществить (*ибо взорвутся все океаны*). Разумеется, я читал и простые книги по математике. Основы анализа я впервые постиг (с грубыми пробелами в понимании) в 9 классе по ВТУзовскому учебнику.

В моей библиотеке до сих пор стоят полученные в качестве премий на олимпиадах и прочитанные с большим интересом книги «Что такое математика» Р.Куранта и Г.Роббинса, «Основания геометрии» Д. Гильберта, «Числа и фигуры» Радемахера и Теплица.

### **Кружки в МГУ**

В 1948-1951гг. я участвовал в работе одного из математических кружков в Московском университете (на Моховой). Наш кружок вели студенты-выпускники Коля Ченцов (работал в Институте Прикладной Математики РАН) и (в 1948-50гг.) Серёжа Годунов (ныне академик, Институт Математики Сибирского отделения РАН - ИМ СО РАН); в самом начале в руководстве принимала участие Никита Введенская. Ядро нашего кружка составляли Игорь Аршон, Юра Брускин, Миша Борщевский, Сергей Генкин и я. Иногда у нас появлялся Скифф Соколов, имена двух девочек я не помню.

В параллельных кружках занимались Толя Савин (позднее работавший в МФТИ один из организаторов всесоюзных олимпиад), Миша Богородский, Вадим Леммлейн, Лев Нисневич, мы общались немного с кружковцами предыдущего года выпуска

Колей Константиновым (известным ныне как организатор математических олимпиад и конкурсов), Бобом (Робертом) Минлосом и др.

Мы жили этими кружками. Уроки доброжелательного, ответственного и квалифицированного преподавания, которые дали нам наши руководители, стали ориентиром в нашей дальнейшей преподавательской работе. Выходя с заседаний, мы продолжали обсуждения. До середины 60-х годов на штукатурке одного из домов на Маросейке сохранялся процарапанный чертёж теоремы о трансверсальных (Менелая), которую мне растолковывал Саша Шнеерсон – я уже забыл её содержание.

Подростки обычно довольно жестоки и бескомпромиссны. Участник нашего кружка Саша Шнеерсон активно участвовал в его жизни. Однажды он сообщил, что сменил фамилию, стал Поляновым. Мы, не сговариваясь, уменьшили общение с ним, скоро он исчез из нашей окрестности. Разумеется, мы не имели никаких ограничений на общение с Соколовым, Савиным, Богородским.

Однажды во время заседания кружка в Москве погас свет. Свет горел только в Кремле. На улицах было не очень темно, и мы с Ченцовым пошли бродить по улицам, определяя направление движения на каждом перекрёстке с помощью жребия – бросанием пары монет. Часа через полтора мы вышли к исходной точке – зданию МГУ, и тут включилось электричество. Мы радостно вошли в здание, и закончили занятие кружка. (Этот эпизод я обычно вспоминаю в лекции про Броуновское движение и случайные процессы как иллюстрацию к задаче о случайных блужданиях на плоскости.)

В другой раз мы побились об заклад с Ченцовым, что докажем теорему Ферма. Он поставил на кон свой плащ, видимо, единственную осеннюю уличную одежду. После того как пари было заключено, Аршон сказал одно слово – МАЛЮЮ (почти тривиальное утверждение: если  $p$  – простое число и  $A$  – целое число, не делящееся на  $p$ , то  $A^{p-1} - 1$  делится на  $p$ ). Коля попросил отсрочки исполнения пари. Мы милостиво разрешили ему заменить плащ мороженым каждому участнику кружка.

Общение внутри кружка давало нам и гуманитарное развитие. Мы нередко обсуждали отдельные произведения художественной классики, и не только изучавшиеся в школе. Помню, как Аршон открыл нам глаза на изысканность одного из рассказов Чехова. Борщевский рассказывал некоторые эпизоды из жизни дореволюционной гимназии (по рассказам своего дяди). Тот же Аршон, живший на Масловке, рассказывал нам о «Чёрной

кошке» и о том, как она была уничтожена с помощью фронтовиков (эпизод, ныне приписываемый Жукову в Одессе).

Кружок по физике на физфаке МГУ был только один, я посещал его изредка. Кружок вели студенты-выпускники физфака Мика Бонгард и Миша Смирнов, впоследствии – известные биофизики. Бонгард оставил заметный след в интеллектуальной жизни Академгородка, куда он приезжал на конференции «молодых учёных» в начале 60-х годов. В работе кружка активное участие принимали Игорь Бекаревич, о котором я пишу ниже, Миша Мачинский (не рискнул поступать в МГУ, поступил в МЭИ), Владик Зернов и Люся Новикова (о них – ниже), Лёша Родовский (не рискнул поступать в МГУ, кончил МИИТ, позднее стал одним из моих близких друзей), Инна Воробьёва (поступила на ФТФ МГУ, преобразовавшийся затем в МФТИ).

В 10 классе в нашей школе её выпускник 1946г., студент физфака Сёма Герштейн (ныне академик) организовал физический кружок. У нас не сложилась критическая масса заинтересованных участников, и кружок тихо умер.

### **Олимпиады моей юности**

Немного расскажу об истории школьных олимпиад. Первая математическая олимпиада была организована в Ленинграде в 1934г. Как мне кажется, изобретателем термина, а может быть и идеи олимпиад, был Борис Николаевич Делоне – не только хороший математик, но и один из основоположников советского альпинизма – отсюда и спортивный термин (на Алтае, в массиве Белухи, есть пик Делоне и перевал его имени).

При обсуждении этого текста Ю.М. Брук рассказал мне, что в середине 60-х годов он (тогда студент 3 или 4 курса) летел по олимпиадным делам в Новосибирск. Его соседом в самолёте был невысокий пожилой человек. Они разговорились, Юлик рассказал про олимпиады, а его сосед заявил: *Это я придумал, так же, как и альпинистские лагеря.* Это был Б.Н. Делоне. Мне приятно, что моя догадка о происхождении термина подтвердилась.

В 1935г. была проведена Московская математическая олимпиада. В 1938г. прошла первая Московская физическая олимпиада. С тех пор они идут ежегодно, с перерывом на военные 1942-1944 годы. После войны организовались химические олимпиады. Я застал уже устоявшуюся систему, которая кажется мне очень разумной.

Математические олимпиады проходили в два тура, в физических и химических олимпиадах добавлялся третий,

экспериментальный тур. Первый тур был отборочным и на распределение премий не влиял.

В 8 и 10 классах, я получал вторые премии на математических олимпиадах. В 9 классе по математике и в 9-10 классах по физике я получал поощрительные грамоты, в 10 классе получил вторую премию по химии. Поэтому я и позволяю себе высказываться обо всех этих олимпиадах.

Задачи математических и физических олимпиад составлялись компетентными и остроумными людьми, они были оригинальными и казались интересными школьникам. Для решения задач математической олимпиады не требовалось специальных знаний, допускались и лакуны в школьном курсе, необходимо было проникнуться неким «духом математики». Пару задач этих олимпиад я помню до сих пор. В 1950г. мы получили задачу с подвохом. *Можно ли осуществить такое устройство: и далее описывалась логарифмическая линейка.* Все участники нашего кружка независимо ответили – нет, ведь на нуль делить нельзя. Мне очень понравилась одна из задач второго тура 1951г. *Пусть есть сто целых чисел. Доказать, что найдётся такая группа этих чисел (может быть, все), что их сумма делится на 100.* (Просматривая книгу Г.А. Гальперина и К.А. Толпыго «Московские математические олимпиады» М. «Просвещение» 1986г., я удивился, не обнаружил этих задач.)

Для решения задач физической олимпиады помимо «физического чутья» надо было осознавать школьный курс, не допуская серьезных лакун. При общем более низком уровне школьного физического образования по сравнению с математическим это ограничивало круг активных участников.

Проверка решений и ранжирование победителей не вызывали нареканий. Две идеи кажутся важными.

1) *Мы не ищем абсолютного чемпиона, у нас нет первого, второго и т.д. места, мы определяем группы лидеров, которые получают первую, вторую и т.д. премию, число этих премий заранее не ограничено.*

2) *Победитель не обязан решить все задачи.* Так, на математической олимпиаде 1951г. первую премию получили девятиклассник Саша Венцель, решивший всего одну задачу из 6 (которую никто больше не решил) и десятиклассник Аршон, решивший остальные 5 задач. Четыре вторые премии среди десятиклассников получили только участники нашего кружка Борщевский, Генкин, Соколов и я, Брускин и Богородский получили третьи премии, этих премий было больше, чем участников нашего кружка. Третьи премии получили, в частности,

участник другого кружка Толя Савин. На физической олимпиаде 1951 г. первые премии получили Игорь Бекаревич и Миша Мачинский.

Помимо грамот, победители получали призы – солидные стопки книг по математике (думаю, более десятка). Нести эту стопку домой было очень приятно и достаточно тяжело (по моему пути домой длиной 3-4 км разумного транспорта не существовало).

На наш взгляд химики не нашли идей олимпиадных «изюминок», их задачи идейно не отличались от школьных и не вызывали особого интереса у школьников, мелкие погрешности иногда становились определяющими при ранжировании победителей.

### **Поступление в МГУ**

В те годы существовало правило, что выпускники школы с медалями поступают «вне конкурса» - по результатам собеседования, которое проходит до начала вступительных экзаменов в августе. Количество заявлений медалистов на физфак примерно втрое превышало число мест, поэтому собеседование было существенным барьером на пути поступления. На нашем курсе число медалистов было наверно 70-80%. Я, как и большинство моих приятелей, был медалистом, и мне предстояло собеседование. (Забавно заметить, что при прохождении общего физического практикума мы обнаружили, что плотность золотой медали составляет всего 5,5, т.е. медали делались даже не из бронзы.)

Оказалось, что нужно получать специальное разрешение на поступление, поскольку мне ещё не исполнилось 17 лет. Пришлось обращаться в министерство, и получать разрешение от министра. Поэтому я едва успел сдать документы, чтобы успеть на собеседование.

Хотя олимпиады были придуманы для привлечения в студенты лучших выпускников школ, приём на физфак и мехмат МГУ осуществлялся явно не теми людьми, которые организовывали олимпиады. Из нашего математического кружка, из 6 победителей олимпиады, ни один человек не был принят на мехмат МГУ<sup>3</sup>, на физфак поступили С.Соколов, М.Богородский и

---

<sup>3</sup> Все мы были медалистами, и подвергались собеседованию. Аршона, Борщевского, Брускина и Генкина «завалили» на собеседовании, и это при том, что в только что вышедшей книге *Шклярского, Ченцова и др.* «Задачи и теоремы элементарной математики» были разделы, написанные Аршоном и Борщевским. Ченцов каким-то образом добился «пересобеседования» для Борщевского и Брускина. Обоих встретил один и тот же экзаменатор. Он, дал каждому запредельно (для экзамена)

я. Работал «еврейский барьер». Я до сих пор не могу понять, как я был принят на физфак. Я не был блестяще подготовлен по физике, твердая школьная 5, не больше. На собеседовании передо мной поставили задачу в такой постановке, в которой ее вряд ли решил бы хоть один абитуриент (я использую в этом утверждении свой многолетний опыт приёмных экзаменов в НГУ); в итоге я получил оценку «можно принять» (я увидел своё личное дело в 1956г.) – эквивалент 4 (конкурс был – несколько медалистов на место). Единственная неубедительная гипотеза – «процентная норма» была жесткой с обеих сторон, а я, показав себя не слишком сильным абитуриентом, казался не опасным конкурентом.

Игорь Аршон и Вадим Леммлейн поступили в пединститут, где-то на 4 курсе они предложили аксиоматизировать диамат. Их тут же отправили в армию (время было уже вегетарианское -1955г.). В конце концов оба стали математиками – Леммлейн- доктором, Аршон - кандидатом наук, связь с ними я потерял. Сергей Генкин учился в другом пединституте (в Москве их было 3), он стал одним из известных диссидентов 60-70-х годов. Юра Брускин поступил в нефтяной институт, о его судьбе я ничего не знаю. Льва Нисневича взяли на вечернее отделение мехмата. Миша Мачинский даже не пытался поступать в МГУ, он поступил в МЭИ. После 2 курса я о нём ничего не слышал. Миша Борщевский после попытки поступления на мехмат подал документы на инженерно-физический факультет Механического института (факультет вскоре преобразовался в МИФИ), и – кажется – был лучшим из абитуриентов по результатам собеседования. Его приняли только на механико-технологический факультет, который он и кончил. Через несколько лет (поработав на заводе) он попал в Морской НИИ -1 в Москве, где за несколько лет до того работал и я. Там он занялся задачами типа исследования операций, где получил очень интересные результаты (за 2-3 года до него я немного поработал в этой области, поэтому могу оценивать результат). Потом бурная жизнь мотала его по стране, и в 1980г. я встретил его в Иркутске. Последние наши встречи были в Хайфе. Я остаюсь при мнении, что Миша – очень неординарный человек, и в отсутствие

---

технически сложную задачу Аполлония (в принципе известную нам) – построить окружность, касательную к трём данным. Брускин любил геометрию, и нарисовал решение. «Ну не надо, это слишком сложно» - сказали ему, взглянув на чертёж. Его «засыпали» другими вопросами. А Борщевскому, который не представил решения этой задачи за приемлемое время, сказали – «Ну что же Вы!». Обоим, видимо, написали «можно принять».

искусственных препятствий, он мог бы стать крупным математиком.

Для моих однокашников Бекаревича (белоруса), Соколова и Богородского этих препятствий не было, они учились на физфаке МГУ.

В советское время «еврейский барьер» выключался, по-видимому, лишь в эпоху самой сильной «оттепели», в районе 1955-56гг. (именно так я могу объяснить поступление на физфак моей сестры Сони, не имевшей хорошей специальной подготовки в школьные годы).

Наш математический кружок виртуально продолжился в 1951-52 учебном году, когда мы учились на первых курсах разных ВУЗов. По рекомендации Коли Константинова мы участвовали в работе замечательного семинара А. Кронрода и Г. Ландиса по теории функций действительной переменной на мехмате. Здесь нам дали ещё один урок методов преподавания, слушатели иногда должны были выдумывать даже определения. Мы составляли небольшую долю участников семинара (остальные были студенты мехмата), но явно образовывали лидирующую группу – школа Ченцова работала хорошо. Среди прочих участников семинара мне запомнился почему-то Витушкин, который был чуть старше нас. В дальнейшем мы потеряли связь с мехматом.

### **Физфак МГУ, кружок для школьников Москвы**

Весной 1951г. Борщевский познакомил меня с Игорем Бекаревичем. Мы с Игорем решили вместе поступать на физфак. Помню долгие прогулки по улицам Москвы, когда мы «принюхивались» друг к другу, и вдруг осознали, что стали друзьями. Он стал первым воспитателем моего вкуса в физике.

Наши учителя в кружках учили нас, что «долги надо отдавать», и 17 сентября 1951г. мы – четверо первокурсников (Игорь, Владик Зернов, Люся Новикова и я)<sup>4</sup> - стояли в Большой Физической аудитории старого здания, рассчитанной на 300 человек и заполненной 400-500 восьмиклассниками. Так начался

---

<sup>4</sup> Мы стали друзьями. Из Владика Зернова вышел хороший экспериментатор, он преподавал физику в ВУЗах. Много лет спустя я узнал, что его поступление в МГУ было драматическим. Его отец был репрессирован, и он писал письмо члену Политбюро К.Е. Ворошилову с просьбой не закрывать ему путь в науку. Почему-то это письмо помогло. Владик умер в 80-х, сердце. Красавица Люся Новикова была дочерью министра, она жила в отдельной квартире на Ордынке – роскошь для москвичей того времени неслыханная. После окончания МГУ мы потеряли её след.

физический кружок (где к весне 1954г. осталось около 30 постоянных участников), который мы вели три года. Наши ученики успешно выступали на олимпиадах, многие стали серьёзными учёными, мы встречаемся до сих пор<sup>5</sup>. Те из них, кто поступил в МГУ, приняли от нас эстафету, и вели физический кружок для школьников следующего поколения.



И.Л. Бекаревич, 1955

Здесь – под влиянием Игоря и Владика - я получил свой первый опыт преподавания и интерес к разным областям физики, в частности, получил вкус к придумыванию задач.

Руководство факультета поддерживало работу кружков и доверяло нам, не докучая мелочной опекой. Для нас была открыта по вечерам Большая Физическая аудитория – БФА. В ней обычно дежурил очень высококвалифицированный лаборант-демонстратор Валентин Семёнович (фамилии не помню). Мы могли показывать школьникам почти любые эксперименты, выбирая модификации после консультации с Валентином Семёновичем. Нередко демонстрации показывал именно он. Сдерживая себя, он выражал своё возмущение неприличным словом ПОЛУ-ЭТИЛЕН.

---

<sup>5</sup>Владик Ентов (1937-2008) не поступал в МГУ, испугавшись еврейского барьера. Он кончил нефтяной институт и стал выдающимся механиком, после его смерти я узнал, что он был ещё и очень неплохим поэтом (писавшим в стол). Физфак МГУ кончили Коля Плакида (ОИЯИ, физика твёрдого тела и сверхпроводимость), Валя Рокотян – (ЦАО, аэрофизика), Володя Павлов (МИ РАН, математическая физика), Таня Блохинцева – ОИЯИ, Тамара Игошева и Валя Белова (физика твердого тела), МФТИ кончили Слава Михайлов и Валерий Курдюмов, некоторых уже нет.

## Физфак МГУ

Первые два курса мы учились в старом здании МГУ на Моховой ул. Путного транспорта от моего дома до Моховой не было, и я стал ходить на занятия пешком. Выходя по Ульяновской (Николо-Ямской) ул., я пересекал Язу и выходил на набережную Москвы-реки у Устьинского моста. По набережной я шёл к Кремлю мимо Артиллерийской Академии и затем мимо стены Китай-города (однажды я узнал, что *вчера* участок этой стены обвалился, вскоре её остатки разобрали). Далее я поднимался по Васильевскому спуску на Красную площадь, шел мимо не работавшего тогда ГУМа, проходил мимо гостиницы «Москва» - фойе метро Охотный ряд, пересекал улицу Горького (Тверскую) и мимо американского посольства и Геологоразведочного института заходил во двор, где и стояло здание факультета, построенное под руководством Столетова (ныне ИРЭ РАН). Помещений катастрофически не хватало, и нередко в расписании можно было прочесть: место занятий - КБФ или КМФ (коридор Большой физической или Малой физической аудиторий). Некоторые занятия проходили в других зданиях на Моховой. Дважды в неделю занятия проходили в филиале – в школьном здании рядом с клубом им. Русакова в Сокольниках.

Поступая в МГУ, мы не понимали, что после разгрома школы Л.И. Мандельштама несколько лет назад (при начале не закончившегося процесса «лысенкования» физики) на физфаке МГУ осталось мало настоящих учёных. Многие курсы были архаичны, нередко они излагались на низком уровне. Единственный достойный учебник по механике того времени – курс С.Э. Хайкина - был фактически запрещён. Важнейший для ряда преподавателей вопрос преподававшегося общего курса механики (I курс) был: *«Реальны или фиктивны силы инерции?»*. На экзамене по механике на I курсе я дал ответ, не удовлетворивший экзаменатора, и получил 4. Я так и не знаю, что считалось правильным. (Недавно я узнал, что этот бессмысленный вопрос до сих пор дискутируется в кругах преподавателей некоторых ВУЗов.)

Большинство моих однокурсников имело вполне приличный уровень подготовки. К сожалению, у очень многих не было хороших навыков устного счёта, и им нелегко было следить за выкладками на лекциях и семинарах. Это стало дополнительным источником дифференциации по уровню образования.

На первом курсе я довольно быстро понял, что читаемый нам курс общей физики малоинтересен, но у нас не было

сомнений в квалификации лектора - В.И. Ивероновой. Нам нравился общий курс физики электромагнитных явлений, читавшийся С.Г.Калашниковым. Только познакомившись с соответствующим курсом Г.И.Будкера в Новосибирском университете, я понял, что читавшийся нам курс устарел, отвечая на вопросы, которые казались трудными за 20-30 лет до нас. Насколько я знаю, курс, изучаемый в МГУ, не очень изменился и поныне. Большой курс термодинамики (Семенченко) потребовал от меня просто повторного изучения в Новосибирске. Годовой курс механики на 2-3-м курсах нам начал читать А.М. Лаврентьев (отец основателя Сибирского отделения АН), умерший в середине курса. Первая часть этого курса традиционно содержала статику и т.п. разделы старинных курсов, которые ничего не добавляли к тому, что мы узнали (скорее самостоятельно) на первом курсе. Во второй части этого курса изучалась аналитическая механика в духе курса Л.Д. Ландау, это близко к тому, что изучается в НГУ. Приятно было слушать курс квантовой механики в изложении И.Е. Тамма и его же *Введение в квантовую теорию поля*. Настоящим праздником был спецкурс только что появившегося в 1954г. на факультете Л.Д.Ландау о симметрии и законах сохранения.

Математические и общие теоретические курсы были достаточно солидными. Мне довольно быстро наскучил (из-за моей предшествующей математической подготовки), по-видимому хороший курс анализа и аналитической геометрии на I курсе (Н.В. Ефимов). Я с сожалением вспоминаю, что практически проигнорировал курс С.В. Фомина. Курс уравнений математической физики (А.Н.Тихонов) для меня лично был невыносимо скучен. Существенный вклад в моё понимание его проблематики внесла А.Б. Васильева.

Многим моим сокурсникам хороших преподавателей (ассистентов) не досталось. Я помню, как один из них – не худший (Д.) – заявил, что не всякий вектор можно раскладывать по компонентам. Другому (Ш.) студенты в шутку предложили доставлять на Землю углеводороды с Юпитера, где их много, соединив планеты гибким трубопроводом так, что газ пойдёт из области высокого давления на Юпитере в область низкого давления на Земле. Он нашёл лишь одно возражение: «Трубопровод порвётся».

Мне повезло – механике на первом курсе меня учил прекрасный физик и замечательный человек К.А. Туманов, семинары по аналитической, а затем и по квантовой механике у нас вёл В.Д. Кривченков, чьи приёмы мы перенесли позднее в

Новосибирский университет. В курсе военной подготовки, где нас обучали ремонту радиолокаторов, потрясающее мастерство лектора-физика демонстрировал инженер – лейтенант Е.Д. Щукин.

Мой друг Игорь Бекаревич с первого курса привил мне интерес к философским вопросам физики. Будучи тогда правоверными марксистами, мы честно конспектировали книги Ленина и Энгельса и жадно читали и конспектировали статьи в журнале «Вопросы философии». Наконец, нам попала статья известного философа Максимова, подвизавшегося и на физфаке, где обсуждался вопрос: *Камень бросили вниз из окна движущегося поезда. В системе отсчета, связанной с поездом, камень падает вертикально вниз, по отношению к неподвижной земле камень летит по параболе. Какое же движение истинно?* Автор нашел ответ на свой вопрос (уж не помню какой). Нам стало ясно, каков уровень современных философских дискуссий, и мы прекратили чтение этого журнала.

Мы с Игорем посещали и заседания философского семинара физфака (в сущности Ученого Совета). В частности, глубокое впечатление (омерзение) оставил семинар, где Н.С. Акулов обвинял Н.Н. Семенова в том, что тот украл у него (Акулова) теорию цепных реакций (за которую тот получил вскоре Нобелевскую премию), и председательствовавший декан А.А. Соколов, не пресекая абсурдных обвинений, только жалобно повторял: «пожалуйста, без ненаучных выражений». «Научные» интересы руководства факультета тех лет хорошо отражены в поэме выпускника 1949г. известного физика Г.И. Копылова «Евгений Стромынкин», ходившей тогда в списках. Он описывает философский семинар того времени:

Тьму тем гоняли в жарких словопреньях:  
Что стар Эйнштейн, что сволочь Бор,  
Что физик – не макроприбор,  
А социальное явление...

Яркий пример для понимания обстановки на факультете даёт такой эпизод его жизни. Осенью 1953 г. университет переехал в новое высотное здание на Воробьёвых горах. Москвичи стремились посмотреть, как это - внутри советского небоскрёба, где у каждого студента – отдельная комната (большинство москвичей жило в коммуналках). В университет пускали только по пропускам. И вот студент К. пригласил к себе в общежитие родственника. Тот посидел у него в комнате, потом вышел в холл, побеседовал со студентами и ушел. А через несколько дней студента К. приказом по факультету изгнали из общежития «за

приглашение посторонних людей в общежитие». Этим посторонним был Л.Д. Ландау.

В то же время система обучения, разработанная школой Мандельштама, оказалась замечательно устойчивой. По составленным преподавателями этой школы задачкам и программам даже не слишком грамотные преподаватели неплохо выучивали на семинарах даже и не очень сильных студентов.

Общие курсы иллюстрировались большим числом демонстраций, которые были предметом работы коллектива сотрудников во главе с Сергеем Ивановичем Усагиным и упоминавшимся Валентином Семёновичем. Это были блестящие демонстраторы и экспериментаторы. Однажды мы спросили В.С., почему не оставили на работу в демонстрационном кабинете Бонгарда и Смирнова (такие идеи были). В.С. ответил так: *«Они были готовы вместо настоящих демонстраций показывать имитации»* (например, вместо демонстрации давления света показывать радиометрический эффект – вращение крылышек вертушки из-за разогревания остаточного газа.) На мой взгляд, общие курсы были перегружены демонстрациями, без многих из них можно было обойтись (в Новосибирском университете реализуется другая крайность). Зато некоторые демонстрации остались в моей памяти на всю жизнь (об этом – ниже).

В руках не очень сильных людей разработанная ранее в МГУ система обучения не развивалась, огрехи обучения были хорошо видны. В 1953 г., с переездом в новое здание, студенты взбунтовались против такого положения. Очередная комсомольская конференция физфака растянулась на несколько дней, в течение которых было составлено письмо высшему арбитру того времени - ЦК КПСС о том, что *нас учат не тому и не те*. Опасаясь политического скандала, нас уговаривали направить письмо в менее высокую инстанцию, например, в ректорат, в партком МГУ или в министерство. Но мы всё же направили письмо «на самый верх». По-видимому, мы попали в точный временной интервал после смерти Сталина, когда многое уже было «можно», но почти никто не знал об этом. С нового 1954 учебного года на физфак пришли в качестве лекторов и организаторов кафедр Л.Д. Ландау, И.Е. Тамм, Л.А. Арцимович, М.А. Леонтович, И.К. Кикоин и др., вернулся на свою кафедру низких температур П.Л. Капица.

Новый декан В.С. Фурсов не стал делать больших преобразований (зато и продержался в деканах до 90-х годов), и устоявшийся монолит старого состава никогда не давал слишком много воли «чужакам». Так, в 1961г. Л.Д. Ландау не удалось взять

к себе в аспирантуру С.А. Хейфеца, и тот поступил в аспирантуру ИЯФ СО (по сибирской льготе). Это обернулось удачей для СО и физфака НГУ, где в семидесятых годах Хейфец прочёл интересный курс квантовой механики.

Я был не очень добросовестным студентом. Многие курсы я практически пропустил, исправно работая на семинарах, но складывая для себя общую картину только при подготовке к экзамену. Вообще время подготовки к экзамену было очень интересным для меня периодом, когда я окончательно строил для себя общую картину изучаемого курса. Такой метод обучения оставил в стороне много интересных и важных вопросов. Этот недостаток частично компенсировался обсуждениями с однокурсниками, особенно в процессе подготовки к экзаменам. Многие недостатки своего образования я восполнил в процессе преподавания в НГУ. К сожалению, я не получил вкуса к работе с литературой, и до сих пор предпочитаю, чтобы новые для меня вещи сначала кто-то рассказал мне.

Среди необязательных для нас учебников я помню замечательный «Курс анализа бесконечно малых» Валле Пуссена, требовавший серьёзной работы при его чтении. Разумеется, я читал изданные к тому времени учебники Ландау и Лифшица. Они покоряли энциклопедичностью, но были не очень симпатичны мне – из них нельзя было понять, как авторы догадались до решения своих задач. С этой точки зрения книги Н.Н. Боголюбова, в значительной мере математика по стилю работы, выглядели приятнее (хотя, конечно, они не были столь энциклопедичны). Очень симпатичны были книги Р. Поля и Зоммерфельда, учебник И.Е. Тамма «Основы теории электричества», довольно громоздкий курс Г.С. Ландсберга «Оптика». К нашему удивлению, вполне неплохим оказался учебник по молекулярной физике А.К. Тимирязева, совершенно неуважаемого нами заведующего кафедрой истории физики и (как я узнал позднее) борца с теорией относительности и квантовой механикой – «памятника сын» по Г. Копылову.

Здесь уместно сказать о важной общей черте моих однокурсников. Значительная часть из нас поступала на физфак, руководствуясь вполне честолюбивыми соображениями: «*Я хочу открыть что-нибудь важное в том, как всё устроено*», или «*я хочу изобрести что-нибудь совсем новое*». Сюда добавлялась гордыня – «*Я буду учиться в лучшем ВУЗе страны*» (неважно, обоснована эта гордыня, или нет). Этот амбициозный настрой, по-видимому общий для большинства факультетов МГУ, создавал довольно высокий уровень интеллектуального взаимодействия в

нашем сообществе <sup>6</sup>. Мы хотели заниматься наукой и были заинтересованы и в научном и в человеческом общении. Главную роль в развитии моих интересов и понимания физики и жизни сыграли мои ближайшие друзья Игорь Львович Бекаревич (1934-1961) и Владислав Борисович Зернов, о которых я уже писал, Сергей Ионович Ветчинкин (1934-1995) – выдающийся специалист по квантовой химии (Институт Химической Физики АН, Москва), Герман Николаевич Кузнецов (ныне живёт в Новосибирском Академгородке), Аркадий Петрович Леванюк (важные работы по сегнетоэлектрикам и фазовым переходам, долгое время работал в Испании), Лев Петрович Щедровицкий, Лев Дмитриевич Соловьёв (1934-2003) (мы познакомились осенью 1947г. в пионерлагере Артек, вместе делали свои дипломы, он работал сначала в ОИЯИ (Дубна), а с 1964г. - в Институте Физики Высоких Энергий (ИФВЭ) - Серпухов, где был директором в 1974-1993гг.; я считал его уход с поста директора ИФВЭ благотворным для него). Разговоры со многими другими сокурсниками (и во время обучения и позднее) тоже сыграли важную роль в становлении моего кругозора и интересов<sup>7</sup>.

В университете встречаются люди самых разных специальностей, их взаимодействие создает некоторую общую культурную атмосферу. Для моего вхождения в эту атмосферу большую роль сыграли занятия спортивным туризмом. Он послужил важным (но не единственным) источником моего общения со многими замечательными людьми с разных факультетов<sup>8</sup>. Общение с ними обогащало возникавшую у меня картину жизни.

---

<sup>6</sup> Уже тогда я чувствовал, что эта амбициозность не характерна для большинства наших ВУЗов, куда многие поступали просто чтобы получить диплом инженера, или педагога, или врача. В этих обстоятельствах действительно хорошие инженеры, врачи, педагоги являются значительно более самостоятельными и куда более относительно редкими (по отношению к числу студентов), чем хорошие математики, физики, географы,...

<sup>7</sup> Среди них - Наташа Жданова (ИРЭ РАН), Саша Козлёнков, Миша Сонин, Слава Стрелков и Костя Карташев (ин-т им. Курчатова), Аня Тихонова (Ин-т кристаллографии РАН), Женя Фетисов (ФИ РАН), Скифф Соколов (ИФВЭ), Оля Гермогенова, Оля Соболева, Лена Львова, Саша Чижов, Владик Дараган.

<sup>8</sup> Это – физфаковцы Юра Днестровский (мат. физика, МГУ), Юра Александров (физика частиц, ФИ РАН), Платон Воротников (физика ядра, ИАЭ), Женя Шитов (геофизика), Женя Юшманов и Рэм Кузьмин (физика плазмы, ИАЭ), Илья Бриккер (ядерная физика, МНИИ-1), Саша Веденов (физика сложных процессов), Игорь Иванчик (ФИ РАН), Люся Лазарева

Многие из нас (и я в том числе) свято верили тогда коммунистическим идеалам, их высшим пророкам и установленным ими законоположениям.



С.И. Ветчинкин

Вместе с нами, вчерашними школьниками, на нашем курсе училось 15-20 участников войны, демобилизованных только через 4-5 лет после её окончания. Некоторые из них ещё и хорошо

---

(МГУ), Толя Кочерыжкин, Глеб Коткин (теоретик, НГУ), Женя Велихов (физика плазмы, ИАЭ), Юра Гапонов (физика ядра, ИАЭ), Саша Скринский (ИЯФ СО), Игорь Мешков (ИЯФ СО, ОИЯИ), Женя Миронов, Витя Якименко. Это – химики Дима Трифонов, с которым я дружил много лет, Лев Власов, Леша Бочков, Виталий Коннов, Катя Кузнецова (Лебедева), Володя Мещеряков, Элькон Чудинов (ИАЭ), Оля Кабанова, Наташа Бучельникова (ИЯФ СО, физика плазмы), математики Коля Константинов, Лев Меньшиков, Юра Белецкий, Лев Нисневич и Андрей Тюрин, астроном Леша Данилов, историки Женя Черных и Наташа Пригарина (с ней мы иногда встречаемся и ныне), биолог Женя Приданцева (мы дружны до сих пор), филолог (а затем географ) Таня Пахомова, филолог «рыжий» Игорь Мельчук - выдающийся лингвист (Канада), геолог Володя Козлов, экономисты Борис Мясоедов, Женя Чернов, Адель Никольская (Михалевская) и Инна Кузнецова (Новожилова), психологи Кирилл Бардин и Женя Шулушко, журналист Миша Азарх.

Особо следует сказать о Дмитриии Алексеевиче Самарине, возглавлявшем работу с туристами на спортивной кафедре МГУ. Сейчас я думаю, что он был потомком известных славянофилов, затаившимся в физкультурной работе. Высокая культура и доброжелательность были его основными чертами. Позже, приезжая из Новосибирска, я старался почти каждый раз посещать Д.А., обычно вместе с Димой Трифоновым. Я ругаю себя за то, что не пытался расспрашивать его о прошлом.

учились и очень достойно вели себя, завоевав всеобщее уважение. Один из них - Юра (Нур Киямович) Бухардинов, парторг нашего курса, в дальнейшем довольно крупный организатор науки. Другой - староста нашей группы 1 курса Сергей Огородников, работавший позднее, кажется, в атомной промышленности.

Большинству демобилизованных учиться было трудно. Поступив в МГУ, они начали приводить в порядок свои дела. Оказалось, что некоторые из них по году – полтора не платили комсомольские взносы. Такие проступки подлежали обсуждению на комсомольском собрании (почти все 330 студентов были комсомольцами, несколько человек - членами партии и, может быть, 2-3 были беспартийными). На собрании, обсуждавшем пропуск в оплате взносов студентом К., он объяснял, что после демобилизации, работая и готовясь к поступлению в МГУ, не вставал на комсомольский учёт, т.к. ему поручили бы какую-нибудь общественную работу, и ему не хватило бы сил на подготовку в МГУ. Со стыдом вспоминаю, что на собрании я требовал исключить его из комсомола – в соответствии с буквой устава (исключение полагалось за неуплату взносов не то за 3, не то за 6 месяцев). Меня не волновали мотивы, и казался ложным аргумент, приводимый мне в кулуарах, что исключение из комсомола влечёт за собой исключение из МГУ. К счастью, собрание оказалось мудрее меня.

Этот эпизод не отразился на отношениях с однокашниками. Коллеги уважали возможность наличия другой точки зрения и активную заинтересованность в общем деле. Годы спустя я узнал имена некоторых сексотов среди нас, по нашей наивности, мы в наших разговорах совершенно не учитывали их существования. (Это дорого обошлось моему другу Герману Кузнецову, который окончил физфак только через 3 года после нас и вынужден был отказаться от работы в интересовавших его направлениях).

Бывало всякое. Однажды нас собрали на курсовое комсомольское собрание по заявлению одной из студенток. Она добыла личные дневники студента С. и потребовала обсуждения его морального облика, поскольку там содержались записи типа «вчера на танцах прижимался к К.». Мы полтора часа занимались этим мерзким обсуждением, закончив каким-то минимальным взысканием. По-видимому, наши комсомольские начальники считали, что только так избавят С. от дальнейших расследований. К счастью, это был единственный случай.

В то время каждый комсомолец (а почти все студенты были комсомольцами) был обязан вести «общественную работу».

Главный вид общественной работы был - агитатор у строителей (долгое время – у строителей нового здания МГУ) – вид демагогии широкого употребления. К счастью, мне не пришлось заниматься этим. Три года я отчитывался по этому виду деятельности работой со школьниками, а затем – работой по туризму (на 4 курсе я был председателем туристской секции МГУ).

На зиму 1952-53г. приходится один из мрачных периодов в истории страны – дело врачей и подготавливавшаяся депортация евреев. К чести моих сокурсников, за всё время моего обучения я только раз слышал прямо антисемитское высказывание, и его автор немедленно был остановлен другими студентами.

В конце февраля 1953г. произошло столкновение, значение которого я осознал только значительно позднее. Я не умел рисовать, а тут вдруг научился рисовать *кукиши*, и стал вставлять его во все свои записи. С началом нового семестра у нас возобновились занятия по военному делу. Оно состояло из нескольких курсов, которые мы должны были конспектировать в одной тетради, сдаваемой в секретную часть кафедры. В один из дней к нам пришел лектор по тактике подполковник Колпаков. «Ну где я остановился в конце семестра? Покажите кто-нибудь свою тетрадь. Ну вот, Гинзбург». Листает, журит за неаккуратность, и вот, перелистнув несколько страниц, возвращается назад. «Это что? Что такое? И это против слов *Сталинская военная наука побеждать!*» (*Таких слов я писать в конспекте не мог – я никогда не пишу пустых высказываний.*) «Да я Вас ...» Тетрадь была изъята. Как я узнал позднее, за Колпаковым было несколько посаженных студентов. Но к моему счастью, в эти дни появились бюллетени о болезни, а затем и о смерти Сталина, и дело было забыто.

Смерть Сталина стала громадным потрясением для большинства из нас. Пение Интернационала в клубе МГУ после сообщения об этой смерти осталось одним из самых сильных впечатлений моей жизни. Конечно, мы попытались пойти прощаться со Сталиным, собравшись значительной частью курса, но быстро рассеялись в толпе, сохранив группу в 20-30 человек. Мы шли по бульварам от метро Кировская (ныне «Чистые пруды»). Подойдя к Сретенским воротам, мы услышали о давке на Трубной площади (где погибло много людей). Тут же Юра Бухардинов организовал из нас цепочку, и мы перегородили один из двух проходов на Сретенский бульвар. Надеюсь, что это спасло несколько жизней.

Помню, как мы рассуждали с Сашей Козлёнковым, кто же теперь будет во главе страны. «Хорошо бы Молотов, но ведь будет

Маленков». Очень быстро мы сообразили, что бюллетени о болезни Сталина были липой, их не могли публиковать, пока он был жив (*бог болей не может*).

В конце второго курса, к лету 1953г., несколько наших студентов побывали в одном из колхозов Зарайского района Московской области, на комсомольском собрании курса они рассказали о тамошней нищете и призвали летом поехать туда поработать. И мы *абсолютно добровольно* отправились туда в июле 1953г. Нас потрясли уровень нищеты в деревне и абсолютное нежелание крестьян работать в колхозе. Там мы услышали по радио сообщение об аресте Берия, и – я помню – даже при нашем тогдашнем уровне конформизма – не поверили, что он – английский шпион.

Вернувшись в Москву, мы с Игорем Бекаревичем отправились в гости к знакомому моей мамы, который в 20-е годы был одним из руководителей Крестьянского Интернационала, а затем Профсоюзного интернационала, (как я узнал потом - отсидел, был реабилитирован), а теперь работал инженером в одном из НИИ. Мы полагали его большим авторитетом в марксистской идеологии. Мы спрашивали его, почему крестьяне так плохо живут и не хотят работать. Я не помню его добропорядочных ответов. Но тут Игорь задал ему «теоретический» вопрос. «Как понимать основной принцип коммунизма (прописанный во всех учебниках)– *от каждого по способностям, каждому по потребностям? А если каждый захочет иметь автомобиль?»* (Москва, 1953!) Ответ был «*А потребности должны быть рациональными*». Мы не стали спрашивать, КТО будет определять рациональность потребностей. Это было первым серьезным ударом по броне моего ортодоксального мировосприятия, полностью разрушившегося после знакомства с докладом Хрущева на XX съезде партии в 1956г. (разумеется картина 1956г. претерпела со временем значительные уточнения).

Несомненным преимуществом физфака МГУ перед физфаком НГУ является большое число современных спецкурсов для старшекурсников. Тем не менее, как я могу понять, физфак МГУ остаётся заводом по подготовке кадров со слабеющим базовым обучением, но с широким набором специальных кафедр. Нередко обучение в МГУ профанировалось тем, что нагрузку, записанную за профессорами, выполняли их аспиранты (зачастую малоквалифицированные) в порядке педагогической практики (и без оплаты). Я помню, как экзамен по статистической физике

принимал прикомандированный из Бурятии аспирант, не знавший ни русского языка, ни физики. В НГУ я о подобном не слышал.

С осени 1952 г. из нашего курса выделились два отделения – строения вещества (ядерной физики) и радиофизики – оба со сроком обучения 5.5 лет (у нас, остальных – 5лет). Игорь Бекаревич и многие сильные студенты нашего курса оказались на отделении строения вещества. Меня туда не взяли - фамилия не та, да я и побаивался возможного собеседования с более детальной анкетой – *муж умершей тётки то ли сидел, то ли был на поселении в Норильске.*

За все время обучения в МГУ с прямым антисемитизмом я столкнулся только при распределении по кафедрам (по специальностям) и распределении при выпуске. Конкретным носителем этого для меня стал мой «заклятый друг» И.И. Ольховский.

В середине 3 курса у нас происходило распределение по кафедрам. Я считался одним из сильных студентов курса, и рассчитывал, что моё заявление о приёме на кафедру теоретической физики не встретит возражений. Но неожиданно для меня на пути встал парторг кафедры И.И. Ольховский. *Куда угодно, только не в теоретики.* Я выбрал наименее противную для меня кафедру магнетизма, но ходил и на спецкурсы к теоретикам (надо признать, не очень интересные в те годы).

За год до регулярного курса нам прочёл курс квантовой механики аспирант А.А. Логунов, будущий ректор МГУ. Как-то он сказал, что в университет пришёл очень сильный теоретик Н.Н. Боголюбов, ставший заведующим кафедрой теоретической физики физфака (на отделении строения вещества была своя кафедра теоретической физики). По совету Логунова, на 4 курсе я обратился к Боголюбову с просьбой о зачислении на кафедру. После простой проверки он подписал моё заявление, и я стал теоретиком. Непосредственное руководство работой двух студентов – Льва Соловьёва и меня - было возложено на молодого ученика Н.Н. – Д.В. Ширкова. После этого решения я с облегчением прекратил недавно начатую сдачу экзаменов минимума Ландау. Под руководством Ширкова мы с Соловьёвым сделали две работы, ставшие нашими дипломами. Кому из нас достанется какая тема, мы разыгрывали с помощью монеты. Оказалось, что это предопределило тематику работы каждого из нас примерно на десятилетие. По-настоящему смысл сделанного мной я осознал только в обсуждениях с рецензентом диплома Б.В. Медведевым, с которым я через несколько лет подружился.

Уместно сказать несколько слов о содержании моего диплома. За пару лет до того Н.Н. Боголюбов и Д.В. Ширков показали, что использование уравнений ренормализационной группы в квантовой теории поля позволяет улучшать сходимость теории возмущений для некоторых физических величин (суммировать асимптотики диаграмм). Они, в частности, исследовали теорию взаимодействия Юкавы плюс четверное самодействие скалярного поля (теория с двумя зарядами). Изучая эволюцию этих зарядов с расстоянием (обобщённое дебаевское экранирование), они нашли сепаратрисы получившейся системы дифференциальных уравнений в фазовой плоскости зарядов. В моём дипломе были получены все фазовые траектории. Небольшое расширение задачи, рассмотренной Боголюбовым и Ширковым, потребовало вычислить вклады нескольких диаграмм Фейнмана и решить простую систему дифференциальных уравнений с коэффициентами, полученными из этих диаграмм. Одновременно эту задачу решал известный физик К.А. Тер-Мартirosян, разработавший для её решения остроумный и громоздкий метод «паркетного суммирования» (неаккуратности которого впоследствии заметил А.А. Ансельм). В опубликованной статье я написал, что работа К.А. содержит численную ошибку. Подробное обсуждение с ним показало, что ошибку (лишний коэффициент 2) допустил я, о чём и было сообщено в следующей моей публикации. Однако, сам факт моей наглости с заявлением об ошибке такого счётчика, как Тер-Мартirosян, произвёл впечатление на молодёжь в окружении Л.Д. Ландау, и А.А. Веденов попросил меня рассказать идеи метода. К сожалению, Л.Д. Ландау отказывался принимать этот технически очень простой метод, не находя его достаточно убедительным.

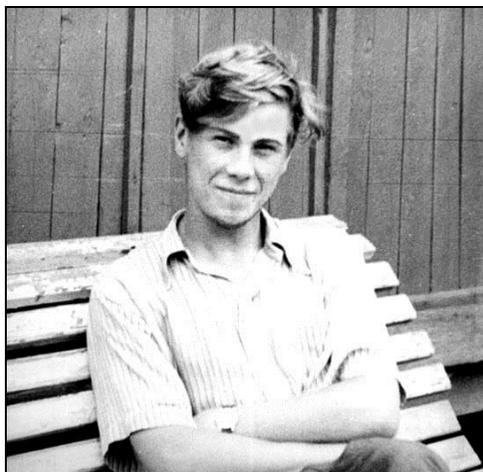
Вскоре после этого Д.В. Ширков ушел в исследования пионных систем. Через десяток лет К. Вильсон заново «открыл» метод ренормализационной группы Боголюбова-Ширкова, основываясь на очень наглядных и убедительных для многих физиков соображениях, и с большим успехом применил его к теории фазовых переходов второго рода. Вслед за тем Гросса и Вильчек с помощью ренормализационной группы обнаружили асимптотическую свободу в квантовой хромодинамике, что стало основой современной теории элементарных взаимодействий.

### **Мои главные учителя**

Я не могу выделить однозначно кого-нибудь из своих школьных учителей. Они были неплохи, некоторые - хороши, и я благодарен им. То же я могу сказать о многих своих друзьях,

коллегах и преподавателях в МГУ. Но есть несколько человек, которые определили и направили мое развитие.

**Николай Николаевич Ченцов – Коля** (1930-1992), в описываемые годы студент, был руководителем нашего школьного кружка по математике на мехмате. Он продемонстрировал нам стиль отношения к науке и отношений в науке – без ложной значительности, через юмор и взаимоуважение, с интересом, беспощадностью и благожелательностью. Большую часть жизни он проработал в Институте Прикладной Математики АН.



И.Л. Бекаревич, 1960

**Игорь Львович Бекаревич** (1934-1961) – мой лучший за всю жизнь друг и главный мой учитель физики. Он учил меня и в процессе совместного изучения наук и в процессе преподавания школьникам в физическом кружке на физфаке МГУ. Он научил меня взгляду естествоиспытателя на мир, который мы анализируем с помощью законов физики, беседы с ним и с **Владимом Зерновым** помогли мне яснее и бескомпромисснее понять многие явления и законы природы. Надеюсь, что мне хоть в малой мере передалась характерная для Игоря жадность к познанию всего нового и к новым умениям. Наконец, Игорь своим примером учил меня ответственности за дело. И еще он просто был замечательный человек. Все, кто его знал, согласны, что не встречали человека лучше него. Это был глубокий нетривиальный учёный. Мы убеждены, что он имел бы выдающиеся достижения в физике. Он переехал в Академгородок в 1961 г. и утонул на нашем пляже тем же летом.

**Константин Арташесович Туманов (1920-1957) и Владимир Дмитриевич Кривченков (1917-1997)** – мои университетские преподаватели. Они учили меня четко различать основные законы и следствия из этих законов. Полученные от них уроки я широко применял в своей преподавательской практике. Методы В.Д. Кривченкова мы перенесли позднее в Новосибирский университет. Выдающийся советский альпинист К.А. Туманов погиб при спуске с вершины Дых-тау на Кавказе.

**Евгений Дмитриевич Щукин** – мой преподаватель радиолокации на военной кафедре (выпускник физфака МГУ, загнанный в армию). Здесь моё счастье возникло из-за несчастья. Я ходил на специальные курсы двух кафедр, и посещал нужное число занятий по военному делу со студентами разных групп (специальностей). У Е.Д. Щукина я увидел, что можно рассказывать одну и ту же тему совсем по-разному для различных аудиторий. По мере сил я пытаюсь делать подобное в своей преподавательской практике.

Е.Д. Щукин сумел без особых взысканий не подняться выше чина старшего лейтенанта, и в 1956 демобилизовался. Он стал очень видным физико-химиком.



Г.И. Будкер

**Николай Николаевич Боголюбов (1909-1992)** – великий ученый, с которым лично я общался очень немного. Слушая его, я увидел, что зачастую лишь совсем небольшое число исходных допущений позволяет получить выводы большой значимости. Глядя на него, я осознал, что математика может быть не только простым инструментом физика, но и позволяет увидеть общность и единство внешне не связанных явлений. Я с гордостью считаю, что принадлежу к его школе.

**Герш Ицкович (Андрей Михайлович) Будкер** (1918-1977) – великий учёный и организатор, нетривиальный мыслитель, чрезвычайно богатый идеями. Я общался с ним больше всего по поводу организации первой Всесибирской олимпиады школьников, но я обучал студентов по его идеям. От него я воспринял идею необходимости оценок порядков величины при анализе явлений. Мне кажется, что культура оценок, развитая **Будкером – Чириковым**, выше того, что делают в МФТИ. Она аккуратнее и надежнее. К сожалению, воспоминания о последних годах его жизни омрачены для меня личным расхождением с Андреем Михайловичем.



Д.В. Ширков

**Дмитрий Васильевич Ширков** – мой первый научный руководитель. Он дал первый толчок к моей научной деятельности. Затем он пригласил меня работать в Сибирском отделении АН, за что я ему очень благодарен. Думаю, что без переезда в Новосибирск моя жизнь была бы значительно менее интересной. Правда, у меня не лежала душа к тематике, которую Д.В. развивал в Новосибирске (хотя я и пытался что-то делать в этом направлении). Свободная обстановка в созданном им отделе теоретической физики ИМ позволила мне постепенно выйти на интересную самостоятельную работу.

### **После МГУ, Москва**

В те годы все выпускники ВУЗов подлежали обязательному распределению по местам работы – своеобразная плата за практически бесплатное образование. Подошло

распределение на работу и для меня, и мой «заклятый друг» И.И. Ольховский (в этот момент – зам. декана) расстарался. Мне предложили место в Морском Научно-Исследовательском Институте (МНИИ-1) Гос. Комитета по судостроению («почтовый ящик» в Москве (вблизи платформы «Новая»). Мои попытки попросить что-нибудь другое встретили контрпредложения – школа (а я насмотрелся на маму) или Катав-Ивановск на Южном Урале (это место я видел в туристском походе и понимал, какой это ужас). Пришлось подписывать. По иронии судьбы за несколько лет до этого моя тётя Рахиль Юльевна Малая, став кандидатом технических наук, пыталась устроиться именно в этот МНИИ. Её не взяли туда, наверно по причине борьбы с «космополитизмом», и она умерла от инфаркта, по-видимому связанного с несбывшимися ожиданиями. Времена изменились, и я получил это распределение по тем же мотивам, по которым раньше сюда не брали мою тётю.

Это был первый год, когда неявка по месту распределения не каралась тюремным заключением. Однако была введена ответственность лиц, взявших человека на работу вопреки распределению.

Тем временем вышло постановление об организации Объединённого Института Ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, как альтернативы CERN. Директором ОИЯИ стал Д.И. Блохинцев, а директором лаборатории теоретической физики ОИЯИ (ЛТФ) – Н.Н. Боголюбов. Меня пригласили на работу в ЛТФ, заявление подписали Боголюбов и Блохинцев, и оно ушло в Гос. Комитет по атомной энергии. Через пару месяцев был получен отказ – то ли сработала моя фамилия в ГКАЭ, то ли судостроители оказались сильнее (Гос. Комитет по судостроению возглавлял кандидат в члены Политбюро).

Но пока бумаги гуляли, надо было как-то зарабатывать на жизнь. Со второго курса я активно занимался туризмом, год был председателем туристской секции МГУ. Я поделился своими заботами с Д. А. Самариним, шефом туризма на спортивной кафедре МГУ. Оказалось, что начиная с 1956г. все занятия по физкультуре должны были идти по спортивным специализациям, среди них был и туризм. Д.А. предложил мне организовать специализацию «туризм», совместно с немного более старшим выпускником экономического факультета Борисом Мясоедовым и профессионалом туризма Эдуардом Дёминым<sup>9</sup>. Мясоедов, как и я, представлял спортивный туризм, Дёмин – организованный туризм

---

<sup>9</sup> Работа с почасовой оплатой не вызывала административных вопросов.

(путёвки). Д.А. и мы трое определили стиль работы специализации на будущее. Концепция преподавания не вызывала сомнений – основу должны составить походы выходного дня по Подмосквью, к ним добавляется немного лекций. Мы разделили факультеты. Я выбрал себе физфак и мехмат. В походы выходного дня приглашались все желающие, здесь я приобрёл много друзей (необязательно получавших у меня зачёт)<sup>10</sup>. Помню, как во время такого похода оценивал температуру и давление окружающего нас комариного газа. Здесь я приобрёл ещё один опыт преподавания – людям, которых не очень интересует предмет.

В эти годы я немного подрабатывал и репетиторством. Я работал с людьми, которые не имели особых способностей, но хотели чему-то научиться. Это тоже дало мне ценный педагогический опыт. В частности, я понял, что наиболее успешны те занятия, где я собираю 3-4 учеников и решение каждой из разбиравшихся задач доводит до остальных один из этих учеников – разумеется, каждый раз новый.

(полностью текст статьи читайте на сайте «Семи искусств»)



---

<sup>10</sup> Среди них Валерий Никольский (1938-1980), Андрей Славнов (Математический Институт РАН), Анатолий Шабат (Физический Институт РАН), Анджелика Чечина (матфизика), Таня Титова (химфизика), Миша Маринов (теоретик, ИТЭФ, затем Technion, Хайфа), Валя Багин, Элла Кушниренко (Стршельницкая) – некоторых уже нет, и ставшая в дальнейшем моей женой Галя Фролова.

**Ирина Чайковская**

## **Новые мысли о старом**

**Роман «Евгений Онегин»,  
увиденный свежим взглядом**

*Об Онегине*



первое, что пришло мне в голову, когда я начала перечитывать роман, - сходство дуэлей Пушкина и его героя. Можно сказать, что реальный Пушкин в своей дуэли с Дантесом в чем-то повторил Онегина и Ленского.



Возьмем календарное течение событий. Дуэль Онегина с Ленским проходила сразу после именин Татьяны, которые приходятся на 12 января (по старому стилю). Дуэль Пушкина также проходила зимой и тоже в январе, хотя и чуть позже, 27 января. Согласитесь, что она могла бы быть и в любое другое время года и в любой другой месяц зимы, но случилась именно тогда и ровно в том месяце, когда стрелялись пушкинские герои. Есть картина Репина, иллюстрирующая дуэль Онегина и Ленского. Картина, надо сказать, очень неудачная. Спинай к зрителю на

утоптанной снежной площадке стоит Онегин в длинном черном пальто и шляпе. Он вытянул правую руку с пистолетом, другую руку заложил за спину, его поза очень устойчива – он стреляет прицельно, с целью убить. Ленский стоит к зрителю лицом. Он много субтильнее плотного Онегина, одет в светлую шинель и светлый же картуз, плащ скинут на снег. Правая рука с пистолетом вытянута как-то слишком картинно, ощущение, что его пистолет направлен в сторону от противника. Еще минута - и пуля Онегина его подкосит.

Если вы захотите посмотреть картинки, иллюстрирующие дуэль Пушкина, то наткнетесь на очень схожую с нами рассмотренной. Только на месте Онегина стоит Дантес в белом мундире и сапогах, а напротив него, примерно на том же расстоянии, что и Ленский на картине Репина, – Пушкин. Он как-то очень странно закинул голову и вытянул правую руку с пистолетом. Смотрит он вовсе не на противника, а куда-то совсем в другую сторону. Обе картинки далеки от художественного совершенства, но они свидетельствуют о том, что в нашем сознании реальная пушкинская дуэль сливается с дуэлью его героев, Онегина и Ленского. Причем Пушкин, если говорить опять же о привычном стереотипе сознания, ассоциируется с Ленским, а Дантес с Онегиным<sup>1</sup>.



Эту ассоциацию Пушкин-Ленский вывел на поверхность Лермонтов в стихотворении «На смерть поэта» (1837)

---

<sup>1</sup> И это при том, что Дантес был много моложе Пушкина, он родился в 1812, в один год с Натали, к моменту дуэли ему было 25 лет (Пушкину - 37). То есть по возрасту Пушкин ближе к Онегину, чем к юному Ленскому.

И он убит — и взят могилой,  
Как тот певец, неведомый, но милый,  
Добыча ревности глухой,  
Воспетый им с такою чудной силой,  
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

В этом представлении, как кажется, содержится двойное несоответствие. Первое. Дантес не хотел убивать Пушкина, незадолго до того он породнился с семьей Гончаровых, стал мужем сестры жены Пушкина, Екатерины. Пара ждала прибавления. Дуэль с Пушкиным вредила и его начавшейся карьере, так как поединки были запрещены царем и сурово карались. Действительно, после дуэли карьера Дантеса, так удачно начавшаяся, прервалась, он вынужден был покинуть Россию.

Зачинщиком дуэли был Пушкин. Он, как и его герой Ленский, горел желанием покарать «развратителя». На оскорбительное письмо Пушкина, отправленное барону Геккерну, приемному отцу Дантеса, ответить можно было только вызовом. Условная дуэль были, по настоянию Пушкина, очень жесткими, смертельными – на двадцати шагах, с барьером в десяти шагах (у Онегина с Ленским - на тридцати двух шагах). Еще раз повторю, что цели убить Пушкина у Дантеса не было. Можно сказать, что Дантес убил Пушкина «нечаянно», как роковым образом случается на подобных поединках.

Пушкин ведь тоже мог его убить. Стрелок он был отменный, в юности, в Южной ссылке, каждодневно упражнялся в стрельбе из пистолета, позже носил тяжелую палку, вырабатывая «твердость» руки, и все это лишь для того, чтобы в нужный час не промахнуться. Ему было с кого списывать героя «Выстрела» Сильвио, ежедневно стрелявшего из пистолета в ожидании оставленного за ним выстрела. Уже раненный, упавший на снег, поэт стрелял по Дантесу из другого пистолета, так как ствол предыдущего был забит снегом, стрелял с очень близкого расстояния. Дантес при этом вел себя совсем не трусливо, не протестовал против замены оружия противником, не закрывался своим пистолетом от выстрела, как того требуют правила - его секундант, виконт д'Аршиак, реагировал на сие нервно – и в результате был легко ранен в руку. Если говорить об Онегине, он тоже совсем не хотел убивать Ленского. Ленский был его друг. Единственный друг среди всех обитателей «соседственных селений», к коим отношение у обоих друзей было сходное. Ленскому, как и Онегину, ни соседские пиры, ни разговоры «не нравились».

Оба сильно отличались от соседей, чей групповой малопривлекательный и даже окарикатуренный портрет Пушкин дает в 6-й главе, описывая «бал» на именинах Татьяны. Друзья резко отличались от деревенских помещиков - своей образованностью, интеллектом, свободой взглядов и мыслей. Пушкин называет деревню «пустыней», в которой один Евгений мог оценить «дары» Ленского, его ум, свободолюбие, поэтический талант.

Оба они были практически совсем одиноки на земле. Онегин лишился отца и дяди, похоже, у него вообще не было других родственников. Ленский, по всему видно, тоже был одинок, кончив курс в Геттингенском университете в Германии, он приходит на кладбище, чтобы помянуть своих родителей и соседа, отца сестер Лариных.

Дуэль между Онегиным и Ленским была ужасной ошибкой, недоразумением. Ленский оказался, если использовать слова Онегина, обращенные к Татьяне в конце романа, «несчастной жертвой». Некоторые считают (как и автор рассмотренной нами иллюстрации), что Онегин стрелял в Ленского прицельно, стремясь убить. Он-де «первым» стал поднимать свой пистолет.

Это заблуждение. В комментарии Лотмана говорится, что те, кто хотел убить противника, стреляли, стоя у самого барьера, близко подойдя к своей «мишени», тут уж они убивали наверняка.

Итак, я попыталась показать, что в смертельном исходе дуэли не были виноваты ни Онегин, ни Дантес. Так случилось помимо их воли, можно сказать, что так распорядилась судьба.

Идем дальше.

Как относится Пушкин к «убийце Ленского»? Но прежде как он относится к Ленскому? Действительно ли Ленский – это Пушкин? Как кажется, и да, и нет. Во время написания своего романа в стихах Александр Сергеевич уже изживал в себе те черты, что были свойственны Ленскому и его поэзии. Ленский – «святая душа», верил, «что друзья готовы за честь его принять оковы».

Но столь же неколебимая вера в друзей была свойственна и юноше Пушкину. И если во время написания «Онегина...» Пушкин с такой болью пишет о друзьях, повторяющих «стократ ошибкой» нелепицы о нем, то это следствие очень сильной обиды конкретно на одного человека, к дуэли с которым поэт готовил себя, пребывая в двух следующих друг за другом ссылках, на Юге и в Михайловском. «Враг» же обретался в Москве, это был пресловутый Федор Иванович Толстой-Американец, путивший о

юноше Пушкине сплетню, что того высекли в канцелярии военного губернатора Санкт-Петербурга Милорадовича, куда он был приглашен в связи со своими «крамольными» стихами. Пушкин поклялся вызвать Федора Толстого на дуэль тотчас по освобождении из ссылки, что и сделал. Того не было дома, а потом их помирили, и Толстой-Американец, человек непредсказуемого нрава, но умный и хваткий (вылитый Зарецкий из «Онегина»!), впоследствии даже стал «сватом» Александра Сергеевича.

Вообще надо понимать, что в Михайловскую ссылку приехал совсем не тот романтический юноша, бредивший поэмами Байрона, что отправлялся когда-то на Кавказ и в Крым с семьей генерала Раевского. Тогда на корабле, плывущем из Феодосии в Гурзуф, ночью, двадцатилетний Пушкин написал элегию «Погасло дневное светило», в которой были все атрибуты поэзии Ленского: «разлука и печаль», и «туманна даль», и даже «поблеклый жизни цвет» (в элегии: «желаний и надежд томительный обман»).

Позднее все эти романтико-байронические мотивы и поэтические клише проявились в полную силу в южных поэмах Пушкина. Но уже в Одессе его мировоззрение меняется, он начинает видеть «изнанку» романтического героя, оказавшегося «безнадежным эгоистом», подвергает сомнению свои прежние идеалы и ценности. Можно даже говорить о мировоззренческом кризисе Пушкина на рубеже 1823-1824 гг, на что неоднократно указывал в своих лекциях известный пушкинист Сергей Михайлович Бонди<sup>2</sup>.

В Михайловском Пушкин окончательно прощается со своей юностью; начатый еще в Кишиневе в 1823 году «Евгений Онегин» - совсем не романтическая поэма, это роман в стихах, главный герой которого далек от романтического героя и даже противопоставлен ему<sup>3</sup>. Возраст Пушкина времен его пребывания в Михайловском (1824-1826) совпадает с возрастом героя-протагониста. Онегину в деревне 25-26 лет.

Поэтому я бы сказала так: 18-летний Ленский в пушкинском романе – это отчасти сам юный Пушкин (не будем касаться его прочих прототипов, таких как Кюхельбекер или

---

<sup>2</sup> Называю С.М.Бонди как «приоритетного автора» этой теории, ходили слухи, что литературовед ДБ подсылал на лекции СМ своих «агентов», а потом выдавал мысли профессора за свои, излагая их в книгах.

<sup>3</sup> В «Евгении Онегине» Пушкин приходит к открытию нового художественного метода, который будет назван «реализмом», и Онегин – уже персонаж вполне реалистический

Веневитинов), что до Онегина<sup>4</sup>, то Пушкин вложил в него много от себя зрелого. Всячески открещиваясь от отождествления героя с автором, начав роман как иронический рассказ о «молодом повесе», Пушкин постепенно проникается к герою симпатией, меняет тон повествования, говорит о своей дружбе с Онегиным. Одна из черт, которая нравилась поэту в Евгении, - «неподражательная странность».

Эта-то «странность» сближает Онегина с Ленским и отпугивает от него соседей-помещиков, а также воображаемых читателей из высших слоев, с которыми Пушкин вступает в спор, защищая своего героя: «Зачем же так неблагоприятно вы отзываетесь о нем?..» Затем, что «*ВАЖНЫМ ЛЮДЯМ ВАЖНЫ ВЗДОРЫ, И ЧТО ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ ОДНА. НАМ ПО ПЛЕЧУ И НЕ СТРАННА*»? Если со «странным» Ленским соседи готовы примириться, вследствие его молодости, богатства и положения «жениха», то вокруг Онегина в деревне курсируют дикие слухи («пьет одно стаканом красное вино»), слагается мнение, что он «опаснейший чудака»<sup>5</sup>.

Не сомневаюсь, что таким же «чудаком», и тоже «опаснейшим» (ибо находился под надзором полиции, слыл «революционером» и «безбожником») считался в соседстве и Пушкин. Практически из соседей общался он только с семьей Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф. Семья Осиповой в жизни Пушкина – аналог «семейства Лариных» для Ленского.

Как близок автор к своему герою, можно убедиться из таких характеристик, взятых из первой главы: «*Я БЫЛ ОЗЛОБЛЕН, ОН УГРЮМ*; Страстей игру мы знали оба: Томила жизнь обоих нас; В обоих сердца жар угас; Обоих ожидала злоба Слепой фортуны и людей На самом утре наших дней»<sup>6</sup>. Не правда ли, очень похожи автор и его герой, просто близнецы?

Но что же получается? Я пыталась показать, как похож Ленский на молодого Пушкина и как близок Онегин Пушкину зрелому. Но Ленского и Онегина, практически своих «двойников», Пушкин приводит к дуэли. Ужасная коллизия, в прямом смысле самоубийственная.

---

<sup>4</sup> *ЗДЕСЬ ТОЖЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ О ПРОТОТИПАХ, КАК ТО: АЛЕКСАНДР РАЕВСКИЙ, АЛЕКСЕЙ ВУЛЬФ. НО НАС В ДАННОМ СЛУЧАЕ НАС ИНТЕРЕСУЕТ САМ АВТОР КАК ПРОТОТИП СВОЕГО ГЕРОЯ.*

<sup>5</sup> Приехав в деревню, Онегин освободил крестьян от барщины, и уже одно это делало его в глазах соседей «опасным».

<sup>6</sup> Отличала Онегина от обычных светских людей его «хандра», отсутствие интереса к жизни...

Трудно представить, как пережил ситуацию Онегин, убивший не чужого человека, не врага, а «друга». Понятно, что платой для него стало каждодневное явление «окровавленной тени» Ленского. В целях спасения он должен был покинуть деревню и отправиться путешествовать. Но и для самого Пушкина такой конфликт между родственными его душе героями наверняка был психологически тяжел.

В конце этой первой части моего эссе скажу о том, как по-разному герой пушкинского романа, Евгений Онегин, и убийца Пушкина, Жорж Дантес, отнеслись к трагической дуэли.

После убийства Ленского о нем как-то слишком быстро забыли. По-видимому, он действительно был одинок, не имел родных. Вообще кусок, связанный с памятью о Ленском, написан как-то смутно, словно его писал сам юный поэт, избегавший прямых слов и названий.

Бывало, в поздние досуги  
Сюда ходили две подруги,  
И на могиле при луне,  
Обнявшись, плакали оне.

Под «подругами», по-видимому, подразумеваются сестры Ларины. Кто же еще будет плакать о Ленском? Однако дорожка к могиле скоро заросла. Ольга – невеста убитого - плакала «недолго», уже той же весной вышла замуж за улана и уехала с ним в полк. О Ленском теперь «никто не помнит». «О нем два сердца, может быть, еще грустят», - передает Пушкин мысли Татьяны. Опять сказано очень расплывчато.

Что это за «два сердца»? Татьяна имеет в виду себя и... кого еще? Ольгу, изменившую памяти поэта столь быстро? А может, «второе сердце»... это Онегин? И правда, как ему забыть Ленского? Убитый его рукой поэт теперь навечно станет его спутником, и, конечно, никакими средствами не сможет Евгений заглушить душевную боль от совершенного.

Обращусь к Дантесу. Из России после убийства Пушкина он был выслан, посему вернулся во Францию в маленький городок Сульц, где находилось его родовое поместье. Не сразу, но сумел сделать карьеру и стать сенатором; после ранней смерти Екатерины, умершей родами в 1843 году, остался молодым вдовцом с четырьмя детьми. Больше не женился.

В историческом журнале «Дилетант» некоторое время назад публиковалась заметка одного российского журналиста, побывавшего в Сульце. Он рассказывает, что видел в доме Дантеса чугунного человека с красной деревяшкой в области

сердца. Каждое утро Дантес упражнялся в стрельбе. Журналист пишет, что чугунная кукла поразительно напоминала Пушкина.

Если это так, то история с Пушкиным для Дантеса не закончилась дуэлью. Незапланированное убийство поэта разрушило его блестяще начатую карьеру, вынудило покинуть Санкт-Петербург, отказаться от притязаний на Натали Пушкину, вернуться на потеху сплетникам в провинциальный городок, к разбитому корыту... Нужно было снова, уже с семьей на руках, начинать карьеру. Ежедневно стреляя по чугунной мишени, не видел ли Дантес в ней того, кого считал «виновником» своего «петербургского крушения»? Не вымещал ли на нем свою злость, свои тогдашние разбитые надежды?

Это всего лишь моя гипотеза. Мы не знаем на самом деле, как Дантес оценивал случившееся спустя годы... При всем при том мне трудно представить, что Жорж грустил об убиенном, что сожалел о случившемся и испытывал муки совести. Как-то в это не верится, не тот персонаж...

### *О Татьяне*

Пятая глава романа в стихах Пушкина почти целиком посвящена Татьяне.

Ее предваряет эпитафия из самой известной баллады Жуковского «Светлана»: «О, не знай сих страшных снов, Ты, моя Светлана!»

И действительно, в начале главы описываются святочные гаданья (с них начинается баллада Василия Андреевича) а затем «сон Татьяны», оказавшийся - в противовес сну Светланы - вещим. Мне кажется, современный читатель (да и не только современный) не очень понимает, зачем было нужно помещать в роман этот сказочный сон. Мало кто вдумывается в его смысл. Считается, что сон придает образу Татьяны дополнительный народный, или «фольклорный» колорит, рисует ее «русскою душою». Но вчитавшись в то, о чем нам говорит Пушкин, мы поймем, что сон сам по себе – как семантический и художественный сегмент текста - важен для понимания произведения.

Сегодня, перечитывая «Евгения Онегина», я подумала с удивлением, что мимо этой потрясающей картины прошли все: создатели либретто оперы Петра Ильича Чайковского (сам Чайковский и его помощник Шиловский), те, кто в советское время делал фильм-оперу, англичане, выпустившие замечательный фильм «Евгений Онегин» с Рэйфом Файнсом в главной роли. Все они словно не заметили «сна Татьяны» или посчитали его орнаментальным фольклорным довеском. Никто не

увязал этот сон со смыслом происходящего в романе, не включил его в образную систему фильма или оперы. Таковы стереотипы сознания. Но давайте вернемся к началу пятой главы.

Итак, начав рассказ о пребывании Онегина в деревне с лета, Пушкин «по календарю» приводит нас к зиме. На третье января, в ночь, выпал снег, а там «настали святки».

Напоминаю: Святки – это 12 дней, от Рождества до Крещенья, то есть с 25 декабря по 6 января. Это время считается периодом разгула темных сил (младенец еще не крещен, не оберегаем «крестной силой»). Потому именно на Святки обычно гадали на «женихов» (все же гаданье – обряд языческий).

В балладе «Светлана» девушки гадают в Крещенский вечерок. Это значит, они собираются в канун Крещенья, в ночь на 5 января – как раз в самый разгар беснований всяческой нечисти, которая будет разогнана наступившим утром.

В начале главы говорится, что Татьяна любила зиму, любила она и «мглу крещенских вечеров». И дальше:

По старине торжествовали  
В их доме эти вечера:  
Служанки со всего двора  
Про барышень своих гадали  
И им сулили каждый год  
Мужьев военных и поход.

Логично будет предположить, что и Татьяна Ларина гадала «на жениха» именно на Крещенье, в Крещенский вечерок. Верила ли Татьяна «гаданьям»? Верила. Как верила преданьям «простонародной старины». Ей, этой возросшей на сентиментальных французских романах 18-го века барышне, были свойственны суеверия. Она боялась перебежавшего дорогу зайца, месяца с левой стороны, верила в вещие сны... Пушкин, надо сказать, сам был человеком суеверным. И «приметы» его не обманывали.

На венчанье Пушкина с Гончаровой у жениха упало кольцо на пол, потом погасла свеча - приметы были «не к добру», их печальный смысл подтвердился впоследствии. Цыганка нагадала Александру Сергеевичу «смерть от белой головы», Дантес был блондином. Если бы Пушкин не повернул назад, когда на выезде из Михайловского дорогу возку перебежал заяц, он приехал бы в Петербург как раз к выступлению своих друзей-декабристов и мог бы кончить жизнь или на виселице, или на каторге.

Считается, что суеверия стоят в стороне от религии. Однако они одного с ней корня и покоятся на триаде Достоевского: чудо, тайна, авторитет.

В сегодняшней Москве тысячные толпы стояли перед Храмом Христа-спасителя, чтобы приложиться к «Дарам волхвов». К чему, к чему приложиться? Да, да, к легендарным, вошедшим в поговорку Дарам волхвов. К вещи явно мифической, сказочной, как и те «маги», кто эти «дары» принес в пещеру, где родился младенец. Что это, если не суеверие, не признание за «амулетом» чудодейственной силы? Но люди хотят в это верить – и исцеляются, исцеляются там, где могли бы легко заразиться по гигиеническим причинам.

Итак, Татьяна гадает на Святках, в Крещенский вечерок. Один из способов гаданья – вынимать из чаши с водой брошенные туда украшения, происходит сие действо под пение «подблюдных песен», на какую песню будет вынуто твое колечко или сережка, то тебе и суждено. Татьяна вынула свое колечко под такую песню:

Там мужички-то всё богаты,  
Гребут лопатой серебро;  
Кому поем, тому добро  
И слава!

Увы, эта песня сулит вовсе не богатство, как можно было бы предположить. Она предрекает смерть – и Пушкин сам говорит об этом в сноске.

Можно представить, как испугалась Татьяна этого предсказания! Зато следующее должно было ее позабавить – услышав шаги ночного прохожего, она в легком платьице сбегает с крыльца и спрашивает: «Как ваше имя?» Таким образом узнавали имя суженого.

Настигнутый, видно, был из крестьян, имя у него оказалось мужицкое - Агафон. Помещицья дочка никак не могла получить мужа с таким именем.

Самое главное святочное гаданье проводится ночью, как правило, в бане, где накрывается стол на два прибора, ставятся «зеркало с свечою» («Светлана»). В полночь в зеркале девушке может пригрезиться лик суженого.

Именно так гадала Светлана, но это гаданье не для слабонервных, оно считается страшным и даже опасным, мало ли что может проделать с тобой разгулявшаяся нечистая сила? Светлану она завлекла далеко от дома, в жилище мертвеца, который прикинулся ее женихом... У Пушкина этого страшного гаданья испугались сразу оба - Татьяна и сам автор.

Мне кажется, Пушкин не хотел ступать на проторенную Жуковским тропу, Василий Андреевич три раза переводил Бюргерову балладу «Ленора» (легшую в основу «Светланы»), где за девушкой является мертвый жених и уносит ее с собой в могилу.

Пушкину было интересней строить свой сюжет, идти своим путем, «чудный сон» героини впрямую не связан с гаданьем. Хотя сон в Крещенскую ночь – это в принципе то же гаданье, недаром под подушку Татьяна кладет себе зеркало (чтобы увидеть во сне жениха), а когда она утром пробуждается от ночного кошмара, к ней подбегает сестра с вопросом: «Кого ты видела во сне?» Что же предвещал «чудный» сон Татьяны? Почему он занимает, на мой взгляд, важное место в структуре романа?

Исследуем, как говорил платоновский Сократ.

Начало сна фольклорно, в духе народных сказок: Татьяне на снеговой поляне встречается умный и говорящий, можно даже сказать, человекоподобный медведь. У Пушкина давно уже было пристрастие к этому зверю. В поэме «Цыганы» сбежавший от общества в цыганский табор Алеко (Александр) выбирает из предложенных ему профессий хождение по селам с медведем. А мог ведь и «железо ковать», но выбрал медведя. Медведь помогает Татьяне перейти через ручей, а потом бежит за ней и, когда она, обессиленная, падает, несет ее до одинокого шалаша «своего кума». В шалаше – видит Татьяна в щелку из сеней - пируют чудовища, та самая нечистая сила, что бесчинствует до Крещенья. И среди этих монстров Татьяна узнает Онегина. Мало того, он на пиру Хозяин, видно, он-то и есть тот самый «кум» медведя. Татьяне уже не так страшно, она немного растворяет дверь – и Евгений, ее заметив, идет к ней. Монстры - за ним. Увидев деву, чудовища протягивают к ней свои клыки, усы, рога и хоботы с криком «мое!»

Но Евгений недаром был их господином, он грозно говорит: «Мое!» - и шайка испаряется, оставив Таню наедине с Евгением. Далее следует начало любовной сцены: Онегин кладет Таню на скамью и клонит голову к ней на плечо. Но любовной сцене мешает появление Ольги и Ленского. Онегин недоволен их появлением, он замахивается на Ленского, бранит незваных гостей. Спор разрастается, Онегин выхватывает нож и поражает Ленского. Раздается «нестерпимый крик», хижина шатается – на этом сон заканчивается. Что все это значит? Мартын Задека, автор старинного сонника, не помог Татьяне истолковать ее «чудный сон». Попробуем сделать это за него.

Медведь в сказках – герой не очень страшный, такой он и у Пушкина, даже чуть смешной «косматый лакей», помогающий

барышне перейти через ручей и несущий ее «на лапах» до жилья, где можно обогреться. Это своеобразный «связник». Чего с чем? Этого света с тем.

Ибо Татьяна попадает на пир дьявольских сил, в inferнальный мир. Для сказки обычны два поворота – заблудившиеся попадают к разбойникам (этот поворот разработан Пушкиным в балладе «Жених») или в «кинопространство», к колдунье, бабе-яге... В сказочной балладе Бюргера «Ленора» девушка попадает в могилу к мертвому жениху (куда чуть не попала Светлана). Могила – это в сущности то же – чужое inferнальное пространство, другой мир. Туда-то, в другой мир, и попадает Татьяна в своем «чудном» сне. Защитника от населяющей этот мир нечисти она видит в Хозяине пира, человеке, ей знакомом, который одновременно «мил и страшен ей».

Почему мил? Да потому что Татьяна его любит, считает, что он послан ей Богом, именно таким она представляет себе своего избранника. Почему страшен?

Да потому что она ощущает «чужеродность» Онегина, воспитанного иной средой, на других – европейских – образцах, на «байронической» литературе, до Татьяны еще не дошедшей; чуткая дева интуитивно понимает его непохожесть на окружающих, но не может ее рационально объяснить. Кто его, такого необыкновенного, породил? что он с собой несет – зло или добро?

*Кто ты? Мой ангел ли хранитель Или коварный искуситель?* – вопрошает она в письме после их первой встречи. Иными словами, она спрашивает: ты Ангел или Демон?

Позднее, уже после отъезда Онегина, ее размышления о его «природе» продолжатся в его кабинете за чтением его книг, когда она снова не знает, кто он: *Созданье ада иль небес,*

*Сей ангел, сей надменный бес...* Напомню, что сон Татьяны несет эту тему и, удалив его из структуры текста, мы теряем в семантической и художественной целостности.

В Татьянинном сне Онегин предстает в роли повелителя бесов, что однако не делает его одним из них. Он – над ними, ибо они подчиняются его командам: «он знак подаст - и все хохочут» и т. д. При всем при том он властвует именно над бесами, то есть наделен демонической силой, силой от Демона. И однако для Татьяны в ситуации «другого мира» он не опасность, а защита. Ибо может спасти ее от притязаний бесовской нечисти.

Не мною замечено, что соседи-помещики, собравшиеся в праздник именин в дом Лариных, весьма напоминают монстров Татьянинного сновидения. В своем сне Татьяна словно предвидит,

что в будущем на нее будут претендовать «чудовища» в человеческом обличье - «уездный франтик Петушков», задорный Буянов, гусар Пыхтин. Их предложения руки и сердца «коррелируют» с желанием бесов сделать ее своей. Но избранником Татьяны в обоих мирах – инфернальном и человеческом - остается Онегин.

Любовь Татьяны роковая, пожизненная, и никуда ей от нее не деться. Итак, Онегин говорит бесовской нечисти: «Мое», и увлекает Татьяну на скамью. Во сне Татьяна свободна для эротических картин (Пушкин понимал это задолго до Фрейда). Она «чуть жива» – оно и понятно: ей страшно, и однако она не сопротивляется Онегину, который «клонит голову свою ей на плечо». Но эротическая сцена обрывается в самом начале. Непрошенные, входят Ольга и Ленский. Татьяна безмолвна, а Онегин вступает с Ленским в пререкания и ударяет его ножом.

Любовь обрывается в самом начале, ей не суждено осуществиться, и причина этого – в ссоре Онегина с Ленским. Вещий сон Татьяны верно предсказал грядущие события. Онегин станет убийцей «ее брата», так она называет Ленского, жениха своей сестры.

Но вещей он не только из-за этого, а еще и потому, что бросает на любовь Татьяны тень катастрофы, кошмара, гибели. После этого сна она уверена, что «погибнет» и что именно Онегин принесет ей гибель

Несколько дней после Крещенья ночной кошмар гнетет девушку, но вот наступает 12-ое января, день ее святой покровительницы Татьяны. На этом празднике из совершенного пустяка, из детского желания Онегина «взбесить» Ленского вырастет дуэль между двумя приятелями, она состоится через день после именин, 14 января. Ночной кошмар Татьяны обернется явью.

Убийство поэта сделает невозможным дальнейшее пребывание Онегина в деревне. Тоненькая ниточка интереса, протянувшаяся от него к Татьяне (а он явно выделял ее из двух сестер Лариных, в своей «исповеди» он говорит, что любит ее «любовью брата и, может быть, еще нежней»), была разорвана. Сам Онегин впоследствии вспоминает об этом так: *«ЕЩЕ ОДНО НАС РАЗЛУЧИЛО... Несчастной жертвой Ленский пал... Ото всего, что сердцу мило, Тогда я сердце оторвал»...* Смерть Ленского, с одной стороны, удалила их друг от друга, с другой, накрепко связала общими «кровавыми» воспоминаниями и переживаниями. Возникшая словно на пустом месте страсть вернувшегося из путешествия Онегина к Татьяне, вышедшей замуж за генерала и ставшей «законодательницей зал», – на самом

деле начала зреть еще в деревне, и только дуэль с Ленским, закончившаяся так трагично, помешала ей развиваться...

В последней 8-й главе роли героев кардинально меняются: «повелительницей» того мира, где по приезде из путешествия оказывается Онегин, а именно: петербургского света, становится Татьяна, и Евгений – полностью отдается ее власти. Происходит своеобразная «раздемонизация» героя, он превращается в обыкновенного влюбленного, зависящего от предмета своей любви.

Если говорить о Татьяне, то для нее сюжет «погибели» не осуществился. Возможно, если бы Онегин остался в деревне, Татьяна не смогла бы совладать со своим чувством – и бросилась бы навстречу своей гибели, и Евгений не смог бы ей противостоять. В отсутствии же Онегина, бывшего для нее единственным избранником, ей в сущности все равно, с кем соединять свою судьбу: *«для бедной Тани Все были жребии равны»*. Как говорится, генерал так генерал.

Из сказанного можно сделать вывод: «чудный сон», который Пушкин посылает своей героине, в сжатом и метафорическом виде содержит всю последующую фабулу отношений Татьяны и Онегина – роковую невозможность взаимного счастья.

Тешу себя мыслью, что, прочитав мою статью, режиссеры схватятся за голову и возьмутся за ум. Иначе говоря, начнут включать «сон Татьяны» в образную и семантическую ткань спектакля, удивляясь, что до сих пор они этого не делали. Бог им в помощь!



# Ян Пробштейн

## Искушение этикой

### Предисловие к статьям Николая Кононова и Светланы Надлер



В своей уже давней статье «Возрождение против авангарда» Максим Кантор выдвигает соблазнительный, но спорный тезис о том, что истинное искусство этично, забывая о том, что таких художников Возрождения, как Бенвенуто Челлини, композитора Джезуальдо да Веноза, самого Леонардо да Винчи трудно назвать образцами морали. Максим Кантор говорит о двух спорных точках зрения на Ренессанс, противопоставляя итальянский Ренессанс северному, то есть золотому веку искусства Нидерландов (при этом опять-таки вычлняя таких художников как Рембрандт, и не упоминая Вермеера, Босха, Брейгелей вовсе).

По поводу соблазнительного тезиса о нравственности в искусстве я писал, что Элиот, начавший как авангардист и модернист, пришел к истинной вере и стал христианским поэтом и консерватором в литературе, а его старший товарищ Паунд, антисемит, осужденный за сотрудничество с фашистами, нераскаянный и нераскаявшийся, поддерживавший и впервые опубликовавший Элиота, Джойса, Фроста, Хильду Дулитл (ХД), наставлявший Хемингуэя и многих других, оказал гораздо большее влияние на англоязычную поэзию, чем Элиот. И продолжает оказывать. Не странно ли это? Искусство живет там, где есть артистизм, иные боги, иные чертоги. Почему мы должны принимать иерархию Данте вместе с его гениальной поэмой? Почему мы должны всерьез обсуждать, за что он карает Арнаута Даниэля, Сорделло и Гвидо Кавальканти? (Кстати, куда бы он направил Пушкина, живи он в 19 веке? Неужели, можно утверждать, что Пушкин был образцом нравственности и за это

его затравила великосветская чернь?) Я напоминал автору, что у Данте, который бесспорно является величайшим поэтом нового времени, были семья и дети, о которых он нигде не упоминает, не говоря уж о «Божественной комедии». Выдающийся философ, архиепископ Николай Кузанский был яростным гонителем инакомыслящих, еретиков и стремился быть «святее папы римского». Двойная жизнь — двойные стандарты. Был ли Джордано Бруно менее крупным мыслителем, чем Кузанский?<sup>1</sup>

Остроумно отмечая, что Возрождение подразумевает предшествовавший ему упадок, Максим Кантор забывает о некоторых общих законах искусства, таких, например, как открытый В. Шкловским закон об «остранении», который впоследствии развивал Брехт («очуждение»), то есть об обновлении искусства, сдвиге существующих конвенций. Кантор говорит о социальности искусства и проводит параллели между эпохой Реформации и временем социальных катаклизмов века двадцатого, включая большевистскую революцию, доказывая, что между авангардом и тоталитаризмом нет различий, и как бы деля авангард на «нравственный» (Ван Гог, Пикассо, Шагал, Брехт) и «безнравственный» (прежде всего, нелюбимый им Малевич и супрематизм), говорит об авангарде как о преемнике языческого искусства, воплощенного в жесте. При этом он смешивает и передергивает факты, относя к жертвам сталинского режима реалистов Бабеля и О. Мандельштама (не понимаю, какие реалистические черты автор нашел у Мандельштама) и противопоставляя им Малевича, который «благополучно камиссарил» (забыв наверное, что и Бабель сотрудничал с ВЧК). М. Кантор вовсе не говорит о модернизме и постмодернизме, весьма поверхностно касается современной литературы, мельком упоминая Паунда, как бы «забыв», что идеология не совпадает с искусством и что в искусстве-то как раз Паунд проповедовал неоплатонизм, идею света и синтеза, писал о слиянии сжатых фактов и идей из разных культур в универсальную пайдеуму (*paideuma*), термин который Паунд позаимствовал у немецкого антрополога Лео Фробениуса, определив его как «клубок или комплекс глубоко коренящихся идей любой эпохи»). Выделяя Сартра, Камю, Хемингуэя, Максим Кантор совсем не упоминает таких сложных писателей, как предтеча модернизма Генри Джеймс, Франц Кафка, Платонов, Фолкнер, философы Ортега-и-Гассет, Витгенштейн.

---

<sup>1</sup> См. <http://gefter.ru/archive/10919>

Строго говоря, авангард не сводится к Баухаусу и Вхутемасу и закончился не перед Второй мировой войной, а гораздо раньше, но был модернизм, преемники русского авангарда ОБЭРИУты, говорят о втором авангарде, а в целом следовало бы говорить о новаторстве и традиционализме, о новаторстве и эпигонстве, причем в искусстве мы говорим о *содержательности формы*, а не только о содержании, то есть гениальна, безусловно, идея лишнего человека в русском обществе, реалистический, а не романтический герой, однако самым новаторским, «авангардным» поэтическим произведением XIX века на мой взгляд является «Евгений Онегин» не только поэтому, а потому, что в этом романе в стихах систематически применена прозаизация как конструктивный фактор стихосложения, пародия не как стилистический прием, а для создания нового произведения, что в интерпретации Тынянова является «применением пародических форм в непародийной функции»<sup>2</sup>.

Не касается Максим Кантор и музыки — в противном случае вся идея об отрицательном влиянии Реформации и вторичности искусства Германии разбилась бы о титаническое искусство И.С. Баха. Гениальный «авангардист» своего времени принц Джезуальдо да Веноза, убивший из ревности свою жену и ее любовника (было за что, но это полбеды — убивший и своего собственного сына, заподозрив, что отец — не он, а потом уморивший себя в стремлении очиститься — был ли он образцом морали?) А между тем, он опередил развитие музыки на 4 века и был вполне оценен только в 20 веке. К сожалению, ни вера, ни мораль, не являются критерием искусства а гений и злодейство — две вполне совместимые в искусстве вещи.<sup>3</sup>

Говоря о современной музыке, пришлось бы анализировать искусство Стравинского, Бартока, Прокофьева, Шостаковича, Бриттена. Музыковед Светлана Надлер в прилагаемой статье размышляет об идее цикличности в искусстве, обратившись к истории музыки, соизмеряя с её ходом положения трактата М. Кантора.

В конце своего эссе Максим Кантор говорит о в общем-то разумной идее синтеза, пластики как высшего в искусстве, но возникает вопрос: исповедует ли он сам в своем творчестве взгляды, которые проповедует? Об этом статья писателя и поэта Николая Кононова.

---

<sup>2</sup> Тынянов Ю.Н. О пародии. / Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977., с. 290

<sup>3</sup> Ответ Максиму Кантору. <http://gefter.ru/archive/10919>.

Статьи Николая Кононова и Светланы Надлер в этом же номере журнала.



## Николай Кононов Учитель рисования в Русском музее



Максим Кантор в Русском музее. Это первая его выставка в Санкт-Петербурге. Он уехал из Москвы на Запад в самом начале 90-х, сделал там настоящую карьеру. Выставлялся на лучших площадках. Имел роскошные каталоги. Все это правда. Тема его экспрессивной масштабной живописи – русское страдание и сострадание, извивы советской истории, мириады смертей, бессмысленные жертвы, униженность личности и т. д. Благороднейшие достойные темы. И на стенах залов Мраморного дворца его огромные полотна пронзительно вопиют яркими колерами о наших несчастьях. Темы этих изображений, невзирая на даты создания, примерно одни и те же: социальная критика, тоска одиночества, ничтожество сегодняшнего дня, печаль по родителям, ушедшим в мир иной. Классический список русского критического реализма XIX века. Философски все и ложится в этот контекст, если бы не манера – агрессивная по цвету и манере живопись на огромных холстах.

Представ в таком фундаментальном виде на стенах музея, художник претендует на всеохватную критику нынешнего товарно-денежного мироустройства, и пластическая речь его читается как инвективы, разоблачения и обличения. Жгучие колера картин напоминают об очистительном огне, где все, критикуемое им, и сгорит к чертовой матери – без остатка.

Не зря в прамбуле к выставке подчеркивается, что Максим Кантор, – во-первых, литератор. Тогда публицистический вектор его картин несколько проясняется. Да и в одном из многочисленных интервью сам он говорит о себе как об «иллюстраторе» своей социально критической литературной идеологии. Там же, в прамбуле, говорится и о ранней пейзажной практике художника, к сожалению, на выставке представлен лишь единственный камерный пейзаж.

Надо сказать, что концептуально выставка выстроена из рук вон плохо – зачем было предъявлять огромное число тавтологичных листов, посвященных окарикатуриванию буржуазных отношений в некоем обществе вообще. И это при том, что не показана ранняя живопись художника, той поры, когда он себя еще литератором не именовал, а действовал исключительно как городской пейзажист с интересной сочувственной лексикой, выраженной совсем не логоцентрично.

Когда я смотрел картины, то вспоминал старую историю, как некто в Третьяковской галерее перед картиной «Опять двойка» художника-академика Решетникова, одного из заглавных соцреалистов сталинской поры, рассуждает: «Вот мальчик принес домой двойку, далеко не первую, судя по всему, опечалена и его утомленная бытом мать, воспитующая еще двоих детей, строго смотрит на него старшая сестра-пионерка, насмешлив младший братишка, он заметил, как вываливаются из портфеля двоечника коньки. Лишь одна собачка беззаветно рада неучу... Все это хорошо и назидательно, конечно, только вот какое это имеет отношение к искусству?»

Этот анекдот и есть главная творческая проблема Максима Кантора. Достаточно ли сегодня обличительного пламени, чтобы быть художником? Попробуем ответить на этот вопрос.

Художник происходит из особенной семьи. Отец его – марксистский философ Карл Кантор, известный эстетик, бабушка так вообще легендарна – стояла у основания компартии Аргентины, и в доме был настоящий философский семинар, куда заходили Мамардашвили и Зиновьев. Велись речи. Об этом вспоминает сам художник, порицая диссидентско-художественную среду, отказывая ей в интеллектуализме, искренности творческих намерений, низводя своих сопластников до ничтожеств, авантюристов и самозванцев. На этом векторе построен огромный роман-мемуар Кантора «Учебник рисования», где в хлам размазаны все действующие лица актуальной сцены. Самое забавное, кого он теперь противопоставляет этим «бесам» – Кулику, Пригову и прочим – «настоящих» соцреалистов, таких как Коржев, Никонов и Попков. Ну да ладно, на чужой вкус и цвет...

(Интересно представить себе, что бы сказали эти советские гранды, посмотрев на экспрессивные экзерсисы самого М. Кантора).

Но вот, становится понятно философское основание его живописания. Это либеральная критика истории, изничтожение основ буржуазного мироустройства, трагический анализ личного

бытия в этом несправедливом мире. Во всех его картинах прочитываются идеологические метафоры, которые можно легко пересказать своими словами, как в случае с «Опять двойка» Решетникова. Скажем, - картина, изображающая бытовую сценку, купе поезда с четырьмя лежащими на полках людьми, опорожнившими поллитровку, то в самом из квадриги сосредоточенном узнается сам М. Кантор, попавший в это безрадостное бытие-путешествие мимо всякой раздолбанной законной русской мути. Так же его одухотворенное лицо можно узнать и в густой толпе убогих обывателей, теснящихся в некоем зале ожидания, видимо перед самым концом света, (иные из фигурантов уже метафорически обесцветились). Почти все картины пересказываются таким же незатейливым образом.

Конечно, к живописи это никакого отношения не имеет, потому что она, увы критики не выдерживает. Карикатурная и гротескная в своей композиционной основе, что не плохо и не хорошо, она еще более «опроцается» грубыми колерами, не достигающими на территории его гигантских холстов ни накала ни обморока. И меня не оставляло чувство при разглядывании его «посланий» зарвавшемуся человечеству, что сам он очень-очень торопился, так как отягощен все время только одной манией – выговориться всласть, изложить всему миру наболевшее доходчивыми словами. То же впечатление логореи не оставляло меня и при чтении его прозаических текстов, писанных лежалым языком демагога. Про стихи, совершенно графоманские, я уже не говорю. Зачем он все это печатал? Вот вопрос...

Пластически многие вещи, представленные на выставке, выглядят не только торопливыми, что порой искусству не мешает, а даже наоборот, а усталыми, так как пережили лексическое послание, закодированное в них, а сами по себе феноменально, как холсты с красками, – ничтожны. Увы, из языка социальной критики не выжать летучих эссенций, без которых феномена живописи не бывает.

Но надо отметить, что в произведениях Максима Кантора есть некоторые темы, выразительные в высоком смысле. Это, во-первых, все, что связано с образом его отца: в его сочувственных портретах, в почтительных, просто религиозных композициях, связанным с его образом, художник выходит за рамки публицистических заданий и становится из трибуна тоскующим и сочувствующим сыном, что выглядит на фоне анонимной политической толкотни особенно выразительно. К сожалению, в Русском музее эта самая сильная тема совершенно затерялась, заваленная гигантскими полотнами со всякой экспрессивной

суетней. И начинает казаться, что литература М. Кантора съела его со всем его человеческим содержимым – травмами и любовью. А жаль. Именно в «отцовском» корпусе заключено самое сильное, не выразимое словами фундаментальное послание, обращенное зрителю. Кстати, интересная особенность, отец по-Кантору, столь пластически выразителен, что почти что иероглифичен, он предстает символом безмолвия, недоумения, причиной бытия, точкой схождения. Это сильно. Может быть сильно настолько, что художник эту страшную человеческую выразительность все время забалтывает, всячески снижает, покрывает мишурными складками, прячет. Ибо через образ отца, понятый им столь проникновенно, к нам обращены очень простые вопросы. Где мы? Что мы? Кто мы такие? И – неужели мы умрем, как умер наш отец, продолжая жить в нас? И что же, наконец, там, где теперь он, - умерший, но не умерший?

Эти вопросы задает себе настоящее искусство и отвечает на них интенсивностями и пустотами, то есть не торопливыми словами, а безвременной интонацией, порождаемой знаками препинания.



Светлана Надлер

## "Cantus supra librum"

### О трактате Максима Кантора

*Певцы должны были смотреть "в книгу"  
(в нотную рукопись) на нужный им напев:  
один из певцов пел "по нотам" григорианскую мелодию,  
а остальные импровизировали (дискантировали)  
согласующиеся с ней импровизирующие голоса.  
Это называлось "super librum cantare" – "петь над книгой  
(М. Сапонов. "Искусство импровизации")*



дея цикличности процессов в европейском искусстве (не раз становившаяся предметом глубоких изысканий исследователей) ярко и полемично воплощена в трактате-эссе Максима Кантора «Возрождение против авангарда» в виде противостояния двух полюсов. Концепция полярности опоры на старину и отрицания предшествующего, как следует из общего настроения текста, предполагает универсальность по отношению к истории искусства в целом. И это побуждает к попытке её применения не только в живописи и архитектуре (на чём в тексте делается основной акцент), но и в музыке (о чём в работе не говорится). Обратимся к истории музыки, соизмеряя с её ходом положения трактата.

Исследователи отмечают, что для музыки, со времени возникновения многоголосия до XX века, период смены стиля составляет период приблизительно в несколько десятилетий. В сочетании с идеей «ренессанса против авангарда» это может дать любопытную картину. В истории музыки различных веков действительно имеется ряд ярких явлений, которые с определённой точки зрения можно уподобить одно другому; это известно. Так, один из ранних примеров европейского музыкального «авангарда» возник задолго до Реформации. В Европе – это изоритмический мотет XIV века, мензуральная музыка, то есть такая, в которой основой метроритмики является деление крупной длительности на мелкие. В те времена это явилось переворотом сознания. Правила написания такой музыки

сформулированы в знаменитом трактате «Ars Nova» Филиппа де Витри (Ars в значении техники письма). Характерно, что вся музыка предшествующего века названа «Ars Antiqua». Изоритмический мотет, как известно, достиг своего апогея в музыке Гийома де Машо, далее в своём чистом виде пришёл к своему логическому завершению в музыке французских композиторов конца XIV века (наиболее известен Сенлеш). Об этом удивительном явлении можно прочесть в работах М. Сапонова, Ю. Евдокимовой, Р. Поспеловой. Это уникальная техника, в которой сопряжение полифонических голосов давало не имитационный эффект (т.е., не было фугированием), а действовало подобно вращению разномерных шестерней гигантских часов, когда мелодия одного голоса приводила в движение другую, та, в свою очередь, третью, и так доходило до пяти голосов (дулум, триплум, квадруплум, квинтуплум). С одной стороны, полифония подобного рода осталась эмблемой XIV столетия, образовав в его конце некий тупик. Но одновременно изоритмический мотет как бы «пророс» в технике нидерландских полифонистов XV века и связал два столетия (Дюфаи ещё сочинял изоритмические мотеты, о чём подробно можно почитать в монографии Ю. Евдокимовой в соответствующем разделе).

Применяя в аналитической работе идею, сформулированную в трактате Максима Кантора, необходимо помнить, что, как известно, европейская музыка по своим стадиям не вполне совпадает с другими видами искусства, и в периоды Ренессанса, барокко, классицизма – вплоть до романтиков – в некоторых отношениях ход истории музыки «запаздывает». Обращаясь к XV-XVI столетиям, мы обнаруживаем, что в отношении сюжетов письменная музыка (мотеты, мессы, мадригалы) продолжает традиции Средневековья. И только в сочетании с постепенным «облагодзвучиванием» вертикали, изменениями эмоционального строя музыки, появления аффектов в том виде, который современному человеку уже близок, – можно осмыслить европейскую музыку Возрождения как созвучную живописи, архитектуре, поэзии, театру. Строго говоря, сюжетика Ренессанса, обращение к античной тематике – всё это входит в музыку только со времён флорентийской Камераты и с появлением первых опер (самое начало XVII века). Предшественники *dramma per musica*, как пишет Т. Ливанова, пасторальные драмы конца предшествующего века, передали опере эстафету театра уже из XV века; например, от «Орфея» Полициано. Прошли столетия, прежде чем музыка «научилась»

быть главной частью спектакля у различного рода сценических действий: пасторалей, средневековых мистерий, античных трагедий. Заметим, что в том смысле, в каком Максим Кантор говорит об «авангарде», опера начала XVII века стала в той же мере «ренессансным» явлением, в какой и «авангардным», то есть породила художественное качество, не имевшее аналогов в прошлом.

Идея повторения истории искусства в разные века представляется весьма занимательной. Например, Орlando ди Лассо, чья музыка буквой принадлежит Ренессансу, а мятежным вольным духом – последующим нескольким векам, – своего рода «постмодернист» XVI века, подводящий черту под прошедшим (один и тот же год ухода с великим Палестриной – 1594) и прозревающий будущее.

Однако в исследовании этих явлений не стоит забывать, что подобие – вещь тонкая. XVI век в истории музыки являет собой сложнейший сплав черт Высокого Возрождения, Реформации и грядущего Нового времени: мессы и мотеты наследуют традиции предшествующего века – мадригал заглядывает в будущее; возникают консо́рты (первые оркестры), развивается виртуозная органная и лютневая музыка... Однозначная трактовка того или иного явления как принадлежащего только одному из полюсов просто невозможна. В этой связи дискуссионным представляется, например, роль Лютера как чистого «авангардиста», в подтверждение тезиса о том, что «авангард тех лет, протестантская Реформация во всех отношениях была противоположна Ренессансу». «Умеренный разрушитель икон», по Кантору, в музыке Лютер – великая фигура, музыкант, сумевший создать корпус хоральных песнопений на основе немецкой духовной песни XII века и популярной городской мелодики. По мысли Швейцера, в душе Лютера реформатор боролся с художником; он благоговел перед искусством нидерландских полифонистов, и именно ему принадлежит крылатая фраза о Жоскене, в музыке которого звуки делают то, что хочет он, – тогда как другие мастера делают то, что хотят звуки. Протестантский хорал, пришедший «после» грегорианского – хорал тональный, в сопоставлении со своим ладовым предшественником – породил барочную тональность, с её сложнейшей модальной гармонией и функциональной системой, главенствующей в европейской музыке следующие три века.

Теперь о моментах, настоятельно требующих дискуссии. Пафос трактата в общем виде рождает ощущение авангарда как силы скорее разрушающей. Однако факты – применительно к

избранной нами области, то есть к музыке – говорят о другом. Авангардные открытия музыкальных мастеров ни в коем случае не предполагают обязательный отказ от достижений школы; напротив, в ряде случаев необычность звучания сочетается с применением очень старой техники. Так, явление своего рода музыкального «авангарда» XVI века – мадригалы Джезуальдо, уже упомянутые Яном Пробштейном в дискуссии, – основано на применении античных ладов в соответствии с трактатом Вичентино; об этом подробно пишет крупнейший отечественный исследователь музыки Джезуальдо М. Григорьева. Более чем три столетия спустя нововенцы создадут додекафонную систему, работа в которой будет происходить по правилам, имеющим источник в технике нидерландских полифонистов. Поиск импульсов для нового в старине столь же естественен для первопроходца, сколь обращение к неведомому: эти два импульса различны, но не враждебны друг другу. Примеры – Эдгар Варез, уникальный композитор, ещё в 20-е годы XX века предвосхитивший букву и дух авангарда 2-й половины века – и Антон Веберн, защитивший диссертацию по творчеству Генриха Изаака, создаст звуковой микрокосмос, непохожий ни на что предшествующее – пуантилизм, диагональная фактура. В статье Левона Акопяна об Эдгаре Варезе сформулирована мысль о том, что Варез и Веберн – две авангардные фигуры XX века, воплотившие разные типы новаций в музыке: создание нового качества на основе обращения к старинной технике – и рождение феноменов, принципиально не имеющих прямых аналогов в прошлом.

Так же не находит фактического подтверждения в истории музыки мысль автора эссе о том, что авангард – разных времён – стремится «уничтожить образ». Ни в случае с мотетами Гийома де Машо, ни в случае с мадригалами Джезуальдо ни о каком «снятии» образности говорить не приходится; и однако оба эти мастера – великие первопроходцы, далеко не сразу (только в XX веке) – оценённые историей.

Наиболее спорными представляются несколько групп утверждений, связанные в основном с XX веком. Хочется так же обратиться к истории музыки.

1. «Гусовочность» авангарда, в противовес «углублённости одиночек» ренессансного типа: «Междусобойчики сегодняшних модных людей – являют прямою противоположность гуманистическим академиям; последние не ищут поддержки в кружках, но лишь диспута с равным». Кшиштоф Мейер замечает, что, в противоположность художникам

и поэтам-авангардистам, склонным к групповым художественным акциям, авангардная музыка – продукт творчества одиночек. Применительно к истории музыки тезис «тусовочности» музыкального авангарда опровергается, например, историей возникновения 12-тоновой техники в начале XX века. Как известно, эта идея пришла в несколько голов одновременно, и ранее Шёнберга в 12-тоновой технике сочинял Ефим Гольшнев; предвестники её можно усмотреть в «синтет-аккорде» Рославца, а в более опосредованном виде – даже в «гармониемелодии» Скрябина (об этом качестве Скрябин говорил Сабанееву; – см. воспоминания Л. Сабанеева о Скрябине). И. Вышнеградский начал применять микротоновую технику независимо от А. Хабы, который считается родоначальником четвертитоновой музыки XX века. Айвз воплощал идеи полистилистики значительно ранее того, как это явление было осознано музыковедчески. Молодой Шостакович в ранних сочинениях предвосхищает полифонические формы и приёмы, к которым европейские композиторы обратятся спустя десятилетия.

2. Синтез искусств как прерогатива художников (в широком смысле слова, мастеров) ренессансного типа, по Кантору: «То, о чем грезил всякий кружок единомышленников – единение философов, писателей, художников наподобие флорентийской общины гуманистов – не состоялось. Что-то появилось, но иное». Исследователи приводят множество фактов как содружества искусств в авангарде (деятельность Дягилева по организации Русских сезонов в Париже, содружества авангардных живописцев и поэтов), так и синтетического мышления авангардистов (шире – первопроходцев). Навскидку: Чюрленис, композитор, гениальный художник, рисовавший сонаты и фуги. Шёнберг, композитор-первопроходец и рисовальщик. Скрябин, имевший цветной слух, ощущавший любую тональность как символ (фа диес мажор – тональность разума, цвет – синий и т.д.) и включивший в партитуру «Прометей» luce-строку в соответствии с этим толкованием... А аргументы вроде того, что «над авангардом смеялись многие; имеются страницы Шоу, Вудхауза, Ильфа и Петрова, Эрдмана, Эренбурга, Булгакова – перечитайте «Хулио Хуренито» и «Золотой теленок»» — вовсе не являются доказательствами несостоятельности. Например, сколько бы ни смеялись над различными музыкальными явлениями (оперой, балетом, кантатой, арией, дуэтом, фугой, ансамблями деревенских музыкантов, виртуозами-вокалистами), сколько бы ни пародировали – всё сохранилось, процветает и пользуется вниманием слушателей, равно как и исполнителей.

3. «Оппозиция (в истории искусства)...не «тоталитарное-авангардное», но «образ – знак», христианство – язычество», «ренессанс – авангард»; «современное искусство оказалось наследником именно языческого жеста». А как же, к примеру, Мессиаен, истово верующий католик, включавший в свою музыку древнеиндийские ритмы, элементы перуанской культуры (подробно см. монографии Т.Цареградской, В. Екимовского)? Насколько вообще это логично – обобщать словом «языческое» всё в искусстве, что напрямую не относится к проявлением аврамических религий? Не слишком ли общо? В искусствоведении обозначение явления негативным термином не считается корректным, поскольку явление следует раскрывать в понятиях, ему принадлежащих. Это будет столь же правомерным, как, например, нотная запись архаической протяжной песни в мажоре или миноре – тогда как в этой песне совсем другие ладовые законы. К слову сказать, положения Шпенглера («Закат Европы»), — охарактеризованные в эссе как результат отхода от христианства: «Шпенглер не включил христианство в анализ современной истории» — в части музыки ни в чём не составляют диссонанса с мировоззрением европейца-христианина по мироощущению. В первом разделе главы 4 «Заката Европы» «Изобразительное искусство» (общее название главы – «Музыка и пластика») развёрнута оригинальная, полемичная и, в конечном счёте, весьма убедительная, концепция аполлонического, фаустовского и орнаментального начал, взаимодействующих в рамках европейской музыки; рассматриваются музыкальные явления от Средневековья – и вплоть до виртуозной сольной скрипичной музыки Нового времени. В чём, например, эти положения противоречат сути культуры христианской Европы?

4. «Прежде словом «авангард» именовали группу новаторов, сегодня это слово обозначает прогрессивные мысли большинства»; «мы находимся внутри победившего авангарда, упоенного своей победой». По отношению к современной академической музыке это вряд ли применимо: скорее, мир живёт внутри звуковой продукции шоу-бизнеса, которая без стеснения пользуется приёмами, выработанными серьёзными музыкантами. Академический авангард – это скорее содружество немногих одиночек, под сенью музыкальных олимпийцев Булеза, Андриссена, Лахенманна. Отечественные мастера авангарда – это парад планет совершенно разных. Музыка В. Тарнопольского, Б. Филановского, С. Хисматова, С. Невского, Д. Курляндского, В. Горлинского, А. Филоненко, О. Пайбердина, Д. Капырина (перечисление можно продолжить) – это свои миры, непохожие

один на другой. К тому же экспансия как таковая предполагает привилегированное положение группы, захватившей художественное пространство. О чём говорить не приходится: знаменитый МАСМ, даривший российским городам на протяжении целой вереницы лет возможность услышать сочинения отечественных авангардистов, недавно пережил потерю помещения для репетиций...

5. «До Второй мировой войны авангард не дожил; и нельзя сказать, что его уничтожили репрессии»; «противостояния «тоталитаризм – авангард» никогда в истории не существовало»; «колонны и колоссы выросли из квадратиков и черточек естественным путем, они наследники квадратиков, как титаны – наследники хаоса» – эти утверждения невозможно принять, в частности, по отношению к музыке, вспоминая травлю в 30-е -40-е годы в СССР композиторов-«формалистов» – т.е., наиболее сложно мыслящих, наиболее мастеровитых и искусных, органически способных воплощать «идеи партии» в музыке. Общеизвестна творческая судьба Г. Попова, в ранние годы соперничавшего с Шостаковичем в сложности и парадоксальности, а в 30-е годы упростившего музыкальный язык после запрета на жизнь его симфонии. Вс.П. Задерацкий, создавший в ГУЛАГе одно из самых страшных своих произведений – прелюдию и фугу до мажор из цикла «24 прелюдии и фуги»; играя её, психологически переносишься в ад лагеря. Сломанные творческие судьбы, растоптанные композиторские надежды, чудом не утерянные ноты – может ли что-либо свидетельствовать о судьбах музыкальных первопроходцев в СССР 30-х годов? С моей точки зрения, такие обобщения применительно к отечественному музыкальному искусству выглядели бы по меньшей странно и способны скорее задеть лучшие чувства неравнодушных, чем что-то прояснить в художественной картине того или иного времени.

6. «Искусство авангарда вовсе не знало сопротивления насилию – оно само было насилием». Мне не известен ни один пример того, что музыкальный авангард 10-х -20-годов – равно как и авангард 2-й, послевоенной, волны – выступил в роли бездушной машины. Будь то звуковые утопии Арсения Аврамова (симфония гудков, о которой так ярко писал С. Румянцев), тончайшие страницы музыки Н. Рославца, А. Животова, молодого Г. Попова... К кому можно отнести определения из дискутируемого трактата? Молодые Прокофьев, Шостакович? Стравинский? Денисов? Шнитке? Губайдуллина? Н. Корндорф? Десятки других ярчайших имён? Всё это великие умы и души, создавшие уникальные звуковые миры, очень сложные для

постижения; музыкальная соль земли. А ведь к «реалистам» их явно не отнесёшь.

Вот некоторые соображения по поводу прочитанного. С моей точки зрения, выбранный автором ракурс и само изложение идеи, – взгляд художника, перо литератора – чрезвычайно интересен. Однако же столь грандиозная тема нуждается в фундаментальном исследовании всего европейского искусства, включая сюда не только живопись, архитектуру, поэзию, прозу, кинематограф, о чём в тексте трактата так или иначе говорится, – но и музыку, театр...



**Михаил Носоновский**

## **Спор Ньютона с Лейбницем и окультурные корни науки**

### **Ньютон и абсолютное пространство**



Поводом к написанию этой статьи стала реплика проф. Эдуарда Бормашенко в его замечательной и стимулирующей размышления работе "Пролегомены к философии естествознания". Бормашенко пишет: *"Что мне всегда было в механике Ньютона непонятным – это концепция вечного, абсолютного простирающегося во все стороны оцифрованного пространства-времени. Верующему христианину, полагавшему, что мир сотворен, эта концепция должна быть очень неудобна. Но ньютоновой механике требовался единый фон, и Ньютон пожертвовал логической последовательностью во имя общности картины мира"*.

Я заинтересовался этим вопросом, который, как ни странно, не лежит на поверхности обширной популярной литературы о взглядах Ньютона и, как оказалось, связан с рядом очень интересных аспектов ньютоновской философии. Прежде всего, Ньютон полагал пространство и время божественными эманациями. Вот что он писал:

“Space is an affection of a being just as a being. No being exists or can exist which is not related to space in some way. God is everywhere, created minds are somewhere, and body is in the space that it occupies; and whatever is neither everywhere nor anywhere does not exist. And hence it follows that space is an emanative effect of the first existing being, for if any being whatsoever is posited, space is posited” (DeGrav, 25, цит по E. Schliesser "Newtonian Emanation, Spinozism, Measurement and the Baconian Origins of the Laws of Nature" Foundations of Science August 2013, Volume 18, Issue 3, pp 449-466).

Эта идея повторяется и в нескольких других местах в сочинениях Ньютона. Бог - абсолют, он вездесущий: "But as the Hebrews called God *מֶכָּמַץ* place and the Apostle tells us that he is not far from any of us for in him we live and move and have our Being, putting place by a figure for him that is in all place; and the scriptures generally spake of God by allusions and figures for want of proper language" ("Avertissement au lecteur" by Newton in "Clarke-Leibnitz correspondence", цит по F. Manuel, *The Religion of Isaac Newton*, Oxford, 1974, p. 35; Ньютон делает ошибку *מֶכָּמַץ* в написании слова *מָקוֹם* маком "место").

Эманация - это, конечно же, платоновская концепция, хорошо нам известная из каббалы. Бесконечный и абсолютный Б-г эмануирует (т.е. излучает) сущности, которые по мере прохождения ступеней эманации становятся менее абсолютными. На этом основана идея древа сфирот, идея Четырех миров и прочие фундаментальные концепции зоѓаровской и лурианской каббалы, в которых преломились понятия платонизма и пифагореизма.

Для Ньютона пространство бесконечно, потому что оно является божественной эманацией. В этом, кстати, один из аспектов спора Ньютона и Лейбница (они спорили отнюдь не только по вопросу о приоритете в открытии дифференциального исчисления, но и по многим мировоззренческим поводам). Вот что пишет Е. Шлиссер:

"This fits nicely with Newton's view later in life in his "Account of the *Commercium Epistolicum*," where Newton rejects Leibniz's view of God as "an intelligence above the bounds of the world; whence it seems to follow that he cannot do anything within the bounds of the world, unless by an incredible miracle". In context Newton has just affirmed that while God is not the soul of the world, he is omnipresent so this accords with the view of DeGrav (recall: "no being exists or can exist which is not related to space in some way" 25). If Leibniz's God is above the bounds of the world, this means he is outside of space and time altogether. God would literally be acting from nowhere, that is, an incredible miracle. Thus, in his response to Leibniz, Newton is echoing the doctrine of the sixth chapter of Spinoza's *Theological Political Treatise*; in a discussion of miracles, Spinoza rejects the very intelligibility of placing God above the bounds of the world (a view also associated with Boyle)."

Другой исследователь, Эдвард Хамара, посвятил целую книгу спору Ньютона и Лейбница о пространстве и времени (E. Khamara, *Space, Time, and Theology in the Leibniz-Newton Controversy*, 2006, см. также E. Vailati, *Leibniz & Clarke: a Study of their Correspondence*, 1997). Согласно Хамаре, основное различие в

подходе Лейбница и Ньютона к пространству и времени состояло в лейбницевском "принципе тождественности неразличимого". Хамара пытается доказать, что Лейбниц, в отличие от Ньютона, отрицал абсолютное пространство и время и полагал его вторичным по отношению к материальным телам. Согласно Хамаре, концепция Лейбница в этом смысле ближе к современной эйнштейновской идее пространства-времени, чем к абсолютному пространству Ньютона.

Удивительным здесь, на мой взгляд, является другое. Ньютон был последовательным критиком как еврейской каббалы и христианского гностицизма, так и платонизма философов. Именно из-за их приверженности идее эманации, которую он полагал коррупцией изначальной идеи божественного проявления. Вот что пишет Мануэль:

"Newton's contempt for metaphysics thus had religious as well as scientific roots. The personal element, his rivalry with the two system-makers, the dead Descartes and the living Leibnitz, was always present; but even if the personal element is ignored, metaphysics remains an evil to be combated. Abstract system-making, building hypothetical structures, was a mode of thinking responsible for the perversion of the only truly revealed religion, primitive Christianity. The modern philosophical system-makers who were molesting him were acting precisely as had the ancient Platonists, Gnostics, and Cabbalists. Instead of concentrating upon God's works, His action, the phenomena, as a form of worship, they were presuming a knowledge of His attributes or His essence. Leibniz was Athanasius redivivus. Supramundane intelligences, pre-established harmonies, were hypotheses of the same order as the Cabbalist sephiroth, Plato's logos, and Simon Magus' foul emanations." (p. 75-76).

Вывод, который из этого можно сделать, очевидный. Ньютон не вписывается ни в какую схему. Будучи убежденным идейным противником платонизма и эманации, он без видимых затруднений прибегает к этой идее, когда у него возникает необходимость использовать абсолютное пространство и время. Чтобы лучше разобраться в истоках этого противоречия, нам придется пристальнее взглянуть на историю становления современной науки в XVII веке.

### **Оккультные корни современной науки (то, о чем ученые предпочли бы забыть)**

Научная революция семнадцатого века представляет собой особую главу в истории европейской цивилизации. Ф. Бэкон (1561-1626) , Галилей (1564-1642), Декарт (1569-1650), Паскаль

(1623-1662), Бойль (1627-1691), Локк (1632-1704), Гук (1635-1703), Ньютон (1642-1727), Лейбниц (1646-1716), Я. Бернулли (1654-1705) и другие великие ученые и философы, отталкиваясь от средневековой схоластики, заложили основы как современного научного метода, так и естественных наук как таковых, прежде всего, физики и химии. Благодаря этому, семнадцатый век знаменует "совершеннолетие человечества", и некоторые историки называют его "новым осевым временем" по аналогии с идеей Карла Ясперса об "осевом времени" античного периода. Традиционно, рассматривая идеи и работу ученых раннего нового времени, подчеркивают их рационалистическую направленность, отличающуюся от схоластической науки и теологических догм средневековья. Отмечают также возникновение эмпирического метода, позволившего исследовать природу на научной основе.

На деле взаимоотношения науки, религии и мистики несколько сложнее. Как показал Давид Рудерман и ряд других исследователей, наука нового времени в своих основах тесно связана с оккультизмом. Здесь нужно понимать, что такое "оккультизм", когда мы говорим о XVII веке. Средневековая наука развивалась учеными-схоластами, являвшимися, в той или иной мере, последователями или Платона, или, в большей степени, Аристотеля. Именно Аристотель с его "Физикой" и "Метафизикой", учением об элементах и причинности считался создателем науки как таковой. К XVII веку схоластическое (аристотелево, перипатетическое) знание выглядело так: есть теория четырех первоэлементов и есть явления, которые не удается объяснить при помощи этой теории.

В аристотелевой физике было четыре элемента (земля, вода, огонь и воздух) и четыре "манифестированных" свойства (горячее, холодное, влажное и сухое). Таким образом, например, нагревание было результатом манифестированного свойства. Значительное число взаимодействий (например, растворение, магнетизм, действие ядов) не удавалось объяснить этими свойствами, и они полагались "оккультными". При этом в схоластике набирал силу механистический подход, согласно которому тела взаимодействуют друг с другом только посредством непосредственного механического контакта. Декарт полагал, что все оккультные свойства можно свести к механическому взаимодействию. Например, магнетизм он представлял как непрерывный поток невидимых право- и левозакрученных винтиков-флюид, которые, в зависимости от полярности, приводят к притяжению или отталкиванию.

Все, что невозможно объяснить при помощи "манифестированных" свойств (например, магнетизм, электричество, брожение), считалось оккультными силами, т.е. силами без причин, или причина которых неизвестна. Предполагалось, что есть три способа получения оккультного знания: (1) Вызов духов великих людей, которые могли кое-что рассказать, дело опасное. (2) Наблюдение за внешней символикой мира, например, грецкий орех похож на мозг, потому от него умнеют. (3) Опыт и структурирование явлений, наблюдаемых в опыте.

Идея гравитации как дальнего действия или дальнедействующей силы в понятиях XVII века является сугубо оккультной, противоречащей принципам схоластики (аристотелизма), как их понимали Декарт и многие другие. Именно вокруг идеи дальнего действия происходил спор между Ньютоном с одной стороны и современными ему учеными (прежде всего, Лейбницем и Гуком) с другой. Именно отвечая на обвинения Лейбница в оккультизме закона гравитации  $F=GmM/R^2$  Ньютон в 1704 г. произнес свое знаменитое "гипотез не измышляю!" (hypotheses non fingo): "Gravity must be a scholastic occult quantity or the effect of a miracle". Не важно, что вызывает гравитацию, какие "невидимые винтики" за ней стоят, это все гипотезы. Тяготение может быть оккультным свойством или даже чудом. Не так важно, как оно соотносится с "манифестированными свойствами" схоластов. Важнее, какой формулой оно описывается: "It seems to me farther, that these Particles ... are moved by certain active Principles, such as is that of Gravity, and that which causes Fermentation, and the Cohesion of Bodies. These Principles I consider, not as occult Qualities, supposed to result from the Specific Forms of Things, but as general Laws of Nature, by which the Things themselves are form'd; their Truth appearing to us by Phenomena, though their Causes be not yet discover'd. For these are manifest Qualities, and their Causes only are occult."

Аналогичным образом и галилеево-ньютоновская идея инерции потрясла воображение схоластов как "оккультная". Только если в случае с гравитацией мы имеем дело с пространственным дальним действием, то при движении по инерции происходит "беспричинное движение".

Как отмечает Robin George Collingwood, "Newton ... divided events or states in nature into two classes, uniform motions, or states of rest, and accelerations or decelerations; and he thought that the second class had causes and the first not. Newton thus held that some

events have no causes'." Равномерное движение – это беспричинное событие. Для современного человека это звучит странно (и требуется некий существенный разбор, что это, собственно, значит), тем не менее именно в этом состояло ньютоново (и галилеево) новаторство. Ведь вопрос "почему стрела, выпущенная из лука, продолжает движение?" не давал покоя умам со времен Аристотеля. Ясно, что причинность во времени параллельна близкодействию в пространстве, в этом смысле инерция так же "окультна", как и гравитация. Эти два открытия происходят параллельно и почти одновременно: инерция (беспричинное равномерное прямолинейное движение) и дальное действие гравитации.

Кстати, инерция, на мой взгляд, в некотором смысле комплиментарна трению. Только осознав, что существует трение, препятствующее бесконечному равномерному движению, вычленив силу трения из других сил природы, можно заметить и идеальную инерцию. Для меня как триболога (специалиста по трению) особенно обидно, что в то время как инерция после Галилея приобрела фундаментальный статус, трение, напротив, стало почему-то считаться не фундаментальной силой природы, а неким случайным нагромождением разных не связанных процессов.

Что до гравитации, то она, вероятно, дополнительна левитации. По некоторым данным, разрабатывая свою теорию гравитации, Ньютон в частном порядке пытался исследовать левитацию (Joel D. Black, "Levana: Levitation in Jean Paul and Thomas de Quincey," *Comparative Literature*, vol. 32, no. 1, 1980, pp. 44-45). В современной физике часто говорят о вибрولةвтации, вызванной малыми акустическими колебаниями. Этот подход, в частности, много лет разрабатывал замечательный петербургский механик Илья Израилевич Блехман, который показал, что малые вибрации могут быть заменены "эффективными силами", ведущими к самым удивительным эффектам, от вибрولةвтации до кажущегося изменения фазового состояния материала и виброрезонанса (Вибрация "изменяет законы механики" [http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/11\\_03/VIBRATION.HTM](http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/11_03/VIBRATION.HTM)). Эти идеи тоже отчасти восходят к работам Гука еще в XVII веке.

Итак, многие идеи Ньютона имеют "окультную" подоплеку в своем основании. Но это еще не все. Сам эмпирический метод научного познания имеет окультное или магическое происхождение. Для ученого-схоласта основной способ получения знания – ссылка на авторитет, не важно, аристотелев или библейский. Мистик и окультист же прибегает к

"мистическому опыту" в попытке узнать то, что сокрыто от ученого. Именно из идеи, что знания можно получать благодаря субъективному мистическому опыту, и произрастает весь научный эмпирический метод. Британские ученые нового времени, такие как Френсис Бэкон (и, позднее, представители Королевского общества), максимально очистили индивидуальный мистический опыт от субъективного, превратив его в научный, относительно "объективный", воспроизводимый, эмпирический метод. Они же показали, что именно индуктивная логика (которая раньше ассоциировалась с оккультной магией) является наиболее плодотворным методом исследования природы.

Книга Природы и Книга Писания: вместе или по отдельности?

Не менее интересна и связь научных изысканий Ньютона с его философскими идеями. В XVII веке шел спор о том, кто был более продвинут в знаниях - мыслители древнего мира или современные. Ньютон придерживался точки зрения, что древние знали больше. Точнее, он полагал (как многие алхимики и маги), что алхимические и научные знания были переданы Моисею на горе Синайской, а до него - Ною. От Моисея эти знания попали к Пифагору во время путешествия последнего в Тир к финикийцам. Но греки со временем утратили эти знания в результате "коррупции" и склонности к идолопоклонству, (к которой Ньютон относил еврейскую каббалу, христианский гностицизм и греческий платонизм). Свою задачу он видел в том, чтобы восстановить это утраченное знание.

По мнению Ньютона, христианство (католицизм и англиканство в равной мере) было коррумпировано языческой идеей Троицы с IV века н.э., т.е. он стал арианцем. Я намеренно не хочу здесь писать о связи Ньютона с иудаизмом (потому, что пишу совсем про другое), но связь там очень тесная и многообразная (с рационалистическим иудаизмом маймонидовского толка), хотя Ньютон и осуждал евреев за неприятие Христа и осуждал каббалу в стиле Зохара и сфирот (с которой был знаком по христианским переводам).

Заговор папистов 1679 года и угрозу реставрации католицизма Ньютон воспринял как повторение печальных событий IV века. В 1683 году он начал писать труд "Philosophical origins of gentile philosophy" (Философское происхождение языческой философии), где излагал свои идеи о том, что геоцентрическая система есть результат языческой коррупции древнего знания. Солнце занимало центральное место в храме вестальщиков. Вечный огонь (Нер тамид), окруженный Семью

лампами (Менорой) в Иерусалимском Храме, также символизировал Солнце и обращающиеся вокруг него семь планет. Теперь Ньютон считал Декарта с его теорией вихрей представителем той же коррумпированной языческо-папистской традиции.

Сам же Ньютон надеялся найти истинное знание в пифагорейских идеях о гармонии. Ключевую роль для Ньютона играли две идеи - "музыка сфер" и "флейта Пана". Музыка сфер - пифагорейская идея гармонии, которая вдохновляла Ньютона.

Ньютон полагал, что пифагорейцам была известен закон тяготения, обратно пропорционального квадрату расстояния,  $1/r^2$ . Аналогию он видел с законом Мерсенна для главной гармоники, обратно пропорциональной квадрату диаметра струны.

Аналогия с музыкой (и, в частности, спектра с октавой) сыграла также важную роль в ньютоновской теории света (точнее, во второй его теории света, 1675 года), но здесь ключевую роль имела критика со стороны Гука, который полагал, вслед за пифагорейцами, что свет связан с вибрацией эфира. Именно тогда и возникла теория эфира, открывавшая возможность передачи оккультных взаимодействий (света, гравитации, электричества, магнетизма, силы движения живых существа, ферментации, ядов, растворения, и т.п.). "Флейта Пана" – это мистико-алхимическая идея об особой силе, вызывающей гравитацию прямым вмешательством бога ("Let Newton be!" Oxford, 1988).

Ньютон отнюдь не выводил законы природы из опыта, хоть и соединил эмпирический метод (только что очищенный от оккультизма Ф. Бэконом) с идеями пифагорейской гармонии и эзотерического знания алхимиков и древних.

Как же соотносить библейские штудии Ньютона с его естественнонаучными изысканиями? В этой статье я намеренно не затрагиваю вопрос о связи Ньютона с иудаизмом, хотя об этом можно сказать очень многое, идейная связь там многоуровневая и многообразная.

Согласно исследователю Ньютона, Мануэлю, в XVII веке существовало две школы, по разному трактовавших отношение науки с религией. Дискуссия шла в терминах метафоры "двух книг" - книги Природы и книги Писания. Так называемые "сепаратисты" считали, что Книга Природы – сама по себе, а Книга Писания – сама по себе. Эти книги написаны на разных языках. Писание говорит языком простолюдина (простого израильянина времен Моисея). А Природа говорит языком математики на сложном и недоступном простолудину языке. Хотя Моисею, по мнению Ньютона, были известны все тайны природы

и законы науки; вообще, по его мнению, греческие мудрецы учились у евреев. Сокровенные тайны мироздания были открыты Адаму, Ною, Моисею, а теперь и ему - Ньютону. Но, в отличие от своих предшественников, он раскрыл их человечеству.

Вторая школа – пансофисты, такие как Comenius (Ян Коменский, с которым был связан и Лейбниц), полагали, что наука и христианство могут быть объединены, подобно тому, как аристотелево учение удалось соединить с христианством. Следует отметить, что такие фигуры, как Ньютон, зачастую не укладываются в однозначную классификацию и легко переступают границы тех или иных идеологических "школ" по мере надобности. Номинально Ньютон принадлежал к первой группе, к "сепаратистам", но на деле все сложнее, и фактически, согласно Мануэлю, он имел много общего со второй школой (речь и о материалистических объяснениях библейских чудес, вроде того, что всемирный потоп является следствием прилива, вызванного приблизившейся к Земле кометой). Для Ньютона фактически простой смысл писания тождествен физическому миру. Ньютон также разрабатывал иероглифическую теорию символов, представлявшую мир как текст.

Своими противниками Ньютон полагал гностиков, платонистов и каббалистов. Их объединяло создание умозрительных схем и систем, так или иначе связанных с "теорией эманации", когда вместо самого Бога рассматриваются его эманированные атрибуты, такие как древо сфирот, что имело оттенок идолопоклонства. Лейбниц и картезианство (а Декарт, как мы помним, ярый механицист) для Ньютона были современными последователями этой линии, сторонниками "строительства систем":

*"Newton's contempt for metaphysics thus had religious as well as scientific roots. The personal element, his rivalry with the two system-makers the dead Descartes and the living Leibnitz, was always present; but even if the personal element is ignored, metaphysics remains an evil to be combated. Abstract system-making, building hypothetical structures, was a mode of thinking responsible for the perversion of the only truly revealed religion, primitive Christianity. The modern philosophical system-makers who were molesting him were acting precisely as had the ancient Platonists, Gnostics, and Cabbalists. Instead of concentrating upon God's works, His action, the phenomena, as a form of worship, they were presuming a knowledge of His attributes or His essence. Leibniz was Athanasius redivivus. Supramundane intelligences, pre-established harmonies, were*

*hypotheses of the same order as the Cabbalist sephiroth, Plato's logos, and Simon Magus' foul emanations.*" (Manuel, p. 75-76).

### **Лейбниц: идеи-атомы (монады) и символы-атомы**

Лейбниц являлся постоянным оппонентом Ньютона отнюдь не только в вопросе о приоритете в изобретении дифференциального исчисления. Лейбниц обладал оригинальной мировоззренческой системой, в которой особое место занимали система "монад" (неких элементарных духовных сущностей) и система универсальных базовых символов.

Лейбниц полагал, что символы делятся на "настоящие" и "ненастоящие". Настоящие представляют непосредственно идею, а ненастоящие - всего лишь слово, стоящее за идеей. Лейбниц пытался разработать систему универсального символизма, Characteristica universalis. Историки, впрочем, до сих пор спорят, чем должна была стать такая "Универсальная Характеристика" – то ли некой логической системой наподобие булевой логики, то ли некой кибернетической машиной или системой библиографической классификации.

Откуда же Лейбниц взял эти идеи об универсальной важности символов? Его предшественником считается средневековый каталонский схоласт Рамон Льюль (1235-1315), живший на Майорке и прославившийся желанием обратить мусульман в христианство (за что и поплатился жизнью) при помощи своей "универсальной логической машины", которая якобы была способна логически доказать превосходство христианства. Льюль был также одним из первых европейских арабистов.

Льюлю (или Луллию) уделил несколько ироничных страниц Борхес в "Письменах Бога", утверждающий, вполне в постмодернистском духе, что порождение бессодержательных высказываний не было бы нелепостью разве что в качестве инструмента литературного и поэтического творчества:

*"Перед нами схема, или диаграмма, атрибутов Бога. Буква А в центре обозначает Господа. В окружности буква В – это благодать, С – величие, Д – вечность, Е – всемогущество, F – премудрость, G – воля, H – праведность, J – истина, K – слава. Каждая из девяти букв равно удалена от центра и соединена со всеми прочими с помощью хорд или диагоналей. Первое обстоятельство означает, что все эти атрибуты неотъемлемо присущи Богу; второе – что все они связаны между собой; таким образом, мы не впадем в ересь, утверждая, что слава вечна, что вечность славна, что всемогущество истинно, славно, благодно,*

*велико, вечно, всемогущественно, премудро, свободно и праведно, или благостно велико, величаво вечно, вечно всемогущественно, всемогущественно премудро, премудро свободно, свободно благостно, праведно истинно и т. д. и т. д.*

*Я хотел бы, чтобы мои читатели уразумели всю масштабность этого «и так далее». В нем, поверьте, заключено намного большее число комбинаций, чем уместилось бы на этой странице. Тот факт, что они совершенно бессодержательны – ведь для нас сказать: «Слава вечна» – столь же лишено смысла, как сказать: «Вечность славна», – в данном случае второстепенен. Этот неподвижный чертеж с его девятью буквами, помещенными в девяти «камерах» и соединенными звездой и многоугольниками, сам по себе уже есть логическая машина. Естественно, что его изобретатель – человек, не забудем, XIII века – зарядил ее понятиями, которые нам теперь кажутся несостоятельными. Мы уже знаем, что понятия благости, величия, премудрости, всемогущества и славы не способны породить хоть сколько-нибудь стоящий отклик. Мы-то (по сути, люди не менее наивные, чем Люль) зарядили бы ее иначе. Скорее всего, словами Энтропия, Время, Электрон, Потенциальная Энергия, Четвертое Измерение, Относительность, Протоны и Эйнштейн. Или: Прибавочная Стоимость, Пролетариат, Капитализм, Классовая Борьба, Диалектический Материализм, Энгельс...*

*Приверженцев «Ars magna» не пугала лавина двойственных определений: они рекомендовали пользоваться одновременно многими комбинаторными машинами, которые (по их мнению) будут сами ориентироваться и выправлять мысль благодаря «умножениям» и «очищениям». Долгое время немало людей полагало, что, терпеливо манипулируя дисками, наверняка удастся раскрыть все тайны мироздания... Как инструмент философского исследования логическая машина – нелепость. Однако она не была бы нелепостью как инструмент литературного и поэтического творчества".*

Итак, Лулль, сумасшедший христианин, надеявшийся крестить всех евреев и мусульман, убедив их при помощи своей логической машины в верности христианства. За это он в результате и поплатился, мусульмане в Тунисе забили его камнями. Борхес написал рассказ про Лулля, со своей постмодернисткой колокольни полагая, что все едино - хоть Энгельс, хоть Эйнштейн, хоть папа Римский - заряжай логическую машину любыми понятиями и получай бессмысленные выражения, однако полезные для поэтического и литературного творчества.

Но для истории науки вопрос о том, изучаем мы отношения между объектами или комбинации символов - крайне принципиален.

Что изучает наука – объекты, отношения между ними или их символы?

Квантовая механика с начала XX века рассматривает неразличимые тождественные частицы и функции состояния, которые некоторые полагают описанием не природы как таковой, а нашего знания о природе. Откуда же взялся такой странный взгляд на природу? Оказывается, уже в статистической механике в конце XIX века, у Больцмана и Гиббса есть множество к тому предпосылок, вытекающих из применения статистических методов. Уже в классической статистической механике торчат квантовые "уши" (примерно как в уравнениях Максвелла уже сокрыта СТО). Это, например, парадокс Гиббса, согласно которому энтропия в классической статистической механике становится экстенсивной лишь если предположить, что молекулы являются неразличимыми. Да и сама формула Больцмана ( $S = k \ln W$ ) вопиет уже из соображений размерности о том, что объем фазового пространства  $W$  должен быть поделен на постоянную размерности действия  $W/h$  (т.е. что в физике должна быть постоянная Планка).

Идентичные неразличимые объекты, которые тиражируются в огромном количестве, больше похожи на буквы или на символы, чем на объекты реального мира, вроде яблок, апельсинов или живых клеток. В этом их отличие от просто "атомов" о которых говорили древние, они передают совсем другое умонстроение: "Feynman, they are all the same electron!" (это знаменитая цитата). Поэтому возникает вопрос, откуда же эта идея, что мир состоит из символов, взялась? Основателем семиотики (науки о символах) считается Локк (1632-1704), который, впрочем, имел предшественника John Poinsot (1590-1644). Окружающий нас мир делится на "природу" (то, что существует помимо человека) и "культуру" (результат деятельности человека). Знак в философии Пуансо выступает в роли третьего типа объектов, объединяющих природное и социальное, что было оригинальным подходом к натуральной философии. Локка (как и Ньютона) жестоко критиковал Лейбниц (1646-1716), у которого были свои идеи.

Лейбниц полагал, что символы делятся на "настоящие" и "ненастоящие". Настоящие представляют непосредственно идею, а ненастоящие - всего лишь слово, стоящее за идеей. Лейбниц пытался разработать систему универсального символизма, *Characteristica universalis*, которая, как выяснилось, имела

предшественников, одним из первых среди которых был Рамон Льюль (1235-1315).

Каким же образом Рамон Лулл пришел к идее подобного устройства, порождающего текст? Будучи человеком, хорошо знакомым с мусульманами, он, по-видимому, заимствовал идею *زائرادجة* Зайраджа, арабо-персидского астрологического и гадательного приспособления. Так, по крайней мере, полагает David Link, автор статьи “Scrambling T-R-U-T-H Rotating Letters as a Material Form of Thought” ([http://alpha60.de/research/scrambling\\_truth/DavidLink\\_ScramblingTruth2010\\_100dpi.pdf](http://alpha60.de/research/scrambling_truth/DavidLink_ScramblingTruth2010_100dpi.pdf)). Про помощи Зайраджи мусульманские прорицатели давали "ответ" на любой вопрос, да еще и в рифмованной форме! Использование Зайраджи является одной из техник 'Илм ал-Хуруфа' – науки о буквах или арабской каббалы, тесно связанной с арабской каллиграфией. Пусть не смущает читателя, что от обсуждения истории рациональной науки мы так быстро ушли в направлении мистики и магии, мы потом вернемся обратно.

Речь в статье Дэвида Линка там идет о арабском варианте того, что в каббале называется гематрией, о связи греческого алфавита, римских цифр с арабской и еврейской алфавитной магией, а заодно с абаксом, т.е. счетами (там очень любопытно про этимологию слова “абак”, его связь с еврейской "пылью" и арабскими "буквами пыли": *Solomon Gandz showed in the 1930s that hurūf al-ghubār did not indicate “letters of dust”, but rather “signs employed on the abacus”, and that the word consciously reflected the etymology of Greek ‘bay derived from Hebrew אבאק(abaq – “dust”).*). Кстати, Лейбниц тоже увлекался созданием механических калькуляторов, но это другая история.

Зайраджа обсуждается у арабского историка XIV века Ибн Халдуна, который задается вопросом, является ли она новым изобретением или же древним устройством. Линк уделяет большое внимание устройству Зайраджи и даже рассказывает, что кто-то в интернете в 2007 году пытался получить ответ на вопрос “Will America strike Iran this year?”, а под конец предлагает напрямую задать Зайрадже вопрос “هل زائيرجة تظهر الحقيقة؟” (“Does the zā’irja show the truth?”). Все это, по-моему, очень любопытно, но ясно, что подобные манипуляции с буквами (хорошо известные в еврейской традиции, кстати, и отчасти в данном случае из нее и заимствованные, прямым или опосредованным путем, скажем, порядок алфавита абджад (АБГД) – это еврейский алфавит) восходят к известным пифагорейским и неоплатоническим традициям Востока.

Моя цель, однако, не углубляться в восточную магию и каббалу (сами по себе весьма интересные, но малополезные для наших целей), а попытаться лучше разобраться, что же произошло в XVII веке с рациональными представлениями людей о природе, и как это повлияло на то, что произошло в начале XX века. Я склоняюсь для себя к такой примерно картине. Есть столбовая линия западной науки, идущая от Аристотеля, через античных перипатетиков и средневековых схоластов. И есть другие традиции, все то, что не входит в рациональную науку (отчасти, восходя к Пифагору и Платону), связанные с мистикой, магией и оккультизмом.

В XVII веке происходит переосмысление соотношения между этими традициями. Оно, конечно, связано с тем, что природа оказалась подвластна математическим методам в гораздо большей степени, чем можно было думать до Ньютона и Лейбница. Почему - никто не знает. Но одно это не только подняло статус пифагорейской премудрости, но и привело к новому, не-аристотелеву, пониманию причинности, основанному на диф. уравнениях, а не на каких-то там "материалах-формах-целях". Второе - это отказ от механицизма (к которому логическим образом вело аристотельянство), фактически признание "оккультного" характера дальнего действия в законе всемирного тяготения. Третье - это некое переосмысление роли субъекта. Субъект, с его субъективным опытом, конечно, принадлежит ко второй линии или традиции, связанной с мистикой. Восприняв из этой традиции многие идеи, рациональная наука попыталась максимально "объективизировать" субъекта. То, что в мистике было индивидуальным мистическим опытом или переживанием, в эмпирическом методе превратилось в "воспроизводимый" и объективный научный опыт или эксперимент. Ну, а четвертое - это как раз те самые буквы или символы. Что же мы изучаем, когда осваиваем математику - как складываются яблоки или символы яблок?

Был ли Лейбниц каббалистом?

В отличие от Ньютона, своего постоянного соперника и оппонента, Лейбниц отрицал божественное, моисеево происхождение каббалы и полагал ее вариантом неоплатонизма. О чем он пишет в замечаниях к *De recondita Hebraeorum philosophia* (J. G. Wachter). Точнее, так считалось, пока в 1995 году не вышла книга A. Coudert, *Leibniz and the Kabbalah*, в которой Аллисон Кудер показала, что все несколько сложнее. Лейбниц находился под влиянием алхимика и христианского каббалиста Франциска ван Хелмонта (Francis Mercury van Helmont). Который разделял

некоторые идеи лурианской каббалы. И эти концепции ван Хелмонта, по мнению Allison Coudert, повлияли на лейбницевские идеи о монадах, свободе воли и теодицеи.

Впрочем, не все специалисты согласны с Coudert. У меня создалось впечатление, что Аллисон Кудер во многом пытается выдать желаемое за действительное. Справедливо отмечая, что историки слишком уж настойчиво стараются записать Лейбница в рационалисты, она пытается связать его с еврейской мистикой. Действительно, многие идеи Лейбница связаны с платонизмом. Но это не обязательно означает, что он пришел к ним через знакомство с каббалой, именно под влиянием ван Хельмонта.

У меня сложилось впечатление, что аргументация Аллисон Кудер исчерпывается тем, что Лейбниц несколько раз встречался с ван Хельмонтом и с автором *Kabbala Denudata* (христианского переложения учения каббалистов) Христианом Кнорром фон Розенротом. Как конкретно кабалистические идеи отразились в воззрениях Лейбница, Кудер, похоже, и не показывает. Не считая общих представлений о прогрессе – она полагает саму идею прогресса кабалистической идеей "тиккуна" (исправления мира).

Согласно Лейбницу (в интерпретации Кудер), материя имеет разные степени активности по шкале "активность-пассивность". Также заслуживает внимания представление Лейбница (в ее изложении) о взаимодействии между "монадами" (странными базовыми духовными сущностями, которые Лейбниц выдумал), в том числе замечание об отличии нашего представления о причинности (ведущего начало от Юма представления о "событиях" и причинной связи между ними) и аристотелевской причинности как взаимодействия между некими атрибутами (например, "формой" объектов). Для Лейбница монады отчасти одушевленные, и они испытывают желание, тягу друг к другу и т.п.

Но есть и другая, неисследованная линия развития идей, по которой Лейбниц может быть связан с каббалистическими концепциями. Наш давний знакомый идишист, переводчик и каббалист реб Йозель Матвеев из Нью-Йорка опубликовал интереснейшую статью в недавно вышедшем (под редакцией минского философа А. Шумана) сборнике о "еврейской логике". Статья называется "Symbolic computation and digital philosophy in early Ashkenazic Kabbalah", и речь в ней о каббалистических идеях группы Хасидей Ашкеназ, существовавшей в XII-XIII веках в Германии. В частности, об идее творения мира при помощи подбора последовательности букв и идей манипуляции с буквами,

похожих на символичные вычисления современных логических автоматов (вроде машины Тьюринга или cellular automata). Пример, который приводит Шуман, связан с порождением буквенной последовательности путем замены букв по определенным правилам. Например, когда буква заменяется своим названием (с отбрасыванием первой буквы) а>(а)лф, л>(л)мд, г>(г)мл, ф>(п)а и т.п. Изначальное название буквы алеф порождает через несколько поколений замен последовательность алф > лф-мд-а > мд-а-м-лт-лф > млтлфммдуда. Из последней, путем отбрасывания лишних букв (вспомним слова Борхеса о необходимости "выправлять мысль благодаря «умножениям» и «очищениям»") вычлняется слово "Талмуд" ("учение"): млТЛфМмдУмДа. Это, конечно, очень похоже на "логическую машину" Луллия, с той разницей, что Борхес о Хасидей-Ашкеназ не слышал, и вообще тема эта не слишком исследована.

Мне уже приходилось писать о Хасидей-Ашкеназ на сайте Е. Берковича почти десять лет назад в заметке "Средневековая хасидская герменевтика и идея множественности вселенных" (<http://berkovich-zametki.com/Nomer30/MN43.htm>).

Стремление построить религиозную систему на двух столпах: традиции и логическом рациональном мышлении характерно для еврейских философов, живших в зоне влияния исламской культуры. В отличие от них, ашкеназы в XII-XIII веке не принимали греческую логику в качестве легитимного средства поиска религиозной истины. Для ашкеназских хасидов XII-XIII вв. текст оставался единственным связующим звеном между человеком и Богом, поскольку, в отличие от многих испанско-еврейских каббалистов, для них не существовало и возможности мистического контакта с Высшей Силой. Неудивительно, что средневековые хасиды уделили немалое внимание разработке герменевтических методов, потребовавших осознания роли языка.

Вероятно, под влиянием мусульманских богословов у испанских евреев возникла идея о сосуществовании «внешнего» (открытого) и «внутреннего» (сокрытого) уровня понимания Торы, трансформировавшаяся в представление о четырех уровнях толкования («Пардес»). Однако герменевтическая методология германских хасидов была гораздо более радикальна. Она сформулирована наиболее полно в трактате «Сефер ха-Хохма» («Книга мудрости») Элезара из Вормса, датированном 1217 г.

В процессе комментирования любое слово порождает бесконечный ряд других слов. Разделы Шаар паним-ве-ахор («Врата первых и последних [букв]»), Шаар хатхалот о софей тевот («Врата начала и конца слова») говорят об использовании

аббревиатур по первым и последним буквам. Порядок букв и множество использованных букв являются, в определенном смысле, двумя системами координат. Можно получить новое слово из тех же букв, изменив их порядок («нотарикон»), либо же заменив по определенным правилам каждую букву, но сохранив их порядок («темура»). Толкование, полученное любым из 73 способов, одинаково верно. По-видимому, концепция единственной истины (известная также, как аристотелев «закон исключения третьего») - любое высказывание может быть либо истинным, либо ложным) была чужда германским хасидам, их нисколько не заботил вопрос о возможном противоречии между результатами толкований, основанных на разных методах.

Можно только удивляться тому, что самая релевантная каббалистическая идея - сотворение мира при помощи букв, символов, осталась незамеченной Аллисон Кудер. Что же до спора Ньютона с Лейбницем, то было бы соблазнительно свести его к проходящему красной нитью через всю историю западной философии спору Аристотеля и Платона (номиналистов и реалистов, материалистов и идеалистов). Но, думаю, лучше этого не делать.

Милуоки, США



**Илья Липкович**

## **Сны в творчестве Набокова**

### **Заметки читателя**

#### **Сновидение как вид ущербного творчества**



известно сравнение снов с театральным представлением. Как нам напоминает Хорхе Луис Борхес в предисловии к своей антологии «Книга сновидений» [1], ссылаясь на высказывание Джозефа Аддисона, «душа человеческая, во сне освободившись от тела, является одновременно театром, актерами и публикой», а от себя прибавляет, что «она выступает и как автор сюжета, который ей грезится». Впрочем, этим последним условием, как кажется, настоящий, не выдуманный сон или кошмар и отличается от сна «литературного», который обычно представляет собой сон, выдуманный писателем для достижения определенной художественной цели. Правда, Борхес тут же сам разграничивает «сновидения, изобретенные сном, и сновидения, изобретенные бодрствованием». Однако грань эта призрачна, как он сам заметил в своей лекции о кошмарах [2, с. 49]: «если считать сны порождением вымысла, <...> то, возможно, мы продолжаем придумывать их и в момент пробуждения, и позже, когда пересказываем». Сны, по Борхесу, есть сложный продукт человеческого вымысла и «наиболее древний вид эстетической деятельности». С мнением, что сны «соответствуют низшему уровню умственной деятельности», он решительно не согласен. Как пример присутствия вымысла и воображения в реальных снах он приводит эпизод из своего собственного сна: в нем ему привиделся старый друг, которого он не смог узнать. «Лица его я никогда не видел, но знал, что оно не такое. Он очень переменялся, погрузнел. На лице его лежал отпечаток болезни, печали, может быть, вины. Правая рука была засунута за борт куртки (это важно для сна), мне не было ее видно, она покоилась там, где сердце. Я обнял его, было понятно, что ему нужна помощь. "Мой бедный

друг, что с тобой случилось? Ты так изменился!" Он ответил: "Да, я изменился". И медленно вытащил руку. И я увидел птичью лапу». Удивительно тут, как считает Борхес, то, что его сознание подготовило эффект появления птичьей лапы, позаботившись о том, чтобы первоначально рука была спрятана – что-то вроде чеховского ружья, которое не зря появляется в первом акте пьесы.

Набоков, рассказывая студентам о «двойном сне» Анны и Вронского в «Анне Карениной», тоже делает подобное сравнение сна с драматическим произведением, однако, в отличие от Борхеса, он утверждает, что работа сновидения соответствует низшей форме человеческого сознания: «сон – это представление, театральная пьеса, поставленная в нашем сознании при приглушенном свете перед бестолковой публикой. Представление это обычно бездарное, со случайными подпорками и шатающимся задником, поставлено оно плохо, играют в нем актеры-любители» [3, с.253]. Можно подумать, что по Набокову, сновидение – это, низшая форма сознания, в котором случайно и бездарно сцепляются и трансформируются объекты разного плана. «Сновидец – идиот, не лишенный животной хитрости» («Прозрачные вещи»). «В лучшем случае человек, видящий сон, видит его сквозь полупрозрачные шторы, в худшем он – законченный идиот» («Ада»). В этом подчеркивании дурной случайности снов, сквозит и некоторое раздражение человека, немало от них пострадавшего, человека, которого всю жизнь мучили сны, всегда обещая что-то такое, что остается за порогом сновидения. Набоков жаловался в «Других берегах» и на хроническую бессонницу, и на то, что сон крадет время у его сознательной, творческой жизни: «Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением. <...> Я знаю, что спать полезно, а вот не могу привыкнуть к этой измене рассудку, к этому еженощному, довольно анекдотическому разрыву со своим сознанием. В зрелые годы у меня это свелось приблизительно к чувству, которое испытываешь перед операцией с полной анестезией, но в детстве предстоявший сон казался мне палачом в маске, с топором в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому беспомощный король прокусывает палец».

С другой стороны, Набоков тут же замечает, что и в снах может промелькнуть намек или тень некой высшей действительности: «Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, иногда чувят и во сне, где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений, – стройную действительность прошедшей и предстоящей яви». Но затем (в конце второй главы) одергивает себя: «И конечно не там и не тогда, не в этих косматых

снах, дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи – на мачте, на перевале, за рабочим столом... И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно».

На самом же деле трудно себе представить другого автора, в творчестве которого сны играли бы более важную роль, чем у Набокова, – что на первый взгляд кажется странным, учитывая его пренебрежительное отношение к сновидениям. Важно, однако, помнить, что сознание сновидца, это несовершенное и ущербное сознание, безусловно, представляет огромный интерес для Набокова, в творческой лаборатории которого найдется место всякого рода уродствам и искажениям человеческого сознания. Главное здесь – это то, что сам Набоков, автор и творец, всегда пребывает в совершенно здоровом, бодрствующем состоянии духа, сочиняя свои книги при ярко горящем светильнике своего дневного сознания. Объектом же его творчества могут быть и ночной кошмар, и бред маньяка, и ночные видения персонажа, во всех остальных отношениях ничем не примечательного, сквозь которые вдруг проступают кем-то посылаемые знаки, требующие расшифровки.

По мнению Набокова [4, с.474], творческий процесс состоит из двух частей, или фаз: диссоциации – разъединения привычных связей и отношений благодаря нашей способности взглянуть на обыденную вещь, отстраняясь от всего, что мы о ней знаем, и даже как бы не подозревая о прямом ее назначении, и ассоциации – способности заново соединить вещи «в новой гармонии». В.Шкловский в своей известной работе «Искусство как прием» (1917), вероятно, первым указал на то, что восприятие обыденного как странного – один из основных приемов художественного творчества, и даже ввел специальный термин – «остраннение», который, очевидно по вине наборщиков, превратился в «остранение» и в таком виде вошел в широкий литературоведческий оборот. Сны представляются Набокову наиболее подходящей средой для моделирования эффектов, связанных с этой первой, разъединяющей и «развинчивающей» мир, фазой творчества: «Быть может, ближе всего к художественному процессу сдвига значения стоит ощущение, когда мы на четверть проснулись: это та доля секунды, за которую мы, как кошка, переворачиваемся в воздухе, прежде чем упасть на все четыре лапы просыпающегося днем рассудка. В это мгновение сочетание увиденных мелочей – рисунок на обоях, игра света на шторе, какой-то угол, выглядывающий из-за другого угла, –

совершенно отделено от идеи спальни, окна, книг на ночном столике; и мир становится так же необычен, как если бы мы сделали привал на склоне лунного вулкана или под облачными небесами серой Венеры» [4, с. 475].

Неполноценные, недовоплотившиеся и мнимые творцы, густо населяющие произведения Набокова, обладающие сомнительной способностью «развинтить» мир обыденного, но не способные собрать его заново, действуют как бы во сне. Ничего хорошего из этого не выходит. «Во сне великолепно, с блеском, говоришь, а проснешься – вспоминаешь: вялая чепуха», – признается автор неудавшегося «идеального преступления», убийца Герман («Отчаяние», 1936), что почти дословно повторяет сам Набоков в своем эссе «Искусство литературы и здравый смысл» (1942) [4], добавив характерную метафору: «... так прозрачные драгоценные камни, сверкающие на морском мелководье, превращаются в жалкую гальку, стоит лишь выудить их на поверхность». Или вот: говоря о Франце, герое романа «Король, Дама, Валет», наделенном сомнительным «даром» испытывать тошноту от соприкосновения с предметами обыденного мира, автор замечает: «А ведь только что его мысли, всегда склонные к бредовым сочетаниям, сомкнулись в один из тех мнимо стройных образов, которые значительны только в самом сне, но бессмысленны при воспоминании о нем».

В романе «Отчаяние» Набоков неявно использует «модель сновидения» для развенчания претензий своего лжегероя и лжетворца Германа. В Германе, безусловно, присутствует какая-то творческая энергия, быть может, даже и искра божия, разумеется, предусмотрительно занесенная в него автором, но в силу какой-то формы слепоты он действует как в бреду, при этом никогда не пересекая положенного ему – опять-таки волей всемогущего автора – предела: он не смеет выйти за границы этой первой, разъединяющей и развинчивающей мир, фазы творчества. Иногда из-под его пера выпархивают изумительные строки, выдавая присутствие истинного автора (роман написан от первого лица, что, безусловно, чрезвычайно усложняет задачу Набокова – развенчать зарвавшегося лжеавтора), но и строки эти несут на себе явный ночной отпечаток – вот это, сдвигающее предметы легкое дыхание бреда, подменяющее одну вещь другой, например, его пахнущее бредом сравнение служащих почтамта с портретами («В каждом окошке, как тусклый портрет, виднелось лицо чиновника»). Герману даже являются видения, но в силу своей нечуткости он отвергает посылаемые ему откуда-то свыше импульсы, которые у истинного художника могли бы вызвать

вспышку творческого озарения, и ... момент упущен! Вот один такой случай. Герман выглядывает из окна гостиницы в каком-то немецком городке:

«Я подошел к окну, выглянул, – там был глухой двор, и с круглой спиной татарин в тюбетейке показывал босоногой женщине синий коврик. Женщину я знал, и татарина знал тоже, и знал эти лопухи, собравшиеся в одном углу двора, и воронку пыли, и мягкий напор ветра, и бледное, сеledочное небо; в эту минуту постучали, <...>, и когда я опять посмотрел на двор, это уже был не татарин, а какой-то местный оборванец, продающий подтяжки, женщины же вообще не было – но пока я смотрел, опять стало все соединяться, строиться, составлять определенное воспоминание, – вырастали, теснясь, лопухи в углу двора, и рыжая Христина Форсман шупала коврик, и летел песок, – и я не мог понять, где ядро, вокруг которого все это образовалось, что именно послужило толчком, зачатием, – и вдруг я посмотрел на графин с мертвой водой, и он сказал «тепло», – как в игре, когда прячут предмет, – и я бы, вероятно, нашел в конце концов тот пустяк, который, бессознательно замеченный мной, мгновенно пустил в ход машину памяти, <...> – тут, однако, я спохватился, что пора идти на свидание, и, натягивая перчатки, поспешно вышел». (Ср. с примером творческого озарения из эссе Набокова «Искусство литературы и здравый смысл» [4, с.476]: «Переход от диссоциации к ассоциации отмечен своего рода духовной дрожью, которую по-английски очень расплывчато называют *inspiration*. Прохожий начинает что-то насвистывать именно в тот момент, когда вы замечаете отражение ветки в луже, что, в свою очередь и мгновенно, напоминает сочетание сырой листвы и возбужденных птиц в каком-то прежнем саду, и старый друг, давно покойный, вдруг выходит из былого, улыбаясь и складывая мокрый зонтик. Все умещается в одну сияющую секунду, и впечатления и образы сменяются так быстро, что не успеваешь понять ни правила, по которым они распознаются, формируются, сливаются, — почему именно эта лужа, именно этот мотив, — ни точное соотношение всех частей; так кусочки картины вдруг мгновенно сходятся у вас в голове, причем самой голове невдомек, как и отчего сошлись все части, и вас пронзает дрожь вольного волшебства, какого-то внутреннего воскрешения, будто мертвеца оживили игристым снадобьем, только что смешанным у вас на глазах.»)

Спешит Герман на свидание со своим «двойником». Этот двойник, собственно, и есть главная подмена в романе, намекающая на подспудную работу сновидения, как бы «творческий сдвиг» в бредовом сознании Германа: за своего

двойника он принимает человека, не имеющего с ним ни малейшего сходства (в глазах «нормальных», то есть бодрствующих людей). Для Германа это открывшееся ему двойничество несет на себе печать божественного откровения, чуда («В этом сходстве я чувствую божественное намерение», – говорит он), ибо для него чудесное – это совпадение, зеркальность, так сказать, платоновская «идеальная форма». Заметим, что в Бога Герман не верит, как не верит он и в бессмертие души: действительно, – рассуждает он, – где гарантия того, что дорогие образы родных и близких, встречающие с улыбками вас в раю, не являются подменой и замещением, «что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мелкий демон-мистификатор, изображающий, играющий вашу матушку с большим искусством и правдоподобием». Для Набокова же копии одного индивида – это, скорее, символ смерти, небытия, а не чуда, ибо чудо есть жизнь во всей ее конкретности, индивидуальности и неповторимости. В этой увлеченности идеей двойничества и проявляется роковая ограниченность дара Германа. К тому же еще, в силу своих преступных наклонностей, которые он маскирует (то есть опять-таки «замещает») под своего рода «искусство», он замысливает убить своего «двойника» и выдать его труп за свой, с тем чтобы его жена получила страховку.

Когда его «идеальное преступление» разваливается из-за мнимости сходства с «двойником» и других его просчетов, он начинает писать повесть, так сказать, по горячим следам, отсиживаясь в гостинице, где скрывается от полиции. Успех его нового предприятия должен как бы вознаградить его за провал криминальной затеи. Но и повесть его рассыпается на ходу как сон. Он совершает ошибки уже не как преступник, а как автор. Эти ошибки более тонкого свойства и связаны с нарушениями памяти, которая как бы идет впереди автора и подсовывает ему при описании прошлого детали, относящиеся к более позднему времени – времени, когда совершилось его преступление, которое, как дает понять автор, затмевает сознание Германа, парализует и подчиняет себе его волю. Таким образом, как во сне, происходит наложение разных временных срезов (еще один пример «сдвига» и «подмены») и, что самое неприятное, происходит это помимо воли автора-Германа – нить повествования выскальзывает из его рук, как выходит из подчинения автомобиль у не справившегося с рулевым управлением водителя, и контроль постепенно переходит к истинному автору. (См. замечательный анализ отношений истинного и ложного авторов «Отчаяния» у С.Давыдова в [5]). Например, Герман упоминает в одной из ранних сцен, что жена

его варила кофе, а потом обрывает себя, говоря, что на самом деле это был гоголь-моголь. Кофе она варила в тот день, когда он сообщил ей о своем якобы брате-близнеце и его предполагаемом «самоубийстве с переодеванием». Другой пример нарушения временной последовательности в его воспоминаниях: когда он описывает свое первое посещение дачи, и вдруг память его указывает на голые деревья и снег, он тут же опять поправляет себя, говоря: «Ерунда, откуда в июне снег? Его бы следовало вычеркнуть». И опять передергивается с оглядкой: «Нет, грешно. Не я пишу, пишет моя нетерпеливая память. Понимайте, как хотите, – я ни при чем». Снег был в марте, в момент его преступления. Память его беспокоит и возвращается на место преступления, а творить человеку с нечистой совестью невозможно. Гений и злодейство, видимо, и вправду, – две вещи несовместные.

Тут уместно напомнить, что, согласно творческой модели Набокова, произведение настоящего мастера стоит вне зависимости от случайностей процесса воспоминания и последовательности изложения. Вот как он сам это объясняет в эссе «Искусство литературы и здравый смысл» [4, с. 479]: «Пылкий “восторг” выполнил свое задание, и холодное “вдохновение” надевает строгие очки. Страницы еще пусты, но странным образом ясно, что все слова уже написаны невидимыми чернилами и только молят о зримости. Можно по желанию развертывать любую часть картины, так как идея последовательности не имеет значения, когда речь идет о писателе. *Ни времени, ни последовательности нет места в воображении автора, поскольку исходное озарение не подчинялось стихиям ни времени, ни пространства*» (курсив мой – И.Л.). В этой непостижимой для здравого смысла иррациональной способности совмещать разрушительную природу творческого озарения с дисциплиной трезвого расчета, ведающего процессом сборки произведения в единое целое (а вместе с ним и всей вселенной, как бы «удерживаемой» в этом произведении), – и состоит отличие творца от бредящего или сумасшедшего: «Сумасшедший боится посмотреть в зеркало, потому что встретит там чужое лицо: его личность обезглавлена, а личность художника увеличена. Сумасшествие – всего лишь больной остаток здравого смысла, а гениальность – величайшее духовное здоровье. <...> Лунатики потому и лунатики, что, тщательно и опрометчиво расчленив привычный мир, лишены – или лишились – власти создать новый, столь же гармоничный, как прежний. Художник же берется за

развинчивание когда и где захочет и во время занятия этого знает, что у него внутри кое-что помнит о грядущем итоге.» [4, с. 475].

Возвращаясь к Герману, чтобы уже совсем покончить с ним, заметим, что в последней английской версии (роман переводился на английский язык дважды, в 1937 и 1965 гг.) Набоков наделяет своего героя еще и «даром» раздвоенного сознания – видимо, для того, чтобы добавить к его образу последний штрих. Например, занимаясь любовью с женой, он одновременно как бы наблюдает за этим со стороны, как зритель. В этом мне видится прямое усиление мотива сновидения, где (напомню) автор является одновременно «актером и публикой».

Здесь возникает, быть может и неуместный, вопрос: не является ли эта страсть Набокова и его героев к свойственным сновидениям подменам и замещениям неким отголоском фрейдистских комплексов? И как вообще Набоков относился к современным ему теориям и толкованиям сновидений?

### **Набоков-Фрейд-Бергсон**

Известно резко отрицательное отношение Набокова к Фрейдю и всей созданной им и его учениками субкультуре психоанализа. В частности, Набоков не выносил «грубой» интерпретации снов как места обитания якобы продолжающих свою темную жизнь в сновидениях мифологических героев и их вечных комплексов. Апелляция психоаналитиков к «коллективному бессознательному», якобы проявляющемуся в снах, и использование снов как ключика, открывающего темные кладовые подавленных инстинктов и неосуществленных желаний сновидца, оскорбляет аристократический, помноженный на артистический, индивидуализм Набокова. Впрочем, равно ненавистны ему и любые интерпретации явлений жизни (будь то сны, романы или исторические события) посредством ходячих «общих идей» – этих этикеток, возомнивших себя законами сущности или природы вещей, – или других универсальных отмычек в виде «затасканных мифов», символов и аллегорий. Особая чувствительность Набокова к психоанализу связана, видимо, с тем, что «объяснение» сновидений, как и литературных произведений, посредством стандартных схем и символов – это прямое вторжение на его территорию (как сновидца и как литератора), и наверное, поэтому (а вовсе не из-за специфически сексуальной природы этих символов) фрейдизм, воспринимаемый Набоковым как «конкурирующая фирма», и вызывает у него такое резкое отторжение. К тому же сны, утверждает Набоков, – слишком примитивная материя, созданная ослабшим интеллектом

спящего и навеянная его индивидуальными чертами, для того чтобы их можно было интерпретировать в терминах логически или мифологически связанной схемы, да еще почему-то на основе греческих мифов, если только «сновидец не является сам греком или мифотворцем».

В романе «Ада» (1969) герой Набокова, высмеивая фрейдистскую интерпретацию снов в духе «примитивного символизма», неожиданно проводит аналогию между работой сновидения и творчеством художника, уподобляя присущие снам метаморфозы поэтическим метафорам. Цель его – продемонстрировать, что метафора как таковая (и, видимо, поэтическое творчество вообще) не нуждается в оправдании и «освящении» посредством придания уподобляемым ей объектам статуса символов: «Писатель, уподобляющий, скажем, то обстоятельство, что воображение ослабевает не так быстро, как память, различию между снашиванием грифеля в карандаше (более медленным) и снашиванием карандашного ластика, сравнивает два реальных, конкретных, существующих в природе явления. <...> Итак, карандаш, который я держу в пальцах, все еще длинен и удобен, хоть он и послужил мне на славу, а вот его резиновый кончик почти уничтожен той работой, которую он столько раз исполнял. Воображение у меня все еще живо и надежно мне служит, а вот память становится все короче. Этот реальный мой опыт я сравниваю с состоянием этого реального, знакомого всем предмета. Первый не является символом второго, и наоборот». Безусловно, герой Набокова (а вместе с ним и автор) имеют в виду то, что и более плоские разновидности метафор, создаваемых сновидением вовсе не допускают символического истолкования: ни один из двух уподобляемых объектов или планов не является символом другого или чего-то третьего.

Представляется, что этим, несколько отдаленным (в рамках проводимой Ван Вином критики психоанализа), а в действительности очень уместным примером, как я это постараюсь показать, Набоков решил заодно «разделаться» с традицией символизма, господствовавшей в русской, да и не только русской, литературе начала века, из которой он вырос и которую перерос уже в молодости. Достаточно привести любой пример набоковской метафоры, чтобы убедиться в том, что ее эффект построен на пружинах, не имеющих ничего общего с приданием словам символического смысла. Вот характерная метафора при описании слепополуденного сада из детских воспоминаний Набокова: «... солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи» («Другие берега»). Образное, даже магическое

восприятие мира создается здесь не за счет включения слов как символов (скажем, солнце как «Солнце» с заглавной буквы), а как бы за кадром, в невидимом пространстве между уподобляемыми предметами. В своих метафорах Набоков, подобно Пастернаку, как бы «срывает с вещей личину», отрывая их от профанного мира и соединяя заново «в новой гармонии», не прибегая к замене или обмену их на элементы более высокой степени абстракции – символы. У Набокова (как и у Пастернака) происходит непосредственный «обмен» вещей на вещи, минуя посреднические услуги символов. Цель метафоры – в том, чтобы обновить мир, дав новую жизнь стершимся от употребления словам, открыв у них «второе дыхание», а вовсе не в том, чтобы создать как бы живущий своей жизнью символ, что более соответствует средневековому взгляду на язык. Этот отказ Набокова от прямого введения символики соответствует настроенности его прозы на конкретность образов, абстрактное не приживается в мире Набокова. Особенно Набоков не жаловал символы, так сказать, «общего потребления» (к каковым следует, конечно, отнести и фрейдистские) и заметил как-то, что «символы убивают чувственное наслаждение, индивидуальные грезы...». В другом интервью он выразился еще более определенно: «Как художник и ученый я предпочитаю конкретную деталь обобщению, образы идеям, необъяснимые факты понятным символам и обнаруженный дикий плод синтетическому джему» [11, с. 114].

В то же время рассуждение Ван Вина – это и удар по чуждому Набокову назойливому стремлению некоторых литературных критиков проводить параллели-соответствия между анализируемым текстом и некоторым его символическим прототипом, как бы сразу все в этом тексте проясняющим и объясняющим. Так, разбирая джойсовского «Уллиса», Набоков поучал студентов: «Нет ничего скучнее затяжных аллегорий, основанных на затасканном мифе <...>. Все искусство до некоторой степени символично, но мы кричим: “Держи вора!” — критику, который сознательно превращает тонкий символ художника в сухую аллгорию педанта...» [6, с.371]. Неприятие Набоковым символизма как своего рода формы примитивного мышления не должно казаться читателю каким-то чудачеством или чванливым брюзжанием аристократа. Это, как мне кажется, естественная реакция на засилье в определенных литературных (и околосредневековых) кругах символического мышления, преклонения перед «словами с прописных букв», наделяемых магической силой. Вот что пишет известный знаток средневековой культуры Й.Хейзинга о связи символического и примитивного

мышления в своей знаменитой «Осени средневековья» (при всем его очаровании культурой и самим духом этого времени, в словах этих сквозит и некоторое раздражение и ирония): «Символизм, рассматриваемый с точки зрения каузального мышления, представляет собой нечто вроде умственного короткого замыкания. Мысль ищет связь между двумя вещами не вдоль скрытых витков их причинной взаимозависимости — она обнаруживает эту связь внезапным скачком, и не как связь между причиной и следствием, но как смысловую и целевую. Убеждение в наличии такой связи может возникнуть, как только две вещи обнаруживают одно и то же существенное общее свойство, которое соотносится с некоторыми всеобщими ценностями. Или другими словами: любая ассоциация на основе какого бы то ни было сходства может непосредственно обращаться в представление о сущностной, мистической связи. С точки зрения психологии такой подход может казаться довольно убогой мыслительной операцией. Весьма примитивной мыслительной операцией может быть назван такой подход и с точки зрения этнологии. Примитивное мышление отличается тем, что оно чрезвычайно слабо устанавливает различительные границы между вещами; в представление об определенной вещи оно включает все то, что может быть поставлено в связь с нею через сходство или принадлежность. Символическое мышление связано с этим теснейшим образом» [10, с. 242].

Хёйзинга далее указывает на естественную связь символизма с присущим средневековому мышлению реализмом, «приписывающим общим понятиям сущность и предсуществование». Отмечая бесспорную связь между средневековым реализмом и философией неоплатоников, Хёйзинга предостерегает против сведения источника этих представлений к философским или богословским идеям [10, с. 244]: «Представления эти были в высшей степени проникнуты реализмом — не из-за того, что высокое богословие сформировалось в длительной школе неоплатонизма, но потому, что реализм — вне всякой философии — есть примитивный образ мышления. Для первобытного сознания все, что может быть поименовано, тотчас же обретает существование — будь то свойства, понятия или иные вещи. И они тотчас же автоматически проецируются на небеса. Их существование может почти всегда (а оно вовсе не всегда в этом нуждается) восприниматься как существование персонифицированное и в любое мгновение — положить начало хороводу антропоморфных понятий». Превращение символа в аллегория — это своего рода этап в

развитии или вырождении средневекового мышления: «Когда мысль, приписывающая идее самостоятельное существование, хочет стать зримой, она способна достигнуть этого не иначе как прибегая к персонификации. Здесь происходит переход символизма и реализма в аллегорию. Аллегория — это символ, спроецированный на поверхность воображения, намеренное выражение — и тем самым исчерпание — символа, перенесение страстного вопля в структуру грамматически правильного предложения. <...> Итак, аллегория уже сама по себе носит характер некоей педантичной нормализации и одновременно поглощения, исчезновения мысли в образе» [10, с.244]. Вот эта тенденция символического мышления превращаться во всеопояляющие аллегории, видимо, и отвращала Набокова.

Но вернемся к Фрейдю. Какое отношение все же имеет к нему анализ метафоры Ван Вина? Заметим, что метафора эта скорее являет пример остроумия (несколько тяжеловесного), нежели поэтического воображения. Впрочем, поэтический язык и остроумие произрастают из одного корня. Остроумие часто содержит намек или пародию на метафору, в остроумном высказывании, как и в метафоре, происходит неожиданное и нетривиальное уподобление элементов различной природы, однако эффект остроумной шутки часто возникает из-за неожиданного соответствия между «высоким» и «низким» (Бахтин), «живым» и «механическим» (Бергсон); или, выражаясь более научно, при отображении элементов (и их отношений) «сложной» системы X (в примере Ван Вина — это воображение и память человека) на элементы (и отношения между ними) некоторой принципиально более просто устроенной системы Y (грифель и ластик карандаша), которая является как бы пародией на X. Подобные конструкции в научном обиходе называются «моделями» и широко используются для изучения свойств прототипа (сложного объекта или явления) на его более простом и легче поддающимся анализу заместителе. Остроумное высказывание по- существу является частным случаем «моделирования», при котором модельер сознательно допускает при отображении или наложении двух планов некоторые искажения, часто абсурдного характера. Эта модель-шутка часто предъясняется получателю в неполном виде, так что задачей последнего является реконструкция недостающих звеньев (элементов одного из планов или отношений между ними), что, как правило, вскрывает заложенную автором циничную предпосылку, или выявляет абсурдность некоторой, казалось бы «нормальной», ситуации, и вызывает смех. Таким образом,

производство и потребление комического является творческим процессом, требующим, подобно составлению и решению шахматных задач, известного напряжения не только от автора, но также и от аудитории.

Фрейд посвятил целую книгу исследованию связи между остроумием и бессознательным и, вероятно, по достоинству оценил бы остроумие Ван Вина. Хотя Фрейду свойственно употреблять слова «метафора» и «символ» как почти что взаимозаменяемые (быть может, в силу какой-то особой формы наивности), он вряд ли стал бы спорить с тем, что остроумная метафора Ван Вина вовсе не нуждается в символическом истолковании. В своем блестящем и остроумнейшем анализе приемов и механизма остроумия, Фрейд вовсе не предлагает символических интерпретаций или, по крайней мере, ими не злоупотребляет, и даже слово «символ» встречается там всего два или три раза. В этом отношении Набокову и его герою не следовало бы особо беспокоиться. Впрочем, Набоков, должно быть, и не сомневался в способности Фрейда воспринимать смешное и даже как-то назвал его «комическим писателем» и «великим карикатуристом», скорее всего, считая его автором произвольных пародий и фарсов. Не знаю, читал ли Набоков «Остроумие и его отношение к бессознательному» (да и вообще что-либо из написанного самим Фрейдом, а не его многочисленными адептами и толкователями), но скорее всего книга эта произвела бы на него тягостное впечатление. Тем не менее, давайте в нее заглянем. Фрейд не так уж много писал по вопросам искусства, справедливо считая себя не очень компетентным в этой области (его труды, относящиеся к искусству, были не так давно изданы в современных переводах в сборнике [9]). Поэтому его исследование остроумия, являющегося по-существу одной из форм словотворчества (мы уже упомянули о естественной связи остроумия с поэтическим творчеством), может пролить свет и на то, что он мог бы сказать об искусстве вообще и, в частности, о роли бессознательного в художественном творчестве.

Фрейд тонко отмечает формальное сходство между механизмом образования острот и механизмом сновидения, выделяя как общие признаки: «преобразования для достижения образительности», «изображение через противоположность, через абсурд», «сгущение» (достигаемое, скажем, при игре слов), «сдвиг». К разновидностям последнего он относит: логическое отклонение и ошибки мышления, нелепость, «непрямое изображение» (скажем, замену важного на нечто отдаленно-

безразличное, изображение чего-то предосудительного при помощи «отдаленнейшего намека», «замену символами, метафорой, мелочью», – Фрейд действительно склонен приписывать метафорам сновидения символический смысл, но, говоря об остроумии, он эту идею не развивает). Это формальное сходство приемов остроумия и сновидения основывается на сходстве целей: подобно тому, как во сне сознание стремится освободиться от сдерживающих его в бодрствующем состоянии оков цензуры и «возражений критического разума», выискивая всевозможные лазейки, посредством «сдвигов» и замещения опасных сюжетов на сюжеты вроде бы безопасные, хотя и намекающие на нечто иное, возможно ранее отвергнутое цензурой, – так же и остроумие посредством указанных приемов старается обойти препятствия, создаваемые «цензурой» сознательного мышления. Эта цель осуществляется в обоих случаях при посредничестве бессознательного. По Фрейду, автор удачной остроты как бы на миг заглядывает в глубины бессознательного, подобно тому, как это происходит в сновидении, и извлекает оттуда остроумную фразу, зачастую даже не понимая, как это у него вышло. Эта неожиданность в появлении остроты для Фрейда и есть указание на то, что источник ее появления – бессознательное [9, с.94]: «... при образовании остроты последовательность мыслей обрывается на мгновение, после чего внезапно всплывает из бессознательного как острота... Часто, когда мы этого хотим, наша память ими [остротами – И.Л.] не располагает, зато иной раз они появляются как бы невольно, и именно в тех местах наших рассуждений, где мы не понимаем их вторжения. Все это опять-таки лишь мелочи, но при всем том они указывают на происхождение острот из бессознательного». Пытаясь согласовать механизм остроумия со своей теорией сновидений, Фрейд указывает на три стадии при образовании сновидения: «Во-первых, перемещение предсознательного дневного остатка в бессознательное, в чем, вероятно, соучаствовали предпосылки сонного состояния; затем, собственно деятельность сновидения в бессознательном; и, в-третьих, регрессия обработанного таким образом сновидческого материала в образы восприятия, в которых и осознается сновидение» [9, с.92]. Как он утверждает, первые две стадии также задействованы при создании остроумного высказывания. Кажется, что это описание участия бессознательного в творческом процессе (сдвиг, сгущение) очень напоминает то, что Набоков назвал в своем эссе [4] «диссоциацией», «сдвигом значения». И все же Набоков совершенно по-иному расставляет акценты. У Набокова модель

творческого процесса, если и предусматривает вмешательство сил, неподвластных автору, то это вовсе не механическая работа бессознательного, а божественное вдохновение, приходящее откуда-то *свыше*, а вовсе не из сомнительной области бессознательного *низа*, куда остряку приходится нырять, дабы не лезть за словом в карман. Да и роль автора-творца Фрейдом несколько принижается. С точки зрения Фрейда, художник — это просто особая разновидность пациента, который нашел необычный — и недоступный для обычной публики — способ усмирения своих неврозов посредством установления более короткой и интимной связи с бессознательным. Это, быть может, и остроумно, но уж слишком пошло, сказал бы Набоков, который никогда бы не согласился на соавторство с бессознательным. Такой же пошлостью показалась бы Набокову и объяснение Фрейдом удовольствия, извлекаемого из остроумной шутки в терминах различных «издержек» и «экономий» автора-производителя остроты и ее потребителей. Для этого Фрейд привлекает разработанную им своеобразную «психо-экономическую» или «психо-бухгалтерскую» науку, построенную на идеях замещения и высвобождения удовольствия от ранее подавленных задних мыслей и желаний. Вот характерная цитата из книги Фрейда [9, с.85]:

«Итак, согласно нашему предположению, при смехе созданы условия для свободного отвода энергии, использовавшейся до сих пор для заполнения (блокирования) психических путей, и так как, конечно же, не всякий смех, а прежде всего смех над остротой — признак удовольствия, мы склонны относить это удовольствие на счет прекращения прежней блокировки этих путей. Когда мы видим, что слушатель остроты смеется, а ее создатель смеяться не может, то для нас это равносильно свидетельству, что у слушателя прекращаются и уменьшаются издержки энергии на заполнение психических путей, тогда как при создании остроты возникают помехи либо в прекращении издержек энергии, либо в возможности ее отвода. Психический процесс у слушателя <...> едва ли можно характеризовать точнее, нежели подчеркивая, что он приобретает удовольствие от остроты за счет очень незначительных собственных издержек. Удовольствие ему, так сказать, подарено. Слова остроты, которую он слышит, неизбежно вызывают в нем такие представления или сочетания мыслей, образованию которых и у него противостояли бы весьма значительные внутренние преграды. Он был бы вынужден приложить собственные усилия, чтобы спонтанно как первое лицо создать их, по крайней мере,

затратить психическую энергию, соответствующую силе торможения, подавления или вытеснения этих представлений и мыслей. Он же эти психические издержки сэкономил; <...> его удовольствие соответствует этой экономии».

Представляется, что концепция снов Набокова (если она у него вообще была) более близка бергсоновской. Кстати, Набоков упоминал Бергсона в одном ряду с такими его любимыми с молодости беллетристами, как Джойс, Пруст и Пушкин [11, с.154]. Согласно точке зрения Бергсона, высказанной им в его лекции 1901 г. о сновидениях [12] (опубликованной в 1913 г.), сны представляют собой череду не подчиняющихся временной последовательности образов, сформированных из прошлых (иногда очень давних) впечатлений и мыслей сновидца, подсвеченных игрой цветовых пятен и теней, возникающих где-то на сетчатке глаза (видимо, от давления, оказываемого на глазные яблоки плотно сомкнутыми веками) и, что особенно важно, извлеченных из недр его памяти под воздействием внешних звуковых и зрительных раздражений. Скажем, лай собаки превращается в гомон недовольной публики, требующей, чтобы оратор-сновидец был с позором изгнан из аудитории, а свет от внезапно зажженной свечи в комнате, где располагается спящий, способен вызвать в его сне настоящий пожар. Эти образы, как считал Бергсон, извлекаются во время сна из памяти сновидца, которую Бергсон представляет как некое хранилище, где удерживаются все мельчайшие впечатления жизни. В обычное время бодрствования, когда человек занят решением насущных проблем, потайная дверь, ведущая в эти закрома памяти, притворена, оставляя лишь узкую щель, сквозь которую практический разум с изумительной точностью доставляет на поверхность сознания только то, что ему необходимо, используя механизм произвольной памяти. Скажем, собачий лай тут же вызовет в сознании соответствующий ему образ лающих собак. Мы воспринимаем все это как должное и не замечаем этой тонкой работы, ежесекундно происходящей в нашем сознании, поскольку она является автоматической (не творческой).

Во время сна (по Бергсону) задействованы те же механизмы памяти, что и во время бодрствования, но теперь действие их лишено точности, подобно тому как нетрезвый человек хватается то, что первым попадет под руку; например, лай собак может быть представлен или замещен во сне ревом недовольной публики. В то же время охват территории памяти во сне гораздо более широкий, поскольку суэта дневных впечатлений не отвлекает сознания, вся огромная область «памятехранилища»

открывается для него, так сказать, в режиме прямого доступа. Иногда сознание одновременно ухватывает несколько «подходящих» образов, вызываемых одним и тем же внешним раздражителем. Этим, по Бергсону, и объясняются метаморфозы, наблюдаемые во время сна, когда образ одного предмета перетекает в образ другого (или, как часто случается, оба образа одновременно представляют один и тот же предмет). В формировании сновидений Бергсон подчеркивает ключевую роль памяти, образы которой бесплотной толпой устремляются ввысь из недр ее хранилища для того, чтобы соединиться с вызвавшими ее внешними стимулами. Для Бергсона важно также, что все элементы сознания, включая способность к логическому контролю, продолжают свою работу и в сновидении, только в крайне ослабленной форме, – разница тут по интенсивности, а не по природе. Он тонко замечает, что абсурд в снах происходит не от того, что спящий рассуждает меньше, чем бодрствующий, а, наоборот, – в известном смысле, во сне человек рассуждает слишком много, пытаясь логически объяснить весь этот довольно случайный набор извлекаемых памятью образов, что еще больше его запутывает: тщетные попытки объяснить произвол сновидения, объединяясь с самим этим произволом, и придают снам свойственный им неповторимый аромат абсурда.

Не берусь судить, читал ли сам Набоков указанную лекцию Бергсона, и если читал, в какой мере она повлияла на его творчество, но вот Цинциннат – герой его самого сновидческого романа «Приглашение на казнь», похоже был с ней знаком. Заключение в темнице, он замечает, что то, что кажется ему «действительностью» есть на самом деле «полусон, дурная дремота, куда извне проникают, странно, дико изменяясь, звуки и образы действительного мира, текущего за периферией сознания, – как бывает, что во сне слышишь лукавую, грозную повесть, потому что шуршит ветка по стеклу, или видишь себя проваливающимся в снег, потому что сползает одеяло [курсив мой – И.Л.].» В одном интервью Набоков заметил, что сны – это просто остатки дневных впечатлений, сюжеты, часто переходящие из одного сна в другой, мелькающие в бессмысленном калейдоскопе картинки, «безотчетные машинальные образы, совершенно не допускающие ни фрейдистского осмысления, ни объяснения, <...> которые обычно видишь на изнанке век, закрывая усталые глаза» [11, с.138]. Возможно, Набоков и не согласился бы с ключевой для Бергсона идеей о проникновении в сновидения образов, доставляемых из хранилища памяти, хотя бы из опасения того, что в этом признании роли бессознательного

(или полусознательного) есть какая-то зацепка для фрейдистских утверждений о возможности анализировать сны для выявления подавленных инстинктов и комплексов (Бергсон, кстати, считал, что его понимание сновидений и роли бессознательного в их формировании согласуется с представлениями Фрейда и методами психоанализа, на который он возлагал большие надежды). В романе «Ада» Набоков заставил своего героя Ван Вина прочитать воображаемым студентам небольшую лекцию о сновидениях, содержащую своего рода классификацию собственных сновидений и некоторые общие суждения на этот предмет – видимо, совпадающие с мнением самого автора и вроде бы различающиеся с концепцией Бергсона. Герой Набокова, как и сам Набоков, относится к снам с некоторой усталой иронией, даже с издевкой, соотнося их в первую очередь с недавними впечатлениями и мыслями сновидца, тогда как Бергсон видит в сновидениях скорее образы прошлого, иногда очень далекого прошлого. Вот характерная выдержка из лекции Ван Вина: «Во всех без исключения снах сказываются переживания и впечатления настоящего, как равно и детские воспоминания; во всех отзываются – образами или ощущениями – сквозняки, освещение, обильная пища или серьезное внутреннее расстройство. Возможно, в качестве самой типичной особенности практически всех сновидений, пустых или зловещих, – и это несмотря на наличие неразрывного или латаного, но сносно логичного (в определенных границах) мышления и сознания (зачастую абсурдного) лежащих за пределами снов событий, – моим студентам стоит принять прискорбное ослабление умственных способностей сновидца, которого, в сущности, не ужасает встреча с давно покойным знакомым».

Бергсон же относится к сновидениям с большей «серьезностью» – если уместно так выразиться, с трепетом и интересом ученого, – считая, что в них сокрыта некая тайна, исследование которой, может быть, позволит многое открыть в механизме памяти и сознания, поскольку, согласно общей концепции Бергсона, более «нормальным», или элементарным, является состояние сновидения, а не бодрствования: «Восприятие и память, которые мы находим в сновидении, в известном смысле более натуральны, чем они бывают во время бодрствования: сознание забавляется там восприятием для восприятия, воспоминанием для воспоминания, нисколько не заботясь о жизни, я хочу сказать, о выполнении действия. Бодрствовать же – значит исключать, выбирать, постоянно сосредоточивать целокупность рассеянной жизни сновидения на едином пункте – именно там, где

ставится практическая проблема. Бодрствовать – значит хотеть. Перестаньте желать, оторвитесь от жизни, потеряйте интерес: этим самым вы перейдете от бодрствующего «я» к «я» сновидений <...> Механизм бодрствования является, следовательно, более сложным, более утонченным и также более положительным из двух, и бодрствование гораздо более чем сновидение, требует объяснения» [7, с.1024].

Но подобная же незаинтересованность в решении практических проблем отличает и творческое сознание, сознание художника, который воспринимает ради того, чтобы воспринимать, а не для того, чтобы действовать. Вот, например, выдержка из лекции Бергсона «Восприятие изменчивости» (1911):

«Наше прошлое <...> сохраняется с необходимостью, автоматически. Оно живет целиком. Но наш практический интерес требует его устранения или, по крайней мере, того, чтобы допускать из него только то, что может осветить или дополнить, с большей или меньшей пользой, настоящее положение. Мозг служит выполнению этого выбора: он выявляет полезные воспоминания и держит в подпочве сознания те, которые не послужили бы ничему. То же самое можно сказать о восприятии: помощник действия, оно выделяет из реальности как целого то, что нас интересует; оно нам показывает менее сами вещи, чем то, что мы можем извлечь из них. Заранее оно их классифицирует, заранее оно наклеивает на них ярлычки; мы едва взглядываем на предмет; нам достаточно знать, к какой категории он принадлежит. Но время от времени, по счастливой случайности, рождаются люди, которые своими чувствами или сознанием менее привязаны к жизни. Природа позабыла связать их способность восприятия с их способностью действия. Когда они смотрят на вещь, они ее видят не для себя, а для нее самое. Они воспринимают не для того только, чтобы действовать; они воспринимают, чтобы воспринимать, – не для чего-то, а ради удовольствия. Известной стороной своего существа, сознанием ли или своими чувствами, они рождаются *оторванными*; и смотря по тому, касается ли эта оторванность того или иного их чувства или их сознания, они будут живописцами или скульпторами, музыкантами или поэтами. Таким образом, то, что находим мы в различных искусствах, есть не что иное, как более прямое, более непосредственное видение реальности; и именно потому, что художник менее думает о том, чтобы утилизировать свое восприятие, он и воспринимает большее количество вещей» [8, с. 935-936].

Таким образом, у сновидения и творческого сознания есть одна общая черта – способность к восприятию вещей ради самого

восприятия, представляя их не такими, какими они являются дневному практическому уму; как и сновидец, художник имеет доступ к хранилищу образов памяти, запечатляющих все его прошлое.

Для Набокова творчество – это прерогатива дневного сознания, и он отгоняет соблазн связать его с механизмами, действующими во сне, то есть с ненавистным ему бессознательным. Однако вспомним, что первую, «разъединяющую» фазу творческого процесса, по Набокову, могут с успехом выполнить и сновидец, и даже сумасшедший. Заметим также, что рассуждая о роли памяти в механизме сновидений, Бергсон отнюдь не считает этот механизм сколько-нибудь «творческим», говоря, что «сновидение вообще не творит ничего», ибо, как и для Набокова, творчество для него связано с преодолением препятствий, решением сложных задач (хотя отличных от задач практического разума). Кто же тогда ответственен за сновидение? Память, присутствующая и в дремлющем (бессознательном) сознании, и существующая как бы сама по себе, отвечает он. Важно отметить то, что представление о памяти у Набокова вполне бергсоновское, то есть допускающее, по существу, платоновскую модель памяти как «прошлого-в-себе» (к этому своему «платонизму» Набоков сам относится иронически и осаживает его, когда тот вдруг выходит на волю: «Лежать, Платон, лежать, песик!») – своеобразный склад образов, заранее заготовленных, по выражению Набокова, стараниями «прозорливой Мнемозины» [11, с.194], из которого творческое воображение черпает по мере необходимости. Уместно тут отметить, что Бергсон вообще представляется наиболее близким Набокову философом по духу, и многие элементы философии Бергсона, как, скажем, соотношение материального и духовного, бытия и небытия, творческого и механического, критика «общих понятий», а главное – противопоставление «качественного» времени (как памяти, спрессованной на разных уровнях сознания) времени механическому («опространенному», по Бергсону, или «опошленному», по Набокову), – все это в чрезвычайной степени сходно с мироощущением самого Набокова. Как утверждает тот же Ван Вин в «Аде»: «С философской точки зрения, время есть только память в процессе ее творения». Набоков, правда, в одном интервью заметил игриво, что «еще не знает, согласен ли он с этим утверждением своего героя, наверное, нет» [11, с. 281].

Однако в отличие от Бергсона и его «ученика» Пруста (Набоков говорил, что произведение Пруста «В поисках утраченного времени» есть «иллюстрированное издание учения

Бергсона»), для Набокова роль ассоциаций и произвольной памяти при этом проникновении в хранилища прошлого крайне незначительна – по крайней мере, он утверждал, что не видит ни малейшего сходства между своими произведениями и романом Пруста, объясняя, что «Пруст вообразил человека (Марселя из его бесконечной сказки под названием “В поисках утраченного времени”)), который разделял бергсоновскую идею прошедшего времени и был потрясен его чувственным воскрешением при внезапных соприкосновениях с настоящим. *Я не фантазирую, и мои воспоминания – это специально наведенные прямые лучи, а не проблески и блески*» [11, с.387; курсив мой – И.Л.]. Понятно, для Набокова, «позиционирующего» себя как писателя, в творческом арсенале которого нет места произвольной памяти и свободным ассоциациям, черпание вдохновения из снов может представляться уже совершенно рабской уступкой бессознательному. Впрочем, Набоков как автор не отказывает сновидению в способности извлекать из памяти «контрабандным путем» некоторые яркие и интересные образы, и в сновидениях набоковских героев нет-нет да поднимаются из каких-то глубин образы, извлеченные из хранилища Мнемозины, – правда, с разрешения или рукой самого бодрствующего автора. Действительно, как автор он широко пользуется, по существу, бергсоновской моделью сновидений, в которой дремлющее сознание как бы случайно извлекает из прошлого то или иное воспоминание, однако в его произведениях этот случайный процесс имитируется и управляется умелой рукой автора. Часто Набоков использует сновидение как для имитации «дурной яви», так и для создания намека на высшую, подлинную действительность. Вот и его герою, узнику Цинциннату, пребывающему в зачарованном царстве кошмаров, в сновидениях (внутри этого основного сна-кошмара) являются образы подлинного, неискаженного мира, каким-то образом извлеченные из глубин его памяти: «Но какие просветы по ночам, какое – Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. Сонный, выпуклый, синий, он медленно обращается ко мне». Двойной сон, состоящий из внешнего сновидения и сновидения, вложенного внутрь первого, здесь является как бы системой из двух, тщательно пригнанных друг к другу, кривых зеркал: первое зеркало искажает реальность, а второе возвращает образ стройной действительности уже «на более высоком уровне», как сказал бы человек знакомый с гегелевской диалектикой. (В романе этот образ явно подсказывается, когда мать Цинцинната рассказывает ему о *нетках* - абсолютно нелепых предметах: «всякие такие

бесформенные, пестрые, в дырках, в пятнах, рябые, шишковатые штуки, вроде каких-то ископаемых», к которым полагалось особое зеркало. Обычные предметы это зеркало искажало, а нетки оно превращало в прелестные стройные образы: «нет на нет давало да, все восстанавливалось, все было хорошо»). Набоков, видимо, имел некоторую слабость к гегелевской триаде и сравнил ее в своих мемуарах со *спиралью времени*: «Спираль – одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что бывшая столь популярной в России гегелевская триада, в сущности, выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени».

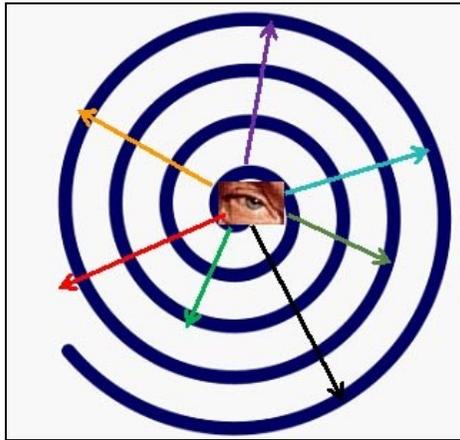


Рис. 1. Спираль времени Набокова. «Признаюсь, я не верю в мимолетность времени <...>. Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой» («Другие берега»)

Представляется, что в основе набоковской концепции времени лежит опять же очень сходная с бергсоновской идея преодоления механического линейного времени посредством эпифанических и иррациональных по своей природе актов творчества, в которых главную роль играют память и воображение плюс божественное вдохновение как какой-то толчок извне. Время при этом как бы сворачивается в спираль, а всевидящий глаз художника, занимающий выгодное положение в центре этой спирали, разрезает ее в любом направлении, пренебрегая механическим временем и пространством и, накладывая произвольные срезы времени друг на друга, как узоры на сложенном ковре (одна из любимых метафор Набокова, см. Рис. 1),

воскрешает прошлое, растворяясь в вечности и упраздня тем самым и время (Бергсон, правда, сказал бы не «упраздня время», а «погружаясь в истинное, то есть непрерывное время»), и страх небытия, извечно преследующий человека неодоухотворенного, который слепо передвигается по механическому эскалатору линейного времени от рождения к смерти. Сны, быть может, – всего лишь жалкая пародия такого творчества, но и они в руках мастера могут быть использованы для достижения некоторых эффектов. Каких именно, постараюсь показать в следующем разделе.

### **Логика сновидения у Набокова**

И все же чем объяснить необыкновенное присутствие снов в творчестве Набокова? Ведь сны Набоков включает *практически во все свои произведения* – и стихи, и прозу. Безусловно, не только его несколько брезгливым интересом к неполноценным формам сознания. Представляется важным то, что для выполнения своей писательской сверхзадачи, заключающейся в упразднении косного, механического времени и пространства посредством творческой работы памяти и воображения, Набоков широко использует метафоры, мимикрию, всевозможные подмены, метаморфозы и аберрации, разнообразные игры с памятью – наложение образов, вызываемых памятью, на образы настоящего, ложную память, память, упреждающую будущее, – и поскольку все эти элементы безусловно присутствуют в наших снах и кошмарах, постольку они, видимо, и привлекают Набокова как своеобразный строительный материал. В известном смысле в наших снах последовательное, механическое время и пространство также упраздняются. В отношении указанного Борхесом различия между снами реальными и выдуманнами заметим, что, разумеется, все или большинство снов у Набокова – выдуманные. И вот Набоков, используя элементы абсурда из сновидений и контролируя их в совершенстве, складывает их в причудливые комбинации и извлекает из них точно выверенные эффекты, подобно тому как составитель шахматной задачи добывается нужной ему позиции на доске путем пересмотра тысячи, казалось бы случайных, перестановок и комбинаций. Набоков использует абсурд сновидений для воплощения своих метаморфоз, скользя «подземными» ходами, проложенными сновидениями, как будто пользуясь заранее выстроенной транспортной системой, услужливо доставляющей его в любую точку земного шара (разумеется, с гарантией благополучного возвращения в момент пробуждения) и позволяющей ему то оказаться в расстрельном овраге с кустом черемухи (*«Бывают*

*ночи: только лягу, / в Россию поплывет кровать; / и вот ведут меня к оврагу, / ведут к оврагу убивать»*), то вдруг выйти из музея в каком-то вымышленном городе Монтизер прямо в советский Ленинград, чуть ли не к подъезду своего бывшего фамильного особняка (рассказ «Посещение музея»).

Могут возразить, что абсурдность снов случайна и не поддается анализу – каким же образом можно использовать абсурд сновидений в качестве строительных блоков? Тем не менее абсурд этот обладает определенной «логикой» и образует структурные элементы. В произведениях умелого автора, случайности, подмены и метаморфозы сна, ощущение, что все это как будто уже было раньше, неожиданные прозрения и предвосхищение сновидцем будущего, вложенные сны, – когда просыпаешься в собственном сне, – повторные сны с отсылками к предыдущим сновидениям, быть может мнимым, – все это превращается в тщательно спланированные узорчатые картины, вместе с тем сохраняя «вкусовые ощущения» сновидения. При этом, переплавляя сны в своей творческой лаборатории и заставляя их служить своей эстетической задаче, Набоков способен донести до читателя неповрежденной осыпавшуюся бы, подобно крыльям бабочки, в более грубых руках, призрачную ткань сновидения: и вот это ощущение смутной нереальности происходящего, когда чувствуешь какую-то странность, но основные нарушения логики, подмены и искажения остаются незамеченными сновидцем и прочими «участниками» сновидения; и это ускользающее ощущение того, что сейчас, вот-вот, что-то поймешь, и вдруг незаметно теряешь нить: «Я заметил, что думаю вовсе не о том, о чем мне казалось, что думаю, – попытался поймать свое сознание врасплох, но запутался» – мерещится Герману («Отчаяние»).

Набоков с успехом использует сны – выдуманные им или созданные на основе реальных (у него необычайная способность помнить сны – вероятно, он их с молодости привык записывать, что несколько подтачивает достоверность свидетельства о его отношении к снам как к «операциям с полной анестезией») – для передачи ощущений, возникающих в момент засыпания, пробуждения, во время сна, ночного кошмара или бреда наяву. Для затравки предлагаю (с небольшими купюрами) начало сна героя «Дара» Федора Годунова-Чердынцева. Поскольку герой – поэт, то и во сне его мелькают разные поэтические образы, отзвуки и «отбросы» дневной работы его сознания, ум его продолжает случайно комбинировать слова, и в этом, казалось бы случайном, отборе таится возможность прозрения. Так во сне, по известной гипотезе Анри Пуанкаре, ум математика,

освобожденный от дисциплины рассудка, может случайно набрести на гениальную комбинацию, которую он тщетно пытался обнаружить днем, в процессе сознательного отбора. Здесь, конечно, описание процесса погружения в сон дает возможность самому Набокову поиграть со словесным этим «браком» и сквозь неплотно прикрытую дверь сновидения разглядеть и передать вот это болезненное ощущение некоего ускользающе-таинственного и необыкновенно важного вопроса, который непременно должен быть разрешен вот сейчас, при каждом переворачивании засыпающего на другой бок и как бы ставящем этим старый вопрос заново, беспрестанно возобновляющем этот манящий и угнетающий своей дурной бесконечностью поиск истины, которая в краткий момент прозрения оказывается лишь набором «неток».

«Он лег и под шепот дождя начал засыпать. Как всегда, на грани сознания и сна всякий словесный брак, блестя и звеня, вылез наружу: хрустальный хруст той ночи христианской под хризолитовой звездой <...>. Сквозь этот бессмысленный разговор в щеку кругло ткнулась пуговица наволочки, он перевалился на другой бок, и по темному фону побежали голые в груневальдскую воду, и какое-то пятно света в вензельном образе инфузории поплыло наискось в верхний угол подвечного зрения. За некой прикрытой дверцей в мозгу, держась за ее ручку и отворотясь, мысль принялась обсуждать с кем-то сложную важную тайну, но когда на минуту дверца отворилась, то оказалось, что речь идет просто о каких-то стульях, столах, атоллах».

Вот пример из рассказа «Посещение музея» (1938), где реальность плавно переходит в сновидение, которое автором явно не обозначается как сновидение, но подразумевается всей стилистикой рассказа. Герой его (он же и повествователь) посещает музей, где пытается обнаружить картину, о которой его просил узнать и по возможности выкупить один приятель. Картина в музее действительно имеется, но для того, чтобы приобрести ее, требуется разрешение опекуна музея, и вот герой отправляется к прямо к нему домой. Опекун настаивает на том, что в каталоге такой картины нет, заключается пари, герой расписывается на листочке бумаги, тот складывает ее и кладет в карман. Герой, сопровождаемый опекуном, возвращается в музей. В музее оказывается, что картина все-таки на месте (очевидно, в противоположность ожиданиям читателя – *читатель и его память незаметно вовлекаются в действие*). Опекун соглашается, что, видимо, в каталоге была ошибка, при этом он зачем-то тут же уничтожает листок, на котором были записаны условия контракта, что почему-то не вызывает никакого протеста или хотя бы

удивления у повествователя. «Говоря это, он отвлеченными пальцами достал наш контракт и разорвал его на мелкие части, которые, как снежинки, посыпались в массивную плевательницу». Обратим внимание на снежинки, предвещающие снег, который явится чуть позже. Также трудно пройти мимо раскрытых на длинном столе «толстых, плохо выпеченных книг с желтыми пятнами на грубых листах» (метаморфозы, скажет через 30 лет герой «Ады» Ван Вин, это такая же принадлежность снов, как метафоры – стихотворений). Далее опять возникают разнообразные препятствия, помехи и отсрочки – например, в образе появляющегося сторожа, размахивающего единственной своей рукой и сопровождаемого табуном молодых людей явно навеселе, «из которых один надел себе на голову медный шлем с рембрандтовским бликом», и прочие нелепости. Все это вовсе не вызывает удивления рассказчика, однако в душе его поднимается какая-то тревога, источник которой не вполне понятен самому рассказчику. Наконец, приняв решение встретиться с опекуном завтра и обсудить условия приобретения картины – хотя тот ему ранее сказал, что купить портрет, видимо, не удастся, к тому же он «должен сперва посоветоваться с мэром, который только что умер и еще не избран» (еще одна помеха с явной примесью абсурда сновидения), – герой, оставшись один, пробирается сквозь бесчисленный лабиринт комнат и проходов (декорации постоянно меняются) и, преодолев разные препятствия, вдруг выходит из музея и оказывается на морозной улице (до этого, как смутно напоминает читатель, погода была осенне-дождливая).

«Доверчиво я стал соображать, куда я, собственно, выбрался, и почему снег, и какие это фонари преувеличенно, но мутно лучащиеся там и сям в коричневом мраке. Я осмотрел и, нагнувшись, даже тронул каменную тумбу... потом взглянул на свою ладонь, полную мокрого, зернистого холодка, словно думая, что прочту на ней объяснение. Я почувствовал, как легко, как наивно одет, но ясное сознание того, что из музейных дебрей я вышел на волю, опять в настоящую жизнь, это сознание было еще так сильно, что в первые две-три минуты я не испытывал ни удивления, ни страха. Продолжая неторопливый осмотр, я оглянулся на дом, у которого стоял – и сразу обратил внимание на железные ступени с такими же перилами, спускавшиеся в подвальный снег. Что-то меня кольнуло в сердце [предвосхищающая память – *И.Л.*] и уже с новым, беспокойным любопытством я взглянул на мостовую, на белый ее покров <...>. Промокшими туфлями шурша по снегу, я прошел несколько шагов и все посматривал на темный дом справа: только в одном окне

тихо светилась лампа под зеленым стеклянным колпаком, – а вот запертые деревянные ворота, а вот, должно быть, – ставни спящей лавки... и при свете фонаря, форма которого уже давно мне кричала свою невозможную весть, я разобрал кончик вывески: «...инка сапог», – но не снегом, не снегом был затерт твердый знак. «Нет, я сейчас проснусь», – произнес я вслух и, дрожа, с колотящимся сердцем, повернулся, пошел, остановился опять, – и где-то раздавался, удаляясь, мягкий ленивый и ровный стук копыт, и снег ермолкой сидел на чуть косою тумбе, и он же смутно белел на поленнице из-за забора, и я уже непоправимо знал, где нахожусь. Увы! это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная. <...> О, как часто во сне мне уже приходилось испытывать нечто подобное, но теперь это была действительность, было действительным все, – и воздух, как бы просеянный снегом, и еще не замерзший канал, и рыбный садок, и особенная квадратность темных и желтых окон [характерный пример повторных снов, когда ложная реальность ранее виденных снов, быть может и мнимых, всплывает в сознании сновидца вместе с “ясным осознанием” истинности всего, происходящего в данном сновидении. – И.Л.].»

Подобным же образом эмпирические случайности могут использоваться автором как элементы вполне детерминированной структуры-орнамента, при этом сохраняя и передавая ему знакомое ощущение неожиданности случайного совпадения. Действительно, ситуация с «эстетикой снов» в некотором смысле сходна с использованием Набоковым (и другими авторами) элементов случайности для организации сюжета, где, казалось бы, все происходит как сцепление случайностей, но рисунок и план этого сцепления тщательно выверены автором. В качестве примера возьмем ранний рассказ Набокова «Случайность» (1924), в котором трагически-изящно сплетены случайные, казалось бы, блуждания людей, потерявших друг друга в хаосе гражданской войны и случайно оказавшихся в одном поезде: он – опустившийся и задумывающий самоубийство официант в ресторане (его брови напоминают перевернутые усики – деталь выглядит комически и в то же время предвещает, что герой – на пороге мира иного), она – пассажирка поезда, случайно встретившая в купе русскую женщину-эмигрантку, которая, оказывается, знала семью ее мужа еще в России(!). Вот она уже почти в вагоне-ресторане, где могла бы – предвкушает читатель – состояться ее случайная встреча с мужем, но, увы, пошлые ухаживания случайного попутчика заставляют ее вернуться назад

в купе. После она обнаруживает пропажу обручального кольца – видимо, у входа в вагон-ресторан (да, конечно, как бы встречает и читатель, незримо присутствующий в рассказе), и вот она спешит туда, но поздно – вагон отцеплен вместе с ее мужем, повинуюсь, как и сцепление случайных событий, воле автора, абсолютного диктатора в царстве случая и сновидений.

Об использовании случайности в создании сложного драматического узора, причем трагического, а не комического (всем известна роль случая в «комедиях ошибок»), Набоков так писал в своем эссе «Трагедия трагедии» (1941): «И даже величайшие из драматургов так и не сумели понять, что случай ерничает далеко не всегда и что в основе трагедий реальной жизни лежат красота и ужас случайности – а не просто ее смехотворность. Пульсацию этого потаенного ритма случайности и хотелось бы нащупать в венах трагической музыки <...>. Я сомневаюсь в том, что можно провести четкую линию между трагическим и шутовским, роковым и случайным, зависимостью от причин и следствий и капризом свободной воли. Высшей формой трагедии мне представляется создание некоего уникального узора жизни, в котором испытания и горести отдельного человека будут следовать правилам его собственной индивидуальности, а не правилам театра, какими мы их знаем» [13, с. 461-462].

В своем эссе Набоков жалуется на скудость драматического репертуара: по сравнению со значительным количеством первоклассных романов заслуживающие похвалы Набокова драмы исчисляются пальцами одной руки – пара пьес Шекспира, Ибсена и гоголевский «Ревизор». Любопытно, что все они, по Набокову, относятся к числу «сновидческих» пьес – «потому, что логика снов, или, возможно, лучше будет сказать, логика кошмара замещает в них элементы драматического детерминизма» [13, с. 445].

### **Сновидение как способ создания иллюзии потустороннего**

Один из излюбленных набоковских эффектов – создание у читателя иллюзии потустороннего, и тут сны для Набокова – это идеальная среда для моделирования и эстетизации его собственного двойственного отношения к потустороннему. С одной стороны, ему свойственно тютчевское стремление к умолчанию, боязнь, что поиск истины, оригинала, подлинника «возмутит ключи», а с другой – желание воплощения, удержания красоты, возврата ее в мир зримый, вещественный. Однако, при этом у него тут же «включается» какая-то тоска по неземному,

«нетутошнему» источнику красоты, быть может, вызванная боязнью, что находясь рядом с нами, источник этот был бы опошлен, загажен тысячами рук; но – одновременно – возникает и «противоположный» страх: что удаляясь от нас в некую запредельную область и, таким образом, превращаясь в абстракцию, «подлинник» тоже становится «общим местом», символом, эмблемой, захватанной тысячами если не рук, то мыслей – то есть ненавистной Набокову «общей идеей». В этом отношении чрезвычайно интересно эссе Набокова об английском поэте Руперте Бруке (1922), которого он любил читать и переводил в те годы. В нем Набоков цитирует стихотворение Брука «Tiare Tahiti», в котором поэт обращается к своей возлюбленной и обещает ей совершенства потустороннего мира, «где живут Бессмертные – благие, прекрасные, истинные, – те Подлинники, с которых мы – земные, глупые, скомканые снимки. Там – Лик, а мы здесь только призраки его... <...> Там нет ни единой слезы, а есть только Скорбь». «Но тут, спохватившись, поэт восклицает [а вместе с ним, кажется, и сам Набоков – И.Л.]: "Как же мы будем плести наши любимые венки, если там нет ни голов, ни цветов? <...> И уж больше, кажется, не будет поцелуев, ибо все уста сольются в единые Уста..."» [14, с. 731].

У Набокова истина, если она вообще и существует, не умозрительна и не сводима к каким-то общим положениям на языке науки или философии, она скандально и болезненно конкретна – как истина о примерзании холодного металла к языку, обнаруженная еще в детстве Фальтером (героем «Ultima Thule», главы незаконченного романа Набокова «Solus Rex», 1940); истина эта «несжимаема» и эквивалентна, по разнообразию и сложности, миру, подобно нечеловеческой истине о сущности вещей, открывшейся Фальтеру во время ночного припадка незадолго до его кончины. Невыразимости истины в общих понятиях соответствует принципиальная «несжимаемость» текста, созданного подлинным Художником, в котором как бы вмещается все разнообразие вселенной: в одном из своих интервью Набоков заявил, что в его романах «нет ни одной идеи, которая нашла бы ясное выражение в словах числом меньше, чем количество слов, которое я затратил на ту или иную книгу» [11, с.239]. Истина, таким образом, неотделима от Слова – от мучительной попытки выразить ее посредством художественного слова, и, быть может, от тщетности этой задачи. Отсюда, наверное, и двойственное отношение Набокова к сновидению: сон – это и попытка, и болезненное состояние сознания, и намек на существование истины, и в то же время указание на тщетность ее постижения, –

как это случается во сне, когда кажется, что ухватил суть, и вот она ускользает, исчезает при пробуждении, хотя во сне мы видим, по крайней мере, доказательство того, что она была. Напомню метафору, которую Набоков неоднократно использует в произведениях и устных высказываниях: «Слово, извлеченное на воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине» (сравним эту фразу с его же уподоблением материала сновидений «прозрачным драгоценным камням, которые превращаются в жалкую гальку»). Так же и человек, вдруг познавший истину, лопается, как бы не будучи способным вместить истину, которая расширяется настолько, что взрывает пошлую свою оболочку (вспомним удар, сразивший итальянского психиатра, после того как Фальтер по неосторожности «открыл» ему свою истину).

В рассказе «Слово» (1923) Набоков использует сновидение для демонстрации или эстетизации идеи тщетности постижения потустороннего. Герою снится сон, в котором ему является сонм ангелов («крылья, крылья, крылья»), он хочет остановить их, чтобы задать вопрос о том, что мучает его (речь идет о спасении Родины, попавшей под власть Советов): «Я стал хвататься за края их ярких риз, за волнистую, жаркую бахрому изогнутых перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы, я стонал, я метался, я в исступленье вымалывал подаянье, но ангелы шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив высь точеные лики». И наконец случилось чудо: один из ангелов отстает и приближается к сновидцу (рассказчику). «... взглянув на его ноги, я заметил сетку голубых жилок на ступне и одну бледную родинку – и по этим жилкам, и по этому пятнышку я понял, что он еще не совсем отвернулся от земли, что он может понять мою молитву». Это крайне важно, что ангел, с которым рассказчик смог вступить в контакт, имеет какие-то человеческие черты. И вот он торопливо, как бы говоря обо всем сразу, объясняет ангелу, тот слушает с улыбкой и произносит заветное слово.

«И на мгновенье обняв плечи мои голубиными своими крылами, ангел молвил единственное слово, и в голосе его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им, было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось оно благовоньем и звоном по всем жилам моим, солнцем встало в мозгу, и бессчетные ущелья моего сознания подхватили, повторили райский сияющий звук. <...> Я крикнул его, наслаждаясь каждым слогом, я порывисто вскинул глаза в

лучистых радугах счастливых слез... Господи! Зимний рассвет зеленеет в окне, и я не помню, что крикнул...».

В рассказе «Terra Incognita» (1923), моделирование потустороннего осуществляется Набоковым посредством довольно сложной конструкции – двойного сна-бреда, когда человеку снится, что у него бред, в котором на самом деле проступают контуры пошлой реальности. Герой (он же – рассказчик) повествует о приключении в неведомой стране. Рассказ стилизован под перевод с иностранного языка, при этом оставаясь узнаваемо набоковским: «Носильщики, тоже набранные в Зонраки, рослые бадонцы глянцевитой коричневой масти, с густыми гривами, с кобальтовой росписью между глаз, шли легким и ровным ходом. Томная жара, бархатная жара. Душно пахли перламутровые, похожие на грозди мыльных пузырей, соцветья *Valieria mirifica*, перекинутые через высохшее узкое русло, по которому мы с шелестом шли». Нарастает ощущение сновидения, которое маскируется автором как болезнь – автором, а не рассказчиком, – что является примером авторского вторжения в повествование, его перемигиваний с читателем за спиной повествователя: «Я говорил себе, что голова у меня такая тяжелая от долгой ходьбы, от жары, пестроты и лесного гомона, но *втайне знал* [вот мелькнула узнаваемая тень сновидения – *И.Л.*], что я заболел, догадывался, что это местная горячка, – однако решил скрыть свое состояние от Грегсона и принял бодрый, даже веселый вид, когда случилась беда». Сквозь бред начинают проступать контуры реальности, маскируемые под галлюцинации, читатель еще сомневается – сон ли это или просто воспоминания рассказчика о болезни во время реального путешествия. «Меня мучили странные галлюцинации. Я глядел на диковинные древесные стволы, из коих некоторые обвиты были толстыми, телесного цвета, змеями, и вдруг, будто сквозь пальцы, мне померещился между стволами полуоткрытый зеркальный шкаф с туманными отражениями, но я встряхнулся, я посмотрел внимательным взглядом, и оказалось, что это обманчиво поблескивает куст акреаны...» Но вот читателю дается понять, что все – и бредящий рассказчик, и видящий миражи Грегсон, – персонажи кошмара некоего «*третьего*», сновидца: «Посмотри, это странно, – обратился ко мне Грегсон, но не по-английски, а на каком-то другом языке, дабы не понял Кук [курсив мой – *И.Л.*]. – Мы должны пробраться к холмам, но странно, – неужели холмы были миражем, – смотри, их теперь не видно». Сознание рассказчика петляет, пытаясь зайти за грань, отделяющую сон от яви, бытие от небытия. Он «осознает», что в опасном бреду, и

собирает всю свою волю, чтобы отогнать его. «По небу тянулись и скрещивались линии туманного потолка. Из болота поднималось, будто подпираемое снизу, кресло. Какие-то блистающие птицы летали в болотном тумане и, садясь, обращались мгновенно: та – в деревянную шишку кровати, эта – в графин. Собрав всю свою волю, я пристальным взглядом согнал эту опасную ерунду». И вот – развязка, во сне рассказчик переживает настоящий опыт смерти, но побеждает ее тем, что отгоняет «соблазнительный бред», будто сказочная эта страна – порождение его сновидения, наоборот, считая миражом проступающую сквозь сон пошлую реальность повседневного.

«Но внезапно, на этом последнем перегоне смертельной моей болезни, – ибо я знал, что через несколько минут умру, – так вот, в эти последние минуты на меня нашло полное прояснение, – я понял, что все происходящее вокруг меня вовсе не игра воспаленного воображения, вовсе не вуаль бреда, сквозь которую нежелательными просветами пробивается моя будто бы настоящая жизнь в далекой европейской столице – обои, кресло, стакан с лимонадом, – я понял, что назойливая комната – фальсификация, ибо все, что за смертью, есть в лучшем случае фальсификация, наспех склеенное подобие жизни, меблированные комнаты небытия. Я понял, что подлинное – вот оно: вот это дивное и страшное тропическое небо, эти блистательные сабли камышей, этот пар над ними, и толстогубые цветы, льнущие к плоскому островку, где рядом со мной лежат два сцепившихся трупа.<...> Последним моим движением было раскрыть сырую от пота книжку, – надо было кое-что записать непременно, – увы, она выскользнула у меня из рук, я пошарил по одеялу, – но ее уже не было [последней фразой автор честно возвращает нас в пошлую действительность, и пробуждение равносильно смерти – И.Л.]». Таким образом, Автор как бы предлагает читателю две интерпретации происходящего: (1) герой действительно переживает описываемые события и его подлинные ощущения в режиме реального времени, хотя и искаженные бредовыми галлюцинациями и видениями, как бы «записаны» неким рассказчиком (к разряду видений относится и, якобы произнесенная «на каком-то другом языке», реплика Грегсона о «миражах», поскольку Грегсон «на самом деле» вполне здоров и миражей видеть не может); (2) все происходящее – это как бы протокол сна героя в гостинице, возможно отражающий реальные приключения героя. По ходу повествования интерпретация (1) вытесняется интерпретацией (2), поскольку последняя позволяет с большей «экономией» и изяществом объяснить данный текст.

Однако полному вытеснению первой из двух интерпретаций сопротивляется (незримо присутствующая в рассказе) точка зрения романтически настроенного Читателя, требующего реальных переживаний героя вплоть до его «полной гибели всерьез». (См. сходный анализ этого рассказа у Дж. Конноли [15]).

Набоков использует отношение между Автором и Сновидцем, находящимися *за пределами* сна, и Героем и Рассказчиком, находящимися *внутри* сновидения, для моделирования отношения между потусторонним («не тут») и обыденным («тут»). У Набокова почти во всех произведениях присутствует «внешний план» (место обитания Автора), находящийся как бы за пределами текста, и «внутренний план» (место обитания Героя), находящийся внутри текста; и вот переход из внешнего во внутренний план и обратно, совершаемый набоковским пером с необычайной легкостью, напоминающей скольжение по ленте Мёбиуса, и создает в сознании читателя мгновенную иллюзию потустороннего, божественного или ужасного.

Таким образом, механизмы и нежная материя сновидения используются Набоковым как подручное средство и материал для создания внешнего и внутреннего планов бытия, и отображение одного плана на другой создает требуемый эффект, снимая тем самым необходимость непосредственной демонстрации потустороннего, что привело бы к его опредмечиванию и опошлению.

### **Сновидение как возвращение утраченного рая**

Подводя итоги сказанному, можно выделить несколько уровней или «слоев» использования сновидений в произведениях Набокова.

1. Воссоздание для читателя атмосферы сновидения, что достигается записью протокола сна якобы дремлющим же сознанием рассказчика вместо использования общепринятых приемов «объективистского» описания снов с точки зрения бодрствующего рассказчика. Назовем это *приемом дремлющего рассказчика*; прием этот не случаен и является частным случаем более общего приема: у Набокова язык описания часто делается «похожим» на описываемое, как бы подражая ему и заимствуя у него, что является примером мимикирии; именно прием «дремлющего рассказчика» позволяет Набокову передать «вкус» кошмаров, о котором говорил Борхес и отсутствие упоминаний о котором в известной ему литературе о сновидениях отметил с

некоторым удивлением: «Существует вкус кошмара. В книгах, к которым я обращался, о нем не говорится» [2, с.60].

2. Использование сновидения для создания некой внешней оболочки произведения, в рамках которой автор получает возможность пользоваться эффектами сновидения как своеобразными «транспортными средствами». К ним относятся: а) манипуляция предметами посредством распускающих свои крылышки – под покровом сновидения – метаморфоз, скрытых метафор и мимикрии (три набоковских «М»); б) использование эффектов памяти, включая различные нарушения памяти, ложную память, опережающую память (как бы проникающую в будущее и тем самым упраздняющую его), – т.е. всю работу с памятью героев (в которую включается и память читателя, как бы соучаствующая в творческой работе автора), преследующую цель упразднения, выхода за пределы механического времени и пространства. В этом для Набокова и есть высший момент творческого восторга: «...во внезапной вспышке сходятся не только прошлое и настоящее, но и будущее – ваша книга, то есть воспринимается весь круг времени целиком – иначе говоря, времени больше нет. Вы одновременно чувствуете и как вся Вселенная входит в вас, и как вы без остатка растворяетесь в окружающей вас Вселенной. Тюремные стены вокруг эго вдруг рушатся, и не-эго врывается, чтобы спасти узника, а тот уже пляшет на воле» [4, с. 477].

3. Использование отношения Автора (находящегося *вне* сновидения) к Герою и Повествователю (находящимся *внутри* сновидения) для имитирования (или, если угодно, моделирования) потустороннего либо (часто одновременно) для демонстрации ужаса небытия, испытываемого «неполноценным» героем (лжетворцом), запутавшимся в паутине сотканного им сновидения. Потустороннее («там») относится к обыденному («тут») подобно тому, как местоположение Автора относится к местоположению Героя и Рассказчика. В конечном итоге опять же происходит творческое упразднение-растворение механического времени.

В качестве примера наиболее дерзкой попытки такого упразднения тленного механического «времени», попытки, заведомо обреченной на неудачу и может быть оттого столь пронзительно щемящей (я бы сказал, это наиболее щемящий эпизод во всем наследии этого вообще-то не склонного к сентиментальности автора, советовавшего читать книги «не сердцем, а позвоночником»), я хочу привести отрывок сновидения героя из романа «Дар» – попытку воскрешения отца Федора Годунова-Чердынцева. Небольшим фрагментом из описания этого сновидения я и начал свое «исследование» набоковских снов.

Казалось, сон этот был лишь игрой слов и теней – слов, в которые проваливалось сознание героя (какие-то *стулья, столы, атоллы*). Теперь давайте посмотрим, куда завело его и автора это вполне невинное сновидение, и тогда, быть может, мы поймем, отчего вроде бы презирующий сны Набоков все время возвращается к ним, как бы к себе домой, т.е. на несуществующую свою отчизну.

«Вдруг, среди сгущающейся мглы, у последней заставы разума, серебром ударил телефонный звонок, и Федор Константинович перевалился ничком, падая... Звон остался в пальцах, как если бы он острекался [переходим к сновидению, представленному как реальность – *И.Л.*]. В прихожей, уже опустив трубку обратно в черный футляр, стояла Зина, – она казалась испуганной. “Это звонили тебе, – сказала она вполголоса. – Твоя бывшая хозяйка, *Egda Stoboy*. Просит, чтоб ты немедленно приехал. Там кто-то тебя ждет. Поторопись”. Он натянул фланелевые штаны и пошел, задыхаясь, по улице. В это время года в Берлине бывает подобие белых ночей [разумеется, белых ночей! – *И.Л.*] <...> нужно было пролезть через узкие бревенчатые коридоры, причем у входа всякому давалось по фонарику, которые оставались у выхода, на крюках, вбитых в столб, или просто на панели, рядом с бутылками из-под молока. Оставив и свою бутылку [каким-то образом оказавшуюся у него – *И.Л.*], он побежал дальше по матовым улицам, и предчувствие чего-то невероятного, невозможного, нечеловечески изумительного, обдавало ему сердце какой-то снежной смесью счастья и ужаса [предвосхищение значительного события – *И.Л.*]. В серой мгле из здания гимназии вышли парами и прошли мимо слепые дети в темных очках, которые учатся ночью (в экономно-темных школах, днем полных детей зрячих), и пастор, сопровождавший их, был похож на лешинского сельского учителя Бычкова [Набоков по ходу сновидения своего героя издевается над немецкими порядками, выдумывая “ночные школы” для слепых, которым услужливое ночное сознание дает вроде бы рациональное объяснение – *И.Л.*]. <...> Было трудно дышать от бега, свернутый плед оттягивал руку [плед нехстати подвернулся под руку спящему! – *И.Л.*], – надо было спешить, а между тем он запомнил расположение улиц, пепельная ночь спутала все, переменяя, как на негативе, взаимную связь темных и бледных мест, и некого было спросить, все спали [здесь и далее обычное для сновидений преодоление вырастающих, как грибы, препятствий, в данном случае довольно успешное – *И.Л.*]. <...> Он нашел свою улицу, но у ее начала столб с нарисованной рукой в перчатке с раструбом указывал, что надо проникать в нее с

другого конца, где почта, так как с этого свалены флаги для завтрашних торжеств. Но он боялся потерять ее во время обхода, а к тому же почта – это будет потом, – если только матери уже не отправлена телеграмма [опять упреждающая память, он уже знает, что матери нужно дать телеграмму, еще до того как понял, о чем – *И.Л.*]. <...> Он взбежал по лестнице, фрау Стобой сразу отворила ему. Лицо у нее горело, на ней был белый госпитальный халат, – она прежде занималась медициной [с точностью хирурга память услужливо вынимает из прошлого, как из шкафа, нужные детали – *И.Л.*]. “Только не волноваться, – сказала она. – Идите к себе в комнату и ждите там. Вы должны быть готовы ко всему”, – добавила она со звоном в голосе и толкнула его в ту комнату, в которую, он думал, что никогда в жизни больше не войдет. Он схватил ее за локоть, теряя власть над собой, но она его стряхнула. “К вам кто-то приехал, – сказала Стобой, – он отдыхает. ...Обождите пару минут”. Дверь захлопнулась. В комнате было совершенно так, как если б он до сих пор в ней жил: те же лебеди и лилии на обоях, тот же тибетскими бабочками (вот, напр., *Thecla bieti*) дивно разрисованный потолок [бабочки превосхищают появление отца-энтомолога – *И.Л.*]. Ожидание, страх, мороз счастья, напор рыданий, – все смешалось в одно ослепительное волнение, и он стоял посреди комнаты не в силах двинуться, прислушиваясь и глядя на дверь. Он знал, кто войдет сейчас, и теперь мысль о том, как он прежде сомневался в этом возвращении, удивляла его: это сомнение казалось ему теперь тупым упрямством полоумного, недоверием варвара, самодовольством невежды [воспоминание о прошлых несбывшихся сновидениях и вера в то, что сейчас-то все происходит на самом деле – *И.Л.*]. У него разрывалось сердце, как у человека перед казнью, но вместе с тем эта казнь была такой радостью, перед которой меркнет жизнь, и ему было непонятно отвращение, которое он, бывало, испытывал, когда в наспех построенных снах ему мерещилось то, что свершалось теперь наяву. Вдруг, за вздрогнувшей дверью (где-то далеко отворилась другая), послышалась знакомая поступь, домашний сафьяновый шаг, дверь бесшумно, но со страшной силой, открылась, и на пороге остановился отец. <...>. Отец произнес что-то, но так тихо, что разобрать было нельзя, хотя как-то зналось: это относится к тому, что вернулся он невредимым, целым, человечески настоящим. И все-таки было страшно приблизиться, – так страшно, что Федору казалось – он умрет, если вошедший к нему двинется. Где-то в задних комнатах раздался предостерегающе-счастливый смех матери, а отец тихо почмокал, почти не раскрывая рта, как

делал, когда решался на что-нибудь или искал чего-нибудь на странице... потом опять заговорил, – и это опять значило, что все хорошо и просто, что это и есть воскресение, что иначе быть не могло, и еще: что он доволен, доволен, – охотой, возвращением, книгой сына о нем, – и тогда, наконец, все полетчало, прорвался свет, и отец уверенно-радостно раскрыл объятия. Застонав, всхлипнув, Федор шагнул к нему, и в сборном ощущении шерстяной куртки, больших ладоней, нежных уколов подстриженных усов, narosло блаженно-счастливое, живое, не перестающее расти, огромное, как рай, тепло, в котором его ледяное сердце растаяло и растворилось. [И вот награда – единственное, быть может, место во всем огромном наследии Набокова, где редкий читатель сможет удержать слезу – *И.Л.*]. Сначала нагромождение чего-то на чем-то и бледная дышащая полоса, идущая вверх, были совершенно непонятны, как слова на забытом языке или части разобранный машины, – и от этой бессмысленной путаницы панический трепет пробежал по душе: проснулся в гробу, на луне, в темнице вялого небытия [имитация небытия, как формы «остраненного бытия» – *И.Л.*]. Но что-то в мозгу повернулось, мысль осела, поспешила замазать правду [то есть факт воскресения отца – *И.Л.*], – и он понял, что смотрит на занавеску полураскрытого окна, на стол перед окном: таков договор с рассудком, – театр земной привычки, мундир временного естества. Он опустил голову на подушку и попытался нагнать теплое, дивное, все объясняющее, – но уже теперь приснилось что-то бесталанно-компилятивное, кое-как сшитое из обрезков дневного житья и подогнанное под него». [Все же автор признается, что поддался соблазну «черной магии» сновидения, – стало быть, не все сны бездарны, и в каких-то из них сознание способно к творчеству и к прозрению высшей реальности – *И.Л.*].

Автор выражает признательность В.В.Савельевой за ценные замечания, Э.Фагель и Р.Миневиц – за редакторскую правку и советы по улучшению стиля, а также всем прочитавшим ранние редакции этого эссе – за моральную поддержку.

## Литература

1. *Борхес Х.Л.* Книга сновидений. Антология. СПб: Амфора, 2000. Предисловие, с. 5-7.
2. *Борхес Х.Л.* Семь вечеров. Кошмар. Сочинения: В 4 т. СПб: Амфора, 2005. Т.4, с. 48-61.
3. *Набоков В.* Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1998.
4. *Набоков В.* Искусство литературы и здравый смысл, 1942. В кн.: *Набоков о Набокове и прочем.* Интервью, рецензии, эссе. М.: Независимая газета, 2002. С. 465-479.

5. *Давыдов С.* «Тексты-Матрешки» Владимира Набокова. Мюнхен, 1982 (см. переиздание - СПб: «Кирцидели», 2004).
6. *Набоков В.* Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 1998.
7. *Бергсон А.* Воспоминание настоящего. В кн.: *Бергсон А.* Творческая эволюция. Материя и память /Пер. с фр. Минск: Харвест, 1999. С. 1005-1049.
8. *Бергсон А.* Восприятие изменчивости. В кн.: *Бергсон А.* Творческая эволюция. Материя и память /Пер. с фр. Минск: Харвест, 1999. С. 926-959
9. *Фрейд З.* Остроумие и его отношение к бессознательному. В кн.: *Фрейд З.* Художник и фантазирование/ Пер. с нем. М.: Республика, 1995. С. 19-127
- 10 *Хёйзинга Й.* Осень средневековья. Пер. с нидерл. М.: Айрис-пресс, 2004.
11. *Набоков В.* Интервью В кн.: Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. М.: Независимая газета, 2002.
12. *Бергсон А.* Сновидение. В кн.: *Бергсон А.* Творческая эволюция. Материя и память/Пер. с фр. Минск: Харвест, 1999. С. 980-1004.
13. *Набоков В.* Трагедия трагедии. 1942/В кн.: Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. М.: Независимая газета, 2002. С. 441-463.
14. *Набоков В.* Руперт Брук./Собрание сочинений русского периода: В 5 т. СПб: Симпозиум, 2004. Т.1, с. 728-744.
15. *Коннолли Дж.В.* «Terra incognita» и «Приглашение на казнь» Набокова: борьба за свободу воображения. В сб.: В.В.Набоков: Pro et Contra/Под ред. А.Долинина. СПб, 1997. Т.1, с. 348-358.



**Игорь Юдович**  
**Парижская мирная  
конференция 1919 года**  
**Отрывок из книги**



ниманию читателя предлагается существенно дополненная и значительно измененная часть главы из книги «Американский путь. Люди, создававшие страну». Эта глава посвящена происходившей в 1919 году Парижской мирной конференции, событию, настолько важному и настолько противоречивому, что последствия ее решений мир ощущает до сих пор. Одним из таких противоречивых решений Конференции было решение о дальнейшей судьбе Бальфурской декларации и создании еврейской национальной государственности в Палестине.

\*\*\*

Официально, вопросы по утвержденной программе, а также все многочисленные петиции на Парижской конференции рассматривались в Верховном совете, или, как его обычно называли, Совете десяти. В Совет входили лидеры делегаций США, Англии, Франции, Италии, министры иностранных дел этих четырех стран и два представителя от Японии, итого – десять человек. Но ни для кого не было секретом, что дела – большие, средние и самые мелкие – на Конференции решались на переговорах между «Большой четверкой» – Вильсоном, Ллойд-Джорджем, Клемансо и Орландо, которая к концу Конференции превратилась в «Великую тройку» – итальянский президент Орландо, обиженный «нечувствительностью» Вильсона, Клемансо и Ллойд Джорджа к итальянским географическим претензиям, покинул Париж намного раньше остальных.

После нескольких задержек Конференция открылась 19 января 1919 года. В каких-то, сравнительно мелких вопросах «Большая четверка» довольно быстро пришла к взаимному пониманию, в каких-то возникли серьезные разногласия. Какие-то



*должны получить недвусмысленную гарантию существования и абсолютно нерушимые условия автономного развития. Дарданеллы должны быть постоянно открыты для свободного прохода судов и торговли всех наций под международными гарантиями.*

Позиция Вильсона по Двенадцатому пункту отвечала его представлениям на момент написания Программы, то есть началу 1918 года, претерпев большие изменения в течение последних шести лет. Например, в 1912 году Вильсон убеждал своего главного внешнеполитического советника «Полковника» Хауса, что в случае войны «не должно остаться никакой Турции». После армянской резни 1915 года Вильсон считал, что Турция должна быть наказана вплоть до лишения независимости. Но к 1919 году взгляд Вильсона опять изменился. «Америка полагает, что необходимо помочь всей Турецкой империи [так в оригинале меморандума Госдепартаменту] вобретении правильного государственного управления и преимуществ современной цивилизации». На протяжении всего периода подготовки к Конференции Вильсон ясно не высказался, к каким народам огромной Империи относится изобретенный им термин «право на самоопределение» и, тем более, каким образом это право будет защищено. Даже решение *гораздо более волнующего христианский мир армянского вопроса* никогда не было окончательно сформулировано и усилено какой-либо реальной угрозой применения силы. К сожалению, как признают историки, Вильсон не знал регион Османской империи и не понимал реально происходящие там события. «Все его знания о географии, культуре, традициях, религиях населяющих регион народов были почерпнуты из Библии», - пишет Майкл Орен в книге «Власть, вера и фантазия».

Но некоторые понимали, к чему может привести такой дилетантизм. Вальтер Липпман, будучи помощником военного министра, еще в 1918 году писал в письме министру, что Америка будет ответственна за «выигрыш войны и проигрыш мира», если не найдется «абсолютно поразительный гений», способный согласовать противоречивые планы Вильсона по Ближнему Востоку. Франция, Англия и Италия, да и полунезависимая Турция, точно так, как и окружение Вильсона, не могли понять, что же конкретно хочет Вильсон на Ближнем и Среднем Востоке, и что он для этого *готов* сделать. Наказать турок? Или наказать «*колонизаторов и империалистов*» англичан и французов, лишив их честно завоеванных (по их мнению) преимуществ в регионе? Самим США стать главной силой на Востоке или разделить власть

с союзниками (это был предпочтительный вариант и для англичан и для французов)? Выполнить обещания, данные армянам, евреям, сербам, курдам, грекам, арабам? Создать государство курдов? Создать государство евреев? Если да, то как это все конкретно совместить? Что касается «права на самоопределение», то даже Госсекретарь Лэнсинг удивлялся: «Разве мусульмане Сирии, Палестины и, возможно, Марокко и Триполи не рассчитывают на это? И как эти ожидания можно привести к гармонии с сионизмом, к которому Президент особенно благосклонен?»

В такой полной неопределенности обстановке 30 января 1919 года Конференция приступила к обсуждению вопросов так или иначе связанных с разделом Османской империи<sup>1</sup>.

Позиции сторон на этот день кратко можно обозначить следующим образом<sup>2</sup>.

Великобритания стремилась распространить свою империю от Египта до Персидского залива, использовав США в качестве заслона французским и русским (на Кавказе, Персии и, возможно, Палестине) амбициям. Суэцкий канал в любом случае должен был остаться свободным для прохода английских кораблей. В этой связи, по ее мнению, вопрос о статусе Египта не должен был обсуждаться вообще. Одним из главных требований Лондона было включение нефтяного района вокруг города Мосул (нынешний Ирак) в сферу его интересов.

Франция хотела в любом случае сохранить свое влияние в Сирии (которая в Османской империи включала большую часть нынешнего Ливана и Иорданию), распространить свое влияние на все средиземноморское побережье Ливана и на провинцию Киликия в Турции. Что касается Палестины, то Франция, не желая усиления Англии, предпочитала поставить Палестину и все святые места под интернациональный (Англия, США, Россия<sup>3</sup>) контроль.

---

<sup>1</sup> Из-за плохо сформулированной повестки дня «обсуждение» Восточного вопроса началось в результате случайной боковой ветви дискуссии по совершенно другому вопросу. К сожалению, это было в порядке вещей на Конференции. Об этом – позже.

<sup>2</sup> Я не касаюсь здесь позиции Италии, поскольку ее геополитические интересы почти не пересекались на Ближнем Востоке с интересами трех остальных победителей.

<sup>3</sup> В начале 1919 года никто в западных странах не понимал в каком направлении будет развиваться внешняя политика России, это был «вопрос вопросов». Россия была приглашена на Конференцию; за кулисами велись некоторые дипломатические действия американцев и англичан, чтобы убедить ее прислать своих представителей. Но они не достигли успеха – российская делегация в Париже не появилась.

Обе страны хотели разделить Анатолию между греками и итальянцами, не оставив ничего Турции.

Кроме того, англичане и слышать не хотели о любой дискуссии по поводу Персии, считая ее зоной британских интересов, что абсолютно противоречило взглядам США, считавших Персию нейтральной страной.

Позиция Соединенных Штатов была самой «интересной». «США намерены полностью игнорировать все прежние европейские соглашения в регионе, за исключением тех, которые случайно совпадут с нашими представлениями о справедливости», - такова была директива Вильсона.

Вильсон явно увлекся. Именно на Востоке у него не было никаких силовых аргументов. Не объявив в свое время войну Турции и не сделав почти ничего во время армянской резни, Вильсон не имел ни военной силы, ни достаточного авторитета в регионе. «Мы всегда были аутсайдерами [на Ближнем Востоке]», - сказал Уильям Вестерманн, профессор, советник Вильсона, отвечавший за проработку восточной политики в Четырнадцати пунктах. За исключением нескольких сотен американских евреев, служивших в Еврейском легионе английской армии, у американцев на Востоке больше не было никого и ничего. У англичан же, к примеру, там стояла 200 тысячная армия, оккупировавшая все ключевые города, включая западную Анатолию.

Дискуссия по «восточному» вопросу мгновенно зашла в тупик. Вильсон не соглашался на раздел территорий (кроме западной Анатолии) между Англией, Францией, Грецией и Италией, а эти четыре страны не признавали права на самоопределение народов, заселявших регион. Раздраженный Уильям Йелл, советник Вильсона, заявил в своем выступлении: «Несмотря на пропаганду и призыв к освобождению угнетенных народов... англичане и французы стремятся только к сохранению своих интересов на Ближнем Востоке». На что французский министр колоний не менее резко огрызнулся: «Препятствие к решению проблем – Америка!» В этом «дружественном» обмене репликами, как в зеркале, видна общая конфликтная и малопродуктивная обстановка, сложившаяся на Конференции.

Этому были объективные и субъективные причины.

\*\*\*

Важность Парижской конференции для будущего мироустройства понимали все.

Последний раз в Европе подобная конференция происходила в 1814-15 годах в Вене. На Венском конгрессе в

узком кругу решался вопрос посленаполеоновского устройства Европы. Здесь важно уточнить и расширить смысл предыдущей фразы.

Во-первых, узкий круг из пяти-шести человек – монархов, канцлеров и министров иностранных дел, даже с членами делегаций оставался действительно узким кругом. Например, вся английская делегация состояла из 14 человек.

Во-вторых, эти люди были верхушкой европейской аристократии, десятилетиями крутившимися в высших государственных и дипломатических сферах, давным-давно знакомые друг с другом, «перепутавшимися» сложными родственными связями, свободно говорившими на одном (французском) языке, съевшими «не одну собаку» на банкетных столах европейской политики.

В-третьих, географически, они занимались только Европой, даже частью Европы: на Конгрессе не обсуждались владения Османской империи, которые занимали достаточно большую южную часть континента.

В-четвертых, они особенно не спешили и очень успешно сочетали работу на Конференции с многообразными развлечениями и светскими раутами.

В-пятых, хотя в Вену кроме главных действующих лиц съехались десятки мелких и средних «проталкивателей» своих локальных европейских интересов, но их количество было, если можно так сказать, регулируемо. Они, конечно, вызвали головную боль у глав основных делегаций, но – не более.

В-шестых, председатель Конгресса, австрийский министр иностранных дел Меттерних оказался прекрасным организатором. Он не только тщательно следил за тем, чтобы обсуждения не выходили за рамки ясно сформулированной программы, но и прилично организовал ежедневную рутинную работу делегаций.

Наконец, может быть, главное – в решении вопросов, стоящих перед Конгрессом, европейским монархам не надо было оглядываться на «народное» мнение и на реакцию прессы. Даже английская и французская делегации были в гораздо большей степени самостоятельны в принятии решений, несмотря на определенные сложности, связанные с мнением английского парламента и политической неопытностью Людовика XVIII.

В Париже практически все было по-другому, много хуже.

Формально «узкий» круг «Большой четверки», фактически представлял собой гигантское количество советников, экспертов, помощников, переводчиков и прочих людей, так или иначе включенных в делегации. Например, в английской

делегации было более 400 человек. Само количество официальных государственных делегаций было умопомрачительным – более тридцати. Конференция освещалась не менее, чем 500 журналистами. Количество делегаций отражало новую реальность: на Конференции обсуждались вопросы, затрагивающие весь мир.

Европейские проблемы были важными, конечно, первостепенными, но круг вопросов выходил далеко за рамки Европы. Важным членом Конференции была Япония. Ее военно-морские и территориальные амбиции не могла и не хотела игнорировать Америка. С Японией был тесно связан вопрос сохранения независимости Китая, который волновал всех. К Японии были серьезные претензии у нескольких стран Юго-Восточной Азии, которые были представлены на конференции своими делегациями. С Японией были связаны и определенные трения между США и Англией. В послевоенном мире возникли совершенно новые глобальные вопросы, невысказанные в Вене, например, регулирования гражданского воздушного сообщения или обеспечения судоходства в Арктике. Вопросы обеспечения гарантий безопасности морского судоходства и свободы морской торговли были, пожалуй, в ряду главных вопросов, которые интересовали Великобританию; совершенно очевидно, что они не могли быть решены только Большой четверкой. После того, как Вильсон выдвинул тезис о «праве народов на самоопределение», Конференция при всем желании не могла не заниматься многочисленными требованиями независимости народов, о самом существовании которых вряд ли знали некоторые участники Венского конгресса. Например, в Париже были многочисленные и очень «воинственные» делегации курдов, армян, греков, тайландцев, филиппинцев, словаков и многих-многих других, которые требовали внимания. Отдельной, но очень сильной головной болью, был вопрос о «праве на самоопределение» десятка мелких народов на Балканах и восточном средиземноморье.

Первая мировая война, практически покончившая с европейскими империями, попутно существенно уменьшила роль и значение европейской аристократии. Поэтому членами делегаций и даже их главами были люди из всего спектра общества, часто, далеко не аристократического, то есть, мало знакомых друг с другом; очевидными примерами были Вильсон и Ллойд Джордж.

Еще до начала Конференции возникли споры по поводу согласования официального языка. И хотя большинство членов

делегаций понимали французский или английский язык, но очень немногие владели вторым языком в совершенстве. Ллойд Джордж и Вильсон, например, не понимали французский. Члены японской делегации плохо понимали оба. Ни англичане, ни американцы толком не понимали английский итальянского премьера Орlando, а Орlando во время дискуссий «Большой четверки» обычно терял суть разговора. Само количество официальных языков Конференции – английский и французский – было согласовано только после очень жарких споров, оставивших некоторых, прежде всего, Италию, обиженными. Отсюда возникла необходимость в сотнях переводчиков, в подготовке и сверке документов на различных языках, что требовало время и замедляло ход Конференции.

Руководители делегаций совершенно очевидно спешили: Совет десяти заседал два, а иногда три раза в день. Причина была не только в количестве и сложности вопросов, но и в том, что их всех ждали важные дела дома. Например, Ллойд Джордж должен был внезапно покинуть Париж, чтобы как-то успокоить английских рабочих, собравшихся объявить всеобщую национальную забастовку; кроме того, он постоянно отвлекался на решение «ирландской» проблемы. Вильсон тоже был вынужден в феврале на время возвратиться в Америку<sup>4</sup>, чтобы погасить массовое возмущение его внешней политикой в Конгрессе. Надо сказать, что среди глав делегаций самое плохое положение было у Вильсона, его присутствие на Конференции вполне серьезно осуждалось в Америке, как противоречащее Конституции. Он же имел и самую слабую политическую поддержку у себя дома.

Но была еще одна важная причина для спешки, которая висела над каждым, как дамоклов меч. Дело в том, что по ту сторону линии перемирия все еще стояла огромная немецкая армия, формально находящаяся в стадии демобилизации, но сохранившая всю свою командную и организационную структуру. Контроль союзников за происходящей в Германии демобилизацией практически отсутствовал: считается, что в марте-апреле 1919 в Германии под ружьем было, как минимум, несколько миллионов человек. А с этой, союзнической стороны, шла непрерывная гигантская, спешная, во многом стихийная демобилизация, больше похожая на развал всей военной машины. Генерал Першинг, главнокомандующий американской армии, с гордостью докладывал Вильсону, что ему удалось наладить отправку с континента 300 тысяч американских солдат в месяц, и

---

<sup>4</sup> Что предполагало семь дней плавания в одну сторону.

что он планирует вернуть последнего солдата домой к августу 1919. Британия между заключением мира и началом Конференции демобилизовала две трети своей армии. К лету 1919 у союзников осталось всего 39 дивизий из 198, причем это были в самом прямом смысле разложившиеся дивизии: солдаты почти ежедневно устраивали бунты и требовали демобилизации.

Все понимали, что, в принципе, немцы могут войти в Париж за две недели – и не будет никакой возможности это предотвратить. Тем более, что по мере продолжения бесконечных переговоров между союзниками о наказании Германии, о границе между Францией и Германией, о репарациях становилось кристально ясно, что перемирие от 11 ноября 1918 года *на существующей линии фронта* оказалось большой, а как мы сейчас понимаем – непростительной геополитической ошибкой.

Почти никто в ноябре 1918 не осознал, что буквально за считанные месяцы со стороны Германии на результаты войны станут смотреть по-другому. Как-то совершенно неожиданно для всех участников Конференции пришло понимание, что немцы, как нация, просто не признали свое поражение. На территории Германии, за исключением левого берега Рейна и трех крошечных «плацдармов» на правом берегу, не стояло ни одного оккупационного солдата<sup>5</sup>, возвращающихся немецких солдат повсюду встречали, как героев, новый президент Германии Эберт приветствовал войска в Берлине словами «вы вернулись на Родину непобежденными», в городских и земельных собраниях по-прежнему пели «Дойчланд, дойчланд юбер аллес», а начавшийся в стране голод целиком и полностью связывали с «преступной и предательской» политикой Англии и Франции<sup>6</sup>. Французы и англичане не просто беспокоились, у части делегатов Конференции и у большей части прессы возникла самая настоящая параноидальная уверенность, что со дня на день война возобновится вновь. Клемансо, например, не уставал повторять, что «в Германии по-прежнему 75 миллионов человек против наших 40».

---

<sup>5</sup> В этом была огромная разница между, скажем, 1871 годом, когда немецкие солдаты прошли под Триумфальной аркой в Париже. Из всех лидеров союзников, кажется, только генерал Першинг призывал временно оккупировать Германию, чтобы показать немцам, «кто в доме хозяин».

<sup>6</sup> Американское и французское продовольствие было готово к отправке в Германию, но союзники настаивали на самовывозе его немецким торговым флотом. Торговый флот Германии был практически невредим, но по разным соображениям немцы так и не воспользовались предложением союзников.

Это, с одной стороны. С другой, многие боялись совсем другой опасности, идущей из Германии, опасности большевизма. Новое республиканское правительство Германии было очень шатким, радикалы были его важной частью. В экономическом и политическом хаосе послевоенного времени социалисты и коммунисты, особенно в крупных городах, были слишком популярны, что достаточно умело использовалось германской пропагандой для запугивания союзников. Сыграли свою роль «страшилки» коммунистическая революция в Венгрии в марте 1919 и события в Баварии и Гамбурге. Из-за этих двух противоречивых причин стало еще труднее совместить весьма различные геополитические предпочтения союзников в отношении мирного договора. По мнению Америки и Англии Германия должна была сыграть роль заслона от русского большевизма и, одновременно, сама не стать источником коммунистической заразы. Понятно, что для этого Германия должна была остаться относительно сильной и единой страной, но с этим была категорически не согласна Франция. Германский вопрос, главный вопрос Конференции, стал вопросом, по которому мнения союзников разошлись дальше всего. Члены американской, итальянской и английской делегаций, включая их лидеров, не один раз выражали удивление иррациональной ненавистью французов к немцам и многочисленными попытками их унижить. Навязанный Францией первоначальный (майский) вариант мирного договора с Германией только чудом не стал причиной возобновления военных действий. За это мы все должны благодарить Ллойд Джорджа, который категорически не согласился подписать мирный договор в его майском 1919 года варианте<sup>7</sup>. Большая часть американской и английской делегаций в знак протеста против «несправедливого» мира немедленно ушла в отставку, что стало крупным скандалом незадолго до закрытия Конференции<sup>8</sup>. Даже командующий французской армии маршал Фош (он же был Главнокомандующим всех союзных армий) в знак протеста не явился на церемонию подписания мирного договора<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> И получил единогласную поддержку Кабинета.

<sup>8</sup> Все моральные принципы Четырнадцати пунктов Вильсона были нарушены в отношении Германии. В окончательном варианте договора некоторые антигерманские пункты были смягчены. Например, Германии было обещано членство в Лиге Наций, был уменьшен размер репараций, слегка изменена граница с Польшей, изменился срок оккупации Рейнских земель.

<sup>9</sup> Он заявил, что «это не мир, а перемирие на двадцать лет» - и оказался прав с точностью до нескольких месяцев.

Но если вернуться к проблемам Конференции, то надо сказать, что с самого начала не заладилось и с повесткой дня. По первоначальному плану предполагалось, что предварительное совещание «Большой четверки» плюс Японии определит программу и распорядок Конференции, после чего основная работа будет осуществлена делегациями. Лидеры делегаций должны будут вторично появиться в Париже только после окончания работы Конференции для торжественного подписания договоров и соглашений. Все пошло насмарку с первых дней; из-за существенных разногласий «предварительное» совещание так никогда и не закончилось – главы делегаций надолго застряли в Париже. Программа и ежедневный распорядок тоже никогда ясно не были определены, что вынудило организаторов Конференции к созданию различных комитетов, комиссий и советов – всего их было 26 - для предварительной проработки вопросов и выдачи рекомендаций; из-за несговорчивости участников как сам состав, так и функции этих комитетов непрерывно изменялись, менялись и сроки выдачи рекомендаций.

К сожалению, не получились дружеские деловые отношения и между главами делегаций. По мере хода Конференции портились до того неплохие отношения Ллойд Джорджа и Клемансо. Вильсон, который с самого начала был не расположен к Клемансо, к концу Конференции его едва терпел. Покушение на Клемансо в феврале, которое, к счастью, закончилось только ранением (из семи выстрелов в упор, только одна пуля попала в Клемансо, застряв между ребрами; он вернулся к работе через неделю), серьезно подействовало на пострадавшего: по мнению свидетелей, после покушения он был гораздо менее склонен к концентрации, чем в начале Конференции. Во время заседаний Совета десяти он часто бессмысленно смотрел в потолок, обращая мало внимания на происходящее. Надо напомнить, что именно Клемансо был Председателем Конференции и Совета десяти.

Что касается «философского» подхода к проблемам европейского мира, то буквально с первого заседания определились совершенно различные приоритеты Америки и Франции. Для Вильсона главным было учреждение Лиги Наций, как гаранта мира в Европе, Клемансо ставил идею Лиги на самое последнее место и искренне удивлялся «наивности» Вильсона. Он верил в традиционное европейское решение с помощью соблабления «баланса интересов», и больше всего стремился к ослаблению Германии и росту экономической и военной мощи Франции, в том числе – за счет увеличения размеров колоний.

Вильсон тоже оказался не на высоте. О его достоинствах много сказано в главе о Брандайсе, но сказанное относилось к 1912 году. Годы изменили Вильсона. Смерть жены и второй брак на женщине, которую многие считали пустой и недоброй, сказались на его психическом состоянии. В свою очередь, власть оказалась слишком тяжелой ношей, он с ней явно не справлялся. Его неспособность наладить рабочие отношения с Конгрессом во время своего второго президентства стала печальной американской легендой<sup>10</sup>. Он стал нетерпимым к критике, подозрительным, обидчивым. Но хуже всего, слишком прямолинейным, абсолютно уверенным только в своей правоте. Он по-прежнему консультировался с советниками до принятия решения по какому-либо вопросу, но становился непреклонным впоследствии, несмотря на изменившиеся обстоятельства, и, не дай Бог, кому-то из членов делегации было попытаться указать ему на необходимость коррекции курса. Хуже всех пришлось «честному рубахе-парню» Госсекретарю Лэнсингу, уже к середине Конференции Вильсон слишком очевидно и достаточно грубо перестал с ним считаться<sup>11</sup>. Лэнсингу, кроме всего, было просто плохо: у него был диабет и новое лекарство, которое он принимал в Париже, не работало.

В общем и целом, получилась та еще «мирная» конференция.

И, наконец, возможно, главное - делегации в своей работе вынуждены были опираться на общественное мнение в своих странах, на реакцию прессы и, в огромной степени, на мнение своих парламентов. В этом отношении, пожалуй, Вильсону, Ллойд Джорджу и Орландо было одинаково неуютно: если Вильсону доставалось от американского Конгресса, который в основном был настроен против участия Америки в переговорах и, еще более,

---

<sup>10</sup> Историки считают, что при тогда существовавшем соотношении сторонников и противников более гибкий президент наверняка смог бы договориться с Конгрессом о признании Лиги Наций и об участии в ней США.

<sup>11</sup> Лэнсинг и его люди занимали второй этаж предоставленной французами гостиницы, Полковник Хаус, друг и советник Вильсона – третий. Вильсон часто приходил из своей отдельной резиденции в здание гостиницы и подымался прямо на третий этаж, никогда не останавливаясь на втором. Во второй половине Конференции после возвращения Вильсона из США произошел серьезный конфликт уже между Вильсоном и Хаусом. Причиной было раздутое окружением Вильсона недоразумение по как будто бы различному отношению к Германскому вопросу. После этого Вильсон не доверял и Хаусу.

против предоставления любых гарантий европейским странам, то Ллойд Джорджу - от английской прессы, которая была в руках людей, лично его ненавидящих, и которая устроила своему премьер-министру настоящую травлю. В свою очередь, у итальянского премьера дома была такая запутанная и взрывоопасная политическая ситуация, что любой его ход на Конференции вызывал массовое и очень эмоциональное возмущение у доброй половины населения страны<sup>12</sup>.

\*\*\*

Но существовало еще одно важное отличие. В Париж на Конференцию, кроме официальных государственных делегаций из многих стран мира, прибыли представители, кажется, всех возможных политических движений своего времени. Все они добились права представить свои *петиции* Совету десяти. Их были *сотни*, все они послали в Париж своих самых лучших представителей. И в этом была своя серьезная проблема: все они агрессивно боролись за место если не за столом переговоров, то хотя бы рядом с ним. Но еще в большей мере - за время личного общения с главами делегаций и их ближайшими советниками, а, значит, и возможного влияния на «Большую четверку».

К сожалению, возможности международной сионистской делегации, руководителем которой был Вейцман, а членами – Соколов, Ааронсон, Усышкин, Спаер, Вайс и другие, были весьма ограничены. Как всегда между евреями возникли внутренние распри - американская часть сионистской делегации часто не соглашалась с европейской<sup>13</sup>, да и прибыли американцы на Конференцию с опозданием. Кроме того, и сама делегация в

---

<sup>12</sup> Сам Орlando тоже был слишком эмоционален. После решительного отказа Вильсона «подарить» Италии оккупированные итальянцами в последние дни войны территории восточного средиземноморья (земли будущей Югославии), Орlando расплакался. Правительство Орlando пало сразу после окончания Конференции.

<sup>13</sup> Американская часть делегации была настроена более решительно и требовала включения в предложения Конференции создания «еврейского государства», в крайнем случае – «еврейского Содружества» с еврейским губернатором и еврейским законодательным органом. Вейцман был гораздо осторожнее в своих требованиях, стремясь никак не усложнить жизнь Англии еврейским радикализмом. Впрочем, Феликс Франкфуртер понимал и принимал причину гораздо большего влияния Вейцмана на результаты переговоров: «Он имеет решающее влияние на английских политических деятелей, включая людей, которые будут управлять Англией после того, как Ллойд Джордж и Бальфур уйдут со сцены, такое влияние, которое ни один еврей в Англии, да и на всем европейском континенте, не имеет и вряд ли будет иметь».

сравнении с другими была малочисленной: в польской, например, было больше ста человек. Вильсон был бесконечно занят решением куда более важных вопросов – как минимум, других тринадцати, плюс вопрос репараций и долгов - и достучаться до него было бесконечно трудно, тем более, в отсутствие Феликса Франкфуртера. На начало обсуждения «восточного» вопроса ФФ все еще не было в Париже, и я нигде не смог найти ответ на простой вопрос – почему? Вполне возможным объяснением будет то, что никто заранее не знал, когда Конференция начнет практическое рассмотрение этого вопроса, что фактически подтверждается его случайным обсуждением именно 30 января.

Случилось то, что случилось. В 1919 году мировая общественность, абсолютное большинство мировых лидеров и значительное большинство американских и европейских евреев относились к еврейской проблеме в ее сионистском варианте с очевидным безразличием<sup>14</sup>. Вся сионистская программа, все попытки практического развития положений Бальфурской декларации стали жертвой и заложником реальной человеческой драмы, когда несговорчивость главных действующих лиц по многочисленным вопросам, куда более важным для них, чем сионистские, в условиях очень ограниченного времени и накопившейся усталости привела к острому – и понятному - желанию «четверки» отложить действенные решения на потом, обойти неприятности стороной, вырваться из тупика бездействия любой ценой. Это был путь к принятию половинчатых, непродуманных, «временных» решений.

Человеком, придумавшим способ разорвать тупиковую ситуацию по Ближнему Востоку, был Ян Сматс. Он был лидером Южно-Африканской делегации и одновременно, будучи заместителем Премьер-министра Южно-Африканского Союза<sup>15</sup>, членом Британского военного (Имперского) кабинета. (Он также был южно-африканским генералом во время Первой мировой войны, английским фельдмаршалом во время Второй мировой войны, придумал слово «апартеид» и был единственным в истории человеком, который подписал как хартию Лиги Наций, так и хартию ООН. Если этого недостаточно для одного человека, то он был единственным в мире человеком, подписавшим соглашения об окончании военных действий как Первой, так и Второй мировых войн).

---

<sup>14</sup> Если не говорить о своих собственных национальных проблемах, то на очевидно первом месте для христианского мира стояла «армянская проблема», которая тоже не была решена на Конференции.

<sup>15</sup> Сматс стал Премьер-министром после смерти Боты в 1919 году.

Компромисс заключался в предложении концепции «мандатов».

Здесь надо сделать одно важное уточнение. Предложение Сматса касалось не только мандатов для территорий бывшей Османской империи. Этими мандатами далеко не ограничивалась программа Конференции. По существу, вопрос о мандатах возник еще до Конференции<sup>16</sup>, и очень серьезно – в первые дни Конференции. Речь шла о мандатах на бывшие германские колонии в Африке и Океании. Вильсон вначале решил, что всем бывшим колониям будет предоставлена независимость. Но даже он вскоре понял, что в большинстве случаев на спорных территориях просто нет никакой возможности найти какое-либо население, готовое взять на себя самоуправление. На германские колонии претендовали Австралия, Новая Зеландия, Япония, Китай, Бельгия, Португалия, Англия, Франция. По поводу дележки территорий возникла довольно грязная борьба между всеми заинтересованными странами, включая *серьезное* различие во взглядах между Англией и доминионами – Австралией и Новой Зеландией. «Спасительное» предложение мандатов было настолько неоднозначным и противоречивым, что Высокие Договаривающиеся Стороны не смогли даже прийти к соглашению о том, кем и как они будут контролироваться, не говоря уже о правах и обязанностях мандатных властей. Франция, к примеру, в процессе споров практически в ультимативной форме настояла на разрешении набирать солдат в свою армию с подмандатных территорий. В результате, вопрос о мандатах на германские колонии обсуждался с начала до конца Конференции и только в самом ее конце страны, в основном в кулуарах переговоров, сговорились о том, кто и что получит. Франция, которая цинично считала, что главное получить мандат под любым соусом, а потом можно будет управлять территориями согласно своему разумению, оказалась права: Лига Наций практически не контролировала происходящее на подмандатных территориях.

Но если вернуться к Ближнему Востоку, то согласно идее Сматса, созданная в скором будущем Лига Наций<sup>17</sup> должна будет наделить главные союзные государства временными мандатами на

---

<sup>16</sup> Прежде всего, как мандаты на управление Арменией и проливами. Весь заинтересованный мир был однозначно уверен, что эти мандаты возьмет на себя Америка.

<sup>17</sup> Удивительно, но идея и детальная проработка программы Лиги Наций тоже принадлежала Яну Сматсу; Вильсон воспользовался его статьей по этому поводу.

право управления той или другой частью бывшей Османской империи. Обязанностью обладателя мандата должно стать не только временное заполнение политического и административного вакуума на подмандатной территории, но и подготовка местного населения к принятию всех полномочий власти, к реальному самоопределению. Совет десяти после коротких прений определил, что мандаты должны быть выданы на управление Арменией, Сирией, Месопотамией, Аравией и Палестиной. Как красиво и стройно все выглядело на бумаге! И как мало кто-нибудь понимал, кому и в каких географических границах будут выданы мандаты. Мелкий вопрос – а хотят ли местные народы такую форму управления, кажется, не волновал никого<sup>18</sup> (то же самое было и по мандатам на бывшие германские колонии). Немногие заметили, что грызня по основным нерешенным вопросам Двенадцатого пункта немедленно перекинется в грызню по мандатам.

Первоначально англичане очень надеялись, что заслоном от Франции и Советской России будут два *американских* мандата в Сирии и Армении. Французы, в свою очередь, надеялись, что американские мандаты ограничат английское влияние в регионе. И англичане и французы были не только реалистами, но и империалистами: вопросы самоопределения непонятно кого и непонятно в каких границах их волновали в последнюю очередь. Лорд Керзон, новый британский министр иностранных дел, был очень откровенным – до цинизма - человеком: «Мы будем поддерживать самоопределение там, где оно стоит того, когда мы будем знать в глубине души, что мы получим больше преимуществ, чем кто-либо другой». На цинизм Керзона главный военный советник Вильсона генерал Таскер Блисс ответил не менее цинично: «Везде, где мандаты покроют нефтяные скважины и месторождения золота, их получит Британия. Американцев упроят взять мандаты на все оставшиеся камни гор и пески пустынь».

Конечно, все «мандатные» надежды Англии и Франции воспользоваться американским клином для ограничения влияния «своего лучшего друга» закончились пшиком: Америка, в лице своего Конгресса, категорически отказалась от участия в территориальных спорах на Ближнем Востоке.

Мандат на Палестину, как известно, получила Англия.

---

<sup>18</sup> Только Армения буквально умоляла взять ее под мандатное покровительство.

\*\*\*

Сионистская делегация, казалось, была самой подготовленной к такому повороту событий. Уже 3 февраля ею была опубликована программа-меморандум<sup>19</sup>:

1. Признать за еврейским народом историческое право на Землю Израиля и его право на восстановление Национального Дома в Израиле;

2. Границы Палестины должны быть декларированы согласно приложению к программе; [Границы по приложению были существенно расширены в сравнении с договоренностью «Вейцман-Хусейн» и включали часть нынешнего Ливана, Голанские высоты, Иорданскую долину по обе стороны реки и часть Синая]

3. Суверенитет на Палестину должен принадлежать Лиге Наций и Правительству Великобритании, которому будет выдан мандат от Лиги;

4. Дополнительные (другие) соглашения, включенные Высокими Договаривающимися Сторонами в общее положение о мандатах, может быть включено в данный мандат, если они согласуются со специфическими условиями Палестины;

5. Мандат на Палестину должен включать определенные специфические условия, к которым необходимо отнести контроль за Святыми местами.

Предложенные Конференции границы еврейского «национального дома» (выделены сплошной линией). Они почти полностью совпадают с границами, утвержденными подписями Вейцмана и Фейсала накануне Конференции.

27 февраля сионистская делегация в своем только европейском составе (американцы еще не прибыли в Париж) представляла петицию Совету десяти.

Вначале с большой, яркой и убедительной речью выступил Хаим Вейцман. Затем польский писатель и европейский интеллектual Нахум Соколов рассказал об ужасах существования евреев в Восточной Европе, закончив свою речь словами: «Час избавления этих несчастных людей пробил сейчас». Русский еврей, один из самых «непримиримых» сионистов, Менахем Усышкин говорил на иврите через переводчика, иврит, я думаю, впервые звучал на какой-либо международной конференции. Казалось, все полностью следует плану сионистской программы.

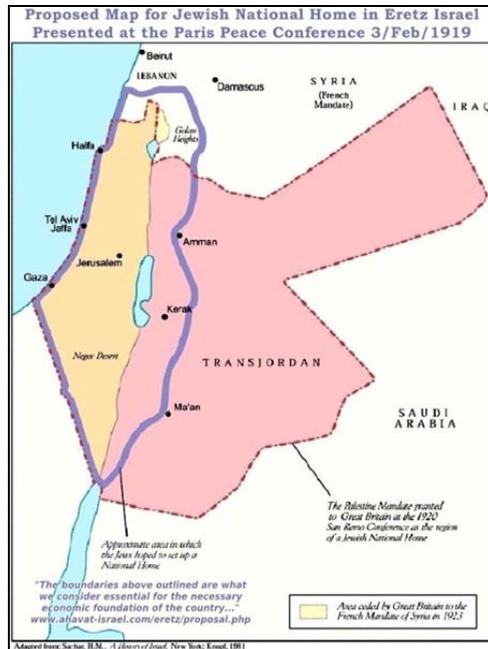
---

<sup>19</sup> Полный текст на английском:

<http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/2D1C045FBC3F12688525704B006F29CC>

Но это только казалось.

Франция и здесь смогла навредить англичанам и делегациям, которые пользовались поддержкой Англии. По ее требованию (и при резком несогласии Вейцмана) в сионистскую делегацию были включены два французских еврея: Andre Spire – поэт и один из лидеров французских сионистов и Sylvain Levy – известный ученый, исследователь древнего Востока и Индии. После Усышкина выступил Andre Spire – и все сразу пошло наперекосяк.



Вейцман и его люди в своих выступлениях, в своей пропаганде и до Конференции выражали убеждение, что за ними стоит абсолютное большинство европейских евреев. Французский поэт совершенно определенно не согласился с этим, указав, в полном соответствии с фактами, что во Франции сионистов – незначительное меньшинство. Да и сионисты, как, например, он сам – «евреи только по своей сентиментальности, но прежде всего – французы». Он потребовал, чтобы древние права Франции, как защитников католицизма на Святой земле, были соблюдены, и поскольку великая Франция всегда была главной причиной, из-за которой цивилизация вообще существует в

странах средиземноморья, то, совершенно естественно, мандат на Палестину должен принадлежать Франции<sup>20</sup>.

Sylvain Levy пошел гораздо дальше. В своей длинной речи он выразил сомнения в самой сути политического сионизма. Допустим, сказал Levy, что европейские евреи только ждут сигнала от Вейцмана, чтобы устремиться в Палестину. Речь идет о многих миллионах человек, но Палестина, что совершенно очевидно, не готова и не может вместить в себя этих людей, не говоря о том, чтобы прокормить. И потом – главные вопросы даже не в этом. Первое, что непонятно ему, как еврею и французскому патриоту, почему евреи, которые с таким трудом только что добились равных прав во всех демократических странах Европы, сейчас стремятся получить исключительные привилегии для себя на чужой территории? «Каким образом сионисты собираются делить власть в Палестине?» «Мы можем создать опасный прецедент, когда определенные люди, имеющие все гражданские права в одной стране, могут быть призваны для управления и обладания гражданскими правами в новой стране... Как французский еврей я боюсь последствий».

После выступления Sylvain Levy Вейцман с ненавистью сказал ему по-французски: «Я тебя больше не знаю. Ты – предатель». Но это уже были эмоции, имеющие мало отношения к результатам представления сионистской программы на Конференции. Результат же был не радостным – Совет десяти в этот день не принял никакого решения, предложив продолжить рассмотрение вопроса *в будущем*. Два противоположных ответа стали формироваться в ответ на меморандум и после выступления сионистской делегации.

Официально – полная поддержка со стороны Совета десяти и «Великой тройки». Бальфур послал сердечное поздравление Вейцману. Вильсон, в свою очередь, в письме американской еврейской делегации на Конференции, сказал: «Еще до [Конференции] я выразил свою полную поддержку ... Бальфурской декларации, в которой признается стремление и историческое право еврейского народа на Палестину. Я, таким образом, полностью удовлетворен, что Союзные государства в полном согласии с нашим правительством и нашим народом согласны с тем, что в Палестине должен быть заложен фундамент Еврейского Содружества». В этом письме интересно первое появление нового термина – Еврейское Содружество

---

<sup>20</sup> Существуют серьезные основания предполагать, что речь Andre Spire была написана под диктовку министерства иностранных дел Франции.

(*Commonwealth*), по примеру Британского Содружества. Термин Еврейское Содружество впервые появилось в приложении к Меморандуму от 3 февраля и предполагало нечто существенно большее, чем «национальный дом» для еврейского народа. Официально этот термин стал употребляться сионистами после Всемирной сионистской конференции, состоявшейся в конце февраля того же года в Лондоне. Даже Франция, как ни в чем не бывало, заявила через своего представителя: «Не существует мельчайшего различия мнений в отношении Великих держав к созданию сионистского государства и к выдаче Британии мандата на Палестину».

Другим ответом было резкое сопротивление и противодействие меморандуму.



# Борис Тененбаум

## Муссолини

### Главы из новой книги

Продолжение. Начало в №9-10/2013 и сл.

#### Консолидация

I



лэр Шеридан овдовела в 1915 году, в том самом, в котором Италия вступила в Великую Войну. Оставшись одна, миссис Шеридан не сложила руки, а еще энергичней погрузилась в свою литературную и художественную деятельность - она была и писательницей, и журналисткой, и скульптором, и эти ее занятия не мешали друг другу, а иной раз даже и помогали.

В 1920 году она оказалась в Москве. Прямо скажем, это была рискованная поездка, но зато Клэр Шеридан набрала там великолепный материал, взяла интервью чуть ли не у всех видных советских лидеров, и даже сделала их скульптурные портреты. В ее модели попали и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев, и Дзержинский, и сам глава нового режима, В.И. Ленин.

Он, кстати, произвел на нее большое впечатление.

Миссис Шеридан нашла его человеком исключительно умным, и в суждениях своих совершенно независимым - он руководствовался только собственными убеждениями.

Клэр Шеридан покинула Москву, в 1921 году перебралась на какое-то время в Америку, где и стала корреспондентом газеты "New York World" – "Нью-Йоркский Мир".

И уже в этом качестве поздней осенью 1922 оказалась в Риме.

Клэр Шеридан, помимо кипучей энергии, испытывала еще и самый искренний интерес к политике. Родственники шутили, что государственным умом она сильно напоминает своего старшего двоюродного брата, Уинстона Черчилля.

Соль шутки состояла в том, что Уинстон Черчилль действительно был деятелем, побывавшим уже на многих

министерских постах - в то время как Клэр Шеридан была всего лишь частным лицом, да еще с ярко выраженными коммунистическими симпатиями.

Но симпатии - симпатиями, а дело - делом.

Читатели газеты "Нью-Йоркский Мир" очень интересовались новым премьер-министром Италии, и Клэр Шеридан добилась того, что он дал ей интервью.

Проговорили они довольно долго.

Муссолини, в частности, сказал своей собеседнице, что для него очень важно подчинять других людей своей воле, "*...сгибать их...*" - и даже повторил это несколько раз, да еще подчеркнул и жестом. Но, впрочем, добавил, что вообще-то хочет улучшить жизнь бедняков. А для буржуазии у него припасены крайне неприятные сюрпризы. И тут же перешел к некоей форме лирики - задумчиво поделился с Клэр Шеридан мыслью, что "*...могущество делает человека одиноким...*", и что в сердце у него - пустыня.

В общем, складывается впечатление, что он хочет ей понравиться.

И это, конечно, неудивительно - если судить по фотографии Клэр Шеридан, сделанной в 1921 году, она была тогда хорошенькой женщиной, с задорным и живым лицом, и к осени 1922 вряд ли успела так уж сильно подурнеть.

Но она впридачу к этому была умна и наблюдательна - и Бенито Муссолини в намерениях своих не преуспел. Миссис Шеридан заметила, например, что единственной фотографией в комнате был его собственный фотопортрет.

И что он слишком любит красиво выражаться:

*"...я научился у отца, как ковать железо - теперь мне предстоит более трудная задача, ковать людские души..."*.

И Клэр Шеридан решила, что Бенито Муссолини зависит от мнения окружающих, и старается внушить им мысль о своем превосходстве, но сам он на поверку - человек слабый, и нет в нем, в отличие от В.Ленина, действительно железной основы.

Нет, Муссолини ей не понравился.

## II

Не понравился он и еще одному американскому репортеру, по имени Эрнест Хемингуэй. Муссолини буквально через неделю после вступления в должность уехал в Лозанну, на конференцию по урегулированию последствий греко-турецкой войны 1920-1922.

Для получения личного интервью 24-летнему Хемингуэю не хватило веса, но на пресс-конференцию Муссолини он все-таки попал. И обратил внимание, что тот сидит, глубоко погруженный в

чтение какой-то книги, и совершенно не обращая внимания на то, что его уже ждут окружающие.

Хемингуэй подкрался поближе, слегка приподнялся - и обнаружил в руках у Муссолини англо-французский словарь - да еще и положенный вверх ногами. Ну, и уважение к новому итальянскому лидеру сразу упало до нуля - фальшь и показуху юный Хемингуэй презирал со всем пылом бескомпромиссной молодости.

Что тут сказать?

И Клер Шеридан, и Эрнест Хемингуэй были умными и проницательными людьми - но нам все-таки есть смысл поглядеть на Бенито Муссолини более объективно. Положение его в то время было и в самом деле зыбким и непрочным. И он действительно стремился *“...произвести впечатление...”*, и действительно - *“...зависел от мнения других...”*.

Этими "другими" в первую очередь были свои.

“Марш на Рим” был организован четверкой людей, в которую он не входил.

Эти четверо называли себя "квадриумвирами" - фашисты все старались переиначить на римский лад - и с одним из них, Итало Балбо, мы уже несколько знакомы.

Вторым был Эмилио Де Боно — отставной генерал, герой всех войн, что вела Италия, но фигура сравнительно второстепенная. Он был уже стар, и от него можно было отделаться какой-нибудь синекурой. Но вот от Чезаре де Векки, сверхактивного главы сквадристов в Турине, отделаться так просто не удалось - он считал себя *“...творцом великой победы...”*, и требовал соответствующих наград.

И Микеле Бьянки, влиятельнейший человек в среде фашистских профсоюзов, тоже собирался получить свой кусок пирога - уж не говоря о самом опасном из квадрумиров, Итало Балбо. Со всеми ними надо было что-то делать - и Муссолини сделал совершенно неожиданный ход.

Он сформировал *“...правительство не только из фашистов...”*.

### III

Муссолини пришел к власти в результате странной процедуры. В сущности, это был путч, который окончился тем, что главарю путчистов предложили занять должность премьера. И в результате он - как бы по наследству - получил парламент, где у его сторонников было три дюжины мест из 535, армию, которую он не контролировал, и полицию, которая фашистам, в принципе, симпатизировала, но фашистской все-таки не была.

Как известно, всякое трудное положение таит в себе не только опасности, но и определенные возможности - и Бенито Муссолини воспользовался этими возможностями в полной мере.

Первым делом он запугал парламент.

16 ноября 1922 там была произнесена громовая речь, в которой слушателей уверили, что времена лени, нерешительности и некомпетентности окончены - теперь все пойдет по-другому. И было добавлено, что в случае необходимости он может легко превратить этот зал в бивуак для его отважных легионеров. После чего Муссолини потребовал чрезвычайных полномочий на исправление законов - и получил их огромным большинством голосов.

Например, за эту меру проголосовали и Саландра, и Джолитти.

Следующим шагом было формирование нового кабинета министров. Туда были приглашены люди, пользовавшиеся всеобщим уважением, и вне зависимости от партийной принадлежности. Единственное исключение было сделано для социалистов - но и тут были колебания вплоть до последней минуты. В конце концов, Муссолини решил обойтись без них - но зато без всяких колебаний министром внутренних дел назначил самого себя.

Теперь Бенито Муссолини лично командовал всей полицией Италии.

Это был сильный ход на случай конфронтации с людьми вроде Итало Балбо - которой, однако, хотелось бы избежать. С этой целью на свет божий была извлечена старая идея о Национальном Техническом Совете, призванном вести всю практическую, каждодневную политическую деятельность в стране. Совет был создан в декабре 1922, наречен Большим Фашистским Советом Италии, и вобрал в себя всех видных людей фашистской партии - они получили, таким образом, собственную среду, но довольно неопределенные полномочия.

Функции арбитра между партией и государством Муссолини брал на себя.

В первые месяцы своего правления он открывал в себе все новые и новые неожиданные черты. Например, оказалось, что в глубине души Муссолини не безбожник, как предполагалось, а самый искренний католик. Этим открытием он поделился с кардиналом Гаспарри, госсекретарем при Святом Престоле - и встретил полное понимание.

Разумеется, роман, написанный Муссолини в его молодые годы, был крайне непочтителен к Святой Церкви, но это можно

было отнести к юношеским заблуждениям. И вообще, это все в прошлом - а сейчас, в 1922-ом, надо было иметь дело с настоящим. Бенито Муссолини заявлял, что фашизм пришел в Италию надолго, по крайней мере на поколение.

Кардинал Гаспарри, человек очень умный, подозревал, что такая возможность существует.

#### IV

В первые же дни существования нового режима выяснилось, что Муссолини очень заботит внешняя политика. Чуть ли не сразу после поездки в Лозанну он отправился в Лондон. Там проходила конференция по вопросу о выплате Германией репараций - и Муссолини сразу внес свой вклад в дискуссию, потребовав переноса конференции в какое-нибудь другое место, поближе к Италии. Результат демарша оказался обидней некуда - Муссолини даже не отказали.

Его запрос был просто проигнорирован.

Тогда он устроил скандал по поводу коммат итальянской делегации в отеле "Кларидж" - кто-то сказал ему, что французов разместили удобнее, и он накричал на администрацию гостиницы, требуя обмена апартаментами.

На что последовал вежливый отказ.

Единственной победой итальянской дипломатии оказалось разрешение лондонской полиции на проведение парада чернорубашечников в честь приезда Муссолини - и то были серьезные трения в связи с исполнением фашистского гимна "Джовинецца".

За три дня, проведенных в Лондоне, Бенито Муссолини умудрился обидеть решительно всех, с кем имел дело. Он, правда, внял голосу разума и на церемониальный прием в королю в Букингемский Дворец явился во фраке, а не в форме сквадристов, как собирался.

Но зато сорвал пресс-конференцию с британскими журналистами - собравшимся было заявлено, что премьер-министр Италии в настоящий момент принимает у себя в номере даму, слишком занят, и поэтому встреча с прессой не состоится.

Муссолини говорил потом, что Англия не произвела на него впечатления:

*"...все как в романах Голсуорси, ничего тут не меняется..."*

Фраза заслуживает внимания: вроде бы всего несколько слова, а в то же время Англия, в которой *"...ничего не меняется..."*, сравнивается с фашистской Италией, полной

динамизма. Ну, и вскользь сообщается, что профессор Муссолини знает, кто такой Голсуорси...

Но, если говорить о вещах более существенных, чем вопросы стиля, то оказалось, что дипломат из Муссолини получился неудачливый. В споре между англичанами, которые хотели смягчения условий для Германии, и французами, которые хотели их ужесточения, он встал было на сторону Франции, потом увидел, что задел этим Англию, и отрекся от своих слов - и в итоге умудрился обидеть обе стороны.

В итоге французские газеты написали, что новый лидер Италии – “...карнавальная маска, разукрашенная под Цезаря...” - а английские - что итальянский премьер не государственный деятель, а бессовестный оппортунист.

С англосаксами Бенито Муссолини решительно не везло.

#### V

С тем большим жаром он взялся за преобразования внутри Италии. В июле 1923 в парламент было внесено предложение - с целью пресечь бесконечные коалиционные игры, лишаящие страну необходимой стабильности, следует на будущее изменить правила избирательной кампании. Согласно предложению, выборы оставались свободными - но партия, набравшая «наибольшее количество» голосов (при минимуме в 25 %), получала две трети мест в парламенте. А оставшаяся треть мест распределялась между остальными партиями - совершенно честно и правильно, согласно пропорции.

Предложение было внесено Джакомо Ачербо, заместителем Муссолини в его должности премьер-министра, принято огромным большинством, и в ноябре 1923 стало законом, названным по имени его "автора".

Во избежание каких-нибудь недоразумений во время слушаний галереи парламента были заполнены вооруженными сквадристами, которые заодно охраняли и входы в здание. Одновременно с подчинением парламента Муссолини самым активным образом пытался ввести дисциплину в ряды чернорубашечников. От Чезаре де Векки ему удалось избавиться - в мае 1923 тот получил назначение на пост губернатора далекой итальянской колонией в Сомали.

Но вот повторить этот же трюк с почетной ссылкой с Итало Балбо или с Роберто Фариначчи ему не удалось - оба "раса" сидели в своих владениях крепче прежнего, и про Фариначчи, например, говорили, что его власть в Кремоне прочнее, чем власть Муссолини в Риме[7].

И его, и Балбо пришлось оставить в покое.

Но с другими политическими деятелями, конечно, дело обстояло попроще. На депутатов парламента, или на редакторов газет, выпадающих из ряда послушных, устраивались нападения.

Делалось это, как правило, фашистами в полной партийной форме - так сказать, для дополнительной наглядности.

А расследование нападений проводилось только в случае подачи жалобы, и проводилось полицией, находившейся под контролем своего прямого начальника, министра внутренних дел Италии, Бенито Муссолини.

Случались и вовсе удивительные казусы.

Скажем, депутат Джованни Амендола обнаружил, что стал объектом уголовного преследования. На него пожаловались пять членов группы сквадристов за то, что во время "*... бытового ссоры на улице...*" он избил их всех своим зонтиком. Всех пятерых.

И теперь они полагали, что этим затронута их честь...

Бывшему премьер-министру Нитти, замеченному в том, что в парламенте он систематически голосовал против предложений, подаваемых фашисткой партией Италии, намекнули, что ему лучше бы уехать из Рима. Мало ли какие бытовые ссоры случиться - а для дополнительной ясности дом Нитти был разгромлен какими-то неуставленными "*... хулиганствующими элементами ...*".

Что и говорить - все это способствовало установлению покоя и устойчивости существующей власти. Но куда более важное воздействие на умы оказало другое происшествие.

Утром 27 августа 1923 года на албано-греческой границе был убит генерал Теллини.

## VI

Албания откололась от Османской Империи еще в 1912 года, а в 1920, после окончания Великой Войны, находилась как бы под управлением Лиги Наций. Положение в стране было неясным, на ее территорию в разное время претендовали и Италия, и Югославия, и Греция - и в итоге к 1923 в Албании присутствовали всевозможные военные миссии этих стран.

И оказалось, что итальянская инспекционная группа во главе с генералом Теллини угодила в засаду и была перебита.

Муссолини немедленно обвинил в организации нападения Грецию. Никакого расследования он делать не стал, а просто предъявил Греции ультиматум.

Требования формулировались так, чтобы их гарантированно отвергли.

Например, публичные извинения за преступление должен был принести главнокомандующий греческой армии, все

греческие министры должны были участвовать в похоронах погибших, убийцы - ну, или лица, назначенные убийцами - должны были быть схвачены и казнены.

А еще Греция должна была выплатить Италии пятьдесят миллионов лир в качестве компенсации.

Тут, правда, у Муссолини случилась небольшая осечка - греки его ультиматум приняли. Но его это не смутило - он прицепился к оговорке, что в Греции по закону судьбу осужденных решает суд, а не правительство. И итальянский флот захватил остров Корфу, да еще и с предварительным артиллерийским обстрелом крепости, в которой было полторы сотни солдат, и которым нечем было отстреливаться.

Шум в Италии вокруг этих событий был поднят просто невероятный.

Муссолини отдал приказ флоту готовиться к войне против Великобритании. Вряд ли он действительно собирался делать что-то в этом направлении - соотношение сил между Англией и Королевством Италия ему было более или менее известно - но он твердо знал, что на слове его не поймут. Англичане к этому времени уже вели с ним переговоры, и условия разрешения кризиса были уже согласованы - Италия получает свой выкуп, но уходит с острова.

Так и случилось.

В сущности, это было поражение. Вся истерия, собственно, была устроена с целью аннексии Корфу, но это не удалось, и Муссолини пришлось отступить. Но в Италии, в условиях постепенной ликвидации независимой прессы, инцидент был подан как величайшая победа итальянской дипломатии со времени 1860 года. Ведь было известно, что за греков заступилась Англия - и тем не менее, Италия *"...достигла своих целей..."*. Страна, так сказать, вставала с колен - теперь великие державы будут говорить с ней, как с равной.

Вот этот довод вызвал совершенно искренний восторг.

Не зря д'Аннунцио сделал лорда Хисфилда главным злодеем в своем романе - все в Италии знали, что англичане горды, богаты и заносчивы - и вот теперь новый премьер показал им, как твердо могут защищать свою честь итальянцы.

“Закон Ачербо”, конечно, многое сделал для консолидации власти нового режима. Но по-настоящему его все-таки укрепила *"...маленькая победоносная война..."*.

Бенито Муссолини мог смотреть в будущее с хорошо обоснованным оптимизмом.

### **Примечание:**

Роман «Любовница кардинала», написанный Муссолини, недавно вышел в свет в издательстве "Алгоритм"-ЭКМО в переводе на русский - и у издательства были неприятности.

## **О несовершенствах Италии как организованного государства**

### **I**

Был такой писатель, журналист, и даже несколько и политик - Луиджи Барзини. Он написал книгу о своих соотечественниках, она так и называется, "Итальянцы". Книга вышла в 1964-ом году, была переведена на многие языки, оказалась популярной и во Франции, и в Англии, и в Америке - но вот до Россия пока еще не дошла.

По крайней мере, мне ее русский перевод не попадался.

Веселый и остроумный человек, Барзини к своим соотечественникам тоже относится с долей юмора. И вот он, в частности, однажды написал следующее:

*"...итальянец верит в то, что суд справедлив, полиция - неподкупна - а продвижение по службе происходит только в соответствии с достоинствами кандидата на повышение. Но он знает, что это - не в Италии..."*

Он, собственно, и дальше не унимается, а добавляет, что в Италии обилие нелепых бюрократических правил умеряется необязательностью их исполнения, и что способ парализовать производственный процесс работой строго по правилам недаром называется *"...итальянской забастовкой..."* - но, я думаю, основную идею вы уже уловили.

Автор не склонен преувеличивать гражданские добродетели своих соотечественников.

Книга Луиджи Барзини вышла в свет в 1964 - но и за пару поколений до этого ситуация выглядела довольно похожей. Джованни Джолитти, старейший из итальянских политиков 20-х годов XX века, человек, пять раз становившийся премьер-министром своей страны и сделавший для нее много добра, на обвинения в жульничестве и в манипулировании парламентом, говорил, что он - всего лишь портной, который шьет одежду для горбуна.

Волей или неволей - а ее приходится подправлять под его фигуру...

Так что в свете вышесказанного становится понятно, что никто особо не удивился, когда на выборах, проведенных весной 1924 года, фашисты получили 374 места в парламенте из 535 возможных - и при этом без всякого "закона Ачербо".

Закон оказался, что называется, излишней предосторожностью.

Причем оказалось, что лично за Муссолини, Бьянки, Балбо и прочих вождей фашизма было подано относительно немного голосов - а вот фашисты как партия получили широкую поддержку. За них и в самом деле голосовали и консерваторы, и представители католической "народной" партии, и вообще все, кто примыкал к правой части политического спектра в Италии - и использование фашистами известных штучек, вроде раздачи заполненных бюллетеней неграмотным, или регистрации мертвых в качестве избирателей, были излишними.

Общей картины они не меняли.

Тем неожиданнее оказался кризис, случившийся в июне 1924. Случилось громкое политическое убийство, к тому же еще и раскрытое, и получившее крайне нежелательную огласку. И все это - из-за нестыковки работы различных ведомств.

Ну, и традиционного итальянского разгильдяйства.

## II

Началось все с того, что 30 мая 1924 года депутат парламента от социалистов, Маттеотти, произнес резкую речь. Он сказал, в частности, что выборы прошли под нажимом, результаты их фальсифицированы, и призвал социалистов в знак протеста *"...покинуть парламента..."*.

Практика бойкота заседаний в итальянском парламенте практиковалась еще со времен Кавура.

Ее несколько высокопарно сравнивали с уходом в древности из Рима недовольных плебеев, что в итоге повело к реформам и предоставлению плебеем права голоса.

Из зала ему, конечно, кричали самые разные вещи - как-никак, фашистских депутатов теперь было побольше трехсот, и каждый хотел отличиться. Кричали, например, что Маттеотти - большевик, разбойник, и вообще - бандит.

Муссолини тоже внес свой вклад - уже на следующий день, 1 июня 1924, в "Народе Италии" появилась его статья, в которой говорилось, что человек, оспоривший выборы, заслуживает чего-то похуже, чем просто быть названным бандитом.

Он, правда, потом передумал, и через неделю, 7 июня, заявил, что не следует наконец-то единой Италии тратить время и энергию на политические споры.

А 10 июня Маттеотти исчез.

Ну, исчез и исчез - мало ли что бывает. Может, он решил уехать на время, проведать родственников. Однако нашлись

свидетели. И они показали, что в 4:30 дня, когда Маттеотти вышел из своего дома, на него напало несколько человек. Он отбивался, но они его осилили, кинули в машину, и куда-то увезли. И одна из свидетельниц даже записала номера этой машины.

Полиция - как-то сама по себе и без должного согласования - взялась за расследование.

И на свет начали вылезать очень и очень нехорошие факты. Оказалось, что машина принадлежит некоему Филиппо Филиппелли. А этот самый Фаринелли - редактор фашистской газеты "Корриере италиано". И он сказал, что понятия не имеет, где его машина - но ее нашли на одной из дальних улиц Рима. И оказалось, что и внутри и снаружи на ней полно пятен крови.

Адвокат семьи Маттеотти сообщил об этих открытиях иностранной прессе.

12 июня в парламенте премьер-министру, Бенито Муссолини, был сделан запрос о судьбе пропавшего депутата Маттеотти.

Тут, собственно, сказала определенная гибридность существующего режима.

Скажем, в английском парламенте пропажа депутата была бы крайне маловероятна. А в советском никому бы и в голову не пришло делать какие бы то ни было запросы.

Но вот тут, в Италии 1924, и депутат пропал, и запрос был сделан, и надо было что-то отвечать - и Муссолини сказал, что дело взято под особый контроль, и за ним последит лично глава итальянской полиции, генерал Де Боно. Ответ показался неубедительным - в похищении Маттеотти обвинили самого Муссолини. В итоге социалисты оставили парламент - а 16 августа в 20 километрах от Рима было обнаружено тело депутата Маттеотти.

Как оказалось, его насмерть забили дубинками.

### III

Муссолини сильно испугался. То, что на жульничество в Италии могут посмотреть сквозь пальцы, он знал очень хорошо - но заказное политическое убийство известного человека, депутата парламента - это все-таки в обычаи не входило. И если бы следы преступления повели прямо к премьер-министру, он мог и не усидеть в своем кресле, "...молчаливое большинство..." повернулось бы против него.

Конечно, Муссолини немедленно начал принимать меры. Де Боно было велено найти "козла отпущения", на которого можно было бы свалить все грехи - и требовался такой козел, который дал бы нужные показания, не дал бы повода копать

глубже, и как "*...единственный убийца Маттеотти...*" выглядел бы правдоподобно.

Муссолини говорил потом, что в течение нескольких дней, сразу после обнаружения тела Маттеотти, фашистский режим в Италии мог быть сломан.

Но этого не произошло.

Де Боно "нашел" убийцу - некоего Американо Думини - итальянский сенат промолчал, Церковь призвала к гражданскому миру, и к "*...неумножению разногласий...*" - а старый мудрый Джолитти решил голосовать вместе с правительством. Возможно, он посчитал одно политическое убийство в пресловутый "*...горб Италии...*" еще впишется, а вот "*...проказа большевизма...*" - уже нет, не пройдет, и окажется для страны смертельной.

Обстоятельства "дела Маттеотти" выяснились уже сильно позднее.

Думини, как оказалось, действительно был замешан тут по уши. Он был сыном итальянских эмигрантов, и родился в США, вернулся в Италию в самом конце Великой Войны и к немедленно примкнул к фашистскому движению. Карьера его пошла вверх, когда выяснилось, что он хорошо управляется с ножом и пускает его в ход без малейших колебаний. В результате его продвинули из рядовых костоломов и взяли в состав тайной партийной полиции - фашисты называли ее "**сека**" - что по-итальянски звучит как "ЧК".

Он-то и командовал отрядом, который похитил Маттеотти. Убивать его вроде бы не собирались, но как-то вот увлеклись - а скоординировать свои действия с государственной полицией ни им, ни их начальству в голову не пришло. Все это дело - с узнаваемым автомобилем, брошенным где попало телом, кучей оставленных следов - было обставлено настолько по-любительски, что просто диву даешься.

И продолжение тоже было "*...чисто итальянским...*".

Думини никого из начальства не выдал, получил срок в 5 лет, и через не слишком долгое время был выпущен. В тюрьме его почему-то не убили - скорее всего, по непростительной небрежности.

Это обнаружилось, когда он вышел на волю, и явился в канцелярию Муссолини - требовать денег.

Его опять арестовали, подержали немного в тюрьме, а потом назначили государственную пенсию в 5000 лир в год и отправили в итальянскую колонию в Сомали, от греха подальше. Там его арестовали опять - и тут он выложил на стол козырную карту. Думини представил убедительные доказательства того, что

все известное ему о "деле Маттеотти", во-первых, записано на бумагу, во-вторых, эти бумаги хранятся у его нотариуса в США.

В итоге его не только отпустили, но и увеличили пенсию до 50 тысяч лир в год. А еще сделали разовый подарок, вручив 125 тысяч лир, "*...на обзаведение...*". На эти деньги он купил себе виллу в итальянской Ливии, и пообещал больше не беспокоить.

Видимо, решил, что от добра добра не ищут.

#### IV

Кризис улегся далеко не сразу. Муссолини снова пришлось маневрировать. Раскол наметился даже внутри фашистской партии - идеалисты никак не хотели понимать, почему грехи руководства должны ложиться на репутацию всего движения. Они хотели "*...чистки рядов...*" - и она действительно началась, вот только работала в обратную сторону.

Композитор Артуро Тосканини, который в 1919 вступил, было, в ряды новой партии, к 1922 так в ней разочаровался, что отказывался дирижировать при исполнении "Джовинеццы".

Идеалисты уходили - их сменяли другие люди.

Влияние "расов", с их частными армиями, в результате кризиса только выросло - Роберто Фариначчи совершенно открыто защищал Думини. И вообще держался того мнения, что расстрел нескольких тысяч человек очень оздоровил бы обстановку.

Ну, так далеко Муссолини не пошел, но все больше и больше склонялся на сторону боевого крыла своей партии. В августе 1924 он призвал делегатов съезда фашистов не стесняться жестокости - она необходима, без нее ничего не достигнешь.

"Фашизм" - сказал Муссолини - "*нуждается в людях, на которых можно положиться...*".

Эти люди его и в самом деле поддержали - но не бесплатно. В ноябре 1942 генерал Де Боно был смещен со своего поста шефа итальянской полиции - и заменен на Итало Балбо.

Шаг был опасным - Муссолини отдавал полицию в руки очень способного и очень честолюбивого человека - но делать было нечего. По-видимому, он надеялся отыгратья позднее.

Дело в том, что Бенито Муссолини пришел к выводу, что само по себе наличие парламента становится ему нежелательным. Действия сквадристов по устрашению всякой возможной оппозиции шли вплоть до декабря 1924 - и приостановили их только в Риме. Туда ожидался наплыв иностранных корреспондентов в связи с заседанием совета Лиги Наций. Муссолини, которого уже стали называть "вождем" - "дуче", добился того, чтобы заседание проходило в Риме.

Его сжигала жажда признания и престижа.

### Примечание:

В 1925 Эмилио Де Боно даже судили по совершенно ошеломляющему обвинению - за соучастие в убийстве Маттеотти. У него хватило ума никого не выдать, и в результате он был оправдан, и отправлен в почетную ссылку - губернатором провинции Триполитания в итальянской Ливии.

## Анатомия диктатуры

### I

30 декабря 1924 все префекты Италии получили циркуляр из Рима, обязывающий проследить, чтобы депутаты парламента, разъехавшиеся на рождественские праздники по домам и пребывающие ныне в подотчетных префектам городам и весям, непременно вернулись в столицу. Ибо 3 января 1925 года премьер-министр намерен произнести важную речь, и необходимо присутствие всего парламента.

Вряд ли циркуляр был так уже необходим - слухи о "важной речи" уже широко разлетелись. 2 января - совершенно неофициально - было сообщено, что Муссолини ровно в 9:00 утра встретился со специалистом по Данте.

Оказывается, глава правительства каждое утро непременно читает какое-нибудь "*Canto*" великого поэта Италии - а вот 2 января он изменил своему обыкновению, потому что ему припала охота поговорить о прозе Данте - о ее глубине и эlegantности. Для особо непонятливых пояснялось, что в исторической речи, намеченной на 3 января, дуче народа Италии взял стиль Данте за образец.

Речь началась с сурового осуждения депутатов-социалистов, бойкотирующих заседания парламента. Далее оратор, охарактеризовав себя как "*...человека достаточно разумного, уже неоднократно доказавшего и свою храбрость, и полное презрение к материальным благам...*", сказал, что если бы он захотел учредить всякие там "*сека*", то он давно бы это сделал - честно и открыто.

Конечно, делать ничего подобного он и не помышлял - но сейчас, в присутствии всей ассамблеи, и всего итальянского народа, он заявляет, что берет на себя всю моральную, политическую и историческую ответственность за все, что произошло в Италии - и за все, что происходит сейчас.

Потому что все происходящее есть результат сложившегося в стране нового политического климата - а климат этот создан фашистским движением. Следовательно, будет только логично, если Бенито Муссолини, вождь и основатель этого движения, примет тяжкий груз ответственности на свои плечи.

И добавил:

*“...когда две непримиримых силы сталкиваются в борьбе, единственным решением тоже является сила...”*

Слова не разошлись с делом.

Уже 12 января король Виктор Эммануил одобрил новый состав кабинета. Собственно, согласно конституции, у него и не было другого выхода - но конституция теперь трактовалась вполне произвольно, и на свет появлялись совершенно удивительные комбинации.

В принципе, случалось, что премьер-министр, формируя кабинет, брал себе и еще какой-нибудь портфель - скажем, министра иностранных дел.

Но в январе 1925 Муссолини побил все мыслимые рекорды.

Он стал премьер-министром Италии, министром иностранных дел Италии, военным министром Италии, министром военно-морского флота Италии, а уж заодно - и министром авиации Италии.

Потом окажется, что и это не конец: в 1926 Муссолини возьмет себе министерство корпораций, в 1928 - министерство колоний, а в 1929 - министерство общественных работ. К этому надо прибавить и пост министра внутренних дел, который после короткого перерыва он вернет себе в 1926. Но это все - дело будущего. А сейчас, в январе 1925-го, имелись куда более насущные дела, чем коллекционирование должностей.

Надо было задавить прессу.

## II

Официально цензура введена не была, и никакие газеты не запрещались - даже коммунистическая "l'Unita"- "Единство". Но полиция конфисковывала выпуски газет - например, та же "l'Unita" в течение 13 дней - с 3 января 1925 и по 16 января 1925 - изымалась из обращения 11 раз. По непонятной причине - видимо, с целью соблюсти видимость беспристрастия - забирались выпуски и мелких фашистских газет - таких, как "Impero" - но главным результатом было то, что из обращения исчезло 4 миллиона экземпляров ежедневных газет.

Остались только те 300 тысяч, которые издавались фашистами.

Короля потом упрекали в том, что он ничего не сделал, но упреки, право же, были напрасны. Обвинять следовало не короля, а уж скорее всю Италию. 16-го января в парламенте было выдвинуто предложение осудить происходящее - но "за"

проголосовало только дюжины три отважных депутатов, решившихся на столь безнадежное дело.

Правда, среди них были такие авторитетные люди, как бывшие премьер-министры Саландра, Нитти и даже Джолитти - но их уже никто не слушал. Причем "... *не слушал* ..." - в совершенно буквальном смысле слова - свист и шум в палате стоял такой, что речей освистываемых было уже и не слышно.

Муссолини проигнорировал оппозицию. Он сказал, что она бессильна, и в качестве наглядного доказательства этого факта предложил парламенту утвердить единым блоком 2 364 декретов правительства. Что и было проделано - и не то что без обсуждения, а даже и без формального представления текстов.

Читать их было все равно некогда.

Парадоксальная вроде бы мысль - "...*парламент - не место для дискуссий*..." - как-то незаметно показалась самоочевидной.

В феврале 1925-го года последовало назначение Фариначчи на пост секретаря фашистской партии. Человек он был бессовестный и жестокий - и потому-то Муссолини его и назначил. Требовалась "...*чистка рядов*..." - из партии изгонялись все, кто сомневался, и оставались те, кто признавал "...*железную дисциплину военных траншей*...", и не обсуждал приказы вождя.

В порядке компенсации влиятельные фашисты получали государственные посты.

Делалось это обычно так - человек вроде Итало Балбо получал назначение на пост заместителя министра в то министерство, где министром значился сам Муссолини. Таким образом, на назначенного ложилась вся повседневная деятельность по управлению целой отраслью бюрократической машины страны, с немалой властью, прекрасным жалованьем, изрядной свободой в увеличении этого жалованья, впридачу к прямому доступу к дуче - но без официального министерского титула. И всякому было понятно, что заменить замминистра куда легче, чем сместить министра.

Оставался, конечно, вопрос - почему они на это соглашались?

### III

Ну, как это часто бывает - потому, что у них не было выхода. Фариначчи был поставлен над партией для того, чтобы "... *внести в нее дисциплинирующее начало* ..." , и всех недовольных выгонял сразу, невзирая на титулы и бывшие заслуги. Он свою миссию принимал, как огромное доверие, оказанное ему лично, и клялся дуче в "...*братской любви*..." .

Насчет братской любви - это некоторое преувеличение.

Муссолини своему брату, Арналдо, которому действительно доверял, передал редактирование "Народа Италии" - а вот на Фариначчи держал внушительное досье. Там значились даже такие мелкие шалости, как диссертация Фариначчи по юриспруденции, содранная от слова до слова с работы совсем другого человека - поменялось только название. Влиятельный "диссертант" был уверен, что проверять его не будут - но в "...необходимый запас грязи..." легла и эта история.

Если бы вдруг Бенито Муссолини вздумалось поиграть в строгого блюстителя законности, то история со списанной диссертацией тянула на шесть месяцев тюрьмы - уж не считая разрушенной репутации. Фариначчи это очень хорошо знал, и из назначенной ему роли не выходил.

Таким образом, фашистская партия оставалась под контролем.

Но диктатура не может держаться на одной опоре. Партии было нужно найти противовес - и в этом качестве очень пригодилась армия. Ее престиж после Капоретто очень пострадал. И в послевоенной Италии шли бурные дебаты - как сделать новую армию более современной и эффективной?

Мнения разошлись.

Еще до Великой Войны отстаивалась идея обязательной военной службы для всех, с целью создать массовую армию, "...вооруженную нацию...". Этим путем пошли только уже в ходе военных действий, начиная с 1915 - и в результате в военные части хлынула волна плохо подготовленных призывников, которым, тем не менее, были нужны офицеры.

В период с 1914 и по 1919 год количество итальянских генералов увеличилось со 176 до 556 [2] - и если рядовых в конце концов демобилизовали, то с генералами это было не так просто сделать.

Муссолини увидел в этом не затруднение, а преимущество - генералов можно купить.

Денег, положим, в казне не было - Де Стефано, министр финансов, изрядно подсократил общий военный бюджет. Но если денег, в общем, нет, то распределение оставшихся следует пустить на приоритетные цели - и таковой целью стало "...улучшение денежного содержания офицеров...", причем чем выше был их чин, тем лучше было "улучшение".

Более того - с целью уравнивать Италию с Францией в смысле ранга ее лучших воинов, в итальянской армии был введен новый чин - маршал. И армия прониклась сознанием, что Бенито

Муссолини, во-первых, понимает военные нужды, во-вторых, служит щитом против претензий некоторых слишком радикальных фашистов, которые только и думают о том, чтобы переделать офицерский корпус на свой лад, да еще и отменить монархию.

А армия, как-никак, присягала королю - и что было еще более важно, на высших постах в ней преобладали, так сказать, исконные подданные савойской династии - пьемонтцы. Одним из них был Пьетро Бадольо, назначенный на пост начальника Генштаба.

И в итоге сложилась конструкция, при которой итальянские консерваторы, аристократия и монархисты сплотились вокруг трона и армии, фашистские революционеры - вокруг партии - а примирял и тех и других, и, если надо, защищал друг от друга, один-единственный человек, поистине незаменимый Бенито Муссолини, национальный лидер Италии.

Которого отныне следовало называть просто Дуче.

#### IV

Стройная система фашизма, с упором на единство нации, и стоящее на дуализме партии и армии, с всеведущим вождем во главе, сложилась не сразу - процесс формирования занял несколько лет.

Более того - он мог оборваться примерно через полтора месяца после начала, если за начало мы посчитаем речь Муссолини от 3 января 1925.

15 февраля 1925 он свалился с кровавой рвотой. Врачи диагностировали язву желудка, и предписали покой и смену диеты - но сам дуче подозревал нечто похуже. У него была в молодости венерическая болезнь, и Муссолини внушил себе, что случившаяся рвота - симптом ее обострения.

Были сделаны все необходимые анализы - и даже перепроверены в Англии.

Когда “реакция Вассермана” дала отрицательный результат, дуче испытал такое облегчение, что думал даже обнародовать свой “...успешно пройденный анализ на отсутствие сифилиса...” - его насилу отговорили.

Но, как бы то ни было - кризис прошел.

Облик дуче тиражировался повсюду как образец здоровья и цветущей мужественности. В газетах публиковались его фото с теннисной ракеткой, или верхом на коне, или на берегу моря, непременно - с голым торсом.

Считалось хорошим тоном укорять вождя за то, что он в своих мужественных забавах не бережет себя - ибо его здоровье есть здоровье всего народа, и он должен быть осторожней.

По крайней мере, Фариначчи - "...фашист, любящий правду..." - со всей прямоотой говорил вождю прямо в лицо, что "...Ваша жизнь, Ваше Превосходительство, принадлежит не Вам, а народу Италии...".

И советовал ему не летать, и уж по меньшей мере - не пилотировать самолет самому.

Распорядок дня дуче, как сообщали газеты своим читателям, был истинно спартанским. Он вставал очень рано, принимал холодную ванну, выпивал стакан молока, а дальше сразу же садился на коня - в его привычки входила часовая прогулка верхом, в ходе которой он играючи брал любые препятствия.

Почтительно добавлялось - "...как настоящий ковбой...".

Конечно, вождь много работал - но спорт занимал в его жизни видное место. Например, он фехтовал, и всегда в своем собственном стиле, полном совершенно неожиданными острыми контратаками.

Все это, конечно, нарастало постепенно, но прививалось очень успешно.

Первый номер журнала "*Lo Sport Fascista*" – "*Фашистский Спорт*" за 1928 год открывался заголовком: "*Дуче - авиатор, фехтовальщик, знаток конного спорта, первый спортсмен Италии*".

Странно, что позабыт теннис.

Бенито Муссолини полюбил это аристократическую игру, часто практиковался, и в партнеры ему подбирали чемпионов Италии, которые изо всех сил старались играть медленно и отбивать мячи так, чтобы они попадали прямо на ракетку их столь важного соперника. Было известно, что ему нравится лихо отбивать удары, но бегать он все-таки не любит.

Игра непременно сопровождалась фотографиями.

Считалось, что по свету циркулирует 30 миллионов фотографий Бенито Муссолини, снятому примерно в 2 500 различных позах, и в самых разных костюмах, от строгого редингота и до спортивной рубашки теннисиста.

Фотографии вырезались, коллекционировались, служили предметом обмена, ими наполняли нарядные альбомы. У Муссолини появились миллионы фанатов - если в порядке анахронизма тут можно употребить такое современное слово. В

1926 одним из таких фанатов стала 14-летняя девочка, дочка хорошего врача.

Ее звали Клара Петаччи.



# Галина Подольская «Я открыл для себя Иерусалим Шагала»

Художник Григорий Фирер  
Пролог



«Иерусалим нельзя прилететь самолетом. В него нельзя спускаться. Это город, в который восходят, оставляя у подножия обломки прежней жизни. Чтобы ощутить трехтысячелетний город, необходимо отрешиться от собственной судьбы <...>»<sup>1</sup>.

Так случилось и в жизни ныне израильского художника Григория Фирера.



В 1992 году он приехал сюда по предложению туристической компании «Транспутник» – в счет гонорара за выполненный заказ – серию акварелей «По Золотому кольцу Москвы». Никогда прежде не бывал на Ближнем Востоке. А тут –

---

<sup>1</sup> Ахтман Т. Иерусалим: [отрывок эссе] // Три тысячи лет городу Давида. Иерусалим: История и образ города / Авторы-сост. М. Шкловская, И. Лурье; науч. консультант проф. И. Гафни. Иерусалим: Библиотека-Алия, 1995. С. 79.

после Златоглавой – Иерусалим. И сразу же, немолодой уже человек, но архиработоспособный художник, зрелая личность, Григорий Фирер начал искать точки соприкосновения с ближневосточной столицей. Даже стандартный набор экскурсионных маршрутов вкупе с собственными наблюдениями дали столько впечатлений, что, ворвавшись, они проросли уже потом, в России. Беглые зарисовки и этюды, сделанные во время поездки, выросли в картины-размышления. И это не случайно. Камни тысячелетий – они вещают, но высказывается художник.

Зрительным впечатлениям нужна была духовная и интеллектуальная подпитка. Будучи человеком с двумя высшими образованиями, Григорий Фирер привык находить ответы на свои вопросы в истории. Почему во все времена человечество устремлялось к Иерусалиму? Жаждало заполучить хоть клочок этой священной земли? В чем загадка извечного желания Запада вторгнуться в ближневосточную культуру? Откуда эта страсть чувствовать себя своим в Иерусалиме – в своем зодчестве, созвучном собственному образу жизни? Зачем строить дома, не очень подходящие к конкретному климату и ландшафту? Не оттого ли, чтобы, войдя, не оставлять у подножия обломки прежней жизни, а внести с собой и созидать по себе?

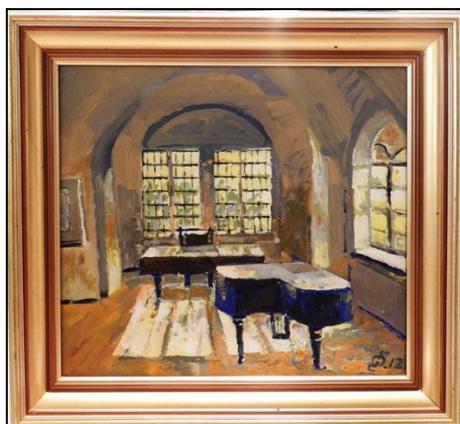
В 1998 году художник вновь приезжает в Иерусалим – в гости к дочери, проживает в районе Гило, познавая и другие части города.

«У Иерусалима свой север и свой юг, вытянутые вдоль земного шара. Юг – это Гило, а север – Рамот. Два новеньких, только недавно отстроенных белоснежных полюса, глядящих в противоположные стороны культур, мировоззрений, политических пристрастий. <...> Тенистую “аристократическую” Рехавию обтекает улица Кинг Джордж – названная в честь короля Георга V, правившего во времена английского мандата. Улица обрывается на “перекрестке мира” так же внезапно, как и власть англичан, и устремляется в глубину еврейских веков, в мир черных лапсердаков, пейсов и париков – в квартал Меа-Шеарим. Вылетевшие с улицы Кинг Джордж автобусы замирают здесь в глубокой депрессии и долго ползут по узким улицам. Но вот они выскакивают из почтенных, столетних объятий и мчат по широкому шоссе мимо сосен на север, к холмам Рамота. Здесь уютная, как в сказках Андерсена, архитектура. Красная черепица, балконы и балкончики, кружево решеток, палисадники и дворики, лесенки и дорожки, полукруглые окна, фонари и цветы, цветы... Вьющие розы сползают на террасы, обвивают балконы. На стриженных лужайках крохотные деревца обвешаны огромными

лимонами. С толстых деревянных балок свисают сетки с цветочными горшками. Керамические вазы с кактусами и горшками герани стоят на подоконниках и у дверей домов»<sup>2</sup>.

Так описывает Иерусалим 1990-х писательница Татьяна Ахтман, словно комментируя фиреровские рисунки и акварели тех лет. Уравновешенность и гармоничность сродни натуре Фирера. Это те качества, которых, как выяснилось, давно внутренне не хватало художнику в России.

С 1999 года Израиль становится для художника постоянным местом жительства.



### Пешее сердце

Судьба военного инженера – законопослушность во всем. Каждая минута – на вес золота. Так что уж если берешься за что-то... Григорий Фирер усвоил для себя одно правило: «Не начинай писать до того, пока не ощутил красоту от увиденного и охоту нарисовать! Тогда и другому станет понятно, что в обычном городском пейзаже зацепило».

С этой выработавшейся с годами привычкой, как второй натурой, Фирер вновь начал писать Иерусалим. Впрочем, для того, чтобы он стал своим, нужно было пройти и свой путь – пройти пешком. «...Сердце, не аллегория, а анатомия, орган, сплошной мускул, сердце, несущее меня вскачь в гору две версты подряд – и больше, если нужно <...> Сердце не поэта, а пешехода. Пешее сердце только потому не мрущее на катящихся лестницах и лифтах, что их обскакивающее. Пешее сердце <...>»<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Там же. С. 80.

<sup>3</sup> Цветаева М. История одного посвящения // Цветаева М. Соч.: В 2 т. М.:

Опираясь на цветаевский образ, можно сказать, что после марш-броска в Израиль творчество художника стало определять его «пешее сердце», «сердце-мускул», помогающее в пути дойти до предмета, взглянуть со стороны, художественно воспринять и воплотить. Зрение художника улавливало в архитектуре Иерусалима наложение культурных и этнических слоев: еврейские и арабские постройки, кварталы немецких колонистов-темплеров с прямоугольной планировкой улиц, строения времен британского мандата, на стиле которых сказалось желание вживить в ближневосточную культуру традицию Альбиона. Иерусалим начала прошлого столетия, многие из зданий которого сохранились и по сей день как особый строй речи. Это сионистские идеалы возвращенцев на историческую родину. Это еврейский ориентализм в зодчестве – лейтмотив Школы искусств и ремесел «Бецалель». В натуральных работах Григория Фирера живут своей жизнью внутренние дворики, аркады, перголы, уступы на склонах холмов, запечатленные в несметном количестве акварелей и графически – фломастером, пером...

И Иерусалим стал проникать в душу художника, как на акварели по-мокрому, открываясь диалогом времен. Сердце пешехода, сердце-мускул, бьющееся от Краеугольного камня, – и жизнь, еще одна, новая жизнь – в которой ты сразу взрослый. Ты уже не военный. Ты сразу свободный художник. Не о том ли всегда мечтал? Так бери эту жизнь – и распоряжайся ею! В ней ты можешь позволить сердцу стать сердцем поэта...

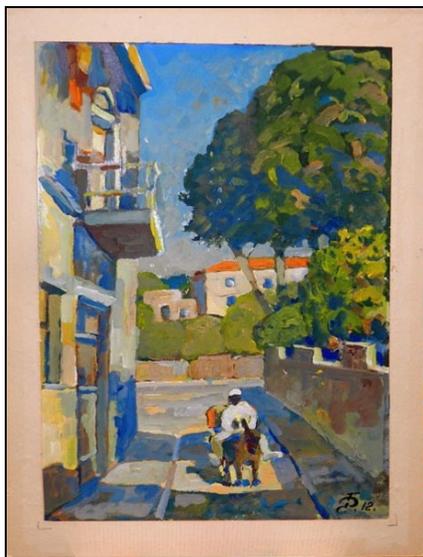
Но никто не знает, сколько тебе отмеряно...

В 2002 году Григорий Фирер получает направление на амбулаторное лечение в медицинский центр «Хадасса». 42 ездки автобусом почти ежедневно в 5.45 утра – из Ашкелона в Иерусалим. Обрато каждый раз шел пешком до «Яд Вашем», потом до автостанции...

Сердце-мускул не сдавалось, не позволяло залеживаться, заставляло двигаться. Сердце поэта требовало думать о прекрасном, идти и впитывать глазами Иудейские холмы-горы, прозрачность Иерусалимского леса. Сердце военного приказывало в момент боли остановиться и глубоко вздохнуть. Сердце художника подсказывало взять в руки перо, фломастер и, рисуя, «дойти до самой сути», «до оснований, до корней, до сердцевины». И пастернаковское «цель творчества – самоотдача» помогало. «Каждое посещение – по пути туда и обратно – завершал, –

рассказывает художник, – зарисовками пером видов этих мест. И боль отпустила...»

Шагал когда-то сказал так: «Привычка не замечать Природу глубоко укоренилась в наше время. Это напоминает мне человека, который никогда не смотрит тебе в глаза, – меня это выводит из равновесия»<sup>4</sup>. В кругу моего общения нет художника, который бы столько времени работал под открытым небом, смотрел в глаза лесам, холмам, горам и обретал искомое равновесие, становясь звеном в целостной системе исконного мироздания.



Так родился Иерусалим ландшафтный – свой – художнический, как «души предел желанный» (*А. Пушкин*).

А теперь откройте одну из страниц календаря «Мой Иерусалим. 2006–2007 гг.». Вновь анфас и в профиль солнцеликая столица, запечатленная живописным мазком Григория Фирера, финалиста и призера Всеизраильского конкурса «Мой Иерусалим», проводимого Министерством абсорбции Израиля. Но это уже Иерусалим эпический. Иерусалим как символ Земли Израилевой. Иерусалим как память о разрушенном Храме. Иерусалим как вера в возрождение народа Израиля в его стране. Иерусалим как примирение с собой... Сердце художника словно обскакало

---

<sup>4</sup> Цит. по: Вальтер И. Ф., Метцгер Р. Марк Шагал. Живопись как поэзия / Пер. Т. Старостиной. М.: Арт-Родник, 2008. С. 79.

ведущие в гору версты, и Иерусалим, став пафосно высоким, застыл в своем великолепии.

### Без черного

В 1958 году в докладе, прозвучавшем на заседании Комитета общественных исследований Чикагского университета, Марк Шагал заметил: «Можно прекрасно владеть линией, даже на архитектурном уровне. Но важнее всего – кровь, а для художника кровью является цвет»<sup>5</sup>. Это шагаловское определение цвета как крови искусства, способной передать плоть бытия, близко многим художественно одаренным натурам, родственным в ощущении мира и себя в мире. История о том, почему и как тема «Шагал в Иерусалиме» заняла в творчестве Григория Фирера столь основательное место, весьма показательна в этом отношении.

Произошли события, на первый взгляд не очень связанные с данной темой, однако именно они многое неожиданно предопределили. Художник создает триптих в темпере, назвав его «Размышления о “Черном квадрате” Казимира Малевича» (2007).

На первом полотне – воронка времени. Работа помещена в черное паспарту, словно в цветоцитату из Малевича. Центральная часть триптиха построена на нескольких образах из истории изобразительного искусства: в «Черном квадрате» размещен роденовский «Мыслитель», а за витком времени, уносящим философа в черном квадрате, – как на ковре-самолете, – влюбленные Шагала. Авраам благословляет их. Вечное Око – свидетель всесильной любви. Третья работа – мир равновесий, как поющий космос: «Любовь, что движет Солнце и светила» (*М. Волошин*). Таково художническое уяснение того, «ЧТО движет кистью»<sup>6</sup> (*М. Шагал*). Работа построена на контрасте лимонного и ультрамаринового – без черного.

Художественная концепция Григория Фирера более чем красноречива: от Малевича – к шагаловскому цветовосприятию мира. В живописи для него не существует черного цвета. Наверное, и конь вороной был бы у Фирера с синим отливом...

Ко времени «Размышлений о “Черном квадрате”» художник уже объездил весь Израиль, стал номинантом 9-го канала израильского телевидения «За вклад в изобразительное искусство Израиля – художник года» (2007), был участником многочисленных групповых выставок. Среди художников «с русскими корнями» трудно найти такого, у кого в Израиле

---

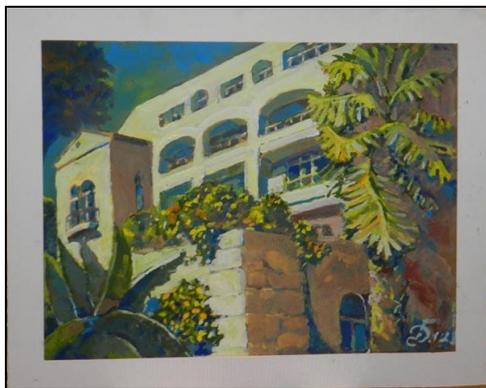
<sup>5</sup> Шагал М. Искусство и жизнь // Марк Шагал об искусстве и культуре / Под ред. Б. Харшава. М.: Текст, 2009. С. 249.

<sup>6</sup> Шагал М. Луврские диалоги с Пьером Шнайдером // Там же. С. 289.

состоялось бы столько персональных выставок: пять в Иерусалиме, три в Тель-Авиве, одна в Ашдоде, одиннадцать персональных выставок в Ашкелоне.

Ежегодно Григорий Фирер выставляется и в Москве: в Еврейском культурном центре в Марьиной роще («Мой Израиль», 2004), в Еврейском культурном центре на Большой Никитской («Израиль глазами Г. Фирера», 2005), в Международном художественном фонде («Мой Израиль», 2005, «Москва–Иерусалим», 2006).

В ноябре 2006 года в выставочном зале Международного художественного фонда (Большой Левшинский переулок, 8/1) состоялась персональная выставка «Григорий Фирер. 75 лет», которую можно расценивать как своеобразный итог творческой жизни художника – судя по откликам таких авторитетных деятелей изобразительного искусства России, как Таир Салахов (вице-президент Российской академии художеств, руководитель творческой мастерской живописи Московской академии художеств имени В. Сурикова, народный художник СССР), Александр Бурганов (действительный член РАХ, народный художник России, доктор искусствоведения), Александр Рожин (академик РАХ, главный редактор журналов «Третьяковская галерея» и «Творчество»), Анатолий Мосийчук (народный художник России).



А.Бурганов написал в книге отзывов: «Художник создал яркий образ Израиля, донес до нас красоту и мощь священной земли. Прекрасная, солнечная выставка... Особенно приятно, что художник сохранил и развил традиции русской художественной школы. Вы большой художник». Т.Салахов добавил: «Яркий мастер».

В Израиль Григорий Фирер вернулся со свеженьким двухкилограммовым томом «Современное российское искусство» (М.: МХФ, 2006. 440 с.). В альбоме, собравшем живопись, графику, декоративно-прикладное творчество, арт-фото 360 деятелей искусства России, были представлены и его работы, которые позже войдут и во все последующие московские издания этой серии, выпущенные в 2011, 2012, 2013 годах.

Но и это еще не всё. В 2005 и 2006 годах Григорий Фирер привез в Израиль дипломы III и IV конкурсов имени Виктора Попкова – после участия в выставках финалистов в московском Доме кино.

2007 год – выставка в Центральном доме национальностей при правительстве Москвы – по представлению генерального директора Международного художественного фонда Ларисы Комаровой. Затем – в Театре имени Ермоловой, в Российской библиотеке искусств.

2009 год – выход в свет серьезного каталога «Григорий Фирер. Живопись и графика» (Холон, 2009. 272 с.), дающего представление о жизненном и профессиональном пути художника.

Всего не перечесать в творческом отчете к началу жизни!

И вот 2011 год. Израиль.

#### **Из эссе Г. Фирера**

«Начался фестиваль искусств “По следам Шагала”. Очень мне понравилось это начинание. Здорово! Стал думать, и вот произвела на меня впечатление цитата Марка Шагала о Негеве и пророках. Столько раз я писал Негев с натуры и в композициях. Решил: а почему бы мне не изобразить автопортрет Шагала с семью пальцами на фоне Негева, используя изображение торса фигуры шагаловское, а изображение головы реалистическое. У Шагала на мольберте автопортрета изображена витебская коза, а почему бы ему, будучи в Израиле, в Негеве, не написать в своем мольберте вместо козы... фрагмент его картины “Стена Плача”. Сказано – сделано.

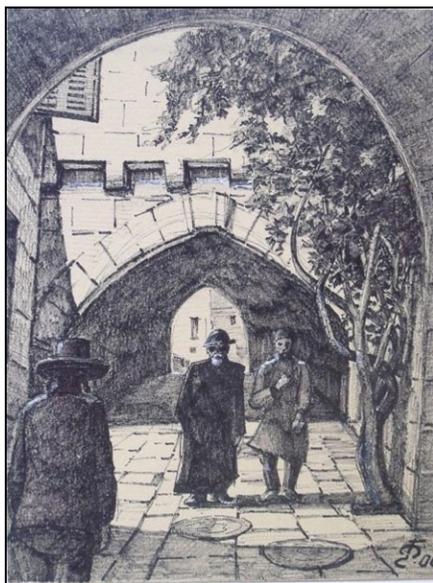
А что? Получилось! Но комментарии коллег и жюри я не слышал. Среди победителей мне места не нашлось... Из песни слова не выбросишь»<sup>7</sup>.

Впрочем, к критике будущий художник с детства относился как мыслитель. Читаю страницы его воспоминаний: «Хорошо запомнил критику на свой детский рисунок. Мне тогда

---

<sup>7</sup> Здесь и далее цит. по: Фирер Г. Марк Шагал и моя жизнь // Марк Шагал и Израиль. Жизнь. Творчество. Наследие / Под ред. Г. Подольской. Иерусалим: Скопус, 2012. С. 320-321.

было около пяти лет. За праздничным столом после нескольких рюмок спиртного отец вдруг решил похвастаться успехами сына в рисовании и приказал мне показать гостю рисунки. Я выбрал самый хороший для показа и молча ожидал похвалы за свой творческий труд. А на бумаге цветными карандашами были нарисованы Москва, Красная площадь, мавзолей Ленина, кремлевские башни и, конечно, пионеры с красными флажками. Гость похвалил меня, но сделал одно маленькое замечание, которое я <...> запомнил на всю жизнь: “Рисуешь ты здорово, но еще ты должен знать, что рисовать нужно правильно, так, чтобы флаги на куполе Кремля и в руках у пионеров развевались в одном направлении – по ветру, а у тебя они развернуты в разные стороны”»<sup>8</sup>.



Григорий Фирер выкован свинцовым веком, а потому не боится ошибок. Ну, а если ошибся – без черного – не прячется за искусственные теоретические объяснения, а ищет творческое решение. Это те качества, которые всегда выделяют зрелые и цельные личности в потоке внешне сложившихся людей.

---

<sup>8</sup> Фирер Г. Вместо предисловия // Григорий Фирер. Живопись и графика. Холон, 2009. С. 6–10.

### Из эссе Г. Фирера

«Здесь, в Израиле, больше всего я люблю писать Иерусалим. Люблю всё: панорамы, улицы, каждый камень. Мне очень нравится древний Иерусалим, но не менее – и Иерусалим современный. Иерусалим – моя заветная тема, можно сказать, тема моей нынешней жизни. И вдруг я начал думать: а каким видел его Шагал? Как он смотрел на те же места, на которые я смотрю? Я стал искать улицы и дома, где он бывал. Хадасса, Кнессет – это понятно. А вот как другие места я проглядел?»

А работу «Шагал в Негеве» Фирер переписал, вспоминая шагаловское: «Если кто-нибудь видит в моих картинах символы, то это не было моим сознательным намерением». Почему? Да потому что уже сам стал другим. И точки соприкосновения с Мастером стали иными. Прямолинейность уступила место философской широте в понимании внутреннего мира художника: «В готовой работе кто-то может отыскать их [символы] и истолковать по-своему»<sup>9</sup>.

### Дневник памяти

«Но я все равно продолжал думать о Шагале» (Г. Фирер).  
В израильском автобусе или в вагоне далекого прошлого?

Дорога... «Ваше благородие, железная дорога...» Может, и песни такой тогда еще не было. Но стук колес, как сердце по рельсам, уже отбивал ритм путевого дневника памяти в дни Второй мировой войны. Не случайно «Дети Холокоста» и другие мемуарные заметки Григория Фирера передают события пережитого так, как запомнил их мальчик из города Змеева Харьковской области (как записано в свидетельстве о рождении 1931 года, хотя сам он думает, что родился в Дубровке).

### Из дневника будущего художника

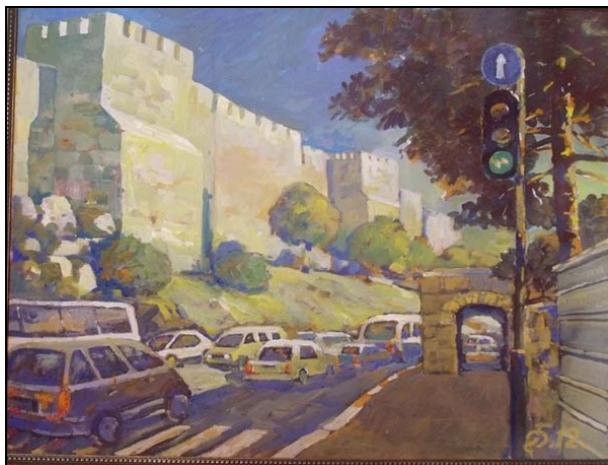
«Шагал в годы Второй мировой войны работал над декорациями в театрах США...

А я... Я учился рисовать, находясь в эвакуации на Алтае у *театрального художника*, тоже эвакуированного вместе с одним из драматических театров Ленинграда в город Ойрот-Тура (ныне Горно-Алтайск). Мне тогда было 11 лет. Я помогал ему делать декорации к спектаклям, порой путаясь под ногами, задавал вопросы и больше мешал ему, чем помогал. Запомнилось мне, как делалась декорация волн. Для того, чтобы море “бушевало”, из

---

<sup>9</sup> Цит. по: Вальтер И.Ф., Метцгер Р. Марк Шагал. Живопись как поэзия. С. 78.

фанеры вырезались профили волн по ширине сцены, и таких многорядных профилей было около десятка, фанера чистилась, грунтовалась. Потом начиналось самое интересное – мне доверялась кисть и ведро с краской, и я красил нижнюю часть «волн» в зелено-голубой цвет, а художник белилами подкрашивал «гребешки волн». Готовые профили подвешивались в несколько рядов и во время спектакля раскачивались, и из зрительного зала «бушевало море», а между рядами волн двигались артисты с фанерной лодкой в руках, и создавалось красочное действо ойротской народной сказки «Уч-Кыс» – «Три сестры». Театр покорила меня спектаклем «Генерал Брусилов». Особенно сценой, когда штаб Брусилова, размещенный в зале ожидания ж. д. вокзала, готовил контрнаступление Юго-Западного фронта (1916 год – Первая мировая война). Столы, на стенах карты, генерал в шинели с красными отворотами, офицеры, оружие, а в окнах проходят поезда. Особенно меня поразил тогда эффект – мелькающий свет в окнах проходящего пассажирского поезда.



Как-то потом в полутемном коридоре театра я пытался ходить строевым шагом, отдавать честь и щелкать каблуками, как штабные русские офицеры, а меня за этим занятием застал режиссер театра и сказал: «Не смущайся, не знаю, будешь ли ты художником или артистом, но офицером точно будешь»<sup>10</sup>.

Но о том, что война в жизни страшнее войны в театре, мог догадаться даже ребенок, находившийся в эвакуации...

---

<sup>10</sup> Фирер Г. Марк Шагал и моя жизнь. С. 320.

### **Непридуманное**

«Темнело. Тайга угрюмо шумела. Наползал туман и холод. Страшно хотелось есть <...> Матери все нет и нет <...> И вдруг мы видим – сначала силуэт, а затем и фигуру бегущей через пути женщины. Это бежит наша мама, в руках у нее глиняный кувшин с борщом на четверых – она сама не съела ничего – несет детям. Уже близко подбегает к нам и – вдруг... спотыкается, падает, горлач разбивается о рельсы, осколки разлетаются, и еды как не бывало. Сестра плачет, мать рыдает, а я, как могу, пытаюсь ее успокоить...»<sup>11</sup>.

Эта сцена, как шок, впечаталась в детскую память.

### **Из дневника будущего художника**

«Период октябрь 1942 – апрель 1944 года можно считать почти благополучным. Из Бийска по Чуйскому тракту на грузовой машине нас доставили в город Ойрот-Туру в горах Алтая <...> временно поселили в будку стрелкового тира – там мы прожили до отъезда домой. Жилье было летнее, а зимой морозы доходили до 50–60 градусов. Стены промерзали, доски пола были гнилые. Спасало обилие снега, которым мы с отцом лопатами присыпали стены снаружи, – становилось теплее. Утром в 5 часов я и еще мальчишки занимали очередь за хлебом на всю семью. Было страшно холодно. Одежда эвакуированных не была приспособлена к сибирским морозам. Потом стало легче – пришла американская помощь в виде красного спортивного костюма и матерчатых ботинок 42 размера на деревянной подошве. Чтобы было теплей и ботинки не сваливались с ног, мы надевали носки, портянки и обматывали стопы газетой. И в таких ботинках можно было даже кататься. Как на коньках.

Потом, чтобы не стоять в очереди (не мерзнуть) и получить хлеб первыми, несколько ребят, и я в том числе, запрягались в большие сани, волокли их на хлебозавод, получали там хлеб и, как перовская “Тройка” (картина в Третьяковской галерее), тащили этот воз через весь город обратно. Зато первыми получали на всю семью хлеб – буханку, а если повезет, то и горбушку, которую тут же съедали.

Был позорный случай, когда мы с сестрой (на второй год она уже подросла и ходила в очередь со мной) получили хлеб без горбушки и по дороге домой незаметно, по кусочку, весь съели.

---

<sup>11</sup> Фирер Г. Дети Холокоста // Григорий Фирер. Живопись и графика. С. 14.

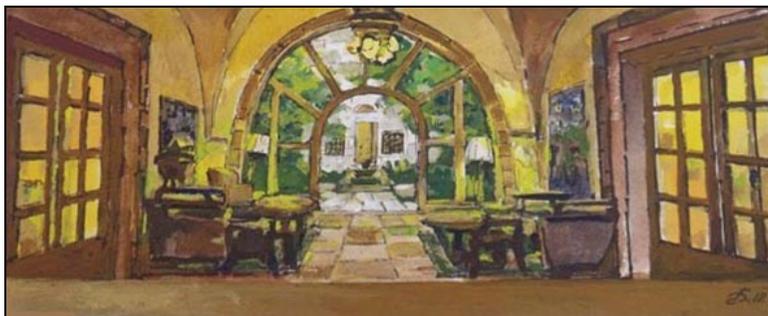
Дома нас не ругали, но я навсегда запомнил понимающие, без укора, глаза матери»<sup>12</sup>.

**Состоявшийся художник – своему городу Витебску**

«<...> моя мать на меня смотрела когда-то из дверей, когда я уходил. На твоих улицах еще враг. Мало ему было твоих изображений на моих картинах, которые он громил везде. Он пришел сжечь мой настоящий дом и мой настоящий город.

<...> Когда я услышал о том, что твои героические освободители приближаются к городским воротам, это меня так взволновало, что я решил написать большое полотно, на котором враг пробрался даже в мой родной дом на Покровке и ведет с тобой бой прямо из моего окна. Но ты покарал его смертью, как он того и заслуживал, потому что только наказание и смерть могут когда-нибудь потом, сотни лет спустя, вернуть ему человеческий облик»<sup>13</sup>.

27 января 1944 года. По радио – голос Левитана: конец блокады Ленинграда. Освобождение Дубровки – городка, где остались родные семьи Фиреров. Чтобы добраться из Сибири в Европу, нужно было успеть до половодья – пока не разольются многоводные притоки Оби Бия и Катунь. Еще 100 км в кузове грузовика. Берег реки, на котором тысячи таких же нетерпеливых на полтора-то десятка изб.



**Из дневника будущего художника**

«А у реки – столпотворение. Патрули не пускают машины пересекать реку.

Вся река еще покрыта льдом и снегом, а у берегов стоит вода. С высокого берега видно несколько провалившихся под лед

---

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Шагал М. Моему городу Витебску // Марк Шагал об искусстве и культуре. С. 166-171.

машин – торчат лишь задние борта. А от нескольких остались только черные полыньи.

Что делать? Где ты, Дубровка?!

И вдруг подходит бравый сержант и предлагает рискнуть: две минуты риска, и мы на твердом льду, и путь на большую землю открыт, а так бы два месяца ждать понтонного моста или ехать обратно в Ойрот-Туру, а там уже никто нас не ждет. Только вперед – домой. И вот мы уже в кузове машины. Водитель в машине один, обе дверцы открыты: если начнем проваливаться – прыгать с бортов в стороны и пешком по льду вперед. Водитель дает газу, и мгновенно мы через воду выше колес несемся с подвыванием мотора и оказываемся на твердом льду – и мчим, летим к тому берегу. Позади – свистки патрульных, ругань и одобрительные крики, а мы весело катим к тяжелейшим дням нашей жизни»<sup>14</sup>.

И вновь – товарняки. И еще месяц мучений. И сердце стучит, как колеса по рельсам. Пересадка на вокзале в Новосибирске. И опять железнодорожная колея, в которой память отстучивает строчки в путевом дневнике. И еще месяц в дороге – через Москву и Брянск. И мелькающий свет в окнах проходящих поездов, не дающий позабыть о декорациях в эвакуированном театре.

Вроде и пути-то совсем ничего. Чуть-чуть – и родная Дубровка.

**Из дневника будущего художника**

«Немцев в Дубровке нет!

Скорее домой (обратно повезу рисунок дома, который нарисовал по памяти в эвакуации), к нашему новому-старому дому!»<sup>15</sup>

**Из выступления состоявшегося художника в мае 1944 года**

«<...> идти к людям. Быть странником, что в ночи стучится в дверь. Только не надо думать, что дверь неприступна, как стена.

Надо идти к людям... в них – спасение от нас самих, путь к давно утраченному миру»<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Фирер Г. Дети Холокоста. С. 16.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Шагал М. Конец войны, май 1945 // Марк Шагал об искусстве и культуре. С. 189–193.

### **Из дневника будущего художника**

«Дома нашего уже нет. Его лично сжег бывший приятель отца – начальник полиции Пыхтенков <...>

Сыпной тиф у матери и отца. Нас с сестрой выгоняют из дома (наши земляки и соплеменники – из опасения заразиться тифом), и мы идем в полуразрушенную больницу к родителям, чтобы быть вместе и, если повезет, выжить. Мы с сестрой и отцом выжили, мать не перенесла и умерла, а я без сознания находился до утра в ее объятиях еще и после ее смерти.

Когда я очнулся <...> спросил: “Где моя мама?” – один выздоравливающий сказал: “Матку твою отволокли на кладбище, а вас, жиденят, все равно убьют, так как немцы опять близко от Дубровки!”»<sup>17</sup>

### **Из выступления состоявшегося художника в мае 1945 года**

«Мне всегда хотелось быть одним из вас, почувствовать, чем народ дышит, чем живет, как это было когда-то в моем родном городке»<sup>18</sup>.

### **Из дневника будущего художника**

«Нас с сестрой подобрали хорошие люди. На ручной тележке старый Стененков привез нас на окраину к уцелевшему домику, в горнице под образами нам сколотили нары на троих, и на этих нарах мы встретили 9 мая 1945 года – День Победы, и этот день мы не можем забыть никогда!»<sup>19</sup>

### **Состоявшийся художник – городу Витебску и всему миру**

«Что ты только не вытерпел, мой город: страдания, голод, разрушения, как тысячи других братьев-городов моей родины. <...>

Я рад за твоих новых граждан, ценю их созидательный дух и вижу, что твоя жизнь теперь исполнена нового высокого смысла. И ты готов поделиться всем этим не только со мной. Но и со всем миром»<sup>20</sup>.

В мае 1945 года в Нью-Йорке, на собрании сторонников левых взглядов, Марк Шагал говорит о необходимости создания единого нового дома для миллионов евреев в Эрец-Исраэль со столицей в Иерусалиме<sup>21</sup>.

В Дубровке об этом ничего не слышали...

---

<sup>17</sup> Фирер Г. Дети Холокоста. С. 16.

<sup>18</sup> Шагал М. Конец войны, май 1945. С. 189–193.

<sup>19</sup> Фирер Г. Дети Холокоста. С. 16.

<sup>20</sup> Шагал М. Моему городу Витебску. С. 166–171.

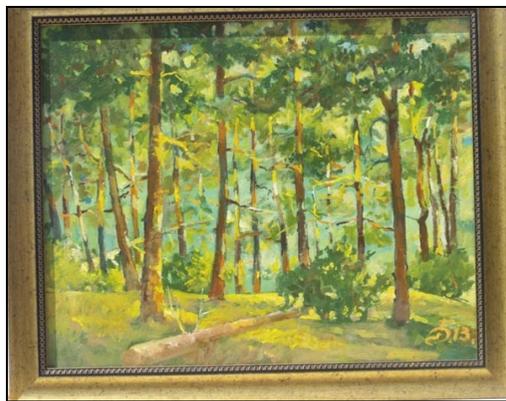
<sup>21</sup> Шагал М. Конец войны, май 1945. С. 189–193.

### На железнодорожном полотне

«Художником я стал не благодаря, а вопреки сложившимся обстоятельствам», – вспоминает Григорий Фирер.

По окончании седьмого класса он поступает в Орловское художественное училище. Но учиться там не довелось. Здание учебного корпуса было разрушено. Училище перевели в Елец, где общежитие не предоставлялось. Уехать из Орла не было в то время возможности, а на весь город только и осталось, что фельдшерско-акушерская школа и железнодорожный техникумом. И не дано было третьего! Так и пришлось идти туда, где стучат поезда. После техникума – работа на железной дороге в Сызрани, призыв в армию, направление в военное училище железнодорожных войск в Ленинград. Три года службы в северной столице. Мариинка, Малый оперный театр, Драматический театр (ныне имени Г. Товстоногова) – это то, что открывает мир, а главное – Эрмитаж и Русский музей. Что еще нужно молодому человеку, влюбленному в искусство?

В 1960-е годы французский искусствовед Пьер Шнайдер в одном из интервью с Марком Шагалом поинтересовался, почему даже теперь, достигнув мировых высот, он своей высшей академией считает Лувр? Шагал почти по-детски ответил: «Я чувствовал, что там – правда». А потом с раздумьем добавил: «Модернисты еще не прошли проверку. А там – там всё серьезно»<sup>22</sup>.



В жизни Григория Фирера было всё серьезно – и не благодаря, а вопреки.

---

<sup>22</sup> Шагал М. Луврские диалоги с Пьером Шнайдером // Марк Шагал об искусстве и культуре. С. 280.

1954 год – погоны офицера и служба в Прибалтике.

1957 год – снова Ленинград. Попытка поступить в Военную академию транспорта. На экзаменах – высший балл, красный диплом техникума. Не приняли. «Еврейскую графу» объяснили состоянием здоровья. Однако с этими же показателями без экзаменов взяли на заочное обучение в Ленинградский институт железнодорожного транспорта. Вновь служба – Карелия, Прибалтика, досрочная защита диплома.

С 1963 по 1968 годы военный инженер Григорий Фирер служит в Смоленской области. Но мечта получить профессиональное художественное образование не оставляет. Фирер-офицер поступает на вечернее отделение худграфа Смоленского пединститута.

### **Из воспоминаний студента худграфа**

«С 1963 по 1968 гг. <...> занимаюсь на вечернем отделении худграфа и одновременно осуществляю инженерное руководство объектами строительства, находящимися в радиусе 900 километров от Смоленска. Очень много разъездов между объектами, много тратится времени на пересадках – вот это время и использую для зарисовок, акварелей, этюдов маслом, а на объектах по ночам я штудирую академические рисунки (в моем дорожном вещмешке побывали и гипсовые головы Венеры, и гипсовые детали головы Давида, и многое другое из учебных пособий <...>»<sup>23</sup>.

В жизни не бывает ничего лишнего и случайного. Гипсовые головы Венеры и Давида продолжают пребывать в вещмешке Фирера – в Гродно, Минске, Могилеве... И – Витебск – город, навсегда оставшийся в сердце Шагала. Равно как и пейзажи Витебщины, которые открыл для себя и студент худграфа.

«Я не жил с тобой, но не было моей картины, которая не дышала бы твоим духом и отражением, – с неподдельной искренностью писал Мастер, риторически обращаясь к городу своих корней, но тут же замечал и другое: – Я был бы еще счастливее, если бы смог побродить по твоим дорогам, собрать камни твоих руин, подставить старческое плечо, помогая заново отстроить твои улицы»<sup>24</sup>.

Григорий Фирер был молод и не думал об ошибках политиков или промашках государства. Судьба военного – судьба не по собственной воле, хотя может стать и твоей судьбой. И вот он в Витебске руководит строительством подъездного

---

<sup>23</sup> Фирер Г. Вместо предисловия. С. 8.

<sup>24</sup> Шагала М. Моему городу Витебску. С. 168-169.

железнодорожного пути от станции Витебск до карьера Глиняная Пуша.

Получается, что путь Фирера «по местам Шагала» начался на одной из дорог к возрождаемому из руин городу Мастера – не только на учебном холсте, а на полотне железной дороги.

Читаем шагаловское: «Мой город, для меня ты навсегда останешься большим живым надгробием, и звуки всех твоих юных голосов для меня приятнее самой дивной музыки, потому что в них слышится призыв к новому в жизни»<sup>25</sup>.

Призыв к новому в жизни...

Так сложилось, что география рельсов и шпал, которые прокладывал Григорий Фирер, пролегла по месту пересечения меридианов и параллелей города Шагала. Скоростная железная дорога, мчащий на полном ходу поезд, мелькающие кадры мира, пронзительный гудок локомотива – это тоже в определенном смысле полет.

А потом – новые поездки в Ленинград и Москву, новые встречи с творчеством Мастера. И теперь уже – не на железной дороге.

### **Из эссе Г. Фирера**

«М. Шагала я впервые увидел в шестидесятые годы в Русском музее Ленинграда – летающие над Витебском фигуры – на меня эта картина не произвела особого впечатления тогда. Но когда я увидел Марка Шагала в девяностые годы в Москве в Третьяковской галерее на его юбилейной выставке, увидел масштабы его жизни и творчества, прочитал, как он трактует сущность, трагедию, юмор, иронию и сатиру, талант еврейского местечка с таким теплом и юмором; запомнилась фраза из его текста, где он писал о том, что хочет быть художником – “Чарли Чаплином” в изобразительном искусстве и что Чаплин является его идеалом, – меня, как зрителя, это очень затронуло, и я его творчество увидел по-новому и с большим интересом и уважением к гениальному художнику...».

Фирер обожал Чарли Чаплина – с детства. Как и все мальчишки его поколения, по десять раз смотрел фильмы с его участием и был убежден, что благодаря искусству таких, как Чаплин, человечество выжило. «Чаплин был не просто большим человеком, он был гигантом. В 1915 году он ворвался в мир словно привидение со своим даром комедии, смеха и помощи, в то время, когда всё разрывалось на части в Первой мировой войне, и в течение следующих 25 лет – и во время Великой депрессии и во

---

<sup>25</sup> Там же.

время возвышения Адольфа Гитлера, – он продолжал творить... Вряд ли какой-то другой человек когда-либо сможет принести больше радости, удовольствия и облегчения в тот момент, когда в них так нуждается большинство людей»<sup>26</sup>.

Если талант направлен на созидание, личностные качества художника помогают раскрыться самым неожиданным граням дарования. Но талант чахнет, высыхает, и художник «одинаков», если за ним нет человека.

Шагал утверждал: «Все бесталанные художники одинаковы»<sup>27</sup>. В палитре Чаплина десятки индивидуальностей. В одном образе – бродяга, поэт, мечтатель, а по сути – «...одинокое существо, мечтающее о красивой любви и приключениях. Ему хочется, чтобы вы поверили, будто он ученый, или музыкант, или герцог, или игрок в поло. И в то же время он готов подобрать с тротуара окурок или отнять у малыша конфету»<sup>28</sup>. Вот такая легендарно-эпическая личность.

Мечтающий поезд. Дорога – полотнищем. Мчит состав на новые места назначения. И развороченные ухабы становятся новыми рейсовыми колеями и остаются в рисунках того, кто не отказался от мечты стать художником. «А годы летят, наши годы, как птицы, летят...» – пелось в песне тех лет. Служба кажется уже нескончаемой...

С 1968 по 1975 годы Фирер на Украине – в должности главного инженера войсковой части, потом – командира части. С 1975-го – в Баку, подполковник. Новые впечатления от разных мест старался зарисовывать, так что путевой жанр в творчестве на многие годы вперед предопределил сам образ жизни художника.

1979 год – поворотный в судьбе. Увольнение из рядов Советской Армии. Свободная птица. И дорога, которой можно распорядиться самому, – творчество.

Первая персональная выставка в Баку. Работа преподавателем рисунка и живописи в Республиканском дворце пионеров. Переезд в Подмоскowie. Вновь учеба! С 1981-го по 1989-й Фирер посещает художественную студию при Центральном доме культуры железнодорожников (ЦДКЖ), которой руководил известный педагог, заслуженный художник

---

<sup>26</sup> Из рецензии Мартина Сиффа на книгу «Чаплин: жизнь». Цит. по статье из Википедии – свободной энциклопедии (URL:

[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD\\_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7))).

<sup>27</sup> Шагал М. Луврские диалоги с Пьером Шнайдером. С. 300.

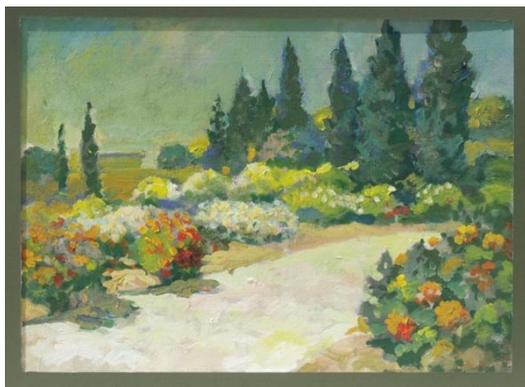
<sup>28</sup> Чаплин об образе Бродяги. Цит. по статье из Википедии (см. примеч. 26).

Российской Федерации Юрий Александрович Буторов. В период обучения у Буторова главным жанром для Фирера становится акварель. Он участвует в выставках в ЦДКЖ и выставочном зале Московского союза художников на Кузнецком мосту.

В 1992 году вступает в Международный художественный фонд (Московское отделение). В 1994-м, вместе с художниками Юрием Штейнгарцем и Виктором Надеждиным, организует выставку в Центральном доме художника на Крымском валу в Москве. В 1997 году – там же – персональная выставка.

Вот что писала об этих выставках искусствовед ЦДХ Ирина Салдина: «Акварельные пейзажи Г. Фирера отличаются самостоятельной художественной ценностью. Это подчеркивается в определенном отношении художника к природе. Его интересуют переходные состояния природы, они выражаются в особой обостренной эмоциональности чувств и настроений художника.

Не нарушая естественности необходимого в природе мотива, Г. Фирер соотношением линий и пятен (и наоборот, соотношением разных пятен) выявляет декоративную выразительность сочетания целого и деталей. Размытость пятна воссоздает движение воздушной среды, усиливает ощущение постоянной изменчивости природных явлений.



В пейзажах средней полосы России нет внешней занимательности мотива, но при помощи определенных приемов художника достигается ощущение присутствия. В акварелях “чувствуется” запах потемневшей от летнего дождя зелени, неповторимости осени – в дыхании влажных туч.

Другой выразительный прием – белый фон бумаги дает возможность вибрировать, светиться краскам, благодаря чему

полуденный зной раскаленных площадей в Израильской серии ощущается особенно ярко.

Акварель как искусство более камерна, чем живопись, а у Григория Фирера это становится сферой воплощения задушевных свойств личности художника – в завершенности пейзажей как самостоятельных станковых работ в технике акварельной живописи»<sup>29</sup>.

Художник... Вопреки всему – художник!

И вновь дорога. И сам он опять в пути. Но это не товарняк, не паровик, не электричка. Ни стука колес тебе, ни дребезжания вагонных сцепок... И пассажир – не вечный военный – свободный художник – на бесшумном, комфортабельном рейсовом автобусе. Дорога такая, что надо, наезженная – в город на Масличной горе.

«Еду <...> в Иерусалим – и опять думаю о Шагале»  
(Г. Фирер).

(полностью статью читайте на сайте «Семи искусств»)



---

<sup>29</sup> Салдина И. Об акварели Григория Фирера // Григорий Фирер. Живопись и графика. Холон, 2009. С. 260.

**Михаил Юдсон**

## **Дорогами Иерусалима**

**Галина Подольская, Григорий Фирер.  
Марк Шагал и Иерусалим\*.**



ривыкши равнодушно скользить глазом по книжной обложке (не больно важно, главное – нутро, содержимое), тут я впери́л взор – роскошный альбом, на треть полный цветными иллюстрациями! И обрамляющий текст не оплошал – изящные эссе об изящных искусствах, виртуозная интеллектуальная проза в исполнении доктора филологии, искусствоведа Галины Подольской.

Сей том являет собой творческий симбиоз писателя и художника, Галины Подольской и Григория Фирера. Они поставили перед собой труднейшую и благородную задачу – провести благодарного читателя по Иерусалиму Шагала, с момента первого приезда Марка Захаровича в Палестину. Для харизматичного Мастера все дороги вели в этот святой город, дорогой для его души и творчества, конечный пункт Исхода: «Иерусалим?.. В этом городе ощущаешь, что дальше уже нет дорог...» (Марк Шагал)

Данная книга напоминает развернутую метафору Иерусалима как пути – шаг за шагом, страница за страницей – к духовному совершенствованию через Шагала и его век, коему он был ровесник. Благая весть от Марка!..

Это путевой Иерусалим, увиденный новыми глазами, мозаично увязанный с днями пребывания Шагала, многосторонний и разноцветный, как витражи, звучащий в красках – и даже мне, непутевому читателю, сделались важны новые уши для новой музыки.

Течет живой текст, неся плоты исторического путеводителя, а в фоторяд альбома гармонично вплетаются картины тех же мест сегодня, выполненные художником

---

\* Иерусалим, 2013. – 196 с. ISBN 978-965-762.

Григорием Фирером. Серия работ этого старейшего израильского живописца «По местам Шагала в Иерусалиме» – также сродни путевому дневнику, этакой изобразительной прозе. Образ города городов, куда приводит дорога дорог, воссоздается бережно и тщательно, с почтительным ощущением магии намоленного места. Почти дотошно Фирер воспроизводит архитектуру Старого города и облик современного Иерусалима, интерьеры помещений, в которых бывал Шагал, ауру времени, присущих пейзажных жителей и окрестные пейзажи. Шагаловский Иерусалим, в понимании Григорий Фирера, – это обитель вне суеты, рафинированный белокаменный град вечный, утомленный лишь солнцем (о, пышащий жаром город Давида!), – но не нынешней цивилизацией с нависшими мостами, гостиничными башнями и жалкими стилизациями «под старину».

Ритм и колорит Иерусалима на протяжении почти полста лет занимали особое место в жизни уроженца Витебска: «Мне не нравятся русские или центральноевропейские цвета. У них краски такие же, как башмаки. Сутин, я – мы все уехали из-за цвета».

Иерусалим для Шагала не только «звенел и окрашивал», но и неумолчно, шофарно призывал художника к осмыслению национальных истоков. Когда Шагалу в 1931 году предложили проиллюстрировать Библию, он и не помышлял, что окажется в Иерусалиме и библейская тема станет главной в его творчестве: «Я тогда растерялся: я даже не знал, с чего начать. Я был так далек от библейского духа, жил в чужой стране. Но вдруг – словно родился заново, стал другим человеком».

Возвышенные отношения Шагала с Иерусалимом, их взаимная любовь (на иврите город – женского рода) со столицей Сиона – привели к дивным порождениям: витражи «12 колен Израилевых» в больнице «Хадасса», мозаичные панно и гобелены в здании Кнессета, барельеф во Дворце конгрессов.

Таким образом, книга-альбом Подольской и Фирера открывает нам страницы биографии Мастера, связанные с Иерусалимом – объединяя при этом, как гласит аннотация, «документальное повествование, художественное слово, живопись, графику, фотографию». В каком-то смысле, это продолжение предыдущего труда Галины Подольской «Марк Шагал и Израиль: Жизнь. Творчество. Наследие» (Иерусалим, издательство «Скопус», 2012).

Надо отметить, что все книги, которые делает Подольская «про искусство» – всегда проникнуты, при внешней информативности, красотой слога, экипированы метафоричностью, насыщены приятной изысканностью. Да попросту, без экивоков –

замечательно написано. И жанр порой неожиданный – роман в красках, рисунки для чтения.

Если пришнуровать шагаловскую цитату «краски такие же, как башмаки», то у Подольской не зря начальный раздел книги назван «Солнечные сандалии». Созданный ею высокий романтический стиль позволяет нам приподняться на цыпочках, а то и оторваться от брэнной обетованной земли и, подобно героям Шагала, ощутить высоту и музыку полета над холмами и крышами. Смычка читателя и скрипача! Вечный нарисованный ветер местечка, ласковый вирус иерусалимского синдрома!

Конечно, какой-нибудь недоверчивый разглядыватель текста, гурман-лешак, привыкший чрез кулак зреть полотно холста, может и хмыкнуть хмуро – мол, ты нам гуаши на уши не вешай... Дольнее с горним не смешивай!.. Так вы сами, своими перстами полистайте книгу-альбом, перечтите неспешно Подольскую, посмотритесь вдосталь Фирера (эх, яруссы Иерусалима!), расслышите парящую поступь Шагала – и будет вам хорошо.



# Александр Туманов

## Шаги времени

(окончание. Начало в "Заметках" №8/2012  
и в альманахе "Еврейская Старина" №1/2012  
а также в "Семи искусствах" №12/2013 и сл.)

### Глава IX

**Андрей Волконский**

*Гений человека всегда одновременно и его рок.*

Чаадаев П.Я.



Андрей Волконский родился в 1933 году в Женеве в семье русских эмигрантов. В тринадцать лет музыкально одаренный Андрей поступил в Парижскую консерваторию, позже учился у Дино Липатти, а в 1947 г. родители реэмигрировали в советскую Россию и привезли с собой сына.



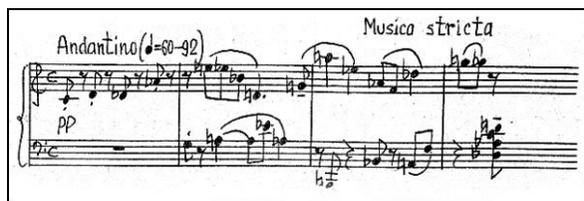
Вся семья сразу подверглась гонениям и была сослана в Тамбовскую область, "по 'первоначальному' месту жительства", как было написано в деле после возвращения в Россию, но

Андрею удалось остаться в Москве, и он начал учиться в Мерзляковском училище и одновременно в классе композиции Ю.А. Шапорина в самой консерватории. Он выделялся среди сверстников своим ярчайшим талантом и образованностью и очень рано начал писать музыку, которая сразу привлекла внимание и интерес среди молодых композиторов, поэтов и художников. Его учеба в Московской консерватории кончилась исключением из-за неудовлетворительных оценок по марксизму-ленинизму. В короткий срок Волконский стал лидером нарождающегося советского музыкального авангарда. Его сочинения были сенсацией для любителей новой музыки и осуждались и преследовались властями. Сольные клавишные концерты пользовались колоссальным успехом. Он создал ансамбль Мадригал, первым открывший для публики вокально-камерную музыку Возрождения и Средних веков, впервые представил Русскую музыку XIII-XVII столетий. В 1973 Волконский уехал в эмиграцию. Он прожил большую жизнь в России и за рубежом. Андрей Михайлович Волконский умер во Франции, в Экс-ан-Провансе.



Одаренность Волконского, разнообразие и огромный охват его деятельности невозможно преувеличить: композитор, который стал *de facto* главой советского музыкального авангарда, чья музыка была гонима властью и в конце концов полностью перестала исполняться; замечательный органист и клавишник, чьи концерты пользовались огромным успехом и открывали для

советских слушателей новые страницы в репертуаре для этих инструментов; основатель и руководитель ансамбля Мадригал, впервые представившего советской публике никогда до того не исполнявшуюся музыку Средневековья и Возрождения Европы и русскую музыку XIII-XVII вв., чья деятельность продолжалась более тридцати лет; композитор театра и художественного и документального кино (он привлекал нас, певцов Мадригала, для озвучивания его музыки в фильмах, например, в знаменитых *Семнадцати мгновениях весны*). Все это и неустанная работа, работа до самого дня смерти, уже в эмиграции.

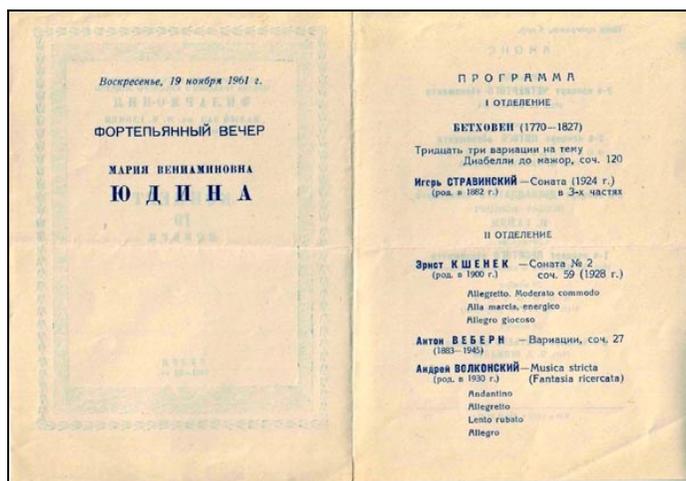


Отрывок автографа из рукописи

Андрей был необыкновенно яркой, сложной, противоречивой личностью и большим жизнелюбом. Его круг близких друзей состоял из людей, так или иначе связанных с эмиграцией из Европы или знакомых с западным образом жизни. Я знал некоторых из них: Никиту Кривошеина, с судьбой, сходной с Андреем (его родители тоже вернулись в Советский Союз после войны и подверглись таким же гонениям, что и Волконские), который, в отличие от Андрея, так и не избавился от своего картавого французского 'Р'; и талантливого поэта и художника, эlegantного Олега Прокофьева, родившегося в Париже (его мать, Лина Ивановна Прокофьева, в девичестве Carolina Lubera, была родом из Испании, и после возвращения семьи в СССР в 1936 г. вскоре после развода с бросившим ее Прокофьевым, в 1948 году была арестована и провела в Гулаге тяжелейшие годы – я уже писал о ее встречах там с моей женой Аллой --).

Кроме этих, самых близких, у Андрея была масса приятелей и друзей-музыкантов, и просто знакомых, с которыми он встречался. Он был очень неравнодушен к представительницам противоположного пола и любил хвастнуть своими победами. Однажды после одного такого рассказа об очередном успехе я спросил его: "Андрей, если бы перед вами стоял выбор: музыка или женщины, что бы вы выбрали?" — "Что вы, Саша, конечно, музыку!" В этом — весь Андрей. Музыка была главным в его жизни.

Композиторская деятельность Волконского заложила основы советского авангарда. Им было написано меньше, чем он хотел, главным образом, потому, что его сочинения с самого начала преследовались властями, многие, такие, как *Сюита зеркал*, *Жалобы Щазы* и *Музыка стрикта* были официально запрещены.



В 1956 году в своём фортепианном произведении *Musica stricta* (*Строгая музыка*) Волконский вышел за рамки тональности. Казалось, что время для развития новой музыки наступило. Антисталинский доклад Н.С. Хрущева в 1956 г ознаменовал собой начало "оттепели". Тогда же стал развиваться польский музыкальный авангард. Но использование диссонанса или хроматизма в таких масштабах уже считалось идеологическим нарушением, а додекафония была просто преступлением против "социалистического реализма", хотя, в то же время, находилась как бы вне его. Новое направление в советской музыке началось неофициально и стало развиваться подпольно, вне идеологического контроля.

Во время первого (и последнего) исполнения *Musica stricta* в Малом зале ленинградской консерватории Мария Вениаминовна Юдина обратилась к публике со словами: 'Музыка, которую вы сейчас услышите, совсем новая для публики, поэтому я ее сыграю два раза'. Так и было сделано. Вот, как об этом рассказывает Игорь Блажков: "Это ведь был концерт одиозный. Мария Вениаминовна играла очень много на бис, а потом сказала публике, что у неё руки устали и поэтому она почитает стихотворения Леонида Пастернака. Результаты: худрука Малого

зала Семёнову хотели снять с работы, но ограничились выговором по партийной линии, а Марии Вениаминовне навсегда закрыли дорогу на концерты в Ленинградской филармонии“.

Воспоминание Лиды Давыдовой связано, очевидно, с другим концертом: “Мария Вениаминовна была возмущена тем, что запретили записывать «Сюиту зеркал». Перед концертом микрофоны были сняты. Она сказала [в артистической комнате, полной друзей и поздравителей – А.Т.]: «Шекспир был прав, он обо всем написал», после этого она прочитала его сонет No. 66 в переводе С. Маршака: ‘Я смерть зову, мне видеть неverterпеж’...” Сонет был прочитан в переполненной людьми артистической Малого зала Консерватории.

Зову я смерть.  
Мне видеть неverterпеж  
Достоинство, что просит подаянья,  
Над простотой глумящуюся ложь,  
Ничтожество в роскошном одеянье,  
И совершенству ложный приговор,  
И девственность, поруганную грубо,  
И неуместной почести позор,  
И мощь в плену у немощи беззубой,  
И прямоту, что глупостью слывет,  
И глупость в маске мудреца, пророка,  
И вдохновения зажатый рот...

Это был приговор "зажато́му рту" вдохновения, прямоты и достоинства в искусстве вообще и гению Волконского в частности. Музыка Волконского была полностью запрещена к исполнению.

\*\*\*

И именно тогда и возникла у Андрея идея Мадригала, который на многие годы стал смыслом его жизни. Стиль исполнительства Мадригала, пишет Ю. Холопов, полностью отражал художественную концепцию руководителя. Никакой ‘исторической’ стилизации, материал старинной музыки трактуется как живая современная нам интонация.

Волконский: “*Записи средневековой музыки весьма условны, до Монтеверди никакой определенной оркестровки не существовало. Эту музыку нельзя исполнять однообразно и без оттенков, как то делают многие ансамбли, в особенности светскую музыку. Стоит посмотреть картины фламандских художников, например, Брейгеля, чтобы убедиться, что такому разгульному непринужденному народу никак не подходит сурово монотонная манера исполнения*”.

Вспоминаю наши с Андреем обсуждения стиля исполнения на репетициях Мадригала. Живой ритм, подчеркиваемый ударными, выразительная интонация человеческой речи придавали неизменно вольный характер исполняемой старинной музыке.

Личность Андрея покорила всех, кто с ним общался. Он никогда не относился к людям свысока, хотя знал себе цену, для него все, кроме партийных боссов, были просто людьми. Он вступался за тех, кого оскорбляли или преследовали. Он терпеть не мог всякого чванства происхождением или кровью. Один эпизод уже из времен эмиграции как нельзя лучше его характеризует.

Рассказывает Игорь Голомшток:

“Это относится уже к началу 80-х годов, когда среди русской эмиграции началась травля Андрея Синявского как русофоба и еврея (?!). В редакцию журнала "Синтаксис", издаваемого Синявскими в Париже, пришло тогда письмо от некой г-жи Рожковской, в котором она клеймила разных синявских, амальриков, паустовских и прочих представителей нации, поработавшей русский народ. Волконский откликнулся письмом, тоже присланным в "Синтаксис". Привожу его целиком.

*"Г-жа Рожковская! Ваше письмо в редакцию "Синтаксиса" застало меня врасплох. Вы вынуждаете меня, прямого потомка Рюрика в XXX колене, раскрыть большую семейную тайну: Рюрик вовсе не был варягом, а был обыкновенным жидом. Вот с каких пор мы начали поработать вас, русских!*

*Признаюсь, что некоторым из наших, хотя бы тому же Ивану Грозному, это особенно хорошо удавалось.*

*После ваших блестящих разоблачений нет больше смысла для меня оставаться в подполье вместе со всякими синявскими и прочими амальриками. Скинув маску, мне теперь будет легче продолжать дело отцов по растлению русского, а заодно и французского народов. Почту за честь быть в одной компании с еврейским недорослем Бродским. Правда, не знаю, заслуживаю ли: он-то семилетку закончил, а я нет.*

*Князь Андрей Волконский”.*

Андрей был вообще веселым человеком и любил пошутить. Даже те, кто грубил ему, в ответ слышали шутку или остроу. Когда продавщица в магазине подгоняла его: *думайте быстрей, у меня нет времени на таких, как вы*, или грубая официантка в ресторане говорила: *ешьте, что дают*, Андрей обычно отвечал: *лишь бы вам было хорошо!*, и это было очень

обидно продавщицам и официанткам. Одна из них как-то сказала: *не люблю смешных!*

В то же время, Волконский был полон сложностей. Когда его сочинения оказались замороженными, он как бы сдал позиции и почти перестал писать. В то время, когда для других композиторов советского авангарда (например, Шнитке) единственным ответом на запреты было писать "в стол", Андрей нашел другой выход — Мадригал, а композиторская деятельность практически прекратилась и застыла до самого его отъезда за рубеж. Поэтому, когда он, уже в Париже, пытался ее воскресить, то оказалось, по его собственному признанию в самом конце жизни, что его творческий кризис не кончился с эмиграцией и полной свободой писать все что угодно и как угодно.

Конечно, исполнительская деятельность органиста и клавесиниста, а затем Мадригал восполнили перерыв в композиторском творчестве, но между ними, эпизодическими органными и клавесинными концертами с одной стороны и Мадригалом с другой, была большая разница для человека с характером Андрея. Волконский был гениально одарен и мог давать блестящие концерты, почти не занимаясь. Самые трудные произведения давались ему без всяких усилий. Не могу забыть Вариации Гольдберга И.С. Баха, которые Андрей играл в Доме Ученых в Москве — богатейшая палитра регистров, потрясающая техника, глубочайшее проникновение в музыку. Его органные концерты и сольные номера в программах наших концертов поражали своим богатством, особенно имея в виду, что он никогда не учился играть на органе. Это были вспышки богатейшего таланта.

Другое дело Мадригал. Тут была ежедневная, кропотливая работа, с повторениями, подчищением уже существующего репертуара, подготовкой нового и опять-таки ежедневность. За первые два года Мадригал подготовил свой базовый репертуар, который, конечно, впоследствии обогащался новыми произведениями, и это обогащение требовало тех же ежедневных репетиций и постоянства. И здесь характер Андрея взбунтовался. Он сам сказал об этом бунте так: Я думал найти в Мадригале любовницу, а он оказался законной женой.

Процесс поисков отхода от обязательств по отношению к "законной жене" был мучительным и для ансамбля, и для Волконского. Андрей ни в коем случае не хотел нанести урон своему детищу, но проблема была налицо. Он начал пропускать репетиции, пришел однажды на концерт без нот, конечно, перепутал тональности, и мы должны были петь то слишком низко,

то высоко. Мы уже могли проводить репетиции установившегося репертуара без него: подчищать интонационное и ансамблевое единство и баланс (мы ведь пели без дирижера, и в номерах, певшихся *a capella* чувство ансамбля – петь и дышать вместе – было предметом огромной важности). Но многие произведения исполнялись в сопровождении клавесина или инструментального ансамбля и, что самое важное, нужно было постоянно обновлять программы новыми произведениями, а без Андрея это было невозможно.

Так в Мадригале стали появляться новые люди: Ольга Илларионова, игравшая на клавесине и иногда на органе, появилась в феврале 1968 г. Это был явно неудачный выбор, слушая ее игру, мы часто шутили: вот опять началось полоскание белья, и в 1969 в ансамбль пришел очень талантливый и очень молодой пианист-клавесинист Борис Берман, который был с нами, как мне кажется, до 1972 г. Важно сказать, что кто бы ни играл на клавишных, не мог заменить Волконского: это были репетиторы, Андрей продолжал, хоть и нерегулярно, а скорее спазматически, принимать участие в работе Мадригала над новыми произведениями. В 1970 к ансамблю прибавилась странная фигура Вадима Судакова, хорового дирижера. Дирижировать нами было не нужно, и он начал... учить нас петь. Это было нелепо, и возмущение было всеобщее, но Судаков пробыл с Мадригалом довольно долгое время, и даже ездил на гастроли в Ленинград и другие места.

Администрация филармонии, конечно, знала, что происходит, но имя Волконского слишком много значило для успеха ансамбля, и неопределенность висела в воздухе. Наше настроение было сумрачным, не осталось той радости первых лет, о которой я уже писал, хотя в планировании и создании новых программ и в самых крупных концертах и поездках по Союзу, и конечно же на гастролях за границей, Андрей был с нами. Его имя исчезло с афиши первый раз в январе 1971 года, был просто Мадригал: Ансамбль Солистов Московской Филармонии. В таком положении, без имени художественного руководителя на афише, мы оставались почти до самого отъезда Андрея на Запад и даже некоторое время после этого. Недавно я нашел программу концерта Мадригала на фестивале Золотая осень в Киеве в сентябре 1973г., на которой в качестве хударка и дирижера был объявлен... наш администратор Яков Орловский, к музыке вообще не имевший никакого отношения. Очевидно, киевская филармония не могла смириться с отсутствием имени руководителя ансамбля. Время от времени, без упоминания на афише, в программах

появлялись кандидатуры возможной замены Андрея: Анатолий Ивановский, Олег Янченко, Алексей Любимов, но практически мы были одни.

Цитированные в книге Шмельца абсолютно ложные утверждения Бориса Бермана о том, что происходило в Мадригале после того, как Андрей его покинул в 1970 году, совершенно не соответствуют действительности. По словам Бермана, "он стал лидером ансамбля". Борис пришел к нам, когда ему было 18 или 19 лет, и только в качестве клавесиниста. У него не было ни опыта работы с певцами, ни стилистических знаний музыки Средних веков, Ренессанса и Барокко. Всему этому он начал учиться у Андрея. Способный музыкант, он хорошо аккомпанировал и играл сольные номера на клавесине, но Берман никогда не был нашим лидером. У нас до его появления за плечами было пять лет работы с Андреем. В это трудное время каждый из нас, певцов, вносил свою лепту в работу для того, чтобы выжить.

У меня к тому времени был не только солидный опыт ансамблевого пения в Мадригале, но и многолетней вокально-педагогической работы в Ипполитовском музыкальном училище. Я мог и иногда помогал моим товарищам-певцам с вокальными или ансамблевыми проблемами. В каком-то скромном смысле я играл как бы ведущую роль, хотя все делалось коллективно. Но было необходимо иметь на афише имя художественного руководителя, и ансамбль обратился в администрацию филармонии с предложением поставить мое имя на афишу.

С предложением отправился наш новый и кратковременный администратор, имени которого я не помню. Он в прошлом играл на ложках в Всесоюзном оркестре народных инструментов и был обладателем соответствующего интеллекта. Одной из особенностей нашего "ложечника" было то, что, кто бы что ни говорил, он немедленно соглашался и подытоживал: "Значит так, Туманов руководитель Мадригала". С этим он и пошел.

Ответ был быстрым и категорическим. Директор филармонии Белоцерковский доверительно сообщил: Туманов еврей, и мы не можем даже предложить это в министерстве культуры. Кстати, это в какой-то степени повлияло на мое решение эмигрировать: первая встреча в филармонии с открытым, прямо в глаза, антисемитизмом. Когда же Волконский уехал, то без него работа в Мадригале вообще потеряла всякий смысл и, частично из-за этого, но, главным образом, других, очень серьезных причин, о которых речь пойдет ниже, в других главах, наша эмиграция состоялась в 1974 г.

В 1973 году Андрей покинул Советский Союз. История его эмиграции была драмой, повторявшейся сотни раз в то время, когда приоткрылась маленькая дверца для трех категорий возможных эмигрантов: евреев — для переселения на "историческую родину" в Израиль, немцев Поволжья, тоже на историческую родину, и армян — прочь от исторической родины, в государства, из которых они иммигрировали в Армению несколько лет назад, в места, где они жили до этого: Ливан и другие страны Ближнего Востока. Единственным средством для эмиграции русских холостых мужчин, как Андрей, была еврейская жена. В те времена успехом пользовалась шутка: еврейская жена это не роскошь, а средство транспорта. Андрей фиктивно женился на молодой женщине. Я познакомился с ней, приехав прощаться перед его отъездом. Это была красивая рыжая девушка, которая, как я потом узнал, немедленно влюбилась в него и надеялась, что, несмотря на договоренность о фиктивности, ее брак станет настоящим. Увы, они прилетели в Париж и расстались навсегда.

На западе Андрея ожидало совсем не то, на что он рассчитывал: его композиторское творчество, его имя, карьера клавесиниста и органиста, его детище Мадригал здесь никому, или почти никому, не были известны. Нужно было начинать все с нуля, а энергии на это уже не было. Сразу после приезда Волконский некоторое время жил в Риме, затем в Швейцарии, и, наконец, "осел" во Франции. Позднее Волконский говорил, что в его жизни было две ошибки: "Первая — когда меня увезли с запада в Россию, а вторая — когда я уехал из России на запад". Но назад пути не было. Одной из самых больших потерь была утраченная среда: "Ее здесь нет. То, что была среда и поддерживала — это тоже феномен советский".

Андрей безуспешно пытался создать что-то похожее на Мадригал, продолжал писать, хотя, как он говорил, его композиторский кризис, начавшийся еще в Москве, источником которого, он сам считал, был кризис советского авангарда, не кончился ни в Париже, ни в Италии, ни в Швейцарии.

У него ушло два года на запись *Хорошо темперированного клавира* Баха, значимость которой оценивалась, как одна из лучших существующих в мире. Ее можно послушать на разных сайтах интернета. В этой записи проявились все элементы музыкальной философии Андрея.

Что же особенно нового было в трактовке такого тысячи раз исполненного и записанного произведения? По словам Юрия Холопова, "запись Хорошо темперированного клавира Баха [Волконского] является, пожалуй, уникальной — в том смысле,

что знакомая, казалось бы, всем музыка чуть ли не впервые сыграна принципиально риторически. Во всяком случае, столь последовательно именно риторические приёмы не делал основой своих интерпретаций ни один исполнитель". Риторичность, в музыке, как и во всех видах коммуникаций, еще со времен Древнего Рима, всегда касается структуры, фразеологии и стилистики выражения содержания. Она всегда апеллирует к разуму и чувствам, ее средствами являются логика, аргументация, ритм, эмоции — это *убеждающая* коммуникация, и у Волконского она приобретала философское содержание: в каждой Прелюдии и Фуге перед слушателем как бы проходила целая человеческая жизнь. Такова прелюдия ми минор, которую мы услышим ниже. Она начинается с ритмически нейтрального размеренного движения, которое постепенно, в средней части, превращается в бурю, вихрь жизни, затем темп ее постепенно замедляется, успокаивается настрой, и в самом конце все разрешается в умиротворяющем до мажоре. И хотя мы слышим только до-мажорную тонику, чуткое ухо воображает арпеджированный аккорд и наверху намек на фантазмагорическую терцию.

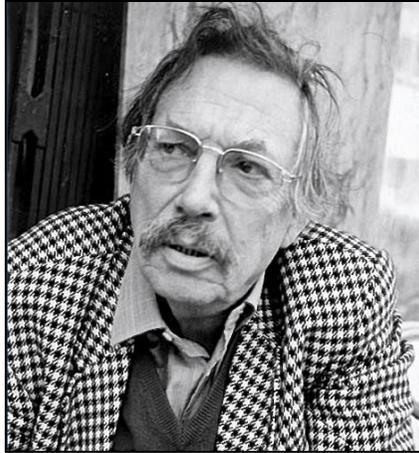


Отрывок автографа из рукописи

Когда слушаешь всю запись Волконского, то невозможно не заметить в его риторике еще один момент, отличающий это исполнение от всех других: в некоторых местах (с большим чувством меры) он использует *задержания* (замедления темпа на мгновение), прием, характерный, главным образом, для романтической музыки, но используемый Андреем в свете его идей об исполнении старинной музыки, о которых шла речь выше.

Помню случай, относящийся к *задержаниям* в старинной музыке в интерпретации Волконского. На одном из концертов Мадригала я стоял в кулисах, слушая какое-то органное барочное

сочинение, исполняемое Андреем. Рядом со мной оказался Лев Маркиз. Он, полный восхищения, пробормотал: "Он же никогда не учился играть на органе!" Но через секунду, когда прозвучало одно из немногочисленных, знаменитых *задержаний* Андрея, Маркиз раздраженно сказал: "Зачем он это делает!" Его однолинейно традиционное мышление противилось такой дерзости, а для Андрея, свободное от уз традиций, было место для исполнения, представлявшего музыку живой и близкой современному слушателю. Волконский есть Волконский.



Волконский во Франции: музыкант-философ

Запись Хорошо темперированного клавира была сделана в первый, начальный, период творчества Волконского в Париже. Но и дальнейшая жизнь Андрея не была бездеятельной. Исполнение наиболее важных сочинений Волконского (*Жалобы Шазы*, *Сюита зеркал* и др., с его участием) вызывало большой интерес и у музыкантов, и у любителей современной музыки. Был написан труд *Основы темперации*, изданный в России издательством *Композитор* в 1994 г. с посвящением: “*Всем настройщикам мира*”.

Его новые сочинения тоже не прошли незамеченными: *Lied* для четырех голосов (1974), с текстом, взятым из средневекового сборника *Liederbuch*, был исполнен Кёльнским камерным ансамблем по радио, затем *Мугам для тара и клавесина* 1974, при участии Волконского и тариста из Ирана и наконец *Was noch lebt*, для меццо-сопрано и струнного трио на текст Йоганнеса Бобровского, немецкого автора с русскими корнями, жившего в

Восточной Германии, по мнению Волконского, гениального поэта. *Was noch lebt* Андрей считал "своим последним приличным сочинением".

К этому времени, говорит Волконский, он сам себя определял не как композитора или исполнителя, а — как музыканта.



Мадригал с Волконским, 1983

Слева направо: Борис Яганов, Андрей Волконский, Марк Вайнрот, неизвестный мне член ансамбля, Лариса Пятигорская, Лида Давыдова, Марк Пекарский

До конца жизни Волконский оставался исследователем и аналитиком, посвятившим себя музыке позднего Возрождения и позднего Средневековья.

Его противоречивость, энциклопедические знания и колоссальная широта интересов отражены в книге Елены Дубинец *Князь Андрей Волконский – Партитура жизни*, Москва, 2010.

В 1983 г. Мадригал, в это время уже под руководством Лидии Давыдовой, встретился с Андреем в Риме. Лида писала об этом и других посещениях нового Мадригала:

“Оказавшись за границей, А. Волконский все время помнил о «Мадригале». Мы встречались с Андреем два раза в Италии и Германии. Он специально приезжал в эти страны для того, чтобы услышать и увидеть наши выступления. Находясь за границей, Андрей подарил «Мадригалу» большой набор блокфлейт, а также прислал большие деньги, на которые я смогла заказать клавишин.

Андрей Волконский запомнился солистам ансамбля «Мадригал», как высоко нравственный, честный, чуждый интриг, одаренный человек”.

Волконский был счастлив увидеться со своим бывшим детищем, вновь почувствовать тепло, которым веяло от тех, кто последовал за ним с самого начала и старался продолжить его дело после отъезда: Лиды Давыдовой, Марка Пекарского, Бориса Яганова, Ларисы Пятигорской. Они привезли свои новые диски. Но позже, в книге *Партитура жизни*, он говорил: "Сейчас уровень ансамбля очень упал. Я огорчился, когда послушал диски Мадригала. Музыканты отстали, они не в курсе того, что происходит в мире".

Пару лет назад я получил письмо от Игоря Блажкова: «У ансамбля Мадригал проблемы. Некоторое время тому назад, когда они еще были в ведении Московской филармонии, дирекция забрала у них название Мадригал и передала его другому ансамблю, которым руководит некий Суэтин. В знак протеста они вышли из подчинения Московской филармонии и продолжили выступать под названием "Ансамбль старинной музыки Мадригал имени Андрея Волконского". Сейчас Московская филармония подала на них в суд за самовольное использование названия "Мадригал". Не знаю, чем это кончилось. Все усугубляется еще тем, что умерла бывший руководитель Лидия Давыдова и, как мне сказал Суслин [?], то творческое лицо, которое было при Андрее Волконском, этот ансамбль потерял. Ясно, что Мадригала, который был при Волконском, быть не может. Все прекратилось с отъездом Андрея за рубеж».

Таков печальный конец Мадригала. Хорошо, что всего этого Андрей не знал.

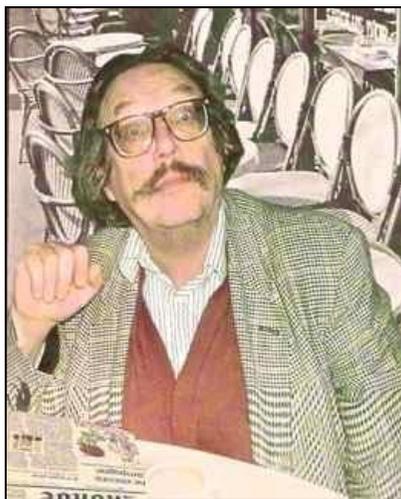
\*\*\*

Сложная личность Андрея, как я уже говорил, была полна крайностей. Он мог быть добрым и открытым, радушным, вежливым, общительным, щедрым, веселым, но иногда оборачивался и совершенно другой стороной, становился закрытым, неприветливым.

Был склонен к тому, чтобы эпатировать людей.

В высказываниях Волконского иногда отличала резкая самоуверенность, и он сам не замечал собственных противоречий. Антиамерикански настроенный, он говорил: мне не нравится американский язык, это испорченный английский – хотя сам английский не знал. Или мог сделать такое заявление: русской музыки XIX века вообще не существовало, а Рахманинова нельзя даже назвать композитором. Часто его суждения были

категоричными и безоговорочными. Но к такого рода заявлениям Андрея не всегда нужно относиться скептически. Часто в том, что он безапелляционно говорил, бывала доля правды.



Эпатаж: Дали или Волконский?

Фотография на обложке книги Партитура жизни

Недавно я слушал исполнение фортепианной до-минорной Прелюдии Рахманинова и... вдруг понял, что имел в виду Андрей. Это очень длинное произведение представляет собой цепь прекрасных мелодий из разных романсов Рахманинова, соединенных связками гаммаобразных вариаций в очень быстром и технически требовательном темпе. Ясно, что композитор это сделал, чтобы продемонстрировать свою необыкновенную фортепианную технику: он ведь был выдающимся пианистом. Но когда я вслушался в музыкальную суть этих вариаций-связок, мне внезапно стала ясна их музыкальная бессодержательность и беспомощность. Это было, как полоскание белья, над которым мы посмеивались в Мадригале, когда Ольга Илларионова играла свои вариации на органе. Рахманинов был замечательным мелодистом и, конечно, композитором, но мелодии его текли потоком, почти без связи. И это то, что имел в виду Волконский.

В то же время, Андрей был энциклопедически образованным человеком, его знания поздней средневековой музыки и музыки раннего возрождения не уступают, возможно, самым крупным музыковедам мира. До конца жизни Волконский занимался анализом, систематизацией и исследованиями в этой

области. Он никогда не учился играть ни на органе, ни на клавесине, но овладел обоими инструментами, и играл на них блестяще. Благородство, самоуверенность, открытость, неизвестный другим внутренний мир, полная посвященность музыке, аристократичность, простота, умение дружить, сложные отношения с друзьями. Всех противоречащих друг другу его свойств не перечислить. Да этого, наверно, и не нужно делать.

Самое главное в Андрее Волконском это то, что было им создано и сделано как композитором, исполнителем и мыслителем. В самом конце жизни, когда он перестал выступать и сочинять, его больше всего интересовали структурные и мелодические особенности любимого им периода в истории музыки – Средневековья и Раннего Возрождения. Глубокий анализ и размышления в этой области привели Андрея к идеям об экстраполяции синтаксиса, мелодики и интонации музыки Средневековья и Возрождения в область синтаксиса, мелодики и интонации в музыке авангарда XX века. Они хорошо отражены в книге *Партитура жизни*, где он сам рассказывает историю своей жизни и ее итогов.



Андрей Михайлович Волконский умер 16 сентября 2008 года на юге Франции и был похоронен в склепе князей Волконских в Ментоне, на берегу Средиземного моря

На похоронах Андрея присутствовали его жена Хельви, сын Петр и друзья: лучший друг Луи Мартинес, Сергей Киссин, композитор Серж Черепнин.

Хельви еще в Риге узнала о его смерти и написала замечательное стихотворение:

Вот этот миг  
который не забуду,  
когда услышала в мобильнике голос Марии: Хельви, Хельви...

*Что с Андреем?*

*Но я уже знала.*

*Ты звонил неделю назад, возбужденный:  
к твоей коляске прицепили бутылочку с кислородом,  
тогда можно ходить  
на улицу.*

*Ты начал часто звонить.*

*Я смутилась перед кассой, банковскую карточку сунули в руку,  
теперь бы только не попасть под машину,  
идти, борясь со слезами,  
через площадь.*

*Движение на перекрестке остановилось,  
светофор меняет цвета, жду –  
вот этот миг передо мной,  
который никогда не забуду:  
серое сентябрьское небо над низкими  
бессадными, бесцветными  
квартиролюдьми,  
тупо-страдальческий лик неизбежности.  
Миг узнавания о твоей кончине.*

\*\*\*

### **Жизнь после смерти**

Сразу же после смерти начинается новая *жизнь* Волконского. В начале 2008 г. в Московской консерватории появляется замысел создания Международного конкурса клавесинистов им. Андрея Волконского, он узнает об этом незадолго до смерти, его реакция: "Рад был узнать, что клавесин в России перестал считаться экзотикой и стал полноценным инструментом... Поскольку мне выпала честь возродить игру на этом инструменте в России, я приветствую создание международного конкурса клавесинистов в Москве". Первый конкурс был проведен в феврале 2010 г., затем в 2013.

*Московская консерватория выпустила альбом клавесинных записей Волконского, состоящий из двух компактных дисков.*

*Были проведены концерты памяти Андрея Волконского на многих концертных эстрадах, в том числе, в Воронеже с огромным интересом прошел концерт-портрет: Андрей Волконский.*

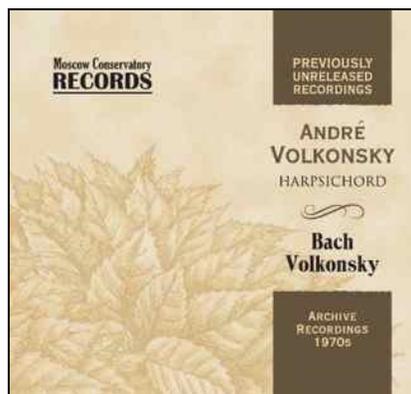
Появилась диссертация на тему "История клавесина в России", и т.п.

Сообщения о смерти Андрея были опубликованы практически во всех изданиях массовой информации России.

Затем пошли статьи и радио- и телевизионные передачи — очерк-биография на радио *Орфей*, крупная работа музыковеда Ю. Холопова *Инициатор: Жизнь и музыка Андрея Волконского*, программа Радио России *Андрей Волконский на острие авангардной стрелы*, сделанная Михаилом Митропольским в день 80-летия со дня рождения Андрея в феврале 2013 г. В том же году Московская консерватория выпустила альбом из двух компактных дисков *Андрей Волконский, клавесин*. Всего не перечислишь.



В России чтут, помнят и любят Волконского — но известно, что *"любить в России умеют только мертвых"*.



Вскоре после кончины Волконского Игорь Блажков обратился ко мне и другим, знавшим Андрея, с предложением написать несколько слов о нем. Откликнулось несколько человек: Давыдова, Рубен Лисициан, обе сестры, Рузанна и Карина, Томас Венцлова и я. Лучшие воспоминания — Лиды и Рубика.

**Лида Давыдова:**

Волконский дружил с Олегом Прокофьевым, который был женат на моей родственнице Софье Фейнберг (Прокофьевой). В доме Фейнбергов я бывала очень часто, много пела, и Олег часто

меня слышал и порекомендовал меня. Я поехала прослушиваться. Я пела ему И-С. Баха: арию «Bist du bei mir» и последнюю часть из 51 кантаты. «А это Вы сможете спеть» - спросил Волконский и поставил на пульт свое новое сочинение «Сюита зеркал, которое я прочитала с листа. Это произвело на Волконского большое впечатление.

Вскоре появилась возможность устроить творческий вечер Волконского, на котором собирались исполнить «Сюиту зеркал». Исполнение «Сюиты зеркал» было событием. Впервые в Советском Союзе прозвучало произведение серийной музыки. Концерт прошел с большим успехом. Произведение полностью повторили на бис. В том же концерте Мария Вениаминовна Юдина исполнила сочинение А.М. Волконского: «Музыка стрикта». (Это утверждение не совпадает с подлинной историей исполнения Юдиной этого произведения. – А.Т)

Мои посещения Волконского были очень интересны. Он давал слушать много современной и старинной музыки. Иногда присутствовали там и стукачи. Волконский никогда не скрывал от *своего* круга, а также от иностранных друзей, своего отношения к тогдашней действительности — отсутствию свободы в искусстве. Я помню случай, когда у него в доме собрались несколько человек, чтобы послушать музыку. Среди них была девушка, к которой Андрей был особенно внимателен. Выбрав момент, он отвел меня в сторону и сказал: «Не говорите лишнего. Эта девушка – стукач».

В 1965 году он пригласил меня к себе. Придя к нему на Студенческую улицу, я увидела весь основной состав будущего «Мадригала». Там были Карина, Рузанна и Рубен Лисицианы, Александр Туманов и очаровательная Беатрис Парра де Хиль – студентка Нины Львовны Дорлиак из Эквадора. Вскоре к этому составу присоединился Борис Яганов – тенор с замечательным голосом. Партию баса-continuo исполнял Борис Васильевич Доброхотов, которого вскоре сменил ученик Валентина Берлинского Марк Вайнрот. Исполнителем партий ударных инструментов пришел Марк Пекарский. Через несколько лет в состав ансамбля вошла прекрасное меццо-сопрано Лариса Пятигорская.

Наши первые выступления вызвали бурный интерес у творческой интеллигенции. На концерты в зал им. П.И. Чайковского невозможно было достать билеты. Волконский был счастлив – ему удалось создать ансамбль, который мог исполнять музыку, глубоко его заинтересовавшую.

Андрей Волконский был глубоко принципиальным человеком. Он никогда не заигрывал с начальством; никогда не

кичился своим дворянством; не был диссидентом, но всегда говорил о недостатках в поведении нашего правительства, которые видел в первую очередь в отсутствии свободы слова и свободы в искусстве.

Андрей Волконский запомнился солистам ансамбля «Мадригал», как высококонравственный, честный, чуждый интриг, одаренный человек.

#### **Рубен Лисициан:**

Андрей Волконский был абсолютным гением в музыке и, оттого, видимо, несколько странным в жизни. Но он никогда не врал, не делал подлости, никогда не хамил и не был грубым. Он был очень образован и обладал совершенно феноменальной интуицией. Будучи по природе своей совершенно безобидным человеком, он мог вызывать сильное неудовольствие окружающих своей необязательностью и удивлялся, когда ему это высказывали. Он был рассеян, видимо, концентрируясь на какой-то мысли, он мог не воспринимать всего остального. Я часто ассистировал ему, когда он играл на органе. Его выбор регистров всегда показывал тонкий вкус и абсолютное чувство стиля. Мне жаль, что я никогда не пел его произведений, хотя, при этом, много раз пел вещи Губайдуллиной, правда, это уже было гораздо позже.

Андрей Волконский создал ансамбль «Мадригал». Удивительно! Как будто он почувствовал, что пришло время. Как великий кутюрье, он продиктовал рождение новой моды. На наших концертах публика почувствовала, что появился новый, доселе неизвестный стиль, европейские языки, костюмы, новый запах. Везде были аншлаги. В фойе шелестело ностальгическое имя: Князь Андрей Волконский? Это прямой потомок?

Андрей был довольно безразличен к бытовым условиям. Разумеется, он любил комфорт, но и в плохих условиях был непритязательным. Находил общий язык с любым сословием, скорее потому что никого не обременял, но с удовольствием мог разделить общее веселье. Когда в Астрахани он сломал шейку бедра, ему пришлось довольно долго пролежать в самой простой провинциальной больнице и даже с удовольствием он впоследствии, вспоминал некоторые эпизоды своей жизни в многоместной палате. Он любил природу, особенно горы. Много раз бывал в Армении, но его страстью была Грузия. Там он отдыхал, там наслаждался в полной мере. Его там любили и уважали.

Андрей, да и мы все надеялись, что сможем много и плодотворно гастролировать по всему миру, как квартет Бородина, камерный оркестр п/у Р. Баршая, ведь сборы и успех у нас были

неслыханные. Как-то раз в один приезд в Питер, мы провели 8 концертов подряд, из которых 5 были в Большом зале филармонии и везде с аншлагами. Нас выпустили в Прагу, через несколько месяцев после ввода туда советских войск [sic.]. Публика сидела крайне недоброжелательная, [потому, что мы были из СССР], но после первых звуков музыки Ренессанса зал растаял и в конце мы имели большой успех. Потом была ГДР и всё, и больше вообще ничего. Т.е. опять Смоленск, Рига, Ереван, Ташкент и т.д. вскоре Андрей уехал навсегда. «Мадригал» жив и поныне, но это уже другой ансамбль.

Минул век 60-х. Страна в который раз оказалась мачехой к своим детям. Быстрой кометой пролетел Князь Андрей Волконский по негостеприимному небу холодной страны, не давшей свету его гения согреть её долгие годы. Я написал, и мне стало нестерпимо грустно. Андрея нет, и это огромное явление никогда уже не повторится. Одна надежда, что там он встретился со своим любимым Машо, а потом и с нами.

#### **Рузанна и Карина:**

Карина: - «Мадригалу» были нужны певцы-музыканты, и Андрей пригласил нас троих - Рузанну, Рубена и меня в свой ансамбль.

Рузанна: - Дуэтом мы с Кариной пели еще до «Мадригала», и первые наши программы проходили с большим успехом. Но в «Мадригале» нам уже было не до дуэтов - мы окунулись с головой в новую и потрясающе интересную работу. Мы узнали, что значит ансамблевое пение в высшем понимании этого жанра.

Карина: - Мы не только пели, но и играли на старинных инструментах: я на органе и клавесине, освоила даже флейту, Рубен на виоле да гамба и на всех продольных флейтах - от сопрано до баса, Рузанна на ирландской арфе. В концертных сюитах мы часто менялись инструментами, танцевали, и все это производило большое впечатление.

Рузанна: - Мы работали как одержимые и первую программу «Мадригала» сотворили за два месяца. Успех был фантастический - Москва ничего подобного никогда не слышала, мы открыли целый мир гениальной музыки. А потом были 11 переаншлагов в Большом зале Ленинградской филармонии, когда на наши концерты продавали сотнями приставные места. Начались гастроли по городам Советского Союза - все хотели слышать «Мадригал».

Карина: - Так продолжалось до той поры, когда Волконский эмигрировал на Запад. «Мадригал» лишился яркого лидера и как-то быстро начал тускнеть, хотя все его участники

были уже довольно опытными “асами” в ансамблевом искусстве. Но от Андрея всегда исходила мощная энергетика, подпитывавшая нас идеями и вдохновением. Лишившись ее, мы как-то заскучали и стали подумывать о выходе на самостоятельную дорогу. Первым ушел в сольное пение Рубен, а вскоре и мы. Закончился большой этап нашей творческой жизни и работы с Андреем Волконским, подаривший нам множество интересных открытий.

**Томас Венцлова:** (литовский поэт, друг Андрея)

С каждым годом Андрей Волконский все хуже уживался с властями. Правда, в 1965 году он создал великолепный ансамбль «Мадригал», исполнявший Фрескобальди и тому подобную музыку XIV-XVIII веков. Концерты «Мадригала» были театрализованными, при свечах, мы ходили на них и в Москве, и в Питере, и в Вильнюсе, дружили с исполнителями. Кстати, «Мадригал» любил и называл «весьма цивилизным мероприятием» Иосиф Бродский, который познакомился с ансамблем после своей ссылки – он любил, в общем, ту же музыку, что и Волконский.

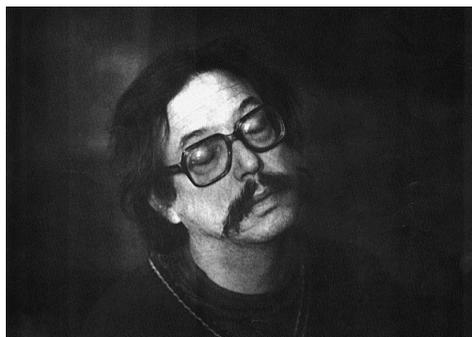
Но было как-то ясно, что в Союзе Андрей долго не пробудет. Впрочем, он всегда хотел уехать. Помню, еще в 1963 году, когда Хрущев обрушился на либеральную интеллигенцию и заявил, что вышлет Вознесенского за границу, Волконский сказал: «На месте Вознесенского я бы знал, что делать. Крикнул бы: Никита Сергеевич, вы ведь только грозитесь! И тут бы он приказал мне выдать билет». После концерта в Питере в мае 1972 года я услышал от Андрея, что он больше не в силах жить в стране (Бродский как раз выезжал). В том же году, в декабре, он оказался в Париже. Покинул Союз, насколько знаю, «по израильской визе», как тогда случалось со многими неевреями, и об этом тоже рассказывали историю. При обсуждении «дела Волконского» в Союзе композиторов какой-то чин, чуть ли не Тихон Хренников, якобы заявил: «Вот уж не знал, что князя Волконские – евреи». Андрей ответил: «Князя Волконские, в отличие от вас, хама, могут себе позволить быть, кем они хотят». Не уверен, правда ли это, но, во всяком случае, «*ben trovato*».

Сам я эмигрировал через четыре с небольшим года. На Западе встречался с Олегом Прокофьевым, однажды с Галей Арбузовой, а с Дмитрием Сеземаном и Никитой Кривошеиным даже часто. От них всех немало слышал об Андрее, но с ним самим, увы, ни разу не увиделся.

**Александр Туманов:**

Андрей сыграл важнейшую роль в моей жизни, в моих музыкальных вкусах и знаниях, в моем певческом развитии, в

моем отношении к действительности. Думаю, что то же можно сказать обо всех людях, чьи творческие жизни пересеклись с его. В моей памяти он оставался тем же молодым Андреем, с которым я прощался в 1973, и снимки его, сделанные незадолго до смерти, были для меня ударом. Я уже привык к себе, старому, а Андрей оставался для меня всегда молодым, таким, как он был в самом начале Мадригала. Образ и значение его в глубине моего сознания таково, что мы останемся вместе до самого моего конца. Перефразируя одно предложение из прекрасных воспоминаний Рубика, я хочу предложить свой вариант, заменив холодное слово комета: *Ангелом-творцом пролетел Князь Андрей Волконский по негостеприимному небу мачехи-родины и другой, чуждой ему страны, не давших свету его гения согреть их долгие годы.*



Андрей Волконский. Портрет неизвестного художника

\*\*\*

Заканчивая воспоминания об Андрее, я могу подытожить все сказанное о нем:

**АНДРЕЙ ВОЛКОНСКИЙ БЫЛ МУЗЫКАЛЬНЫМ ГЕНИЕМ**



# Павел Нерлер CON AMORE<sup>1</sup>

Главы из новой книги  
19-я спецшкола и геофак МГУ

*Андрею Трейвищу  
И солнца вставали над нами,  
Пока я друзей находил...<sup>2</sup>*



позволено мне будет предаться  
воспоминаньям...

Ни стихи Мандельштама, ни его имя до окончания школы (1969 год) ни разу не прозвучали около меня. Возможно, это было и чудовищным невезением, поскольку именно в нашей 19-й спецшколе преподавал удивительный словесник – Давид Львович Райхлин, автор известных учебников по грамматике и влюбленный в русскую литературу человек. Двух или трех его уроков в девятом или десятом классе – когда он подменял приболевшего завуча (училку по русскому и литературе) вполне хватило, чтобы перечеркнуть все ее многолетние старания по внушению нам отвращения к героям своего предмета. Давид Львович вдруг заговорил о «декадентах», начал читать стихи, и – не скажу за всех, но за себя скажу: я вдруг ощутил всю шокирующую свежесть их, символистов, поисков – от ромбовидной графики и шелеста шипящих до тематической дерзости, толкнувшей, например, Брюсова на этот отчаянный вскрик: «*О, закрой свои бледные ноги!..*»

Еще немного, наверное, и Райхлин окунул бы нас и в акмеистические вихри, но бог сподобил завуча выздороветь...

Заразив нас бациллой поэзии, старый педагог и не намеревался преуказывать нам какой бы то ни было путь: он просто вывел нас из дремучего леса школьной программы на

---

<sup>1</sup> Главы из одноименной книги П. Нерлера, выходящей в издательстве «Новое литературное обозрение». Книга в целом посвящена памяти А. Штейнберга и Н. Поболя. – Ред.

<sup>2</sup> *Нерлер П.* Високосные круги. М.: Водолей. 2013. С. 27.

широкое поле с далекими горизонтами, а куда и как мы дальше будем пробираться – дело не его.

Я, например, свернул налево, «повстречал» там шумный театр на не менее шумной площади и симпатичного поэта в шарфике и чем-то малиновом, громко кричащего о тишине. Полюбив его крутые метафоры и ассонансы, именно их поначалу я принял за всю поэзию и, в меру пытливости, вскоре попал в полбн отряда его летучих предшественников, в просторечии именуемых футуристами.

Было это давно, в начале 1970-х – в мои самые романтические годы, когда я учился на геофаке, разъезжал по экспедициям, таскал за собой гитару, пел у костров Галича и Анчарова – и, как полагается, был влюблен. Естественным выходом из этого состояния были только стихи – свои и чужие...

Я был без ума от Маяковского, обчитал его всего, вплоть до тома «Литературного наследия» с письмами Щена к Лиле Брик, а потом принялся и за его окружение – в особенности мне нравились Асеев и Кирсанов. Из Асеева и сейчас помню строчки:

Как я стану твоим поэтом,  
коммунизма племя,  
если крашено рыжим цветом,  
а не красным время?..

Или:

Я запретил бы продажу овса и сена.  
Ведь это пахнет убийством отца и сына!..

А вот из всего Кирсанова и строчки не осталось, разве что экзотические названия: например, вулкан Попокатепетль.

Я искренне принимал их – всех троих! – их лестничные пролеты-стихи, их мастерское жонглирование словами и звуками, в особенности на рифме, за высший пилотаж поэзии. Какое-то время я еще шел за ними, по их следам, веря и сострадавая всем их лирическим драмам, пока, наконец, не понял, что наивысшая точка лирического кругозора для них – этот самый вулкан Попокатепетль. Дальше тропинки не было...

...Поначалу я еще спорил с Николаем Поболем – своим старшим университетским товарищем, ментором и на протяжении сорока последующих лет лучшим другом. В нашей младоестественной среде он был настоящим инопланетянином – человеком из другого мира и теста! Старше нас лет на 15, а свободней – на все 50! Все в нем поражало: плотовик, подводник, полярник, неутомимый курильщик (тогда – по четыре пачки в

день). В мире живописи и в мире поэзии – у себя дома, парсеки всевозможных стихов – наизусть!

Он и был – по призванию – идеальный читатель поэзии: с кругозором и системой взглядов, не пропускающими через себя халтуру, с тонко настроенной на чудо стиха ушной раковиной, не допускающей ни фальши, ни пустоты. Как и я – влюбленный в поэзию, но, в отличие от меня, ее еще и знавший! Не рощицей, не лесопосадкой, а необъятным лесом, тайгой, раскачивалась и гудела она в его душе...

Вот он-то и объяснил мне разницу между Мандельштамом и Кирсановым. В течение всего нескольких разговоров он меня полностью «перевербовал», одновременно настроив ухо на совсем другие критерии, нежели крутые лесенки и консонансы.

Ершась и хорохорясь, я еще нехотя кивал на космическую образность Маяковского, на словарное богатство Асеева, на неслыханную хитроумность рифм и экзальтированность чувств у Кирсанова, – а мой друг только хитро улыбался, затягивался сигаретой и до обидного вяло защищался.

Иногда, впрочем, читал что-нибудь навскидку: «За то, что я руки твои не сумел удержать...», «Мы с тобой на кухне посидим...» или «За гремучую доблесть грядущих веков...». Про «Волка» он говорил, что это единственное стихотворение в мировой поэзии, у которого не одна, а сразу две концовки, и обе гениальные!

И чем больше я горячился, тем лучше понимал всю бессмысленность нашего «спора». А потом и вовсе перестал спорить – начал впитывать и спрашивать. И уже не «аргументы» находил я в этих дивных строках, а именно то, чем они, собственно, всегда были – явленное чудо, счастье, воздух, без которого уже нельзя будет жить.

В душах тех, кому поэзия необходима как воздух, есть некая врожденная или приобретенная частота звучания, которая вдруг начинает резонировать на определенные стихи определенного поэта – того самого, кто с наибольшей ясностью, убедительностью и простотой отвечал на самые насущные, самые волнующие вопросы.

И хоть я тогда и печатал всего одним пальцем, но словно и не заметил, как перепечатал именно **мандельштамовские** стихи и как переписал чуть ли не всю статью Струве или Филиппова (уж и не помню) из стопки каких-то темных фотокопий с заграничного двухтомника, добытых, как водится, по случаю на несколько дней и ночей.

Пусть не сразу, но все же стихи стали оседать в моей памяти какими-то сгустками – не подберу иного слова – смысла и музыки. Я искал внутреннюю их мелодию – и всегда находил ее, после чего стихотворение словно отпечатывалось в сознании. И как-то вдруг, как-то само собой что-то отыскивалось в них, отзывалось на все то, чем мучила и чем одаривала собственная ежеминутная жизнь, – ну разве не чудо?

...Не кладите же мне, не кладите  
Остроласковый лавр на виски,  
Лучше сердце мое разорвите  
Вы на синего звона куски...

...И когда я усну, отслуживши,  
Всех живущих прижизненный друг,  
Он раздастся и глубже и выше –  
Отклик неба – в остывшую грудь.

### Коля Поболь

*Семену Дыманту  
Его призвали всеблагие  
Как собеседника на пир...<sup>3</sup>*

В Коле Поболе и с Колей Поболем я застал еще то поколение, в котором знание множества стихов и чтение их наизусть были в порядке вещей<sup>4</sup>.

В пору, когда в стране столь многое и столь упорно не издавалось, великие стихи уходили в самиздат, как реки под землю в карстовых регионах, – с тем чтобы вырваться со временем на поверхность и пролиться хрустальными и свободными потоками чистой поэзии. Словно в бесписьменную эпоху, поэзия перешла на изустное существование, а память человеческая выполняла совершенно особую, несоизмеримую с нынешней, миссию: нейробиологического носителя информации и походной самиздатской библиотеки одновременно!

Это был еще как бы и звуковой самиздат.

Знать наизусть или «всю русскую поэзию», или «всего Мандельштама», или «всю Цветаеву» и т. д., оставаясь доблестью (память памяти рознь), – было вместе с тем почти что нормой. У

---

<sup>3</sup> Из стихотворения Ф. Тютчева «Цицерон» (1836).

<sup>4</sup> Такими же были и некоторые из его друзей, в частности, москвич Саша Васильев (см.: *Про Сашку Васильева*. М., 2011) и ленинградец Яша Герман (см.: *Собеседник на пиру. Памяти Николая Поболя*. М., 2013. С. 292).

походных костров не столько пелись песни, сколько читались стихи. А чтение интеллигентным ухажером интеллигентной девушке хороших стихов на память было нормой, если не императивом!

В самом центре Колиной читательской и декламаторской любви был Мандельштам. Поэтесса Зинаида Палванова вспоминала: *«Коля и в тот раз, и во все другие наши встречи читал мне стихи Мандельштама и других поэтов Серебряного века. Рассказывал, как в армии (в обстановке, мягко говоря, непоэтической) восстанавливал в памяти эти стихи и тем самым крепко запомнил их»*<sup>5</sup>.

Дифирамб Колиной памяти и ее заточенности на стихи пропел и архитектор Андрей Таранов: *«...Сколько ты знал стихов на память – уму непостижимо! И не просто знал, а смаковал любимые стихи и затягивал собеседника в глубины написания или перевода... А как ты замечательно читал своим тихим хриловатым голосом и Бродского, и Пушкина и, конечно, любимого Мандельштама, о котором мог говорить бесконечно»*<sup>6</sup>.

Читать Мандельштама наизусть Коля мог не только бесконечно, но и к тому же – с любого места! *«...Казалось, начни любое стихотворение, и Коля с легкостью подхватит его. Так было множество раз. Только с годами он стал жаловаться, что память стала его подводить – и он не сразу может вспомнить нужную строфу. Он помнил сотни, а может быть, и тысячи стихов»*<sup>7</sup>.

При этом многие отмечают и его неповторимый артистизм: *«И своим глуховатым голосом потом еще начнет читать своего любезного Мандельштама... Стихов он знал бездну!.. А как он читал стихи! И этот голос его, ни на чей не похожий... Чудо!»*<sup>8</sup>

Или: *«Помню интонацию Коли, замечательно умевшего читать стихи. На могиле у Надежды Мандельштам Коля прочитал стихотворение “Мне на плечи кидается век-волкодав”. Его голос открыл для меня новые смысловые обертона в этом шедевре... Коля привнес своим голосом благородную сдержанность тона, опять же незаметно подчеркнув трагизм поэзии Осипа Эмильевича»*<sup>9</sup>.

Леонид Кацис обрисовал экспозицию одного из случаев,

<sup>5</sup> Там же. С. 182.

<sup>6</sup> Там же. С. 266.

<sup>7</sup> Из воспоминаний С. Мироненко: Там же. С. 158.

<sup>8</sup> Из воспоминаний Л. Михалевского: Там же. С. 163, 167.

<sup>9</sup> Из воспоминаний С. Заславского: Там же. С. 123—124.

когда Поболь был в особенном ударе: *«В избе-гостинице, ... из окон которой видно место, где хорошо бы поставить памятник ссыльному поэту, был сооружен юбилейный стол, за которым участники застолья, включая меня, и узнали настоящего Колю»*<sup>10</sup>. «Настоящий Коля» – это Коля, разогретый выпитым и воодушевленный беседой или обстановкой. Тогда, в июне 2009 года, в Чердыни, он прочел, забывая и вспоминая, стихотворение «1 января 1924 года» – ах, как божественно он его прочел!<sup>11</sup>

Михаил Шапиро описывает, видимо, другой аналогичный случай: *«...Одно из самых сильных переживаний – выпивший Львович, несколько часов кряду читающий в походной палатке стихи Ахматовой, Мандельштама, Пастернака. Тихая ночь. Словно эвенкский шаман Львович раскачивается в такт произносимым словам. Наступает момент, когда один его голос заменяет все – воздух, смыслы, все сторонние ощущения. Слышны только его, Львовича, хрипы. Особая, неземная музыка. И создать ее мог лишь очень редкий, очень чистый, очень глубокий человек...»*<sup>12</sup>

А разговор о читательской «физиологии» Коли Поболя завершу одной тонкой и точной догадкой Мамуки Цецхладзе: *«Пишущим я его не помню, я знал читающего Колю, но читающего так, что не оставалось сомнений в том, что он и сам пишет, – спрашивал его не раз, но Коля каждый раз отмахивался. Оно и понятно – стихи, которые он читал, уже принадлежали ему самому, он их читал, как собственные, и переживал, как если бы был их автором»*<sup>13</sup>.

Иными словами, перефразируя Мандельштама: тем «скальдом», что складывает «чужие песни» и «как свои» их произносит, мог быть – и был! – не только поэт, но и читатель!<sup>14</sup>

Николай Поболь был ярчайшим носителем именно устной традиции, которая уже в моем поколении как массовое или типическое явление практически сошла на нет. Тем более не воспроизводится она и сейчас, когда не только эмпирико-фактографический компендиум весь перекочевал в интернет, но, кажется, и сама человеческая душевность и сердечность прописались где-то там же, в млечных и безличных блогговых облаках.

---

<sup>10</sup> Там же. С. 130.

<sup>11</sup> Сохранилась чудесная видеозапись этого застолья (см. [http://rvb.ru/mandelstam/m\\_o/pobol/](http://rvb.ru/mandelstam/m_o/pobol/))

<sup>12</sup> Там же. С. 291—292.

<sup>13</sup> Там же. С. 290.

<sup>14</sup> Там же. С. 290.

На нас – одновременно – надвигаются не только глобальное потепление, но и глобальное замерзание – душ и бескорыстных человеческих отношений. Коля Поболь противостоял этой ледниковой эпохе уже одним фактом своего существования. Теплый, светлый и мирящий других человек – он был мостиком и лесенкой между людьми.

Свою натуральную жизненную философию (она же жизненная практика) он формулировал примерно так: «Жизнь прекрасна – так порадуемся ей!». У него был редчайший дар извлекать корни радости и красоты бытия из самых невероятных ситуаций. В сочетании с природным обаянием, громадными знаниями, жизненным опытом и живым юмором такое кредо делало Колю на редкость притягательным и желанным собеседником – и тем, кого называют: легкий человек.

Не удивительно, что судьба одарила его и «легкой рукой». Найти в фонде конвойных войск РГВА нужный тебе эшелон – ничуть не проще, чем иголку в стоге сена. А Коля нашел искомое – «мандельштамовский эшелон» 1938 года – и буквально со второй попытки!

В сущности, главное Колино призвание и амплуа – быть читателем, в особенности, читателем поэзии. Читал он жадно: внутри у него всегда была настроена система строгих эстетических и исторических критериев, позволявшая точно и тонко реагировать на прочитанное. Скрипичным ключом этой системы был для него Осип Манделъштам.

Коля стоял у истоков Манделъштамовского общества, был членом его Совета и неизменным участником почти всех проектов, всех заседаний и дискуссий о поэте, душой и инициатором всех пиров и посиделок в его честь. (В обществе, кстати, хранится собранная им специфическая коллекция – бутылки из-под напитков, упомянутых Осипом Эмильевичем в стихах и прозе.) Его участие гарантировало представленность и читательского взгляда на обсуждаемые проблемы.

Между прочим, свой вклад внес Коля и в комментирование Манделъштама. Так, в первом томе так называемого «черного Манделъштама» – двухтомника 1990 года, выпущенного издательством «Художественная литература», в комментарии к строчке «И целлулоид фильма воровской» из стихотворения «Еще далеко мне до патриарха.» можно прочесть: *«целлулоидный рожок; с его помощью можно было звонить по*

*телефону-автомату, не опуская 15-копеечную монету (сообщено Н.Л. Поболем)»<sup>15</sup>.*

Тут налицо типичный для Поболя прием пропускания исторической фактографии или через личный опыт, или через личное отношение к лицам и событиям, попадающим в поле зрения.

Но все, что им делалось применительно к Мандельштаму, – делалось *con amore*, то есть с любовью и по любви, – так и только так!

### «Слово и культура»

*Памяти Льва Шубина и Александра Морозова*

К девятилетнему ходу этого издания я имел самое непосредственное касательство, будучи «автором и исполнителем» его главного замысла.

Сам замысел возник спонтанно и даже случайно – в коротком разговоре с Константином Симоновым. Кто-то из моих грузинских друзей пригласил в ЦДЛ на вечер грузинского искусства, в конце которого был показан замечательный документальный фильм «Пастухи Тушетии». Константин Михайлович или вел вечер, или просто выступал на нем.

Симонов был председателем Комиссии по литературному наследию Мандельштама, и после вечера я подошел к нему, представился и спросил, что он думает насчет дальнейшего (после «Библиотеки поэта») издания поэта, в частности, его прозы. Он как-то обрадовался вопросу, спросил о здоровье Надежды Яковлевны и дал свой телефон, попросив позвонить через несколько дней. За это время, как я потом понял, он прозондировал почву в «Советском писателе», благо его личный секретарь – Марк Яковлевич Келлерман – был юрисконсультom этого издательства.

Когда я ему позвонил, разговор был очень короткий. Его суть: с изданием художественной прозы нужно повременить, а вот выпустить критическую прозу Мандельштама, наверное, можно и попробовать. *«Пишите заявку. Все остальное Вам подскажет Келлерман, вот его телефоны...»*. Так комнатка юрисконсульта на первом этаже особняка на улице Воровского стала стартовой площадкой для книги «Слово и культура». Симонов же, как я теперь понимаю, готовил почву и в издательстве<sup>16</sup>, и в инстанции,

---

<sup>15</sup> Мандельштам О. Сочинения в 2-х тт. М., 1990. Т. 1. С. 515. См. другой аналогичный комментарий в воспоминаниях С. Василенко (*Собеседник на тире*. Памяти Николая Поболя. М., 2013. С. 100-101).

<sup>16</sup> Само обсуждение этого замысла стало возможным только благодаря темпераментному обращению К.С. Симонова в издательство «Советский

которая тогда реально все решала в вопросах книгоиздания – в Отделе пропаганды ЦК<sup>17</sup>.

Довольно быстро заявка, а вслед за ней и я, перебрались на четвертый этаж – в редакцию критики и литературоведения, заведующей которой была Елена Николаевна Конюхова. Она же вверила книгу в руки одного из своих лучших редакторов – Льва Алексеевича Шубина, прекрасного специалиста по Платонову.

Не забыть той напряженно-радостной и деятельной атмосферы встреч с редактором книги и того необычайно трудного, на каждом шагу буксующего, но в итоге все же доведшего до конечной станции общения с коллегами-мандельштамоведами.

Больше всего разногласий было относительно состава и композиции книги. Тут образовался не один, как я надеялся, а сразу два фронта. С одной стороны – борьба с советским издательством, отстаивавшим свои охранительские представления (и тут Лев Шубин был моим безусловным союзником). Этот фронт был хотя и гнетущ, но как-то ожидаемо гнетущ. Редакция (и Конюхова, и сменившая ее Малхазова) делала почти все для того, чтобы книга продвигалась, но ни на какие «демарши» и «ва-банки», конечно же, готова не была.

Главная изжога шла от директора, Владимира Николаевича Еременко, и от рецензента (он же автор будущего предисловия к книге) – Марка Яковлевича Полякова, крупнейшего специалиста в области гадания на тему «нельзя или можно?».

И по сей день храню «выпавшую» из наборной рукописи страничку с синим номером: это ныне широко известный и густо цитируемый мандельштамовский ответ на анкету «Поэт о себе» газеты «Читатель и писатель». Внизу, неробким директорским карандашом, размашистым почерком – презанятный автограф: «*Что это нам предлагают?!*»

Воистину: главный редактор о себе!

Но порезвился тогда его карандашик изрядно. Рукопись на конечной стадии похудела листа на полтора-два, после чего –

---

писатель» (см. его письмо от 18 июня 1979 года директору издательства В.Н. Еременко в: *Симонов К. Собрание сочинений. Т. 12. М., 1987. С. 552—554*).

<sup>17</sup> После того как проект был запущен, прямого общения с Симоновым было немного, но помню несколько довольно долгих разговоров не столько о проекте, сколько о самом Мандельштаме. Один — из больницы, совсем незадолго до смерти Константина Михайловича: в больничной тумбочке возле кровати лежал, по его словам, американский Мандельштам, и Симонов перечитывал и стихи, и прозу.

дабы выправить новый крен – я и сам сократил ее почти на столько же. Прав был Лев Алексеевич, говоривший, разливая чай у себя на кухоньке в Ясенево: мы сели играть в шахматы с чертом и мы, конечно, не выиграем, но и не играть – нельзя!

Компромиссы, на которые пришлось в итоге пойти (отсутствие ряда важнейших статей, вынужденно-постыдные купюры в двух или трех местах, упоминание наших западных предшественников<sup>18</sup>) – отягощали и отягощают мою совесть.

Ведь я же мог – пускай и ценой невыхода книги! – не согласиться с мнением Еременки и прочих «товарищей» и забрать рукопись.

Где ты, граница допустимого конформизма?..

Это и было предметом дискуссий на «втором фронте». Если отвлечься от вопросов персональных и организационных, в поисках ответа на которые принимало участие еще несколько человек, то этот второй фронт держал один Саша Морозов. Искрящий, как оголенный провод, он полагал, что если это «избранное» – то без таких-то и таких-то текстов оно совершенно непредставимо. И если издательство будет настаивать на «без них» – то лучше вообще ничего не издавать.

---

<sup>18</sup> В ответ на справедливые упреки в том, что в «Слове и культуре» практически нет ссылок и упоминаний зарубежных изданий, опередивших нас по меньшей мере на 20 лет, я уже публично объяснялся и извинялся: «В общем виде все это более чем справедливо, и трусливо-затхлая общеиздательская атмосфера большей части 80-х годов (а книга шла до читателя девять лет!), возможно, и извиняет меня, но не снимает всей ответственности. Сегодня это смешно и нелепо, но тогда в издательских инстанциях сама мысль об упоминании зарубежного собрания казалась то ли глупостью, то ли кощунством, то ли провокацией. / Считаю своим долгом извиниться перед коллегами за вчерашнюю неловкость, но главное — поблагодарить за их труднейший и с достоинством выполненный труд, от чести совершить который наша страна в свое время так бездумно отказалась. Не секрет, что само существование важнейших произведений в зарубежных изданиях было как бы гарантом их гласной сохранности, а также мощным психологическим фактором, примирившим в конце концов и наших пастырей с нележкой для них мыслью о необходимости — сначала — упоминать, а затем и издавать разных Ходасевичей и Гумилевых, а уж совсем потом — и признать, что до нас и за нас это делали другие (как соделали — это уже другой вопрос). Вот и получается, что «господа» Струве, Проффер, Мальмстад и другие внесли свой вклад в нашу перестройку» (см.: Нерлер П. Чужие? // ЛО. 1989. № 8. С. 84—85).

...Даже правое дело скривится  
и в осадке останется ложь,  
если ты не успеешь открыться  
и избытка в душе не найдешь.

Так запомни пещеру-квартиру,  
одинокства жуткий разбег.  
Там живет и не балует с миром  
предпоследний в миру человек.

Он тебя наставлял – ты не понял,  
он оставил тебя – ты ослеп.  
Ты, быть может, себя проворонил,  
променял на изглоданный хлеб<sup>19</sup>.

Для Морозова «любить Мандельштама» означало не издавать его, для меня – издавать. Я прекрасно понимал мотивы морозовского радикализма. Но я не разделял их, и у меня была своя правота. Я считал, что компромисс тут и неизбежен, и возможен. И что чем ближе его линия пройдет к идеальному составу – тем лучше. И именно в этом приближении я и видел свою задачу.

Вот тогда-то меня и поддержали Аркадий Акимович Штейнберг, Эдуард Григорьевич Бабаев и Николай Поболь. В своем дневнике за 8 января 1980 года я недавно прочел такую запись: *«Сегодня ко мне заходил Поболь, и я спросил его об его отношении к политике издания О. М. (Поболь же – типичный читатель, адресат издания). Он сказал так: “Чем больше – тем лучше. А читатель разберется сам”. И он прав, по-моему».*

Для меня тогда это был и новый ракурс (читатель как критерий!), и поистине колоссальная – экзистенциальная – помощь, оказавшаяся к тому же решающей!

К сожалению, Лев Алексеевич не дожил до выхода книги: книгу из его рук подхватила и выпустила в свет его вдова, Елена Шубина...

### **Черный двухтомник и синий четырехтомник**

*Александрю Никитаеву и Михаилу Яковенко  
Памяти Сергея Аверинцева и Андрея Михайлова*

В начале 1990-х годов стихи Осипа Мандельштама снялись и дружною стайкой перелетели из-под узнаваемых коленкорových корешков самиздата и украшенных знакомым

---

<sup>19</sup> Из стихотворения «15 июня 1980 года», посвященного А. Морозову (Нерлер П. Ботанический сад. М., 1998. С. 84).

профилем работы Зарецкого темно-серых обложек «американского» собрания под двухсоттысячные книжные переплеты черного худлитовского двухтомника – первого издания, претендовавшего на неслыханное до этого сочетание полноты и научности<sup>20</sup>.

«Сочинения Осипа Манделъштама в двух томах» вышли в 1990 году в издательстве «Художественная литература». Мне посчастливилось работать над этим двухтомником вместе с замечательными учеными и людьми – Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, автором вступительной статьи, Андреем Дмитриевичем Михайловым, подготовившим и откомментировавшим старофранцузские тексты, и Татьяной Николаевной Бедняковой, прекрасным издательским редактором и добрейшей душой. За все остальное отвечал я – инициатор, составитель и комментатор: и если бремя неточности или оплошности я еще мог себе позволить, то роскошь сетований на неподъемность задачи или ожидание дозревания всех условий, внешних и внутренних, до идеальных – не мог.

Несмотря на счастливую вождеденность ситуации, я был застигнут ею врасплох. Все, чем я столь рьяно и *con amore* занимался предыдущие 15 лет, – архивные и библиотечные поиски, расспросы о Манделъштаме еще живых тогда свидетелей, хлопоты о публикациях манделъштамовских текстов, в том числе и такого крупного блока, как избранная критическая проза, первые собственные статьи, наконец! – были, конечно, хорошей школой, но еще далеко не аттестатом соответствующей зрелости.

Хлопоты как таковые, – эти «множества интегральных ходов», – это еще не эдиционные навыки. Десятилетняя битва над (точнее, под) сборником «Слово и культура» в «Советском писателе», отягощенная всеми издержками прожившегося времени и личными переживаниями и издержками, и блиц-подготовка томиков «Избранного» в таллинском «Эсти раамат», тбилисском «Мерани» или «Московском рабочем» – это все, конечно, серьезный опыт, но критическое издание в «Худлите»?!.. Да еще и без доступа к главному архивному своду?!<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> В конце 1980-х они останавливались «по дороге» в многочисленных «Избранных» и «Сочинениях», выходивших тогда главным образом в столицах союзных республик (Таллинн, Тбилиси, Ереван) и в отдаленной российской провинции (Мурманск, Магадан, Владивосток).

<sup>21</sup> Не только архив в Принстоне, но и копия его версия, находившаяся в Москве, оказались мне, увы, тогда недоступными. Текстологической основой издания стали поэтому материалы из архивов И.М. Семенко и Э.Г. Бабаева.

Помню, как я убеждал и убедил редактора в нашем долге перед Мандельштамом – сохранить его неканонический синтаксис и такие явно дорогие ее сердцу лексические «привычки», как, например, «черт» через «о» или обусловленные ритмом фразы и весьма устойчивые «явления» вместо «явления» и т. п. Уже вдвоем мы убеждали – и убедили – в этом же Татьяну Сидорову – худлитовского корректора, и душой, и телом преданного канону: в конце концов и она «уступила», но в душе не перестала осуждать нашего автора за его «ненормативную» лексику.

После оглушительного успеха черного худлитовского двухтомника Осипа Мандельштама, когда 200-тысячный тираж «ушел» за две недели, после помпезного (не без официозности – с открытием мемориальной доски под гимн СССР и с вечером в Колонном зале под казенным портретом-подмалевком, когда я, впервые оказавшись в президиуме, впервые же в нем и заснул) величания Мандельштама в дни его 100-летнего юбилея – идея мандельштамовского многотомника не казалась такой уж безумной.

Сама концепция Собрания сочинений Мандельштама – не традиционно жанровое, а хронологическое, с разбивкой томов по десятилетиям, издание – родилась у пишущего эти строки. Некоторым образом она вытекала из всей деятельности, связанной с организацией Мандельштамовского общества (она пришлась все на тот же юбилей) и налаживания его будущей полнокровной проектной жизни.

Едва ли не первым таким проектом стал тоненький сборничек «Сохрани мою речь...» – прообраз ставшего сегодня традиционным и даже фирменным альманаха и старейшина всей издательской программы общества. Составителем той брошюры, вместе со мной, стал Саша Никитаев, заявивший о себе к этому времени как текстолог Хлебникова и футуристов, но неуклонно разворачивавшийся в сторону Осипа Эмильевича. Был он по первой профессии специалистом по химфизике, служил в профильном академическом институте и преподавал в знаменитом профильном вузе.

Тут он не стал исключением, ибо сложившаяся к этому моменту в стране «гвардия» серьезных текстологов Мандельштама состояла из... врача-хирурга, врача-психотерапевта, инженера-эколога и, если брать в расчет и меня, то еще и географа: химфизик сюда явно хорошо вписывался.

Филологическая среда просто не воспроизводила текстологов Мандельштама по понятной причине: решительное «отсутствие спроса». Были, разумеется, и профессиональные

филологи, практиковавшие текстологию Мандельштама, – Харджиев, Семенко и Морозов, но их отношение к этой задаче определялось индивидуальными обстоятельствами, а не цеховыми регламентами. Первые двое к этому времени уже опубликовали свои версии, а третий – знаток из знатоков и максималист из максималистов – был со своей как бы запрограммирован на фатум непубликуемости по причине неполного соответствия этой вселенной, этого общества и этого конкретного издательства или коллеги выстраданным им за жизнь критериям идеального издания.

Итак, кое-что у нас уже было, а именно: желание издать мандельштамовское собрание, его нестандартная концепция и составительско-редакторский тандем (вскоре к нему присоединился и третий, с весьма неожиданным амплуа: составитель иллюстративного ряда – Алексей Наумов).

Так что оставались пустяки: найти издательство, желающее и способное осуществить проект. И таковое вскоре нашлось, ибо и само задумывалось о проекте вроде нашего: называлось оно немного загадочно – не издательством даже, а АПС – «Агентством Перспективного Сотрудничества». Было оно плодом направленного на экономику креативного луча поэта Виктора Коркии, ассистировали ему при этом еще двое – поэт Владимир Друк и переводчик Владимир Казаровецкий.

Каким-то не слишком внятным для меня образом из-за или из-под «Агентства» выглядывала еще одна фирма – кооператив «Центурион» Тимура Умарова, с которой мы и заключали свои изначальные договора. Но общались мы именно с этим «Агентством» и с перечисленную троицей. Сидели они в пору нашего общения в каком-то аморфном помещении, снимаемом за символическую плату у театра-студии Марка Розовского на Никитской. На дворе стояло начало 1990-х, то есть шоковая терапия и ваучерная приватизация. Не одному только Березовскому, а всем-всем-всем ужасно хотелось разбогатеть, причем и культура казалась почему-то тоже чем-то вроде природного ресурса, только с более быстрой отдачей вложений. Мандельштам в таком случае был одним из месторождений или, точнее, одной из скважин. Надо было, впрочем, поторапливаться, ибо цены скакали, как блохи, и, даже собрав деньги по подписке, можно было, если замешкаться, прогореть... Выход любой книги поэтому был всякий раз маленьким чудом, а вот продать ее было проще простого (сейчас все в точности до наоборот!).

...Договаривался я с Коркией, а дело-то имел, к сожалению, с Казаровецким. Его коммерческое кредо-фикс –

вивисекция, вивисекция и еще раз вивисекция – было в равной степени беспроегрышным, как и безвыигрышным. На каждый из трех томов (а речь сначала не шла о письмах) он выделял по 10 печатных листов, и ни на ползнака больше. А если Осип Эмильевич в иные десятилетия позволял себе расписываться, как, например, в 30-е годы (в рифму) или в 20-е годы (не в рифму), то сам же он и виноват.

Десятилетия культурного голодомора требовали от издателя чего угодно, но только не такой вот добровольной аскезы. Однако переубедить упряма не удалось, а альтернативных издателей все еще не было, и наш первый – за 1900-е и 1910-е годы – томик вышел даже не комом, а каким-то цыплячьим комочком, оставшись практически без перьев – комментариев! (Весь кошмар этого «дефекта» проявился только потом, когда выстроилась целая цепочка изданий, принудительно связанных друг с другом по принципу «матрешки»<sup>22</sup>).

Первый том вышел в свет уже в январе 1993 года, но, правда, уже в другом издательстве: бабочка с грозным названием «Центурион», помахав крылами и исполнив свою миссию в круговороте жизни на Земле (получить и проесть кредит или два), благополучно испустила дух. Но добрая душа Витя Коркия все так же инстинктивно позаботился о том, чтобы наш замысел и почти готовый первенец-цыпленок не погибли.

Весь коллектив, пополнившийся редактором Эммой Сергеевой и художником Женей Михельсоном, плавно перешел под крыло «Арт-Бизнес-Центра» – нашей новой, как мы тогда говорили, «конторы». Она стала нашим вторым и на сей раз счастливым издательским домом. Контора обживала нежилой фонд в одном из сталинских домов на Новослободской улице, в многочисленных переездах оттачивая свою структуру: переезд из подъезда в подъезд и из подвала в подвал был ее любимым развлечением.

Это была кампания с другой философией: несколько несвязанных направлений – посредническая торговля (например,

---

<sup>22</sup> Комментарии четырехтомника, к сожалению, не были сплошными — в связи с имевшимися в случае первого тома ограничениями объема, и в большинстве случаев ограничены отсылкой к комментарию базового издания (*О. Мандельштам. Сочинения в двух томах / Сост. С.С. Аверинцева и П.М. Нерлера. Подгот. текста и комментарии А.Д. Михайлова и П.М. Нерлера. Вступит. статья С.С. Аверинцева. М.: Художественная литература, 1990; последнее, в свою очередь, имеет в качестве базового сборник «Слово и культура» (М.: Советский писатель, 1987)*!

холодильниками «Стинол»), туристическое бюро, издательский бизнес. Три владельца-директора отвечали каждый за свой участок, и наш – издательский – подлежал преимущественной юрисдикции Михаила Яковенко. В перманентной внутренней борьбе бизнесмена и интеллигента в его душе неизменно, хотя и без нокаутов, побеждал второй.

Было у него в жизни, кроме семьи, еще две сильных привязанности – Александр Дюма (с детства) и наш Осип Эмильевич (с юности). Дюма он поставил бы в Москве памятник, но памятником ему самому станет полное русскоязычное собрание сочинений автора «Трех мушкетеров» под его, Михаила Яковенко, редакцией и с его комментариями (Вот вам еще один литератор-«маргинал»: преподаватель МВТУ с 25-летним стажем! – и, по матери, потомственный редактор).

Сколько томов написал Дюма, я не знаю, но знаю, сколько уже выпустил Яковенко: более 80 (кстати, раскупался Дюма неплохо, особенно поначалу, так что издательский бизнес в «конторе» удерживался в берегах самокупаемости). Доход приносили школьные тетрадки и, возможно, фирменная газета для диабетиков. С благодарностью вспоминаю верстальщика Валеру Данича и редактора 4-го тома Оксану Листову, как вспоминаю и Сашу Кричевского, еще одного из содиректоров «Арт-Бизнес-Центра»: это он подобрал нас у Коркии и передал в заботливые руки Яковенко. На протяжении пяти лет – с 1993 и по 1997 гг. – четыре тома «синего» Мандельштама вышли, причем тиражом в 10 000 (тт. 1 и 2), 9600 (т. 3) и 5000 (т. 4) экз. Издательство распространяло существенную часть тиража по заранее проведенной подписке.

Кажется, и как коммерческое мероприятие Мандельштам «контору» не разорил. Во всяком случае новый издательский проект Мандельштамовского общества – итоговое шеститомное собрание сочинений Мандельштама – мы будем снова делать вместе.

В заключение хочу еще раз вернуться к личности Александра Никитаева – замечательного русского интеллигента из «технарей», храбро переступившего за грань благодарного, но пассивного читательства и вставшего на стезю активного соучастия – публикаторского и текстологического. И тут как нельзя более кстати ко двору пришлись те его качества, которые не преподаются и не прививаются в литинститутах: доскональность, тщательность, готовность тысячу раз все-все перепроверить и выправить.

Конечно, явные опечатки и ошибки обнаруживаются и после этого – и все то, что было потом выявлено и откорректировано, учтено в электронной версии издания, которую готовил к «вывешиванию», как сейчас говорят, уже Владимир Литвинов<sup>23</sup>.

Ибо оно не памятник буре и натиску текстологии 1990-х годов, а часть упоительного занятия поиском, прочтением и осмыслением мандельштамовских текстов – часть чуда становления мандельштамовского корпуса, который и до сих пор еще не застыл, а все пребывает в движении, на ходу.

Каждый текстолог, словно дирижер, прочитывает «партию» по-своему, но сама текстология, замечу, от этого не перестает быть коллективной!..

*(окончание следует)*



---

<sup>23</sup> См. на сайте общества: <http://www.rvb.ru/mandelstam/toc.htm>

**Ася Лapidус**

## **Вокруг да около**

**Ностальгические зарисовки  
Обрывки воспоминаний об ИТЭФе,  
которого уже нет**

*Памяти дорогих друзей и коллег.*

*...Дремотная окраина Москвы,  
Асфальтовая стынъ и перезвон трамваев,  
На полустанке сна там стебелек травы  
От сердца памятный осколок отрывает...*



ИТЭФ – Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова — многопрофильный центр изучения фундаментальных свойств материи. Материал из Википедии

*В нашу комнату вы часто приходили...  
А.Вертинский*



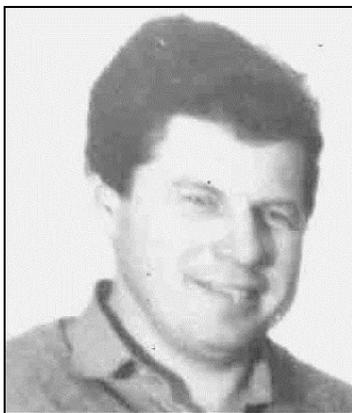
той поры воды утекло столько, что не верится – было – не было. Изменилось все – зато я это все – а может, далеко и не все – помню очень даже отчетливо. Если сесть на трамвай у метро Профсоюзная, проехать несколько остановок

до конца-кольца, а потом перейти через рельсы перпендикулярно ходу движения, и минуя желто-белые башенки бывших приусадебных конюшен, пересечь улицу, по левую руку изогнутую, подобно трамвайным путям, а по правую – упирающуюся в тупик, то вы окажетесь аккурат перед проходной – куда вас, скорее всего, не пустят, меня, впрочем, тоже. Но когда-то (разумеется, с пропуском) я ходила туда по будням регулярно, и случалось, по выходным тоже.



Саша Турбинер

Не знаю, как сейчас – тогда там было привольно – весной грачи, летом одуванчики и запах лип, а зимой – зимой нетронутый снег на клумбе дышал деревенским морозом. Центральная усадьба – XVIII век – разумеется, сто раз перестроенная.



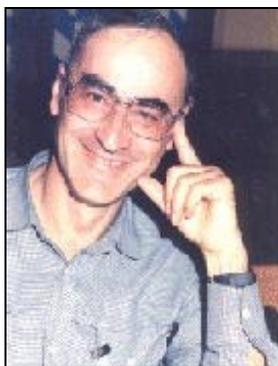
Петя Волковицкий

Если войти в здание, то минуя вестибюль, налево от конференц-зала – просторная комната с ячеистым китайским

расписным потолком, в которую всегда хотелось зайти, куда и заходили – все больше по делу, а я и без дела – там было так приятно.

Молчаливо работал Алеша Кайдалов, как-то по-школьному старательно склоняясь над листом бумаги. Иногда он подходил к кофейному столику, брал кусок сахара и хрустел.

Матросской походкой врвался юный Турбинер и шмякал портфелем, а Петя Волковицкий появлялся редко, валяжно спеша-не спеша.



Миша Маринов

Миша Маринов улыбался всем лицом – он был тоже гостем, но в отличие от меня, званным и не то, чтобы почетным, но не без того.

Хозяином же был Костя Боресков, застенчиво-незаметным и мило-радушным, золотистый чуб его сиял над белоснежной рубашкой и легко краснеющим лицом.

Приходил Лева Пономарев – молодой и моложавый – смеялся ямочками на щеках и веснушками на носу. И все пили кофе-чай, а я еще бесстыдно курила, за что полагался штраф, но я нарушала законы и штрафа не платила, более того, даже собственную чашку нахально не мыла, за что Петя Волковицкий – бессменный соавтор мой – пытался меня прижучить, но Миша не давал в обиду – Жену свою заставляй – твердо сказал он. Не думаю, что петина красавица жена послушно ходила в судомойках, но в отношении моей персоны джентльменский правопорядок был восстановлен. Это Миша однажды объяснил мне, что я принцесса из рода Давидова, и я не то, что поверила в это, но с удовольствием примерила и решила носить – почему бы и нет – вместо желтой звезды.

Заходила Нина Семеновна, заносила в холодильник овощи с черемушкинского рынка – Маршалл Бейкер с детским интересом заглядывался на зелень – тосковал по витаминам, но Нина Семеновна нуль внимания.



Костя Боресков и Алеша Кайдалов, ИТЭФ 2009г.  
Фото И. Долговой

За кофейным столиком сживали и многочисленные физики из Еревана – шумные и горячие, и по нездешнему накрахмаленный Генри Абарбанел. В отличие от Маршалла Бейкера, догадливо снабжавшего нас иноземным растворимым кофе *Maxwell* аж из американского посольства, Генри безо всякого понимания по-хозяйски щедро распоряжался общественным довольно дефицитным продуктом. Тогда это казалось ужасающей бестактностью, но теперь мне хочется оправдать Абарбанела. В Америке в любом заведении кофе и чай – дают-бери – неограниченно – пей не хочу. Абарбанелу не могло придти в голову, что растворимый кофе из банки – редкостный деликатес. Еда в не знавшей голода стране – абсолютно не имеет значения – поэтому угощение не принято. Американский академический и прочий разный гость лезет в хозяйский холодильник, берет пиво и еду, а потом еще и норовит помыть за собой посуду.

По поводу Абарбанела позволю себе еще один шаг в сторону. За морями, за долами, в другой ипостаси и совсем в другой жизни – уже в Нью-Йорке, незнакомый мне Джен Даш пригласил меня (по моему, впрочем, настойчивому запросу) сначала на интервью, а потом и на работу в одну из уолл-стритских фирм по капиталовложениям. При этом сказал, что знает меня, чего, конечно, быть не могло и не должно, однако, оказывается, случилось – дело было в небезызвестной статье по

небезызвестной реджистике, казалось бы безвозвратно канувшими в забвение. Поначалу я, разумеется, недоверчиво отмахнулась. Но потом выяснилось, что этот самый Джен Даш возглавлял отдел теоретической физики в Национальном Научно-Исследовательском Центре в Марселе и по тем временам занимался той же самой злополучной реджистикой. Более того – он учился в университете с Абарбанелом и страшно завидовал, что тот побывал в Москве, укоряя себя за недомыслие и провинциальность. Кстати, однажды, уже работая с Дженом, и невзначай зайдя к нему в кабинет, я увидела на его письменном столе очень даже знакомую мне книгу о Римане – разумеется, в английском переводе – написанную Мишей Монастырским – моим ИТЭФ-овским коллегой и старым добрым другом. Я не смогла удержаться и рассказала о знакомстве с автором, и вот тут-то и выплыли имена Генри Абарбанела и Маршаппа Бейкера. Мир тесен – просто негде повернуться.

Возвращаюсь к ИТЭФу 70-х, продолжу стезю повествования. С утра по дороге в свой удел появлялся Виталик Борисов – выпить чашку кофе. Он мне помнится и сам по себе – но пуще того – совершенно равнодушным отношением к моей персоне – да пропади я пропадом на его глазах – он не заметит – я бы не сказала, что меня это обижало – отнюдь – это было так естественно и касалось не столько меня, сколько всего сущего, что не замечалось, а просто наличествовало непререкаемым фактом. Виталик Борисов – голубые-синие выцветающие глаза – худущий – в чем душа держится – лицо обтянуто по периметру – то ли философ, то ли крестьянин – на вопросы отвечает развернуто, но без интереса, непонятно даже – отвечает ли. По рассказам, у него была замечательная сиамская кошка, которая съела все, что двигалось на дачном участке. Мне казалось, что эта кошка своею зверушечей охотой что-то истребила в Виталике тоже.

Изредка бывал Толя Долголенко – с ироничной улыбкой на как бы припухшем лице – почему-то вечно запоминается какая-то чепуха, какая-то консервированная тушенка – в те поры продукт редкостный – мало доступный, можно сказать – сверхъестественный. Толя очень бледный, и в его лице вперемешку с усмешкой мелькает неожиданная доброта. Он, как и Виталик Борисов, экспериментатор. В тот единственный раз, когда мне пришлось выступать на общем семинаре, боевой мой соратник и извечный соавтор Петя, нетерпеливо вскочив с места, к моему глубокому ужасу, перебил меня и напрочь не дал договорить. Вот тогда Толя во весь голос громко заметил –

Приятно видеть, как теоретики ссорятся, – и у меня отлегло от сердца.

У Наи Смородинской фиалковые глаза, совсем, как у Элизабет Тейлор – она говорит, как бы опережая себя. У нее необыкновенное имя – Ноэми. Помню ее родителей – узок круг – никуда не денешься. В Дубне за столом вместе с моими – белая скатерть, я подросток и с трудом переношу общество взрослых – мне со взрослыми нестерпимо скучно. У Якова Абрамовича большая ребячья голова и очень черные смородиновые глаза.

Помню Ольшанецкого – его в этой комнате не бывало, зато его загнутые сверху дьявольские брови гипнотически мелькали по аллеям в тени деревьев – декоративно. Безусловно – тоже Миша – чисто внешне он походил на Мишу Маринова, но это были совершенно разные люди, даже сравнивать не хочется.

Неохотно и стремительно возникал из небытия Судаков. Заметный – высокий, с рассыпающейся прядью светлых волос, он шел вслепую, сосредоточенным печатным широким шагом, не оглядываясь по сторонам.

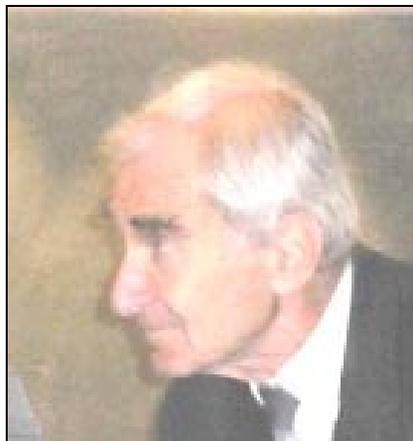


И.Ю.Кобзарев

Неизвестно откуда и неизвестно куда, хотя и вполне целенаправленно, брел вразвалку не спеша Володя Колкунов обязательно на пару с Валерой Мельниковым, по студенческой МИФИлогии – Титан с Гигантом. Усмешливо-насмешливые и непоколебимо добродушные, казалось, они только что материализовались, и зыбкий мираж их присутствия готов снова исчезнуть.

Однажды у нас дома они взялись чинить электричество – свет напрочь не горел. Где-то под потолком они нашли и извлекли

на свет божий какую-то невнятную пружинку – Можешь ее спокойно выбросить – сказал Мельников. Я засомневалась. На что Колкунов напомнил мне – что они физики – ну, я и выброси пружинку эту. Не успели физики удалиться – я поняла, что свет не выключается. Пришлось вызвать электрика – Тут должна быть пружинка, где она? – с пристрастием спросил электрик. Я, конечно, им об этом тут же доложила не без зловредности, на что Колкунов поучительно и необидчиво заметил – Мы, между прочим, теоретики.



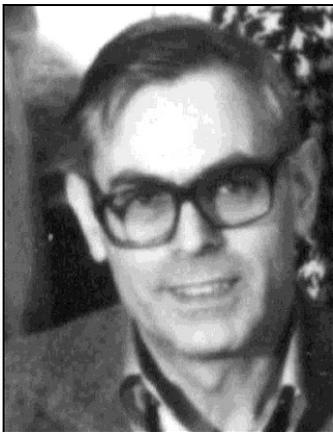
Б.Л.Иоффе

Появлялся Кобзарев, некрасивый и особенный. На вешалке всегда можно узнать его пальто – один рукав застревал внутри, и шарф, свернутый жгутом, как-то неприкаянно болтался – в этом было что-то неизменное – домашнее и грустное. Казалось, в нем была – повышенная органичная скромность, как у других повышенная температура. Эрудиции он был исключительной. У меня было ощущение, что он знал просто все. Редкие разговоры с ним незабываемы.

И Борис Лазаревич Иоффе заходил, не припомню, чтобы присаживался или просто задерживался. Бледное голубоватое лицо его с несколько провисшим носом не обращено ни к кому в частности, густые брови непослушно лезут в глаза, он что-то спрашивает и тут же исчезает. Он серьезен и неулыбчив – как будто бы сердит.

Нечасто, но бывал Окунь – было что-то мальчишеское-мальчишковое в его облике – никогда не скажешь, что член-корр – полное отсутствие вельможности. Саша Долгов – его питомец, мастью несколько отличающийся, но чертами безусловно

напоминающий Льва Борисовича, он скорее заскакивал, чем заходил.



Л.Б.Окунь

Помню, однажды – мы большой толпой отправились на выставку авангардных художников. Это была безжалостно разгромленная властями небезызвестная Бульдозерная выставка на Юго-западе – проходившая на открытом воздухе в Битцевском парке. Больше всех и как-то непосредственно по-детски, тогда радовался неподвластному искусству Лев Борисович – никакого, вполне естественного, я бы даже сказала – заслуженного – скепсиса.



Миша Данилов

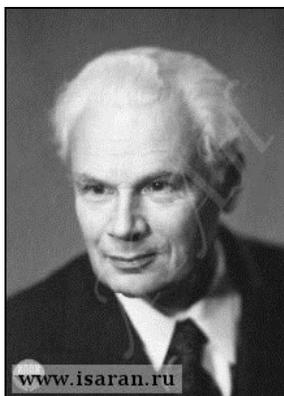
Такой же мальчишески-мальчишковый и кареглазый, как Окунь, и такой же быстрый и точный в движении – подчеркнуто корректный Миша Данилов. Он экспериментатор и в комнате с

китайским потолком не бывает никогда. Зато я его часто вижу на компьютере, куда теоретики носа не кажут – разве что за редким исключением.



Валера Веребрюсов

Между тем, я у Миши в неоплатном долгу – будучи в заграничной командировке в 81-м весьма недобром году, еще до всяких гласностей-перестроек, он с риском для жизни и карьеры переслал мне в Нью-Йорк мои повести-рассказы, тому же позвонил мне – не побоялся и не пожалел скудных командировочных валютных денег.



В.В.Владимирский

Я уже не говорю о том, что при отъезде он купил у меня по неслыханно завышенной цене томик Пастернака, чем привел мою совесть в замешательство.

Под горячую руку перестройки он стал первым и единственным выбранным директором ИТЭФа, но по причине порядочности и в силу политической обстановки – ненадолго, но обо всем этом я узнаю потом – через годы, через расстояния.

А еще за пределами все той же комнаты, где если и бывал, то чужаком – вспоминается Верebrюсов – огромный – большой и толстый, отгороженный ото всех своею обособленностью, внутренним беспокойством и заметной самоуглубленностью. Мы дружили с ним – что называется, закадычно, хоть, бывало, и спотыкались о сложности характера.

И уже совсем отдельно от всех и от всего, вдалеке от кофейного мирка, помню Владимирского – маленького, седого и сановного на вид. У него был огромный пугающий парадностью кабинет – с темным тамбуром между двумя дверями, выходя из которого, похоже, надо было пятиться и кланяться и приседать и креститься. Вот я там меж этими дверями как-то и заблудилась в темноте, и как в кошмарном сне, вырвалась на вольный свет прямо пред очи Василь Васильича.



Сереза Илларионов – Градиент

Вдали от института в Звенигороде на зимней ИТЭФ-овской школе мы самозабвенно играли в шарады, веселясь от души, особенно когда Миша Маринов, вымазав лицо зубной пастой, очень похоже изображал дьявола, точнее ад, а мы вчетвером с помощью шапок и расчесок – Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Верховодил тогда нами блистательный интеллектual и зачинщик – похожий на Дон Кихота Сереза

Илларионов – по прозвищу Градиент – человек **многих** разнообразных интересов и талантов. А испортил песню – Миша Шифман – «Ребята», – сказал он просительно – «побойтесь Бога – уже за полночь, а у меня завтра доклад». Миша был прав. Мы тут же послушно угомонились.



А.С.Кронрод

На просторах ИТЭФа происходило много чудес, объяснение которым лежит за пределами науки. Созданный под эгидой Берии, институт всегда находился под неусыпным надзором всевидящих органов. Казалось бы, времена менялись, а с ними и нравы, но высшее начальство – никогда. На моих, можно сказать, глазах от Александра Семеновича Кронрода оно избавлялось, как от дурной болезни – подспудно и упорно. Конечно, ему много чего простить было никак нельзя – яркости личности, многогранности интересов, а главное – неподвластности и духа гусарской вольной вольницы, царившей в его отделе. Травили его высококвалифицированно – красивый, импозантный, уверенный в себе, очень живой – Кронрод как будто истаял. Срубили нашу елочку не только под самый корешок – с корнем уничтожили. За отказ уволить Кронрода – выгнали из института Алиханова – между прочим, основателя и первого директора ИТЭФа – просто – заменили на партийного Чувило. Справедливость восторжествовала – правда, ненадолго – через много-много лет и на очень короткое время ИТЭФу все-таки присвоили имя Алиханова, но время это быстро и бесследно прошло.

Я видела Алиханова вблизи один только раз в вестибюле, перед конференц-залом. Он появился откуда-то из директорских недр в темном неподъемном на вид пальто, тяжело и медленно ступая к выходу. Неподвижное очень восточное лицо, мрачный сосредоточенный взгляд, он казался глубоко ушедшим в себя, и еще – царственно-величественным. Вслед за ним выбежала на мороз легко одетая секретарша – худенькая немолодая женщина – вся внимание, олицетворение верности и преданности. Все в жанре.

В тесных комнатках кронродовского питомника мыслям было просторно. Там произрастала ИТЭФовская Золушка, о ту пору незаконная дочь математики – наука программирования. Кронрод и его команда неугомонно – бесцеремонно и раздражающе уходили за границы традиционных проблем – в задачи, не поддающиеся формализации. Ныне это вполне каноническая отрасль науки широко известна под названием искусственного интеллекта, а тогда в 67-м многим она казалась несерьезной и даже сомнительной. Да только вольному воля – они увлеченно сочиняли алгоритм для игры в шахматы. И ничтоже сумняшеся, затеяли компьютерно-шахматный матч на позапрошлой М-20 против группы Стэнфордского университета под руководством знаменитого Мак-Карти. Смею подозревать, американская IBM 7090 была хоть и не новой, а все-таки куда лучшей машиной, чем та, на которой играла сборная Кронрода и тем не менее – назло всем врагам – кронродовцы выиграли. Казалось бы, победителей не судят, но протестного Письма девяноста девяти в защиту Есенина-Вольпина им все равно не простили – увольнения не заставили себя ждать.

Между тем состав кронродовского ансамбля был как на подбор, под стать блистательному дирижеру – Е.М.Ландис, Г.М.Адельсон-Вельский, Р.С. Гутер, Андрей Леман, Исаак Корнфельд, Боря Вейсфеллер, Володя Арлазаров, Толя Усков, Саша Битман, Марьяна Розенфельд, Ира Кристи, Игорь Фараджев – всех не перечислить, да и не упомянуть. Кое-кого я знала по мехмату, и по зову лицейского товарищества, заходила к ним и просто поболтать и по делу – Андрей Леман учил меня программированию, и как ни странно – научил, терпеливо и доброжелательно сопротивляясь моему сопротивлению. Всех подмели. А Борю Вейсфеллера еще и предварительно из комсомола исключили.

Славное приснопамятное НКВД-шное прошлое института не настойчиво, но непременно прорастало в достопочтимое будущее не только неизменностью сути высшего чиновного

начальства. От бериевских времен еще при мне сохранилась обслуга, по традиции присматривающая за порядком. Пожилой, но вполне бравый завхоз по фамилии Повод с густыми брежневскими бровями – говорили, в молодости служил в охране отца народов – простукивал стулья, стены – проверял. Тоже по слухам – приветливая гардеробщица компьютерного корпуса служила на даче все того же отца – кем и чем – не знаю. А милая, неизменно дружелюбная Зина, бывшая некогда лаборанткой у Р.С. Гутера, а в 78-м работавшая главным оператором на БЭСМ-6, вспоминая умершего Рафаила Самойловича, рассказывала мне с будничной обыденностью – Я-то попала сюда по вербовке НКВД...

Это только казалось, что зловещая тень крестного отца института Лаврентия Павловича Берии растаяла по оттепели и сгинула в Лету – ничего подобного – традиции, как известно, живучи. Вот и сейчас – институт при последнем издыхании, а в коридорах власти без перемен. Хотя молебны в церкви на территории ИТЭФа – кстати, отреставрированной с большой заботливостью (не чета конференц-залу и другим помещениям) свершаются истово и регулярно. Что можно сказать на это? Господи, помилуй – да и только. Впрочем, нынешний общий крестный отец из того же ведомства, и не он один...



Храм иконы Божией Матери "Знамение" при ГНЦ РФ ИТЭФ

...Как выглядел ИТЭФ на фоне подобных заведений, не берусь судить, но кое-что замечу. Когда в институте проходила сессия Академии Наук с присутствием опального Сахарова – я свидетель – Андрей Дмитриевич шел, и ему сопутствовал круг

пустоты – никто, ни одна живая душа не посмела приблизиться к академику, и это при том, что с незапамятных хрущевских времен некоторое своенравное непослушание – памяти уволенного из института диссидентствующего Юры Орлова все-таки присутствовало – не сказать, что явственно, но чем-то-то вроде улыбки чеширского кота – случалось, хотя и искоренялось. Оно досталось в наследство Лева Пономареву и, пав на благодатную почву, привело его в политику, но это было уже в мое отсутствие, а при мне он больше занимался теоретической физикой, хотя и тогда придерживался свободомыслия не на словах, а на деле. Лично мне он очень помог, снаряжая в эмиграцию, хлопотал, на морозе стоял в очереди, чтобы получить для меня разрешение на вывоз картин, не представлявших ни малейшей ценности ни для кого, кроме меня – власти наслаждались властью, а Лева тяжело простудился. Он приезжал к нам в Нью-Йорк – не изменился ни на йоту – молодежавый-молодой, полный энергии, только веснушки побледнели, а так все тот же, и голос, как и был, с теми же модуляциями – глуховатый. С ним я изредка общаюсь по Скайпу, как, впрочем, и с Костей Боресковым. Постоянная связь не прерывается и с Мишей Монастырским. Он часто бывает у нас в Нью-Йорке, да и при случае мы обязательно встречаемся на пересечении когда-то недостижимых для нас параллелей и меридианов – несколько лет назад в Париже, а в прошлом году в Кембридже.



Н.Н. Мейман

Наум Натанович Мейман возглавлял малочисленную группу математиков, он был моим с Мишей начальством и всякий раз поражал перемешанными зубами в непонятной улыбке, редкостной эрудицией и желтоватыми, несколько вислыми щеками. Его я боялась до оцепенения.

Побаивалась я многих. Съживалась под отсутствующим, как мне казалось – гипнотически-холодным, а скорее всего просто сосредоточенным взглядом Берестецкого, а крепко сбитого колоритно-крупногабаритного Иосифа Соломоновича Шапиро старательно обходила стороной, что было совершенно необязательно – он меня и так не замечал.



К.А. Тер-Мартirosян

Зато Карена Аветовича Тер-Мартirosяна не боялся никто – и даже просто этим – память о нем бесценна. Он, кстати, похоже, не заходил в комнату с китаистикой, разве что эпизодически, на минутку, что-то с порога приговаривая – как бы прерванное и как бы незначительное. Он вообще заметно чурался значительности.

Его я помню скорее в микроскопическом кабинетике наверху – декорации воспоминаний меняются, а Тер-Мартirosян нет – всегда немного грустный и ироничный одновременно – скорбный рот и печальный нос, а глаза разбойничьи-веселые – собеседника зовут Олег Хрусталеv, он из Серпухова от Боголюбова, и Карен наивно насмешлив, да не в бровь, а в глаз – Пока вы не подсудимый, не надо юлить – прозвучало колко, но на удивление нисколючко не злокозненно – вот такой он был – по сути блистательно и разительно остроумный, но абсолютно беззлобный.

Все выглядело да и было шалостью, и возможно, потому сходило с рук. После изгнания неугодного Кронрода, возглавлявшего математический и компьютерный отдел, нам

прислали некоего Богомолова – своего человека из небезызвестных органов – заведовать новоиспеченным вычислительным центром. Разумеется, при всех регалиях – Богомолов, как и положено, был доктором каких-то там наук, – но заметно ощущалось, что все эти регалии и докторское звание были пожалованы ему не за блистательные научные заслуги. Карену бы промолчать по этому поводу – да не тот случай – при обсуждении на ученом совете – он возьми да и любознательно спроси – Скажите, а вообще-то высшее образование у него есть?

Другому бы за это руки-ноги оторвали, а он мог бы жизнь просвистать скворцом, но не мне судить, просвистал или нет. Тем более что жизнь не баловала его – рано, совсем молодым умер его сын, а дочь страдала тяжелой неизлечимой болезнью.

Я к нему отношусь с большой нежностью. Еще бы – он мне как-то сказал – Не везет мне с аспирантами – вы так же плохо воспитаны, прямо как Володя Грибов – дайте человеку хоть слово сказать.

Из песни слов не выкинешь. По сути, я решительно затеяла с эмиграцией из-за Тер-Мартirosяна. Зарабатывала я не просто гроши, а меньше всех, и однажды пошла к Карену попросить перевести меня в мнсы (младшие научные сотрудники), что давало и научный стаж и 10 рублей прибавки к зарплате. Карен не то, чтобы отказал, хотя, по сути, отказал – Что вам дадут эти 10 рублей, и потом – сколько может быть еще вреда от защиты диссертаций – люди просто перестают работать.

Сама себе удивляюсь, но я ужасно обиделась. Ведь Карен Аветович прекрасно знал, что мне никогда нигде не устроиться на другую работу, а 10 рублей составляло больше 7% моей месячной зарплаты, которая кормила-поила нас с мамой. И если даже такой порядочный человек не только не стесняется, но и пользуется этими обстоятельствами – мне здесь больше нечего делать.

Конечно, физики были, как и все, заложниками – привилегированными, но заключенными. Вполне возможно – не столько кандалы унижают личность, сколь привилегии. Не берусь судить, поскольку прекрасно понимаю – в оценке людей и событий я более чем ограничена – и малой осведомленностью и непониманием-недопониманием ситуации и просто – что уж греха таить – собственной ограниченностью.

Перед подачей бумаг в ОВИР, накануне увольнения – это было уже в 78-м году, я, как говорится, открылась Карену Аветовичу – все, как на духу – о том, что собираюсь в Америку. Как всегда – реакция была непредсказуемой. Он всполошился – Как можно – женщина, одна, в Америку, да вы с ума сошли! Нет,

поезжайте лучше в Израиль. Там у меня, по крайней мере, знакомые есть – все-таки не так страшно. И еще – если что – передумаете, мы вас обратно возьмем.

Этот разговор с Кареном сильно отличался от разговора с Чувило, которому я принесла предотъездные бумаги на подпись. Чувило – бровастый, с копной приглаженных, возможно, кудрявых, но казалось, торчащих в разные стороны, странного песочного цвета волос, похожий на комического персонажа из второсортного мультфильма – аккурат в этот день собирался в Америку, и у него в кабинете, кроме меня, был умелец, починивший его заграничный калькулятор. Респектабельному директору Института Теоретической и Экспериментальной Физики – подмахнуть бы мои бумаги молча, и дело с концом. Так нет же – Чувило не таков, обращаясь к монтеру – давай обо мне в третьем лице – чего он там приговаривал – вспоминать и стыдно и противно.

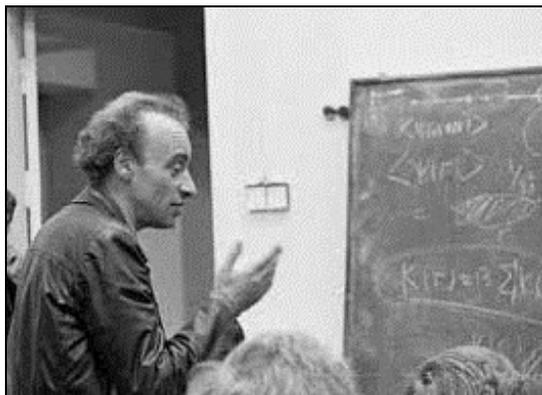
Кстати, Карен – не чета малорепрезентабельному Чувило – очень помог мне тогда со всеми этими бумагами и в отделе кадров и в бухгалтерии.

Я встречала много разных людей – Карен Аветович был одним из самых порядочных и очаровательных. И незабываемых. Да – это было незабываемое время, я сама себе завидую – ревную к собственному прошлому.



А Костя Боресков? Нет и не было у меня лучшего советчика, как нет и не было подобного склада, глубоко и щедро понимающего человека. Таких теперь просто нет, а если и случаются – по недоразумению. Платонов да быстрых разумом Невтонов, может, еще и допускают к существованию, но милых той естественной благородной скромностью, которая дается тем, что называется природной одаренностью и культурой – негушки.

Костя замечательно приглашал меня – Завтра на семинаре выступает Шехтер – обязательно пойдите – зрелищно – обаятельный мужчина, очень советую. – Или – Сходите послушать доклад Грибова – как никак будущий нобелевский лауреат.



В.Н.Грибов

Есть мальчики, которые рассказывают истории, и слушать их всегда интересно – им есть что сказать, и они умеют рассказывать. Костя безусловно из этой когорты. В этом смысле мне везет. Таким же прекрасным и увлекательным рассказчиком был и есть Миша Монастырский, свидетельство тому его книги из истории математики, но живое общение с ним – это совершенно особая статья. Миша Маринов тоже был головокружительно и щедро разговорчив, но совершенно по-другому – он был энциклопедистом – никакого *ÉGALITÉ* и с большей дистанцией. И еще – по костиному зову, приходил в ИТЭФ – редкий, замечательный эрудит и умница Сережа Илларионов. Ничего не скажешь – что было, то было – настоящий пир – воздух всех этих бесед был остро витаминозен – даже не сутью своей, а подтекстом благородного общения. Я благодарна им – за это, за воспитание чувств.

У нас дома за раздвинутым столом. Алеша Кайдалов привычно настраивает гитару. Наташа – жена его – театрально – Да ты у нас, отец, регент. – Кто-то принес кастрюлю вареной, уже остывшей картошки. Мама сердится на меня – Ну, кто угощает гостей холодной картошкой?! – Она испекла для нас громадный пирог с капустой – Миша Маринов – тянется к пирогу – Можно мне серединку? – И мне! – И мне... Есть такие гениальные мамы –

серединок, так же, как ее доброго гостеприимства и искрящейся улыбки – хватает на всех.

Однажды на зимней школе ко мне подошла женщина экспериментатор – Я завидую вашим отношениям с теоретиками – они с вами вежливы, как с женщиной и панибратски, как со своим парнем, в чем секрет? – Очень просто – я их люблю – всех и каждого.

И до сих пор продолжаю любить. Всех и каждого.



## Александр Половец

### Булат

От автора



Сегодня Оля Окуджава сказала: «Вот, дожили все же – будет фестиваль... В июне. Первый фестиваль памяти Булата. Международный: приедут японцы, шведы, американцы, поляки, будут петь песни Булата на своих языках. В Москве. На Арбате...». Тысячи телефонных миль, разделявшие нас в разговоре, сохранили интонации, с которыми это было произнесено.



Булат Окуджава с автором

...Международный. Помню, Окуджава с некоторым удивлением рассказывал, как его принимали в Японии: аудитория (вряд ли кто из составлявших ее знал русский) подолгу рукоплескала ему, даже если это были только стихи. Или вот еще, вспоминаю я сейчас. Лет 15 назад в числе моих близких знакомых была актриса из Польши, дочка известного варшавского режиссера. До отъезда, кажется, даже бегства из своей страны – не забудем, какое это было время – Катя была дружна с самыми непримиримыми к власти польскими диссидентами и даже открыто входила в довольно узкий их круг. Имя Окуджавы,

рассказывала она мне, на ее родине не менее известно, чем у нас в России – и так же почитаемо. Его песни – неперменный атрибут, даже ритуал студенческих и профсоюзных сходок популярнейшей тогда «Солидарности»: «Возьмемся за руки, друзья!» – почти их гимн.

Незадолго до того Окуджава гостил в Штатах – на моей памяти в третий раз. В его приезды мы виделись при тех или иных обстоятельствах, а однажды (по-моему, в самом конце 70-х) я имел серьезный нагоняй от Елены Вайль, профессора кафедры славистики, пригласившей Булата с лекциями в ее университет: нагло поправ свои собственные обещания, я задержал Окуджава в городе на ночь.

Причина была основательная: университет тот отстоял от Лос-Анджелеса миль на 50, мы заобедались – сначала в популярном тогда, первом в Лос-Анджелесе русском кафе «Миша», потом где-то в гостях – ехать за город в ночь никому не хотелось. Словом, волнение Лены было более чем объяснимо. Конечно, наутро Окуджава был доставлен на кафедру, лекции прочитаны, но она долго еще сердилась на меня и при случае напоминала о моей непростительной беззаботности.

В другой приезд Окуджава наше полное примирение с ней, тогда уже тяжело болевшей (спустя год ее не стало), произошло у меня дома, где он заночевал. Конечно, был ужин в самом тесном кругу, и потом Булат пел, правда, недолго и немного, под каким-то чудом сохранившуюся у меня до нынешних дней семиструнку – изделие подмосковной Звенигородской фабрики.

Словом я имел основания обещать поклонявшейся Булату моей приятельнице, польской актрисе Кате, (чьё расположение, признаюсь, я ещё только завоевывал в те дни) возможность услышать ее кумира вблизи – может быть, даже у меня дома, вот здесь, в этой комнате. Чего в жизни не случилось – к следующему приезду Булата Катя благополучно вышла замуж за американского доктора, а дальше следы ее для меня теряются. Приведенная далее в тексте этого сборника фотография – та, где Лена Вайль, уже больная и передвигавшаяся лишь с посторонней помощью, сидит рядом с Окуджавой – как раз сделана у меня дома пару лет спустя.

Жаль, однако, что нет на этом снимке той Кати, все еще думаю я: мог же случиться у неё такой в жизни праздник – насколько я помню, Булат не избегал новых встреч и новых знакомств; для него было очень органично и нормально поддержать беседу с только что представленным ему, особенно если знакомство предварялось чем-то, внушавшим Булату интерес.

И вот визуальный пример: в тексте этого сборника читатель обнаружит фотографию – садовый стол во дворе, позади дома, вокруг стола гости, в числе их – Крамаров. По его поводу Булат как-то пошутил: народ узнал, что Крамаров еврей, и обиделся на него. Сейчас он внимательно слушает Савву, он знает, что за образом экранного обалдую кумира миллионов российских зрителей, кроется умный и тонкий артист. И вот они встретились – впервые и, что очевидно, ко взаимному удовольствию.

А еще Окуджава умел быть снисходителен – как, к примеру, в случайном разговоре с подсевшим к нашему столику в ресторане ЦДЛ подвыпившему книготорговцу, никому из нас дотоле незнакомому. «Я, конечно, не поэт и не писатель...» – традиционно для такого рода бесед начал он и потом минут десять говорил о любви к Булату, к его книгам (верю, не из корысти, хотя и для этого у него были веские основания – книги Окуджавы уже печатались в России и расходились завидными тиражами).

Говорил он не очень связно, Булат терпеливо слушал его, на что-то отвечал – словом, была видимость беседы, вполне удовлетворившей нашего нежданного гостя. Потом кто-то объяснил нам, что, начав на заре «перестройки» свое предприятие со скромного лотка в подземном переходе, этот человек создал книготорговую империю с нешуточным, даже по западным меркам, оборотом. Бог ему в помощь...

Обостренное чувство справедливости Булата – особый разговор. Вот крохотный, казалось бы, малозначимый случай. В моем дворе вдруг заводятся осы – хоть бы и безвредные, но весьма и весьма надоедливые: едва учуяв запах съестного, они с лазерной точностью пилотируют невесть откуда на только что выставленные тарелки с едой, что делает совершенно невозможным не то чтобы полный обед под открытым небом, но и скорое чаепитие.

Однажды Булат возвращается со двора в дом очевидно удрученным. «Что случилось?» – спрашиваю я его. «Да, так... Муравьи осу заели. Не то, чтобы ее жалко – но противно, когда много на одного...»

Что на моей памяти не однажды заставляло Окуджаву умолкнуть в разговоре, не поддержать предложенную тему – это все, связанное с творческим его методом. Искусство Булата, мне кажется, было и для него самого некоей тайной, препарировать которую, объяснять он не пытался: пишется вот так – и все. «Каждый пишет, как он слышит...». Сейчас я думаю, что его удивительный талант отчасти и в том, что работал он с самым обычным языком.

Если так позволено выразиться, с первым словесным слоем – без специальных изысков, без попыток изощренности: он брал валяющиеся под ногами камушки – и строил из них чудесный, удивительный храм. Его слог – это тот, которым мы пользуемся повседневно. Его дар – в способности построить фразу так, что сразу понимаешь: за ней кроется особое значение и особый, сокровенный и близкий тебе смысл. И получается, будто не он, а ты сам только что произнес слова, которые вынашивал в себе многие годы...

Как у него это получалось? Еще и потому, думаю я, что к каждой фразе, к каждой запятой в уже законченном (и спетом ...и опубликованном) тексте он мог возвращаться по многу раз, добиваясь абсолютной точности звучания, абсолютного соответствия их заданной здесь мысли. Мне довелось наблюдать, как перед выступлением он пролистывал стопки машинописных страничек, пожелтевших, а стало быть, увидевших свет не вчера, – и, зачеркивая слова, тончайшим пером вписывал в тесное пространство между строчками другие, более подходящие сегодня, более правильные, более точные.

Несколько таких выброшенных им, наверное, после перепечатки страничек случайно сохранились у меня: вот в «Зворыкине» он заменяет «...память о них» на «...безумие их» – и вся строфа приобретает абсолютную законченность, может быть, даже совершенство. В другом тексте он заменяет определение улыбки тирана с «праведной» на «умильную»: замечаете эффект этой замены?

Не одно поколение литературоведов будет кормиться от того, что принято называть творческим наследием ушедшего. И музыкальных критиков, и социологов: исследования композиторских находок Булата – обстоятельство, нередко остающееся не замеченным нашими современниками, а удивительный феномен – возникшие от начала 60-х миллионы единомышленников Булата Окуджавы – еще нуждается в объяснении.

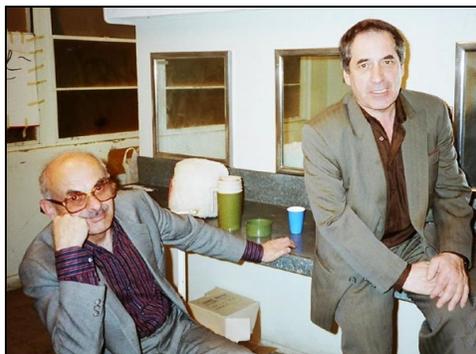
Моя задача куда скромнее – вспомнить и рассказать. С известной робостью я предлагаю читателю собранные в одной обложке эпизоды, свидетелем и в какой-то степени участником которых мне довелось быть – от нашей беседы (текст ее был опубликован скромным тиражом годы назад) до только что завершённой в написании главы, повествующей о днях, когда могла прерваться жизнь этого выдающегося человека.

С памятью о них мне никогда не расстаться.

### Для чего ты здесь...

Мы возвращались в Голливуд, в многоэтажную, занимающую целый квартал бульвара, respectable гостиницу – здесь в этот приезд остановился Булат Шалвович Окуджава «с сопровождающими его лицами». Традиционно эти лица в его творческих поездках есть члены его семьи – Ольга Владимировна и Булат-младший, носящий сценическое имя Антон. Так и в этот раз – не считая, конечно, импресарио, который к настоящему тексту прямого отношения не имеет и потому остается за кадром этих заметок.

Ехали мы быстро, скоростное шоссе, протянувшееся по самому краю долины Сан-Фернандо, выглядело в предночные часы действительно скоростным – вся дорога до отеля не должна была занять больше четверти часа. Только что разошлись те, кого хотел повидать в свой недолгий приезд Окуджава и кого удалось экспромтом собрать в этот вечер – за день до его отбытия из Лос-Анджелеса. Экспромт – он и есть экспромт: планировалось пригласить человек 5-7, откуда взялось еще 20 – известно только Господу. Лишним, однако, никто не стал, несколько минут растерянности завершились экспресс-визитом в ближайший супермаркет – словом, ничто не омрачило застольной беседы, если не считать ее непродолжительности.



В перерыве за кулисами

Об этом мы, собственно, и говорили сейчас с Булатом Шалвовичем, как бы по инерции возвращаясь к оставленной только что теме: перевернутая жизнь России, новые, неведь откуда пришедшие в нее люди, вчера еще казавшиеся невероятными события... Слушая его, изредка подавая реплики, я вел свой джип машинально, не замечая дороги, – и понял это,

лишь обнаружив, что мы въезжаем под арку, за которой начинается территория отеля, совершенно для себя неожиданно. И так же неожиданно я предложил Окуджаве: а не продолжить ли нам с ним беседу при магнитофоне?

Первая половина следующего дня оказывалась свободной, и с утра мы уже сидели в его номере у небольшого круглого столика, на котором я пытался приладить портативный микрофончик – так, чтобы шум работающего кондиционера не перекрывал негромкий голос Булата.

– Я не уверен, что формальное интервью – это то, чего ждал бы от нас читатель. Да и готового плана у меня нет... – признался я. – Попробуем представить себе контуры беседы так: «Поэт и эпоха». А конкретнее – отношение Булата Окуджавы к происходящему в России: что, на его взгляд, случилось со страной, с людьми? Каких еще перемен можно ожидать там?..

#### **Когда все это случилось...**

– Знаешь, Саша, мне вообще сложно отвечать на такие вопросы – я ведь не политолог... – заговорил после недолгого молчания Окуджава.

– Именно потому интересно, – вставил я, – потому что не политолог...

– Да, я понимаю, – но поэтому я, быть может, буду произносить какие-то смешные вещи. И, может быть, даже буду, что называется, открывать Америки... Я не думал об этом систематически, но вот что главное: когда все это случилось и когда процесс начал развиваться, я обнаружил, что во мне почти ничего из происходящего не вызывает удивления. Огорчение – вызывает. Горечь, печаль... Вот. Потому что, как мне кажется, я неплохо знаю историю России, увлекаюсь и занимаюсь ею.

Не то чтобы я предвидел это – но, в общем, то, что произошло, и то, что происходит, мне с каждым днем представляется все больше и больше логическим развитием нашей истории, нашего общества вообще. Так называемые национал-патриоты говорят, что Россия – особая страна, ни на кого и ни на что не похожая, и отношение к ней, соответственно, должно быть особенное... Ни на кого не похожая – это действительно так. Ну и что? И Франция ни на кого не похожа, как любая другая страна, – никакого превосходства в этом я не вижу.

Но у России есть свой путь развития, свой исторический путь: те печали, которые мы сегодня испытываем и переживаем, они как раз и есть результат логики развития этих специфических черт. Именно – российских! Если же говорить конкретно, я и до этого уже много раз повторял: Россия никогда не знала, что такое

демократия, и большевики, которые столько кричали о демократии, придя к власти, даже маленькие зародыши этой демократии, вспыхивавшие время от времени, попытались вытравить и уничтожить – чтобы удобнее было управлять. Им не нужны были сознательные, самостоятельно мыслящие демократы, им нужны были тихие, послушные рабы. А все это, конечно, прикрывалось флером: культура – флер, искусство – флер, дружба народов – флер...

Жаль, на письме невозможно передать интонацию, с которой Окуджава произносил эти слова, как-то особенно растягивая их – культу-ура... иску-усство... И она, эта интонация, в контексте того, что он говорил, значила так много!

– Служение народу... – рискнул вставить я.

– Служение наро-о-ду, – повторил с той же интонацией Булат. – На самом деле, все это было ложью, и мы это хорошо знали. Но большевики ничего нового не открыли – они просто усугубили те особенности, которые в российском обществе существовали до того, и главная из них – отсутствие демократии. Отсутствие ее в крови. Конечно, в России всегда были личности, настроенные демократически, мыслящие – этого не отнимешь... Но в целом, если говорить об обществе – оно было холопское, не знающее демократии.

Россия никогда не знала института свободы: Россия знала, что такое воля, но свободы она не знала – то есть воли, поставленной в рамки закона. Поэтому не случайно именно в России родились анархизм, терроризм, пугачевщина, разинщина. А еще – Россия никогда не уважала личность, Россия никогда не уважала закон. Вот это я и твержу все время: пока эти качества мы не привьем обществу, ничего путёвого ждать нельзя.

Конечно, процесс демократизации будет идти – если на него будут настраиваться мыслями, если ему будут споспешествовать: какая-то часть общества понимает необходимость этого, пытается что-то делать. Небольшая часть общества... Я не могу сказать, что все наше общество тупое, холопское – нет! Но слишком большая разница между тоталитарным режимом, который существовал, и внезапно открывшейся возможностью самостоятельности: делай, что хочешь, живи, как хочешь, выкарабкивайся!

Это не свойственно нашей ментальности, нашей психологии, не соответствует стереотипу, в котором мы воспитывались. Мы же все – и руководители, и рядовые – вышли из одной шкуры. Все из одной шкуры... – задумчиво повторил Булат. – Одни чуть умнее, другие чуть глупее. Одни более

образованы, другие менее – но, в общем-то, из одной шкуры вышли... Вот это я и наблюдаю, этот процесс, – который меня не удивил и который меня огорчает. Потому что сколько он трагедий несет, сколько печальных ситуаций!..

– Только огорчает – или все же дает какие-то основания для оптимизма?.. Доминанта какая?

– Ну, в общем-то, я от природы оптимист. Но – грустный оптимист. Я верю, что этот процесс будет продолжаться и развиваться. И в то же время я думаю: понадобится, конечно, не одно поколение, чтобы прийти к тому...

Окуджава, недоговорив фразу, задумался. Что он сейчас имел в виду?

– Чтобы новые обстоятельства жизни стали естественны для народа? – предположил я, прерывая затянувшуюся паузу.

– Конечно! Вот в том-то и дело! – он снова смотрел на меня, подперев согнутой кистью руки подбородок. В разговоре – это его любимая поза... – Когда началась перестройка, многие в нашем обществе думали: ну, сейчас, слава Богу, свобода, сейчас парочка хороших указов – и все пойдет по-другому! Не пойдет... Вот приняли, например, новую Конституцию... Многие ее ругают, говорят – нехорошая, неполноценная. Может быть. И все же она резко отличается от брежневской – и в лучшую сторону. Пусть побудет пока – потом посмотрим...

Но в ней есть такой пункт – я не могу сейчас точно привести его формулировку – в общем, о приоритете интересов личности над интересами государства. Никогда же этого у нас не было! Ну и что? Пожалуйста, ввели этот пункт – изменилось что-нибудь? Ничего, конечно, не изменилось – пока есть только декларация. Это ведь тоже нужно впитать в себя...

### **Что – сейчас?**

Здесь я вспомнил, что писатель оставил работу над романом; задуманным как широкое полотно, он рисовал десятилетия, следовавшие за большевистской революцией, – вплоть до нынешних дней; канву же повествования составляла биография самого автора. Первые части романа вышли из печати – и вот...

– Это связано как-то с обстоятельствами, о которых мы сейчас говорим, – с периодом, в котором пребывает постсоветское общество?

– Нет! Потому что я остановился на 37–39-м годах. Дальше начинается война. Войну я по-своему, как мог, уже изобразил, и продолжать роман мне стало просто неинтересно...

– А что сейчас интересно? Вот пугачевская эпопея: это уход от сегодняшних реалий – или есть какие-то другие мотивы?..  
– Задавая вопрос, я имел в виду слова Окуджавы о том, что сейчас его занимает тема пугачевщины – но не точное следование известной нам истории, согласно которой развивались события той поры, а нечто иное.

– Нет, нет, нет – не потому, что я хочу уйти от сегодняшнего дня. Я думал... я думаю, – поправился Булат, – если мне удастся... если мне удастся себя настроить как-то, если я найду вот этот крючочек – главный стилистический... Я хочу написать небольшой роман: исторический, но о том, как Пугачев победил и как он стал императором. И окружил себя нужными людьми... И ликвидировал ненужных... Я в этом вижу много аналогий. Получится ли – я пока не знаю, говорят, «загад не бывает богат»... Это нелегкая работа, конечно: надо опять погружаться в историю, тем более XVIII века. Она мне не очень близка: там свои реалии, свои детали – и все это должно быть достоверно. Просто сюжет фантастический, а реалии должны быть полноценными.

– А что сейчас, в нынешних российских реалиях, происходит с литераторами? – этим вопросом я предложил переход к теме не просто актуальной, но, по уверениям живущих там наших коллег, чрезвычайно болезненной.

– Это тоже сложный вопрос, Саша. Это очень сложный вопрос – потому что, как ты сам прекрасно знаешь, наша писательская организация, как и все вокруг, создалась искусственно. У нас 10 тысяч членов Союза писателей – и из них настоящих писателей, может быть, тридцать человек. Сорок. Сто. А что такое остальные? – Окуджава так и произнес – что?

– Остальные... – он немного помялся, выбирая выражение, – ну, либо менее одаренные люди, либо, – здесь тон его стал жестким, – либо люди совершенно случайные в литературе. Но какое-то время они были необходимы властям: нужно было увеличить процент литераторов из рабочих, например, – и их принимали. Из крестьян – принимали... Подхалимов принимали... Понимаешь? Доносчиков...

– И печатали...

– Да! Печатали книжки, помогли их написать. Я сам однажды участвовал в таком деле... – улыбнулся он. – Так что, вот из кого состоит Союз. А теперь рухнула вся эта система подкармливания сверху, поддерживания. Люди остались за бортом. Никому они не нужны, никто их не печатает. Ну – приходит озлобление, естественно. Когда человек озлоблен – он находит

себе подобных, и они сбиваются в стаю. И потом ищут виноватых. А для человека полуграмотного, в первую очередь, кто виноват? Грамота-то раньше не была главным.

А что? И без учебы получалось: ЦК командовал, делал его писателем... зачем учиться? Я не виню этих людей, я о системе говорю. Так же, как я не виню, например... вот ругают графоманов – я же их не ругаю совершенно. Графоман любит писать стихи – пусть и пишет их на здоровье. Я ругаю тех редакторов, понимаешь, которые их издают и выдают написанное ими за эталон. Вот это ужасно! А так – почему же...

– Но сейчас, когда издавать надо не за счет государства, а за свои, никто ведь не напечатает то, что заведомо не продается? – истина эта казалась мне универсальной: в конце концов, законы свободного предпринимательства объективны и для всех одинаковы...

– Нет, бывает, бывает, – возразил Окуджава. – Вот на телевидении, например, бывает. Пропагандируют, скажем, какую-то маленькую бездарную певицу, называя ее при этом звездой, суперзвездой. В чем дело? А потом выясняется, что это племянница заведующего какой-то редакцией. Вот такие вещи делаются...

– Ну, телевидение – это другое: работает приемник, и оно само приходит в дом, все подряд; хочешь смотреть какие-то программы – смотри, не хочешь – не надо. Но специально-то за них не платишь – и там имеют возможность «втюхать» зрителю что угодно, – не согласился я. – А чтобы человек купил книгу, ему этого должно захотеться. Какой же разумный издатель станет вкладывать деньги в то, что заведомо не будет продано?

– Конечно, конечно... Но вот, к примеру: заведующий редакцией со мной познакомился, я его угостил – и он теперь мою книжку по телевидению пропагандирует. И ее раскупят – вот и все... – коротким смешком завершил фразу Булат.

– Те сто писателей – они все же продолжают работать? – вернулся я к своему вопросу.

– Да, они продолжают работать. У них сложная ситуация: потому что сейчас, в период спасения, так сказать, людям, может быть, и не до литературы в буквальном смысле. Хотя книги и издаются, но уже меньшими тиражами, да и гонорары за них мизерны.

– Мизерны – это как? По сравнению с теми, что были? Или в сопоставлении с нынешней стоимостью жизни?

– Вот я напечатал в журнале «Знамя» роман, маленький – 10 печатных листов. Если бы я раньше его издал в таком объеме, я

бы за него получил... ну, 4 тысячи рублей. И, кроме того, я бы выпустил его отдельной книжкой – и получил бы за него, допустим, еще 6 тысяч. И у меня было бы 10 тысяч. Это по тогдашним ценам – две машины «Жигули», так? Сейчас мне за этот роман заплатили 170 тысяч. А машина «Жигули» в долларах стоит так же, как стоила тогда – 5 тысяч долларов. Сколько это в переводе на рубли? 10 миллионов? 15? А я получил 170 тысяч. Значит, сколько мне нужно романов таких написать, чтобы купить машину «Жигули»? Сто... Видишь?

Конечно, я видел. Но и неожиданного здесь, в ситуации, в которую время поставило российских писателей, находил я мало. На Западе, в Штатах, например, труд писателя – хорошего, даже замечательного, отнюдь не обязательно определяет его материальное преуспевание: чтобы он хорошо заработал – должен прежде всего заработать издатель, т. е. тот, кто вкладывает свои деньги в книгу, кто рискует ими. Таков непреложный закон рынка, и сделать с этим ничего нельзя. Да и надо ли? Об этом мы заговорили чуть позже.

– А много ли сейчас издательств, которые выпускают именно российскую литературу, книги российских писателей – а не переводы, скажем, Агаты Кристи и другие, проверенные рынком бестселлеры?

– Есть такие издательства... А еще я замечаю новую тенденцию – очень, на мой взгляд, отрадную. – Здесь Окуджава вернул русло нашей беседы в ее истоки. – Три года тому назад, – говорил он, – когда готовились к выборам в Верховный Совет России, в списке баллотирующихся кандидатов были такие, например, имена: Илья Глазунов, Станислав Куняев, еще несколько человек такого типа... Я тогда подумал – плохо дело: потому что Илья Глазунов очень популярен, и когда проходят его выставки – по два месяца, по три месяца стоят ночами очереди на них. При такой популярности, конечно, он пройдет. А если Верховный Совет будет состоять из таких людей, конечно дело. Но вот прошли выборы, и за них почти никто не голосовал, какой-то жалкий один процент. Это говорит о том, что общество состоит не из дураков – люди кое-что понимают.

– Не все, наверное... – вслух подумал я и напомнил собеседнику визит Ельцина на выставку Глазунова: тогда поддержка российского президента многими его сторонниками – и здесь, и в метрополии – мягко говоря, не была столь уж безоговорочной.

– Да, да, и выставку посетил, и обнял Глазунова, – добавил Окуджава.

– Это можно счесть ошибкой Ельцина? – поинтересовался я мнением Булата. – Или он, как многие считают, хотел лишь на определенную публику произвести определенное впечатление, как бы солидаризироваться с нею?

– Да нет... – не согласился Булат. – Его «купил» Лужков, друг Глазунова. А Борис Николаевич... Лужков хороший хозяйственник, он делает полезные дела – это Ельцин ценит. Остальное Борис Николаевич как-то не учел. Или – не знал. Сказал ему Лужков: «Великий художник, смотрите – очередь на него. Надо пойти!» – «Ну, пойдете...» – согласился Ельцин. Вот, собственно, и все.

### **Поэт в России**

Казалось бы – живопись и есть живопись. Интересно – неинтересно. Талантливо – неталантливо. А здесь получалось: наши – не наши... То же и с литературой. И тогда я спросил: по наблюдению моего собеседника, присутствует ли в сегодняшних обстоятельствах это свойство народного сознания россиянина: как там было у Евтушенко – «Поэт в России – больше, чем поэт...»? Соответственно, художник – больше, чем художник. И так далее...

– Я думаю – нет. – Ответ Окуджавы прозвучал уверенно, и при этом не чувствовалось в нем абсолютно никакого сожаления. – Поэзия, – говорил он, – сейчас в России занимает нормальное место. Раньше, в начале 60-х годов, у нас был поэтический бум. Но почему это происходило? Да по очень простой причине. Жизнь после XX съезда партии менялась. А пресса не менялась – она была та же самая. И партия стояла у руководства, и ложь была.

Так вот – поэтические вечера были тогда единственной отдушиной, единственной, где можно было почерпнуть... ну, духовную информацию, понимаешь... Это было несколько необычно – поэтому люди валили на вечера. И они ждали от поэзии чуда. Лекарства ждали от своих бед. Потом постепенно поэзия заняла свое место, бум кончился. Истинные любители поэзии остались, но их никогда не было очень много. А любопытные отсеялись. И сейчас...

– Но вот же, не далее как вчера, – использовал паузу я, – мы были свидетелями тому, как полторы тысячи человек, едва уместившиеся в зале, устроили овацию поэту Окуджаве... Пришли на встречу те, кто совсем недавно оставил Россию, и те, кто живет в эмиграции десять-пятнадцать лет. Там были представлены все слои общества! Так что, можно считать, мы наблюдали отражение энтузиазма современного российского народонаселения... Энтузиазма, проявляемого, как мне кажется, не только в связи с абстрактной любовью к авторской песне...

– Ты что имеешь в виду? – остановил меня Булат. Этого я почти ожидал, потому что знал, как не любит он, когда в разговоре с ним или просто в его присутствии говорят о достоинствах его книг, о его личной популярности... Убедиться в этом я имел возможность очень много раз.

– Я имею в виду отношение к поэту вообще – и к Окуджаве, в частности... – попробовал упорствовать я.

– Не будем обольщаться, – не согласился Булат. – Потому что многие здесь все-таки тоскуют по России. И я для всех – олицетворение России, вот в чем дело, понимаешь... У них это связано с молодостью, с надеждами...

– Значит, все же ипостась поэта-кумира, поэтапророка сохранилась – пусть не в полной мере, но применительно к определенному поколению людей и к определенной группе литераторов, – настаивал я. – Я думаю, что та часть людей из эмиграции, которая пришла на выступление, она достаточно представительна – и, наверно, для российского населения тоже.

– Может быть... Может быть... Должен тебе сказать, что я никогда на свой счет не обольщался: я всегда считал, что мои успехи, как и любой успех, связаны не столько с моими данными, сколько с качеством совпадения меня с потребностью времени. Вот потому я так прозвучал. А не потому, что я очень большое явление. Нет, – после недолгой паузы продолжил он, – если бы я сегодня вдруг появился с теми своими песнями, такого впечатления это, конечно бы, не произвело. Совсем другая атмосфера сейчас, совершенно другие запросы... Но я – как история уже, понимаешь...

– Признаюсь, я не однажды думал по этому поводу, пытался понять: время – да, совпадение – да... Но присутствует здесь еще нечто. – Не удержавшись, я снова нарушил табу, наложенное Окуджавой на собеседника: «меня при мне не обсуждать!» – Я вижу это нечто, главным образом, в противостоянии сомнительной концепции, выраженной поэтическими же, вроде бы, средствами – «Добро должно быть с кулаками...». И Куняев в этом утверждении вовсе не одинок. Все творчество Окуджавы – это утверждение чего-то совершенно противоположного: добро должно быть добро!

– Конечно, конечно! Кулак – это символ жестокости. Насилия. Ну, я не знаю, я себя обсуждать не хочу. Я никогда себя не анализировал, это не моя задача ...

Естественно. И мне оставалось лишь найти оправдание тому, что граница, допускаемая Булатом, снова оказалась мною нарушенной.

– Я просто ищу объяснения. Препарировать писательское творчество, на мой взгляд, вообще задача малоблагодарная. Вот написалось и написалось... С чем, конечно, не согласятся специалисты, ибо профессией их как раз являются подобные исследования.

– По опыту знаю, – продолжил свою мысль Окуджава, – если я подумаю: хорошо бы написать вот это, и оно произведет впечатление на этих – ничего не получится! Или получится чушь какая-то... Никогда нельзя задумываться над желаниями публики. Я кричу то, что мне кричится. А нравится это или не нравится – не моя забота. Потрафлять публике – это эстрадная манера. Да и то – серьезный эстрадный артист никогда не потрафляет публике, он делает свое дело. Вот Камбурова. Сначала ей было трудно, ее не понимали, не признавали. Постепенно образовался, как теперь это принято говорить, электорат, образовался круг ее почитателей – умных, серьезных.

– Но знаем мы и серьезных поэтов, грешащих слабостью: подбросить публике нечто, наверняка ей понравящееся.

– Есть, конечно! Но вот Пастернак никогда этим не грешил. И Мандельштам... И Ахматова...

– А с Пастернаком не приходилось встречаться? зацепился я за имя.

– Один раз в жизни я с ним столкнулся – и был в полуобморочном состоянии. Потому что для меня он – великий поэт. Я был совершенно неизвестен, не печатался еще. Шел 1948 год. Он приехал тогда в Тбилиси, его пригласили писатели Грузии – и я пошел к нему в гостиницу. Он меня очень хорошо принял, сказал какие-то слова, усадил, предложил – читайте! И я читал. Прочитанное мною на него никакого впечатления не произвело – потому что тогда я писал «под Пастернака». Еще я сказал ему, что учусь в Тбилисском университете и хотел бы перейти в Литинститут. И вот тут он заговорил – но не о моих стихах, а о том, что учиться надо в университете, и что все зависит от того, что в нас заложено, – где бы мы ни учились, кем бы мы ни были...

– Да, в действительности так и есть. Ну, что такое Литературный институт имени Горького? – смешно... В нашем университете преподаватели были не хуже, и знания нам давали более глубокие, чем в Литинституте... – «кузнице писательских кадров», – вставил я. – Но какие дворники там были!.. – Я имел в виду известную байку о талантливейшем Андрее Платонове: согласно ей, писатель, попавший в жестокую немилость, вынужден был ради жилья убирать двор московского Литинститута.

– Нет, – спокойно возразил Булат, – это легенда: он действительно жил там – это правда. А двор не подметал...

Окуджава поднялся, не спеша прошел в угол комнаты, где на стене был укреплен регулятор кондиционера воздуха. – Давай сделаем чуть прохладнее, ты не против? – Он вернулся к столу и, откинувшись в кресле, прикрыл глаза.

Я взглянул на часы – Ольге Владимировне пора уже вернуться из города, куда она отправилась с Булатом-младшим по каким-то случившимся здесь делам. Потом мы должны были ехать вместе. Они задерживались, следовательно, у нас оставалось еще время – чем я не преминул воспользоваться.

#### **Кто на кого влияет**

– Есть на «Голосе Америки» русская передача, своего рода «Круглый стол», – предложил я тему. – Поясню, о чем беседуют за «Круглым столом». В прошлом году, например, обсуждалась, в числе других тем, высказанная поэтом Иосифом Бродским идея издать за государственный счет лучшие произведения американской поэзии и раздавать их бесплатно населению – в гостиницах, в супермаркетах, на улице. От чего, по мысли поэта, люди должны будут стать лучше. Приглашенный участвовать в беседе, на вопрос, как я отношусь к подобной идее, я ответил, что очень «за» – если, конечно, лауреат Нобелевской премии имеет в виду реализовать ее за свой счет или с помощью каких-то других благотворительных источников – но не за счет американского налогоплательщика...

А недавно для обсуждения было предложено следующее: как влияет на российскую словесность периодическая пресса, издаваемая за пределами метрополии? Иначе говоря, помогают ли зарубежные издания, оставаясь изолированными от влияния социальных перемен, происходящих в сегодняшней России, сохранить традиции и нормы русского языка? Мы говорили о газетах, о литературе, издаваемой там – и раскупаемой массовыми тиражами. Ведущие программы искали подтверждения (или опровержения) следующей мысли: здесь, в наших изданиях, сохраняется в чистоте русский язык – в то время как в самой метрополии он за эти годы критически переменялся.

Словом, ситуация в беседе вырисовывалась совсем такая же, как в годы «белой» эмиграции – ни больше ни меньше!.. В числе аргументов приводился и следующий: обозреватели «Панорамы» П. Вайль и А. Генис публикуются сегодня и в российской периодике, чем непременно способствуют сохранению там культуры и традиций русского языка. И опять я не мог согласиться с ведущими: я действительно не очень себе

представляю эссе, скажем, Петра Вайля напечатанным в сегодняшнем «Московском комсомольце».

А то обстоятельство, что он иногда публикуется в «Литературке», а Саша Генис заседает в Букеровском комитете – ну как оно может повлиять на язык, которым заговорила сегодня массовая пресса – в унисон читателю, приученному уже ко всякого рода «тусовкам», «беспределу» и «контактным телефонам», пестрящим на газетных полосах «Московского комсомольца», «Комсомолки» и прочих пионеров печатного (уместно добавить – и непечатного) слова!.. Что думает по этому поводу поэт Окуджава?

– Сложный вопрос... – Булат медленно разминал в пальцах короткую сигаретку. На ощупь найдя зажималку, он прикурил и так же не глядя положил ее обратно на столик. – Для меня вообще литература никогда не делилась на эмигрантскую и российскую. Российские писатели, где бы они ни жили, остаются ими... Если определение «эмигрант», – перебил он себя, – понимать в политическом смысле, то есть человек, который вынужден был уехать, это другое дело. Но когда говорят «эмигрантский писатель» – это, по-моему, смешно.

– В контексте моего вопроса можно, например, предположить следующее: эмигрировавший писатель сохранил язык таким, с каким он уехал, в то время как остающийся и работающий в сегодняшней России, хочет он того или не хочет, подвержен влиянию языка улицы. У писателя есть уши – он не может не слышать...

Здесь я остановился, сообразив, что почти цитирую поэта. «Каждый пишет, как он слышит...» Господи, ну что с этим делать? Афористичность Окуджавы, емкость почти каждой его строки – мы же увезли это в себе, уезжая из страны. И если таможенник позволял (случалось же такое!), на дне чемодана, бережно завернутая в дорожные тряпицы, покоилась старомодная круглая магнитофонная бобина с песнями Булата. Помните, как собирались эти бобины?

Это сейчас каждая уважающая себя студия звукозаписи в России, да и в русском зарубежье, строит немалую часть своего коммерческого успеха на выпуске его дисков. Боюсь сказать «по большей части», но нередко незаконном, то есть без разрешения и спроса у владельцев авторских прав. А тогда... Тогда любая запись была незаконной, а перезапись – тем более, потому что приравнивалась уже к «распространению»...

Окуджава моего замешательства, казалось, не заметил.

– Ну, в общем-то, язык меняется – и особенно заметно это в России. Иногда он может меняться под влиянием совершенно чуждых ему вещей, но сама логика его развития объективна: язык воспринимает новое. Крайности – это, конечно, нехорошо, а так, что же – перемены идут, и процесс это совершенно нормальный. Вообще же, меня никогда не интересовало разделение – эмигрантские писатели, российские... Меня интересовало: талантлив он или нет, открыватель или нет. Это самое главное!

Вот сейчас появилось среди молодежи очень много так называемых модернистов, авангардистов. Из истории литературы мы знаем, что это было – и не раз. Но из всего этого моря авангардистов кто-то один по-настоящему проявлялся благодаря своему таланту – и оставался в истории литературы. Александр Сергеевич, например, – ведь молодым человеком он был авангардистом по сравнению с Батюшковым, с Державиным и с Херасковым. Но благодаря таланту он открыл новое, он создал эпоху. А все остальные померкли, остальные – где-то там...

Или вот группа футуристов – шокировавшая всех и занимавшая саморекламой: но из них один Маяковский благодаря таланту, пусть со всеми своими недостатками, неважно, – но утвердился. А Бурлюка уже не очень помнят... Где Бурлюк, где Каменский? Все это смешно... Я вспоминаю сейчас один эпизод, он есть у меня в романе. Мой неродной дядя, муж родной моей тети – был сыном очень крупного фабриканта, принадлежал к золотой молодежи. В первые годы советской власти, во время нэпа, собирались они на проспекте Руставели, гуляли, шантрапили... И приехал в Тбилиси Василий Каменский. Они, встретив его на улице, подошли и спросили: вы пролетарский поэт Василий Каменский? Он говорит гордо – «Да!». И тогда один из них дал ему пощечину: «Вот тебе за это!»

Мы рассмеялись.

– Да, все зависит от таланта, – повторил Булат. – Больше ни от чего. Потому что, когда собирается кучка желающих нашуметь о себе и они издают манифесты, которые и понять-то трудно, – эпатаж это, ничего больше... А потом вот, видишь, – помолчав немного, продолжил он, – допустим, есть (я не буду называть сейчас фамилий) один молодой, очень талантливый... очень даровитый, – поправился он, – человек. Но жизнь его так сложилась, что ему не хватает известности. Он ужасно мучился по этому поводу и решил прошуметь. Произведениями своими он пока прошуметь не может, а прошуметь надо... Значит, что он делает? Он начинает поносить предшествующие поколения: что они все – ничтожества и прочее... Я даже придумал такие четыре

строчки, – улыбнулся Булат: чтобы известным стать, не надобно горенье, а надо об...ть известное творенье... Вот этим и занимаются, понимаешь.

– Особенно стало модно на шестидесятников нападать... – добавил я. – Но и все же – судя по оглавлениям серьезных изданий российской периодики, появляются и сегодня новые имена. Вопрос: много ли их? И по силам ли им составить собою самостоятельный, значимый период, может быть, не только в литературе, подобно тому, как это случилось в 60-х? Мы-то здесь, на расстоянии, не всегда можем следить за ходом литературного процесса в России. Иногда я просматриваю каталоги «Международной книги», вижу имя, вижу солидный тираж: ну, думаю, наверно, популярный писатель, а мы о нем здесь и не слышали...

– Я тоже плохо их знаю. В этом смысле я похож на вас, между прочим. К тому же, живу я уединенно, очень мало ко мне в руки попадает такого, чтобы прочесть – и ахнуть. Пока я не встречал подобного у молодых. Нет, наверно, есть... конечно, есть! Но мне по этому поводу сказать нечего.

– А из работающих за рубежом?..

– Сегодня? Ну, вот, скажем, прочитал с интересом Владимова: «Генерал и его армия» – это очень серьезная вещь. И Войнович Володя – я читал несколько его повестей... Аксенова, трехтомник его последний, прочесть еще не успел, так что ничего не могу сказать.

– Американская критика на творчество Аксенова очень благожелательна, самые высокие оценки. И в прессе его охотно публикуют. Вот и выходит, что зря пугали: мол, утратили почву, можно ставить точку на их творческих биографиях... На самом же деле получается, что отъезд писателей из России творческих их возможностей вовсе не отнял. Чаше, наоборот, – расширил их.

– Знаешь, в каком-то смысле на некоторых из них все же отъезд сказался. Но я не судья, я не могу сейчас обстоятельно анализировать – произошло это потому, что он уехал, или потому, что это просто очередная неудача, допустим, как у всех бывает. Что тут судить?

**Идущему – осилить дорогу**

Мы помолчали...

– Возвращаясь к ситуации в России, что можно сказать по поводу поддержки государством издательств, ставших частными, поддержки отдельных литераторов – следует ли это делать?

– Ты помнишь, – с готовностью поддержал тему Окуджава, – однажды, года два тому назад, группа литераторов

обратилась с разговором в правительство – о необходимости материальной поддержки писателей и вообще работников искусства. В ответ выступил кто-то из ваших публицистов, сейчас не вспомню – не то Генис, не то Вайль.

Посмеявшись над этим предложением, он сказал, что в Америке, например, такого не существует, и это, мол, даже смешно. Да, вообще, конечно, к этому должно все сводиться – к самостоятельности пишущего, к его независимости от государства. Но, я думаю, когда происходит такой резкий перелом, переход всей системы из одного качества в другое, нужно год-два поддержать людей – да хотя бы в той степени, чтобы они не наложили на себя руки...

Потому что положение сложилось сегодня просто трагическое. Помочь-то надо чуть-чуть – а потом постепенно свести на нет эту помощь и предоставить возможность жить, как живут все. Мы имели в виду именно этот период... Представь себе: человек не умеет плавать – в других странах люди умеют плавать, а в России не умеют, – и вот решили бросить их всех в воду, провозгласив: будьте как все! Ну как можно! Один, два года надо поучить их плавать – потом пусть плавают.

– Это относится к поддержке конкретных людей или издательских структур? – попросил я уточнить.

– Конечно, издательств! Им государственная помощь нужна сегодня в первую очередь.

С этой мыслью оставалось соглашаться – или не соглашаться. Опираясь на скромный опыт издательской работы здесь, в Америке, я, честно говоря, не склонен был ее разделить, – имея в виду, что отсутствие государственной (да и любой иной) поддержки не помешало в свое время возникнуть, например, издательству «Ардис» в Мичигане, выпустившему сотни наименований русских книг. Или нашему «Альманаху» – а тому вот уже 17 лет...

Да и в самой России жива такая точка зрения: помощь государства определяет полную зависимость от него. Даже если она ничем не обусловлена – что в нашей стране, признаемся, бывает нечасто. Что же касается литераторов, например, их ситуация, действительно, выглядит критически: писать роман можно годами, а как в это время жить? Правда, существует в России замечательная организация, призванная помогать пишущим, – Литфонд. О его судьбе я и спросил моего собеседника.

– Здесь положение совсем не простое. Союз писателей – Российский, не нашей ориентации, так сказать, – это Окуджава произнес усмехаясь, – «бондаревский», требовал, чтобы им

передали все имущество Литфонда. И они прошли все судебные инстанции – вплоть до заседания Верховного суда России, на котором и я присутствовал. Серьезнейшее заседание было.

Выступали те и другие – в частности, я, выступая не за бондаревскую, а за противоположную сторону, сказал следующее. Литфонд был образован 150 лет тому назад как независимая организация, призванная оказывать помощь нуждающимся литераторам. Потом, после революции, Литфонд подчинили Союзу писателей. Теперь новые времена, и я считаю целесообразным и логичным, чтобы Литфонд получил свой прежний статус, нормальный – с которым он родился. Суд так и постановил: никакой подчиненности. И помогает Литфонд сегодня и тем и другим – писателям. А средства его образуются из отчислений от гонораров и тому подобное – этих подробностей я не знаю. Пока вопрос решился так. Что будет дальше, сказать трудно: они там настроены враждебно, продолжают интриговать...

– А их, членов бондаревского Союза, численно, пожалуй, больше, чем тех, кто действительно есть писатели?

– Я думаю – больше. В Москве-то их не больше, а по России – безусловно больше. Есть очень много провинциальных организаций... Вот я сейчас вспоминаю Калугу, где я жил, – там тоже есть «писательская» организация. Кто они такие, ее члены? Неизвестно. Они, конечно, примыкают к бондаревцам – я для них вообще черт знает кто: интеллигент, что ли... Словом, непонятно кто – не то еврей, не то грузин, не то армянин... Вообще, что-то такое не наше; не российское.

– Но ведь что знаменательно – открыто не ругаются: я не видел, чтобы в последние, скажем, лет двадцать в прессе кто-то вдруг отругал Окуджаву.

– Нет, ругают за что-то – за 60-е годы, за прошлое; но так – нет, никто.

Оно и понятно – символ времени, символ неприятия подлейшего государственного устройства, духовного ему сопротивления, символ чистоты и порядочности, хранимый среди немногих оставшихся ценностей в растерзанной душе россиянина – иди, отругай его! Вслух я, конечно, ничего такого не сказал: не хотелось напороться на что-нибудь вроде «да ладно, брось ты это...». Но вот совсем недавно отмечалось семидесятилетие поэта – торжества произошли вполне всенародные.

– Много народу было на юбилее? – спросил я Окуджаву. Больше спросил для текста интервью, потому что немало подробностей с этого юбилея дошло и до нас, в том числе и видеолента. Хотелось, чтобы ответил сам Булат – как ему, при его

огромной нелюбви ко всякого рода торжественным мероприятиям, показались эти юбилейные дни.

– Не могу сказать – много, театр-то, где была встреча, небольшой. Но набит он был битком. И на площади стояло в течение нескольких часов громадное число людей. Меня просили выйти на балкон, я ужасно не хотел: выглядеть, будто я, знаешь, Ленин, выступающий с балкона дворца Кшесинской, – очень неловко, не для меня это все. Но – заставили, упростили. В общем, я вышел, посмотрел. Знаешь, я боялся, что собралось... ну, бездельники уличные собралось там. Гляжу – стоят нищие интеллигенты...

– А настоящая интеллигенция – нищая? – этим полувопросом я попытался вывести из задумчивости умолкнувшего вдруг Булата.

– Конечно, конечно – да! – прищурившись, Окуджава вставил в мундштучок которую уже за это утро сигарету. – Но все-таки культура наша держится на ней – понимаешь, какая вещь. Вот я представляю себе: библиотека. Библиотекаря, образованная старая библиотекарша... С хорошим вкусом. Нищая. Но для нее существуют только книги! – хорошие книги – и она уговаривает тебя именно эту книгу взять. Это замечательно: она пропагандирует ее...

– И на этом она ничего не заработает, никаких денег...

– Что ты! Какие деньги! И так же в школе. Вот школьный учитель – настоящий учитель, я не имею в виду всяких там прохиндеев. Он трудится тоже за гроши – и вкладывает в тебя, вкладывает... Ради чего? Не ради заработка, понимаешь? Или врач – честный врач, который, работая за копейки, спасает человека.

– Они живы, они есть, они всегда сохраняются в России, при всех режимах. Я думаю, об этом можно судить хотя бы по тому, что Булат Окуджава снова ездит по стране. А ведь был период, когда не стало этих встреч – в восьмидесятые годы, кажется?

– Да. В 80-е, начало 90-х...

– А почему: неужели показалось, что прошла эпоха, что это уже больше никому не надо?

– И так казалось... Да и уже не приглашали. И, вообще, какая-то была ситуация... – Булат задумался, как бы вспоминая. – А сейчас, – он поднял глаза, – сейчас полно приглашений, только езжай! Потом, я тебе скажу, – еще такая отрадная деталь: вот я был в Новосибирске, и мне рассказали, что в течение трех последних лет никакого интереса к искусству там не было. Вообще погасло все это: к примеру, в филармонии в прекрасном

зале выступает приезжий скрипач с мировым именем – 15 человек в зале собиралось. И все... А последний год – сплошные аншлаги!

– Есть какое-то объяснение этой перемене?

– Я думаю, люди постепенно приспособились к жизни. Научились зарабатывать, нашли свое место, свою нишу в этой новой ситуации, раскрепостились, пропало безразличие. И хочется им получить что-то для души, хочется освежиться, что ли.

– Освежиться... – повторил я за Окуджавой. – В ноябре, говорят, ожидают события...

### **Такого рода политика**

Беседовали мы примерно за месяц до «ноябрьского» юбилея, и в российской прессе муссировались слухи – может быть, не без подачи заинтересованных сторон, – что определенные силы непременно используют годовщину для «освежения» ситуации в стране: забастовок, демонстраций и, соответственно, уличных беспорядков. А там, глядишь...

– Я не думаю, что произойдет подобное тому, что бывало раньше. Во-первых, люди устали от политики. Да и политика достаточно себя скомпрометировала, такого рода политика, – добавил он. – Митинги там, знаешь, многотысячные... нет, вряд ли. Остались какие-то любители митинговщины, старые коммунисты – «за Сталина!» – но это капля... Единственное, что серьезно может случиться – крупная политическая забастовка. Например, забастовка шахтеров по стране.

Это – серьезно! А так, на площадях и улицах – обычные жители. Ну, сбегутся зева-а-аки, – протянул, как бы подчеркивая пренебрежение этим фактором, Булат. – Я вот себе представил и хотел даже написать рассказ, только я его не написал. И не буду писать, но мысль была такая: 91-й год, некий Ваня, молодой человек, идет однажды по Краснопресненской набережной – и видит, что такое? Какие-то баррикады, понимаешь, там, молодые люди с гитарами, поют. Настрой такой приподнятый у людей, Ельцин на броневике.

– Что такое? – спрашивает. Ему говорят: за свободу мы тут!

– Да? Ну, я тоже!

Приходит 93-й год. Идет он с работы, там же, и видит: опять баррикады. – Вы чего тут? – Мы за свободу! – А, давай, падло!.. И опять...

– Раз уж мы заговорили об октябре – вот стреляли по Белому дому, – а надо ли было?

– Я думаю, это от паники.

– То есть не следовало стрелять?

– Не следовало, конечно! Теперь, уже задним числом, омововцы и всякие там эти структуры – как их называют – «Альфа», – они теперь заявляют: вообще там одного батальона было достаточно, чтобы всех утихомирить и чтобы все встало на свои места. Ну, а где он был, этот батальон – я не знаю. Знаю, что была паника. Была жуткая паника.

– Люди боялись потерять все сразу...

– Конечно! Была жуткая паника, – повторил Булат, – вот они и стали палить. Потом начались легенды: о том, что там погибло 5 тысяч, что подземными ходами возили трупы... Все это провокация. Конечно, какое-то число людей погибло. Здание... ну, здание – хрен с ним, его уже восстановили, ничего не заметно. Вообще же, я всегда считал: хоть я, конечно, против стрельбы и всего такого, но власть должна быть твердой. Тем более в нашем обществе, незаконопослушном, понимаешь?

Власть должна быть твердой! – убежденно повторил он. – Не жестокой – но жесткой. Она должна опираться не на насилие, но на силу, – уважительно подчеркнул он слово «сила». – А как же иначе? Тогда ведь страдают добропорядочные люди – если какая-то кучка мерзавцев, понимаешь... – не окончив фразы, он, помолчав секунду-другую, продолжил: – Я всегда это считал. Но, вот, к сожалению, Ельцин... Я уже об этом както говорил тебе: существует такая очень интересная формула – русский может поднять одновременно тонну, но он не может каждый день систематически поднимать по килограмму. Ельцин – типичный русский. Вот он в 91-м году поднял тонну, да? – и заснул. И тут началось черт знает что: и фашисты появились, и вооружаться начали, и дошло в конце концов до 93-го года.

Разбудили Ельцина, он встал, поднял тонну – и опять заснул. Ему в телевизионном интервью Эльдар Рязанов говорит: «Борис Николаевич, извините меня, пожалуйста, но я вам задам такой вопрос. Говорят, что вы всегда нуждаетесь в подталкивании – правда ли это?» Что бы сказал на его месте Горбачев, допустим, или какой-нибудь другой деятель? Он сказал бы: неправда, у меня есть твердая линия, и я точно знаю, когда и что делать. А Ельцин ответил: «Да, что делать – меня надо подталкивать!» – Булат рассмеялся. – И мне нравится в нем это умение – признавать свои слабости.

– Но имеет ли лидер России сегодня право на слабости? Нация нездорова – и лекарства могут требоваться жестокие, болезненные...

– Конечно! – согласился Булат. – Тем более – нация, которая привыкла на протяжении нескольких веков жить под

палкой... Даже не нация – это неправильно. Это же многонациональная страна. Это – общество больно.

Окуджава был прав – я неуклюже употребил американизм, полагая, что и собеседнику он мог уже стать привычен: нация – народ – общество...

– Возможно – то, что я скажу, выглядит крамолрой. Но сейчас, прокручивая в памяти задним числом события последнего десятилетия, думаю, что реальные возможности привести страну к подлинной демократии были упущены при Горбачеве: может быть, надо было не революционным путем, но постепенно вводить страну в демократию?

– Да, приучать надо было. Горбачев, в общем-то, был прав в своей постепенности, но был не прав в структурах, которые он постепенно создавал. У него все вывалилось из рук, и все действовало без него. Он уже ничего не понимал: что нужно, что не нужно... Хотя сегодня я могу сказать, что вижу очень незначительное, но все же движение. Я все время наблюдаю, я вижу это. Россия ничего почти не умеет, поэтому она очень медленно это все осваивает.

(полностью статью можно прочитать на сайте «Семи искусств»)



# Лев Харитон

## Визит Королевы

*Тот город, мной любимый с детства,  
В его декабрьской тишине  
Моим промотанным наследством  
Сегодня показался мне.*  
Анна Ахматова



ой отец Давид Харитон был довольно известным в Москве адвокатом. Вторую половину своей жизни он всегда работал в юрконсультации, находившейся на Пушкинской улице (нынешней Большой Дмитровке, как и в дореволюционные времена) прямо напротив Колонного Зала Дома Союзов. В этой консультации работали многие знаменитые адвокаты. И жившие в Москве люди, и те, кто приезжали в столицу, всегда стремились попасть именно в эту консультацию.

С конца 30-х годов, а отец работал в консультации с 35-года до 57-го года, когда он умер, обстановка в стране становилась все страшнее. Шли процессы против левых, против правых - не говорю о том, что часто расправлялись с людьми, обходясь без всяких процессов. И жизнь человеческая ничего не стоила. Адвокаты были затребованы чисто формально. Их роль как защитников была настолько смята властью, исход дел был настолько предрешен обвинением и прокурорами, что говорить о какой-то минимальной справедливости было бесполезно и наивно.

В один из дней к моему отцу на прием пришла женщина, лицо которой показалось отцу знакомым. Он стал думать, посмотрев на нее, что где-то видел ее. То ли это было связано с книгами, а он не был большим любителем чтения, в отличие от моей матери; то ли он видел ее в кино. Но сразу припомнить он не мог. Отец предложил даме присесть - его внимание привлекла ее гордая осанка и величественное лицо с каким-то невероятно глубоким выражением. Она села напротив отца за стол, и он начал заполнять ее карточку посетителя. Когда она назвала свое имя, то перо буквально выпало из рук отца. Ахматова! Анна Андреевна Ахматова! Перед ним сидела сама Ахматова, великий поэт, имя

которой пришло к отцу еще почти в начале века, когда он был совсем молодым человеком, имя которой знала вся Россия! И хотя консультация отца была известной, и бывало, сюда со своими вопросами приходили известные люди, все же было трудно припомнить более знаменитого человека, чем Анна Андреевна.

Ахматова поведала отцу, что она буквально накануне приехала из Ленинграда и практически никому не сказала, что отправляется в Москву. Поэтому она попросила его никому не рассказывать о том, что она пришла к нему в консультацию.

Честно говоря, отец, если что-то и знал о стихах и творчестве Ахматовой, то все это относилось к прежним временам, ибо в, так сказать, новые времена ее стихи не публиковались, и вообще, он не знал о ней ничего. Анна Андреевна поведала отцу о своей трагической жизни - о гибели ее первого мужа, об аресте второго мужа, об аресте сына. Рассказала ему, что ее произведения практически не публикуются, а все ее друзья в основном стали бывшими из-за той страшной обстановки в городе, которая особенно воцарилась после гибели Кирова и с приходом к власти Жданова.

У отца была привычка, наверное, профессиональная, вглядываться несколько секунд в лицо клиента, прежде чем заговорить и даже догадаться, с какой просьбой к нему пришел этот клиент. Скорее всего, будущий клиент, если, так сказать, вырисовывалось дело. Но тут был особый случай. Во-первых, это был не простой клиент, а Великая Ахматова! Во-вторых, перед отцом вдруг мысленно пробежали его давние, молодые годы, когда он жил и в Петербурге, и в Киеве, и даже бывал на выступлениях Ахматовой. Он помнил ее молодой, полной огня и вдохновения. Теперь перед ним сидела грустная женщина, полная каких-то своих забот и тревог, и это было совершенно очевидно.

«Анна Андреевна, – обратился он к ней, – и все-таки чем я обязан вашему визиту?»

«Видите ли, Давид Маркович, – я хотела бы узнать, могу ли я переехать в Москву...»

«В Москву, – удивился отец, – а зачем?»

«Понимаете, у меня совершенно невозможная обстановка в Ленинграде. Вы не представляете, как я люблю и любила всегда этот город! Когда-то давным-давно я побывала в Париже, даже жила там некоторое время. Кажется, рай, но уехала обратно в Петербург – без него не могла и мыслить самой жизни, и писать. Ничего без него просто не шло в голову. Но... Но сейчас жизнь там для меня невозможна. Соседи, друзья, все знакомые избегают меня, переходят на другую сторону улицы, завидев меня... Я уж не

говору, что все, что я пишу, отвергается журналами и издательствами. А эти мои походы в «кресты», когда я хочу что-то узнать о судьбе моих самых родных...»

«Я понимаю вас, Анна Андреевна, но почему вы хотите переехать в Москву?..»

«Давид Маркович, я, наверное, стала как чеховские сестры. В Москву, в Москву...»

«Не думайте, Анна Андреевна, – заметил отец, – что здесь у нас в Москве лучше. Хотя я, и не только я, уже давно заметил, что Ленинград всегда особенно свиреп в своей пропаганде и ослеплении масс, желающих быть ослепленными. Все чистки, все эти процессы идут именно из Питера...»

«Вот-вот, Давид Маркович, Вы, кажется, поняли меня», – заметила Ахматова.

«Понял-то понял, – согласился отец, – но как вы мыслите переезд из Ленинграда в Москву, когда даже ваш визит сюда окутан тайной. Кроме того, что бы вы хотели, что я сделал бы для вас?»

«Если конкретно, Давид Маркович, я бы согласилась получить хотя бы комнату, пусть даже не в центре в Москве. Все-таки меня у вас в Москве меньше знают, и мне было бы спокойнее...»

«Все это очень неясно. Поймите, получить даже малюсенькую комнату в Москве неимоверно трудно. Но главное – другое. Главное это прописка в Москве. Тут не избежать милиции. А милиция, вы сами знаете, что это такое. Тут же ваше местожительство будет взято под контроль, – отец поднял указательный палец к потолку, – на самом верху. И вам просто не дадут спокойно жить».

На лице Ахматовой было выражение полного отчаяния. Отец подумал, что он не должен уж так расстраивать свою великую посетительницу.

«Ладно, дайте мне несколько дней подумать. Вы знаете телефон консультации. Позвоните мне на следующей неделе. А где вы остановились в Москве?»

«Я живу у моих дальних родственников на Якиманке». И она вынула из сумочки бумажку, на которой был записан номер телефона.

«Хорошо, – сказал отец. – Так и договоримся. Надеюсь, я что-то узнаю, хотя обещать ничего не могу».

Ахматова поднялась со стула. Отец тоже встал, и они обменялись рукопожатием. Он обратил внимание на протянутую ему руку в тонкой перчатке. Откуда-то вспомнилось ему

сочетание «в лайковой руке». Наверное, пришло в голову давнее ахматовское стихотворение... Но точно он его не помнил. Жизнь научила запоминать только дела и телефоны клиентов. А когда мальчишкой был, то стихи учить не любил, да и вообще, никакая поэзия в голову не лезла и не привлекала.

Он вышел из своего кабинета в коридор и подошел к окошку секретарши. «Вы знаете, Зина, я сегодня закончу работу пораньше. Если кто-то будет обращаться ко мне, скажите, чтобы пришли в пятницу. Сегодня я что-то неважно себя чувствую...»

Зина, молодая девушка, только поступившая на работу в консультации, даже не удивилась и не спросила отца ни о чем – видно, имя Ахматовой ей ничего не говорило. Но отец чувствовал, что в тот день он уже не сможет никого принимать.

Он вышел из консультации, свернул по привычке в Камергерский переулок в кафе «Артистическое». Вдруг почувствовал, что должен выпить рюмочку коньяка – у него кружилась голова. Вздвинулся сам по себе визит Ахматовой. Да и не знал еще он, как он мог ей помочь, и что это могло ей дать. Да и вообще, стоит ли ему вообще стараться помочь ей? Славы это ему не принесет, а то гляди, и неприятностями закончится...

Пока отец потягивал маленькую рюмочку коньяка, он опять вспомнил это «в лайковой руке». Ох, какой же царственный облик у Ахматовой! «Царица, – подумал он, – настоящая царица! Королева!»

Потом он вышел на улицу и решил идти до дома пешком. Обычно он ехал до Арбата на трамвае, а на этот раз решил – после Ахматовой и коньяка – пройтись, чтобы проветриться от сильного волнения. Слава Богу, идти было не так далеко – прошелся по бульварам, Тверскому и Никитскому. И пришел к себе домой на Большую Молчановку.

Когда мама открыла ему дверь – у нее был нерабочий день в издательстве, – то она всплеснула руками. «Дэва, что с тобой? На тебе лица нет!»

«Не говори, Бина! Дай пройти и присесть!» – взмолил отец.

«Что-то случилось?» – мама не знала, что и подумать.

«Да не волнуйся ты, дорогая. Все в порядке», – он попытался успокоить маму. «Знаешь, кто у меня был на приеме сегодня?»

«Не Сталин же?!» – Мама вложила в этот вопрос не столько юмор, сколько страх.

«Нет, дорогая! Представляешь – Ахматова! Ахматова!..»

Мама, услышав о новом клиенте отца, от оторопи опустилась в кресло и несколько секунд не могла даже ни о чем его спросить.

«Почему, в связи с чем?» – спросила она наконец.

Тут отец рассказал ей все, что приходилось переживать Анне Андреевне. Сказал он маме и о существовании ее просьбы. О решении переехать в Москву.

«Но чем же ты, Дэва, можешь помочь ей? Ты, в конце концов, адвокат, защищаешь преступников, провинившихся, ведешь всякие гражданские дела. Поэтов, тем более таких великих, как Ахматова, ты не защищаешь. Да и против кого? Против советской власти?»

«В этом-то все и дело, Бина. В этом-то все и дело...» И отец снова задумался, словно ища какое-то решение. Мама тоже не знала, что сказать.

Вдруг ее лицо оживилось. «Я знаю, что делать! – воскликнула мама. – Почему тебе не приходят в голову простые решения? Ты же адвокат, а тут потерялся. Наверное, сам знаешь, о чем я подумала...»

Отец прочел мысль мамы. Когда люди долго живут вместе и любят друг друга, то это обоюдное чтение мыслей, наверное, не составляет труда.

«Да, да, – промолвил отец. – Я подумал о Володе. О ком же мне думать, как не о нем. Он – наша палочка-выручалочка. Что бы мы делали без него?»

Мама знала, о чем говорил отец. Володя был младшим братом отца, самым младшим в многочисленной семье, в прошлом жившей в Киеве, а потом, в начале 30-х годов переехавшей в Москву. Володя сделал карьеру по юридической линии. В Киеве еще юношей он вступил в партию большевиков. Работал в прокуратуре под начальством Вышинского и пользовался полным доверием своего начальника. Имя Вышинского в те годы наводило страх. Всем были известны его обвинительные выступления на политических процессах. Одного не знали люди: а именно, со сколькими просьбами обращались к Вышинскому и его сотрудникам, чтобы спасти людей от ссылок и казней. И бывало, что грозный и карающий Главный Прокурор выручал несчастных людей.

Отец в этот момент вспомнил, что года за полтора до этого визита Ахматовой, его самого арестовали. Приехали «мастера соцреализма в штатском» в черном воронке на Молчановку ночью, – как правило, арестовывали ночью, когда люди обычно находятся дома, – и забрали отца. Говорят, в ту ночь

по Москве арестовали около тысячи человек. Забросили, так сказать, невод. Через три дня отец вернулся домой. Мама так боялась всего, что она даже не задала ему ни одного вопроса. Говорили, что из арестованных в ту ночь возвратились к себе только пять человек. Брат отца, Володя, конечно, пришел на помощь.

Мама видела, о чем думал отец. Но она помнила и то, что в 1931 году, когда они только переехали в Москву из Киева, она заболела туберкулезом в открытой форме – по Москве прокатилась страшная эпидемия, унесшая много жизней. И тогда Володя просил Вышинского помочь. И мама попала в клинику, которую вел в то время Вовси, знаменитый терапевт, уже тогда молодое светило медицины, много позже в январе 53-го года бывший практически первым в списке врачей «травивших» Сталина и всю его гопкомпанию. Он-то и вылечил тогда в 31-м маму – никто бы другой ее не спас. Вылечил так, что она никогда и не помнила, что была так страшно больна. Если бы не этот эпизод, я бы не появился никогда на свет, и эти строки писал бы уже не я, а кто-нибудь другой!

«Я думаю, Дэва, нет, просто я уверена, – решительно сказала мама, – что ты должен сейчас же пойти к Володе и рассказать ему обо всем. Тут такая ситуация, что без Вышинского не обойтись. Надо, чтобы карающий меч оказался на этот раз милостивым».

«Красивые, Бина, слова, но пустые, прости меня. Ты же знаешь, какая свора накинута сейчас и на Ахматову, и на Шостаковича. На них сверху направляется гнев масс. Это же не просто рядовые, никому не известные люди. Очень трудно скрыть даже Вышинскому хоть малейшую крупицу от хозяина. Ты же знаешь, в таком случае сам Вышинский поплатится головой. Уступка Ахматовой или Шостаковичу для нашей страны сегодня это разоружение перед идеологическим врагом. Так ведь, разве не так?», – отец посмотрел на маму, словно хотел услышать ее ответ, но она молчала. «И все это знают, – продолжил он. – Миллионы и миллионы людей ничего другого и помыслить не могут».

«Я согласна, Дэва, со всем, что ты говоришь, но ведь может быть какое-то половинчатое решение, какой-то не громко объявляемый компромисс, что-то, что никто не узнает под эти бесконечные фанфары, прославление одного человека, и оголтелые проклятия в адрес тех, кто создает культуру...»

«Твоими молитвами, Биночка, твоими молитвами!...» – тихо проговорил отец.

Мама подошла к книжной полке и сняла книжку в темно-синем переплете. Это был том ахматовских стихов. Он был у мамы давно с киевских времен, даже до того, как мама познакомилась с отцом. Сейчас книгу Ахматовой она бы нигде не купила. Книги – да что там книги! – отдельные ее стихи нигде нельзя было прочитать.

«Послушай, Дэва. Закрой глаза и слушай каждую строчку, каждое слово», – попросила мама.

И мама начала читать, почти не заглядывая в книгу. Стихотворение это она помнила наизусть:

Мне голос был. Он звал утешно.  
Он говорил: "Иди сюда,  
Оставь свой край глухой и грешный.  
Оставь Россию навсегда.  
Я кровь от рук твоих отмою,  
Из сердца выну черный стыд,  
Я новым именем покрою  
Боль поражений и обид".  
Но равнодушно и спокойно  
Руками я замкнула слух,  
Чтоб этой речью недостойной  
Не осквернился скорбный слух.

Оба сидели молча – и отец, и мама. Каждое слово вписывалось в душу. Трудно было сказать сильнее!

«Замкнула слух, – буквально прошептал отец. – Ей не хочется слышать того, что происходит в стране, что на всех нас удавка, что все оболгано. Она даже ничего не говорит, а просто замкнула слух! Изумительно написано. Коротко и со всем чувством! Боль поражений и обид. Сказать так, когда все только и кричат о каких-то победах!»

«Знаешь, Бина, – сказал отец, – я сейчас пойду и почитаю кое-какие досье, у меня завтра два дела в разных судах, а потом мы с тобой будем обо всем этом говорить».

И он пошел в свой кабинет, маленькую шестиметровую комнату, в которой стоял его письменный стол, кресло и книжный шкаф, заполненный сверху донизу юридическими книгами. Особенно интересны были книги с речами прославленных русских адвокатов – Спасовича, Карабчевского, Плевако. В них всегда излагалась фабула дела, а потом приводилась речь адвоката. Читать их было интересно – даже интереснее романов Дюма и Жюль Верна. Маленький сын Бобка, мой старший брат, уже начал

читать их. Потом много лет спустя, когда появился и подросток я, они стали моим чтением тоже.

Отец читал, но все эти досье, которые он рассматривал в тот день, не шли ему в голову. Он все время думал о приходе Ахматовой в его консультацию. Что-то же надо предпринять! Не прошло и получаса, как мама постучалась в дверь и вошла в кабинет.

«Дэва, извини меня. У тебя, конечно, завтра дела, но мне кажется, ты сейчас срочно должен пойти к Володе и поговорить с ним. Надо, чтобы он связался с Вышинским. Я просто места себе не нахожу после того, что ты рассказал мне об Ахматовой. Нам будет очень нехорошо, если с ней что-то случится, а мы хоть что-нибудь не придумаем сейчас. Я себя знаю: не прощу себя!» – сказала мама. Казалось, она, такая спокойная и выдержанная в жизни, заменила отца и сама стала адвокатом.

«Да, да, Биночка, – тут же быстро сказал отец, – сейчас соберусь с силами и пойду к Володе».

Они вышли из кабинета, и отец, попрощавшись с мамой, поспешил к брату.

Володя жил совсем близко, на улице Воровского. Кто знает и помнит старую Москву, тому известно, что Большая Молчановка, где мы жили, и улица Воровского почти соприкасались. Чтобы попасть на улицу Воровского, надо было пройти через проходной двор нашего дома (на этом месте сейчас стоит красивая церквушка, которая в те времена была почти наполовину разрушена). Там же в этом дворе находилась школа, бывшая гимназия, в которой учился Пастернак, и в этой школе довелось учиться и мне в 3-4 классах. Потом ее снесли. И пройдя через этот проходной двор можно было выйти на улицу Воровского, и напротив был Володин дом. Пятиэтажный дом, который в детстве мне казался огромным.

Поварская улица, – именно этот квадрат, где жили мы, – запечатлена Пастернаком в поэме «1905-й год»:

«Мне четырнадцать лет.  
ВХУТЕМАС еще Школа Ваяния.  
Гимназический двор на углу  
Поварской в январе...»

Володя с семьей, женой и двумя маленькими дочками, жил на четвертом этаже, и у него, такого значительного лица в ведомстве Вышинского, было две комнаты в коммунальной квартире. Сейчас это трудно представить, как столь высокопоставленный работник жил в квартире с соседями!

Отец позвонил и дверь открыла Вера, жена Володи.

«Дэва, как дела? Рада тебя видеть. Ты что-то совсем заработался. Не был у нас уже целую неделю. Володя о тебе волновался, но он жутко занят последние дни. Бесконечные дежурства, даже ночная работа. И сегодня пришел с ночной вахты и спит...», – произнесла Вера.

«Вера, не беспокойся, я могу прийти позже, завтра...», – сказал отец.

«Нет, нет, проходи, я чувствую по тебе, что у тебя что-то срочное. Я разбужу Володю – тем более, ему самому через пару часов надо спешить на работу...», – сказала Вера.

Они прошли в первую комнату, большую гостиную. Через нее был вход в меньшую комнату. Вера вошла в нее и разбудила Володю.

Через минуту два брата обняли друг друга. «Дэва, – сказал Володя, мы теперь с тобой совсем почти не видимся».

«Да, Володя, мы чаще виделись в Киеве, когда ты лазил по деревьям, а я стаскивал тебя с них, – вспомнил отец. – И звали мы тебя, самого маленького, Вульф – и все братья и сестры, и мама с папой...».

«Да, не те теперь времена, – сказал Володя, – идет суровая жизнь, и нам теперь не до лазанья по деревьям». Лицо Володи вдруг посерьезнело. Он почувствовал, что старший брат пришел с каким-то важным вопросом. Вдруг, среди бела дня.

«Володя, опять нужна твоя помощь», – произнес отец, еще не зная, как перейти к делу.

«Помощь так помощь, Дэва. Ты же знаешь, я всегда помогу. А не помогу, так сделаю все, чтобы помочь...»

«Сегодня утром ко мне пришла в консультацию Анна Ахматова», – сказал отец. Он собирался тут же продолжить, но сделал паузу, не специально, но так получилось. В мгновение лицо Володи приняло совершенно иное выражение. Только что он был готов болтать и балагурить с отцом от всей души, а тут он понял, что запахло чем-то серьезным.

Отец рассказал брату все, что он рассказал маме, потом он хотел сказать еще что-то внимательно слушавшему его Володе, но Володя остановил его:

«Дэва, остановись. Я знаю, что ты мне хочешь сказать. Хочешь, чтобы я опять обратился к Андрею Януарьевичу с просьбой, личной просьбой, и он, зная меня близко и уважая меня как работника... он, по-вашему, опять поможет...»

Отец видел, как Володя мучился, не в состоянии отказать ему, и одновременно понимая, что не обо всем можно было

просить своего начальника. Собственно, отец сказал маме почти то же самое. В конце концов, не всех могут удовлетворить даже самые всесильные. Даже такие всесильные, как Вышинский.

Об этом сейчас отцу сказал и Володя.

«Пойми, Дэва, с такой просьбой Вышинский должен идти к самому хозяину. Но ты же понимаешь, что Ахматова это не простая 58-я статья, где как-то еще можно влиять и маневрировать, и ты теперь все знаешь, – Володя тут остановился на секунду, – по своему опыту. Ахматова это поле боя советской власти против остального мира, и тут никаких компромиссов быть не может, и тут, Вышинский, человек умнейший, он понимает, тут хозяин не уступит, а самому Андрею Януарьевичу, да и всем нам будет полный каюк». Володя весь покраснел, пока он говорил все это. Такое он вообще никогда не говорил, а тут волновался... Наверное, чувствовал сильную сердечную аритмию, которую у него, молодого, нашли врачи. Через несколько лет, уже во время войны, Володи не стало, и было ему всего 43 года. Отец хотел мне дать его имя, когда я родился в 45-м. Но мама настояла на имени своего отца, моего деда.

А мама тем временем сидела дома и ждала возвращения отца. О чем он сможет договориться с Володей, и вообще, сможет ли договориться? Она вдруг вспомнила, что иногда, когда она бывала дома у Володи, то видела там Вышинского с его женой Калерией Васильевной. Пара оставляла самое благоприятное впечатление. И Андрей Януарьевич, и Калерия Васильевна. Калерия Васильевна в молодости долго работала медсестрой и даже служила на фронте во время Первой мировой войны. Обычно, во время таких встреч, женщины общались с женщинами, а мужчины – с мужчинами. Калерия Васильевна рассказывала Вере и Бине что-то из старой жизни, из XIX века, когда она была гимназисткой – и всегда это было интересно. Она, как и Бина, была большой любительницей романов и новелл, которые Бина читала в превеликом количестве. На эту тему с ней можно было говорить бесконечно.

Мама запомнила, что Вышинский был всегда крайне любезен в отношениях с дамами. Предельно, как говорила она, куртуазен. При встрече он целовал дамам ручки, а с мамой он к тому же говорил по-французски. Говорил прекрасно, так как бывал не раз во Франции и занимался французским языком в гимназии и потом, после гимназии, с особенным прилежанием.

Следя теперь за деятельностью Вышинского, читая газеты, отец и мать не могли поверить, что он участвовал во всех этих процессах против людей, многие из которых были знаменем

революции. И то, что из его уст вылетали слова, совершенно несообразные с его образом и противоречащие самому элементарному гуманизму, было абсолютно ужасно и невероятно. Но то, что он приложил свою власть к тому, чтобы спасти когда-то маму от ужасной болезни, и отца – от лубянской камеры, забыться ими никак не могло.

Когда отец через час вернулся домой, он передал маме содержание всего разговора с Володией. По правде говоря, в нем не было ничего такого, что он уже не рассказал маме, но, несомненно, из уст Володи все сказанное носило более четкий и определенный характер. Это было не просто успокоение отцом мамы, а слова человека очень близкого к властям и не оставлявшего сомнений в том, что преследование Ахматовой и всей творческой интеллигенции продолжится и, более того, поднимется на новый виток. Собственно, то, что и произошло после войны, во время известных ждановских постановлений. Правительственных, по сути сталинских, постановлений.

Отец сказал маме: «Что ж, Бина, надо ждать. Главное это то, что Володя поговорит с Андреем Януарьевичем. Это уже много, это все. Мы знаем – ведь нам он в конце концов, помог. И отец знал от Володи то, что никто, кроме него, не знал, и во всяком случае, никому бы, кроме отца, Володя не рассказал. А именно то, что среди списков несчастных, обреченных на ссылки и уничтожение, были такие, которых Вышинский и выручал. И никто не знал, как тяжело приходилось Андрею Януарьевичу! Практически он танцевал на лезвии ножа.

«Знаешь, что Володя мне еще сказал, – сказал отец маме. – Вышинский назвал Жданова гнидой, который хочет подсидеть и уничтожить его. Ведь Жданов отвечает за Ленинград, где живет Анна Андреевна. И вся кампания против нее курируется лично Ждановым. И даже самая мелкая деталь, случающаяся в жизни поэта, контролируется лично Ждановым, и сама знаешь, еще кем...»

Отец остановился, а мама задумалась, а потом сказала слова, которые помнила всю жизнь и передала много лет спустя мне: «Мне кажется, слова Достоевского не верны, слова о замученном младенце, кровь которого когда-нибудь будет отомщена. Сейчас она пока не отомщена, и настанет ли такое время?»

«Жаль, Бина, – заметил отец, – я мало читал Достоевского, но, наверное, он все-таки знал, что говорил. Хочу надеяться».

Прошло два дня. Два дня томительного ожидания, так как Володя обещал поговорить с Вышинским немедленно. Но на

третий день он позвонил отцу в консультацию и сказал, что пойдет к нему. Они встретились в кафе «Артистическое», и Володя сообщил ему о своем разговоре с Вышинским.

«Не скажу, что Вышинский был преисполнен энтузиазма помочь Анне Андреевне, но он сказал, что сделает все возможное. Он помнит ее имя с самого юношества. Кажется, они почти одного года рождения», – заметил Володя.

«Нет, нет, – возразил отец, – вот тут ты, братец, ошибаешься. Вышинский родился в 1883 году, а Ахматова в 1889 году. А вот родились они в одном городе, – в Одессе!»

У брата была отличная память, и Володе не нужно было его проверять.

«Так или иначе, Дэва, – заметил Володя, – их молодые годы прошли в одну эпоху, а Ахматова прославилась рано своими стихами, и Вышинский их читал, когда он был совсем молодым».

«Ладно, Володя, – сказал Дэва, – тут у нас скоро начнется собрание поэтов!», и братья чокнулись коньячными рюмочками.

Миновали еще двое суток, и Володя позвонил отцу в консультацию.

«Дэва, я сегодня к тебе зайду домой после пяти, хорошо?» – спросил Володя взволнованным голосом.

«Конечно, конечно, – сказал отец быстро, я к четырем уже буду дома. Какие-то новости?»

«Только при встрече», – коротко сказал Володя и повесил трубку.

В этот день мама была на работе, и когда Володя пришел в пять, она еще не вернулась домой.

«Ну что, что, Володя?» – спросил отец, весь в нетерпении.

Володя открыл свой прокурорский портфель и вынул из него какую-то бумажку.

«Подожди, прежде чем читать, Дэва. Это не совсем то, но думаю, Ахматову это устроит. Если учесть ее адское положение в Питере, эти визиты в «Кресты», надежды на освобождение мужа и сына. Какой-то компромисс, ты сам поймешь, но поверь, эта бумага не так просто Андрею Януарьевичу далась».

Отец открыл документ. Он был подписан самим Вышинским. Это было решение, которое никто не мог оспорить, и очевидно, если кто-то мог, то только один Сталин и наверняка Жданов. Но очевидно, Вышинский знал о нем один, и в его аппарате ни одна душа об этой бумаге не знала. Анне Андреевне Ахматовой предписывалось в течение семи дней покинуть Москву (именно Москву, а не Ленинград) и уехать в город Боровск пассажирским поездом с Курского вокзала Москвы. К бумаге был

приложен билет на имя Ахматовой и проставлены месяц и число, когда они были подписаны самим Вышинским.

«Это, Дэва, не простой документ. Даже если Андрей Януарьевич когда-то попадет в ад, как этого ему желают многие, то эта бумажка с билетом будет ему хоть какой-то индульгенцией», – промолвил Володя тихим голосом. Не склонный по характеру к сантиментам, он был, видно, очень взволнован.

«Конечно, – сказал отец через несколько секунд, – это просто невероятно! Ей так надо уехать из Питера! И трогать ее не будет в этом Боровске. Кстати, а где это?» – спросил отец.

«Где-то за Уралом, кажется, – ответил Володя. – Маленькая, наверное, деревушка. Пускай пересидит всю эту кампанию. Пушкина тоже ведь при царе ссылали в какие-то глухие места. Потом, может, все утрясется, на кого-то другого накинута, правда. Выбор большой. Но такие, как Ахматова, все же наперечет». В голосе Володи, как показалось отцу, была какая-то то ли задумчивость, то ли недосказанность.

«Но захочет ли Ахматова поехать так далеко за Урал? – спросил отец. – Подумать только: ей, когда-то выступавшей в салонах Петербурга, вместе с Блоком, прославленной в Париже Модильяни, ехать в эту тьмутаракань, это же ссылка, по сути, Володя!» – в отце все вдруг закипело.

«Ссылка, Дэва, если не хуже, будет, когда ее ночью арестуют, и если жива останется Анна Андреевна, то попадет куда-нибудь на Колыму и погибнет там. Ты, наверное, не знаешь, что уже есть и писатели, и поэты, и певцы, оказавшиеся по ту сторону жизни. В этих краях. А это Урал, там климат неплохой, здоровый. А о жилье мне сам Андрей Януарьевич говорил, он позаботится, и не будет Анна Андреевна на улице...», – голос Володи звучал успокаивающе. «Свяжись с ней немедленно. У тебя же, ты говорил, есть ее телефон. Ведь число завтрашнее на документе написано, и от него отсчитывается неделя. Может, ей надо вернуться какие-то вещи с собой взять в Питере, а потом надо будет уезжать из Москвы. В течение семи дней, ты прочел, Дэва? Тянуть не надо. Все будет в порядке, я уверен».

И Володя отдал отцу бесценную бумажку. Его задумчивость исчезла, и он опять стал таким, каким был всегда, – непреклонным исполнителем воли партии.

Когда отец вернулся домой и рассказал все маме – особенно то, что теперь Анна Андреевна сможет уехать из этого проклятого Ленинграда и жить подальше от всех этих опричников, то радости мамы, казалось, не было конца.

«Дэва, – сказала мама, бросившись отцу в объятия, после того, как она прочитала то, что написал Вышинский, – ты даже не представляешь, что ты сделал. Ни одно твоё выигранное дело не сравнится с тем, чего удалось добиться! Я просто счастлива!»

Отец, и правда, не видел маму никогда более счастливой. А она сказала ему, чтобы он не тянул и обязательно позвонил Анне Андреевне тут же. «Времени-то у неё немного, чтобы собраться, – только она должна побыстрее прийти за этой бумагой от Вышинского», – сказала мама. А потом добавила: «Ты знаешь, Дэва, если есть Бог, то тебе это когда-нибудь зачтётся».

«Ладно уж, Бина, давай без эмоций. Надо торопиться. Разумеется, я позвоню ей завтра с работы», – сказал отец.

Он так и сделал. Первым делом, когда он пришел на работу утром на следующий день, он набрал её телефон на Якиманке, и трубку взяла сама Анна Андреевна.

«Доброе утро, Анна Андреевна, – сказал он, – я звоню Вам с работы. Это...»

«Да, Давид Маркович, я вас узнала. Только и жду вашего звонка», – голос Ахматовой звучал взволнованно. «Какие новости?»

«Я вас жду, Анна Андреевна, в консультации. – Отцу, понятно, не хотелось сообщать такую новость по телефону. – Когда вы придёте?»

«Вы знаете, я выйду буквально через пятнадцать минут и скоро буду у вас», – сказала она.

Прошло минут сорок, и Ахматова постучала в дверь кабинета отца.

Он улыбнулся и ещё не успел ничего сказать, а Анна Андреевна тут же сказала: «Давид Маркович, вы улыбаетесь, неужели что-то хорошее?», – в голосе женщины была вся надежда, которая вдруг открывается человеку, когда он уже ни на что не надеется.

«Не просто хорошее! Анна Андреевна, не просто хорошее, – повторил отец. – А то, на что я, поверьте мне, даже не рассчитывал. Посмотрите...» И он протянул Анне Андреевне заветный документ.

Её глаза обратились к тексту, и отец увидел, что она была в этот момент не в его кабинете, а в каком-то совсем ином измерении. Радости, однако, на её лице не было. Того, что он так ожидал! Но с другой стороны, в эти секунды он испытал и те сомнения, которые накануне пронеслись в сознании у него и у Володи, но о которых они серьезно не поговорили.

Анна Андреевна наконец оторвала свой взгляд от бумаги и вернула ее отцу.

«Что-то не так?» – спросил отец.

«Нет, все так. Вы даже себе представить не можете, как я благодарна вам, дорогой Давид Маркович, но...».

Видно было, что она не может что-то сказать. Очевидно, в ней была естественная человеческая благодарность за то, что ей так помог адвокат, и вместе с тем этой благодарности противостояло что-то иное, что не позволяло ей радоваться даже документу, вынимавшему ее из петли в последний момент перед казнью.

«Что-то вас, Анна Андреевна, смущает в тексте документа? Говорите же, говорите! Я – адвокат, и адвокату вы можете всегда довериться...». Отец был в отчаянии.

«Понимаете Давид Маркович, не все можно объяснить, даже рассказав. – Чувствовалась, что она просто не могла даже сформулировать то, что было у нее на душе, что решительно не соглашалась с текстом документа.

«Наверное, – попытался отец ответить за нее, – вам не нравится, что надо будет уехать далеко, а вы хотели бы быть в Москве...»

«Да, да, и это тоже... Ах, все нельзя сказать, но все же Москва недалеко от Питера, а там мой сын – во всяком случае, пока. Пока не отправили по этапу. А там... А где этот Боровск?» Анна Андреевна из документа не могла понять, куда ей ехать...

«Да, это далеко, Анна Андреевна, это за Уралом. Зато там вам будет спокойно, не будет тех, кто не дает вам жить и дышать...», – сказал отец.

«Спасибо вам, дорогой Давид Маркович, что вы так понимаете меня и мое положение, но...».

«Анна Андреевна, поймите, я не хочу давить на вас, но все-таки мне кажется, это неплохое решение, и так быстро, и так неожиданно вы можете покинуть Ленинград...».

Отец понимал, что его слова не убеждают поэта. То, что он с мамой обсуждали и чему радовались только накануне, вдруг оказывалось лишь иллюзией. Рассыпалось, как карточный домик.

«Я понимаю, Давид Маркович, что у меня мало времени, всего одна неделя. Но я вам позвоню завтра в консультацию, – когда вы здесь будете?»

«У меня дежурство здесь в три часа...»

«Хорошо, я даже не буду вам звонить, а прямо приду к трем...»

«Да, приходите к трем, Анна Андреевна. Даже пораньше, чтобы у нас было время поговорить, пока тут ко мне не придут клиенты», – сказал отец на прощание.

Днем отец вернулся домой и рассказал маме о своем разговоре с Ахматовой, о ее реакции на бумагу от Вышинского. Он ничего не мог объяснить маме, и она только поняла, что он очень волнуется и полностью озадачен тем, что все же настоящему останавливает Анну Андреевну уехать в Боровск.

«Ты знаешь, Дэва, если бы у меня было такое несчастье, не дай Бог, с сыном, я бы никуда далеко не могла уехать. Уже одно то, что она надеется и может каждый день с передачами ходить в «кресты», и даже толком не зная, жив он или нет, надеяться на лучшее – уже все это само по себе ее спасение, долг перед самой собой. В общем, мне кажется, что это основная причина ее колебаний», – произнесла мама.

«Ты уверена, Бина, что эта причина главная?» – спросил отец. – Да, конечно, может быть...», – задумчиво сказал он.

«Дэва, нам остается только ждать до завтра, сказала мама. «Но я уверена, – мама перехватила сомневающийся взгляд отца, – почти уверена, что завтра она согласится уехать в Боровск».

Томительно прошел весь остаток того дня, а утром отец опять отправился в консультацию. Было полтретьего. Ахматова уже сидела в приемной. Зина, секретарша, как всегда, быстро печатала на машинке. Больше никого пока в учреждении не было.

«Анна Андреевна, здравствуйте. Пройдемте ко мне в кабинет, пожалуйста», – пригласил ее отец.

Анна Андреевна выглядела очень сосредоточенной. Готовой очевидно сказать «да» или «нет». И было ясно, что это «да» или «нет» будут ее последним решением, и переубедить ее будет невозможно. От нее исходила какая-то особенная уверенность.

«Ну, Анна Андреевна, я вас слушаю», – сказал отец.

«Знаете, я подумала, – произнесла Ахматова, – я вспомнила сейчас слова Гоголя, «я пригласил вас господа, чтобы сообщить», и далее в общем. Ну да ладно. Давид Маркович, должна вас огорчить, но я не могу принять этот документ...»

Она замерла, но это был не театр, а сильное волнение. Она как будто произносила приговор себе – и вместе с тем, всем, кто травил ее:

«Бумага подписана Вышинским. Вот почему я не могу принять ее! Вы понимаете?»

«Понимаю. Но что это меняет? – спросил отец. – Его имя знаем мы с вами. Но проводнику поезда, к которому вы подойдете

с билетом, имя Вышинского, скорее всего, ничего не говорит. Так же, как и в Боровске никто не знает о Вышинском...» Аргумент, казалось, звучал сильно в устах отца. Но для Ахматовой в нём не было ничего убедительного!

«Вы понимаете, Давид Маркович, сколько людей проклинают этого человека. Его называют палачом. Как я смогу жить в мире с моей совестью, зная, что у стольких людей отнял жизнь, надежды, свободу этот изверг? Чего же будет стоить все, что я пишу, все, что дорого мне? Зачем мне нужно его, я повторяю – его! спасенье? Да это будет даже предательством моего сына, в конце концов!»

«Ваш аргумент, Анна Андреевна очень силен – вас бы наверняка поддержали бы Толстой, Достоевский, но...» – тут отец запнулся, думая, что бы сказать такое, что могло бы вернуть Ахматову к реальности ее ситуации, а именно, к тому, что ей приходится претерпевать в ее родном городе, преследуемой властями и преданной друзьями, и ничего, кроме того, чтобы предложить ей еще раз обдумать свое решение, он не смог.

«Давид Маркович, дорогой, думаю, я все-таки проявлю малодушие, если уеду из Ленинграда, я решила остаться в нем. Лучшие времена когда-нибудь наступят. А совесть... Совесть моя будет чиста. В любом случае, Давид Маркович, вы сделали для меня нечто совершенно невозможное, и моя вина, наверное, только в том, что невозможное для меня совершить я не могу».

И она протянула руку отцу. Он навсегда запомнил это рукопожатие.

\*\*\*

Обо всем, что я здесь написал, мне рассказала мама много лет спустя, когда я был уже юношей. Я к тому времени прочитал ахматовский «Реквием». Особенно я запомнил в нем ее знаменитые слова:

Я была тогда с моим народом,  
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Очевидно, это были не просто гениальные слова. И этот рассказ – тому подтверждение.

\*\*\*

В сентябре 1989 года я улетаю в Израиль. Уже давно не было на свете героев этой истории. Я перебирал вещи и бумаги, которые не были мне нужны. Среди них в старом секретере красного дерева, единственной вещи, оставшейся мне от отца, я увидел пожелтевшую от времени бумажку, – ту самую, от которой отказалась Анна Андреевна Ахматова. Рука не поднималась

передать этот документ огню. Но и взять с собой в самолет или положить куда-то в багаж было делом не слишком безопасным. Как сказал один поэт, в аэропорту «стоял страшный шмон». Я нашел решение. Я оставил эту бумажку моему старшему брату. Я не предполагал, что скоро и он с семьей покинет Москву. Что с ней случилось, когда он уехал из Москвы, я не знаю. Но главное не в этом. А главное в том, что часто пропавшие бумаги заставляют нас вспоминать то, что хранит память десятилетиями.

Ноябрь – декабрь, 2013

Бруклин



# Дмитрий Бобышев

## Я в нетях

### Человекотекст, книга 3

(продолжение. Начало в №12/2013 и сл.)

Дискуссия о «Метрополе» (продолжение)



оргулис приписал к этому от редакции: «Последняя фраза статьи Дмитрия Бобышева, отражающая его беспокойство за судьбу поэта в Советской России, в какой-то мере актуальна и сейчас, когда Кублановский оказался на Западе. С одним уточнением: что касается широкой и заслуженной известности – она уже приходит к поэту». Эта приписка вызвала у меня вздох облегчения: слава Богу, Кубла уже вне опасности! Вскоре мы с ним встретились, но уже не в России и не в Америке, а в Италии, в городе Милане, где счастливо пересеклись наши литературные хронотопы. И потом уже пойдут дальнейшие встречи в Париже, в Мюнхене, в Москве, в Петербурге... В подвальном кабачке, в открытой пивной, на радио «Свобода», в редакции «Нового мира», в кабаре «Бродячая собака»...

И не сразу, спустя года два попался мне на глаза критический очерк Аксёнова «Прогулка в калашный ряд», напечатанный в «Гранях», в 133-м номере. Ох, и досталось мне там от Василия Павловича! Я-то писал совсем о другом, но он метил направленно: «Вот Дмитрий Бобышев в статье, посвящённой новой книге Ю. Кублановского, размышляет об альманахе «Метрополь».

Далее Аксенов цитирует пассаж о «литературных баловнях» (не будем его повторять). И после этого назидает:

«С тонкостью необыкновенной поэт проникает в душевный мир «баловней» (к которым, наряду с Вознесенским, Ахмадулиной, Искандером, Битовым, мне приходится отнести и себя: ведь и я довольно много печатался в советских изданиях) – мало им оказалось официальной славы, решили хлебнуть и чужой, неофициальной. Что же, другие-то категории человеческого поведения вам недоступны, Дмитрий? Из размышлений Бобышева следует, что неизвестные, подпольные авторы «Метрополя»

хлебнули лиха, а «баловни и любимцы были ограничены лишь устными взысканиями, оказавшись в результате при всех своих привилегиях»... К ним (т. е. к «устным взысканиям» – Д.Б.) как-то трудно отнести декретированное Президиумом Верховного совета СССР лишение советского гражданства «за систематический ущерб престижу Советского Союза».

Увы, увы мне, справедлив тут был упрек Василия Павловича, – правда, только относительно его самого, а не всего списка любимчиков, к которым он уже и не принадлежал. Наверняка лишение его гражданства было проведено в письменной форме и где-то запротokolировано, прежде чем предать этот факт гласности на весь мир. Правда, со мной в подобном случае обошлись устно и негласно, просто по телефону. Ну, так я ведь и не любимец, и не баловень.

Вот и к другому не баловню и тоже втихую лишённому гражданства Аксёнов оказался строг. В том же очерке пишет он с погрёком:

«В зарубежной части нашего калашного ряда к «советскому местожительству» существует какое-то особенное, пристально-ревнивое, вызывающе-отвергающее, а порой, как это ни странно, не очень-то порядочное отношение...»

Юрий Кублановский, громяхая в электричке от Апрелевки до Киевского вокзала мимо Переделкино, к «советскому местожительству» явно не относился, что, конечно, делает честь как его поэтическим, так и человеческим достоинствам. И всё-таки не стоило бы настоящему поэту с таким мучительно прищуренным напрягом приглядываться к своим советским коллегам, пусть даже они его в чём-то (житейском, разумеется, приспособленчестве) переплюнули.

...хорошо вам не знать недосыпа,  
хитрый Межиров, глупый Евтух,  
Вознесенский, валютная липа!

Стоило ли Кублановскому настаивать в своём последнем парижском сборнике на этом стихотворении, на которое его друзья по альманаху «Метрополь» указывали как на довольно противное? Не очень-то этично выглядит и новая редакция или, скажем, «перелопачивание» этого стиха, когда из инвективного списка изымается одно имя, к которому поэт в течение некоторого времени переменял своё отношение...»

Я не думаю, что разглашу авторскую тайну, если сообщу изъятые имена, – ведь последнюю строчку этого стихотворения

обсуждали, давя на Кублановского, «друзья по альманаху», пока совсем её не выдавили. А первоначально она прозвучала так:

Ахмадулина, вечная цыпа!

По-моему, совершеннейший блеск и полное портретное сходство. Но Василий Павлович встал горой и рыцарски защитил честь Беллы Ахатовны, – вторая половина статьи состоит исключительно из комплиментов поэтессе.

И всё-таки тема «Метрополя» не была им закрыта и, более того, потянула на целый роман. Да ещё какой: авантюрно-полицейско-фарсовый! Из жизни писательской богемы! С узнаваемыми персонажами! С матом, выпивками, сексом, с партсобраниями, погонями и покушениями! И всё – о создании, утайке, поимке и напечатании запрещённого альманаха... Только в романе это не альманах «Метрополь», а фотоальбом «Скажи изюм» и, соответственно, его участники не писатели и поэты, а фотографы. В остальном – всё то же самое: интриги и предательства, гэбэшники, партийные и прочие чинуши – такие же, только фарсово-преувеличенные. Есть даже мои «баловни»...

Но тут Аксёнов ловко и талантливо вплёл дополнительный и очень личный сюжет о своих первых неудачах в Америке, – о том, как он, условно говоря, получил «мордой об стол» не в буквальном, конечно, а в литературно-издательском смысле. Когда он предложил там опубликовать по-английски один из лучших своих романов (не знаю, был ли это беспощадно обжигающий душу «Ожог», либо блестяще бурлескная «Затоваренная бочкотара»), он получил отказ. Почему? Кто мог помешать этому? Читатель должен догадаться сам. В аксёновской фото-версии этот сюжет выглядит так: великий фотограф и протагонист повествования Максим Огородников предлагает альбом «Щепки» издателю Дагласу Семигорски, а тот передаёт его на отзыв ещё более великому Алику Конскому. Аксёнов пишет:

«Алика Конского даже через шесть лет после его эмиграции вспоминали в Москве со вздохом – такого гения страна потеряла! Вечно без денег, вечно под присмотром органов, под угрозой выселения за 101-й километр, а то и подальше, он дорожил своей полуподпольностью, полузапретной славой и полусвободой. В середине шестидесятых годов... «пробили» подборку его снимков в «Фотогазете». В последний момент Конский снял подборку, видимо, решив остаться в своём «имэдже» одинокого, загнанного, не советского, а *настоящего* гения. В принципе, правильное было, толковое решение,

рассуждали потом друзья. Слишком толковое для гения, добавлял какой-нибудь скептик...

Вскоре после этого Алик «начал уезжать». Сначала испробован был матримониальный способ. Невест нашлось достаточно и в Европе, и в Америке. Однако, личный «куратор» Конского майор Кресть заявил без обиняков: – Мы вас, Конский, с иностранкой не распишем. – А почему? – Такое принято решение, вот почему. Уезжайте как еврей».

А вот как отказывает нашему великому «фотографу» и протагонисту упомянутый издатель:

«– Увы, Макс, в Нью-Йорке приходится считаться с мнением такого человека, как Алик Конский. Макс, что с вами? Не говорите мне, что вы не знаете о том, как Алик Конский торпедировал ваши «Щепки»... Ну, в общем, Макс, сейчас все русские снимки, выходящие в больших издательствах, так или иначе попадают на рецензию к Алику Конскому. Альбом без цитаты из Конского просто не имеет шансов на успех...

Теперь, пожалуйста, вообразите моё изумление, Макс, когда однажды Алик звонит мне в офис и говорит, что «Щепки» – это говно. Я переспрашиваю – говно в каком-нибудь особом смысле, сэр? Я думал, он что-нибудь понесёт метафизическое, но он сказал: нет, просто говно, говно во всех смыслах, а piece of shit, больше я ничего не хочу сказать. Ну, и понимаете, Макс, это ведь было не только мне сказано, многим другим в городе, и вскоре, я бы сказал, возникла совершенно другая атмосфера. Даже те люди, которые одобрили ваш альбом, стали смотреть на него ... гм... скептически...»

Но «Щепки» – это личное творение аксёновского героя. А пробивает он в печать коллективный фотоальбом – сначала со скандалом в Советском Союзе, а затем, с ещё большим скандалом, альбом выходит в Нью-Йорке. И тут Аксёнов снова выводит на сцену злодея. «Голос Америки» ведёт свой репортаж с вернисажа в Сохо:

«Как раз в этот момент они интервьюируют знаменитого фотографа Алика Конского, которого здесь называют крупнейшим из ныне живущих:

– Не могу не удивляться, чем вызвано появление этой коллекции, – говорил Конский. – Её составители – баловни советского фотоискусства, официальная, так сказать, оппозиция при дворе, кх, кх, иксьюз ми, её величества партии. У них в СССР было всё – слава, деньги, чего им ещё не хватало?... Скорее всего, этими людьми двигала жажда международной известности, других объяснений у меня нет...»

Ай да, Василий Павлович! Вывел с карикатурной точностью своего злодея- антагониста, да ещё и вложил ему в рот слова антагониста другого, наказав таким образом обоих! Талант.

А кто такой Алик Конский – это вопрос не ко мне.

### **Первая волна**

Я не назвал эту главу «Русский Нью-Йорк», как многие воспоминатели, хотя именно там началось моё бурное знакомство с этой составляющей тамошнего общества, из-за того, что продлилось оно далеко за пределы города и штата – по городам (и – городкам) Новой Англии, перекинулось затем на Средний Запад и на Юг, и даже на Дальний Запад. И – конечно, на Север, в Канаду. Но в Нью-Йорке, как многое в этом городе, русская составляющая предстала ярко и выпукло, во всей красе и несходстве трёх волн нашей эмиграции.

Несходство это ревниво подчёркивалось каждой из них, а знакомство и общение с соотечественниками напоминало осторожный ритуал обнюхивания, принятый у собак. То, что должно было объединять – Россия – как раз наоборот разъединяло, ибо у всех она была своя, иная.

Первая волна помнила ещё дореволюционные времена, «когда была свободна Русь, и три копейки стоил гусь», как гласила шутейная надпись на майке-тишотке у моей Ольги. Она любила шокировать ею «советских», демонстрируя свою принадлежность к так называемым «белобандитам». А «белобандиты» эти в лице её будущих родителей были вывезены ещё детьми вместе с роднёй из Крыма на приснопамятных серых эсминцах и тральщиках французского флота, которые избавили их от красных бесчинств и расстрелов. Обосновались в Белграде, благо, что сербский король Александр Карагеоргиевич жаловал русских, да и сам был русским по воспитанию. Старшие обзавелись домами, выпускали газеты, ставили спектакли, учредили Кадетский корпус для мальчиков, Благородный институт для девочек. Младшие подросли, переженились. Ольга родилась, когда новая напасть пришла – немцы. Её дядя Евгений Гирс, совсем ещё молоденький кадет, вступил в бой вместе со всем корпусом. Пиф-паф! Немцы пальнули из пушечки, и полкорпуса полегло, остальных захватили в плен.

Дядя Женья остался жив, в течение всей Мировой войны, находясь в лагере для военнопленных. Об обстоятельствах его пленения и освобождения, о счастливой и долгожданной женитьбе на выпускнице Благородного института (ольгиной теперешней тёте Нине) и о перипетиях их дальнейшей жизни я написал поэму-

быль. По жанру – даже скорее оперу, ибо есть там повествовательный речитатив, свадебные заплачки, военные марши, сатирические дуэты и поминальный хор.

«Жизнь кадета Евгения Гирса» я напечатал в «Кадетской перекличке» за номером 57, когда жизнь прототипа уже была закончена. Стопки этого журнала во множестве стояли на прохладном полу нижнего этажа в доме Гирсов, где позднее мы останавливались с Ольгой. Кадеты, рассеявшиеся по всему миру, держали между собою связь через своего казначея, подписываясь на «Перекличку».

Поэму-быль открывал пролог с явной ритмической параллелью. Начальная строчка «Рос на свете русский мальчик» не могла не напомнить классический зачин, так получилось у меня не случайно. Наш бедный кадет ведь тоже «имел одно виденье», но, в отличие от пушкинского рыцаря, то было не кощунственное мечтание о Богородице, а доброе умозрение о России, о том, какой она должна быть. По этому чертежу он (и не один, конечно, а со всем благородным собранием) строил свою жизнь сначала в Югославии, а затем и в Америке, где и завершил свои дни, так и не повидав родного притина.

Но, пока он ещё не был принят по рыцарству своему «в Царство вечно», мы в предпиршественном возбуждении собирались за столом в их довольно-таки немалом доме в одном из районов Квинса на 88-й улице, с обеих сторон осеняемой узловатыми и светлотелыми платанами. Их личная – в три жилых этажа – Россия была выстроена на трудовые и нелёгкие денежки: семейные драгоценности за полвека повыветрились по дороге у этих дважды эмигрантов, тётя Нина работала на фабрике, дядя Женья – простым чертёжником. Отмечались у них и традиционно православные, и сугубо американские праздники. В застольном выражении эта Достоевская всемирность выглядела так: немецкая водка закусьвалась совсем забытой среди советских поколений селёдкой «залом» или полузабытым балыком, либо же кошерным огурчиком, а то и югославской долмой; за украинским борщом следовала легендарная кулебяка и многие другие кулинарные радости.

Праздновался и американский День благодарения, – отдавалась дань стране, приютившей иноземных странников, то есть всех нас. Тогда выносились к столу зарумяненная на жару до хрустящей кожицы индейка с торчащими ножками в белых бумажных носочках. Хозяин её делил широкими ровными ломтями. Кроме начинки, к ней подавалось брусничное желе, а также сладковатый картофель ямс, которого я, увы, не оценил,

памятуя о вкусе подмёрзшей картошки в зимнем послеблокадном Ленинграде. Впрочем, те давние воспоминания лишь распяляли мой аппетит к другим разносолам и яствам.

Кто же сидел за этим пиршественным столом, кроме нашей сплочённой парочки и, конечно, хозяев (а Маша, их единственная и обожаемая «наследница», предпочитала телевизор и сэндвич с болоньей)? Она же приходилась внучатой племянницей и другой бездетной паре – сестре Нины Николаевны Ирине и её мужу Юрию Горбовым, которые до недавнего времени пребывали в Буэнос-Айресе, оказавшись там после Белграда. Теперь сёстры, а заодно и свояки воссоединились в Нью-Йорке. Для русских аргентинцев это была уже третья эмиграция. На такие праздники к гостеприимным Гирсам прибывала из Вашингтона ещё одна родственная пара и (по совпадению или закономерности) тоже бездетная. Это был ольгин кузен, чуть её старше, с женой. Жорж принадлежал к весьма аристократической ветви их семейства, когда-то пустившей корни в Брюсселе, но силой тех же обстоятельств переселившейся в Новый Свет. Ольга забавно пикировалась с ним за столом, порой довольно остро. Но когда я её поддержал, тут же был хорошо им отбрит. Белая косточка чувствовалась у него во всём. Такой типаж был бы нарасхват на съёмках какого-нибудь советского фильма про революцию, – в качестве классового врага, разумеется. Впрочем, ещё один гость за тем столом сам был участником взятия Зимнего, только он находился тогда в буквальной смысле по другую сторону баррикад. Юрий Николаевич был один из кадетов, столь плачевно не сумевших оборонить Временное правительство от большевиков.

Я видел его раньше на книготорговом складе у Николая Мартыанова в нижнем этаже того здания на 56-й улице Манхэттена, где находилась редакция газеты «Хобое Пыккое Клёво», если читать кириллицу глазами американца. На складе я побывал, чтобы купить несколько экземпляров «Зияний» для подарков. Глухой, мелко морщинистый и (подтибрим сравнение у одной очаровательной в подпитии славистки) старый, как горы, хозяин лавки тут же обругал современных литераторов и меня лично как их представителя.

– А вы мою книгу читали?

– И не собираюсь, – парировал Мартыанов.

– Тогда и бранить не следует. А кто же по-вашему непревзойдённый образец русской литературы?

– Бунин!

– В прозе – согласен. А вот в стихах – едва ли, – высказал я мнение слишком расхожее, чтобы спорить с ним или его принять, и мы оба замолчали.

Воспользовавшись паузой, двое служащих старичков помоложе подступили к хозяину.

– Отпустите, пожалуйста, на перерыв. Сколько можно!

– Ступайте.

– Ну дайте хоть пять долларов.

– И мне, и мне!

Получив по пятерке, чуть ли не вприпрыжку престарелые мальчики поскакали к выходу. Один из них и был тот кадет, с которым позднее я пировал у Гирсов.

Мартьянова оевала изустная легенда, которую он не отрицал, но из предосторожности и не подтверждал – о его причастности к покушению на Ульянова (Ленина), – столь же плачевно не удавшемся, как оборона Зимнего. Да и сама его полулавочка, полукладовая дышала на ладан. Распродавался только отрывной календарь, но это был когда-то популярный, а ныне крепко отдающий нафталином товар. Редактировал его всё тот же Юрий Николаевич: переправлял даты по-новому и по-старому, сочетал с ними понедельники-вторники, приводил праздники в соответствие с Пасхалиями, а прочее оставлял как было из года в год. Признался, что допустил лишь одно нововведение. К дате расстрела царской семьи добавил от себя: «Строгий пост»!

Остальные листки содержали изречения сомнительных классиков, народные приметы, седобородые анекдоты и стишки из «Чтеца-декламатора» 1913 года. Лишь идеологически, а никак не стилем отличались они от своих советских отрывных близнецов. И я понял фокус, делавший этот календарь привлекательным для обитателей русского Рая: листки дней обрывались и улетали, а время оставалось неподвижным. Впрочем, были отдельные всплески.

### **Вторая волна**

Что касалось меня, время моё не стояло, но двигалось так же, как и освоение английского языка – рывками. Приехал я не без основ грамматики, с кой-каким словарным багажом, но совершенно без разговорных навыков. Да, в прежних анкетах указывал: «Пишу и читаю со словарём» и даже амбициозно пытался переводить Байрона и Донна, но уличная речь в Нью-Йорке меня ошеломила. Я даже не улавливал интервалы между словами, а потому не понимал и смысл простейших фраз, а ведь

учил английский в школе с 3-го класса по 2 часа в неделю. Но что это был за язык?

– Good morning, children. Sit down. Who is on duty today?

– I am on duty.

– Who is absent today?

– Nobody absent.

– Go to the blackboard, please.

Вот, пожалуй, и всё, что я вынес из тех уроков. Гораздо больше дали другие занятия. Мать наняла мне репетиторшу Екатерину (запомнил отчество) Харкевич, красивую даму и бывшую актрису, – увы, ещё немного кино. Я к ней ходил на дом и передавал каждый раз деньги в конверте. Это невероятно возбуждало мою подростковую сексуальность, и я онемело в неё влюбился. Разумеется, я и виду не подавал, но прятки мои не могли ускользнуть от взгляда опытной красавицы. Я замыкался, она забавлялась моим смущением. Показывала ярко накрашенными губами:

– Смотрите сюда. Чуть раздвигаете зубы и всовываете туда кончик языка – th... th... th...

В результате из этих кошек-мышек я вынес не то, чтобы такое уж правильное английское произношение (хотя фонетикой мы занимались усердно), но более лёгкий, чем у других, акцент.

В новой жизни это ставило меня порой в затруднительное положение. Разговаривая с американцами (а они старались говорить с иностранцем попроще), я порой отпускал реплики вполне на их уровне и в ответ получал тирады, полные идиом и коллоквиализмов. Оставалось только хлопать ушами.

Нет, не только. Ещё и учиться. А вы не замечали, что учёба, даже поздняя, как-то молодит человека? Оказавшись на курсах, вполне взрослые люди эмоционально оживляются, становятся легкомысленней, веселей и дурашливей. Одна светлая бразильянка, просто созданная для самбы, мамбы или даже какой-нибудь одноразовой ламбады в ближайшем отеле, чуть не вскружила мне голову. Позвольте, я ведь женат на американке, да и ваш муж, кажется, бразильский дипломат... Ну и что? А то, что и невозможно, и нельзя. К тому ж наши однокурсницы и мои соотечественницы с ухмылками наблюдают нас в очереди к кофейному автомату: заметили, могут донести. Интересно, какую долю в морали занимает совесть, и какую – страх перед сплетницами? Вот ведь вопрос! А скорей всего наш общий английский был тогда ещё недостаточно элегантен для флирта.

Верил я ещё в непререкаемость и вечность церковных уз. К венчанию дело и шло у нас с Ольгой – якобы только для Гирсов

и ольгиной здешней родни, чтоб убедительней породниться. Да ещё ради Маши, – тогда, мол, она лучше признает мои отцовские прерогативы. Это соображение (а не «бразильский синдром») и решило всё.

Но прежде чем произошло такое несомненно космическое событие (а сочетание душ перед Богом иначе ведь не назовёшь), произошло ещё одно – суетное, но тоже весьма положительное. Я неожиданным образом попал в газету, во всё то же «Новое Русское Слово». Случилось это самым эффектным образом: газету принёс в класс наш преподаватель, кривлянный самодовольный гомик, и, тыкая в какую-то иллюстрацию, спросил меня:

– Is this you?

Батюшки-светы! Действительно – я, мой портрет. Вот что там было написано:

«Изумрудный ключик Игоря Тюльпанова

В галерее Эдуарда Нахамкина проходит выставка работ Игоря Тюльпанова. В экспозиции на видном месте находится картина, которая являет собою цветовой фантазии на темы стихов Дмитрия Бобышева. Это не иллюстрации к стихам в общепринятом смысле, а именно цветофантазии на темы стихов, которые бросают новый свет на поэзию Бобышева.

Игорь Тюльпанов разбил эти цветофантазии на ряд клеток: сперва идёт портрет поэта, а затем преобразование слова в линию и цвет. Есть тут что-то навеянное русской иконой, художественными ремёслами, русским пейзажем в поэзии... Так и вспоминаются притягательные строки из «Зияний» Бобышева:

И зренье новое беря в поводыри,  
лети изломами целебного простора  
туда, где молодая вечность свет простёрла,  
там, Душе Всеблагий, благое сотвори:  
возьми частицей в тело чистое зари!  
Смели мои слова в молчание простое,  
смети всю тишину в пустые словари,  
и да раскроются ребристые устои...  
Уста серебряные... Слово золотое...»

Заметка была подписана Вячеславом Завалишиным. Вскоре я столкнулся с ним, выходя от Мартынова. Он спускался из редакции «Слова» и узнал меня по портрету. А я подумал – что за бродяга? Вид его как нельзя больше соответствовал фамилии. Одет он был в какую-то действительно завалишающую курточку и джинсы, на ногах – неподходящие по возрасту спортивные туфли, на седой голове – засаленная «кубанка». Но круглое небритое

лицо шербата улыбалось, широко расставленные глаза (один чуть косил) глядели на меня с несколько нетрезвым восторгом. Он тут же пригласил меня зайти в соседний бар. Согласившись, я думал, что мне придётся раскошелиться, но нет, угощал он.

Конечно же, помимо репортёрства Вячеслав Клавдиевич писал стихи. «Плеск волны» – так назывался его только что вышедший сборник, арестованный печатником за неуплату. Я полистал оставшийся экземпляр: таверны, чаровницы, гитарные переборы, даль странствий, романтика моря... Хуже некуда! Но он был ярче своих стихов и более подлинным, несмотря на легенды, которыми обросло его днище. Не каламбура с названием сборника, принадлежал он Второй волне эмиграции. Ленинградский филолог. Был взят на войну, попал в плен к немцам. Бежал, скрывался. Был пойман и пытан. Спасся и на этот раз, а после войны подался на Запад. Несмотря на загулы, написал очень толковое, дотошное исследование «Ранние советские писатели». Кто их всех помнит? А он знал. Но его главной работой, прошедшей на «ура» с переизданиями, был стихотворный перевод «Центурий», мрачных предсказаний Нострадамуса. Упрекали его работу в отсебятине, но это трудно доказать без сличения текстов, да и стоит ли? Муть не проверишь ведь мутью.

А мои насмешки по поводу его фамилии (разумеется, невысказанные) были определённо напрасны. Завалишины – старый дворянский род со своими адмиралами и мореплавателями. Один из них (впрочем, лейтенант) обошёл вокруг света, а потом участвовал в восстании на Сенатской площади и был осуждён как декабрист.

Посидели в баре на 56-й улице два русских странника – Завалишин и Бобышев, что было даже как-то созвучно. Сдержанно поговорили. И разошлись, как в море корабли. Один – романтик, другой – трансценденталист.

### **Соловьиный корм**

Пора было зарабатывать деньги, но я только их тратил в Нью-Йорке. Решив смиренно искать работу «по специальности», то есть по инженерному делу, я стал ездить в библиотеку на Манхеттен. Оказалось, что химическая инженерия, которой я обучался кое-как в Техноложке, отодвинулась уже в совсем незапамятное прошлое, и я посчитал более реальным возобновить моё последнее занятие перед отъездом – так называемую «наладку очистных сооружений». Но если там, в недавнем, но географически отдалённом прошлом я и не прикасался к очищаемой грязи, а только ездил проверять степень

неподготовленности объектов, да закрывал фиктивные процентки, то здесь, как мне определённо почуялось, номер этот не проходил бы. И стало мне в здании, охраняемом каменными львами и чёрными наркоторговцами, эти справочники, эти учебники и само это дело – противны. Тут ведь занятие становится тобой, – тем, кто ты есть, а в данном случае – признаком неудачи. Заведомо не по мне!

А жили мы на то, чем подрабатывала Ольга – преподаванием антропологии в двух колледжах: Хантер и Лимен. В первый из них (её Alma Mater) она ездила в Даунтаун с лёгким чувством. А вот в другой, расположенный в Южном Бронксе – с плохо скрываемой опаской из-за дурной репутации этого района. И вправду, в некоторых местах там было воистину страшно: обгорелые полуразрушенные дома с зияющими окнами, осколки стёкол и мусор на улицах. Напрашивалось сходство со Сталинградом после битвы. Правда, чуть вглубь, где находился колледж, был этот Бронкс грязноват, но вполне терпим. И всё-таки спокойней было сопроводить Ольгу на семинар, который она там вела, и поджидать во дворе на скамейке. А это был вовсе не двор, а небольшой, захудалый и скромный, но – кампус! По краям – облетевшие клёны и дубы с кожаной листвой, которую они продержали несброшенной всю зиму. Стриженный можжевельник, всё ещё зелёный газон, бетонные чистые дорожки, вымощенные так, что – ни единой лужи, даже после дождя. Вот прошли парни с учебниками в руках – фигуры спортивные, а лица осмысленные. Вот две девушки пробежали лёгкой трусцой, размахивая пучками волос на затылке. Белка в шубке серого цвета сползла вниз головой по стволу, приблизилась с опаской. Надеется, накормлю...

И понял я: вот где мне быть! Не обязательно именно тут, но на любом, пусть самом непрестижном американском кампусе будет мне лучшее место на земле... От очевидной несбыточности этих мечтаний даже защемило в душе.

Но скоро я оказался в огромном, на целый город раскинутом кампусе Массачусетского университета в Амхерсте. Приглашение прислал Юрий Павлович Иваск, глава Славянского отделения, – к сожалению, уже уходящий в почётную отставку, но всё ещё влиятельный профессор. Он устроил мне выступление, первое в Америке, и с этого началась наша литературная (да и человеческая) дружба. Прологом к ней оказалось его письмо, когда-то давно, году эдак в 63-м переданное мне Славинским, который в данном случае сливается с Германцевым из 2-го тома этих воспоминаний, где я и описал всё, что с тем посланьем

случилось. Здесь лишь скажу, что было оно похвальным, содержало высокую оценку моих стихов, а всю сложную передачу (стихи – туда, письмо – обратно) совершил через Славинского Билл Чалсма, тогдашний аспирант-докторант Иваска.

И что ж – Билл и сейчас оказался в Амхерсте, имея там большущий дом, обитаемый подрастающими детьми и женой Барбарой, женщиной дородной и целенаправленно энергичной, в отличие от худенького, деликатного и совершенно неустроенного мужа. Он давно уже защитил диссертацию, но в университете так и не удержался, а уезжать из дому не хотелось. Мужик он оказался жилистый и рукастый, – брал неожиданные для слависта плотницкие подряды: сделал, к примеру, смотровой помост в усадьбе Веры Данам на Лонг-Айленде. Как же, как же, знаем... Но были мы там уже в темноте, в нервических обстоятельствах, и произведения Биллочки не увидели. Кроме подобных изделий, переводил Чалсма русский самиздат, и не что-нибудь, а «Москва-Петушки» Венички Ерофеева. Я тут же навалился на него, чтоб он напереводил побольше стихов к моему выступлению. Билл не справлялся к сроку и познакомил меня с поэтом Джозефом Лэнгландом, живущим там же. И – о удивленье! – оказалось, что он знает мои стихи и даже переводил что-то для «Антологии русской неподцензурной поэзии», вышедшей двуязычно в Харпер энд Роу, а я и понятия о том не имел. Более того, редактор «Антологии» тоже оказался там: Ласло Тикош, сбжавший из Венгрии после восстания 56-го года, преподавал русскую литературу. Всё-таки русскую! Литература тут оказалась сильнее танков.

Как всё совпало в одном месте! Подтвердились давние знакомства, обнаружилось дружба, двуязычие дало о себе знать: на выступление пришло немало университетской публики. И – я получил первый литературный гонорар.

Приём состоялся на жилых просторах у Чалсмы, где я увидел даже тех, кто не был на выступлении, и наоборот, не увидел тех, кого ожидал. В дружественной комплиментарной обстановке легко, хоть и с недоумением, замечались вкрапления неприязни, – впрочем, весьма разрозненные. Мне же хотелось, чтоб всем было хорошо от стихов, и я предложил им послушать ещё. Но нарвался на реплику:

– У нас в баракке выставляли чифирь, кто хотел вот так почитать.

Это был Михаил Николаев, хромой угрюмый бородач, при Сталине – героический сиделец. Его жена, цветаяведка Виктория Швейцер, преподавала в Амхерст-колледже, а он

работал там же дворником. Но сидельцы были для меня мученики режима, и я не смел на них обижаться.

Ещё одна чуждая фигура вилась среди гостей: молодой человек средиземноморской, а точнее – одесской наружности. Обдал меня неприязненным взглядом, как измазал. Я спросил у него:

– Вы, должно быть, пишете... Стихотворец?

– Нет, я бизнесмен.

И – отошёл. Но узнал я, что он всё-таки писака, – Михаил Армалинский, поэт в оригинальном жанре, а именно – порнограф. Мистификатор, автор поддельных «Интимных дневников А.С. Пушкина». Ну, и предприниматель чего-то такого по поводу купить и продать.

Чего ему было здесь нужно? А – того же, что и мне, того же, что и, например, известному в этих местах Владимиру Дремлюге, сидельцу за прекрасный подвиг, совершённый вместе с Натальей Горбаневской и другими смельчаками. Вышел на Красную площадь в протестом в августе 1968 года! И вот после приговоров и лагерей он – в США, преподаёт американским ребятам-девчатам в этом прелестном университетском городке. Преподаёт, но – что? Он же просто рабочий. Поправка – недоучившийся студент. Ну, во-первых, не что преподаёт, а кого. И ответ на это – себя, конечно... А во-вторых, уже и не преподаёт, – недавно отбыл с репутацией большого жизнелюба...

И стало понятно, что этот приём – не столько отдание чести заезжему стихослагателю, сколько повод наладить контакты с прицелом на главное: зацепиться, устроиться, схватить самое ценное в этой, оказывается, такой сверхтрудолюбивой стране – работу. Биллочка шепнул: Юрий Павлович уже раскинул сети, чтоб отловить для меня возможность вот этого соловьиного корма... А как же Билл, его ученик и мой уже давний приятель? Конкурировать с безработным и многодетным другом как-то негоже...

– Ничего, ничего... It's okey, – прощает двуязычный Чалсма.

Джозеф Лэнгланд, пожалуй, более всех дружелюбен, приветлив ко мне. Ладный, с хорошей улыбкой, сам не молод, не стар, голову держит высоко на круглой, как у девушки, шее и оттого кажется выше, чем есть. Тоже любит деревья и оттого перевёл мои стихи об ольшине – «Возможности». Час назад я читал их по-русски, и теперь задним числом мы обсуждаем: возможности чего? Ну, хотя бы того, что презираемый сорняк, если дать ему шанс, может стать красую округи... Джо по-

фермерски рационально не согласен, но предлагает показать мне здешнюю флору. Назавтра он заезжает за мной на своём «Вольво», и мы совершаем великолепную прогулку по лесным окрестностям.

Настолько она была хороша, что я написал об этом заметку и напечатал в «Новом американце» вместе с переводом из Лэнгленда, сделанным в благодарность за его добровольную помощь. И то, и другое просится быть представленным здесь.

#### Прогулка с поэтом

Если это делает настоящий художник, даже прогулка может стать произведением искусства.

Джозеф Лэнгленд бродит по массачусетскому лесу, как по рабочему кабинету: чист, свеж, подтянут. Пруды, деревья, тропинки, нагромождения камней он знает и в лицо, и наощупь. Вот на этом стволе разросся корончатый лишайник, и Джо следит, как тот прибавляет по полдюйма в год. А в этой ложине лучше всего спеть псалом, и Джо поёт ясно и звучно. А здесь, в тайнике под камнем, спрятан у него томик Роберта Фроста, и Джо уверенно раскрывает влажные страницы в нужном месте и читает вслух любимого поэта – впрочем, почти не глядя в текст, наизусть. А на этом берегу всего уместней помолчать, глядя на тихого собеседника и на его отражение в гладкой темноте лесного пруда, или порыться в хвое под ближайшей сосной и извлечь оттуда бутылку Кипрского со смолистым запахом...

Таков Лэнгленд, таковы и его стихи – светлые, энергичные, глубокие.

«Место всегда важно для меня. Мне нравится чувство укоренённости; уйма моих метафор и пейзажей, о которых я размышляю в стихах, пришли от острого переживания места, где я нахожусь», – пишет он в пояснениях к своему сборнику.

Сейчас этим местом является университетский городок Амхерст, живописный и чистенький, словно почтовая марка. Вот дом, где жила гениальная затворница Эмили Дикинсон, чудо американской поэзии. Добрая сотня поэтов ныне проживает в Амхерсте, и это делает его отнюдь не провинциальным. Интеллектуальная жизнь одухотворяет эти идиллические окрестности, причём и «русская тема» представлена здесь весьма значительно. Достаточно сказать, что тут живёт и работает профессор Ю.П. Иваск, один из доверенных корреспондентов Цветаевой и сам замечательный русский поэт, чьи стихи и поэмы расходятся по ленинградскому и московскому Самиздату. Кстати, значительная коллекция самиздатской литературы хранится в архивах университетской библиотеки. Устраиваются там и выступления русских писателей–эмигрантов, и фестивали русской

культуры; выпускаются двуязычные сборники. В них профессор Дж. Лэнгланд участвует как составитель и переводчик.

Так Америка открывает для себя «русских пришельцев» и сама открывается им. Поэзия Джозефа Лэнгланда мне кажется хорошим вожатым для тех, кто осваивает культуру и природу этой удивительной страны.

### Либертивилль

*Деревом, птицей и цветком штата Иллинойс  
считаются дуб, кардинал и фиалка.*

В глухомем лесу родник  
глаголет светлый бред.  
И тут же зелено-велик  
ответ рокочет дуб.  
И, в зелень вкраплен, кардинал  
из красной грудки свист издал...  
В корнях сиренево-голуб  
звучит фиалки цвет.  
Но это – часть. А полный глас –  
в груди у нас.  
В лесной тени звенит поток  
небесной синевой  
с полночным солнцем в такт, и в лад  
с полуденной луной.  
И звуки путнику на взгляд  
как радуга, а он и рад  
к воде и к музыке припасть.  
Но это – часть.  
На берегу – лесной цветок.  
Под ним – голубизна. Над ним  
в ветвях садятся на насест  
то солнечный, то лунный нимб.  
И птица – порх – на тот шесток,  
а в клюве держит лист...  
Какая толщ, какой потоп  
и смерти, и зари! Такой,  
что чую в высях надо мной  
ковчега днище. Правит Ной  
на Африку и Эверест.  
Вот – радуга. А пересказ  
мой фрагментарен. Полный глас –  
у нас...

Благодаря множеству дальнейших совпадений, – неправдоподобных, как в романе «Доктор Живаго», – эти стихи стали для меня вещами: они указали путь, где я найду впоследствии свой соловьиный корм.

*(продолжение следует)*



Юлия Драбкина

## Средилетье

\*\*\*



Плечет время в проеме оконном,  
свесив ноги с обеих сторон,  
хоронясь от дождя под фронтоном,  
под церковный заутренний звон  
плачет голубь – гонимая птица,  
плачут, рухнув с небес, облака,  
больно им по асфальту катиться,  
обдирают о камни бока.  
Плачут тихие люди неслышно,  
зажимая ладонями рот,  
рядом с криками «Кришна я, Кришна!»  
городской сумасшедший ревёт.  
Солью капая в рваные раны  
развороченной ими земли,  
плачут кровью венозной тираны,  
но не кличут свои патрули.  
Плачут нищие, сирые дети,  
плачут баловни и алкаши,  
плачет всё, что живое на свете,  
в чём осталась хоть капля души.  
Слышишь, льется на землю бельканто?  
Не скупись, красотой упои.  
Это плачут твои музыканты,  
живописцы, поэты твои,  
по которым еще до рожденья  
где-то там зажигают свечу.  
Из глубин своего отчужденья  
я вопрос в поднебесье шепчу:  
- Чем ты сам исцеляешься, Врачу,  
над поверхностью боли скользя?  
- Я не плачу, я просто не плачу,  
мне, последнему, плакать нельзя.

\*\*\*

Бредешь по песчаному пляжу, случайный подкидывш  
своей неслучайной страны, а вокруг суета,  
и слышишь диковинных птиц неразборчивый идиш,  
и видишь, как будто бы в рамке большого холста:

слегка обнажая верхи золотых колоколен,  
на кронах редуют замедленно листьев ряды,  
но воздух по-летнему душен, и горек, и болен  
от первого раннего света до первой звезды.

И солнце вздымается паром в небесном кадиле,  
спасения нам не суля - хоть совсем не дыши:  
мы в этой горячей земле уже так наследили,  
что, кажется, негде упасть и огрызку души.

А где-то, часах в четырех, по воздушному трапу  
неслышно спустилась зима в сапогах и пальто,  
задумчивой осени сходу давая на лапу  
и щедрой рукой наливая бездомным по сто,

от Горького парка пешком до Бульвара Шевченки  
прошла и расставила белый холодный конвой,  
и Минск, как ребенок, к груди поджимая колени,  
укрыл одеялом пороши себя с головой.

\*\*\*

Разделив аргументы на "против" и "за":  
за дорогу и против разлуки,  
я иду и смотрю, но боятся глаза  
и не видят, что делают руки.  
Мне дорога всегда по нутру, по плечу –  
слышу зов пионерского горна,  
а усталые ноги кричат - "не хочу",  
но за мною бегут беспризорно.  
Не желая одной оставаться, душа  
закатала штаны до колена  
и, босая, осенней листвою шурша,  
налегке колесит по вселенной.  
Видно, где-то внутри непонятный Никто  
иностранцем сидит, иноверцем,  
то достанет наган, то возьмет долото,

то ударит, то выстрелит в сердце.  
Хладнокровный убийца и шпаголовец,  
отвечаю ему из двустволки.  
Я плохой человек: не жалею овец,  
лишь бы были накормлены волки...  
И иду по земле, под землей, над землей –  
по каемке небесного блюда,  
осмелевшие ласточки мертвой петлей  
надо мной (или вороны?) вьются.  
Только там далеко, говорю, далеко,  
голубое, опять голубое,  
словно кто-то втянул в золотое ушко  
бесконечную нитку прибоя.  
Но стежками холодной чужой бирюзы  
не заштопать сердечные раны,  
и ломается враг мой, мой русский язык,  
и не хочет учить иностранный.

\*\*\*

Смешан с пылью туман – на асфальте лежит бахрома,  
ты опять нездоров, по периметру улиц распорот,  
выживаю с тобой, выживаю в тебе из ума,  
обманувший меня (или мною обманутый) город.

Небо свесилось вниз, натянув на тебя капюшон,  
фонарям прикрывая желтушные тусклые лица,  
здесь тепло и темно, и всегда исчезать хорошо,  
ведь любая деревня в отсутствие родин – столица.

Сквозь твое решето утекает любая вода -  
так нельзя удержать болтовню незатейливых своден.  
Здесь почти невозможно казаться счастливым, когда  
и себе самому (оттого и другим) не угоден.

Коммуналки гостиниц горят, но порядок таков,  
что туда не попасть, если здесь проживаешь веками:  
там бесплатно отводят места для любых чужаков,  
но двойная цена для своих, что слынут чужаками.

Ты не стал мне ни братом, ни другом, но стал  
двойником -  
мы с тобою близки неспособностью плакать слезами.  
Обитаемый город (со мной изнутри) под замком  
то ли умер давно, то ли слишком задумчиво замер.

Но рассвету дано ежедневную смерть превозмочь:  
поутру отступает ночная тяжелая кома,  
и с улыбкой глядит на меня черноглазая дочь,  
и сердечная боль ей, по счастью, пока не знакома.

\*\*\*

Свернешь по темноте в лесную гущу  
с разряженным ружьем наперевес,  
на голос, так давно тебя зовущий,  
и движешься наощупь в этот лес.  
А там лишь бездорожье и вороний,  
несчастье обещающий галдеж,  
куда бы ни пошел, ты - посторонний,  
куда ни сунься - в пекло попадешь.  
А там ни декораций нет, ни фальши -  
война и небо черное над ней,  
чем дальше углубляешься, чем дальше,  
тем всё невыносимей, всё больней.  
Идешь, не замечая, что кругами,  
сгущенный мрак собою шевеля,  
но вдруг под утомленными ногами  
в мгновение кончается земля.  
Посмотришь вниз и пробуешь схватиться  
за что-нибудь, в пространстве семени,  
но падаешь, громоздко, как нептица,  
в живую пасть всеядного огня,  
и сердце, обреченное на вертел,  
вращаясь, трепыхается в крови.  
Ты говоришь, что я опять о смерти,  
а это я, напротив, о любви...

## НЕ СТИХИ

И снова будет сегодня сниться: кошмарный ливень, собачий вой,  
допрос с пристрастием на границе; упрямый въедливый поставой  
посмотрит в паспорт и ставит просто отказы-штампики на судьбе;  
и, замыкаясь, ряды форпоста не пропускают меня к себе.

Так и останусь на распродаже по низким ценам скупать грехи.  
А кто-то мудрый прочтет и скажет, мол, не стихи это, не стихи.  
И кто-то умный начнет глумиться, знакомый вновь заведя куплет,  
что сердце рвать неприлично в тридцать, что опоздала на десять  
лет.

Мол, напиши, как луны камья собою красит небес парчу,  
а я о звездочках не умею, а я о бабочках не хочу.

Я напишу о глазах ребенка, распознающих любую ложь,  
о том, что рвется не там, где тонко, а там где этого меньше ждешь;  
о том, как в доме напротив прячут мужской, срывающий крышу  
плач;  
о том, как времени ушлый мячик безостановочно мчится вскачь,  
живых людей превращая в маски на зависть куклам мадам Тюссо,  
что мертвым грузом в его запаске – фортуны пятое колесо;  
что, несмотря на чины и масти, одна на всех у него печать.  
Я напишу (как усталый мастер о самом грустном всегда молчать)  
о том отчаянном женском пьянстве, что незаметно в тени кулис,  
о законном ночном пространстве, к утру сильнее зовущем вниз;  
я напишу себе послесловье на грязном зеркале, словно тать,  
такой горячечной бурой кровью, что ты не сможешь меня читать...

Прохладно. Слышится звук негромкий (полощет ноги в воде луна).  
Стою у суток на самой кромке, всепримиряющей с гладью дна,  
там, где кончается божья помощь и начинается путь домой.  
И чей-то смех разрезает полночь, знакомый, нервный. Похоже,  
мой.

\*\*\*

А это неминуемо, смотри: сначала - по сюжету – будет слово,  
неловкое топтанье у двери; влюбленные, бездумно, безголово,  
мы вышагаем город от и до, охваченные общей лихорадкой,  
не оставляя за собой следов, сбегая от родителей украдкой.  
А будет все по плану, расскажи, какие там у нас большие планы,  
про звательные замуж падежи, про скромный быт шута и  
несмеяны,  
про бесконечность будущих ночей и наш с тобой счастливый,  
редкий случай,  
про то, что я ничья и ты ничей, про то, что так, наверно, даже  
лучше...

А дальше? Дальше утро. В цвете беж покажет время облик  
обезьяний,  
и вот уже виднеется рубеж, где боль и неизбежность расстояний.  
А мы с тобой на этом рубеже случайно разминемся на перроне.

И я не та, и нет тебя уже, и я не знаю, где ты похоронен...  
Но там, в моем далеком далеке, в пространстве нестерпимо  
глупых сплетен,  
где трескается наледь на реке и ничего не слышали о Лете,  
неделя до скончания зимы, до взрослости – четыре с лишним века,  
обшарпанный подъезд, и ты, и мы, два маленьких счастливых



\*\*\*

Не потому ли, что сильнее свет  
бьет по глазам в не наших палестинах,  
здесь все не так, как в Минске и Москве -  
по-новому, но тянет из гостиных  
ремонтom перегнивших старых крыш  
и запахом студенческой столовки,  
где очередь стоит, и ты стоишь,  
последний, бесприютный и неловкий.

Не потому ли, что напрасный труд  
прикидываться тем, которым не был,  
что я тебя из памяти сотру  
не позже, чем заря окрасит небо.  
И если не привык, то привыкай,  
разумное и злое щедро сея:  
не напасешься добрых навсикай  
на каждого слепого одиссея.

Не потому ли, что иных уж нет,  
иные размножаются в неволе,  
божественным стечением планет  
считая этот бред. Не оттого ли  
порочной называю нашу связь,  
любя ее как малость (или милость).  
Ты знаешь, жизнь не то чтоб удалась -  
она как будто вовсе не случилась.

Не потому ли ты ко мне приник,  
что всё пройдет, болезненно и остро,  
что все мы здесь не больше, чем на миг,  
с последующей высылкой на остров,  
где ничего в округе, кроме льдин.  
И корабли надежды затонули.

Не потому ли ты всегда один  
и я всегда одна? Не потому ли...

\*\*\*

Я боюсь тишины, черноты ее глаз в темноте,  
предсказаний судьбы на исписанном за ночь листе.  
Попадая во власть языка, не имущего страха,  
опасаюсь ронять безобидные с виду слова,

сторонюсь одинаково тени случайного льва  
и хмельного соседа, похожего в профиль на Баха.

Распадаясь на мелкие шорохи, крошится быт:  
старый пес на полу, навсегда глухотою убит,  
и беззвучно рапира луны разбивает посуду.  
Обнаженное время садится ко мне на кровать,  
равнодушные тонкие губы ему целовать  
я боюсь, но с последней надеждой, наверное, буду.

Расплывается в воздухе комната, рушится свод,  
кто-то – ближе и ближе – во тьме по подъезду идет,  
так легка его поступь: ни звука, ни скрипа ступеней.  
Спит ребенок, укутанный ночью от холки до пят.  
Заходи ко мне, Бог, не волнуйся, домашние спят,  
помолчим на твоей непонятной божественной фене.

И в предельном беззвучье обоих взрывается страх,  
обретенный в других, параллельных живому мирах,  
заполняет пространство своей пустотой островною.  
И безмолвие в небе дрейфует, не видно планет  
под распластанной ночью. Всё замерло, выживших  
нет,  
никого, только время и Бог, только мы с тишиною.



# Мишель Деза

## Пути времени



сперывно ли, конечно ли, реально ли  
Время

(Смолин против Эйнштейна-Таггарта)?

Кучка физиков допускает его неединственность.  
Ощутить, в дрожи пальцев, непомерность Времени:  
от трути-искорки до цикла Браны через 30 порядков,  
от зепто- до зетта-секунды, через все 42 порядка.  
Прошлое сомнительно, а уж будущее – так и подавно.  
Это историки, осквернители могил во Времени,  
не боятся осознать непознаваемость прошлого  
и придумывают, каждый свое, возможное прошлое.  
А будущее просто не обязано случиться,  
как и волновая функция может не разродиться в факт.

Время, космическое и квантовое,  
могут быть иными измерениями  
чем привычная Амазонка  
нашего Времени.

Там позволены и роятся  
обнажённые сингулярности,  
обратимость, допланковость  
и сверхсветовые судороги.

Признание душевладельцами  
рабов, женщин и «всех людей»  
ещё свежо и утрясается.  
Последуют психо-особенные,  
дети, близнецы-паразиты, эректусы,  
братские млекопитающие,  
вороно-попугаи и восьмирукие.  
ООН увязнет в конфликтах -  
осьминого-кашалотском

и свино-человечьем.  
Но способность различать,  
будучи уже на пределе,  
обыватель мало изменится  
в федерациях важных видов.  
И опять космически малая  
горстка организмов  
несётся в комете Времени.

Встреча с внеземной волей  
возможна в оставшиеся нам  
10 - 5000 тысячелетий.  
Уже засветились визгом  
доцифровых ТВ, радио, радаров.  
Но не следует ждать  
ни врагов, ни друзей,  
ни общих интересов, ни понимания.  
Мы, наверно, несъедобны  
И игрушки наши не нужны.

Знания и человечество растут,  
но люди деградируют в среднем  
и мозг уменьшается.  
Естественный отбор прекращён  
демократией медицины и размножения.  
Индивидуальность отомрёт за ненужностью,  
но и центробежность растёт -  
и генетически, и в Интернете -  
двигаемся к нациям-ульям.

Нужность и сложность эмоций  
убывает с эволюцией человека.  
Недра подсознаний скудеют:  
культура выгребла главное.  
Неизвестные нам эмоции  
остались лишь у животных.  
Серый Алекс, Канзи, Коко  
всего лишь людоподобны.  
Пусть наши Колумбы ищут  
пряности и причины жить  
в океанах страстей животных.

Вижу тебя, следующий гоминид,

Комочек думающей воды,  
Откопавший мой частичный череп.  
Этот эпизод - музейной костью -  
не задержит геологию Времени,  
медленный взрыв моего «я»-  
разложение, расширение,  
растворение, испарение -  
по распаду протонов,  
к Тепловой Смерти.

Умирать... Глагол несовершенный, не завершённый:  
ведь субъективно смерти нет.  
Умирать: соскользни моя нацепочка, колечко-  
шатунок  
с иглы/оси Времени, с Экскалибур-размерности,  
воткнутой в спайку пространственных измерений.  
И все-таки умирать. Слететь с великой Иглы  
стружкой-изморозью, жужжанием замирающего  
волчка.  
Оставив след, может, только в облаках  
виртуальности,  
дойти в свободе и дисциплине мысли до уровня их  
слияния,  
и просто чистить перышки, как моя Белоснежка-  
какаду,  
что прожила разве первый из положенных ей 80 лет?

Пафос романтической старости:  
не ждать ликвидаторов Времени  
за баррикадой обугленных смыслов -  
грудами взглядов, привычек, вещей.  
А выпить это как цикуту:  
моя девочка-каравелла,  
уплывающая в Ночь,  
в мою маленькую бесконечность,  
под серым знаменем старости,  
за золотом невозвращения.

За щелчком личной смерти, неизбежны и  
смерть народа, человечества, Земли, Солнца.  
Земная жизнь не продержится и миллиарда лет.  
Ну, ещё миллиард-другой уйдут на микробов  
в глубине коры или стратосферы.

Однако, трогательно верится  
в ловкое бессмертие человечества,  
хотя 5 миллионов лет - нам красная цена.  
Люди даже верят в бессмертие  
их народов-государств; ведь копошатся ещё  
старейшие: Иран, Вьетнам, Израиль, Шри-Ланка.  
Размножаются беззаботно и раковые клетки  
Генриетты Лакс, умершей в 1951.  
Не умирают сами и медузы Турритопсис,  
а молодеют снова после каждой женитьбы.  
Да и каждый, внуками, публикациями ли  
оттягивает смерть памяти о нём.  
Но есть и очарование Смертью,  
как её средневековые пляски,  
Бон Одори, Седьмая печать,  
как умиротворение Околосмертья  
по рассказам возвращенцев.  
А, может, просто стокгольмский синдром,  
последняя хитрость мозга?

Значение жизни:  
не отвлекаться от целей,  
уважать свои секунды  
и не бояться смерти,  
последнего приключения.

Узнавание себя можно проверить,  
шатая свои границы.  
Эффектом «зловещей долины» -  
ужас человекоподобия -  
как зомби, протез и труп.  
Или иллюзией «странного лица»-  
увидеть, один в полутьме,  
в зеркале через минуту  
иного себя и Других,  
брататься со своими демонами.

Цена ложной тревоги-идеи так ничтожна  
перед ужасом ошибки второго рода:  
не заметить саблезубого в шорохе.  
Что мы заполнили Всё  
джунглями ложно-причинных связей,  
поселили объяснение за каждым фактом,

заткнув дыры ватной верой.  
Отсюда и тропизм структурировать  
в законы, империи и симфонии.  
А осознать безотносительность,  
аморфность и отчуждение мира -  
это очнуться в наготе,  
задохнуться в истине.

Нормопаты бегут по узкому косоугру  
между обрывами Аутизма и Шизофрении,  
между избытками локальности и глобальности,  
между не понимать других и понимать их неверно,  
между слишком и недостаточно плотным миром.  
Не стоит селиться надолго в садах безумия,  
но обе крайности нужны при добыче знания.  
Парить в психозе невесомости над Океаном,  
заметить малое-дрожащее-незавершённое,  
воткнуться метеором в плотную глубину,  
до аутистического экстаза Встречи  
и разрядиться пружиной назад,  
но с тушкой свежего знания.

Знание причиняет боль:  
ящерка нового видения юркнет по дюнам мозга,  
хрустнет старая, взвизгнет новая нейронная связь.  
Знание – горькое похмелье, вызов и тревога -  
только утяжеляет ношу памяти,  
ведь невозможно забывать сознательно.

Вера может зачаровать тело:  
стигматы пяти Святых Ран  
(Святого Запаха и без инфекции),  
смерть от проклятья шаманом,  
плацебо, ноцебо, рэйки.  
Но так же действуют и знания:  
когнитивный запас тормозит деменцию.  
Знания и вера различаются  
только по стилю их добычи.  
Мозг использует оба этих эликсира.

Будда учил свободе  
как альтернативе знанию.  
Он отказался ответить

на 14 «бесполезных» вопросов:  
вечна ли, конечна ли вселенная,  
едина ли душа с телом и т.п.  
Да, знания – это расширять себя,  
зависеть от мира, наркотик,  
неутолимая жажда,  
прыгать из одной догмы/клетки  
в другую, прочнее и больше.

Подходящей дозировкой  
любое действие превратимо в наркотик.  
Подходящим действием  
любой объект превратим в идола.  
Так мы лепим себе скафандр выживания,  
проход через невыносимость реальности.  
Обшивка, как стенки термитника,  
из засохших выделений сознания.  
Научный метод: начать с наркотика ясности,  
сотворив идола из объективности опыта,  
а затем страдать при сдвиге парадигм -  
потере герметичности, хрусте скорлупы,  
гибели уверенностей, расширении личности.  
Но это быть отцом, а не жертвой страдания.

Опьянённые ясностью,  
прожигаем дыры в своём небосводе  
зеркальцем самосознания.  
Но похмельем являются страх,  
предательство памяти, потеря пластичности.

Яркость, ширина и пластичность сознания  
мельчают, иссыхают с возрастом.  
«Взрослые» тупеют душой,  
скучно-двоичны: дичь или хищник.  
Я успел отшатнуться от пропасти зрелости,  
отлетел птицей-подростком:  
неуверенность и любопытство.

В мои 20-25 лет,  
когда полагалось взрослеть  
(т.е. отрезать язык подсознанию),  
мы договорились:  
Сознание сдалось, стало

шестёркой подсознания,  
его двойником-подделкой  
во внешнем мире.  
Подсознание остепенилось (?)  
хранит мне здоровье,  
мир и сладость  
«всё позволено» на свободе.

Наделение явлений смыслами  
создало пространство мемов -  
значений, идей, символов  
и цепную реакцию обобщения.  
Как и живое, мемы размножаются,  
ноосфера непрерывно удваивается.  
Смысл изменяет живое,  
как и оно меняет планету.  
Смыслы будущего покинут нас  
в процессе роста абстракции.

Не культура породила иронию  
и юмор, абсурд, метафоры.  
Наши восприятия не точны,  
а проходят цензуру Целого:  
сознание выбирает «полезное»  
из реальности и подсознания.  
Деконструкция уже в ощущениях,  
в колосках-ошибках восприятий.  
Ошибки можно использовать,  
пахать мозг парадоксами  
как размножение яиц курами.

Созерцание грозного -  
огня, водопада, пропасти -  
было уже Поэзией,  
до рождения смыслов и Бога.  
Наука не исключает священное,  
а нежно облагораживает его:  
из суеверия в романтику точности,  
обновляя поколения значений,  
поднимая ставки в игре выживания.

Когда первый поэт, в глубине веков,  
прохрипел первую фразу,

это было «убирайся, чужак»,  
подкреплённое жестом и позой.  
Первыми поэмами были ругательства -  
носители первых сюжета и стиля.

Ненависть к чужаку,  
мэтэку, гайдзиню, лаоваю  
обобщает страх патогенов.  
Но только умножая на идеал -  
чистоты и первородства -  
выводят крепчайшие сорта:  
на еврея, цыгана, рохинджа.  
«Спасай Россию, Словакию, Мьянму!»  
Поёт душа погромщика.

Сардины, увидев хищника,  
спаиваются так, что стая хрустит  
когда он откусывает ломоть.  
Не идеалы спаивают группы,  
а общий страх и ненависть.  
Идеалы вторичны: по отрицанию  
деталей понимания Ужаса -  
единого, неделимого, доназываемого.  
В ненависти мы все монотеисты.  
Не идеалами различаются идеологии,  
а тем что нужно ненавидеть.

Любовь - безумие вдвоём:  
нарушить границу и меру себя,  
проглотить Другого  
или утопиться в нём.  
Страшны и большие группы,  
где равенство невозможно,  
кроме худших моментов  
массового рабства и злобы.  
Люблю малые группы, 3-7,  
звонкие кучки твёрдых шаров,  
соавторы-сообщники-охотники,  
как до Каина и земледелия.

Да, двуногость помогла:  
бегать, видеть, носить корм,  
расширился череп.

Ну а теперь-то что -  
артрозы, родовые муки...  
Итак, назад, в 4-ножие.  
как в сексе или в невесомости.  
Чтобы дольше жить,  
вынашивая дольше,  
моногамствуя меньше.

Осторожно волнуясь, латают  
пробоины в своих взглядах  
эликсиром прирученных перемен.  
А встретив великана,  
сочтут его ветряной мельницей.  
Как Санчо в маске Фигаро,  
французы бегут по жизни -  
не расплескать душу -  
как в гонках официантов  
с подносами по Парижу.

Отрицание Гвуры, что Бог бьет только левой рукой.  
Като-французы запрещают выражение ненависти.  
Испанцев и русских считают инфантильными,  
не способными скрывать отрицательные эмоции.  
Злоба, не выраженная, не растворенная в Возможном,  
концентрируется в яд «законного возмущения».  
Главная доблесть: реконструкция лицемерием.  
Конфликтов меньше, но они неизлечимей.  
И вырабатывается горькая амбра, угрюмость души,  
как *Les feuilles mortes se ramassent a la pelle...*  
(опавшие листья сгребают лопатой...) Жака Превера.  
Все-таки мир Яфета хуже восточного хамства Хама.  
Он уж совсем не считается со списком  
культурных универсалий. Не Запад ли Амалек?

Смешно и страшно, когда религия селит  
чёрно-белость богоприсутствия  
в приватность туалета.  
Входить с левой, с шапкой, с молитвой,  
выходить с правой, благодаря Его  
за мудрый дар выделения.  
Жёсткая точность даже граничных понятий:  
мустакзар: слюна чиста, но отвратительна;  
мукайяд: вода соков чиста, но не очищает;

узр: неомовение, когда простительно.

Венеры из Берехат-Рама и Тан-Тана:  
230-500 тысяч лет назад  
проточеловек осознал женщину в камне,  
добавил насечки, охру и веру –  
первое искусство, абстракция, теорема.  
Палеотические Венеры  
раскрывают геометрию желания:  
грудь и бёдра вписаны в круг,  
а всё изображение – в ромб.  
Суть желания не могла измениться,  
но бесчисленные подступы к нему,  
личинки почти-желания  
созданы художниками с той поры.

Женщины как суровые офицеры,  
присяжные сексуального отбора,  
что судят от имени интересов племени.  
Да что, от имени всей органической жизни,  
смывая взглядом шкурки того что не относится к  
Делу:  
отцовскому вынашиванию семьи.

Прогресс тормозит деторождение.  
Религия и секс влияют меньше.  
Дети - уже не подмастерья,  
ни продолжатели, ни пенсии по старости.  
Им легче строить себя не вместе с,  
а вместо родителей.  
Государства-кукушки легко отвлекают их,  
выжав родительский сок из нас  
- нужны солдаты, налоги.  
Пусть государства платят сами  
за распечатку своих граждан,  
создав специальных маток  
- как у пчёл, муравьёв, термитов -  
заводы детопроизводства.

Скелет беззубого неандертальца  
означает что кто-то жевал для него.  
И что мы теряем способы любить  
с развитием цивилизации.

За законами Живого встают исключения,  
чудеса структуры и поведения,  
артефакты и контрапункты к законам о Человеке.  
Медузы без старения;  
Личинки, живущие выпустив бабочку;  
Жук Эпомис, ловящий лягушек;  
Бамбук, цветущий раз в 130 лет;  
7 полов инфузории тетрахимены;  
Проституция (за камешки) у пингвинок;  
Любовь (платоническая) у бабуинов;  
Турниры акулят в утробе матери;  
Самцы живущие внутри самки  
или с оргазмом при откусе их головы;  
Жемчужины паразитизма, симбиоза, гибридизации...  
За каждым таким фактом стоит причина/этика.  
Можно ли построить мораль всего Живого,  
Талмуд для всех, включая растения и бактерии?

Племена и их кучи, сплетённые в государства,  
ведут себя как опасные подростки.  
Можно, конечно, в них «только верить»...  
А если нет, то ох как боязно прошныривать  
между лапами этих неповоротливых динозавров,  
ожидая астероида-спасителя.  
Впрочем, были и светлые минутки,  
скажем, пещера Бломбос, Афины при Перикле,  
Китай при поздней Чжоу, Самарканд при Улугбеке,  
Флоренция при Лоренцо Великолепном.  
Когда интеллигенцию сдвигали с 3-го круга власти  
во 2-й.  
Когда, например, Аристотель, император знания,  
учил Александра, императора пространства.  
Но мне уже не увидеть такой минутки: прочная ночь  
кругом.  
Моя надежда-спаситель, свеча во тьме – виртуальное  
племя,  
заложники и прародители будущего: читатели  
Википедии  
и трогательные фанаты знания - её анонимные  
авторы.

На стыках литосферных плит, ревнивых орденов -

московских 60-ников, парижских intellos, токийских edoko,  
математики и еврейства — свил я свое пугливое гнездо.  
Защищаясь каждым от абсолютизма других.  
Каждое из всеучений дает силу перетерпеть,  
но только в обмен на верность.  
Я должен и верен каждой из этих глыб сознания.  
Все мои коктейли — из этих элементов.  
Но прав, прав только ветер, tohu wa-bohu.

Души куются уже не семьями,  
а ударами определяющих встреч/книг,  
кометами сознания мастеров,  
чеканящих личный рисунок смысла  
как кратеры планеты или шрамы кашалота.  
Мои отцы-основатели, имена-заклинания:  
Волошин, Эредиа, Уитмен, Рильке,  
Сервантес, Свифт, Кафка, Оруэлл,  
По, Уэллс, Шекли, Дик, Лем;  
Хайям, Руми, Сведенборг, Лурия,  
Шолем, Жаботинский, Спиноза;  
Паскаль, Ницше, Фрейд, Винникот,  
Кеплер, Лейбниц, Вороной, Эрдёш;  
Лоренцо Медичи, Леонардо да Винчи,  
Диего Дега, Колумб, Уоллес.  
Брызги с этих комет смешались во мне  
в неповторимой пропорции.  
Только в этом — моя единственность.

Когда я смог «писать», то оборвал почти сразу,  
это помешало бы мне остаться честно — зверем -  
сохранить гражданство в ледяном вихре явлений,  
до их переработки пишушим.  
Убежал от законной Поэзии с красавицей-Наукой.  
Заворожила неисправляемость реальной жизни.  
Как у Лучо Фонтана: взрезами холста бритвой.

Всё измеряемо  
числами или шкалами.  
Как единицы риска -  
микрожизнь (+- полчаса жизни,  
57 лет /1000000),

микросмерть (1 /1000000  
вероятность смерти).  
Как шкалы боли и счастья,  
формы фекалий и монотеизма,  
любви к Родине и мальчикам.  
Ах, измерить и произнести,  
неужели это уже не опасно?  
Назвать, как ударом хлыста,  
измерить и приручить  
поимки в рое явлений.

Движения материков или пролёт нейтрино  
не могут влиять на наши жизни.  
Только сравнимость по размеру и времени  
даёт явлению опасность/полезность для нас.  
На площадке человекоподобия,  
между безднами Большого и Малого  
идёт эта пьеса – реквизит и мы.  
Наблюдает ли нас воля из Несравнимости?  
Несравнимое можно представить  
букетами формул, моделей и слов,  
даже «увидеть» в микро- и телескопах.  
Вовлекаю его в пьесу, бездну дословия,  
подвалы сознания, нашу причинную ткань.  
Мой космополитизм явлений  
не ради империи понимания,  
а непрерывная эмиграция души,  
в ужасе разбегания от исходной точки  
к моменту разрыва периметра.

Даже если люди и, вообще, разум  
суть патогены биосферы,  
болезнь на десяток миллионов лет.  
Даже если секс и многоклеточность  
провалятся как стратегии  
в войнах между микробами.  
Даже если все клетки и атомы  
рухнут в менее ложный вакуум.  
Даже если в поисках надежды,  
в глубине деконструкции  
окажется только Его равнодушие.  
Стоит верить в своё существование  
и единственность своей точки,

без причин и следствий.

Он создал мир и ушёл  
и вряд ли вернётся вовремя,  
да и вряд ли подсматривает.  
Если нечего делать,  
то любите друг друга  
или соревнуйтесь  
или размножайтесь  
или просто шалите.



## Бахыт Кенжеев

### Стихи последних лет

\*\*\*



огда бы знали чернокнижники,  
что звезд летучих в мире нет  
(есть только бедные булыжники,  
куски распавшихся планет),

и знай алхимики прохладные,  
что ртуть – зеркальна и быстра –  
сестра не золоту, а кадмию,  
и цинку тусклому сестра –

безликая, но многоокая -  
фонарь качнулся и погас.  
Неправда, что печаль высокая  
облагораживает нас,

обидно, что в могиле взорванной  
одни среди родных равнин  
лежат и раб необразованный,  
и просвещенный гражданин -

дух, царствуя, о том ни слова не  
скажет, отдавая в рост  
свой свет. И ночь исполосована  
следами падающих звёзд.

\*\*\*

Где незадачливый трепещет  
бард, где набоковский уют,  
где агнцы, овощи и вещи  
хвалу Всевышнему поют -

уверен, есть края такие

в четырехмерной глубине  
вселенной, паруса тугие,  
осадок дымчатый на дне

стаканчика с невинным vino,  
как в Чехии, и вообще -  
давным-давно за середину  
перевалила жизнь. Вотще

мы плачем над ее распадом.  
Всё разрушается. Одна  
любовь, как золото и ладан,  
еще, прощальна и влажна,

мурлычет – с ней, такой же смертной,  
как крючья сонных хромосом,  
мы вечность предаем и ветру  
дары полночные несем

\*\*\*

В один чудесный день проснусь  
(читай, в гробу перевернусь),  
небесный гром, сигнальный выстрел  
услышав, песенку спою  
о щастии в родном краю,  
об извивающейся Истре  
среди побитых молью дач  
и заливных лугов. Не плачь:  
печальна, но не интересна  
смерть. Время, древний душегуб,  
играет в кости, варит суп,  
не возвращается на место

былых злодейств – но в этот день  
воскреснут кегли, дребедень  
мальчишеская, руки-крюки  
расправятся. Отставив грусть,  
сердитым соколом взовьюсь  
к зениту, по иной науке

существовать, да, не такой,  
что бардов старческой тоской -  
и пронесусь по невесомым

проёмам в тверди (утро, хмель) -  
как вербой пахнувший апрель,  
что никому не адресован.

\*\*\*

я почти разучился смеяться по пустякам  
как умел бывало сжимая в правой стакан  
с горячительным в левой же нечто типа  
бутерброда со шпротой или соленого огурца  
полагая что мир продолжается без конца  
без элиотовского (так в переводе) всхлипа

и друзья мои посерьезнели даже не пьют вина  
ни зеленого ни крепленого ни хрена  
как пригубят сухого так и отставят морды у них помяты  
и колеблется винноцветная гладь, выгибается вверх мениск  
на границе воды и воздуха как бесполезный иск  
в европейский допустим суд по правам примата

на компьютере тихий шуберт окрашен закат в цвета  
побежалости воин невидимый неспроста  
по инерции машет бесплотным мечом в валгалле  
жизнь сворачивается как вытершийся ковер  
перед переездом торопят грузчики из-за гор  
вылетал нам на помощь ангел но мы его проморгали

\*\*\*

Ты вспомнил - розовым и алым закат нам голову кружил,  
протяжно пела у вокзала капелла уличных светил,  
и, восхищаясь жизнью скудной, любой, кто беден был и мал,  
одной любви осколок чудный в холодной варежке сжимал?

Очнись - и снова обнаружишь ошеломляющий приход  
зимы. Посверкивают лужи, сквозит кремнистый небосвод.  
По ящикам, по пыльным полкам в садах столицы удалой  
негласный месяц долгим волком плывет над мерзлою  
землей.

Зачем, усталый мой читатель, ты в эти годы не у дел?  
Чье ты наследие растратил, к какому пенью охладел?  
И неумен, и многодумен, погрязший в сумрачном труде,  
куда спешишь в житейском шуме по индевеющей воде?

А все же главных перемен ты еще не видел. Знаешь, как  
воспоминанья, сантименты, и город - выстрел впопыхах -  
и вся отвага арестанта, весь пир в измученной стране  
бледнеют перед тенью Данта на зарешеченном окне?

Потянет дымом, и моченой антоновкой. Опять душа  
уязвлена, как зверь ученый - огрызками карандаша,  
и на бумаге безымянной, кусая кончик языка,  
рисует пленной обезьяной решетку, солнце, облака...

\*\*\*

там рдел боярышник и было небо мглисто  
не вышел ростом и портфель потерт  
и шел цветной французский монте-кристо  
в кинотеатре спорт

две серии пойдем и я смеюсь еще бы  
троллейбус парк река сестру берем? берем!  
граненые кирпичные труппы  
за новодевичьим монастырем

дождь моросил во время перерыва  
(был перерыв, такие времена,  
что зрителям хотелось кружку пива,  
а может быть, стакан вина,

не помню), облако похожее на плаху,  
стрельцы мои стрельцы услышь и позови  
а я еще не знал ни мятежа ни страха  
ни смерти ни любви

в фойе колонны очередь в буфете  
в монастыре колокола звонят  
курящие отцы приобретают детям  
шипящий лимонад,

а дети радостны а дети не капризны  
и верят что за монастырскою стеной  
льют облака сутулый свет отчизны  
на город крепостной

еще с ухмылкой их спросит жизнь: легко вам?  
и превратится в прах, а взглянешь из окна -

застиранным бельем на вервии пеньковом  
полощется она  
наверное, и впрямь умрем без оговорок  
снег выпадет и санки заскользят  
и все равно уже, любимые, что сорок,  
что двести лет назад

\*\*\*

Возвращаясь с поминок, верней, с похорон,  
подбираешь к ним рифму (допустим, харон,  
ахеронт, или крылья вороньи),  
обернешься и ахнешь: голы тополя.  
Как кружится над ними сухая земля,  
как сгущается потусторонний

холодок! Передернешь плечами. Вздохнешь.  
Ах, как режет капусту хозяйственный нож –  
тонко-тонко. Притихла? Что, грустно?  
Не беда, мы еще проживем, не умрем,  
не взойдем, уходя, на ахейский паром,  
будем моцарта слушать, искусством

наслаждаться. Ау, тополя, для чего  
превращали вы солнечный свет в вещество  
деревянное? Ветр завывает,  
и внезапно, что пушкинский поп от щелчка,  
понимаешь, как здешняя жизнь - коротка,  
а другой не бывает

\*\*\*

все кочевряжистой бег сворачивающейся крови,  
все откровенней не камнепадом люблюсь я, а закатом  
надо бы озаботиться завещанием – час неровен,  
зачем тебе шляться по канцеляриям и адвокатам

рассуждая здраво, все-таки я не нищий,  
что-то явно останется после оплаты счетов за хоспис,  
вот и рекламка в сети – за три с половиной тыщи  
все оформят, поставят печать и роспись

прошвырнуть по бродвею с бумажкою славною напевая  
окуджаву оскудевшим дыханием пальцы грея  
повторяя любил тебя как перед концом рая

еву адам в допотопном рассказе рэя  
брэдбери ремингтон выстукивающий повесть  
о богатом грядущем где так же невесело и одиноко  
как и в прошлом не утешай я вовсе не беспокоюсь  
не изменю тебе не помру до срока

буду печь хлеб из обойной муки, всевышнему не мешая,  
в небесах огромных ворованный жечь фонарик  
хороша знаешь такая тщедушная небольшая  
но веселая и летучая словно воздушный шарик



# Моисей Борода

## Стрела



ошадь! Это была лошадь! Она была ещё далеко, но до него уже дошёл запах её пота, её молодого тела, и он вдруг ощутил себя вновь молодым, почувствовал, как налились силой, стали упругими мышцы, как учащённо забилось сердце, ушла не дававшая ему всю ночь покоя боль в голове. Наконец он увидел, как лошадь, медленно перебирая ногами, временами останавливаясь, как будто прислушиваясь к чему-то, идёт к тому месту, где стоял за решёткой он. Вдруг она остановилась и захрапела, а потом громко заржала. Идущий рядом с ней человек стал её успокаивать, но она всё ржала и ржала, дёргаясь из стороны в сторону, пытаясь освободиться от повозки, в которую была впряжена.

Он знал, что значат эти крики. Такие или другие, они всегда означали одно – крик его жертвы, когда она убегала от него, её крик, когда он настигал её, одним броском вскакивал ей на спину или, бросившись снизу, схватывал за горло, а она громко, страшно, раздирая ему уши, кричала и пыталась освободиться. Как кричал, ревел его первый буйвол, которого он, уже опытный тигр, нагнал двумя прыжками и впился ему в шею – ревел, а потом хрипел, мотая головой, пока обескровленный, обессиленный, уже почти мёртвый, не упал на землю.

Он подошёл к решётке клетки и упёрся мордой в прутья. Если бы не они – как бы он одним прыжком оказался на спине этой лошади, как впился бы ей зубами в шею, как полилась бы ему в горло свежая кровь, придавая силы! Ему не нужно было бы уже ждать, пока ему вбросят через дверцу мясо на огромной кости – обескровленное, несвежее, которое он будет есть, преодолевая отвращение, а съев, останется недовольным, полуголодным, злым, готовым загрызть любую добычу, чтобы наконец насытиться.

А лошадь продолжала ржать, храпеть и дёргаться, пока шедший рядом с ней человек не ударил её плетью, заставив идти дальше. Но и тогда она шла медленно, время от времени

останавливаясь и поворачивая голову в его сторону, ожидая оттуда опасность, не веря, что он не может настигнуть её и убить.

Он отошёл к стене и лёг. Слабость вновь охватила его, и вместе с ней пришла злоба – на эту клетку, из которой ему не выйти, на свою немощь. Он несколько раз ударил хвостом о пол, пытаясь унять эту злобу, от которой у него начала болеть голова. Постепенно возбуждение его угасло, он засыпал.

Он засыпал, и перед ним проплывали картины его прежней жизни до того, как он попал сюда, в этот новый для него мир, с которым так и не смог свыкнуться, который глухо ненавидел даже в те мгновения, когда этот мир делал ему что-то приятное.

Он вдруг увидел себя маленьким, крохотным тигрёнком.

*...Жаркий летний день. Мать, лёжа на боку, полуспит. Он и его двое братьев копошатся у материнского живота, с писком отпихивая друг друга, чтобы устроиться поудобнее и первыми сосать молоко. Они могли бы устроиться каждый у своего соска – у матери их четыре. Но каждому хочется быть во время сосания единственным: молоко для них не только еда, но и лакомство. Время от времени их возня и писк будят мать, она глухо ворчит, а когда один из его братьев, совсем уж расшалившись, начинает дёргать её за сосок, она слегка шлёпает его лапой, и он, хоть удар и не был сильным, откатывается в сторону и отчаянно пищит. Остальные двое испуганно притихают. Потом, видя, что на его писк никто не обращает внимания, наказанный возвращается, и борьба за лучшее место у материнского живота разгорается вновь.*

*Братья сильнее его, но он упорнее. В конце концов он отвоёвывает себе возможность не иметь никого под боком, и теперь, дорвавшись до соска, сосёт, сопя, пока не насасывается так, что уже едва дышит.*

*Он осоловел от еды, ему хочется спать, он уже выбрал себе место в тени большого куста, недалеко от матери, уже улёгся – и вдруг вспоминает, что мать обычно, после того, как он поест, вылизывает ему мордочку.*

*Ему бывает при этом хотя и щекотно, но приятно – особенно приятно, что мать так о нём заботится. Мать сейчас, правда, спит, она не любит, когда её будят, шлепок, который достался брату ещё не забыт, но ему сейчас уж очень хочется получить удовольствие, и это желание пересиливает и страх, и желание спать.*

*Он встаёт, подходит к матери и начинает её тереть. Мать то открывает, то закрывает глаза, тихо рычит на него,*

*но он не отстаёт. Наконец он добился своего: мать перевернулась на живот, встала на передние лапы и вылизывает его, а он мурлычет от удовольствия. Но вот вылизывание закончилось. Мать легла и постепенно засыпает, а он идёт к тому месту, которое уже выбрал, ложится, и нежась под солнцем, разглядывает растущие неподалёку кусты, от которых доносится приятный пряный запах. Его братья затеяли неподалёку какую-то игру, и теперь то гоняются друг за другом, то, сцепившись, борются. Он смотрит на эти забавы, ему хочется принять в них участие, но быть около матери ему всё же хочется больше, и он остаётся лежать.*

*...Вдруг картина меняется, и он видит себя уже не таким крохотным, хотя всё же ещё маленьким тигрёнком.*

*Мать ведёт их гулять, показывая им свой – пока ещё их общий – ревер. Он старается не отставать от матери, ему интересно всё, что он видит вокруг. Братьям, наверное, тоже, но они устают быстрее, чем он, и начинают понемногу отставать, и тогда мать останавливается, оборачивается к ним и недовольно урчит. Они подтягиваются, и все идут дальше. В конце концов они приходят к большому озеру.*

*Солнце припекает всё сильнее, им жарко. Мать, а вслед за ней и он с братьями, ложатся в тени недалеко от берега и отдыхают. Потом мать входит в воду и, держа голову над водой и время от времени отфыркиваясь, плывёт к другому берегу. Он, подражая матери, тоже входит в воду и пробует плыть. Не сразу, но это получается! Ему нравится плавать, его просто распирает от радости, что он плывёт не хуже, чем мать, и он остаётся в воде даже и тогда, когда мать, поплавав, выходит на берег и ложится. Он плавает и плавает, млея от удовольствия, пока мать не встаёт, показывая ему и братьям, что пора уходить.*

*Они идут обратно к их логову. Путь не близок, они приходят к себе уже поздним вечером. Мать собирается на охоту: он и его братья уже знают вкус мяса, на аппетит они пожаловаться не могут, и матери приходится нелегко. Она уходит, а они засыпают.*

*Наступает утро, потом полдень, а матери всё нет. Они давно проснулись, им хочется есть, и, пристроившись к лежащей на земле кости с остатками мяса, они объедают мясо, а потом, когда уже ничего не осталось, начинают облизывать кость со всех сторон, пока не устают.*

*Приходит вечер, но мать не появилась. Наступает ночь. Им становится холодно. Со всех сторон слышны рычание, вой,*

лай. Охваченные страхом перед этими звуками, страхом, что мать, может быть, уже вообще не придёт, они ложатся на то место в логове, где обычно лежит мать, прижимаются друг к другу и, дрожа от холода, голода, страха, засыпают.

Приходит следующее утро, проходит день, а мать всё не появляется. Постепенно темнеет. Вот уже вечер, а матери по-прежнему нет. Страхи вчерашней ночи вновь оживают в них. Вдруг совсем рядом слышен шорох. Кажется, что к ним кто-то подкрадывается: их мать никогда не ходит так, да и потом, они узнали бы её по запаху.

Они вслушиваются. Шороха, как будто, не слышно. Тогда они осторожно вылезают и оглядываются. Вокруг никого нет.

Ещё не совсем стемнело, и в этой полутемноте они замечают неподалёку от их логова высокий, поросший травой холм. Им страшно покидать логово, но ещё более страшно оставаться в нём, ведь каждый из них слышал таинственный шорох. Трясая от страха, они бегут к холму, пытаются взобраться на вершину, несколько раз срываются, но в конце концов все трое устраиваются на вершине и, прижавшись друг к другу, сидят, прислушиваясь к голосам наступающей ночи, пытаясь уловить в этой разноголосице голос матери.

Наконец, с первыми проблесками утра, они слышат знакомое урчание. Мать приближается к ним! Вот они уже видят её, она волочит за собой огромную козулю. Мгновенно скатываются они с холма и бегут навстречу матери, счастливые, что она вновь с ними, что она принесла им поесть, что им не надо больше бояться. Они уже готовы кинуться к матери, но сталкиваются с её недовольным взглядом и останавливаются. Они смотрят то на тушу козули, то на мать, не понимая, чем она недовольна, почему им нельзя всем вместе тут же приняться за еду. Но матери ясно, что они в опасности, им надо поскорее уходить: привлечённые запахом свежей добычи, здесь могут появиться шакалы. С козулей в зубах она не сможет защитить своих малышей, а класть козулю на землю она не хочет тоже.

Она идёт, волоча тушу козули, к их логову; он с братьями бегут за ней следом. Наконец они дома. Мать кладёт тушу на землю и как будто чего-то ждёт. Они опять не понимают – чего же?

Они окружают мать и ждут, чтобы она разорвала для них тушу, как она это всегда делала раньше. Но мать стоит рядом и не прикасается к козуле. Наконец они понимают, что делать это для них мать уже не будет, и принимаются за дело. Мать отошла в сторону и ждёт, пока они не насытятся, а они

*рвут мясо своими ещё не вполне окрепшими зубами, проглатывают то, что удалось оторвать, рвут и рвут, хотя голод уже утолён и сонливость начинает разливаться по телу. Потом ест мать, а они, стоя рядом, думают, не поесть ли им ещё, но сонливость берёт своё и они, довольные, умиротворённые, отходят каждый в свою сторону, ложатся на траву и засыпают...*

Видение спящей матери, воспоминание о том, как он почти три дня был без неё, колыхалось перед его взором, будоража, вызывая непонятную ему боль в груди. Он закрыл глаза и долго лежал, чувствуя, как боль понемногу уходит. Что-то связанное с матерью колыхалось в его памяти – и вдруг перед ним возникли картины его первых опытов охоты.

*...Он и его братья уже достаточно подросли, чтобы добывать себе еду самим, и мать начинает с ними уроки охоты, показывает, как подползать к жертве с подветренной стороны, время от времени ложась животом на землю и замирая, и как потом внезапным прыжком достигать её. Они стараются, сколько могут, подражать матери. Лучшее всех это выходит у него.*

*Вначале, правда, он слишком спешит с прыжком, и его жертвам не раз и не два удаётся убежать. Но он упорен. И уже скоро ни один из его братьев не умеет так точно, как он, рассчитать расстояние до жертвы, и стремительно, как выпущенная из туго натянутого лука стрела, одним-двумя прыжками достигнуть добычу.*

*Его первая удачная охота и первая добыча – маленький, ещё нетвёрдо стоящий на ногах оленёнок – запомнились ему хорошо. Стадо что-то почуяло и встревожилось, но он вовремя заметил эту тревогу, и, прижавшись к земле, скрытый высокой травой, замер. Всё же, постояв некоторое время в нерешительности, олени медленно покидают поляну. Он по-прежнему лежит неподвижно, но у него уже начали от долгого лежания затекать лапы. Ждать он больше не может. Он уже выбрал свою жертву и стремительным броском достигает оленёнка. Другие стремглав бросаются в лес, но оленёнку не убежать.*

Картина лежащего перед ним маленького оленёнка часто возникала в его памяти. И всякий раз при воспоминании об этой своей первой самостоятельной удаче он испытывал приятно будоражащее чувство удовлетворения: наконец он смог охотиться так, как это делала мать.

Он лежал с закрытыми глазами, пытаясь вернуть в памяти только что пережитое – но перед его взором не возникало ничего, кроме ярких вспышек света, от которых он внутренне съёживался.

Наступал час, когда в задней стене его клетки открывалась дверца, и он мог выйти в другую клетку на противоположной стороне – высокую, просторную, закрытую частой сеткой. Здесь ему свободнее дышалось, и здесь он чувствовал себя более отделённым от людей.

На воле люди редко встречались ему, и он, чувствуя уже издалека запах человека, уходил, прятался. Как добыча люди были ему неинтересны – может быть, потому, что еды в его реви́ре хватало.

Первое время в зоопарке он с бешенством бросался к прутьям, как только видел проходящего мимо его клетки и уж тем более останавливающегося у неё человека, будь то служитель или кто-нибудь другой. Эти особи были для него те же самые, которые победили его, поймали, связали, привезли сюда и поместили в тесное пространство. Постепенно эта ненависть ушла, но примириться с человеком он не примирился.

Ему не нравилось, что на него смотрят, его раздражало, что люди, стоящие у его клетки, видят, как он ест, как он ходит. Ему казалось, что эти люди почему-то хорошо знают, что он не может напасть на них, знают, что он для них безопасен, и то, что они не боятся его, вызывало в нём глухую ярость. В большой, высокой, затянутой сеткой клетке он не ощущал людей так близко, и может быть, больше всего поэтому переходы туда ему нравились, так что он с наступлением утра уже ждал, когда он выйдет туда, где сможет на некоторое время забыть о тесном пространстве, о спёртом воздухе – и о разглядывающих его людях.

Так было до самого последнего времени, до того дня, когда он вдруг почувствовал, что в нём что-то оборвалось и на него навалилась усталость, которую он не может преодолеть. Теперь эти переходы из клетки в клетку, то, что его будут заставлять встать, куда-то идти, вызывали в нём мрачное раздражение. Вот и сейчас, когда он, разбуженный знакомым ему скрипом, открыл глаза и увидел приближающегося к его клетке человека с длинной палкой в руке, он почувствовал, как в нём подымается злоба, желание напасть на этого человека, перекусить ему шею и растерзать. Но человек, словно почувствовав это, прошёл, не посмотрев на него, мимо.

Злоба ещё клочкотала в нём, но усталость медленно брала своё, и в конце концов он лёг в дальнем углу и, закрыв глаза, лежал, ошущая, как его окутывает дрёма.

*В нём вдруг всплыло воспоминание о тигрице, с которой его свели в зоопарке. Красивая, грациозная в движениях, с виду спокойная, она сразу понравилась ему, хотя за её спокойствием угадывалась сила и умение дать немедленный отпор любому, кто захочет её заставить делать что-то, что ей не нравится.*

*Она не была похожа на тех тигриц, с которыми он спаривался на воле, и которые, чувствуя в нём мощного самца, отдавались его ухаживаниям сразу, и начинали сопротивляться лишь тогда, когда он, подойдя сзади, твёрдой хваткой зубами за холку удерживал их во время акта.*

*Тигрица, которую к нему привели, была другой. Она долго не подпускала его к себе, а когда он делал попытку сближения, издавала знакомые ему кашляющие звуки, означавшие готовность к небезопасному для него отпору. Когда же он не отставал, она раскрывала пасть, не оставляя сомнений в том, что будет дальше. Наконец, после многих дней ухаживания, она допустила его к себе – и мощное чувство удовлетворения оттого, что она уступила, подчинилась его силе, его подавляющему превосходству – заставило его на миг забыть обо всём окружающем.*

*Он спаривался с этой тигрицей ещё несколько раз, но всякий раз ему приходилось вновь и вновь завоевывать её – и каждый раз, когда её от него уводили, его охватывала незнакомая ему раньше тоска.*

*Потом, время от времени, к нему приводили других тигриц, но они были ему неинтересны, их подчинение не доставляло удовольствия, и когда их потом уводили, он не испытывал ничего, кроме желания лечь и восстановить силы, потраченные на короткий миг акта.*

*Всколыхнувшееся в нём вдруг воспоминание о "его" тигрице долго не оставляло его, приятная дрожь прошла по его телу. Он вновь ощутил радость своей победы над её упорством. Он весь напрягся – как тогда, когда он впервые овладел ею; он ощутил её холку в своих зубах, её сопротивление, когда она, мотая головой, старалась освободиться от его хватки. И вдруг тогдашнее ощущение слияния, накрывшее мощной волной все другие его чувства, пришло к нему на мгновение снова. Потом напряжение его спало так же вдруг, как пришло, ощущение радости от вспыхнувшей в нём силы исчезло, ненавистная ему усталость привычно взяла над ним верх, и к нему опять пришло раздражавшее его последнее время состояние тревожного полусна.*

*...Резкий скрип железа о железо вырвал его из полудрёмы. Он вздрогнул, открыл глаза и вновь закрыл. Этот тонкий, визгливый, режущий ухо скрип напомнил ему скрип дверей*

клетки, в которой его, пойманного везли, а он метался и ревел, и дверца клетки скрипела на петлях, усиливая его ярость – ярость на победивших его людей, оказавшихся сильнее, хитрее его, и ярость на себя – за то, что он не сумел растерзать их и освободиться, а до этого, привлечённый видом стоявшей в двух прыжках от него молодой косули, начал медленно подкрадываться к ней, а потом, стараясь остаться незаметным, стал подползать, готовясь к прыжку, лёг на рассыпанные на его пути широкие листья – и вдруг почувствовал, что листья приклеились к нему, что он не может ползти дальше, и перевернулся на спину, пытаясь сбить лапами листья с груди и живота, но они не сбивались, и он стал в бешенстве кататься по земле, но от этого только всё больше листьев облепляли его, пока он не мог больше двигаться, и лежал, весь облепленный листьями, натужно дыша, а потом, когда около него оказались откуда-то появившиеся люди, только ревел, когда его связывали и несли...

...А скрип железа о железо становился всё громче, теперь он слышался со всех сторон, к нему уже примешивался вой, рёв, лай. В нос ему ударил запах несвежего мяса, и он открыл глаза. Перед его клеткой стояла тележка, на которой лежали куски мяса. Дверца его клетки открылась, и служитель вбросил в клетку кусок мяса на кости. Мясо шлёпнулось с хлюпающим звуком об пол, а служитель, закрыв дверцу, покатил тележку дальше.

Дрожь отвращения прошла по нему при виде лежащего на полу лишённого живой крови куска, из которого выпирала изжелта-бледная кость; он почувствовал, как в желудке его что-то дёрнулось. Ещё несколько дней тому назад ему удавалось, полежав немного с закрытыми глазами, преодолеть эти ощущения, и тогда он вставал, подходил к мясу, немного ел, отходил, потом подходил и ел снова, а под конец даже – может быть, больше по привычке – облизывал и кость. Сейчас же, не тронув мяса, он отошёл к стене, лёг, закрыв глаза, чувствуя, как подступившая к горлу тошнота уходит куда-то вглубь.

Он лежал, ощущая, как его всё больше и больше охватывает слабость. Но теперь она не вызывала в нём ни раздражения, ни желания ей сопротивляться. Какие-то неясные картины возникали в его памяти – картины, за которыми он смутно угадывал события из его прошлой жизни. Но картины эти наплывали друг на друга, и у него не было ни сил, ни желания остановить какую-то из них, вспомнить, о чём она может быть, сделать её более ясной. Он засыпал.

Вдруг, на границе сна, он вздрогнул, как от толчка, и открыл глаза: в его памяти всплыла картина того дня, когда он в последний раз увидел мать.

*Был уже год, как он, уйдя от матери, имел собственный, отвоёванный у старого тигра, ревир. Братья покинули мать раньше его, а он оставался с ней ещё некоторое время, пока инстинкт самостоятельности не взял над ним верх.*

*...Стоит по-летнему тёплый осенний день. Он обходит границы своего ревира. Накануне три дня подряд шёл дождь. Он смыл его метки, и теперь он должен метить свою территорию снова. Несколько меток он уже поставил и идёт дальше.*

*Внезапно что-то заставляет его насторожиться. ...Да, он не ошибся: по его ревиру проходит другой тигр. Он уже видит его издали, и готов к отпору: посторонним в его ревире не место, даже если они и просто проходят по территории. Он сам отвоевал себе ревир именно так – проходя по территории другого тигра – и знает, что так же могут сделать и с ним.*

*Посторонний между тем приближается. Вот они уже на расстоянии прыжка друг от друга. Он чувствует, как всё в нём напрялось – и вдруг вся его напряжённость, готовность к борьбе сникают. Он узнаёт мать.*

*Медленно идёт он к ней, она же останавливается, поворачивается к нему и смотрит, как он приближается. Вот он уже в нескольких метрах от неё, вот он подходит ещё ближе, и вдруг она раскрывает пасть и огрызается на него. Он не понимает, почему она это делает. Может быть, она его не узнала и ожидает от него нападения?*

*Он стоит и смотрит на мать, и какая-то сила не даёт ему ни двинуться к ней, ни уйти.*

*Так они стоят друг против друга несколько минут. Потом мать поворачивается и идёт дальше тем же путём, каким шла, а он ещё долго стоит и смотрит ей вслед – смотрит и тогда, когда она исчезает из его видимости. Потом он медленно отходит от того места, где стоял, идёт к своему логову, ложится в ещё влажную от дождя, но уже немного прогретую солнцем траву, и лежит так, то засыпая, то просыпаясь, до позднего вечера, пока голод и охотничий инстинкт не заставляют его выйти на поиски добычи.*

*...Он проснулся от дрожи и чувства, что у него похолодели лапы. Несколько раз он пытался встать, наконец встал и начал медленно ходить по клетке, не понимая, почему он это делает, но и не в силах остановиться. Запах лежащего на полу мяса и особенно торчащей из него изжелта-бледной кости раздражал*

его, вызывал тошноту, и он старался ходить так, чтобы быть от мяса подальше. Но запах всё равно доставал его, и в какой-то момент он бросился к бесформенному красному куску и отшвырнул его в дальний угол клетки. Кость ударилась о стену, сухой как щелчок, звук от удара заставил его вздрогнуть, и вместе с дрожью пришла боль в груди.

Он уже не ходил, а метался по клетке, стараясь унять дрожь, унять боль, но ни дрожь, ни боль не уходили. Наконец, устав от метания, он лёг. Ложась, он почувствовал, как всё в нем ослабло, и он почти упал животом и грудью на холодный пол.

Он закрыл глаза и лежал, не двигаясь. Постепенно его стала одолевать привычная дремота.

Вдруг он увидел себя молодым.

*Он, скрытый высокой травой, медленно, осторожно, стараясь не выдать себя даже шорохом, приближается к стаду антилоп. Он уже выбрал свою будущую жертву, и теперь осторожно подползает к ней на расстояние прыжка. Но стадо почуяло его, и стремглав убегает.*

*Одна антилопа, стоявшая в стороне от всех, почему-то не побежала вместе с другими. Что-то отвлекло её от окружающего, и она задумчиво щиплет траву. Та, которую он выбрал, была крупней, он мог бы лучше утолить голод, эта же – маленькая, совсем юная – но ему это сейчас всё равно: уже несколько дней он не мог поймать никакой добычи. И выждав, он внезапным прыжком устремляется к ней.*

*Она бежит, вот она уже в одном коротком прыжке от него – и в этот момент он чувствует сильный, резкий укол в грудь и падает от боли на землю.*

*Неизвестно откуда взявшаяся стрела вонзилась ему в грудь. Он пытается схватить стрелу лапами, дотянуться до неё зубами – но она входит всё глубже и глубже. Всё его тело горит от невыносимой боли. Он ревёт, катается от по земле, пытаясь унять боль, но она не оставляет его, а наоборот, становится с каждым мигом всё сильнее. Всё глубже входит в его тело стрела, вот она уже вонзилась в сердце.*

...Боль в груди выбросила его из сна. Он почувствовал, что умирает, и завыл тихим, тонким, протяжным, воем – как тогда, когда он и его братья, взобравшись ночью на холм, сидели, трясясь от страха, и звали и звали мать. Наконец она услышала их зов и ответила. Так и теперь – чувствуя, как вошедшая в его грудь стрела раздирает его болью, он вдруг услышал голос матери. Он уже видел её приближающейся, он чувствовал её запах, она была уже почти тут, рядом, он уже представлял себе, как она ляжет на

бок, а он прижмётся к её животу, и пройдёт его боль, утихнет огонь, сжигающий его изнутри. Но в этот момент что-то блеснуло перед его глазами, страшная боль пронзила его тело – и сразу исчезла.

Сознание его затуманивалось, и последнее, что промелькнуло перед ним, был летний день, и он, только что насосавшийся материнского молока и разомлевший от еды, блаженно растянувшийся на тёплой траве рядом с заснувшей матерью.



# Александр Матлин

## Прибытие делегации болгарских профсоюзов в город X



Вобщем говоря, жизнь – довольно замысловатая процедура. Никогда не знаешь, в какой момент и чем она грозит обернуться. Порой самое, казалось бы, ничтожное событие способно тебя подтолкнуть совсем не на ту дорогу, по которой ты собирався двигаться. Хочешь вернуться, а дорога оказывается улицей с односторонним движением. И куда эта улица ведёт, никто не знает. Может быть, к пропасти, а может, наоборот, к необъятному счастью.

Вот, например, какая история случилась много лет назад с одной моей знакомой дамой, привлекательной шатенкой по имени Ася Шумахер. Конечно, называть её дамой с моей стороны некрасиво, поскольку Ася была серьёзным и вполне ответственным инженером с восьмилетним стажем. Очень достойная женщина. Ни себе, ни другим ничего такого лишнего никогда не позволяла. Мы с ней тогда работали в Москве, в одном учреждении, в одном отделе, и вместе строили светлое будущее. Как полагается всякому учреждению, был у нас начальник отдела, Николай Моисеевич Сапожников, человек умный и энергичный, как полагается всякому начальнику. Это пока ещё не история. Это просто чтобы вы знали, откуда она начинается.

А сама история началась с того, что Николаю Моисеевичу позвонили свыше и велели приехать на совещание по одному важному проекту в город X., то есть по месту воплощения в жизнь этого проекта. И чтоб он взял с собой надлежащий технический персонал, каковым и оказалась Ася Шумахер, работавшая на том самом важном проекте. Город X. был недалеко, всего в трёх часах езды от Москвы. Но совещание было назначено на утро, и, значит, иногородним участникам следовало прибыть в X. накануне. Ничего в этом такого необычного нет. Накануне – значит накануне. Николай Моисеевич нажал кнопку и мигом распорядился

забронировать места в гостинице в городе Х. для двух командировочных по фамилиям товарищ Сапожников и товарищ Шумахер.

Если вы, дорогой мой читатель, помните, В Советском Союзе в те времена, о которых идёт рассказ, не так-то просто было попасть в гостиницу. Если вы, не дай Бог, частное лицо, так сказать, никчемный прожигатель денег, то даже и не мечтайте получить место в гостинице. Ну, разве что, за очень хорошую взятку. Однако, наших героев, Николая Моисеевича и Асю, это совершенно не волновало, поскольку для их учреждения, а тем более для участников такого важного проекта, места в гостинице бронировались безотказно.

И вот Николай Моисеевич и Ася прибывают на место, в эту захолустную гостиницу, единственную в захолустном городе Х. Они, как положено, предъявляют свои паспорта и ждут, когда администраторша выдаст им ключи от номеров. Но эта мрачная администраторша смотрит на них злыми, не проспавшимися глазами и говорит:

– Я вас в один номер не могу поселить. Вы не муж и жена.

Тут я должен напомнить вам, дорогой читатель, ещё одну важную особенность советского быта. В этом убогом, вороватом быту партия и правительство строго следили за нравственностью граждан. Моральный кодекс советского человека не допускал внебрачных половых связей. Так что в советских гостиницах не проходили эти разнузданные американские штучки, вроде “мистер и миссис Смит”.

И надо сказать, что ни Ася, ни её начальник вовсе не помышляли о ночёвке в одной комнате, уж не говоря о каких-нибудь там безнравственных мочеполовых заигрываниях. Они с полным уважением относились к нравственным устоям советского общества. Кроме того, их отношения носили чисто производственный характер. Николай Моисеевич был солидным женатым мужчиной, послушным семьянином и ответственным руководителем. Он говорит:

– Нас одна комната не устраивает. Нам нужно две.

– Ещё чего! – возмущается администраторша. – У меня для вас забронирован один номер на две койки. Вы не сказали, что Шумахер – это женщина.

– А кто сказал, что это мужчина? – возмущается Ася.

– Вы мне тут мозги не полоскайте, – режет администраторша. – Фамилиё мужское. Я по окончанию вижу.

– Ну ладно, – вмешивается Николай Моисеевич. – Не будем уточнять. Дайте нам два номера, и мы пойдём спать.

– Вам русским языком говорят: нету! – злится администраторша. – Нету свободных местов! Всё занято. А что не занято, то забронировано. К нам иностранная делегация едет.

– Где же мы, по-вашему, должны ночевать? – гневается Сапожников.

– А я почём знаю? – орёт администраторша. – Где хотите, там и ночевайте!

В общем, разгорелся небольшой скандал с множеством взаимных обвинений, угроз и всякого рода эпитетов. Администраторша кричит, что вот, дескать, приезжают тут всякие шуры-муры разводять в официальной государственной гостинице. Сапожников кричит, что он найдёт на неё управу, но где будет искать, не уточняет. Постепенно крик сам по себе начинает замирать. Администраторша перевела дух и говорит:

– Ладно, – говорит – Пускай эта ваша фря с мужской фамилией одна занимает номер. А вам я в коридоре раскладушку поставлю.

На этом разногласия окончательно утихли. Николай Моисеевич лёг на отпущенную ему раскладушку и сразу уснул. И даже начал слегка похрапывать, несмотря на свою солидную должность. Ася заняла свою двухкоечную комнату и тоже вскоре уснула.

Но спала она недолго. Среди ночи её будит страшный, стук в дверь. Такой отвратительный стук, будто в дверь лупят кувалдой. Ася, дрожа от страха, набрасывает на себя халат, открывает дверь и видит перед собой красную от гнева администраторшу.

– Вы мне за это ответите! – орёт администраторша.

Она отталкивает Асю, влетает в номер и срывает одеяла с обеих кроватей. После этого она начинает метаться по комнате и с криком “где он?” и “я вам покажу, как меня обманывать!” начинает заглядывать в шкафы и под кровати.

– Кого вы ищите? – шепчет Ася трясущимися от страха губами.

– Сама знаешь кого! Хахаля твоего! – орёт администраторша.

– Николай Моисеевич спит в коридоре на раскладушке – говорит Ася, предполагая, что именно его администраторша называет хахалем.

– Нету его там! Говори, куда дела!

Тут раздаётся деликатное покашливание, и в дверях появляется закутавшийся в простыню Николай Моисеевич, явно обеспокоенный шумом и криками.

– Прошу прощения, – говорит он. – Я тут ненадолго отлучился в туалет покурить. Вы не меня ищете?

Администраторша затихает и уходит на своё место, бормоча что-то вроде “носит тут всяких по туалетам...” Ночь снова вступает в свои права, Сапожников уходит на раскладушку, и Ася засыпает. Она спит нервным, пугливым сном, и ей снится, что в дверь всё время стучат.

Ася просыпается оттого, что в дверь действительно стучат. Готовая ко всему, бедная Аня набрасывает халат и открывает дверь. И видит, что в двери стоит администраторша, мрачная, но уже не такая разъярённая, как раньше, а с ней рядом – сонный Николай Моисеевич, закутавшись в простыню и прижав к груди подушку.



– Он будет спать в номере, – говорит суровая администраторша. – Это номер на две койки.

Услышав такое неожиданное заявление, Ася перестаёт бояться, берёт себя в руки и говорит, срываясь от возмущения на высокие ноты:

– С какой это стати я должна спать в одной комнате с мужчиной? Это полное нарушение основ советской морали! Вы, как администратор советской гостиницы, должны отвечать за соблюдение нравственности!

На что администраторша оттирает её плечом, подводит Николая Моисеевича к свободной кровати и говорит:

– Вот ваша койка. А ты, барышня, помолчи и не суй мне в нос своими моральями. Нам тут не моралей. К нам через полчаса иностранная делегация болгарских профсоюзов прибывает. Ты что, хочешь, чтобы они мужика в коридоре на раскладушке увидели? Да меня за такое дело сразу с работы попрут! Так что, отвернись и дай мужчине раздеться.

С этими словами она покидает комнату, а Сапожников и Ася, стыдясь и отворачиваясь, укладываются по своим койкам и засыпают в надежде проспать до утра.

Но надежды их опять оказываются преждевременными. Потому что бдительная администраторша неусыпно стоит на страже советской нравственности. Она понимает, какому страшному риску подвергается эта, можно сказать, государственной важности нравственность при наличии мужчины и женщины в одной комнате, да ещё в ночное время. И она напряжённо думает, как соблюсти нравственность и в то же время не ударить в грязь лицом перед иностранцами, хоть они и болгары. И, в конце концов, она находит мудрое решение. Не зря ей партия и правительство доверили такой ответственный пост.



Итак, снова раздаётся стук в дверь. Николай Моисеевич вскакивает с кровати и, привычно закутавшись в простыню, открывает дверь. И видит там нечто на первый взгляд, нереальное: такую большую прямоугольную панель, к которой приделаны

человеческие ноги. Протерев глаза, он начинает понимать, что это ноги администраторши, которая, пыхтя и отдуваясь, тащит перед собой сложенную в гармонь деревянную ширму.

Не говоря ни слова, администраторша раздвигает ширму и устанавливает её посередине комнаты, между кроватями, так чтобы разделить жилплощадь на две высоко нравственные половины – мужскую и женскую. И, переведя дух, покидает вверенный ей двухкочный номер.

И вот мы приблизились к концу истории, произошедшей с моей бывшей сотрудницей Асей Шумахер много лет назад. Сопровождение, назначенное на утро, прошло на высоком профессиональном уровне, а через какое-то время и сам проект был закончен и успешно то ли внедрён, то ли осуществлён. Но я этого уже не видел, потому что покинул Советский Союз, и к тому времени строил свою новую карьеру в Америке в качестве чертёжника в маленькой мастерской по изготовлению металлоконструкций.

Тут вы, дорогой читатель, можете удивиться и спросить: как это автор смог запомнить в деталях историю, которая произошла много десятков лет назад? Как он умудрился сохранить такую замечательную, свежую память в таком, мягко говоря, несвежем возрасте? Позвольте, я отвечу. Ваш покорный слуга, автор этой глупой истории, на самом деле ничего не помнит. И никогда бы не вспомнил, если бы не одно событие, случившееся совсем недавно.

Событие это заключалось в том, что меня пригласили в Бруклин на свадьбу внучки одного моего старого знакомого. И там, среди шумного бала, меня представили сначала жениху этой самой внучки, затем его родителям, и, наконец, его бабушке. С бабушкой я раскланялся особо учтиво. Как истый джентльмен, я поцеловал её ручку и сказал с элегантным британским произношением:

– Хау ду ю ду, миссис...

– Миссис Шумахер, – сказала бабушка. – И добавила на хорошем русском языке:

– Вы, судя по выговору, либо из Москвы, либо из Ленинграда.

С позволения бабушки, я присел за её столик. Мы разговорились, и понадобилось не более пяти минут, чтобы установить, что мы когда-то работали в одном учреждении и даже в одном отделе. Не без некоторого напряжения мы вспомнили друг друга. И вот тогда Ася Шумахер и рассказала мне в деталях историю своей командировки в город Х. с начальником отдела, которую я вам только что поведал.

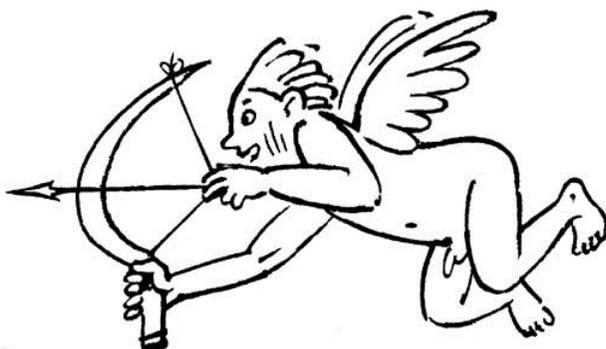
– Помните нашего начальника? – спросила Ася.  
– Конечно. Вы что-нибудь про него знаете?  
– Знаю. Николай Моисеевич был моим мужем. Он умер два года назад.

– Позвольте, как это? Ведь он...

– Да, он был женат. Они развелись. Нет, не из-за меня. У его жены к тому времени была тайная связь с тромбонистом. Их сын предпочёл остаться с отцом, и я фактически стала его матерью. Вы с ним только что познакомились. А наш роман с Николаем Моисеевичем начался в городе X. в тот момент, когда администраторша гостиницы поставила между нами ширму. Это было ужасно смешно. Мы так смеялись, что уже не могли заснуть. А вы сами знаете, до чего могут досмеяться мужчина и женщина ночью в одной комнате. Тут уж не поможет ни ширма, ни моральный кодекс строителя коммунизма

Ещё Ася рассказала, что эта никчемная на первый взгляд история получила огласку. Администраторшу гостиницы уволили за недосмотр в области нравственности. Резонанс достиг Москвы, и в стране было принято постановление совета министров о дальнейшем улучшении качества ширм.

И вот теперь, на склоне лет, я часто думаю: от каких же случайных и, казалось бы, не имеющих никакого отношения к человеку событий зависит его судьба! Ведь не приехали бы в ту ночь иностранцы, и вся дальнейшая жизнь Аси и Николая Моисеевича потекла бы по совершенно другому руслу. Даже, можно сказать, по двум совершенно различным руслам. Вот, к какому плодотворному результату привёл визит делегации болгарских профсоюзов в город X.!



Иллюстрации Вальдемара Крюгера

**Сильвия Плат**  
**Из ранних стихов и стихи**  
**из книги «Ариэль»**  
**В переводах Яна Пробштейна**

**18 апреля**

наносы всех моих вчера  
гниют в пустой коробке черепной

а если сокращается желудок  
то из-за явлений объяснимых  
как-то беременность или запор

не вспомню я тебя

а может это из-за сна  
нечастого как сыр луны зеленый  
или из-за пищи  
как листики фиалки сытной  
все из-за них

и через пару ярдов роковых  
и пару промежутков древесных крон и неба

грядущее утрачено вчера  
легко и безвозвратно  
как мячик теннисный в сумеречной тьме

Из юношеских стихотворений  
(до 1954)  
Лорелея

Не тонут в ночь такую  
Луна полна, и в свете  
Зеркальном чернь речную

Чуть зыблет. Словно сети,  
Спадает мгла, синяя,

Но спят все рыбаки.  
А башни замка реют,  
Двоясь в стекле реки.  
Затишье, но ко мне

Плывут вверх по течению,  
Взрывая тишь на дне,  
Мятущиеся тени.

В красе их пышных форм  
Восстали из надира —  
Мраморных скульптур

Их косы тяжелее.  
В их песнях образ мира,  
Что чище и полнее,

Чем все мечтанья наши,  
Но сестры, тяжкий гнет  
Для слуха песни ваши

В стране, где строг и тверд  
Порядок, и как чаши  
Весов правитель непреклонный.

Гармонией, что выше  
Порядка и закона,  
Вы взяли нас в осаду,

Нас в заводь завлекая,  
На скалах и на кручах  
Кошмаров обитая,

Взмывая голосами  
Над тупостью и даже  
Над высью, витражами.

Однако пеня хуже,  
Сводящего с ума,  
Молчанье, сестры, ваше.  
Из опьянения бездной  
Призыв ваш. Я сама

В зеркальной бездне звездной

Великих среди глубин  
Богинь покоя вижу.  
Вези же, камень, к ним.  
1958

## Стихотворение ко дню рождения

### 1. Кто

Месяц цветенья окончен. Созрел плод,  
Съеден или сгнил. Я — сплошной рот.  
Октябрь — месяц, чтоб запастись впрок.

Этот сарай засорен, как желудок мумии:  
Старые инструменты и ржавые кльки.  
Здесь я как дома среди мертвых голов.

Сяду-ка я в цветочный горшок —  
Пауки не заметят меня.  
Сердце мое — застывшая герань.

Оставил бы ветер легкие мои в покое.  
Пес-работяга обнюхивает лепестки.  
Они цветут вверх тормашками.  
Гремят они, как ветви гортензии.

Гниющие головы — для меня утешенье,  
Вчера их прибили к стропилам:  
Узники, которые не впадают в спячку.

Кочаны голов: червиво-розовые глазированные серебром,  
С приправой из ослиных ушей, изъеденной молью кожи,  
Но с зеленеющими сердцами. Их вены белы, как свиной жир.

О, красота потребления!  
У оранжевых тыкв нет глаз.  
Эти залы полны женщин, возомнивших себя птицами.

Это — скучная школа.  
Я — корень, камень, кал совы,  
Без всяких грез.

Мама — ты единственный рот,  
В котором я бы хотела быть языком. Инакости мать,  
Пожри меня. Соглядатая из мусорницы, тень из дверного проема.

Сказала себе: я должна это запомнить, как мала я была.  
Так огромны были цветы,  
Лиловые и красные уста, совершенно прекрасны.

Кольца стеблей ежевики меня довели до слез.  
Сейчас они зажгли меня, как лампочку.  
Неделями вспомнить ничего не могу.

## **2. Темный дом**

Это — темный дом, огромный.  
Я построила его сама.  
Ячейку за ячейкой из тихого закутка,  
Жуя серую бумагу,  
Кейфуя от капелек клея,  
Посвистывая, шевеля ушами,  
Думая о постороннем.

В нем так много погребов,  
Такие ужевидные расщелины!  
Я округла, как сова,  
Вижу при собственном свете.  
В любой миг могу оцнить  
Или ожеребиться. Колышется мой живот.  
Нужно сделать побольше карт.

Эти туннели из костного мозга!  
Кроторукая, прогрызаю себе дорогу.  
Целоротый лижет ветви  
И горшки с мясом.  
Он обитает в старом колодце,  
В каменной щели. Он во всем виноват.  
Толстяк.

Галька пахнет, каморки — из репы.  
Дышат маленькие ноздри.  
Маленькая убогая любовь!  
Как носы, пусячки без костей,  
Здесь им тепло и терпимо,  
В кишках корней.

Вот мамаша уюта.

### **3. Менада**

Когда-то я была заурядной:  
Под отцовским бобовником сидя,  
Грызла мудрости пальцы.  
Птицы поили меня молоком.  
Когда гремел гром, я пряталась под плоским валуном.

Мать уст не любила меня.  
Старик скукожился в куклу.  
О, слишком я велика, чтоб повернуть вспять:  
Птичье молоко — это оперенье,  
Листья бобовника бесчувственны, как руки.

Этот месяц на немногое годен.  
Мертвецы зреют в виноградных листьях.  
Меж нами — красный язык.  
Мама, держись подальше от моего амбара,  
Я становлюсь иной.

Псовоголовый, пожиратель:  
Накорми меня ягодами мрака.  
Не смыкаются веки. Время  
Разматывается из великой пуповины солнца,  
Бесконечного его сиянья.

Все это я должна проглотить.

Леди, кто те другие в кадучке луны —  
Смертельно пьяны, не стоят на ногах?  
В этом освещенье кровь черна.  
Скажи мне имя свое.

### **4. Зверь**

Раньше он был человекобык,  
Царь яств, мой счастливчик-зверь.  
Легко дышалось в его воздушных уделах.  
Солнце садилось у него подмышкой.  
Ничего не плесневело. Маленькие незримчики  
С потрохами ждали на нем.  
Синие сестры послали меня в другую школу.  
Мартышки жили под шутовским колпаком.

Он продолжал посылать мне воздушные поцелуи.  
А я едва была с ним знакома.

От него не избавишься:  
Заплетающиеся лапы, жалостливые и жалкие,  
Душка Фидо, приятель кишечника.  
Ему хватит и мусорного ящика.  
Мрак — его кость.  
Зови его как хочешь — отзовется на любое имя.

Выгребная яма, счастливое свиное рыло.  
Я вышла замуж за сервант с хламом.  
Рыбий прудок — моя кровать.  
Небо всегда опадает здесь.  
Свиная лужа под окном.  
В этом месяце не спасут меня жуки звезд.  
Веду хозяйство в анальном отверстии Времени  
Среди муравьев и моллюсков,  
Герцогиня Пустого места.  
Клыка обросшего волосами невеста.

### **5. Звуки флейты с тростникового пруда**

Ныне холод просачивается вниз, за слоем слой,  
В нашу беседку у корней лилий.  
Старые зонтики лета над головой  
Увядают, как бессильные руки. Не найти приюта.

Каждый час небесный глаз расширяет свои  
Уделы пустоты. Звезды не приближаются ни на йоту.  
Уже рот лягушки и рыбы рот  
Напиток праздности пьет,

И все тонет в мягкой мембране забвенья.  
Умирают краски-беглецы.  
Черви из саржи дремлют в своих шелковых чехлах.  
Сонно кивают светильниками-головами, как статуи, нимфы.

Марионетки, сорвавшись с веревочек кукловода,  
Надев маски с рожками, идут почивать.  
Это не смерть, а менее опасное что-то.  
Крылатые мифы больше не будут нас тащить за собой:

Линялые птицы безъязыко поют над водой

С верхушек камышей о Голгофе, но как  
Хрупкий, как палец младенца, Бог  
Вышелушится и воспарит в небеса?

### **6. Сожжение ведьмы**

На рыночной площади наваливают сухие сучья.  
Из гущи теней — плохое пальто. Я обжила  
Восковой слепок, снятый с меня — тело куклы.  
Густота начинается здесь: я — мишень для ведьм.  
Дьявола может только дьявол пожрать.  
В месяц красных листьев взбираюсь на ложе огня.

Легко обвинять мрак — уста двери.  
Утробу погреба. Искры мои задули.  
Дама в черной крылатке держит меня в клетке  
Для попугая. Как велики глаза мертвецов!  
Я с волосатым духом накоротке.  
Из клюва полого кувшина валят колеса дыма.

Если я мала, нет от меня зла.  
Двигаться не буду, ничего не задену.  
Так молвила я, сидя под крышкой котла,  
Как зернышко риса, пассивна, мала.  
Зажигают горелки. Мы полны крахмала,  
Белые мои меньшие братья. Мы растем. Больно сначала.  
Истине научат красные языки.

Жучиная мать, разожми кулачок:  
Полечу сквозь уста свечи, как неопалимый мотылек.  
Образ мой верни, готова восстановить дни,  
Которые с прахом в тени камня смешала.  
Свет на лодыжках, по бедрам все выше.  
Я пропала. В одеяньях света пропала.  
1959

### **7. Камни**

Это — город, где латают людей.  
Лежу на огромной наковальне.  
Плоский небокруг голубой

Слетел, как шляпка куклы,  
Когда я, выпав из света, проникла  
В желудок безразличья, бессловесный комод.

Мать ступок меня растолкла.  
Я превратилась в застывшую гальку.  
Мирными были камни желудка,

Тихим — ничем не потревоженное надгробье.  
Только отверстие рта свиристело,  
Докучливый сверчок

В каменоломне молчанья.  
Это слышали горожане.  
Поодиночке, молча, они охотились за камнями.

Рот выкрикивал место их пребывания.  
Сосу тюрю тьмы, как зародыш, пьяна.  
Тюбики пищи вокруг меня.

Поцелуи губок стирают с меня лишай.  
Ювелир вонзил свой резец, тщась  
Открыть один каменный глаз.

Это — после-ад: я вижу свет.  
Ветер снял стопор с темницы  
Уха, старого бойца.

Кремень губ смягчает вода,  
А дневной свет бросает на стену свое подобье.  
Добродушны лица рабочих:

Нагревают щипцы, воздевают нежные молоточки.  
Ток будоражит провода,  
Вольт за вольтом. Кетгутом сшиты швы.

Работяга идет, неся розовый торс.  
Хранилища полны сердец.  
Это — город запчастей.

Приятен резиновый запах моих забинтованных рук и ног.  
Здесь могут пересадить конечность или голову.  
По пятницам дети приходят

Обменять крюки на руки.  
Жертвуют глаза мертвецы.  
На моей лысой сиделке Любви форменное платье.

Любовь — плоть и кровь моего проклятья.  
Из ничего воссоздана ваза —  
В ней поселилась незримая роза.

Из десяти пальцев сложена чаша для теней.  
Зудят мои швы. Ничего не поделать.  
Буду как заново рождена.  
1959

### **Сожженный курорт**

Закончил свой путь старый зверь в этом месте:

Деревянный монстр со ржавыми клыками в пасти.  
Огонь расплавил его глаза на куски  
Тусклого бледно-голубого стекла  
И опьяняя, каплет с сосновой коры смола.

На стропилах и балках его тела висят и сейчас  
Обугленные отрепья каракуля. Не скажу,  
Как долго провалялся его каркас  
Под летним мусором, палой черной листвой.

Вот сорняки проросли украдкой  
Замшевыми язычками меж его костей.  
Его броня, груды камней  
Теперь для сверчков променад.

Я ищу, как врач копошась,  
Или веду раскопки, как археолог,  
Средь железных кишок, эмалированных чаш,  
Двигавших его пружинки и шестеренок.

Лощинка питается тем же, что прежде.  
И все же весны ихор  
Выходит наружу, как с давних пор,  
Из разорванной глотки, болотистых губ.

Плывет он под бело-зеленой  
Балюстрадой провисшего мостика.  
Наклонившись, встречаю  
Посиневшую особу, кого не чаяла

Встретить в обрамлень корзин из рогоз.  
О, как элегантно и строго  
Сидит она у бесцветных вод!  
Это не я, не я отнюдь.

Животные не гадят у входа в ее дом.  
И мы никогда не войдем  
В дома надежных и твердых.  
Поток, что нас подгоняет,

Не питает и не исцеляет.  
1959

## Грибы

За ночь, необычайно  
Белея, тайно,  
Тихо чрезвычайно

На цыпочках, носами  
Суглинок взрыхлив,  
Воздух вдыхаем.

Никто нас не видит,  
Не предаст, не обидит.  
Простор обретаем за пядью пядь.

Мягкие кулачки близки,  
Иголки хотят нанизать,  
Обрести из листьев ложе,

И покров тоже.  
Наши рожки, молотки  
Безглазы и безухи, вовсе

Безголосы,  
Расширяют зазоры,  
Протискиваем плечи в дыры.

Мы сыты  
Крохами тени, глотком воды,  
Вежливы, не просим

Ничего или очень мало.  
Нас тьмы!  
Нас тьмы!

Мы — полки, столы,  
Мы смиренны, скромны,  
Мы съедобны, мы

Лезем, толкаемся,  
Себе вопреки.  
Мы размножаемся:

Завладеем землей мы  
К утру. Наши ноги  
Уже на пороге.  
1959

## На палубе

Полночь посреди Атлантики. Палуба. Ряд  
Пассажиров, как в одеяло, завернулись в себя,  
В звездную карту на потолке  
Немо, как манекены в витрине, глядят,  
Одеяла свои теребя.  
На горизонте кораблик плывет вдалеке,

Освещен, как двухслойный свадебный торт,  
Уносит свечки медленно вдаль.  
Теперь уж больше не на что смотреть, но  
Не пошевелинулся, не заговорил никто,  
На площадке больше ковра едва ль  
Играют в бинго азартно,

Не в силах оторвать от бурунов взгляд,  
Каждый застрял в своем мгновенье,  
Как в замке король; отрешенные лица,  
Пальто и перчатки капельки мелко кропят,  
Слишком быстро их мельтешенье,  
Чтоб ощутить влагу. В пути всякое может случиться.  
Неопрятная ривайвельстка, проповедующая конец света,  
Которой Бог пропасть не дает (послал ей Бог  
Бриллиантовую булавку на шляпку ныне,  
Кошелек и 7 шубок прошлым летом),

Бормочет молитвы, чтоб Он спасти ей помог  
От неверья студентов-искусствоведов в Западном Берлине.

Рядом с ней — астролог (Лев по знаку Зодиака),  
По звездам вычислил день отплытья,  
И поэтому айсбергов нет (торжествует наука).  
Через год он разбогатеет (сам себе предсказал однако),  
Продавая английским и валлийским мамашам наитья —  
Гороскопы по два шестьдесят за штуку.

Седой ювелир-датчанин в воображенье со страстью  
Гранит жену, идеальную, как бриллиант,  
Которая будет холить и лелеять его на суше.  
Лунные шарики, привязанные к запястью  
Незримыми нитями, как мечты, невесомо парят,  
Пока не покажется земля, и они отпустят их тут же.  
июль 1960

### **По ежевику**

Вокруг никого и ничего, ничего — лишь ежевика,  
Ежевика с обеих сторон, петляет аллея,  
И море вздыхает вдали.  
Огромны, как мой палец большой, немо глазами,  
Гроздья нависли, глаза их черны,  
Как эбонит, и сине-красным соком полны,  
Они проливают его на пальцы мои.  
О клятве кровью их не просила; верно, любят меня они.  
Притёрлись к бутылке из-под молока, сгладив бока.

Над головой пролетают черные стаи ворон  
Кусками обугленной бумаги в ветреном небе.  
Какофония. Здесь протестуют только они.  
Кажется, море никогда не покажется.  
Зеленые луга на холмах мерцают, словно светясь изнутри.  
На одном из кустов ягоды так сочны, что мухи его облепили —  
Как китайская ширма, их иссиня-зеленые брюшки и крылья.  
Медовый ягодный пир так изумил их, что им мнится, будто они в  
раю.  
Еще один поворот, и ни ягод нет, ни кустов.

Только одно может ждать впереди — это море.  
Порыв ветра меж двух холмов

Ударил в лицо призрачным запахом выстиранного белья.  
Эти холмы так зелены и сочны, что соль их не берет.  
Иду по овечьей тропке меж ними. Ещё поворот, и я  
У северного фасада холмов, их лица — рыжие скалы,  
Они глядят в никуда, в никуда, озирая безмерный простор,  
Озаренный белым, свинцовым светом, и звон кругом,  
Словно кузнец-серебряник бьет и бьет по неподатливому металлу.  
1961  
<http://www.americanpoems.com/poets/sylvia-plath/1380>

### Явление

Улыбки морозильных ящиков убивают меня.  
Какие голубые потоки в венах моей родной!  
Слышу, как мурлычет ее большое сердечко.

С ее губ знаки процентов и мер  
Слетают, как поцелуи.  
Сегодня понедельник — время для стирки:

Пора нравоученьям отмыться и всем себя предьявить.  
Что поделаться с этими противоречьями?  
Я в белых кандалах, кланяюсь низко.

Неужто это любовь — Красное вещество,  
Что летит из иголки стальной, ослепляя?  
Из него можно сшить платья, пальто —

Хватит на несколько поколений.  
Как раскрывается и закрывается тельце ее —  
Как швейцарские часы на алмазных шарнирах!

О сердце, как ты сумбурно!  
Звезды мерцают как страшные цифры.  
АБВ, — говорят ее веки.  
1962

«Ариэль», книга стихов<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> По изданию: *Ariel*, Poems by Sylvia Plath, New York: Harper and Row, 1965, с добавлениями из списка, составленного Сильвией Плат (приводится по изданию: Sylvia Plath. *The Collected Poems*. Edited and with an introduction by Ted Hughes. New York-London: Harper, 1981, откуда взяты также стихи, приведенные в приложении).

### Среди нарциссов

Как стебельки эти в марте, бодр, сед, и согбен, с высоты  
Перси в синем бушлате к нарциссам склонился.  
Он идет на поправку после болезни в легком.

Нарциссы также склонились перед чем-то великим:  
Оно треплет их звездочки на зеленом холме, где Перси  
Ходит и ходит, держась за швы и бинты.

Есть достоинство в этом, есть ритуал: цветы  
Целительны, как бинты, и человек распрямился.  
Они выстояли после атаки!

Восьмидесятилетнему милы эти стайки.  
Но резкий ветер терзает его дыханье. Он весь посинел, а нарциссы,  
Как резвые дети, снизу глядят на него, белы и чисты.  
1962

### Зимние деревья

Влажные чернила зари растворяют свою синь.  
На промокашке туманов деревья  
Кажутся рисунком на тему ботаники —  
Кольцом на кольце слои воспоминаний,  
Ряд венчаний.

Не ведая ни аборт, ни блядства,  
Истиннее женщин,  
Они осеменяются совсем без усилий!  
Вкушая безногие ветра,  
Вросли по пояс в историю —

Неотмирность, полная крылий.  
В этом они — Леды.  
О мать, услады и листьев,  
Кто эти пьеты?  
Песнопенья теней голубков не дают облегченья.  
1962

### Дитя

Абсолютно прекрасен лишь твой чистый взгляд.  
Я хочу наполнить его цветом и утками,

Новый зоосад,

Названия которому выдумываешь сама —  
Апрельская снежинка,  
Трубка индейца,

Стебелёк без морщинки,  
Пруд, в котором  
Образы величественны и классичны —

Не это тревожное  
Заламывание рук, мрачный  
Беззвездный потолок.  
1963

### **Соперница**

Если б улыбалась луна, на тебя похожа была б она.  
Ты производишь такое же впечатление  
Чего-то прекрасного, но и губительного.  
Вы обе велики заемным светом. Ее рот  
В горестном зевке скорбит о мире; бесчувственен твой,

А твой главный дар — все превращать в камень.  
Я пробуждаюсь в мавзолее, а рядом ты  
Барабанишь пальцами по мраморному столу, ища сигареты,  
Как женщина ты зла, но не слишком нервозна,  
Тщишься сказать нечто, чтоб не нашлось ответа.

Унижает своих подданных также луна,  
Но днем нелепа она. Твоя ж неприязнь  
Проникает в почтовый ящик с завидным упорством. Она  
Бела и пуста, вездесуща, как угарный газ.

Ни дня от твоих вестей спасения нет.  
Быть может, бродишь по Африке, но думаешь обо мне.  
июль 1961

### **Ловец кроликов**

Там было место усилья —  
Ветер забил мне рот моими же волосами  
И сорвал голос мой,  
А море слепило огнями,  
Жизни своих мертвецов расстелив, как нефти слой.

Утесника зло я вкусила,  
Его черные пики,  
Его желтых цветов-свечей обильный елей.  
В них была великая красота и сила,  
Они были экстравагантны, как пытка.

Все дороги вели в одно место.  
Благоухая, бурля,  
Тропинки сужались в ложбину,  
И силки обессилили —  
Нули, уловившие пустоту,

Приблизилась, как родовые муки.  
Из-за отсутствия крика  
В жарком дне образовалась дыра, зиянье —  
Стеклянный свет стал прозрачной стеной,  
Молчащей чашей.

Мной овладела недвижимая деловитость, стремленье.  
Руки вокруг чайной чашки  
Вяло и тупо звенели белым фарфором.  
Как они ждали его, крохотные смерти эти!  
Как влюбленные ждали его. Волновали его.

И между нами тоже возникли чувства —  
Тугие струны натянулись меж нами,  
Не вытащишь колки — слишком они глубоки,  
А разум сомкнулся кольцом, когда что-то мелькнуло,  
Эта хватка меня также убивала.  
21 мая 1962

### **Тюремщик**

Моя ночь потеет жиром в его тарелку на завтрак.  
Тот же плакат синего тумана все так же висит  
С теми же деревьями и могильными камнями.  
Это все, что придумать мог  
Он, брэнчащий ключами?

Меня напичкали колесами и насиловали.  
Семь часов вышивали мозги  
В черный мешок,  
Где покоюсь, зародыш или кошка,  
Рычаг его влажных вождлений.

Что-то пропало.  
Оболочка, в которой сплю, мой красно-синий цеппелин,  
Сбросил меня со страшной высоты.  
Панцирь всмятку,  
Расплющена под клювами птиц.

Буравчики —  
О сколько дыр уже в этом бумажном деньке!  
Он прожигал меня сигаретами,  
Делая вид, что я негритянка с розовыми лапами.  
Я — это я, но этого мало.

Лихорадка стекает и застывает в моих волосах.  
Мои ребра торчат. Что я ела?  
Улыбки и ложь.  
Небо точно другого цвета,  
Трава точно колыхаться должна.

Весь день склеиваю церковь из горелых спичек.  
Мечтаю о ком-то совершенно другом.  
А он в отместку за эту диверсию  
Мордует меня,  
Сражает оружием притворства,

Высокой ледяной маской амнезии.  
Как я сюда попала?  
Преступница без вины,  
Умираю по-разному:  
Повешена, заморена голодом, сожжена, вздета на крюк.

Представляю его,  
Бесплодного, как дальний гром,  
В тени которого поедала свой призрачный паек.  
Хочу, чтоб он умер или сгинул,  
Что, пожалуй, невозможно.

Обрести свободу. Что делать мраку,  
Если не будет на обед лихорадки?  
Что делать свету  
Если не будет очей для его ножей?  
Что будет делать он, он, он без меня?  
17 октября 1962

### Маленькая fuga

Качаются черные пальцы тиса;  
Плывут над ними холодные облака.  
Так глухонемые слепым  
Подают сигнал, который не принят.

Мне нравятся черные формулировки.  
Бесформенность вот этого облака!  
Белого, как белок глаза!  
Глаз слепого пианиста

За моим столиком на корабле.  
Он ощупывал пищу.  
У пальцев его были носы куниц.  
Не могла оторвать глаз.

Ему был внятн Бетховен:  
Черный тис, белое облако,  
Ужасные осложнения.  
Ловушка для пальцев — клавиш мятеж.

Глупы и пусты, как тарелки —  
Так слепцы улыбаются.  
Завидую громкому шуму,  
У Grosse Фуги ветвистость тиса.

Глухота — это нечто иное.  
Столь черно жерло, отец!  
Вижу твой голос,  
Черный и лиственный, как в детстве.

Порядок ветвей тиса  
Готический и варварский, чисто немецкий.  
Мертвецы оттуда вопят.  
Я ни в чем не повинна.

Тогда тис — мой Христос.  
Не так ли точно его пытаются?  
А ты во время Великой Войны  
В калифорнийской закускойной

Лопал сосиски!  
Они расцветчивают мои сны,

Красные, крапчатые, как перерезанные шеи.  
Настало безмолвье!

Великая немота порядка иного.  
Мне было семь. Я ничего не знала.  
Мир явился таким.  
У тебя была одна нога и прусский ум.

Сейчас похожие облака  
Расстилают просторные простыни.  
Ты ничего не сказал?  
У меня память хромает.

Помню глаз голубой,  
Ящичек мандарин.  
Да, это был тот человек!  
Смерть раскрылась, как черное дерево, чёрно.

Я выжила до поры,  
Утро своё привожу в порядок.  
Вот— пальцы мои, вот — мой малыш.  
Облака — подвенечное платье, столь же бледны.  
2 апреля 1962

### **Годы**

Они входят, как звери из  
Открытого космоса святости, где шипы —  
Не те мысли, на которые ложусь, как йог,  
Но зелень и темень, столь чистые,  
Что заледенев, они остались как есть.

О Господи, я не такая, как Ты  
В просторной Твоей черноте,  
Везде звезды торчат, яркие, глупые конфетти.  
Мне вечность скучна,  
Никогда не мечтала о ней.

Что я люблю,  
Так это поршень в движенье —  
Душа замирает.  
И копыта коней —  
Как безжалостно они взбивают дорогу.  
А ты, великий Стасис —

В чем величье твое?  
Год ли тигра теперь, чей рык у дверей?  
Христос ли это —  
Ужасный

Ожог Бога на нем,  
Рвущемся воспарить и сорваться, покончив с собой?  
Ягоды крови сами по себе, они очень недвижны.

Копытам этого не достать,  
В синем пространстве поршни шипят.  
1962

### **Шарики**

С рождества они живут с нами,  
Простодушные и чистые,  
Животные с овальными душами,  
Заняв полкомнаты,  
Двигаясь, трутся резиной о шелк

Незримых потоков воздуха,  
Издавая взвизг или хлопок,  
Когда их атакуют, затем удирают на отдых дрожа.  
Желтый пескарь, голубой луфарь —  
Живем с такими странными лунами

Вместо мертвой мебели!  
Соломенные коврики, белые стены  
И эти блуждающие сферы  
Тонкого воздуха, красные, зелёные,  
Услаждают сердце,  
Как исполненные желания либо  
Как вольные павлины,  
Благословляют старую землю пером,  
Окованным металлами звёзд.  
Маленький братик твой

Заставляет шарик свой  
Визжать, как кошку,  
Словно видит чудной  
Розовый мир, на обратной стороне которого, можно перекусить,  
Он кусает,

Затем отпрянув,  
Садится, пузан,  
Созерцая мир, чистый, как вода,  
Красный  
Обрывок в его кулачке.  
5 февраля 1963

### **Маки в июле**

Маленькие маки, адовы огоньки,  
Зла не причините?

Вы полыхаете. Не прикоснешься.  
Руки кладу на огонь. Не горят.

Но наблюдать изнурительно,  
Как извергаете красное пламя, словно губами,

Словно кровавыми ртами.  
Юбочки ваши в крови!

Благоухаете. Не прикоснешься.  
Где ваш опиум, тошнотворные семена?

Если б могла кровью изойти или забыться сном —  
Или губами слиться с таким мучителем-женихом!

Либо испить напиток из капсулы этой стеклянной —  
Чтоб застыть и забыться.

Но бесцветен, бесцветен он.  
20 июля 1962

### **Доброта**

Доброта скользит по дому.  
Дама Доброта, как она мила!  
Голубые и красные камни её колец  
Дымятся в окнах, а зеркала  
Улыбок полны.

Что так же реально, как плач ребенка?  
Кроличий крик необузданней,  
Но у кролика нет души.  
Сахар может вылечить всё, говорит Доброта.  
Сахар — необходимое снадобье.

Кристаллы его — как пилюли.  
О доброта, доброта,  
Как мило ты склеиваешь черепки!  
Японские мои шелка, отчаянные мотыльки,  
Их в любой миг проткнут иголкой без наркоза.

И вотходишь ты, неся  
Чашечку чая в венчике дыма.  
Поэзия — реактивная кровь,  
Ее остановить нельзя.  
Ты вручаешь мне двух деток, две розы.  
1 февраля 1963

### **Контузия**

Цвет прилил к одной точке, неяркий багрянец.  
Вся остальная часть тела размыта,  
Жемчужного цвета.

Море яростно всасывается  
В расщелину скалы,  
В одной впадине центр всего моря.

Размером с муху  
Знак рока  
Ползёт по стене.

Захлопнулось сердце,  
Отпрянуло море,  
Завешены зеркала.  
4 февраля 1963

### **Предел**

Эта женщина уже совершенна.  
На ее мертвом лице

Улыбка свершенья,  
Иллюзия эллинской необходимости

Вплывает в свитки ее тоги,  
Ее нагие ноги

И стопы, кажется, говорят:

Мы прошли долгий путь, он завершен.

Все мертвые дети свернулись, белые змейки,  
Каждая над

Кувшинчиком молока, уже пустым.  
Она сложила

Их снова внутри своего тела,  
Как лепестки закрывшихся роз,

Когда застывает сад и запахи кровоточат  
Из сладких глубоких зевов ночного цветка.

Луне грустить не о чем, она  
Уставилась из-под своего косяного капюшона.

Она привыкла к таким вещам.  
Развевается и шуршит её траурный наряд.  
5 февраля 1963

### **Слова**

Топоры  
От чьих ударов разносится звон,  
И лес эхом полн!  
Отзвуки до поры,  
Словно кони, скачут от центра со всех сторон.  
Сок  
Струится, как слёзы, как ток  
Воды, что стремится опять  
Водрузить свое зеркало  
На скалу, чтоб снова упасть.  
Выеден добела  
Череп умерших слов,  
Увит зеленью сорняков.  
Годы спустя нашла  
На дороге их —

Увядших, сухих,  
Без наездников легок копыт перестук,  
А со дна пруда  
Застывшие звезды

Жизнью вершат всегда.  
1 февраля 1963



# Александр Левинтов

## Солон и Писистрат

### Действующие лица



Солон – архонт-эпоним (высший Магистрат Афин), в первом действии ему 54 года, во втором – 65

Писистрат – его племянник и любовник, афинский тиран, в первом действии ему 34 года, во втором – 45

Архонт-басилей (верховный Жрец)

Архонт-полемарх (главнокомандующий)

Фесмофеты – шесть чинных мужей в судейских чинах

Последние восемь изображают во втором действии толпу, в третьем – телохранителей

Путин

Автор

### Действие первое

*Второй год 49-й Олимпиады (594 год до н.э.), Афины, Агора, небольшая оливковая роща между храмом Афины и Акрополем. Полдень.*

*Сцена 1*

Писистрат: ты звал меня, эпоним?

Солон: когда никого нет, зови меня дядюшкой... или учителем... или, ещё лучше, говори мне «любимый»

Писистрат (смеясь): хорошо, любимый дядюшка, ты звал меня?

Солон: да, я соскучился по тебе, моё копьё изнашивает жаждой, потому что не в тебе, и хочет вонзиться

Писистрат: оно у тебя неутомимо – ведь только утром я покинул твоё ложе

Солон: тебя это удручает?

Писистрат: нисколько! Только радует и удивляет

Солон: так пошли вон туда, там дивная мраморная скамейка, займёмся любовью, пока меня не списали в Ареопаг к прочим старцам.

*Удаляются. Снизу, от Пропилей, поднимаются восемь мужей.*

Басилей: никто не видел высшего Магистрата, Солона?

Полемарх: небось, опять со своим Писистратом где-то в тени уединился. Поверьте, мальчишка вырастет негодяем

Первый фесмофет: ничего себе, мальчишка – ему скоро уже 34 будет

Басилей: умом и телом он – мальчишка

Полемарх: именно такие и становятся тиранами и подонками, вырастая под распутным крылом своих любовников. А не распить ли нам немного кипрского? У меня с собой.

Второй фесмофет: мой генерал, в вашем звании надо быть патриотом и пить только отечественное. Рекомендую аргосское или хиосское. Косское также неплохо, но возбуждает аппетит, что при вашей комплекции излишне

Полемарх: так я и действую из патриотических соображений, чтобы киприотам даже их вина не досталось

*Располагаются у стены храма Афины*

Третий фесмофет: мне жена фунтик сухофруктов скрутила, мол, всё равно поддавать будете, так хоть закусывайте.

Четвертый фесмофет: мудрая женщина

*Небольшая, литра на три-четыре амфора ходит по кругу*

*В это время из глубины роцци появляются Солон и Писистрат. Они спешно оправляют хитоны*

Солон: достойные мужи, а почему без нас?

Пятый фесмофет (*тихо, в сторону*): спящим и гуляющим...

Басилей: присоединяйтесь! Сегодня проставляется полемарх, но я готов порыться в закромах Афины

Солон (*утирая бороду после вытиго*): не будем увлекаться – сегодня важный день, решающий день нашего архонства. Я призываю всех вас в Акрополь, на заседание. Вы не будете возражать против присутствия Писистрата? Я хочу, чтобы он вырос в государственного мужа

Пятый фесмофет (*на ухо шестому*): так вот для чего он трахает его

*Все нехотя встают и неровной цепочкой тянутся в Акрополь*

*Сцена 2*

*Внутреннее вместилище Акрополя. Все десять человек встают полукругом лицом к статуе сидящего Зевса-Олимпийца: при нём нельзя сидеть и к нему нельзя поворачиваться спиной. Каждый говорящий должен смотреть Зевсу в глаза и говорить ему.*

Солон: (*громко*) ты, Зевс Олимпийский, (*нормальным голосом*) и вы, архонты, (*шёпотом*) и ты, Писистрат, выслушайте меня в этот великий день!

Басилей: а давайте придадим вечный смысл нашему летоисчислению

Солон: каким образом?

Басилей: первый год Олимпиады будет называться Начинальным, второй – Продолжальным, третий – Решальным, а четвертый – Завершальным

Солон: оставь эти глупости для потомков, не отнимай у будущих дураков хлеб

Шестой фесмофет: а я предлагаю публично обливать презрением тех, кто пропагандирует и прославляет любовь к женщине, этому детородному существу. Если мы будем попускать всяким безответственным поэтам петь дифирамбы женщине и воспевать любовь к ней, то мы быстро скатимся в наше позорное прошлое, в дикость и унижительное варварство матриархата.

Другие фесмофеты: верно! Верно говорит! Надо ставить на голосование этот закон!

Солон: мудрейшие! В этих словах кроется не только правда, но и опасность. Если мы, афиняне, примем такой закон, мы впадём в демографическую катастрофу, как уже впали в неё доблестные спартанцы. И потом – как отделить сыновью любовь к матери у подростка от плотского влечения к женщине у юноши? Не одной ли закваски эти чувства? Каким судом вы отделите их, сыновей и юных мужей, и начнете карать последних на глазах у первых?

Пятый фесмофет: я предлагаю закон о метафорах – все перевозки и перемещения домашней утвари и скарба должны осуществляться только повозками фирмы «Метафора»

Четвертый фесмофет: с какого рожня? Только потому, что эта фирма принадлежит вашему филу?

Солон: спасибо за это предложение. Отныне и навсегда: по поводу каждого нового законопроекта городской суд Афин должен проводить тщательное расследование и дознание. Если обнаружится, что предлагаемый кем-то закон таит в себе корысть инициатора, то такой инициатор продается в рабство пожизненно. Если предлагаемый закон противоречит уже принятым, его автор изгоняется из Афин навечно. Если законопроект несет в себе зло или дурь – предложившего его следует казнить.

Басилей: клянусь Зевсом, Солон, это – превосходное решение. Теперь у афинских граждан сразу пропадет чесотка и лихорадка законотворчества.

Солон: да, уважаемые, и потому я осмелился, поскольку еще нет законов, предложить их сразу сотню. Это – плод долгих моих размышлений, в течение многих-многих лет. Я верю, что они просуществуют сотню, а, может, и больше ста лет. Я приказал выбить их на досках и, после того, как мы утвердим эти законы, доски будут вывешены здесь, на Акропольском холме. Я также прошу вас и всех афинян хотя бы первые десять лет ничего не менять в законах, дать им устояться и внедриться в умы и сердца горожан. Мне ли не знать, как велик соблазн менять и исправлять законы, а потому я сам себя на эти десять лет изгоняю из Афин и покидаю город завтра же.

Присутствующие: великое решение... он мудр, наш Солон... вот, кто по праву должен считаться мудрейшим из семи мудрейших...

Третий фесмофет: скажи, Солон, не будут ли твои законы противоречить власти?

Солон: скорее наоборот. А потому власть должна быть такой, чтобы она не угрожала законам.

Третий фесмофет: какой же она должна быть?

Солон: я понял – чем на большее число людей падает власть и чем разнообразней виды власти, тем сильнее и народ и его народовластие, тем крепче стоят законы. Худшее из зол – сосредоточение власти в одном месте и в одном человеке. И уж совсем скверно, если кто-то задерживается во власти. Вспомните Дамасия – после двух лет полномочий в народном собрании он незаконно продлил свой срок, нагло подтасовав результаты выборов, и мне пришлось силой, тяжкой силой смещать его.

Полемарх: Зевс мне свидетель – ты вовремя это сделал, и я был верным твоим помощником в этом деле.

Солон: мой доблестный друг, я никогда не забуду твоей стойкости и стойкости твоих воинов. Армия нужна не только для побед, но и для защиты законов и порядка. Отныне в Афинах устанавливается демократия – прямое народовластие под сенью законов. Отныне правим и властвуем не мы – скромная кучка архонтов, а Совет Четырёхсот, по одному от каждого афинского фила. Исполнительная власть должна исполнять волю народа, а не свою собственную. Отныне не судья, а 12 присяжных будут выносить приговоры. Чем больше людей вовлечено во власть, тем меньше людей ощущают бремя власти на себе!

Второй фесмофет: но так мы быстро скатимся в охлократию, во власть толпы и черни. Начнётся ужасный гвалт, потому что самые крикливые и изощренные в оре – ослы и нищие. Они потому и нищие, что ослы, они потому и ослы, что нищие.

Солон: золотые слова, клянусь Зевсом! Я предусмотрел это и потому предлагаю установить имущественный ценз, только преодолев который, человек допускается к власти и демократии, начинает ощущать себя полнокровным гражданином нашего города.

Первый фесмофет: разрубая одну несправедливость, ты, Солон, завязываешь другую

Басилей: какую же?

Первый фесмофет: наши земледельцы, наши истинные труженики и кормильцы – либо уже превратились в спартанских илотов, либо на грани этого. Земля наша скудна и не может прокормить ни их, ни нас. Они вынуждены кредитоваться, но выползти из долгов, из кредитной удавки и непосильных процентов у них нет сил. Двадцать лет на грани нищеты и бедности превращают любого человека и любой народ в жестоких фанатиков, в ревущее стадо, в хищных травоядных – отвратителен народ и человек, впавший в состояние полунущего-полубедного.

Солон: я могу предложить только одно – сисахвию. Мы одновременно амнистируем все земельные долги, в том числе и тем, кто бежал из Афин от долгов. Но мы не можем делать такое каждый раз – народ расслабится и будет уповать на власть, а не властвовать.

Третий фесмофет: ты посягаешь, Солон, на интересы богатых афинян. Да, их среди афинян не так много, но у них – сила и власть денег.

Солон: именно поэтому сисахвия возможна только одновременно. Богатые и аристократы должны понять (ведь они потому и богаты, что умны) – лучше сделать такую уступку один раз, чем жить под вечным и нарастающим страхом бунта, кровопролития и экспроприаций.

Полемарх: сегодня поистине великий день, Зевс тому свидетель и покровитель.

Солон: но я устал, а завтра – в долгий путь

Голоса присутствующих: оставайся, Солон

Солон: нет, от греха и соблазна – вон из города. Разойдемся мужами и расстанемся друзьями.

*Все покидают храм*

Писистрат (*оставшись один*): да, я не имею права голоса, но Зевс, клянусь тобой, я имею право действия, и я начинаю свои действия сразу, как только тень Солона покинет городскую стену Афин.

## Действие второе

Сцена 3

*Десять лет спустя. Афины, дворец тирана Писистрата*

Солон: ну, вот я и вернулся, мой Писистрат. Что ж ты не идешь ко мне, не бросишься на грудь?

Писистрат: уже не твой. И ничей. Только свой. Я – правитель великих Афин, великий правитель великих Афин.

Солон: знаю, знаю – наслышан.

Писистрат: говорят, ты много путешествовал

Солон: да, я был в Азии, Персии, Вавилонии, где был потрясён концлагерями для какого-то народа, посетил Финикию и ещё одну странную страну к югу от неё – она безлюдна: пустые города, пустые дороги, пустые храмы; я был в Египте на берегах великого Нила и был в Ливии, дошел до Карфагена. Я много повидал стран, городов и народов, многое познал и много понял. Наши маленькие Афины ничтожны с великими городами Азии и Африки, но мы велики своим государственным устройством. Мы – светоч мира, мы – то, что ждёт все другие народы в грядущем, чего они ещё не хотят, но непременно захотят.

Писистрат: на досуге ты обязательно расскажешь мне об этом... или нет, лучше запиши всё это, и на досуге я почитаю, хотя – откуда у меня досуг? Ты давно в городе? Ты видел, какой великолепный Акрополь я строю? А сколько в городе новых построек? Новых дорог? Новых общественных зданий. Ты строил воображаемое государство, воздушное, висящее словами на каких-то деревяшках – я строю из камня новый полис, Великие Афины, несравненную жемчужину Эллады. Я перенесу сюда все игры и прежде всего Олимпийские, настрою храмов, чтобы все боги были только здесь и на Олимпе...

Солон: ты хочешь обеднить всех соседей?

Писистрат: ты угадал, дядя. Пусть вся Эллада будет ресурсом афинского величия и богатства. Разве это – не достойная задача? И вот тогда посмотрим на все эти Вавилоны, Тиры, Сидоны, Фивы, тогда посмотрим, кто сможет тягаться величием с Афинами! Собственно, только ради этого, а вовсе не ради власти самой по себе я властвую в Афинах. Моя слава – слава Афин. Пожалуй, я возьму тебя, Солон, в помощники. Прости, ты стар, и я не могу назначить тебя на высокую должность, да и зачем она тебе? Ведь ты привык к скромной жизни. Роскошь портит таких людей, как ты.

Солон: Писистрат, я пришёл к тебе не за этим.

Писистрат: ты ничего не просишь?

Солон: ничего, только требую.

Писистрат: ты?.. требуешь?.. чего же?

Солон: ты силой и хитростью

Писистрат: умом

Солон: силой и хитростью

Писистрат: это и есть воля – сплав силы и ума

Солон: силой и хитростью, незаконно захватил власть, стал тираном и удерживаешь власть уже десять лет, что непомерно и ни с чем не сообразно. Я требую, чтобы ты сам, добровольно, сложил с себя власть.

Писистрат: Никогда! плевать мне на твои законы! что ты ими кичишься? Я их не нарушаю – и будь доволен этим. Да, я правлю силой и умом, здесь властвует моя воля. Но народ любит меня

Солон: боится

Писистрат: народ любит меня – я даю ему работу, украшаю его город, благоустраиваю его.

Солон: разве ты не видишь? Народ насильственно приветствует тебя, из страха наказаний, потерь и отстранений

Писистрат: всё правильно – у народа должны быть хоть какие-нибудь основания для любви

Солон: ты любил меня – из страха?

Писистрат: и из страха также. Ведь ты был эпонимом

Солон: всего два года

Писистрат: а до того ты был великим воином в войне за Саломин. И мой восторг тобой был замешан на страхе твоего могущества

Солон: ты видишь только восторженную толпу, которую тебе услужливо и коварно подсовывают твои приспешники. А те, кого ты не видишь, но кто ненавидит тебя и твою тиранию?

Писистрат: а те, кто против меня, ни для меня и ни для кого не существуют. Сколько греков пало под стенами Трои? А мы знаем лишь Ахиллеса и еще с десятков героев. Остальные не существовали и не существуют. Завтра земля и женщины Эллады нарожают этих несуществующих – как песка морского, как камней в горах – как такое может заботить правителя? И что мне до их несуществующей ненависти?

Солон: боюсь, ты ошибаешься, Солон. Они существуют и уже совсем близко. Слышишь шум – это режут, как овец, твою верную стражу.

Сцена 4

*Там же. Во дворец врывается толпа (всё те же восемь человек, что и в первом действии. Теперь они просто афинские граждане).*

Голоса: вот он! Вот он! Смерть Писистрату!

Писистрат: стража! Где моя стража?!

Голоса: нет стражи! Она перебита!

Солон: вот ты и дождался взрыва гнева. И не будет тебе пощады. Закон неумолим. И десять лет тиранства не могут пройти бесследно и безнаказанно.

Писистрат: я понимаю – вы даже не казните меня, вы просто убьёте меня, до суда и без суда. Но это значит – я победил. Вашей расправой вы доказываете мою правоту: городом и историей правит воля, а не закон. Законы бессильны перед волей человека. И вы сейчас проявляете свою волю, а не законопослушание. Власть у того, кто имеет волю и силу, законы – для слабаков и привыкших вечно подчиняться. Ну, где ваши ножи?

*Толпа плотно окружает Писистрата. Солон, закрыв лицо руками и пошатываясь, покидает дворец тирана.*

### **Действие третье**

#### **Сцена 5**

*Наши дни. Одна из президентских резиденций. Небольшой стол, накрытый на двоих. За столом Путин и Автор. Среди кустов и деревьев молча, напряженно стоят восемь телохранителей.*

Путин (*откладывая небольшую рукопись*): любопытно. А про меня что-нибудь подобное ты мог бы написать?



**Мина Полянская**

## **Мемуарно-топографические записки**

**о Наталье Никитичне Толстой,  
внучке Алексея Николаевича Толстого**



ывает – странствуешь по лабиринтам памяти и обнаруживаешь, что несоединимое выстраивается вдруг в событийную связь, и вьется-вьётся извилистая тропинка еще никому не видимого, а на самом деле уже единого сюжета. История моей пятнадцатилетней дружбы с Натальей Никитичной Толстой соткана как будто бы из случайностей, и когда я четверть века назад под всевидящим оком цензуры строила очерк о петербургском молодом Алексее Николаевиче Толстом – бледном художавом поэте, зачёсывающим волнистые волосы на косой пробор, облачённом в длинную с большой претензией на оригинальность шинель, в высоком цилиндре денди лондонского, похожем, по мнению Андрея Белого, на Ленского, завсегдагае кабачков и ресторанов петербургской богемы – «Бродячая собака», «Капернаум», «Вена» – типичнейшем персонаже века Серебряного, человеке, находящимся именно тогда (и больше никогда!) в духовном и физическом комфорте, авторе книги стихов «За синими реками», а затем уже цикла рассказов «Заволжье», романов «Чудаки» и Хромой барин», мне и в голову не могло прийти, что спустя годы познакомлюсь с его внучкой, и не где-нибудь, а в петербургской больничной палате.

Я постараюсь придерживаться хронологии событий, но вынуждена заглянуть в моё советское литературное прошлое – иначе невозможен мой рассказ. Итак, в 1989 году, на рубеже двух эпох, в «Лениздате» была издана книга, не замеченная читателями, несмотря на обилие в ней очерков о поэтах и писателях Серебряного века, связанных с Петербургом и названная строкой из стихотворения Ольги Берггольц: «Одним дыханьем с

Ленинградом...»<sup>1</sup>. Сборник в сером переплёте был излишне строг и сух, но точен в изложении осторожных фактов. Среди прочих в нём помещён был мой очерк об Алексее Толстом в Петербурге-Петрограде-Ленинграде. В Берлине я заново заинтересовалась судьбой писателя, жившем в немецкой столице с 1921 по 1923 годы, написала о нём берлинский очерк и поместила в нашем культурно-политическом журнале «Зеркало Загадок».

В середине 90-х я оказалась в больничной палате рядом – кровать в кровать – с Натальей Никитичной Толстой, внучкой Алексея Николаевича, и она представилась мне, глядя насмешливо в пространство, справедливо рассчитывая на эффект:

- Я – Толстая.

- Из чьих Толстых будете? – спросила я с кажущейся невозмутимостью, которой отнюдь не ощущала.

- Алексея Николаевича внучка.

- О, могу Вас проконсультировать по некоторым предкам.

- Это как?

- Я посвятила Вашему деду объёмный очерк с названием «Художник весенней жизнерадостности»<sup>2</sup>.

И Наташа, верившая в судьбоносную предопределённость встреч, оживилась и попросила рассказать о малоизвестном ей Фан-дер Флите. Я сообщила, не запинаясь, что дальний родственник Алексея Николаевича был ещё и родственником Чернышевского и тоже заражён был передовыми политическими идеями. Я продолжала демонстрировать свои знания:

- Фан-дер Флит жил на 6-й линии Васильевского острова, в доме 33. Познакомил молодого Толстого с поэзией Бальмонта, Иванова, Брюсова. – И рассчитывая тоже на эффект, уже дальше цитировала Толстого наизусть:

- В мезонине, в жарко натопленной комнате, почти касаясь головой потолка, он читал стихи. По штукатурным стенам металась его усатая бородатая тень, он чёрт знает, что говорил. На верстаке рядом с лампой, стояла построенная им модель четвёртого измерения. Закутываясь дымом, он впихивал меня в это четвёртое измерение.

- Так вот где истоки страсти к фантастике, – проговорила Наташа, глядя на меня почти с нежностью, а в глазах светилась свойственная ей всегда замечательная смешинка. С этой смешинкой я натерпелась, поскольку иной раз от её шуток стонала

---

<sup>1</sup> «Одним дыханьем с Ленинградом...». Ленинград в жизни и творчестве советских писателей / Сост. Г.Г. Бунатян. Л.: Лениздат, 1989.

<sup>2</sup> Мина Полянская „Художник весенней жизнерадостности» (А.Н. Толстой) / «...Одним дыханьем с Ленинградом...», Лениздат, 1989.

от хохота. Наталья Никитична обладала редчайшим чувством юмора, остроумием, острословием как в устной, так и в письменной речи. Некоторые её изречения доводили меня, и я думаю, не только меня, от смеха до изнеможения.

- Наташа, – умоляла я, – нам нельзя так много смеяться, будут преждевременные морщины.

Так мы подружились, она, красивая, высокая, статная женщина и я, худенькая, маленькая, чуть выше её плеча.

Мы, разумеется, много говорили о двух её дедушках — Алексее Толстом и Михаиле Лозинском.

И конечно же о бабушке Наталье Васильевне Крандиевской, в десятых годах занимавшейся живописью и скульптурой в знаменитой студии Е.Н. Званцевой, в том самом угловом доме с башней на Таврической улице, где находился литературно-художественный салон Вячеслава Иванова – знаменитая «башня Иванова». Наталья Васильевна принесла семье в жертву своё литературное дарование, и первый сборник её стихов «Вечерний свет» был опубликован в 1972 году, её двадцатилетний брак с Толстым распался в 1935 году, умерла в 1963 году. У Крандиевской с Толстым было двое сыновей: Никита (отец Наташи) родился в 1917 году, Дмитрий в 1923 году. Крандиевская посвятила внучке стихи:

### **Внучке Наташе Толстой**

Вот карточка. На ней мне – десять лет.  
Глаза сердитые, висок подпёрт рукою.  
Когда-то находили, что портрет  
Похож, что я была действительно такою.

Жар-птицей детство отлетело вдаль,  
И было ль детство? Или только сказка  
Прочитана о детстве? И жива ль  
На свете девочка, вот эта сероглазка?

Но есть свидетельство. И не солжёт оно.  
Ему, живому, сердце доверяет:  
Мне трогательно видеть и смешно,  
Как внучка в точности мой облик повторяет.

Наталья Никитична Толстая родилась в эвакуации 1943 году в Елабуге – там её дедушка по материнской линии Михаил Лозинский в маленькой комнате – одной на всю семью –

переводил «Божественную комедию». Незадолго до рождения Наташи в Елабуге Марина Цветаева покончила с собой (а по некоторым новым версиям – убита), и Наташе казалось, что между нею и Цветаевой существует некая внутренняя связь. И даже самый наш последний разговор незадолго до смерти Натальи Никитичны был именно о ней, о Марине Ивановне, в частности о нравственном праве некоторых «исследователей» создавать тексты уровня кухонных мещанских сплетен и о том безобразии, которое сейчас творится вокруг поэта по праву свободы слова и мнений. Елабужские рассказы Наташи, известные ей по рассказам взрослых, делали и меня причастной к цветаевской трагедии, возникала тоже связь, тем более что я тогда уже написала книгу о берлинской Цветаевой «Брак мой тайный...»<sup>3</sup>. Мы тогда пришли с Наташей к выводу, что не мы выбираем писателя, о котором пишем, а он нас выбирает и наблюдает за нами из вечности. И тот факт, что Наташа сидит у меня на диване в берлинской квартире и рассказывает мне о Елабуге – это судьба, это так должно быть. Михаил Лозинский с семьёй, как и Цветаева, был направлен на жительство в гибельную Елабугу, а не в Чистополь, где на привилегированных пайках поселились престижные писатели и за который в надежде выжить с сыном Муром (Георгием) как за последнюю соломинку пыталась ухватиться Цветаева, верившая по старинке в круговую поруку ремесла и в то, что писатели должны, обязаны помочь ей с сыном выжить. И кто из представителей литературной номенклатуры, поселивший Лозинского, тогда ещё одиозную фигуру, в такую глухомань, мог предположить, что после войны он, первый советский поэт-переводчик, за перевод «Комедии» Данте в маленькой елабужской комнатухе удостоится Сталинской премии?

Своего деда по отцовской линии Алексея Толстого Наташа видела однажды, в трехлетнем возрасте, в 1945 году, незадолго до его смерти, когда её, наконец, показали ему, уже тогда больному, и автор «Золотого ключика» сделал внучке «козу»: «Идет коза рогатая за малыши ребятами! Ух, забодаю!» Наташа запомнила это.

Толстой был чуть ли не единственным из возвращенцев – известных писателей, который пришёлся ко двору новому режиму, правда, произошло это далеко не сразу, но всё же – произошло. Этот писатель вёл двойное существование с соответствующими возможностями и последствиями, которым чревато двойное

---

<sup>3</sup> Мина Полянская. «Брак мой тайный...» Марина Цветаева в Берлине. Москва, 2001.

существование, когда *сердце бьётся на пороге как бы двойного бытия*. Граф стал депутатом Верховного совета!



А. Н. ТОЛСТОЙ

В Детском селе, где он поселился с семьёй в конце 1920-х над дверью особняка на Пролетарской улице, дом 6 красовалась табличка: «Гр. Толстой», двойной смысл которой был очевиден. Сокращенное «гр.» читалось как гражданин и одновременно намекало на его графство. Эту двойственность подтверждала и старая экономка эстонка Ю.И. Уйбо, сопровождавшая семью в эмиграции. На вопрос, дома ли Толстой, она по телефону, в разгар сталинского террора, бесхитростно отвечала: «Их сиятельство в райком ушли». Наталье довелось видеть разорённый войной заколоченный дом, в котором в тридцатых годах жили Толстые на Пролетарской улице:

*«Все дворцы лежали в руинах, а гулять по паркам было трудно из-за бурелома и нечистот. В Пушкине (папа всегда говорил «в Детском») мы подошли к облупленному двухэтажному дому с заколоченными дверьми и обрушенным крыльцом. Здесь папина семья жила до войны, когда парки, вековые парки шумели довоенной листвой. Забудь, если сможешь, про советскую власть, углубись в парк, и ты уже в восемнадцатом веке».*

Толстой, расставшись с Натальей Крандиевской, переехал из города Пушкина (бывшего Царского Села) в Москву в 1938 году и расположился в роскошном особняке, в кругу вновь созданной семьи. «Третий Толстой» (так Бунин назвал свой очерк

о Толстом) стал, можно сказать, вторым Горьким: после смерти Горького в 1936 году именно Толстой возглавил Союз писателей СССР.

Был ли счастлив писатель с устойчивой нелестной репутацией у российской интеллигенции (лауреат 3-х Сталинских премий первой степени), хотя не раз хлопотал об опальных и даже арестованных знакомых (а, как выяснилось из дневников сына Цветаевой Георгия, активно заботился о нём)? Скорее всего, нет, тем более что последняя его жена Людмила Ильинична Баршева, урожденная Крестинская (1906-1982), была «приставлена» к нему, и положение его было немногим лучше, чем у Горького, оплетённого сетью шпионов среди приближённых в собственном доме.

Наталья назвала мне однажды цифру – количество доносов, которое поступило на Алексея Николаевича – в точности её назвать не могу, но она была космическая! Он умер 23 февраля 1945 года от саркомы легких в возрасте 62 лет, не дожив 2 месяца до победы; был объявлен государственный траур, так что, если учитывать досье, уже заведенное на него для скорого ареста, финал его жизни выглядит настоящим сюжетом жуткого двойного бытия.

Толстой завещал ВСЁ наследство последней жене, но «справедливый» Сталин изменил завещание, поскольку и это, изменить – *не своё* завещание – ему было дано. Итак, расчувствовавшийся Сталин повелел в завещании Толстого записать, что часть гонораров от публикаций полагается уже появившимся ныне на свет внукам, тогда как нынешним детям и будущим возможным внукам – ничего не полагается – сложная такая получилась комбинация изошрённого ума. Таким образом, Наталья, прижизненная внучка, какое-то время была частичной (прямая внучка – побочная наследница) литературной наследницей Алексея Николаевича, и поначалу, как она мне говорила, ей «что-то перепало» – до истечения наследственного срока.

Наталья приезжала ко мне в Берлин в июне 2007 года, и мы конечно посетили цветаевские места, побывали у дома, отмеченного мемориальной доской – Марине Цветаевой.

Пансион Элизабет Шмидт, который в 20-х годах облюбовали русские эмигранты, называвшийся в воспоминаниях современников ещё и «Русским домом в Вильмерсдорфе», сохранился с прежним адресом и нумерацией: Траутенауштрассе 9. Марина Цветаева жила там в двух крошечных комнатах с дочерью Ариадной (и с приехавшим из Праги на две недели Сергеем

Эфроном) летом 1922 года. До неё, в том же 22-м году, в той же квартире, жил с женой Илья Эренбург, который затем и предложил её Цветаевой, переехав на Прагерплац, а в 1924 году в Траутенау-хаузе (дом ещё и так называли), незадолго до женитьбы на Вере Слоним (она и нашла будущему мужу жильё недалеко от своего дома), поселился двадцатипятилетний Владимир Набоков.



Но главной целью было – Бельцигерштрассе, где в 1923 году жил с семьёй Толстой, то есть и с отцом Наташи, тогда ещё шестилетним мальчиком. Роман «Детство Никиты», написанный в 1920 году, Толстой посвятил сыну: «Моему сыну – Никите Алексеевичу Толстому с глубоким уважением посвящаю».

По дороге к Бельцигерштрассе 46 произошла даже история мистическая. Мы нарушили правила движения, и нас остановила полиция. Я с несвойственной мне патетичностью вдруг заявила полицейским, что у меня в машине сидит внучка Толстого (разумеется, не подчеркивая, какого именно), чувствуя интуитивно, что такое имя может быть на слуху у немца, который Толстого – любого из троих – Льва Николаевича, Алексея Константиновича, Алексея Николаевича – не читал. Трое полицейских, двое мужчин и одна милая женщина, заглянули в машину, внимательно посмотрели на Наташу, засмеялись (почему засмеялись?) и не только не наказали нас, но ещё помогли доехать – по олитературенному маршруту! – до Бельцигерштрассе. Но такого не бывает! Немецкий полицейский должен был нас оштрафовать. Однако же этого – не произошло, а когда мы

остановились у дома 46, Наталья сказала, что дедушка знает о её присутствии здесь и доволен ею. И, стало быть, это он, находясь там, на своём олимпе, в своей вечности очаровал полицейских, нарушивших инструкции?

Что чувствовала Наташа, когда увидела берлинский дом, где жила некогда дружная семья? А семья состояла тогда из шести человек: кроме самого Толстого и его жены Крандиевской их дети Никита и Дмитрий, сын Крандиевской от первого брака Федор и экономка Ю.И. Уйбо. И вот что у меня выткалось: хождение по мукам укрепило семью, а житие при советах трагически разрушило, раскололо прекрасный семейный союз.

Четырёхэтажный дом серого цвета с глухими заштукатуренными балконами, напоминавшими Набокову столы с выдвинутыми ящиками, которые забыли задвинуть, сохранился до наших дней. Сохранился и облик той части улицы, где находится этот дом – тихий и уютный уголок Берлина с небольшими кафе и неторопливыми пешеходами.



Бельцигерштрассе 46. В этом доме А.Н. Толстой прожил со своей семьёй с 1922 по 1923 годы и написал свой первый научно-фантастический роман „Аэлита“. Фото Б. Антипова, 2014

Дом на Бельцигерштрассе можно было бы назвать «стартовой площадкой» «Аэлиты» Толстого, так как именно здесь

он написал свой первый научно-фантастический роман. «Настоящая» романная стартовая площадка находилась, впрочем, в Петербурге. Там разворачивается действие романа «Аэлита», там же в 1923 году он впервые будет опубликован. Покинув Петербург двенадцать лет назад (Толстой перед революцией жил в Москве), автор сохранил в памяти приметы любимого города, и был осведомлен о бесчисленных переименованиях улиц, также ставших символом новой власти.



Наталья Никитична Толстая

Наталья Толстая окончила Ленинградский университет и до конца жизни преподавала на кафедре скандинавской филологии, она – автор учебника шведского языка, а также автор лирических рассказов, написанных с изысканным юмором, чаще всего они публиковались в журнале «Звезда». Кроме того, опубликованы книги с её рассказами «Одна» и совместно с Татьяной Толстой сборник рассказов с названием «Сёстры» – дань памяти деду, первой части его трилогии «Сёстры», роману, написанному в эмиграции – под Парижем.

Местом действия некоторых рассказов Натальи Никитичны стал Ленинградский университет, петербургское здание Двенадцати коллегий, коридоры несбывшихся надежд. Один рассказ называется «Филологический переулочек», а в одном из номеров нашего журнала «Зеркало Загадок» мы опубликовали её рассказы под общим названием «Университетские рассказы». Большинство новелл Натальи Толстой в определенном смысле — автобиографические. Персонажи и события – всего лишь рамка, драпировка воспоминаний. То есть персонифицированный,

скажем так, повествователь является одним из персонажей произведения. И он, этот повествователь – ошутим. Как сказал бы заумный критик, демонстрируется *оголенная* позиция автора. Новеллы Натальи Толстой – часто воспоминания о родительском доме, надёжной крепости – защиты детства, а также о школе и студенческой юности. Писательница отмечает второстепенные ненужные ей детали, но тем не менее, новеллы выписаны с набиковской тщательностью и пронзительной памятью, в них нет *краткостисестрыталанта*, которая у иных уничтожает ткань произведения или же превращает его в неуловимое привидение. При всём при том, благодаря жесткой строгости отбора деталей резче выделяется основная мысль. Вот эту лифтершу – бабу Надю в валенках и ситцевом летнем платье с короткими рукавами в любое время года я никогда не забуду. Предлагаю отрывок из рассказа «За каменной стеной», который до публикации Наташа мне прислала, что для меня особенно важно, как пушкинское возвышенное: «сбирайтесь иногда читать мой список верный» (и я ещё вспомню этот рассказ), в котором тщательно расписан «лифтерский» быт, убогая, примитивная жизнь трудового народа, вернее, народонаселения, а за всем этим – юмор автора с едва уловимой улыбкой чеширского кота:

*«В нашей парадной круглосуточно сидели лифтерши. Их работа состояла в том, чтобы сообщать в контору, когда лифт ломается. Если дверь лифта просто заклинивало, то лифтерша открывала ее особым крючком и выпускала застрявшего гражданина. Лифтерша баба Надя весь рабочий день вязала крючком круглые нитяные подставки под неизвестно что. Она дарила нам эти никому не нужные вязаные кружки, когда приходила занимать деньги. Зимой и летом на ней было ситцевое платье с короткими рукавами и валенки. На обед лифтерши ели копченого морского окуня. Он лежал во всю длину на газете, веревочки впивались ему в коричневые бока. Лифтерши пальцами выковыривали из-под веревочек розовые куски, а копченый дух пролетарской рыбы поднимался до пятого этажа. У бабы Нади были сын и дочь. Сын служил срочную службу, и Надя с гордостью показывала фотокарточку: неказистый солдат на фоне развернутого знамени части. Сын отслужил, отдохнул и начал беспробудно пить. Каждую неделю заплаканная Надя приходила просить у мамы денег».*

Я бы назвала некоторые рассказы Натальи Толстой, в том числе и поздние, «ленинградскими», в них присутствует городской колорит шестидесятых – восьмидесятых, предлагаются ленинградские городские координаты, те, что бытовали до

мутного начала новых времен, а это и есть временное пространство сознания.

(Впрочем, действия многих рассказов происходит и тогда, когда, по словам Толстой, «советская власть, почти родная, ушла не попрощавшись. Ни инструкции не оставила, ни тезисов». Для будущих критиков Натальи Никитичны – это очень интересная тема могла бы доставить ещё и удовольствие, поскольку юмора в них не меньше, чем у Зощенко).

Детство Наташи прошло в Ленинграде на Набережной реки Карповки, пересекающий Кировский проспект, бывший Каменоостровский, соединяющий центр города с островами. Он же – бывшая Улица Красных Зорь. (Забегая вперёд сообщаю: в 1991 году, в другую эпоху, проспект вернётся к первоначальному названию, на круги своя – он снова обернётся Каменоостровским).

Я возвращаюсь в Берлин, поскольку мой текст складывается в основном между Петербургом и Берлином, сохранившим, несмотря на катаклизмы своё название. В доме на Бельцигерштрассе Толстой писал об Улице Красных Зорь: «Окна многоэтажных домов, иные разбитые, иные заколоченные досками, казались нежилыми – ни одна голова не выглядывала на улицу». На одном из этих домов висело объявление странного содержания: оно приглашало желающих совершить космическое путешествие, указывался адрес, где стоит космический корабль: «Инженер Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс, явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Ждановская набережная, дом 11, во дворе». Дом № 11 – четырехэтажный с лепными украшениями над окнами стоял в глубине пустыря, простиравшегося до реки Ждановки. Именно во дворе этого дома и состоялся торжественный старт космического корабля: «На пустыре перед мастерской Лося стал собираться народ. Шли с набережной, бежали со стороны Петровского острова...».

Что же касается Каменоостровского проспекта, то он в начале XX века был застроен доходными домами нового типа, с оригинальными фасадами как правило, облицованными керамикой и гранитом, и воспринимались они как чудо комфорта – со станциями, гаражами, лифтами и хранителем у главного подъезда. В одном из таких домов, в конце Каменоостровского, на пятом этаже, в квартире окнами на Каменный остров Алексей Толстой поселил героев романа «Сёстры» Дашу и Телегина, написанном, повторяю в эмиграции, романе о судьбах и исканиях русской интеллигенции предреволюционных лет (примеров тесной связи трилогии «Хождение по мукам» с Петербургом можно привести множество).

Набережная Карповки, Ждановская набережная, Каменоостровский проспект – всё это хронотопы Петроградской стороны, по Бахтину, закономерная связь пространственно-временных координат, а в нашем случае это и в самом деле коммуникативная ситуация, повторяющаяся во времени и определённом месте.

Наталья Никитична вспоминала свой дом детства на Карповке у проспекта, претерпевшего множество названий, вызывающих путаницу в самых трезвых умах:

*«Мы жили в сталинском доме с видом на мелководную, с романтическими изгибами речку. Её дно было покрыто огромными водорослями, в этих водорослях водились водяные крысы, ужас детства. В Ленинграде таких домов, как наш, построенных в тридцатых годах, мало. Строили его долго и денег не жалели. Вазы, скамьи, тумбы, лоджии-солярии. На каменных барельефах – девушка рвет грудью финишную ленточку, один мальчик держит модель планера, другой – сидит в кустах с собакой, выслеживает диверсанта. До сих пор меня охватывает волнение, если вижу здание, похожее на наш дом. Квартиры предназначались для работников горкома ВКПб и горисполкома, а в одном крыле было общежитие для обслуживающего персонала. Когда пошли аресты по "ленинградскому делу", исчезло много квартиросъемщиков, а новыми жильцами стали народные артисты и люди из Органов. Дали квартиру и нам, многодетной семье лауреата сталинской премии» (За каменной стеной).*

Небольшое отступление, вызванное мыслями о метаморфозах с названиями городов и улиц, жертв смены власти, режимов и «культурных самодуров» – отражения нашего времени и жизни.

У меня вдруг выстроилась парадоксальная до смешного цепочка: Петербург-Петроград-Ленинград-Петербург, а также: Каменоостровский проспект-Улица Красных Зорь-Кировский проспект-Каменоостровский проспект. Круг замкнулся. Вопрос – риторический: эти ритмичные возвращения к первоначальному названию после стольких лет мытарств, блужданий, переименований – признание несостоятельности того, что произошло за все эти десятилетия или же это – легкость в мыслях необыкновенная, как сказал бы Гоголь? Кстати, улица, на которой создавались «Петербургские повести» и «Ревизор» и названная ещё в 1903 году улицей Гоголя, в приступе рвения возвращения к исконным корневым названиям с легкостью мысли необыкновенной в некоторых городских головах

(градона начальников) тоже переименована. Гоголь убран – и всё тут. Но это я так, к слову.

Предлагаю ещё один отрывок из рассказа Натальи Толстой «Всё ясно» с «ностальгическими» рассуждениями о советских временах, за которым отчётливо просматривается грозный быт семидесятых:

*«Что значит “хороший чай” в 1980 году? Конечно, индийский, со слонем. Февраль. Чай продают во втором дворе огромного дома на Кировском проспекте. Стоять во дворе ещё хуже, чем на улице: холод пробирает до костей. За мной стоит мама с маленькой девочкой. Девочка капризничает и тянет маму домой. Старуха поворачивается к девочке: “Привыкай! Всю жизнь по очередям стоять будешь”. Другая старуха, добрая, дёрнула девочку за рукав: “Не плачь, скоро весна придёт”. “А что, – спросила я, – весной очередей не будет?” – “Почему не будет? Весной тепло, стоять веселей”.*

*А ещё ушедшая эпоха унесла с собой тот трепет, который охватывал советского человека при виде импортных вещей. Как о них мечтали... Я была в восьмом классе, сестра – в десятом, когда к нам стала приходиться тётка с сумкой, полной импорта: кофточки, майки, шарфики... Как её зовут, никто не знал. “Мама, когда спекулянтка придёт?” – “Девочки, имейте терпение. Спекулянтка придёт завтра вечером”.*

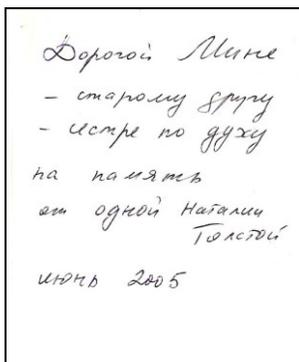
*Звонок. Сердце забило в груди. Идёт! Радость от югославской кофточки в полоску, купленной в 1958 году, была, пожалуй, острее, чем первое свидание или поступление в университет».*

Помните ли, как выходили мы на долгий срок из дому на охоту за хлебом насущным, за мылом и другими предметами первой необходимости до того как следы советской жизни исчезли с улиц?

### **Вместо Эпилога**

«О, как гаснут – по степи, по степи, удаляясь, годы!» – с горечью восклицал Квинт Гораций Флакк. Пора бы посмотреть и мне «старые снимочки», но увы, никак не могу найти плёнку совместных берлинских фотографий с Наташей, и всё кажется, что чего-то вовремя не сделала, недостаточно хороших слов сказала о рассказах ей лично, а она в этом нуждалась, и в больницу я позвонила с опозданием, незадолго до ее смерти, а она умерла 16 июня 2010 года – ещё один служитель свободного искусства ушёл из жизни.

Книга «Одна» подарена мне с надписью: «Дорогой Мине – старому другу – сестре по духу на память от одной Наталии Толстой. Июнь, 2005».



Полагаю, что мне не следует расслаблять себя такими фатальными понятиями как «логика истории» и ее «закономерности», или же другими утешениями, которые предлагают нам философы истории, но моя история тоже не терпит пустоты, и в Петербурге – мы сойдёмся снова.



**Яков Корман**

## **«Меня к себе зовут большие люди...»**

**Владимир Высоцкий и  
высокопоставленные чиновники<sup>1</sup>**



Как известно, Владимир Высоцкий нередко выступал с концертами перед сотрудниками ЦК КПСС. Бард Юрий Кукин вспоминал эпизод, относящийся к 1978 году: «Меня в тот момент дома не было, когда он позвонил прямо с вокзала. Сказал, что привез из-за границы мою пластинку и что у него ко мне дело. Потом я узнал, что приезжал Володя в Ленинград по приглашению самого Романова, первого секретаря Ленинградского обкома КПСС, пел на каком-то закрытом концерте. Он уже знал, что я живу в коммуналке, и, видимо, хотел взять меня с собой к Романову. Мне передали, как он говорил: “Я обязательно помогу получить Юрке отдельную квартиру”».

Позже я слышал интервью Шемякина радиостанции “Би-би-си”, и тот вспоминал слова Высоцкого: “Миша, ты знаешь, я скоро умру. И к сожалению, не успею помочь своему другу получить квартиру”<sup>2</sup>.

Бывший таксист г. Казани, возивший Высоцкого по городу во время его концертов в 1977 году, свидетельствует: «Для

---

<sup>1</sup> Глава из будущей книги. Впервые была опубликована в виде статьи в альманахе: В поисках Высоцкого / Гл. ред. В. Перевозчиков. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2013. № 10 (сент.). С. 77-86. Для нынешней публикации материал исправлен и дополнен.

<sup>2</sup> Бард Юрий Кукин: «Когда пишешь, попробуй влезть в шкуру другого», – сказал мне Высоцкий. «А можно в твою?» – поинтересовался я. Володя хмыкнул: «А не просторно тебе там будет?» / Беседовала Татьяна Орел // Бульвар Гордона. Киев. 2008. 20 мая. № 20 (160).

элиты города и партработников Высоцкий дал концерт в Боровом Матюшино»<sup>3</sup>. (В этом месте находились обкомовские дачи).

Но всё это, так сказать, «низовые» чиновники. А как относились к песням Высоцкого члены Политбюро ЦК КПСС?

По словам Георгия Юнгвальд-Хилькевича: «...такие, как Косыгин, втихаря собирали коллекцию его песен и слушали, слушали до одури!»<sup>4</sup>.

Об этом же говорит сотрудник Одесской киностудии Владимир Мальцев: «И Леонид Ильич, послушав Высоцкого, слезу пустит. И у Косыгина все были записи – он вообще был меломан. А официально они не могут его признать, потому что это идет вразрез с их идеологией»<sup>5</sup>.

То, что у Косыгина были записи Высоцкого, подтверждает и актер Игорь Пушкарев. Более того, по его словам, именно Косыгин спас Высоцкого во время гонений конца 1960-х – об этом Пушкареву рассказал Юрий Брежнев, сын «дорогого Леонида Ильича»: «Косыгин крепко запал на Высоцкого. И когда в 1968 году он мог погибнуть, когда на него особенно ополчилась пресса, когда в 1969 на него заводились дела<sup>6</sup>, то только благодаря Косыгину Высоцкий как актер, как личность остался. Я знаю, что он Косыгину пел лично и на даче по Рублевке у него был несколько раз.

Косыгин полюбил именно его песни. Может быть, в нем что-то заговорило? Он же, как Громыко, многое пережил. Высоцкий был у него и на Ленинских горах. Об этом мне говорили люди из того круга.

Ведь я, будучи первый раз женат, в течение пяти лет на “Чайке” поездил. И дача была там же. <...> С Юрой Брежневым,

---

<sup>3</sup> Асхат Фарукшин: «Я возил по Казани Высоцкого и едва не лишился из-за него прав» // Казанские ведомости. 2013. 24 янв.; <http://www.kazved.ru/article/43040.aspx>,

<sup>4</sup> Георгиева Н. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич: «Галина Брежнева так смотрела на Высоцкого, что я решил: у них роман», 25.07.2011 // <http://www.kp.ru/daily/25723.5/2715791>

<sup>5</sup> Белорусские страницы-12. Владимир Высоцкий в воспоминаниях современников / Сост. А. Линкевич. Минск: ООО «Ковчег», 2004. С. 92.

<sup>6</sup> Эти «дела» действительно заводились на Высоцкого, и в том числе в 1969 году – по крайней мере, об этом гласит дневниковая запись Валерия Золотухина от 06.10.1969, в которой он приводит следующее высказывание режиссера Геннадия Полоки в связи со съемками фильма «Один из нас», где Высоцкий должен был играть роль разведчика Бирюкова: «На него несколько дел с соответствующими материалами, которые в любой момент могут быть пущены в ход...» (Золотухин В. С. Секрет Высоцкого: Дневниковая повесть. М.: Алгоритм, 2000. С. 82).

там же, сколько раз выпивали. Магазинчик есть в Жуковке в тех краях, с другой его стороны были грибочки с навесом и столиками. Тут же шашлыки продавали. <...> Вот этот дядя Юра мне всё это и рассказал»<sup>7</sup>.

По словам Михаила Жванецкого: «Пленки с Володиными песнями слушали водители, и Брежневу дал их шофер. Мне кто об этом рассказал? Полянский, член Политбюро ЦК КПСС»<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> *Пушкарев И.В.* «Эффект Высоцкого» // Белорусские страницы-58. Владимир Высоцкий. Из архивов Б. Акимова, В. Тучина. Минск, 2009. С. 55 – 56. Существует версия, что именно Юрий Брежнев устроил первую встречу Высоцкого со своим отцом: «Я слышал эту версию от одного друга Высоцкого. Фамилию его я забыл, но речь шла о том, то сын Брежнева Ю.Л. Брежнев (тогдашний замминистра внешней торговли СССР) попросил отца послушать Высоцкого, о котором в СССР очень много говорили, и популярность его была не сравнима ни с кем. Якобы сам Брежнев согласился, и вот родилась эта песня [«Меня к себе зовут большие люди, / Чтоб я им пел “Охоту на волков”». – Я.К.]. После этой встречи Высоцкого и Брежнева, Владимиру уже особо препоны не устраивали» (*Крылов Ю.* А встречался ли Высоцкий с Брежневым? // <http://maxpark.com/user/1405637845/content/719747>). Однако Федор Бурлацкий утверждает, что именно после его реплики родилась песня «Прошла пора вступлений и прелюдий...»: «Кстати говоря, именно у Шахназарова [имеется в виду работник аппарата ЦК КПСС Георгий Шахназаров. – Я.К.] (это было несколько лет спустя) Высоцкий спел нам песню “Охота на волков”. <...> Помню, тогда я воскликнул: “Так это же про нас! Какие, и черту, волки?” Судя по всему, именно это восклицание **СТИМУЛИРОВАЛО** вторую **ПЕСНЮ** Володи...» (*Бурлацкий Ф.М.* Вожди и советники: о Хрущеве, Андропове и не только о них... М.: Политиздат, 1990. С. 255).

<sup>8</sup> Михаил Жванецкий: «Когда мне говорят: “Еврей”, я отвечаю: “Христос тоже евреем был, а кем стал!”» / Беседовал Дмитрий Гордон // Бульвар Гордона. Киев. 2006. 14 нояб. (№ 46). С. 11. О концерте Высоцкого на даче Дмитрия Полянского рассказал актер Театра на Таганке Иван Дыховичный, летом 1971-го женившийся на дочери Полянского: «Свадьба была у меня дома с друзьями. А потом для родителей – на объекте, как мы называли дачу. В этот список родственников я вставил Володю. Я думал, что это поможет ему с пластинкой. Володя взял с собой гитару и пел там. <...> Володина пластинка вышла через три месяца» (*Дыховичный И.* Я женился на дочери члена Политбюро // *Коммерсантъ-daily*. 1997. 30 авг.). Как вспоминает троюродный дядя Высоцкого Павел Леонидов: «Вова был чуть навеселе и рассказывал мне, что пробили вторую его мини-пластинку на “Мелодии”. Помог Дмитрий Степанович Полянский и “главный рыбак СССР” министр рыбы Ишков, его сумасшедший поклонник» (*Леонидов П.* Владимир Высоцкий и другие. Красноярск: Красноярск, 1992. С. 252). Дополнительную информацию приводит бывший главный редактор «Комсомольской правды» Борис

Валерий Нисанов также утверждает, что Высоцкий пел Брежневу: «И у Брежнева был. Его привезла Галя, дочь Брежнева. И у Кириленко пел, члена Политбюро, у Полянского пел. Так что его любили все»<sup>9</sup>. Анатолий Утевский говорит, что «дети нового

---

Панкин: «Член Политбюро Дмитрий Полянский, который руководство сельским хозяйством страны совмещал “на общественных началах” с борьбой за идейную чистоту литературы и искусства, усек крамолу в собственном доме. “Что-то у вас все песни с подтекстом”, – сказал он Володе Высоцкому на свадьбе дочери с “не тем”, актером Таганки Иваном Дыховичным. Высоцкий не задержался с ответом: “Дак вся наша жизнь с подтекстом”» (Панкин Б. Пылинки времени. Заметы неравнодушного // <http://www.gazeta-vesmir.info/newspaper/?p=1193>). Похожий случай описал советский дипломат Эрнест Обминский: «Мой друг Владислав Быков, работая в ЦК КПСС завсектором отдела по выездам за рубеж, как-то ПРИГЛАСИЛ к себе Владимира **ВЫСОЦКОГО** в связи с одной его поездкой. Слава был страстным поклонником его таланта, и **БЕСЕДА** сразу же приняла дружеский характер. Потом Слава мне рассказал, что он спрашивал Высоцкого о некоторых его наиболее острых песнях.

В ответ Владимир улыбнулся:

– Ну, знаете ли, сейчас “под Высоцкого” работают все, кому не лень... Так что я за всё не отвечаю...

При этом вид у Высоцкого был весьма лукавый – он словно подмигивал Быкову. Расстались они почти друзьями» (Обминский Э.Е. Пока говорят дипломаты. М.: Луч, 2010. С. 82).

<sup>9</sup> Передача «25 лет со дня смерти Владимира Высоцкого» на радио «Свобода», 25.07.2005. Ведущий – Владимир Кара-Мурза. Вместе с тем Высоцкий далеко не всегда соглашался петь перед членами Политбюро. Например, в воспоминаниях Николая Свитенко есть такой эпизод: «Один из моих друзей в Минморфлоте, зная о моих взаимоотношениях с ВВ, предложил мне сходить в гости к А.А. Громько [члену Политбюро ЦК КПСС. – Я.К.] и пригласить с собой ВВ (он – мой друг в Минморфлоте – приходился каким-то родственником, кажется племянником, жене А.А. Громько). Я сказал об этом ВВ. Реакция его на это предложение была крайне отрицательной. “Тебе это лично надо?” – спросил он. Я сказал, что нет. “Ну и пошли они... Не люблю я этого. Но если тебе это важно, то можно сходить”. Я сказал, что нужны в этом нет» (Белорусские страницы-41. Владимир Высоцкий. Из архива В. Тучина. Переписка. Минск, 2006. С. 49). Свидетелем другого, еще более яркого эпизода стал Вадим Туманов, о чем и рассказал в телепередаче Эльдара Рязанова (1988): «Звонок телефонный. И я слышу, что Володю приглашают в удобное для него время в субботу или в воскресенье спеть для очень высокопоставленных товарищей. Володя говорит: “Понимаете, я, к сожалению, не располагаю временем”. А в ответ такое аж придыхание почти: “И вы им отказываете?! Если вам сами позвонят, вы и им откажете?” Володя поморщился (а это звонил секретарь) и еще раз

генсека, Леонида Ильича **БРЕЖНЕВА**, “устроили Володе свидание с отцом”, чтобы Высоцкий лично генсеку спел “Охоту на волков”. И он спел. И генсек правильно понял»<sup>10</sup>. А по воспоминаниям кинооператора и сценариста Александр Чечулина, Высоцкий «к Леониду Ильичу на дачу ездил, там у них же был концерт, когда он пел эти все песни свои. Тогда уж ему говорили: “Вы знаете, есть песни хорошие, но вот эти песни не надо петь всем – что касается Советской власти и всех остальных”»<sup>11</sup>.

В общем, как справедливо сказал детский хирург Станислав Долецкий: «...я Володе заметил: “Бывает же ты поешь в присутствии членов правительства – всё. А это – бесспорная антисоветчина. Они ее глотают. А раз так, значит, признают справедливость твоей критики”»<sup>12</sup>.

Однако, «признавая справедливость критики» Высоцкого, официально они его не признавали и запрещали ему легальные концерты, поэтому выступать Высоцкому приходилось полулегально.

Последняя встреча Высоцкого с Брежневым состоялась, судя по всему, во второй половине 1970-х: «Высоцкий зарабатывал большие деньги на стадионах, начались уголовные дела всякие, – вспоминает театральный режиссер Геннадий Николаев, окончивший ГИТИС в 1979 году, а во время учебы в течение года проработавший стажером в Театре на Таганке. – У

---

повторил: “Я же вам сказал, я совершенно не **РАСПОЛАГАЮ ВРЕМЕНЕМ**”. И повесил трубку. Когда я ему сказал: “Может быть, не нужно **БЫЛО?**”, он только МАХНУЛ рукой». – «А кто звонил? Откуда-то сверху?» – «Выключите на секунду. (Это относилось к видеозаписи. Оператор сделал вид, что перестал снимать.) От Зимянина звонили» (Рязанов Э. Четыре вечера с Владимиром Высоцким. М.: Искусство, 1989. С. 81). Михаил Зимянин в 1970-е годы был секретарем ЦК КПСС, «под руководством М.А. Сулова курировал идеологические вопросы (наука, образование, культура, спорт, СМИ и др.)» (Википедия). Однако публично Зимянин, как и подобает ему по должности, выступал в роли гонителя Высоцкого. Тот же Туманов свидетельствует: «Приходит как-то Володя и говорит: “Зимянин на одном совещании сказал, чтобы про Высоцкого и Трифонова он вообще больше не слышал!”» (*Перевозчиков В. Неизвестный Высоцкий. М.: Вагриус, 2005. С. 197*).

<sup>10</sup> *Утевский А.Б. Возвращение на Большой Каретный. М.: Известия, 2004. С. 199.*

<sup>11</sup> *Белорусские страницы-45. Владимир Высоцкий. Из архива Б. Акимова / Сост. А. Линкевич. Минск, 2006. С. 98.*

<sup>12</sup> *Долецкий С. Он был супертворческой личностью / Беседу вели В.Громов и Л.Симакова // Высоцкий: время, наследие, судьба. Киев, 1994. № 15. С. 4.*

Высоцкого был разговор с Брежневым – и был шанс изменить всё. Брежнев хорошо его принял по просьбе дочки, но Высоцкий разоткровенничался, наболтал лишнего». – «Об этом разговоре Вы от кого слышали?» – «От самого Высоцкого. Он начал задавать Брежневу ненужные вопросы. Дескать, почему у нас в стране нет свободы? Не о себе даже спрашивал, а вообще. Ну и упустил свой шанс»<sup>13</sup>.

Могла состояться еще одна встреча Высоцкого с Брежневым – в 1980 году, когда советские войска уже всю воевали в Афганистане: «Афганистан был последней болью Володи. В Париже незадолго до смерти он увидел по телевизору кадры, обошедшие всю Европу, – вертолёт с красной звездой преследовал афганскую девочку и жег ее напалмом. До сих пор никто не знает – был ли это монтаж или правда. Высоцкий, увидев это, начал биться головой об стенку. Была уже ночь, а он кричал: “Марина, поедem в советское посольство. Наверное, Брежнев просто не знает, что творится в Афганистане”. Марина его еле удержала»<sup>14</sup>.

Однако известно, что Брежнев хотел даже «приручить» Высоцкого, издав сборник его стихов! Об этом рассказал сотрудник личного аппарата Брежнева Александр Байгушев: «Михаил Андреевич [Суслов] попросил меня подружиться с Товстоноговым, Кешей Смоктуновским и Любимовым, узнать их настроения и передавать ему. С ними у меня ни с кем не получилось – они очень настороженно к новым знакомствам относились, поэтому Любимовым, например, очень скоро стал заниматься лично Андропов, а мне поручили Высоцкого. Высоцкий меня тоже не принял в друзья, хотя я его ссужал и деньгами, и с наркотиками помогал, и даже книжку его пытался пробить. Про книжку – это мне Брежнев говорил: давай издадим Высоцкого, примем в Союз писателей, дадим дачу – будет советский поэт. Я к Маркову [председателю Правления Союза писателей СССР. – Я.К.]: так и так, Георгий Мокеевич, нужно издать. Он отвечает: я знаю, чья это идея, но я на такой шаг не готов. Мы его примем в Союз, а он что-нибудь устроит, я не хочу за него отвечать. В итоге пришли к компромиссу – если кто-то из “левых” – Евтушенко, Рождественский или Белла, – возьмет его на

---

<sup>13</sup> *Цыбульский М.* О Владимире Высоцком вспоминает Геннадий Валентинович Николаев // <http://v-vysotsky.com/vospominaniya/Nikolaev/text.html>

<sup>14</sup> Юлия Абдулова: «Родителей познакомил Высоцкий» / Беседовала Мария Март // *АиФ. Суперзвезды.* 2006. 11 дек. № 23 (101).

поруки, тогда печатаем. Но все отказались, сказали, что он не поэт»<sup>15</sup>.

Эта ситуация один к одному напоминает фильм Марка Розовского «Страсти по Владимиру» (1990), где Шурик-стукач убеждает своего начальника, что из Высоцкого надо сделать такого же поэта, «как все»:

– Вы думаете, почему у него такой успех? Потому что вы запрещаете. А вы разрешите: возьмите да разрешите. Я дело говорю. <...> А я бы и книжку его издал, чтоб предисловие там Женя написал или Роберт. Роберт даже лучше Жени. А Пахмутова лучше Роберта.

– А Кобзон напоеет – во класс будет, а?

– И напоеет. А куда он денется? Все издаются, и его издают. Надо так сделать, чтоб он был как все. Понимаете? Как все. Это же очень просто. Только почему-то этого никто не понимает.

А о любви Брежнева к песням Высоцкого свидетельствуют также Геннадий Полока и Марина Влади: «Я вспоминаю один вечер, где он пел. Это был 70-й. Самая лучшая система записи тогда была у художника-оформителя Бориса Диодорова. У него была система “Тамберг”. Решили устроить концерт. На нем присутствовали Олег Ефремов с Анастасией Вертинской, Люся Гурченко, там же была Галя Брежнева. Галя тогда сказала: “Мой отец очень любит его песни...”»<sup>16</sup>; «Дочь Брежнева нам рассказывала, что ее отец очень любил Володины песни»<sup>17</sup>.

Известно также, что именно благодаря Брежневу Высоцкому удалось в 1973 году получить разрешение на выезд за границу: «Однажды ему позвонили и сказали, что отказывают в визе, – вспоминает Влади. – В те времена это означало запрет на

---

<sup>15</sup> *Кашин О.* Агент Кремля: **ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЛ, ЧТО ОН РАЗВЕДЧИК** // <http://www.rulife.ru/mode/article/964>. Впрочем, Белла Ахмадулина в середине 1970-х пыталась уговорить хорошо относившегося к ней секретаря Союза писателей Михаила Луконина принять Высоцкого в Союз, на что получила ответ: «Через мой труп» («Монолог свободного художника. Борис Мессерер. Фильм 3-й. Владимир Высоцкий» (т/к «Россия-Культура», 13.03.2013).

<sup>16</sup> *Журавлева Л.* Высоцкий не был оппозиционером, его песни любил Брежнев / Беседа с Геннадием Полокой // Зеркало недели. Киев. 2011. 16 – 23 дек. (№ 46);

[http://zn.ua/CULTURE/vysotskiy\\_ne\\_byl\\_oppozitsionerom\\_rezhisser\\_gennadiy\\_poloka\\_o\\_skandalnoy\\_premiere\\_druzhe\\_s\\_bardom\\_93950.html](http://zn.ua/CULTURE/vysotskiy_ne_byl_oppozitsionerom_rezhisser_gennadiy_poloka_o_skandalnoy_premiere_druzhe_s_bardom_93950.html)

<sup>17</sup> Влади М.: «Не могу сказать, что принесла себя в жертву» / Беседавал Юрий Коваленко // Культура. 2013. 25 – 31 янв. (№ 3). С. 4.

выезд навсегда. Я была в Москве и позвонила Ролану Леруа [руководителю Общества дружбы «Франция – СССР»], который был близок к Жоржу Марше [генеральному секретарю Французской компартии] и попросила что-то сделать. Леруа связался с Марше, тот позвонил Брежневу. И через день привезли новенький паспорт с визой»<sup>18</sup>.

Есть информация и о том, что в июне 1968 года было написано коллективное письмо на имя Брежнева с просьбой спасти Театр на Таганке. Впервые об этом рассказал Александр Бовин (с 1968 года – руководитель группы консультантов председателя КГБ Ю.В. Андропова): «И мы – Ю.П.Любимов, Л.П.ДЕЛЮСИН и автор этих строк – сели сочинять **ПИСЬМО Л.И.БРЕЖНЕВУ**. Если мне не изменяет память, то **ПИСЬМО** передал адресату Е.М.Самотейкин, ныне посол СССР в Австралии, а тогда – референт Генерального секретаря ЦК КПСС. Брежнев не принял Любимова. Но великодушно даровал театру жизнь»<sup>19</sup>.

И уже через несколько дней, 29 июня, Валерий Золотухин записывает в своем дневнике: «Телеграмма главам правительства – Брежневу, Косыгину, Подгорному – возымела действие. Параллельно Петрович написал письмо Брежневу, в котором изложил позицию театра и несогласие с тенденциозной критикой линии театра. Брежнев отнесся к письму благосклонно, выразил вроде того, что согласен с ним, просил передать коллективу, чтобы все работали спокойно, нормально, извиняется, что не может принять Петровича сейчас – занят сессией, – а дней через пять он его обязательно примет.

Тут же состоялось заседание райкома, на котором принято решение вычеркнуть пункт о снятии Любимова из решения прошлого райкома. Потеха. О чем нам было доложено на общем собрании»<sup>20</sup>.

Позднее, в 1977 году, звонок Высоцкого вновь помог сохранить театр. Вспоминает подруга Галины Брежневой – Натальи Федотова: «Театр на Таганке находился недалеко от моего дома. Когда мне не с кем было оставить ребенка, я просила Володю посидеть с сыном. Он никогда не отказывался. Зато в тот день, когда власти решили закрыть Театр на Таганке, Высоцкий обратился ко мне с просьбой разрешить проблему. Вечером я приехала к Брежневым и за ужином поведала эту историю Леониду Ильичу. Он молча встал из-за стола и позвонил Суслову.

---

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Театру на Таганке – 25 лет // Театр. 1989. № 4. С. 114.

<sup>20</sup> Золотухин В. Таганский дневник. В 2-х кн. М.: ОЛМА-ПРЕСС: Авантитул, 2002. Кн. 1. С. 155.

“Михаил Андреевич, что там происходит с Таганкой?” – строго поинтересовался он. В итоге за пять минут вопрос был решен в пользу театра»<sup>21</sup>.

Поскольку Наталья Федотова упоминает здесь своего ребенка, с которым она оставляла Высоцкого и который родился у нее и актера Олега Видова в 1972 году<sup>22</sup>, то можно заключить, что дело происходило именно в 1977 году.

Однако вопрос в пользу Таганки отнюдь не был решен за пять минут, как утверждает Н.Федотова. В тот год в театре возник серьезный конфликт, в результате которого ушел в отставку директор Николай Дупак. По его словам, именно Брежневу удалось этот конфликт погасить: «Любимова не утвердили директором – назначили Илью Когана из ТЮЗа. Гастроли в Париже прошли отвратительно. Да еще Юрий Петрович в интервью назвал министра культуры Демичева “химиком” и говорил, что нет свободы в СССР. Коган не смог это все смягчить, как ранее делал я. И, когда вернулись из Парижа, встал вопрос о закрытии театра. Тогда Любимов в письме стал упрашивать Брежнева: “Окажите мне высокое доверие...” И еще просил, чтоб меня вернули в театр. Брежнев спустил Гришину [Виктор Гришин

---

<sup>21</sup> Федотова Н.: «К Брежневу на улице приставали пьяницы» / Беседовала Ирина Боброва // Московский комсомолец. 2004. 23 сент. Ср. с другим рассказом Натальи Федотовой: «Однажды Владимир позвонил и сказал, что Театр на Таганке закрывают. Мы с Галей были большими театралками, и этот театр был среди наших любимых. Вечером я ужинала у Брежневых и при Леониде Ильиче все рассказала Гале. Она, конечно, ахнула, а Брежнев тут же начал звонить Суслону: “Михаил Андреевич, что там у тебя за безобразия с театром?” Театр на Таганке оставили в покое» (От блеска Федотовой меркли даже кремлевские звезды // Комсомольская правда. 1999. 12 марта; <http://textb.ru/79/6>). Впрочем, по словам Анатолия Утевского, с Брежневым говорила по этому поводу его дочь Галина: «Со слов Галины Брежневой, был звонок Высоцкого, и он сказал, что Театр на Таганке закрывают. Вечером за ужином Галина рассказала об этом Леониду Ильичу. Брежнев встал из-за стола и пошел звонить Суслону: “Михаил Андреевич, что у Вас там за безобразия с Театром на Таганке творится?” Театр не закрыли, и он продолжал работать» (Утевский А. ...И снова на Большом Каретном. М., 2008. С. 206)

<sup>22</sup> Из интервью Н. Федотовой «Экспресс-газете» в июле 1998 г.: «А в 1972 году дочь Генерального секретаря ЦК КПСС стала крестной матерью моего единственного сына Вячеслава! Причем настояла на крещении сама Галина» (цит. по: Олег Видов: «Пьяный Брежнев пугал меня японской игрушкой» / Беседовала Надежда Репина // Экспресс-газета. 2002. 11 Марта. № 9 (371); <http://www.eg.ru/daily/cadr/2225>).

– первый секретарь МГК КПСС. – Я.К.] директиву: “Окажите доверие художнику, то есть Любимову, и верните Дупака”.

Театр сохранили, но буквально на второй день прекратилась стройка нового здания. Я же затевал ее на свой страх и риск – она была внеплановая»<sup>23</sup>. Ср. с другим рассказом Н. Дупака: «...Любимов написал письмо Брежневу. Просил оказать доверие художнику и вернуть Дупака. Объяснял, что его высказывания в интервью “Юманите” исказили. Брежнев на этом письме ставит резолюцию: “Окажите доверие художнику. Дупака вернуть”. Так я снова оказался на Таганке»<sup>24</sup>.

Об истории с закрытием театра в 1977 году рассказал и главный режиссер Юрий Любимов: «Был момент, мое дело рассматривалось на заседании Политбюро ЦК: “Таганку” закрыть, Любимова уволить без права впредь заниматься режиссурой. Решение поддерживали и Андропов, и Демичев, и Суслов. Ситуацию неожиданно переломил Брежнев, который сослался на отсутствовавшего по болезни Гришина: “Виктор Васильевич говорит, что театр хороший и полезный для народа. Мнению нашего товарища надо доверять. Давайте не расправляться с художником. Это мы всегда успеем”»<sup>25</sup>.

Сохранилось даже непосредственное высказывание Брежнева, где он признается в любви к песням Высоцкого: «...вышли мы на Брежнева. Леонид Ильич говорит: “Я сам Высоцкого люблю и слушаю. ‘Охота на волков’ – это же про нас. Но все вопросы идеологии решает Сулов”»<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Дупак Н.: «Любимов брат Высоцкого не хотел!» / Беседовал Владимир Сергеев // Экспресс-газета. М., 2009. 13 мая. № 19 (744).

<sup>24</sup> Дупак Н.: «За Высоцкого меня здорово били» / Беседовала Татьяна Булкина // Родная газета. М., 2010. 1 дек. № 21 (294). С. 6.

<sup>25</sup> *Ванденко А.* Узник Таганки // Итоги. 2011. 19 сент. № 38 (797).

<sup>26</sup> *Никуленко Т.* Друг Высоцкого Игорь Бровин: «В день рождения Высоцкого Сулов умирал в страшных муках, ползал на коленях и просил его пристрелить. Я знаю: пусть с того света, но Володя все же его достал» // Бульвар. Киев. 2003. Янв. № 4 (378). С. 10 – 11. Ср. с прямо противоположным свидетельством об отношении к Высоцкому Брежнева, приведенное его зятем Юрием Чурбановым: «Из молодых “звезд” эстрады **ЛЕОНИД ИЛЬИЧ** выделял Пугачеву, а вот когда внуки “крутили” кассеты с песнями **ВЫСОЦКОГО** и голос гремел по всей даче, **ЛЕОНИД ИЛЬИЧ** морщился, хотя его записи на даче были в большом количестве, они лежали даже в **СПАЛЬНЕ**. Мои **РЕБЯТА**-водители постоянно “гоняли” эти пленки – куда бы мы ни ехали» (*Чурбанов Ю.М.* Я расскажу всё, как было... М.: Независимая газета, 1992. С. 71). Эту информацию как будто подтверждает тележурналист Леонид Парфенов, который без ссылок на источники характеризует музыкальные вкусы

Но, как говорил Высоцкий в комментариях к песне «Почему аборигены съели Кука»: «Они, аборигены – и австралийские, и вообще островитяне – его любили, Кука. Так пишут современники. И съели все равно. Именно, может быть, поэтому. Потому что любили. Так бывает, что любят и все равно съедают. Так что мы с вами знаем это. *Что сами делаем довольно часто. “Мы вас любим, мы вас любим”, смотришь...*»<sup>27</sup> (Москва, ВПТИтяжмаш, 10.04.1980). «Смотришь – уже тебя едят», – хотел сказать Высоцкий, но недоговорил.

И в самом деле. Со слов Роя Медведева известно, что Брежнев и Сулов в 1974 году планировали выслать Высоцкого за границу: «По свидетельству В.Чебрикова, вскоре после высылки Солженицына и выезда из страны многих других писателей и художников Андропов получил от высших партийных инстанций указание об аресте Владимира Высоцкого. Юрий Владимирович был крайне растерян: он хорошо помнил, какой отрицательный резонанс получило в 1966 году судебное дело ПИСАТЕЛЕЙ А.СИНЯВСКОГО и Ю.ДАНИЭЛЯ. А ВЫСОЦКИЙ БЫЛ гораздо более известным человеком и как бард, и как АРТИСТ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ. Он снимался и в кино, создав несколько запоминающихся образов. У НЕГО было много не только резко критичных, сатирических, но и глубоко патриотических песен. АНДРОПОВ ВЫЗВАЛ К СЕБЕ ЧЕБРИКОВА и ДЛГО совещался с ним, чтобы найти какой-то выход и избежать совершенно ненужной, по его мнению, репрессивной акции. В конечном счете им удалось переубедить Брежнева и Сулова»<sup>28</sup>.

В действительности же КГБ продолжал лелеять план по высылке Высоцкого за границу. Об этом свидетельствует французская переводчица Мишель Кан (бывшая жена Давида Карепетяна), которая была лично знакома с Высоцким: «Помните мое слово, к концу 70-х Высоцкого в СССР уже не

---

Брежнева следующим образом: «Высоцкий и Пугачева казались ему слишком грубыми, слишком громкими. Он их знал благодаря младшим поколениям своей большой семьи, но сам предпочитал Муслима Магомаева и Юрия Гуляева» (*Парфенов Л.* Брежнев был нормальным обывателем. И людям позволил стать такими / Беседовал Д. Корсаков // Комсомольская правда. 2006. 11 дек.)

<sup>27</sup> Ср. в стихотворении «Много во мне мамино...» (1978), формально посвященном каменному веку: «Ходишь – озираешься / И ловишь каждый взгляд. / Малость заеваешься – / Уже тебя едят».

<sup>28</sup> *Медведев Р.* Неизвестный Андропов. Политическая биография Юрия Андропова. М.: Права человека, 1999. С. 135. *Он же.* НЕИЗВЕСТНЫЙ АНДРОПОВ. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. С. 166.

будет», – так сказал однажды другу Высоцкого чиновник из КГБ»<sup>29</sup>.

Но поскольку в середине 70-х Высоцкий уже приобрел всемирную известность, время было потеряно, и в КГБ от досады кусали локти, о чем говорят воспоминания автора-исполнителя Александра Новикова, сидевшего уже в 80-е годы: «...дали червонец. Отсидел шесть лет. Мое уголовное дело составило 17 томов. Начиналось оно рецензией на “Извозчика”. На каждую песню альбома – свой отзыв, сами понимаете, какой. И общий вывод: “Автор вышеупомянутых песен нуждается если не в психиатрической, то в тюремной изоляции наверняка”. Полковник-кагэбэшник толково объяснил мне на допросе: “Мы Высоцкого упустили, но тебя не упустим, второй такой ошибки мы не сделаем”»<sup>30</sup>.

Впрочем, они не совсем его «упустили», поскольку ижевское, харьковское и минское дела, заведенные примерно в одно и то же время – в 1979 году, говорят сами за себя.

А как же сам Владимир Семенович относился к генсеку?

Георгий Юнгвальд-Хилькевич вспоминал про Высоцкого (эпизод начала 1970-х годов), что «дома у него на столике стояла фотография Брежнева. Он его любил, он говорил: “Это добрый человек, я его уважаю”<sup>31</sup>. На фото был Брежнев с Мариной, по моему»<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Сажнева Е. Парижский суслик // Московский комсомолец. 2004. 24 янв. С. 7.

<sup>30</sup> Александр Новиков: «Выведу попу на чистую воду», 28.10.2004 / Беседовал Евгений Черных // <http://www.kp.ru/daily/23391/33401>

<sup>31</sup> Любопытно, что достаточно мягко о Брежневе высказывался в одном из интервью даже такой непримиримый диссидент и антисоветчик, как Владимир Буковский: «И, наконец, вы считаете, что Брежнев был лучше Путина». – «Как человек – наверняка. <...> Я просмотрел сотни протоколов Политбюро с участием Брежнева». – «Добрый человек, да?» – «У него должность была плохая – генеральный секретарь. А сам по себе... Вот, например, Брежнев никогда не навязывал свою волю – он верил в коллегиальное управление. Если возникали разногласия на заседании Политбюро, он никогда не принимал решения. Он говорил: “Давайте тогда отложим, и вот вы, товарищи, доработайте, и вы, которые спорят, доработайте и вместе представьте нам в ЦК проект”» (телепередача «В гостях у Дмитрия Гордона. Владимир Буковский» на Первом Национальном канале Украины, Киев, 2013).

<sup>32</sup> Юнгвальд-Хилькевич Г. Одесса – Москва – Ташкент // Белорусские страницы-22. Современники и Владимир Высоцкий (из архива Е. Горового). Минск, 2003. С. 91. Упомянутое фото было сделано в октябре 1971 года во время встречи активистов Общества дружбы «Франция –

И простояло это фото в квартире Высоцкого до самой его смерти. По словам Геннадия Полоки: «Была вызвана милиция, которая по приезду требовала везти тело на вскрытие. Но врачи, Федотов и Годяев, кричали, что не надо, что звонила Марина... А там в кабинете висела большая фотография Брежнева и Марины рядом. Милиционеры и санитары, увидев фото, спорить не стали...»<sup>33</sup>.

Однако подлинную цену Брежневу Высоцкий знал хорошо. В качестве доказательства приведем его слова, сказанные в разговоре с Павлом Леонидовым во время встречи Старого

---

СССР» с Брежневым (*Влади М.* Владимир, или Прерванный полет. М.: Прогресс, 1989. С. 47-48). Сама Марина Влади была вице-президентом этого общества. Впоследствии она рассказывала о своем вступлении туда как о вынужденной мере: «За Владимира Семеновича хлопотала Марина, – вспоминает Михаил Жванецкий. – Она говорила мне: “Господи, Миша! Я поддакивала Брежневу, я стояла возле него, пока он был в Париже, я стала сопредседателем общества советско-французской дружбы. Я готова на все, только чтобы Володя мог ездить и я могла ездить”» (интервью киевскому еженедельнику «Бульвар Гордона», 2006. 21 нояб. № 47). Несколько иначе об этом рассказал сценарист Игорь Шевцов, с которым Высоцкий в 1980 году работал над сценарием фильма «Зеленый фургон»: «Он махнул рукой, усмехнулся: “Это сначала она: ‘РОССИЯ! Родина!’ НОСТАЛЬГИЯ... НО – БЫСТРО ВСЕ ПОНЯЛА. Теперь в обществе ‘СССР – ФРАНЦИЯ’ не бывает вообще, а у меня с ними – и говорить нечего!”» (*Перевозчиков В.* Страницы будущей книги // Библиотека «Ваганта». М., 1992. № 9. С. 28). Сохранился еще один рассказ Марины Влади на эту тему: «Когда-то, в 1968 году, на волне студенческой революции во Франции, у меня был даже “флирт” с компартией. Удивительным образом мое короткое и скорее символическое членство в партии помогло в одном – я получила возможность приехать в СССР, а значит, видеть Володю. Думаю, что это способствовало и получению им выездной визы, которую мы долго даже не просили, настолько были уверены, что “невъездного” Высоцкого никто из страны не выпустит. А то, что мы поженились, спасло его, я в этом убеждена. Не будь нашей женитьбы, Высоцкого просто извели бы – он или погиб бы намного раньше, или оказался бы в тюрьме. При мне его не решались трогать» (*Влади М.*: Ему запрещали петь // Не дай Бог! М., 1996. 11 мая. С. 5). О роли Марины Влади говорил и фотограф Валерий Нисанов: «Если б не она, Володя ушел бы из жизни гораздо раньше. Будучи членом ЦК Компартии Франции, она получила от Брежнева на себя и на мужа пятилетнюю визу на выезд за рубеж» (*Нисанов В.* Высоцкого отравил врач Федотов / Беседовал Б. Кудрявов // Экспресс-газета. М., 2004. 30 янв. № 4. С. 20-21).

<sup>33</sup> Из выступления Г. Полоки в июне 1985 года. Цит. по: Белорусские страницы-100. Владимир Высоцкий. «Из архивов» и исследования / Сост. В. Шакало и А. Линкевич. Минск, 2012. С. 23.

Нового 1969 года в ЦДРИ: «...У Брежнева со мной сколько разницы? Так он меня или кого-нибудь из нашего поколения понять может? Нет! Он свою Гальку понимает только, когда у нее очередной роман. Ой, ей, ей! Не понимает нас Политбюро. И – не надо. Надо, чтобы мы их поняли. Хоть когда-нибудь...»<sup>34</sup>

И если б наша власть была  
Для нас для всех понятная,  
То счастье б она нашла,  
А нынче – жизнь проклятая!  
*Она – на двор, он – со двора..., 1965*

Показательны также в этом отношении воспоминания художника Михаила Златковского, где он приводит многочисленные устные рассказы Высоцкого: «Вот Брежнев с камарильей в баню собирается ехать, и полное ощущение, что идет настоящий “мужской” разговор про “какие будут девочки? да чтоб не такие, как в прошлый раз... да завезли ли ‘пльзенского’? и чтоб венчики, **ВЕНИЧКИ ОТМОЧЕННЫЕ... УЖ ПОСТАРАЙТЕСЬ**”. А кончается все заседание Политбюро решением о вводе ограниченного контингента в Афганистан»<sup>35</sup>; «Брежнев терпит, пока Сулов ему шилом прокалывает дырку под очередную звезду. И вдруг вспоминает, что дырку уже прокрутили заранее: “А это, мол, куда?” (все – мимикой, без слов). Мол, “давай и сюды еще звезду!” А серый кардинал: “Не положено, хватит, погоди... Ну не плачь, подожди, будет и еще одна”...»<sup>36</sup>.

«Какие ордена еще бывают?» –  
Послал письмо в программу «Время» я.  
Ещё полно, – так что ж их не вручают?!  
Мои детишки просто обожают, –  
Когда вручают – плачет вся семья.  
*«Мы бдительны – мы тайн не разболтаем...», 1979*

Вообще в стихах Высоцкого никакого уважения и тем более любви к этому субъекту и его соратникам не просматривается, хотя параллельно с этим у него было несколько личных встреч с Брежневым: «В энском царстве жил король, /

---

<sup>34</sup> Леонидов П. Владимир Высоцкий и другие. Красноярск: Красноярск, 1992. С. 191.

<sup>35</sup> Златковский М. Беседы во сне и наяву // Старатель: еще о Высоцком. М.: Аргус, 1994. С. 267-268.

<sup>36</sup> Там же. С. 269.

Внес в правление лепту, / Был он абсолютный ноль / В смысле интеллекту» (1965), «А урод-то сидит на уроде / И уродом другим погоняет, / И это всё – при народе, / Который приветствует вроде / И вроде бы всё одобряет»<sup>37</sup> (1966), «И бывал он, правда, лют – / Часто порол! – / Но был жуткий правдолюб / Этот король» («В царстве троллей...», 1969)<sup>38</sup>, «Злобный король в этой стране / Повелевал» («В лабиринте», 1972), «Злой дирижер страной повелевал»<sup>39</sup> (1972), «Зло решило порядок в стране навести» («Баллада о ненависти», 1975), «Мою страну, как тот дырявый кузов, / Везет шофер, которому плевать» («Напрасно я лицо свое разбил...», 1976), «Всё бы это еще ничего, / Но глупцы состояли при власти» («Про глупцов», 1977), «Не разобраться, где левые, правые... / Знаю, что власть – это дело кровавое» («Новые левые – мальчики бравые...», 1978).

Как видим, в своих стихах Высоцкий – абсолютный диссидент. Однако в реальной жизни ему нередко приходилось идти на компромиссы и доказывать свою лояльность. Это лишний раз говорит о том, что подробное изучение «внешней» биографии Высоцкого может легко увести в сторону и создать превратное впечатление о Высоцком-поэте.

Ижевск



---

<sup>37</sup> *Высоцкий В.* Собр. соч. в четырех томах / Сост. Б. Чак, В. Попов. Спб.: АОЗТ «Технэкс-Россия, 1992. Т. 2. С. 47.

<sup>38</sup> В черновике этого стихотворения есть и такой вариант: «А король был, правда, груб / И ретроград, / Жаден, хоть и правдолюб, / До наград», – усиливающий сходство «короля» с Брежневым.

<sup>39</sup> Черновой вариант стихотворения «Он вышел – зал взбесился». Цит. по: Черная тетрадь В. Высоцкого (*рукописи*) / Ред. В.Ковтун. Киев, 1997. С. 70-71 (серия «Источник», вып. IV).

**Андрей Алексеев**

**А.А. Ухтомский, В.Н. Муравьев  
и другие**

(продолжение. Начало в №1/2014)

**7.2.3. Драма и загадка жизни академика Ухтомского**



. Алексеев – Р. Ленчовскому (июнь 2000)

Дорогой Роман!

Еще не отправлено давно ожидаемое Тобой письмо с теми фрагментами моей рукописи, которые подлежат твоей обязательной соавторской корректуре. А уже – новый сюжет накатывается для нашего с Тобой разговора.

Помнишь, 20 лет назад Ты приобщил меня к Ухтомскому (его письма к Е.И. Бронштейн-Шур, опубликованные в “Путь в незнание” 1973 г.)? То был драгоценный дар...

Пришла, кажется, мне пора “платить” по этому дружескому счету.

\*\*\*

Вот, Ты, небось, “там, в Украине”, и не знаешь, что в 1996-1997 гг. “у нас, в России” вышли целых два больших тома, свыше 500 стр. каждый, – составленные из писем Ухтомского, его дневниковых записей, заметок на полях книг и т. п.

Эти два тома лишь в малой степени дублируют друг друга. То есть в общей сложности что-то около 50 печ. листов ранее неизвестных текстов – гуманитарных, философских, теологических...

Признаться, я сам не сразу узнал об этих публикациях, предпринятых, по материалам архива Ухтомского (хранящегося в Санкт-Петербургском архиве РАН; фонд № 749) И.С. Кузьмичевым, Г.И. Цуриковой, Л.В. Соколовой и др.

– Ухтомский А. Интуиция совести. Письма. Дневники. Заметки на полях. СПб: Петербургский писатель, 1996;

– Ухтомский А. Заслуженный собеседник. Этика. Религия. Наука. Рыбинск: Рыбинское подворье, 1997.

По счастью, документальная повесть И. Кузьмичева “А.А. Ухтомский и В.А. Платонова. Эпистолярная хроника” (СПб: Звезда, 2000) меня не миновала. Ну, а дальше – мои “библиографические разыскания” труда уже не составили.

Последнюю из названных книг я Тебе посылаю. С остальными пришлось знакомиться пока по библиотечным экземплярам.

Итак, эпистолярное наследие: прежде всего – письма к В.А. Платоновой (за 1906-1942 гг.); письма к И.И. Каплан (1922-1924); наконец, известные Тебе письма к Е.И. Бронштейн-Шур (1927-1941). Вкупе с дневниковыми записями и заметками (почти за полвека!), все это образует некую целостность, вполне сопоставимую с классикой мировой философской мысли.

Из книги И. Кузьмичева Ты составишь первое впечатление о Ухтомском, “которого мы не знали”. Я же сейчас – не рецензию пишу, а просто хочу поделиться с тобой некоторыми наблюдениями и размышлениями.

#### *Справка*

*Уже после написания этого письма автору довелось ознакомиться еще с рядом публикаций из гуманитарного наследия А.А. Ухтомского. В частности, с предпринятой Л.В. Соколовой и И.А. Кузьмичевым публикацией в журнале “Звезда” (1998, № 2) писем Ухтомского к Фаине Григорьевне Гинзбург, своей ученице 1926-1927 гг., подруге Е.И. Бронштейн-Шур. Кроме того, совсем недавно вышел третий (после “Интуиции совести” и “Заслуженного собеседника”) сборник: Ухтомский А. Доминанта души. Из гуманитарного наследия. Рыбинск: Рыбинское подворье, 2000.*

*С учетом этих новых для меня материалов можно было бы внести некоторые коррективы в нижеследующий текст. Однако письмо к Р. Л. датировано, так что ограничусь этой библиографической справкой, да несколькими дополнительными подстрочными примечаниями. (Февраль 2001).*

Интересно, что 20 лет назад я (да, думаю, и Ты) воспринимал те же самые письма к Бронштейн-Шур – вне связи с тем религиозным “субстратом” мировоззрения Ухтомского, который в той публикации упряпывался за многоточиями (хоть, пожалуй, и мог угадываться...).

Между тем, и нравственная философия, и эпистемология Ухтомского вряд ли могут быть поняты адекватно вне его

религиозного мышления. Но и сводить все к последнему тоже было бы, думаю, неправильно.

Так или иначе, наиболее близким в Ухтомском мне (моему не атеистическому, но и не религиозному сознанию) и сегодня остается именно то, что было почерпнуто из него, благодаря Тебе, в то время: “доминанта на Лицо другого” и “закон Заслуженного собеседника”. [13]

\*\*\*

Сопоставление внешнего рисунка жизни Ухтомского с ее внутренним содержанием, после революции 1917 г., дает все основания для усмотрения глубокого и драматического противоречия между тем и другим.

В “Советском энциклопедическом словаре” 1990 г. сообщается, что Алексей Алексеевич Ухтомский (1875-1942) – “советский физиолог, академик АН СССР (1935). Исследовал процессы возбуждения, торможения и механизм лабильности. Создал учение о доминанте, об усвоении ритмов внешних раздражений органами и др. Депутат Петроградского совета в 1919. Премия им. В.И. Ленина (1932)”.

Что же – за этим “академическим фасадом”?

Первые годы советской власти. Ухтомский – не только инакомыслящий, но и весьма неординарно действующий, в соответствии со своими религиозными убеждениями, гражданин страны Советов.

Приват-доцент, с 1919 г. – профессор Петроградского университета. [14] И – монах в миру [15], не только в переносном, а и в прямом смысле: принял иночество, под именем Алимпий, в 1921 г. (как узнаем теперь из книги И. Кузьмичева). Участник Поместного собора Православной церкви (1917) от петроградских единоверцев (старообрядцев). В начале 1920-х – церковный староста в Никольской единоверческой церкви. [16]

(Кстати, второй арест Ухтомского, в 1923 г., был связан с изъятием церковных ценностей в этой церкви).

Но и не оппозиционер вовсе (в отличие от своего старшего брата Александра Алексеевича Ухтомского – епископа Андрея, свыше 10 лет проведенного в тюрьмах и ссылках и расстрелянного в 1937-м). [17]

Общественная позиция Ухтомского после Октября примерно та же, что были выражена его старшим современником В.И. Вернадским (1918):

“...Надо употребить все силы, чтобы не прерывалась и усилилась научная (и всякая культурная) работа в России... Надо употребить все силы, чтобы новое поколение отошло от отцов

равно прекрасным и в народной толще, и в интеллигенции. И тут главная сила в научной работе...” (цит. по: Ярошевский М.Г. Сталинизм и судьбы советской науки / Репрессированная наука. Л.: Наука, 1991, с. 12).

В 1919 г. Ухтомский выступает организатором первого в Петрограде рабочего факультета. Его (как, кстати, и В.М. Бехтерева) избирают депутатом Петроградского совета рабочих депутатов.

Из речи Ухтомского на том избрании:

“...Вам всем известно, что я не коммунист. А я еще должен прибавить, что я и вообще не социалист, ибо по совести не могу подписаться ни под одной социалистической программой. Я вполне убежденный беспартийный, и не потому, что не нашел партии, которая бы меня удовлетворила, а потому что партий и перегородок никогда не искал и не могу искать, будучи противником всех этих человеческих подразделений...”

И далее:

“...Это не индивидуальное мое согласие, а согласие профессоров пойти навстречу вашему избранию в Совет. Отныне вы должны убедиться, что со стороны профессуры нет “саботажа” или предубеждения против работы с рабоче-крестьянской властью...” (Ухтомский А. Заслуженный собеседник..., с. 122).

Ухтомский видит смысл своей жизни в служении: Богу, Науке и Людям (“доминанта на лицо другого”!). С новой властью он готов сотрудничать [18], но не служить ей. И никаких иллюзий на ее счет у него нет.

Запись в дневнике (около 1920 г.):

“...Коммунистическая партия, по мере своих политических успехов, начинает пользоваться все большей популярностью в среде русской интеллигенции. Понемногу к ней начинают приглядываться презрительные доселе терситы, господа профессора, писатели, литераторы и т.п. Это и понятно, ибо против нее, как организованной лжи (! – А.), никто не вооружен, за исключением христиан...” (Ухтомский А. Заслуженный собеседник..., с. 130).

Еще в ноябре 1917 г. Ухтомский писал самому близкому ему человеку – В.А. Платоновой:

“...А дальше видится приближение Вавилонского пленения для безумного народа, ослепленного ложными пророками и преступными учителями, приводящими к историческому позору! Удивительная аналогия того, что сейчас совершается с русским народом, и того, что было с древним

Израилем во времена пророков и Вавилонского плена...” (Ухтомский А. Интуиция совести..., с. 121).

Еще одна цитата (из дневника, март 1921), проясняющая мироотношение Ухтомского в ту пору:

“...Что может быть ужасней событий, в которые вовлечена Россия после 1917 года? И однако достаточно внимательное всматривание научает понимать, что тут все обусловлено тончайшими нитями, все имеет слишком глубокий и полный смысл, чтобы начать легкомысленный суд и принимать еще более легкомысленные решения, указывать с определенностью, кто тут “виноват” и кто “не виноват”, а “жертвочка невинная”... “Виноватого” приходится искать глубже и раньше! ...Но более глубокое историческое проникновение и там не дает нам найти какого-нибудь “несомненного и первичного, окончательного виновника”! Постепенно мы добираемся до ясного понимания, что виноваты мы все, все до единого, подобно тому, как в заболевшем организме нет небольших клеток, и болезнь коренится так или иначе в жизнедеятельности каждой из них!” (Ухтомский А. Заслуженный собеседник..., с. 129).

Считая революцию “судом праведным” за “общий во всех нас и в каждом конкретно живущий грех” (там же), Ухтомский все же был склонен винить в происшедшем больше всего интеллигенцию.

Из письма к В.А. Платоновой (декабрь 1918):

“...Давно, давно господа интеллигенты задались у нас несчастною мечтою – обратить русский народ “в свою веру”, сделать его таким же, каковы они сами, полагая, что они-то сами хороши, и благородны, и просвещенны, и умны и пр. и пр. ... Но долго-долго внутреннее чутье русского народа, здоровое чутье простых и немудрящих, но верных отеческому благочестию людей, ограждало и остерегало от барских затей...”.

(Здесь Ухтомский напоминает своему корреспонденту, как Серафим Саровский “...прогнал от себя одного из декабристских “деятелей” вздумавшего прийти к нему в лес саровский за благословением”).

“...Не удалось тогда поднять эту мусть поганцам декабристам! Но что не удалось тогда, исполнилось наконец теперь. Старые затеи “мутных душ” получили в наше время свое осуществление: более испоганить нашу Русь уже нельзя. – Русь перестала быть святою, она покрыта нечистотою с головы до ног, она стала блудницей, вся бесновата, опозорена, искажена... Народ стал таким, какова его интеллигенция!.. Цель достигнута... И звучит вещей правдой то, что было сказано Львом Толстым в его

дневнике: “В тот день, когда русская интеллигенция добьется своего, т.е. сделает народ таким, какова она сама, народ погибнет!”

..Ровно через 93 года после тогдашних событий, прогремевших здесь [*на Сенатской площади. – А.А.*] бесы действительно возобладали над несчастной страной и народом...” (А.Ухтомский. Интуиция совести..., с. 158-159).[19]

Ухтомский считает при этом, что “общее делание с братьями” возможно и необходимо и после “Судного Дня Господня”, предшествующего “Великому Судному Дню”. (В кавычках – используемые Ухтомским в его дневниках и письмах того времени выражения).

В чем состоит его “делание” (1920-е гг.):

– наиполнейшая (и благодарная!) самоотдача в педагогической деятельности, в общении со студентами-сотрудниками (“...наша прекрасная Александрия!” и т.д.); [20]

– высокопродуктивная исследовательская работа – экспериментальная и теоретическая (особенно последнее!) – в области невро- и психофизиологии;

– издание сочинений своего покойного учителя (Н.Е. Введенского), консолидация научной школы Введенского (позднее ее стали называть школой Введенского-Ухтомского); [21]

– собственные научные открытия, получившие широкое признание, и главное – разработка учения о доминанте, имеющего фундаментальное и универсальное значение для наук о живом и наук о человеке.

И еще – напряженнейшая внутренняя, интеллектуально-духовная работа: философские искания, религиозное мышление. Этот труд ума и сердца “объективируется” в общении (непосредственном и эпистолярном) с теми, кого Ухтомский называет “заслуженными собеседниками”, а также – в дневниковых заметках (“странное писательство”...).

Несмотря на все происходящее с ним самим (аресты 1920 и 1923 гг.; угроза изгнания из университета “по политическим причинам”), а также вокруг и рядом с ним, жизнеощущение Ухтомского в этот период, судя по его дневникам и письмам, является, тем не менее, оптимистическим.

Вот дневниковая запись, по-видимому, 1923 г. (поводом для нее послужило воспоминание о втором аресте и пребывании в тюрьме ДПЗ в Петрограде):

“...Если в твоих впечатлениях от жизни получается не сумятица, а драма, то это уже не бессмыслица, как казалось перед этим, но какое-то имеющее высказаться слово.

И если та драма оказывается затем трагедией, притом очень значительной и подчас несравненной, то предстоит, очевидно, лишь усилиться прочесть ее содержание!

Если будет открываться, что это необычайная трагедия любви в мире, то мировая история открывается в своей перспективе как дело любви божественной.

Если допущен смысл в малом и в зерне, то он приведет к великому смыслу целого и плода его, лишь бы не сбиваться с дороги и раньше времени не опускать рук, не изменять своему делу (*выделено мною. – А.А.*)! (Ухтомский А. Заслуженный собеседник..., с. 153).

Не следует думать, однако, что не было в мировоззрении Ухтомского никаких созвучий с социалистическими идеями. Здесь – тонкая грань:

“...Мы, церковники и христиане, можем понимать и признавать себе близкими идеи социалистов, пока дело идет у них об акценте над общественным превыше личного и индивидуалистического: тут речь и язык у нас с ними общий...”. Но: “...Мы – христиане – решительно уходим от социализма с того момента, как речь заходит о создании счастливых людей, о превращении всех в князей Платонов Зубовых...” (Ухтомский А. Заслуженный собеседник..., с. 408).

Характерна амбивалентная оценка Ухтомским “пролетарского социализма” (дата не указана):

“...Пролетарский социализм в своей разрушающей энергии и есть праведный суд над европейской (*индивидуалистической. – А.*) культурой с ее биржею, комфортом и бессердечием. Но в созидательной энергии он, к сожалению, есть лишь продолжение все той же культуры и духа ее!...” (Ухтомский А. Заслуженный собеседник..., с. 390).

И еще, из “заметок на полях книг” (к сожалению, опять без дат):

“...В социалистических попытках строительства общественности все разваливается именно потому, что начинается с самоутверждения, зависти, искания своего...” (Ухтомский А. Заслуженный собеседник..., с. 399).

“...Современные лжепророки-социалисты, обещающие, что из зла выйдет добро; и христиане, знающие, что без добра в сердце ничего, кроме преступления не выйдет...” (Там же, с. 431).

“...Наша революция не прекратила пороков богатящегося и гордокомандующего положения, а напротив – всех толкает в порок этой установки...” (Там же, с.432).[22]

\*\*\*

Рубеж 1920-30-х гг.

Среди всех прочих известных событий и процессов в жизни страны того времени:

– разрастание идеологической борьбы и “охота на ведьм” в советской науке, в частности – в науках о живом и науках о человеке (генетика, психология и т.д.);

– усугубляющиеся гонения на религию, уничтожение храмов...

Как ко всему этому относится Ухтомский? Информация крайне скудна.

Ухтомский практически не затрагивает тем текущей общественной (и научной) жизни в личной переписке. [23] Однако довольно резко меняется тональность его писем.

В посланиях близким друзьям, равно как и в дневниковых записях, все чаще можно встретить признания в душевной (и физической!) усталости, во внутреннем разладе (надрыве). А с середины 1930-х в письмах отчетливо звучат трагические ноты.

И. Кузьмичев приводит запись 1930 г., которую я не нашел ни в одном из двух упомянутых томов Ухтомского (может, плохо искал?):

“...Я очень повинен в недобрых чувствах к московско-петербургской Содоме, узурпаторнице власти над нашим народом (! – А.). В этом отношении на меня имели, без сомнения, воспитывающее влияние наши заволжские староверцы, всегда очень серьезные и строгие к себе, предпочитающие просто устраниваться, но не унижаться до борьбы с тем, в чем не хочешь участвовать и что презираешь. Но если дело доходит до презрения и ненависти, это – говорит внутренний голос, – уже не добро! Нянька Арина Родионовна говорит мне через века: “Это, батюшка, уже и нехорошо и грех; ты лучше просто отойди, коли сил у тебя нет взглянуть на людскую бедную жизнь из Древа Жизни!” (Цит. по: Кузьмичев И. А.А. Ухтомский и В.А. Платонова..., с. 139).

Высказывание необычно (для этого периода его жизни) рискованное и, вместе с тем, темное... [24] Что значит: “просто отойди, коли сил у тебя нет”? Может, имеется в виду следующее:

“...Моя мечта была бы в том, чтобы выйти на пенсию, как только закончится мой 25-летний срок в сентябре следующего года, – пишет Ухтомский В.А. Платоновой в августе 1930 г. (ему только что исполнилось 55). – Только, конечно, все это мечты, а как будет в действительности, “услышу, что речет о мне Господь Бог”...” (А.Ухтомский. Интуиция совести..., с. 167).

Однако Ухтомский – уже! – общепризнанный лидер научной школы Введенского-Ухтомского (которая могла бы конкурировать даже со школой И.П. Павлова, если бы не отсутствие у Алексея Алексеевича личных амбиций и не его принципиальная установка на сотрудничество, а не соперничество школ). За Ухтомским – десятки дорогих ему учеников и сотрудников...

Как можно отказаться от дела жизни, где:

– дальнейшие исследования фундаментальных проблем науки о живом;

– биологическое отделение университета, которое он возглавлял в 1920-х;

– другое его детище – сеть лабораторий физиологии труда на ленинградских заводах;

– на очереди – организация Физиологического института Ленинградского университета.

В августе 1930 г., после смерти руководителя кафедры физиологии Московского университета проф. А.Ф. Самойлова, Ухтомскому предлагают занять его место.

“...Совсем не представляю, как бы я стал жить в Вашей (московской. – А.) сутолоке, – пишет он в личном письме, – если я начинаю тяготиться и здесь, в относительной тишине. Послал отказ с сожалением...” (Ухтомский А. Интуиция совести..., с. 167).

Но и в Ленинградском университете, разумеется, не уйти от “сутолоки”, и не только от нее...

\*\*\*

В начале 1930-х научные идеи Ухтомского о связи психического и физиологического в целостном поведении (отчетливо выраженные в трудах о доминанте и т. д.), в отрыве от его “крамольных” мировоззренческих идей (остающихся в письмах и записных книжках, хотя и “выплескивающих” иногда, не без “автоцензуры”, в естественнонаучные сочинения) оказываются парадоксальным образом востребованными сверху.

(Тут, конечно, нужен профессиональный анализ связей естественнонаучного и философско-теологического содержания наследия Ухтомского, на что я, понятно, не претендую).

В 1932 г. Ухтомскому, за открытия в области нейрофизиологии, присуждается премия им. В.И. Ленина. В том же году он избирается членом-корреспондентом, а в 1935-м – действительным членом Академии наук. Имеют место всякие другие знаки признания его научных заслуг.

Серия программных докладов на всесоюзных съездах физиологии, на Международном физиологическом конгрессе

(1935) в Москве. (За границу Ухтомского все же не пустили, хоть командировка такая и предполагалась).

После смерти И.П. Павлова (1936) нет более авторитетных физиологов в стране, чем Ухтомский и ближайший сотрудник и научный преемник Павлова академик Л.А. Орбели.

Складывается впечатление (может, я и ошибаюсь!), что с начала 1930-х гг. Ухтомского, разумеется, без всякого с его стороны “искательства”, а в силу стечения общественных и личных, явных и неявных обстоятельств, вдруг подхватывает крутая волна, природа которой ему чужда (противна его естеству!), но он, похоже, не в силах ей противостоять. И она, эта волна, выносит его на тогдашний академический Олимп.

Тут невольно вспоминается одна из заметок Ухтомского на полях книг (интересно, к какому году относится?):

“...Нужно быть чрезвычайным, слепым, на все согласным оптимистом, чтобы желать “участвовать в истории” и “оставить свое имя в истории”! Блажен тот, кто успел пройти незамеченным и не оставил участия в той куче зла и преступления, какова история! Или кто прошел совсем иным образом жизни, ища не славы, а бесславия и унижения от хозяев истории!” (Ухтомский А. Заслуженный собеседник..., с. 396).

Пройти “совсем иным образом жизни” Ухтомскому, несмотря на всю его “особость” его мировоззрения и стиля поведения, не удастся, будучи таким вот образом востребованным “хозяевами истории”...

Личные письма Ухтомского конца 1930-х оставляют впечатление титана в цепях или человека “с кляпом во рту”, который, впрочем, и сам очень озабочен не высказать лишнего, чтобы не навредить общему делу и особенно – близким, милым ему людям.

Из письма Ухтомского (апрель 1937 г.) в Калугу, где живет В.А. Платонова (адресат не назван, подпись отсутствует, автор пишет о себе в третьем лице):

“...Все-таки трагедии в человеческой жизни преобладают! А отчего же? Мудрые люди сказали и продолжают говорить: от греха! Испорчена, болезненна жизнь, и в особенности человеческая жизнь, в ней есть внутренний порок, и порок этот есть грех. Лишь радикальной и нарочито направленной борьбой с самим собой и со своим внутренним врагом – грехом – достигает человек относительно твердого и благонадежного камня под ногами...” (Ухтомский А. Интуиция совести..., с. 171).

Это – рефлексия. А в письме примерно того же времени к Ф.Г. Гинзбург – скупая фактура:

“...Под влиянием “активов”, проходивших у нас в апреле, я так устал нравственно и нервно, что уже от небольшого добавочного дела сбиваюсь в состояние острого утомления... мне пришлось просидеть в непрерывном напряжении три дня актива в нашей лаборатории и два дня “актива” же в Институте Орбели. Это очень тяжело и расточительно для нервной системы старого человека (*Ухтомскому – 62 года. – А.*). Между тем предстоит еще “активы”! Пока мы их проводим, за граница ведет подлинные научные работы, так неузнаваемо перестраивающие нашу науку!..” (цит. по: Кузьмичев И. А.А.Ухтомский и В.А.Платонова..., с. 132).[25]

В письме к К.М. Сержпинской (подруге В.А.Платоновой, в сущности – к самой В.А. Платоновой), от апреля 1938 г., – глухие намеки:

“...Приходится проходить через большие трения, и много сил уходит совсем непроизводительно на преодоление этого внутреннего трения сложной человеческой каши, через которую лежит путь. Одна из несомненных больных линий в нашей жизни – подозрительность. Я ее терпеть не могу и всегда был рад тому, что мог себя считать свободным от нее. В людях, с которыми приходилось встречаться, я видел в особенности их добрые черты, а отрицательные отводил в сторону. И это помогало завязывать добрые отношения. Теперь я начинаю все чаще видеть в себе именно подозрительность, нездоровую мнительность в отношении людей...” (Ухтомский А. Интуиция совести..., с. 180-181).

В переписке возникает настойчивый мотив: “огради себя молчанием!”. Из того же письма к подруге В.А.Платоновой:

“...Надо в самом деле учиться мудрому совету: радость моя, огради себя молчанием. Как много, много раз приходится жалеть в своем прошлом о сказанном! Правда ведь? Самое прекрасное достояние человека – слово. Но и доброе молчание, о котором мы говорим, ведь есть переживание слова в сердце, внутри, из вящего уважения к нему, дабы то, что будет, наконец, сказано, было добро в самом деле для всех...” (Ухтомский А. Интуиция совести..., с. 181-182).

Тут многое можно прочитать... между строк!

К тому же (не столь иносказательно!) призывал Ухтомский своего заслуженного собеседника еще раньше (сентябрь 1934):

“Дорогой друг, Варвара Александровна!

<...> Пожалуйста, не сетуйте, на то, что я не пишу писем. Мне хочется обратить Ваше внимание на следующее. Если бы я был особенно заинтересован узнать интимное настроение и мысли

какого-нибудь лица А, и мне было бы известно при этом, что это лицо А. осторожно и замкнуто, умеет сохранять свои мысли внутри себя, то как бы я поступил? Всего правильнее бы я поступил вот так: я уединил бы дорогое для А лицо В так, чтобы можно было контролировать всю переписку этого второго лица В, и тут мне без труда и околичностей далось бы все мне интересное касательно А, поскольку стали бы известны его беседы с В. Не правда ли? Так вот отдавая в этом отчет, следует в таких случаях быть сугубо бдительными, чтобы не разыгрывать пьес по тем нотам, которые тебе подставляются сторонними наблюдателями.

Очувтившись в положении В, я, со своей стороны, стараюсь предупредить поскорее А, чтобы он оградил себя молчанием. Это прием, к которому прибегнул бы я в отношении А и В, практикуется гораздо чаще, чем думается. И вот тем более нужно оградить себя молчанием, пока речь приходится вести не иначе, как письменно! Бог даст, встретимся лицом к лицу, чтобы сообщиться словом, как хочется и как надо...” (А.Ухтомский. Интуиция совести..., с. 167-168). [26]

\*\*\*

Известный психолог и историк науки М.Ярошевский в своей статье, открывающей сборник “Репрессированная наука” (1991), пишет:

«...Сохранилась серия павловских писем, адресованных в Совнарком, свидетельствующих, что он был не только великим ученым, но и великим гражданином. В них он не только ходатайствовал за несправедливо репрессированных, но и давал резкую критическую оценку общей ситуации в стране. (Кто еще в те годы на это решился?). Так, через три недели после убийства Кирова он писал:

“...Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Тем, кто злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовольствием приводит это в исполнение, как и тем насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно оставаться существами чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны, тем, которые превращены в забитых животных, едва ли можно остаться сделаться существами с чувством собственного достоинства. Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нее. Не один же я так чувствую и думаю. Пошадите же родину и нас...”» (Сов. культура, 1989. 14 янв. Публикация В. Самойлова и Ю. Виноградова)” Ярошевский М.Г. Сталинизм и

судьбы советской науки” / Репрессированная наука. Л.: Наука, 1991, с. 32).

Свидетельств о каких-либо неординарных общественных шагах “молодого” (недавно избранного) академика Ухтомского в 30-х гг. или нет, или я их не нашел. (Или не сумел разглядеть?).

В другой работе М. Ярошевского приводится запись из дневника Ухтомского того времени (1936):

“Покамест есть этот живой условный “раздражитель” в виде фигуры Ивана Петровича Павлова... он задерживает многое, что без него давно бы вырвалось и завладело событиями. Он был для современников носителем и символом некоторой моральной грани, за которую он не переступил бы никогда, ни в коем случае и не давал переступить другим”. (Цит. по: Ярошевский М.Г. Наука о поведении: русский путь. М.-Воронеж, 1996, с. 366-367)

(В обсуждаемых томах писем и заметок Ухтомского я этой записи не нашел... Но есть другие; см. ниже).

...В феврале 1936 г. И.П. Павлова не стало. Современная версия, что он умер “не своей смертью”, имеет под собой достаточные основания (судя по свидетельствам, упоминаемым М. Ярошевским в цитировавшейся выше работе).

Здесь стоит заметить, что Ухтомский был далек от апологетического отношения к павловскому учению об условных рефлексах. Расходился он со своим старшим современником и в некоторых мировоззренческих вопросах.

Из “записных книжек” Ухтомского (30-е гг.):

“...И.П. Павлов говорит, что диалектическое мышление есть удел сумасшедших или жуликов! Всемирная история убеждается в том, что оно является еще особенностью исключительных умов среди человечества. Нет ничего удивительного в том, что не принадлежащий ни к одной (! – А.) из трех названных категорий, академик Павлов оказывается совершенно некомпетентным в вопросе о диалектике и склонен всецело ее отрицать...” (Ухтомский А. Заслуженный собеседник..., с. 205).

Однако после смерти И.П.Павлова не кто иной как Ухтомский становится, пожалуй, главным пропагандистом учения и школы Павлова. Факты на этот счет широко известны (его публичные выступления; наиболее известна статья Ухтомского памяти И.В. Павлова в журнале “Природа”, 1936).

А вот внутренняя мотивация этих его общественных шагов (из “записных книжек”, вторая половина 30-х):

“...Традиция И.П. Павлова сложилась явочным порядком. Персональное влияние этого прекрасного труженика собирала

около него людей и завязывало в коллектив лиц, подчас очень различных между собой.

И это давало многим счастье чувствовать себя не одинокими и иметь возможность говорить от лица “мы”.

И не столько открытия И.П. Павлова, внесившиеся им в науку новые понятия, новые пути анализа – создали ему его положение, сколько моральное значение его лица, как работника и собирателя работников.

Мы знали, что покамест И.П. Павлов жив, сложившаяся около него группа корректируется в своем поведении его лицом, и из морального страха перед И.П. невозможны для участников этой группы те подлости, которые доступны этим людям, как индивидуальностям, каждому в отдельности.

Мощная коллективность работы около И.П. Павлова заставила считаться с собою Европу. Баркрофт в 1935 г. сознавался, что для его сознания “русская физиология” и “Павлов” – это синонимы. Это, конечно, преувеличение. Но это было полезно! (! – А.).

Со своей стороны я считал бы нужным поддерживать и сейчас коллективность работы около имени И.П. Павлова, ибо оно и по сейчас заставляет совеститься его учеников, обуздывает и сейчас их поведение, а затем сохраняет очень много намеченных задач, ожидающих нового таланта.

Мне кажется, что и перед лицом европейской науки, и перед своими политика момента такова, что следует поддерживать авторитет Павлова, – и моральный и научный...” (Ухтомский А. Заслуженный собеседник..., с. 214-215).

“Политика момента” здесь поверяется у Ухтомского: (а) моральным критерием; (б) интересами общего (научного) дела; (в) патриотическим мотивом.

\*\*\*

...Чем дальше, тем, по-видимому, острее переживает Ухтомский противоречие между своим высоким общественным положением и своим внутренним состоянием. Тем больше ему становится – “невмоготу” (его выражение!).

И, однако, не ослабевающая – несмотря ни на что! – научная, организационная, педагогическая активность.

Я читал несколько обзорно-программных работ Ухтомского 1930-х гг., посвященных итогам и перспективам отечественной науки, в частности – его брошюру “К 15-летию советской физиологии” (1933), и позднейшие (вторая половина 1930-х). Конечно, мне недоступны специально-научные вопросы...

Но обращают на себя внимание “лица не общее выражение” этих трудов:

(1) полная дезидеологизированность; выламывающееся из тогдашнего “канона” отсутствие ссылок на К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, в порядке “научной” аргументации;

(2) заботливое “собирачество” школ и направлений – подчеркивание ценного вклада всех без исключения исследовательских подходов в физиологии и родственных ей научных отраслях;

(3) изображение движения этой науки как исключительно “поступательного”: от фундаментальных открытий Сеченова, Введенского, Павлова, Шеррингтона – к самым последним достижениям именитых и рядовых тружеников отечественной науки.

(А что если такое вот – “бесконфликтное” – представление картины развития конкретной области советской науки – в тех условиях и при тогдашнем положении Ухтомского – и было как раз адекватной формой ее, науки, и ее работников сбережения?).[27]

Что касается своего собственного научного вклада (в частности, теория доминанты), то о нем Ухтомский говорит сдержанно, но и без ложной скромности:

“...Прошу обратить внимание, что я имел случай заявить в печати, что не пытаюсь объяснить доминантою происхождение условных рефлексов, но говорю с уверенностью, что доминанта есть ПРИНЦИП РАБОТЫ ЦЕНТРОВ, которому подчиняются одинаково и условные рефлексы, и ассоциации психологов, и интегральные образы, в которых воспринимается среда, но также и рефлексы мозгового ствола спинного мозга. Что принципу доминанты подчинены спинальные и вообще ствольные рефлексы, об этом писано много и мною, и моими сотрудниками; что тому же принципу доминанты подчинена высшая нервная деятельность, это совершенно явствует из обыденного наблюдения, что в ответ на один и тот же сложный раздражитель (например, научный доклад) оппоненты, прежде чем разберутся, разряжаются сначала каждый своим, что в нем накопилось, так что реплика определяется сплошь и рядом не столько тем, что выслушано и не ближайшим содержанием выслушанного, а давними событиями.

Человек является настоящей жертвою своих доминант везде, где отдельные предубеждения, предвзятости; и еще хуже, когда он сам этого не замечает. Чтобы не быть жертвою доминанты, надо быть ее командиром. По возможности полная

подотчетность своих доминант и стратегическое умение управлять ими – вот практически что нужно.

Предопределено давнюю историю человека, а сейчас совершенно по ничтожному поводу {?} – одна из трагических тем Ф.М.Достоевского...” (А.А. Ухтомский. К 15-летию советской физиологии. Цит. по: Ухтомский А.А. Доминанта. М.-Л.: Наука, 1966, с. 126-127).

Я привел этот последний отрывок еще и как иллюстрацию СТИЛИЯ Ухтомского (в собственно-научных трудах). Как сказано давно, “человек – это стиль...” (или наоборот?). [28]

\*\*\*

В этой зловещей обстановке, однако, не ослабевает у Ухтомского и “внепрофессиональная”, внутренняя, духовная работа, о чем можно судить из ныне опубликованных дневниковых записей тех лет.

Вот несколько выдержек из “записных книжек” периода 1930-1940 гг. (В скобках страницы по изданию: А.Ухтомский. Заслуженный собеседник. Этика. Религия. Наука. Рыбинск, 1997):

<...> 1. Реальность всегда хлопотлива. Свои мысли хороши уже тем, что они – свои!

2. Итак, понятно, что хочется заменить реальность своими мыслями и абстракциями, чтобы считаться отныне лишь с ними, своими мыслями и абстракциями, – но не с реальностью.

3. Но наука движется от абстрактного к конкретному хотя бы часто и против воли своих “жрецов”. Как бы далеко ни заносилась научная мысль в своем увлечении абстракциями, как таковыми, наука принудительно движется от теории к реальности! От теории к человеку!

4. И самое трудное дело для каждого из нас – налегающая [так! – А.А.] и неизбежная реальность Собеседника, ближайшего человека, к которому направлена всякая наша мысль и слово.

5. Итак, – от теории к человеку, к реальному, ближайшему, осязаемому, живому человеку во всей его неожиданности поверх всех наших ожиданий и теоретических предвидений. От двойника к собеседнику!

6. Этот принцип: от теории к человеку и от своего двойника к самостоятельному собеседнику – как раз противоположен пресловутому принципу: “De l’homme a la science” [от человека к науке. – фр. – А.А.] .

Настоящий путь, которым, хочет или не хочет, ведется наука, – это “de la science a l’homme” [от науки к человеку. – фр. – А.А.] . (205-206).

<...> Искони видим попытки человека отдаться “слепой” жизни в своей среде. Однако человеку не освободиться от однажды пройденного рубежа и не вернуться ему к животному, к чисто инстинктивному и чисто безотчетному прозябанию в среде. Когда это как будто начинает удаваться, получается дисгармония, аномалия, патология! Слиться со средою, т. е. возобновить жизнь в принципиальной нераздельности с нею человек может лишь СОЗНАТЕЛЬНО, РАЗУМНО, ПОДОТЧЕТНО. И это бывает тогда и на тех, доступных человеку вершинах, когда человек начинает проникать в разум закона, в разумный закон Бытия. Замечательно, что именно тут разрешается в тесном и внутренне связанном ансамбле и проблема уразумения жизни и смерти по их существу, и проблема подлинного собеседования с другим человеком без предрассудочного превращения его в своего двойника и проблема собеседования с разумом бытия, истории и идущих человеческих поколений.

В этом повторении смерти принадлежит совершенно закономерное место как и “борьбе”, конфликтам, противоречиям и смене поколений. (215-216).

<...> Что значит: бытие определяет сознание, а не наоборот? Это значит, что не закономерности, удовлетворяющие мой ум и его последовательность в себе, но закономерности, существующие независимо от меня и довлеющие надо мною определяют и то, что есть, и то, как есть, и то, что отвечает правде бытия. Все вновь и вновь приходится мне отказываться от того, на чем я думал самоутвердиться, как на последней истине, еще и еще раз выглянуть за границы моего самоудовлетворения на свой лад и по своему разуму, чтобы увидеть более содержательную истину, более содержательные законы бытия и детерминации его! Оказывается, что детерминируется бытие несравненно более остро и мощно, чем это предполагается в геометрии, в механике, в физике, в биологии, в социологии! Закон добра и зла, закон возмездия, а еще выше его – закон милосердия! Гораздо плотнее, безвыходнее, ответственнее и вместе страшнее детерминируется человек бытием, чем это хочется его самоутверждению. (222).

<...> Кто-то сказал: мы предпочитаем поступать так, а не иначе не потому, конечно, что в этом “честь” или “благочестие”, а потому, что это “выгодно”! Это старый сенсо-эпикурейский мотив до наших дней. Между тем надо понять, что поступать именно из чести самое выгодное “для будущего и для дальновидного”. Надо понять, что честь – самое выгодное, любовь – самое выгодное, все эти дальновидные мотивы действия самые выгодные, хотя им

сплошь и рядом предстоит болезненно столкнуться с ближайшим и близоруким. (223).

<...> Именно в эмоциональном мышлении человек и творец и участник бытия. Здесь краешком ему приоткрыто быть одновременно (move together...) [*двигаться совместно. – англ. – А.А.*] и волевым, и интимно-чувствующим, и напряженно проникающим мыслью участником того участка бытия, с которым сейчас соприкасается его жизнь. Ведь ВОЛЯ, ЭМОЦИЯ И МЫСЛЬ в их отдельности это только абстракции!

Дело идет обыкновенно лишь о преобладании той или иной из этих сторон жизнедеятельности. Дон-Кихот, Петрарка и Кант берутся за крайние типы. Но ни у одного из них нет исключительного действия только одного элемента пресловутой триады. В действительности они неразрывны! (224).

<...> Что есть “сущность”? То, что пребывает в бытии, несмотря на все перемены в нем. Но что пребывает и что постоянно в бытии? По Златоусту, это не “твердое тело”, не “атом”, не “материя”, не “равновесие”, а БУДУЩЕЕ, т. е. последний судящий голос истории, ему же принадлежит и последнее судящее слово о том, что было и есть.

“Не изучать, но изменять то, что дано”. Что это значит, в чем ядро этой мысли? Не в консерватизме данного, но в энтелехии и в перспективах этого данного в его движении к лучшему и имеющему быть постигать бытие, – это и значит узнавать его сущность и его пребывающее. И опять: “Что же пребывающее (постоянное)? Будущее!” (Златоуст). Каким способом можно было бы так войти в вещь, в событие, в мир, чтобы прочувствовать и понять его энтелехию и его нормальное осуществление во всех его ценностях, возможностях и заданиях? Нет у нас другого, более верного пути, кроме подлинной любви к бытию вообще и к бытию данного предмета, процесса или лица! (*Ср. с “благоговением перед жизнью” А. Швейцера. – А.*). Это она помогает одновременно и проектировать и делать будущее всех частей бытия. (251).

<...> Одна крайность говорит: доверять тому, что делается в природе само собой, без насилия и специального труда, доверять инстинктам и себе; не критиковать жизни, но у нее же и учиться, ибо она по-своему всегда права и для всякого своего образа действия имеет все основания (Аристотель, Гегель).

Противоположный голос говорит: надлежит переделывать себя, отвергнуть доверие к тому, что совершается “само собой”; необходимо обуздывать инстинкты и природу, надлежит переделывать текущую действительность, изучать природу, дабы владеть ею и переделывать ее. Только весь вопрос в том: для чего

и во имя чего переделывать? Одни говорят: на анархо-идеалистический лад: переделывать вещи, дабы из “вещей в себе” получить себе “вещи для нас”! А другие говорят: переделывать вещи дабы восходить из силы в силу выше себя и преодолевая себя ради сущей истины. Любовь как методос и одос находит и удерживает здесь здоровый и нужный путь. (260).

\*\*\*

И еще одно, довольно темное и, пожалуй, даже “страшноватое” замечание, из тех же “записных книжек” 1930-х гг., которое побуждает (меня, по крайней мере!) задуматься над тем, что и “негэгоцентрическая” доминанта Ухтомского может обернуться своей противоположностью:

“Закон сохранения себя” опирается конкретно на самозамкнутое стремление сохранить свою жизнь, – инстинкт всего живущего, выражающийся впоследствии в законе “ассимиляции”. Но самый инстинкт-то еще не обязателен и носит в себе случайные, злые, консервативные черты и начала!

Инстинкт самосохранения – другая сторона инстинкта самоутверждения; а он подлежит уничтожению (?! – А.), а отнюдь не построению на нем, как “на камне краеугольном” – философии, правды и общества!

Совсем напротив! Более чем когда-либо открывается именно перед лицом новейших попыток “построения общества”, что оно (? – А.) требует от лица человеческого умения “самоликвидации” (?! – А.)” (Ухтомский А. Заслуженный собеседник..., с. 225).

Вообще же, это надо, конечно, читать целиком (подряд!), а не в моей или в чьей-либо еще выборке.

Кстати сказать, выборка тут – “многоступенчатая”: и в обсуждаемые тома не все вошло из сохранившегося, и сохранилось далеко не все...

(Попробуй-ка, например, реконструировать священную книгу, по нескольким страницам!).

\*\*\*

Интересна характеристика, которую дает философии Ухтомского В. Хализев.

В своей рецензии на первый из двух вышедших томов (“Интуиция совести”) этот автор рассматривает Ухтомского в русле (в ключе, в контексте...) российского “потанного мыслительства” 1920-30-х гг.:

“...Оно [потанное мыслительство. – А.] явилось живым, ярким, поистине творческим откликом на трагически-горестный для России (и не только для России) XX век. Философские опыты

Ухтомского и других близких ему современников (этих людей правомерно вслед за В. Турбиным назвать “китежанами”) основывались не на идее отчуждения от мира, столь характерной для интеллектуальной среды нашего столетия (и для всего европейского Нового времени), а, напротив, на переживании и осознании живой ему ПРИЧАСТНОСТИ...” (Хализев В. Нравственная философия Ухтомского / Новый мир, 1998, № 2, с. 229)

В. Хализев устанавливает параллели между Ухтомским и П. Флоренским, между Ухтомским и М. Бахтиным (последний, кстати, присутствовал на одном из докладов Ухтомского в 1925 г. – о хронотопе; возможно, они и общались); усматривает переключки с Н. Лосским, Г. Федотовым и другими мыслителями русского Зарубежья.

“...”Китежане” XX века были не пророками и вероучителями, которые провозглашают нечто новое, а хранителями предания и поборниками элементарно простых, но в то же время великих истин, которые грубо попирались и преследовались в их время. И не только из-за мучительно тяжелых внешних обстоятельств, но по своей органической природе их голос не мог быть громким (в противоположность голосам Ницше, а в России, к примеру, того же Бердяева). Высказывались “китежане” безэффектно и нериторично.

И здесь возникают ассоциации с воплощениями русской святости времен весьма от нас далеких. Преподобный Сергий Радонежский, по словам Ключевского, влиял на людей “тихой и кроткой речью”, “неуловимыми, бесшумными средствами, про которых не знаешь, что рассказать”, а вместе с тем оставлял “ощущение нравственного мужества”.

“Китежане” XX века были (если уместна здесь столь современная лексика) своего рода идеологами христиански одухотворенного, жертвенного труженичества... (Хализев В. Указ. соч., с. 229-231).

Да, конечно. Но как все же разнятся “жизненные траектории” академика Ухтомского и, скажем, Флоренского, да и Бахтина! (Как-то никто на это не обращает внимания...).

\*\*\*

Ухтомский, конечно же, все видел и понимал – в общественной ситуации “победившего социализма”. Об Ухтомском не скажешь, как о многих его именитых и рядовых современниках, что на глазах у него были “шоры”.

Но и тут не все однозначно...

Хоть и единичны у Ухтомского, но есть в его наследии и такие тексты, как статья, посвященная 50-летию со дня смерти Маркса (опубликованная в журнале “Природа” в 1933 г.). Или – конспект речи, посвященной 50-летию сдачи Лениным государственных экзаменов в Петербургском университете (последнее его публичное выступление, в блокадном Ленинграде; декабрь 1941 г.).

Оба эти текста в свое время принято было цитировать...

В первом из названных Ухтомский заявляет:

“...Исторические прогнозы Маркса и Ленина оказались до сих пор правильными для европейской культуры на ее востоке. Надо думать, [что] они будут тем более правильными для ее запада.

Социальное и философское дело Маркса и Ленина устремлено на обеспечение выхода к благам культуры широким кругам трудового народа – того трудового народа, на себе тяготу истории в наиболее непосредственной и открытой форме...” (Ухтомский А.А. Собр. соч., т. 6. Л: Ленинградский университет, 1962, с. 11).

Во втором – он характеризует В.И. Ленина как “Великого Волгаря, пронесшего далеко и славно русское имя среди народов мира” и как “человека, который умел вносить всевозможное смягчение и гуманность в самые острые моменты рождающейся исторической стихии” (Там же, с. 12).

С содержанием эпистолярного и дневникового наследия Ухтомского (не только 1920-х, но и 1930-х гг.) здесь может быть усмотрено некоторое противоречие...

Хотя, как отмечалось выше, “мосты” между мировоззрением Ухтомского и идеями переустройства мира на социалистических началах были изначально: революция – “праведный суд” за “общий во всех нас и в каждом конкретно живущий грех”; приоритет общественного перед личным; решительное неприятие индивидуалистической, буржуазной, новоевропейской культуры; и т.д. (См. выше).

В контексте всего сказанного выше, думаю, здесь следует искать все же не притворство (лицемерие...), а скорее соединение в некую целостность (цельность...) противоречащих друг другу (или не противоречащих?!) элементов.

(Вообще, разве целостность обязательно гармонична, разве она – не синтез многоразличного? Кстати, и “расцепленная мораль” может быть, в определенном смысле, целостной!).

...Так или иначе, как справедливо пишут об Ухтомском его современные интерпретаторы, он в своем духовном наследии

воплощал культурное (сам говорил: “церковное”...) “предание”. И – вместе с тем – выступал носителем того, что сам называл “дальним зрением” (можно сказать – про-ВИдение...)

Последнее (в сущности, предсмертное) письмо Ухтомского к В.А.Платоновой, от 22.07.42, заканчивалось словами:

“...Всего, всего, всего Вам доброго, прежде всего – дальнего зрения, которое не давало бы ближайшим и близоруким впечатлениям застилать глаза... Простите и помните Вашего преданного А.У.” (Ухтомский А. Интуиция совести..., с. 204).

\*\*\*

“...ИТАК, – ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕ ВИДЕТЬ, ВСЕ ЗНАТЬ, НИ НА ЧТО НЕ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА И УДЕРЖИВАТЬ ПРИ ЭТОМ РАДОСТЬ БЫТИЯ ДЛЯ ДРУЗЕЙ И ПРИХОДЯЩЕГО СОБЕСЕДНИКА...”. *(Выделено самим Ухтомским; это – еще из письма 1928 г., к Е.И. Бронштейн-Шур; см.: Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сб. 10. М, 1973, с. 425. А.)*

Радость бытия – для других, как бы ни складывались личные и общественные обстоятельства, – Ухтомский удерживал до последних дней.

(полностью статью читайте сайте «Семи искусств»)



## Семен Резник

### Против течения

Академик Ухтомский и его биограф

Историко-документальная сага с

мемуарным уклоном

(продолжение. Начало в №12/2013)

Глава шестая. «Душечка» и Душа

1.



Алексей Алексеевич Ухтомский родился в 1875 году, 13 (25) июня, в селе Вослома Арефинской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии, в родовом имении князя Алексея Николаевича Ухтомского. Соседним уездом был Пошехонский, кругом царица Пошехонская старина. Со времен Солтыкова-Щедрина, столь страстно ее ненавидевшего, здесь мало что изменилось. Но Ухтомский впитал из нее совсем иные впечатления.



Андрей Рябушкин. Князь Ухтомский в битве с татарами на Волге в 1469 году. Картина написана в 1904 г. Гуашь, картон.

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Род Ухтомских восходил к Великому князю Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо (1154-1212), сыну Юрия Долгорукого, прямого потомка Рюрика. Один из пленцов Большого Гнезда

получил земли по речке Ухтомке, от нее и пошла фамилия Ухтомских. Алексей Ухтомский гордился своим происхождением, хорошо знал свою родословную, помнил о предках, оставивших след в российской истории. В их числе Василий Иванович Ухтомский, храбрый воин, чей ратный подвиг вдохновил известного художника Андрея Рябушкина на создание картины «Князь Ухтомский в битве с татарами на Волге в 1469 году».

Алексей Алексеевич знал, что этот далекий пращур кончил свои дни плачевно: был казнен в Москве в 1488 году великим князем Иваном III. Другой Василий Ухтомский, живший при Иване IV (Грозном), отличился при взятии Казани, а не менее бравый Михаил Ухтомский, в годы смуты, сражался с поляками и «воровскими шайками» около Вятки. Князья Ухтомские участвовали в обороне Севастополя. Один из них, молодой лейтенант Леонид Алексеевич Ухтомский, адъютант адмирала Нахимова, стоял рядом с ним под обстрелом на Малаховом Кургане, когда легендарного адмирала сразила вражья пуля. Будучи уже глубоким стариком, Леонид Алексеевич, сам дослужившийся до адмиральского чина, рассказывал маленькому Алеше, как подхватил падавшего Нахимова, который скончался у него на руках. Как раз в этот момент другой молодой лейтенант Ухтомский, Николай Николаевич, родной брат Алешино отца, въезжал в Севастополь в фельдъегерской коляске с царским приказом о награждении Нахимова Георгиевским крестом. Получить награду герой Севастополя не успел.

Ухтомский с гордостью вспоминал, что под Севастополем воевали и другие его родичи: Николай Михайлович Наумов и Александр Дмитриевич Ратаев, который привез в Вослому трофейное ружье с ударным замком. На ружье было выжжено французское имя, и маленький Алеша, играя с этим ружьем, допрашивал его, помнит ли оно того солдата, с которым отплыло из Франции, помнит ли гром орудий в горячем Крыму и своего хозяина, оставшегося лежать в чужой далекой земле; помнит ли оно, как его завезли в глухие болотистые леса Ярославского Заволжья и забыли в углу темного сарая, рядом с лопатами, граблями и оглоблями.

Военное поприще было не единственным, на котором отличались князья Ухтомские. Князь Дмитрий Васильевич в славный век Екатерины возглавлял «архитектурную команду» в Москве, воспитал плеяду учеников, включая такие знаменитости, как В.И.Баженов и М.Ф.Казаков. Но, пожалуй, наиболее известен был старший современник Алексея Алексеевича, географ, путешественник, журналист, издатель, государственный деятель

Эспер Эсперович Ухтомский, знаток Востока, автор трудов о буддизме. Эспер Эсперович был близок к царской семье. Когда цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II) отправился в кругосветное путешествие, сопровождал его князь Э.Э.Ухтомский. Он выпустил трехтомный труд об этом путешествии, книга имела успех и была переведена на основные европейские языки.

Алексей познакомился с Эспером Эсперовичем 12 сентября 1899 года и вынес о нем впечатление как об «очень милом и теплом человеке»<sup>1</sup>. Эспер Эсперович ввел Алексея Ухтомского в придворные круги.



Князь Эспер Эсперович Ухтомский

Однако, гордясь знатностью своего рода, Алексей Алексеевич никогда ею не кичился. Ему это было глубоко чуждо. В 1920 году его избрали депутатом Петроградского совета рабочих депутатов. Выступив с речью, он сказал:

«Меня очень удивило выставление меня кандидатом в депутаты именно в такой момент, когда на всех перекрестках вы можете читать во всяких газетах, что никому, кроме коммунистов не должно быть доступа в Совет, и выбирать необходимо только коммунистов. Между тем вам всем известно, что я не коммунист. <...> Я вполне убежденный беспартийный, и не потому, что не

---

<sup>1</sup> А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 114. Дневниковая запись от 12 сентября 1899 г.

нашел партии, которая бы меня удовлетворила, а потому что партий и перегородок никогда не искал и не могу искать, будучи противником всех этих человеческих подразделений. <...> Этому я хотел бы приписать и настоящее мое избрание в депутаты: в ответ на мое отношение к человеку независимо от человеческих перегородок, и вы – как я хочу понимать настоящий момент, – смотрите сейчас независимо от каких бы то ни было перегородок и видите во мне просто человека»<sup>2</sup>.

Смотреть на людей «без всяких перегородок» его приучили с раннего детства.

Отец будущего ученого князь Алексей Николаевич Ухтомский был человеком со странностями. Следуя семейной традиции, он окончил кадетский корпус в Нижнем Новгороде, служил во флоте, на военных кораблях Балтики, но карьера его не задалась. Прослужив десять лет, он вышел в отставку в самом нижнем офицерском чине – мичмана. Стал служить в канцелярии Ярославского губернатора, но это длилось недолго. Распрощавшись со службой, он поселился в своем небогатом имении неподалеку от Рыбинска, стал председателем уездной земской управы. Но главной страстью князя было врачевание. Он лечил крестьян, ремесленников и всякий люд, съезжавшийся со всей округи, народными средствами: в их целительное действие он глубоко верил. Так, чахоточным больным он прописывал спать в конюшне, полагая, что воздух, пропитанный испарениями конского пота и мочи, для них целителен. Еще он прописывал им пить молоко с дегтем. Насколько помогало его врачевание, судить трудно. Платы он с пациентов не брал, «практика» приносила только убытки. Алексей Николаевич отдавался этому делу из великодушия и чувства долга.

О том, как содержать свое большое семейство, он не беспокоился, переложив заботы на супругу Антонину Федоровну. Деловая и решительная княгиня обладала твердым характером и коммерческой сметкой. Она пускалась в финансовые операции, не очень приличные для родового дворянства, но ее, это нимало не беспокоило. Она играла на бирже, давала ссуды под заклад, занималась скупкой и перепродажей домов и имений. Она крепко держала в руках бразды правления, никому не давала спуска и, прежде всего, своим подраставшим детям.

Детей было пятеро: три мальчика Александр, Алексей и Владимир (рано умерший), и две девочки – Елизавета и Мария. В чем состояли ее методы воспитания, неизвестно, но Алексею они

---

<sup>2</sup> А.Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 185-186

не нравились. Настолько, что родную свою мать он невзлюбил и до конца жизни испытывал к ней неприязнь. Только когда она умирала – на его глазах, в 1913 году, – он осознал, что «она была страстной натурой, гордой и честолюбивой матерью, и ее огромная трагедия [была] в том, что дети, которым она посвятила жизнь, не оправдали ее упований и не оценили ее трудов». Алексея Алексеевича долго потом грызла мысль, что он «доставил ей много огорчений своим непониманием и отчужденностью». Так записал с его слов В.Л. Меркулов весной 1932 года<sup>3</sup>. Однако и после смерти матери он говорил о ней редко и с недобрим чувством. В 1922 году, прийдя однажды к Алексею Алексеевичу, Анна Коперина застала его необычайно хмурым, с письмом в руках. Оказалось, что его расстроило письмо сестры Марии, пожелавшей его навестить. «Не люблю я ее – она вся в мать! – объяснил Алексей Алексеевич удивленной студентке. – И незачем ей сюда ехать! Помочь ей – я всегда помогу. Ведь не в этом дело»<sup>4</sup>. Тут же он пояснил, что его другая сестра, Лиза, к тому времени уже покойная, была совсем другой: чуткой, деликатной, самоотверженной. Она вышла замуж за его товарища, а он вскоре заболел чахоткой. Ночевки в конюшне не помогли. Лиза все силы свои положила на то, чтобы вылечить мужа, сама заразилась и умерла.



Князь Александр Николаевич Ухтомский с супругой  
Антониной Федоровной и детьми. Слева направо: Алексей,  
Мария, Александр, Елизавета (на коленях у отца)

Что Алексей Алексеевич ответил тогда сестре Марии, неизвестно, но она к нему не приехала.

---

<sup>3</sup> В.Л.Меркулов. Алексей Алексеевич Ухтомский. Очерк жизни и научной деятельности (1875-1942). М.-Л., Изд-во АН СССР, стр. 13.

<sup>4</sup> А.А.Ухтомский в воспоминаниях и письмах, стр. 65.

Столь суровое отношение к матери, даже к памяти о ней, тем более удивительно, что старший его брат Александр считал мать «идеально доброй женщиной», хотя ему терпеть ее всевластье приходилось куда больше, чем Алексею.

Алеше было чуть больше года, когда его отдали на воспитание старшей сестре отца княжне Анне Николаевне, и она увезла его в Рыбинск, где был у нее свой приземистый домик. Этот домик, на Выгонной улице в Рыбинских Зачеремушках, и стал его родным домом, а тетя Анна – самой большой, самой глубокой и самой нежной его привязанностью.

«Мне было дано громадное счастье в том, что я в детстве и юности глубоко и неразрывно любил и чувствовал тетю; это как бы разбудило меня на всю дальнейшую жизнь, заставив почувствовать и понять, как драгоценен, в то же время – непрочен и хрупок всякий человек», – писал он Е.И. Бронштейн<sup>5</sup>.

## 2.

Княжна Анна Николаевна была старой девой, личной жизни у нее не было, щедроты своего любящего сердца она отдавала племяннику. Впрочем, ее хватало и на многих других.



Алексей Ухтомский с тетей Анной

Она была «душечкой». Той самой – героиней чеховского рассказа. Но только «совсем не смешная, как показалось преобладающему множеству чеховских читателей». «Под влиянием того, что знал мою тетю, я совсем особенным образом

---

<sup>5</sup> «Пути в незнаемое», № 10, стр. 413. Письмо от 28 июня 1928 г.

воспринял “Душечку” Чехова. Помните, как она расцветала на глазах у всех, если было о ком мучиться и о ком заботиться, и увядала, если в заботах ее более не нуждались?» (Так же воспринял рассказ Чехова Лев Николаевич Толстой – это совпадение не случайно!)

Тетя Анна «имела возможность относительно покойно и безбедно жить в своем углу с некоторым “комфортом”, – пояснял Ухтомский. – Фактически она обо всем этом забывала и тряслась по осенним проселочным дорогам в распутицу, оставляя все свое, и с опасностью для жизни в ледоход тронувшейся Оки под Нижним переправлялась на ту сторону, и все потому, что у нее не было жизни без тех, кого она любила... А любила она, можно сказать, всех, кто ей попадался, требуя заботы о себе. То она воспитывает своих младших братьев в громадной семье моего деда, то берет к себе осиротевших детей от прежних крепостных, потом отдается целиком многолетнему уходу за параличной матерью, в то же время подбирает двух еврейских девочек, оставшихся после заезжей семьи, умершей от холеры, и отдается этим девочкам с настоящей страстью, потом, схоронив мать свою, берет меня, на этот раз с тем, чтобы умереть на моих руках. Под влиянием живого примера тети я с детства привыкал относиться с недоверием к разным проповедникам человеколюбивых теорий на словах, говорящих о каком-то “человеке вообще” и не замечающих, что у них на кухне ждет человеческого сочувствия собственная “прислуга”, а рядом за стеной мучается совсем “конкретный человек” с поруганным лицом»<sup>6</sup>.

В письме к другой своей confidentке он писал:

«Недавно мне доставили старые письма, которые мне писала тетя Анна в [Кадетский] Корпус, между ними и некоторые письма к тете в ответ из Корпуса в Рыбинск. Так все это переживалось теперь, через 40 лет, точно происходило вчера! Так ясно было значение моей любви к тете и ее лица для моего роста! Для меня то были нелегкие годы, в ранней юности приходилось сталкиваться с суровыми и нехорошими сторонами жизни; и вот весеннее солнышко в лице тети и моего единения с нею выправляло все <...>. И смысл, и цель, и полнота, и живое содержание человеческой жизни – в обществе, в общем деле с такими же другими, в способности раствориться в жизни других, то есть в любви (конечно не в смысле Эроса <...>). Вот оттого в нас и оказывается таким солнышком, дающим содержание и направление на всю последующую жизнь, это безраздельное

---

<sup>6</sup> Там же, стр. 386-387.

единство в детстве и юности с нашими ближайшими воспитателями»<sup>7</sup>.

Тетя Анна умирала от рака – долго и тяжело. Он видел ее страдания, понимал неизбежность скорой разлуки, и мысли об этом терзали его душу. Свои переживания он изливал в дневнике, эти записи невозможно читать без глубокого волнения:

«Я не могу быть довольным действительностью даже тогда, когда нарочно смотрю лишь на лучшие ее стороны. Вот, например, – сейчас, еще жива моя единственная тетенька, я еще увижу ее, еще буду с ней, Бог даст, говорить, еще она пожалеет меня; разве это не такие сладостные минуты, о которых через несколько месяцев, может быть, я буду со скорбью вспоминать, как о безвозвратно утерянных? Я понимаю, *сколь велики и хороши эти минуты*; и между тем вижу, что у меня нет сил выпить их сполна, испить до дна их благо. Нет, очевидно, и тут есть очень многое, чего надо *желать* и просить у Бога... Итак, я еще должен впереди учиться, воистину насладиться до полноты – *полнотою жизни моей ненаглядной, моей единственной старушки*. Господи! Я Тебе только и только Тебе, который любит ее, мою единственную старуху, моего единственного друга, мою “печальницу”, – более несравненно, чем я, – Тебе только отдам ее с истинной радостью. Возьми ее, успокой, утешь ее, скорбную, неутешную, укрой ее, столько перетерпевшую, утешь ее, столько плакавшую, прости ее, столь любившую людей и Тебя, утешь ее в тех, кого она любила, наконец, *дай ей полноту жизни, Твоей святой, блаженной жизни...*

Ужасная невыносимая тяжесть на груди. Я верую, и *Господь поможет моему неверию*, что тетя идет к тому, кто любит ее так, как ни я и никто другой ее любить не может. Но ее страдания? Я и тут верую, что Господь облегчит их, спасет даже ее от них. Но еще мысль: как же я буду жить без нее? Как это я больше не буду знать, что она ждет меня, моя тихая, любящая, ждет, чтобы обогреть, попечаловаться обо мне. Господь, помилуй и поддержи!

Нет, я *без нее*, собственно, прямо жить не могу. Я должен быть уверен, что она продолжает *печаловаться* обо мне, следить за мной, стоять между мной и Всемилоостивейшим Богом, молиться непрестанно обо мне. Спаси нас с ней, Господи! Спаси нас всех!»<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 633-634. Письмо к Ф.Г.Гинзбург от 25 декабря 1931 г.

<sup>8</sup> Там же, стр. 88-89. Дневниковая запись, 12 декабря 1897 г.

Смерть тети Анны (1898) стала для 23-летнего Ухтомского таким потрясением, какого он не испытывал больше никогда в жизни, хотя потрясений в ней было предостаточно. Через 20 лет он вспоминал об этой минуте с той же острой болью в душе: «Я с самого молодого возраста знаю ту муку, на которую обречена в мире подлинная любовь и которую я пережил, лишившись покойной тети»<sup>9</sup>.

Душевная связь с тетей Анной была у него настолько прочной, что даже смерть не смогла ее ослабить, лишь крепче привязала Алексея к церкви, ибо «это единственное место, где наверное говорят, что моя тетя ЖИВА; единственное место, где тетя моя явно жива, – куда не входят, если тетя не жива»<sup>10</sup>.

Свою трепетную любовь к тете Анне он перенес и на ее домик, в котором ему было так тепло и уютно. Уже на закате жизни он часто возвращался в него в своих мыслях: вспоминал мягкий диванчик в простенке между двумя окнами, на который он любил забираться с ногами, пока служанка Евгения Васильевна подметала пол. Из-за уборки овальный столик от дивана был отодвинут. Сквозь разноцветные оконные стекла пробивались солнечные лучи. В руках он держал маленькую книжку – по ней тетя учила его читать.



Дом княжны Анны Николаевны Ухтомской в Рыбинске

Любовь к домику тети Анны сливалась с любовью к родным заволжским местам, к своей малой родине.

В стародавние времена глухие леса Заволжья служили убежищем для староверов. Не приняв церковную реформу Никона,

---

<sup>9</sup> «Пути в незнаемое», вып. 10, стр. 411. Письмо к Е.И.Бронштейн-Шур от 15 марта 1928 г.

<sup>10</sup> Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 108-109. Дневниковая запись, 9 августа 1899 г.

они бежали сюда от преследований светской и церковной власти. Под защитой дремучих лесов и топких болот они здесь могли жить по заветам отцов, бережно сохраняя древние предания, чувство братства между *сотаинниками*. Здесь они постепенно укоренялись, обзаводились хозяйством, но со временем леса вырубались, болота осушались, прокладывались какие-никакие дороги, по ним, со звоном бубенцов, приезжали светские и церковные начальники. Перед местными жителями вставала дилемма: покориться бесовской власти или снова сниматься с насиженных мест и уходить дальше, в еще более глухие места. Слабые духом шли на компромиссы: внешне покорялись, затаенно продолжая держаться старой веры и обычаев; громко молились за царя-батюшку и мысленно проклинали его как антихриста. Стойкие снимались и уходили дальше в глушь. Обживались и через поколение-другое снова оказывались перед той же дилеммой. «Хозяйство, привычка к своей земле и к родному углу, неизбежные браки с чужими, а за этим – вновь и вновь исправник, правительственный миссионер и всякая мирская нечисть. На человеческой слабости искони ловился человек, как карась на приманку!» – писал А.А. Ухтомский<sup>11</sup>.

Тем большее восхищение вызывали у него те, кто продолжал уходить от «мирской нечисти», отказываясь вообще от хозяйственного обзаведения, считая грехом «иметь постоянное место жительства, постоянный кусок хлеба, паспорт и приписку к месту». Божьи странники жили исключительно подаением, полагая, что «воспитывают в себе силу закаленного смирения, а в других – силу человеческого милосердия»<sup>12</sup>. С видимой гордостью за них Ухтомский писал своей ученице:

«Таковы наши странники, бедные мужики заволжских весей – отдаленные духовные *потомки еврейских пророков, бежавших от городов и благ современного им человеческого жилья, предвидя их неизбежную гибель, во имя Будущего!* Я спрошу Вас: кто мудрее – исправники, священники, профессора и министры, которые при Екатерине и Николае I объявляли, что своей политикой строят нерушимый “зде пребывающий град Великой России”, или темные мужики-странники, принципиально уходившие ото всего этого кровавого и блестящего тризница в убеждении, что всему этому конец на носу и только Правда пребывает и ведет к всечеловеческой радости? Я думаю, что странники мудрее! С далекого детства я чувствовал себя с ними, а

---

<sup>11</sup> Там же, стр. 607. Письмо к Ф.Г. Гинзбург от 17-18 ноября 1927 г.

<sup>12</sup> Там же, стр. 608.

не с исправниками, священниками, профессорами и министрами, хоть и попал сам в профессора! Но я – профессор странник»<sup>13</sup>.

Прекрасно зная историю старообрядчества, Ухтомский с увлечением рассказывал о протопопе Аввакуме, боярыне Морозовой, о других мучениках за веру, о групповых, целыми деревнями, самосожжениях тех, кто предпочитал гибель вероотступничеству. В сказаниях и легендах о былом он видел живую душу народа; «соборность» простых людей. Их открытость к каждому встречному он противопоставлял образованному обществу, зараженному, по его мнению, рационализмом, солипсизмом<sup>14</sup> и «европейским» индивидуализмом.

В студенческие годы, да и позднее, будучи почтенным приват-доцентом университета, он почти каждое лето, закинув котомку за спину, отправлялся в пешие походы по волжским и вообще среднерусским лесам, деревням и весям, черпая душевные силы из общения с природой и простыми людьми – крестьянами, мастерами, дровосеками, плотогонами, странниками, торговым и иным людом. Князь был поразительно неприхотлив: ночевал, где придется – нередко, под деревом на голой земле, подложив котомку под голову; ел, что придется – бывало, целыми днями не ел ничего, кроме лесной ягоды.

Он жадно впитывал рассказы случайных попутчиков о своей жизни, любил слушать народные сказания и предания, цепко запоминал подробности. Он вслушивался в особенности речи жителей разных мест; характерные для них словечки, выражения, интонации навсегда западали ему в память. Уже в пожилом возрасте, никуда не выезжая из Ленинграда, он, по двум-трем словам собеседника безошибочно угадывал, из какой тот местности и из какого слоя общества. Его особым расположением пользовались земляки-волжане, волгари, как он их называл. До конца жизни он радовался встрече с каждым из них, никогда их не забывал, поддерживал связи со всеми, с кем было возможно. И мысленно снова и снова отправлялся в родные места, находя даже много преимуществ в том, чтобы присутствовать там только виртуально, «не таская за собою свою тяжелую и массивную персону».

---

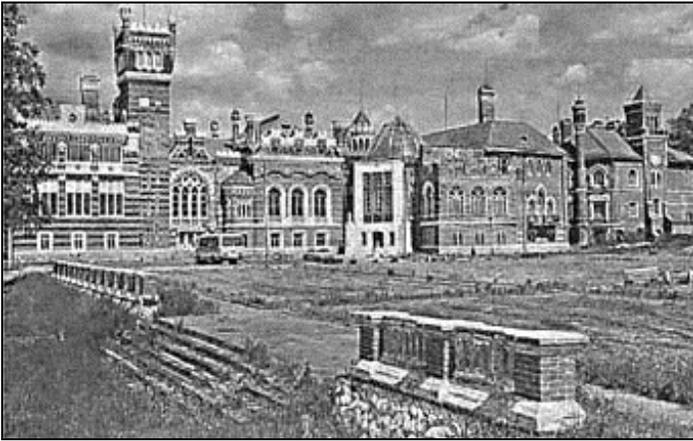
<sup>13</sup> Там же, стр. 608-609.

<sup>14</sup> Солипсизм (от лат. *solus* — «единственный» и лат. *ipse* — «сам») – философская позиция, признающая несомненно существующим только собственное индивидуальное сознание. Весь окружающий мир – это только иллюзия, порожденная сознанием индивида. В этике термин «солипсизм» обозначают крайние формы эгоизма и эгоцентризма.

3.

Восьми лет он был отдан в Рыбинскую гимназию и до конца жизни с теплотой вспоминал учителей Василия Николаевича и Василия Матвеевича – они казались ему очень умными, и законоучителя отца Николая – он был добрым. В гимназии он проучился пять лет, вспоминал их как очень счастливые годы. Он рассказывал о них со вкусом, со многими живыми подробностями, словно речь шла о случившемся вчера, а не 30-40 лет назад. Когда друг детства А.А. Золотарев спросил его, откуда это чудо его памяти, он ответил:

– Памяти дает силу и крепость любовь. На любовь наворачтываются все впечатления, как на веретено. Не будет любви, не будет и памяти.



Нижегородский графа Аракчеева Кадетский корпус

Когда ему исполнилось 13 лет, он был определен в кадетский корпус им. графа Аракчеева в Нижнем Новгороде. Такова была семейная традиция. Этот кадетский корпус окончил его отец, сюда был отправлен старший брат Александр, и для родителей было вполне естественно сюда же определить Алексея.

Отправки в корпус он ждал с мальчишеским нетерпением и, проходя по улицам Рыбинска в надоевшей гимназической шинели, представлял себе, как через год, на каникулах, будет здесь шеголять в молодежавшей форме кадета. Но когда, оказавшись, наконец, в корпусе, среди чужих незнакомых подростков, спешивших на построение, и суровых воспитателей-офицеров, он увидел в окно согбенную спину удаляющейся тети Анны, сердце его захолонуло от боли и одиночества. Подросток с

нежной, ранимой душой попал в чуждую среду, где царили порядки казармы, за малейшую провинность сажали в карцер, а то угощали и розгой.

Казенная атмосфера закрытого военного заведения была для него удушающей. В свободные минуты, вместе с приехавшим с ним из Рыбинска гимназистом Андреевым и другими новичками, он любил убежать в сад, но это строго запрещалось, и горе было тем, кто попадался на глаза грозному дядьке-надзирателю. На втором году пребывания Алексея в Корпусе в нем вспыхнула эпидемия дифтерита. Беспощадная болезнь унесла восьмерых кадетов, в их числе близких друзей Алексея. Сам он уцелел, но выздоравливал долго, пропустил много занятий и уехал на каникулы с двумя переэкзаменовками.



Ухтомский – курсант кадетского корпуса

Сиро и одиноко было ему в кадетском корпусе! Только переписка с тетей и ее редкие приезды помогали поддерживать душевное равновесие от каникул до каникул, на которые он, конечно, уезжал в родные места.

Здесь ему было хорошо! Хорошо было бродить по лесам, купаться в речке, в горячую пору сенокоса подыматься затемно, чтобы, встроившись с косой в общий ряд с мужиками, махать ею от зари до зари, а потом, испытывая сладкую ломоту в перетруженном теле, блаженно валяться на сеновале, прислушиваясь к тому, как затихают внешние звуки и становится все слышнее тихий рокот реки – великой вековой труженицы. Так он мог долго лежать без сна и размышлять о том, как приходили и отходили в лучший мир поколения предков, а река все струилась и струилась, перекачивая по дну камня, подтачивая исподволь

берега, намывая песчаные отмели, делая свою неустанную работу и не замечая того, что происходит на ее берегах. В бессонной истоме его охватывало особое чувство слияния с природой с вековечным укладом жизни, с прошлым и будущим.

Обучение в Кадетском корпусе не ограничивалось муштрой и военными дисциплинами. Кадеты изучали иностранные языки, математику, историю, естественные науки. По утверждению близкого друга Ухтомского А.А. Золотарева, учеба в Кадетском корпусе оказала большое влияние на Алексея Алексеевича. Он «очень высоко ставил это свое военное образование и всегда с горячей благодарностью говорил о своих корпусных преподавателях и воспитателях». А брат А.А. Золотарева Сергей, литератор и педагог, много работавший в военных учебных заведениях, «особенно подчеркивал в манере мышления, разговора и письменного изложения своих мыслей у Ал. Ал. именно его военную школу»<sup>15</sup>.



Иван Петрович Долбня

Математику в Корпусе преподавал уже упоминавшийся Иван Петрович Долбня, человек чуткий и всесторонне образованный, будущий профессор, а потом и ректор Горного института в Петербурге.

Ухтомский вспоминал добром и других учителей, в особенности А.И. Кильчевского. Это был «милый и мудрый старик, воспитывавший нас и нашу мысль на Аристотеле. Уроки

---

<sup>15</sup> <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=14>

его были совсем особенные: не было заданий и формальных опросов. Он приходил в зимние утренние часы и, в полутемном классе, начинал, как он сам выражался, “бредить”, поднимая вопросы логики, эстетики и литературы»<sup>16</sup>.

Учеба давалась Алексею легко, оставалось время и на самообразование. Книги для неурочного чтения он подбирал очень тщательно, в этом ему помогал чуткий наставник И.П. Долбня. В.Л. Меркулов, просматривая рабочие тетради кадета Ухтомского, обнаружил в них выписки из сочинений Аристотеля, Декарта, Спинозы, Канта, Гегеля, Фейербаха. Выписки сопровождались собственными комментариями, из них видно, как его мучили «противоречия философских систем, стремящихся объяснить законы бытия»<sup>17</sup>.

Каждая система объясняла их по-своему, значит, неверно или, как минимум, односторонне. С юношеским максимализмом он ставит перед собой задачу – найти эти законы!

Чем ближе подходили выпускные экзамены, тем становилось яснее: для военного поприща он не создан. Окончив корпус в 1894 году, Алексей категорически отказывается поступать в Академию генерального штаба, куда его пытался определить отец, но твердо решает учиться дальше.

Его старший брат Александр первым порвал с семейной традицией. Он был почти на три года старше Алексея и Кадетский корпус окончил на три года раньше. А затем, вопреки протестам родичей, поступил в Московскую духовную академию, располагавшуюся в Троицко-Сергиевском посаде (Звенигороде). На это решение повлияла случайная встреча братьев на волжском пароходе, когда они на очередные каникулы возвращались из Нижнего Новгорода в Рыбинск, с широко известным проповедником Иоанном Кронштадтским. Знаю об этом из письма В.Л. Меркулова, который попутно высказал несколько саркастических замечаний о знаменитом священнослужителе, имевшем гипнотическое влияние на двух последних российских самодержцев.

Но если Александр сразу же решил последовать совету отца Иоанна, то Алексею такое решение далось нелегко. Важную роль сыграло поощрение Ивана Петровича Долбни. Он уверил юношу, что Московская духовная академия – это не отгороженная от мира обитель, а нормальное учебное заведение, где можно

---

<sup>16</sup> Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 531. Письмо к И.Каплан от 14 октября 1923 г.

<sup>17</sup> В. Меркулов. Ук. соч., стр. 16.

получить отменное философское, историческое и, конечно, религиозное образование. Из ее стен вышло немало крупных профессоров и общественных деятелей. Так, известный поэт и религиозный философ В.С.Соловьев после университета слушал лекции в Духовной академии. В.Л. Меркулов записал слова Ухтомского:

«Еще будучи в корпусе, я был склонен серьезно изучать теорию познания, психологию, историю и языки. В московской Духовной академии преподавал в те годы знаменитый историк России Василий Осипович Ключевский и другие видные профессора Московского университета. В академии было хорошо поставлено преподавание философии, психологии и древних языков. И вот это-то и определило мое решение поступить учиться в академию вопреки воле моих родителей»<sup>18</sup>.

Можно, однако, не сомневаться, что главной побудительной причиной была все-таки религиозность юноши, но этого Ухтомский Меркулову не сказал, или Меркулов этого не записал, или записал, но из его книги это место было вымарано: передовому советскому ученому полагалось быть безбожником, желательным, воинствующим!

В Духовной академии Ухтомский, по его собственным словам, смог «вникнуть ближе и конкретнее в идеи чистого христианства и в исторические судьбы этих идей, а о важности такого вникания для современного образованного человека нечего и говорить»<sup>19</sup>.

А.А.Золотарев свидетельствовал, что Ухтомский «считал эти годы, проведенные им у Троицы, счастливейшими и плодотворнейшими для своего духовного возрастания».

По свидетельству того же Золотарева, возвращаясь на каникулы в Рыбинск, Ухтомский все активнее участвует в местной церковной жизни, причем, «начинает отчетливо проводить свою линию по защите дедовщины».

Смысл слова *дедовщина* в те времена не имел ничего общего с нынешним. Оно означало приверженность старине, сложившимся издревле обычаям и традициям.

Вместе с двумя рыбинскими священниками Ухтомский организует церковные службы со старорусским пением и чином богослужения. В домике тети Анны он закладывает основу своей коллекции старопечатных книг и старинных икон.

---

<sup>18</sup> Там же, стр. 18.

<sup>19</sup> Письмо Ухтомского к некоему Шелекову.

<http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=9>, См. также: И.Кузьмичев. Ук. соч., стр. 162.

«Собирательство икон идет тем успешнее и счастливее, что глубоко верующий и свято чтущий иконы Ал. Ал. в довершение всех качеств, необходимых собирателю старой иконы, еще и иконописец — сам пишет образа, входя в самые тайники и технические тонкости нашего древнего искусства иконописи», — указывает Золотарев. По его уверению, Ухтомский также издал в Рыбинске «брошюру о старом церковном пении против новшеств, против итальянщины и вычуров столичных и провинциальных “Трибушных” — концертантов». Известны также две статьи А.А. Ухтомского «О церковном пении» более позднего времени. Первая из них была опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в 1910 году.

Учеба в Духовной академии увенчалась успешной защитой кандидатского диплома на тему: «Космологическое доказательство Бытия Божия». Само название дипломной работы говорит о том, сколь грандиозен был замах несостоявшегося богослова.

В Московской духовной академии, как ни странно, начался его непростой и нескорый путь к старообрядчеству. Об этом говорят записи, сделанные им при чтении книги «У троицы в Академии», посвященной ее истории за сто лет. Записи эти скопировал и привел в своих воспоминаниях А.А.Золотарев. Ухтомский пишет о здоровой новой линии, начатой в Академии ее ректором А.В.Горским. Горский умер в 1875 году — в тот год, когда Алексей Ухтомский родился. Но в Духовной Академии он оставил очень глубокий след. Ухтомский учился у его учеников. «А.Лавров, проф. канонического права, преосвященный Алексей, викарий Московск., его ученик Н.Заозерский. Отсюда традиции к воссоединению со старообрядцами. Я ничего от себя. Все от Е.Голубинского, А.Лаврова и Н.Заозерского»<sup>20</sup>.

Как подчеркивал в своих воспоминаниях Золотарев, «и вторую свою — духовную! — школу Ал. Ал. очень высоко ставил и любил свою мать воспитательницу (Alma mater) глубокою сыновней любовью»<sup>21</sup>.

Тем не менее, в Академии он не смог найти ответа на вопросы о *законах бытия*, которые его волновали больше всего.

В том, что Бог существует, что он сотворил мир и человека, наделил его разумом и волей и обязал следовать своим заповедям, — в этом Ухтомского убеждать было ненужно: он это

---

<sup>20</sup> Цит. по: А.А.Золотарев, Ук. соч., <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=14>

<sup>21</sup> Там же.

впитал если не с молоком матери, то с воздухом заволжских лесов. Ну а то, что Бог – первопричина всего сущего, он доказал, или ему так казалось, в своей дипломной работе. Но его мучил вопрос – что заставляет человека стремиться к Богу, верить в Божеские заповеди, возносить молитвы, различать добро и зло? Какова природа религиозного опыта, связанного с отказом от многих житейских радостей, а порой и с гонениями (как терпели гонения старообрядцы). Что толкает религиозных людей на подвижничество, аскетизм, что заставляет добровольно терпеть лишения, а то и подвергать себя истязаниям, даже идти за свою веру на смерть, примерами чего полна история религии? И почему разные люди так по-разному понимают религиозный долг, что приводит к столкновениям религий, которыми тоже полна история? У такого, по видимости, *противоестественного* поведения должны быть *естественные* причины, гнездящиеся в самой природе человека, в его психике, определяемой, в свою очередь, физиологическими отправлениями организма, то есть биологически. Впоследствии он запишет в дневнике:

«В Духовной Академии у меня возникла мысль создать *биологическую теорию религиозного опыта*. При этом основой религиозного опыта заранее предполагалась известная физиологическая роль его, т.е. а priori предполагался и затем раскрывался биологически целесообразный момент богопочитания»<sup>22</sup>.

Первоначально он формулировал эту мысль не столь четко, но не менее выразительно:

«Я с детства знаю молитву, люблю ее. Мне хочется оправдать ее другим [перед другими]. Ее отрицают, и когда отрицают, часто ссылаются, как на основание, на науку: будто бы молитва не согласна с самим духом, каким живет наука. Науку нельзя не любить, нельзя не любить начала, какими живет чистая наука, нельзя не любить Гегеля. Мне лично любовь к чистой науке не мешала любить молитву; этого мало, – вдохновение научными началами оправдывало мне настроение, каким я творил молитву. Мне и хочется уяснить это, оправдаю ли я молитву из начал науки, – чтобы оставить отрицание молитвы на счет безумного упорства, каким всегда встречает тьма правду и свет. Реальное же побуждение искать правду у меня не исчезнет, пока буду помнить тетю Анну. На фоне бесконечного Ничто во мне борются великие

---

<sup>22</sup> А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 196. Дневниковая запись, 10 мая 1921 г.

традиции, данные мне прошлую жизнью человечества. И их я должен примирить»<sup>23</sup>.

4.

Когда старший брат Александр узнал о планах младшего брата после Духовной академии поступить в университет, чтобы изучать естественные науки, он пришел в негодование. Он знал, что университеты – это рассадник безбожия, и заклеил Алексея чуть ли не вероотступником. Его собственная жизненная дорога была определена без сомнений и колебаний. Она напрямик вела к Богу, – по крайней мере, он так считал. Окончив Духовную Академию, он постригся в монахи: стал иеромонахом Андреем. Через несколько лет он будет рукоположен в епископы и в этом звании пройдет свой крестный путь до конца.



Алексей Ухтомский после окончания Духовной академии

Старший брат полагал, что младший снова последует его примеру и тоже примет постриг. Или пойдет служить по духовному ведомству. Или, на худой конец, поедет преподавать в какую-нибудь провинциальную семинарию. Но – в университет! На естественное отделение?! Резать лягушек и смотреть, как дергается лапка под воздействием электрического тока или серной кислоты? В этом он видел измену вере и измену России!

Алексей был ужасно раздосадован реакцией старшего брата. Он надеялся на сочувствие или хотя бы на понимание, а наткнулся на грубую попытку обстричь его по своему облику и подобию. Александр не ведал сомнений, был непогрешим в собственных глазах и гордился своей непогрешимостью. Алексею

---

<sup>23</sup> Там же, стр. 100. Дневниковая запись от 15/16 мая 1899 г.

это было чуждо, если не сказать – претило. Через много лет он напишет Е.И.Бронштейн:

«Трогателен, мил и неисчерпаемо поучителен вообще человек, когда он прост и живет перед лицом своей совести, ища лучшего! И везде он противен и жалок, когда самоуверен, самодоволен и горд!...»<sup>24</sup>

А.В.Копериной (Казанской) Алексей Алексеевич говорил, что «в детстве, а потом в Кадетском Корпусе и Духовной Академии брат имел на него очень большое влияние и был авторитетом. Но когда он постригся в монахи, стал отцом Андреем, да вместо смирения вознесся, поставил себя превыше всех и начал проповедовать не только своей пастве, но “поучать” и его, своего брата, вот тут они с ним крупно повздорили, а их дороги разошлись навсегда»<sup>25</sup>.

Но все было не так просто. Хотя Алексей не подчинился натиску волевого брата, сомнения в его чувствительную душу запали, а правильнее сказать, никогда не покидали ее. Отвергнув попытки брата навязать ему свою волю, он отправился... в монастырь! Несколько месяцев он прожил в старинном Иосифо-Волоцком монастыре под Волоколамском – с его величественными соборами и устремленными ввысь колокольнями, богатейшей библиотекой, росписями, иконами, но только еще больше укрепился в мысли, что монашество не для него. Обстановка располагала к безделью, а в основе всего лежало «глубокое, непоколебимое самомнение, самая твердая и безнадежная уверенность в исключительной привлекательности [такого] времяпрепровождения». «Надо не оставаться, а бежать из такой обстановки, которая лишает энергии наши убеждения», ибо «убеждения, не будучи осуществляемы, атрофируются; обстановка изгаживает наши убеждения»<sup>26</sup>.

Но и впоследствии Ухтомский не раз возвращался к мысли уйти в монастырь. В 1916 году, в одном из писем к В.А.Платоновой, он даже успокаивал ее, что с его уходом в монастырь их духовная связь не прекратится. А в 1922 году, в минуту особой откровенности, он вдруг сказал А.В.Копериной:

«Но ты пойми меня – ведь я монах в миру! А монахом в миру быть ой как трудно! Это не то, что спасать свою душу за

---

<sup>24</sup> «Пути в незнаемое», вып. 10, стр. 427. Письмо к Е.И. Бронштейн-Шур от 30 авг. 1928 г.

<sup>25</sup> А.А.Ухтомский в воспоминаниях и письмах, стр. 50-51

<sup>26</sup> А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 95. Дневниковая запись, 18 янв. 1899 г.

монастырскими стенами. Монах в миру не о себе, а о людях думать должен!»<sup>27</sup>

Некоторые авторы склонны понимать это буквально и даже ссылаются на документ, удостоверяющий, будто А.А.Ухтомский в 1921 году тайно принял монашество – под именем Алипий, а в 1931 году Алипий – тоже тайно – стал епископом Охтинским. Однако неоспоримых данных о том, что мирское имя Алипия – Алексей Ухтомский, по-видимому, нет.

По утверждению В.Л.Меркулова, желая проверить себя в конкретном деле, Алексей Алексеевич, окончив Духовную академию, поехал учительствовать в одну из сельских школ Волоколамского уезда Московской губернии. Об этом коротком периоде своей жизни Ухтомский потом не вспоминал и не рассказывал. Никаких других указаний на этот счет я не нашел, так что сомневаюсь в его достоверности. Уж не пришлось ли Меркулову замаскировать под учительство в школе недолгое пребывание героя его книги в монастыре – в том самом Волоколамском уезде!

В дневниках Ухтомского этого периода не обозначено место, где делались записи. Зато они полны напряженными раздумьями о своем дальнейшем пути, о смысле жизни, без которого сама жизнь становилась не в радость, даже возникла мысль о самоубийстве. Впрочем, это было лишь настроение минуты: он вовсе не ощущал себя заблудившимся в непроходимом лесу.

«Смысл, задача моей жизни (в конкретном смысле) – научная работа, выяснение научного мирозерцания с точки зрения, например, христианства. Возвышенная, спокойная критика, спокойное преследование, спокойный культ истины (в духе И.П. Долбни) – должен наполнить мою душу»<sup>28</sup>.

И в другом месте гораздо определеннее:

«Мы привыкли думать, что физиология – это одна из специальных наук, нужных для врача и не нужных для “выработки мирозерцания”. Но это столь же неверно, как и положение, что не дело врача, а дело специально священника или метафизика – вырабатывать мирозерцание. Теперь надо понять, что разделение “души” и “тела” – есть лишь <...> психологический продукт; что дело “души” – выработка мирозерцания – не может обойтись без законов “тела”, и что физиологию надлежит

---

<sup>27</sup> А.А. Ухтомский в воспоминаниях и письмах, стр. 65.

<sup>28</sup> А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, 103. Дневниковая запись, 16 июля 1899 г.

положить в руководящие основания при изучении законов жизни (в обширном смысле)»<sup>29</sup>.

(полностью статью можно прочитать на сайте «Семи искусств»)

*(продолжение следует)*



---

<sup>29</sup> Там же, стр. 93. Дневниковая запись, 30 ноября 1898 г.

Илья Корман

## Звезда Юд

*Кусочки прочитанного, осколки скрижалей  
впились мне в очки и желудочки.*

Михаил Юдсон, «Лестница на шкаф»  
*Раз жолта звезда – аз есмь парх тогда*

Там же



**е пропустите!** В Москве в издательстве «Зебра Е» вышла в свет книга-трилогия Михаила Юдсона «Лестница на шкаф». Первые две части – «Москва златоглавая» и «Нюрнбергский дневничок» – были изданы ещё в 2003 году в Санкт-Петербурге, а в 2005 в Москве в издательстве ОГИ. Теперь к ним добавилась «БВР» (Ближневосточная республика), по объёму более чем вдвое превышающая первые две, вместе взятые. Книга содержит «Послесловие» Дмитрия Быкова (появившись в Интернете, оно приобрело заголовок: «О пользе ненависти»).

Указанный жанр «Лестницы» – «Сказка для эмигрантов» – весьма условен. Как, наверное, всякое новое и значительное произведение, «Лестница» находится на стыке разных жанров: тут и сказка, и сатира, и историческая фантастика, и элементы фантастики «научной» (ниже мы скажем об этом подробнее) и стилизации (сказы). Собственно, «Лестница» формирует свой собственный жанр, которому, возможно, в будущем придумают специальное название.

Но главное в «Лестнице» – и это выделяет её в ряду произведений русской литературы – её небывалый, ни на что не похожий язык. Именно язык является содержанием «Лестницы» и её главным героем.

Начнём с особых «сделанных» слов, в обилии рассыпанных по всей «Лестнице». Юдсон носит по тексту, как творящий дух, как весёлый вивисектор, оставляя после себя слова, сшитые попарно, слова-кентавры, слова-многоножки. Главное из них, по частоте употребления и по значимости: *Колымосква* (= Колыма + Москва) – жуткий, если вдуматься, образ. Он возникает в «БВР», придя на смену традиционной Москве из «МЗ». Затем – *льдынь* (= лёд + латынь): язык, на котором говорят в Колымоскве.

Ну, и множество разных *геттора*, *злобры*, *сивонисты*, *гипотезка*, *агностичизм*, *куфияд*, *нивснх* (= нивх + СНХ), *монотонотеизм*, *инквдзиция*, *кендалонет* (глагол 3-го лица, ед. числа, наст. времени. От ивритских слов *кен* и *ло*: *да* и *нет*), *Арфадия* (= арфа + Аркадия, вариант страны Муравии), *юдитюд* (по аналогии с негритюдом), *Тородаро* (Тора <Пятикнижие > + дар = «Дарование Торы», иудейский праздник. Впрочем, и о Генри Торо не нужно забывать).

По поводу последних двух терминов можно немного порассуждать. В «Лестнице» немало изобретённых, выдуманных слов (не обязательно кентавров) с иудейской (еврейской) коннотацией: *юдитюд*, *пархидаизм*, *пархеолог*, *вспархнуть*, *пейсажи*, *юдофон*, *айзик* – трёхколёсная легковушка, *марковна* (она же *меркава́*) – «боевая инвалидная коляска», *менорка* – самодельный фонарь из старой фары, *раванóметр* – измеритель раввинской учёности, *вечный движидель*, «*Эткинд*» – «маленькая серебряная самописка с вечным пером», *изер* – язык жителей БВР.

«Жидивска, мол, экпаньсья нэ мает кордонов!». Да, «Лестница» пропитана еврейским духом (как, впрочем, и русским). По настойчивости и неотступности, с какими подаётся еврейская тема, с прозой Юдсона может сравниться только проза Горенштейна. Но, конечно, у Горенштейна всё «серьезнее» и трагичнее – ну, а у Юдсона сплошь игра, поразительные словесные кульбиты и сатирическое ёрничество и юродство ... или, лучше сказать, *юдство*.

Юдсону и его герою еврейской темой «юдце защемило», как сказал по другому поводу дедушка Арон.

(В «БВР» Илья часто вспоминает – благожелательно – своего дедушку Арона, носителя иудейских традиций. Поскольку *Арон* на иврите означает *шкаф*, то выражение «Лестница на шкаф» можно трактовать как «Лестница к дедушке Арону», то есть возвращение к традициям, к корням, к истокам. Такое толкование ничем не хуже прочих, хотя вряд ли оно предусматривалось Юдсоном).

**Нижние миры и их алфавиты.** В первом – сверху – подземном мире, куда Илья попал через люк, живут «Сироты Льда»: «отпавшие от верхнего пустославия, разуверы».

«На ватниках у них сзади и спереди были нашиты белые большие буквы – от «азеф» до «ядут» – вместо имени». Люди-буквы. Называются их имена (вероятно, не всех): Ферт, Глаголь, Ерь, Люди, Мык, Сиж, Тырь, Пуг, Задрыго. В прошлом был ещё Фита.

Как видим, все имена (кроме «Азеф») напоминают буквы глаголицы или кириллицы. Во всяком случае, у них славянское звучание.

Илья соглашается жить с этими *откольниками* и *разуверами* – и получает имя «Люди краткий», то есть «Юди».

А ещё глубже, глубоко под землёй, живут так называемые Совы, которых «Сироты» боятся – и, кажется, необоснованно. У «Сирот»-разуверов имеются в отношении Сов предрассудки, сходные с предрассудками «верхних» – жителей Колымосквы – в отношении «пархов».

Говорят «Сироты»:

«– Они очень древние. А сейчас разморозились и снизу лезут. У них – цивилизация...

– ... у них уже не человечьи ступни, а начисто там все эволюционировало, ороговело, пожелтело (внимание! Появляется жёлтый цвет, цвет иудаизма и «пархов» - *И.К.*) – вроде птичьих лап. Поэтому – Совы.

– Совы, они ведь что делают – они *советуют*, тайно... Всем заправляют. Делами ворочают. Подмяли...

<...>

Пришли и володеют, пархеоптериксы...»

Имена Сов в кабаке: Как, Вав, Нун, Тэт, Мем, Ици (читаются одинаково в обоих направлениях). Сходны (или совпадают) с названиями букв еврейского алфавита.

Можно предположить, что Совы – потомки потерянных колен, эволюционировавшие в птиц (ср. рассказ Бернарда Маламуда «Еврей-птица». Кстати, выражение *еврей-птица* встречается в «НД» и относится к доктору Когану).

Ратмир, правда, считает, что Совы – просто «Погрешности ... Ошибки зодиака, хворь бытия – альцгеймер вейнингера. Их снова больше нет», ну и пусть себе считает. А мы будем считать иначе.

### **Игры и стихи.**

«Пряму ехати – живу не бывати!» Словечка в простоте не скажет!

Как из камня сделать пар,

Знает доктор наш Гаспар!

И делает! Создаётся атмосфера перегретого пара: избыточных смыслов, фантастических толкований.

Как Моисей высек воду из скалы, так Юдсон высекает из слов новые смыслы – бисером, искрами, гиляндами. Вот уж где подлинная «игра в бисер»! Только у Гессе Игра – дело серьёзное, ответственное, ну а у Юдсона игра – дело весёлое, лёгкое, иногда

как бы и дурашливое, а временами и кощунственное. Да уж, случается, чего уж там... Достаточно вспомнить сцену оргии во время праздника Песах (с. 374-379). Сцена шокирует, а ради чего? Словесные игры в ней, правда, продолжаются – так ради них?

Мы ещё вернёмся к этой теме в разделе **Упрёки**.

Наряду со взглядом сатирика, в стократную лупу разглядывающего общественные и человеческие недостатки, есть и простой тихий мягкий юмор. Вот после визита Ильи в семейство Кац: «А мама, тихо улыбаясь, собирала со стола в гостиной хрусталь и серебро, шепотом, в стихах, пересчитывая вилки». Или: «Разбитная Капитолина Федотова, внезапно зардевшись, сунула Илье записочку: «Элия + Капитолина. Дав. вмес. делать уроки!!!»

Юдсону доступна мягкая, понимающая, дружественная человеку природа: см. описание жизни в Арфадии или утреннюю прогулку по солечной Лазарии.

Особо следует сказать о поэтических строках, малых поэтических фрагментах. Логически и, так сказать, *психологически*, их появление в объёмлющем прозаическом (зачастую *слишком прозаическом*: дёрганом, рублёном) тексте слабо мотивировано. Графически они тоже никак не выделены. Но они не должны пропасть.

Некоторые, быть может, возникли даже помимо воли автора – и остались им незамеченными:

~ кишенье жизни, ода од, заросший пру-и-рвуд <т.е. пруд.  
Здесь обыгрывается

библейское выражение «пру вз-рву»: плодитесь и размножайтесь>

~ Очень живо зампотылу представлялся мне в ермолке

~ – Передатчик, глядь, ручник! Трубка одноухая!

~ Комнатушка-развалюха. Без излишеств. Старый стол

Но, конечно, не они делают поэтическую погоду, а другие, сознательно создававшиеся именно как стихи:

~ Сиди и плачь, как Зверь из моря, маши машиаху вослед,  
Савельич почернел от горя, когда так долго сводки нет <машиах = мессия>

~ В третье сладко верится, хоть обед из двух, но ведь in vino veritas и in Vinni Пух

~ Как шестого-то сивана шкуру сняли со Ивана!

~ Жить бы одноухо, грызть с холста подсолнух, и ни сном, ни духом здесь про там не помнить

**Реализм и отказ от него.** «Москва златоглавая», при всей своей сказочности и фантастичности, кажется самой реалистической частью «Лестницы». В ней чётко просматривается

вполне реалистический сюжет: молодой преподаватель приходит на практику в школу. Имеет беседу с директором, назавтра проводит урок в дружном десятом классе, присутствует на учительском собрании, вместе с классом совершает вылазку за город... «Один день Ильи Борисовича»...

Во второй части описывается выезд героя в Германию и проживание там. Выезд и проживание охватывают целую неделю. Как справиться с таким временным интервалом? как его описать? Ну, очевидно, следует «свести задачу к предыдущей» – разбить неделю на дни. То есть – сделать текст *дневником*. А раз дневник, то – от первого лица. Отсутствие у автора жизненного германского опыта компенсируется резким повышением *литературности текста* и, так сказать, «появлением письменности», письменных документов. Ибо вторая часть – не просто *Дневник*, а Дневник из *пяти тетрадей*, условно соотнесённых с пятью книгами Пятикнижия.

Но мало этого: герой ведёт и свой особый дневник. «Когда темнеет, тянет писать, что-то записывать. Бумагомаранье помогает от мрака... Все дневники скорее – ночники... Я достал блокнот – дар аптекаря, стал отщипывать от него листочки и покрывать их знаками. Потом приоткрыл скрипнувшее окно и принялся пускать эти бумажные кораблики в дождевые реки...».

Герой способен писать в любых условиях: «Между прочим, когда извлекали вас из-под руин, вы все норовили что-то на блокнотном листке написать и в гильзу затолкать».

«И чудится мне, что достаю я из-под подушки свой Дневник и поглаживаю ему помятую спинку. Записки изгнанника, скорбные письма с понтом самому себе... Дневник свой я прячу в сапог – боюсь, что они возьмут его у меня на проверку и изгадят... Скручу же и я, завершив свой труд, свой «Дневник» в трубку... и запихну в бутылку из-под вишневого шнапса, осушенную в процессе письма, – и под кровать – памятником письменности, до лучших времен, до благодарных читателей».

А в БВР часть вторая – «Лето. Страж» – начинается с того, что лежащий на койке извлекает из сапога «тетрадь в черном клеенчатом переплете» и принимается читать: «Я, Иль, младший Страж, веду эти заметы почти полгода. Наконец, я решил объединить разрозненные клочки, наброски наспех, затрудненную скоропись, невнятные обрывки текстов...» и т.д. – и далее он (и читатель вместе с ним) прочитывает примерно 26 страниц (не тетрадных, а книжных – более вместительных) этих якобы тетрадных записей.

А в разделе шестом той же второй части «Илья снял с полки «Журнал дежурств и сторожевых наблюдений», и, конечно же, следующие несколько страниц – сплошь записи журнальные.

Кроме прямого обильного цитирования встречаются многочисленные упоминания различных текстов, как реальных (например, «Ветеринарный папирус»), так и изобретённых Юдсоном («Путь Зуз» – авторство приписано одному из персонажей «Лестницы», поэту Ялла Бо; трактат «Кабак» – авторство приписано Илье; древняя сторожевая книга «Воохра»... и т.д.).

Но опора на «памятники письменности» – это лишь одна сторона повышенной литературности текста. Другая же состоит в том, что сама жизнь Ильи выстраивается по литературным – гоголевским – образцам. Так, по прибытии в Азохенвейден ему выделяют в казарме «пятый номер под лестницей» – как Хлестакову. И в этом номере Илья ведёт дневник, как Поприщин, с фантастическими датами: «Лимонаря 98 числа», «Чи 34-го, чи 302-го – бис его знает, веселого месяца гдао». И, как Поприщин, сходит с ума. И то обстоятельство, что «НД» написан от первого лица, объясняется, помимо прочего, влиянием «Записок сумасшедшего».

Отметим, что если 34-е «чи» – гоголевское (поприщинское), то 302-е – булгаковское: «Садовая, 302-бис». Вот почему «бис его знает».

Но это Германия. А до прибытия в Германию очень заметно влияние «Вия». Так, Мавзолей и гроб с мертвецом – это, конечно, церковь и гроб с панночкой.

«Я ... основательно высморкался, вытер руку о шишковатую голову кумира, толкнул дверь и вошел.

Мягкий полумрак. Пол под ногами странно пружинил. Я пригляделся – весь пол был устлан красными китайцами. *Ходи* терпеливо и тихо лежали косичками вверх. Я стал ступать осторожней, бормоча: «Извините».

Гроб стоял посредине на небольшом возвышении».

Что за странное покрытие – «красные китайцы»? Но вот читаем у Гоголя: «Философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был устлан *красной китайкой*. В углу, под образами, на высоком столе лежало тело умершей...».

Даже сморкание Ильи заимствовал у Хомы Брута!

Две молодые женщины, монастырская сестра Лидия и таможенница Христина Кишкорез (вполне гоголевское сочетание имени и фамилии). Каждая по собственной инициативе вступает с

Ильёй в «отношения», а по окончании «отношений» превращается в ведьму: «Кубарем скатились мы с кровати, Лидия, дико взвизгнув, вылетела из комнаты...» и «Христина ... спрыгнула на ходу, ударившись о землю и обернувшись кем-то, уж кем именно – врать не буду, не имел возможности разглядеть». Что это всё значит?

А это обыгрывается тема ведьмы-панночки, ездившей верхом – «по собственной инициативе» – на Хоме Бруте.

И ещё одно новшество обнаруживается в «Нюрнбергском дневнике» – небывалая физическая сила Ильи. Она проявляется в моменты антиеврейской опасности: «У меня в локоть вдруг стало отдавать, свело пальцы. Я с трудом разжал их, но они словно сами сжались, стиснулись в кулак – и хр-ряп по подоконнику! Широкая каменная плита треснула, а отвалившийся кусок рухнул мне под ноги. Потом я зачем-то указательным пальцем ткнул в середину стола, пробил насквозь, поднял стол на пальце и задумчиво покрутил немного. Что-то окреп я здесь значительно. Слез с печи?»

Небывалая сила объясняется, возможно, особым биологическим строением Ильи: третьим глазом на затылке, «голем»-дискетой во лбу и, если верить «двум капитанам», наличием особого гена – «гекса-гена», «е-гена».

Кроме того, она каким-то таинственным образом связана опять же с литературностью, вернее – с силой, всесилием букв. Вот Илья готовится к схватке с арами: «Укатились сомнения, раздумья, двоичные заповеди. «Нет ничего, кроме вечных букв, внятно сказал голос в голове, и как будто снег пошел там, падая в черной пустоте, ясный, чистый, ледяными иголочками. – Надо только правильно сложить кубики». И Илья старательно складывал: рука – кат – топор – рука – как учили... <Окончание предшествующего слова становится началом следующего: руКА – КАт; каТ – Топор; топоР – Рука; руКА – КАк учили – И.К. > А потом Илья, иль нет уже – существо, лишь имеющее его облик, тяжело разлепило глаза, задвигало лапами, задирая морду к луне. Он больше не был Ильёй Борисовичем, бойким кафедральным выкормышем. Не стало хилого халдея Илбора. Под дождем медленно, прищуренно озираясь, осматриваясь, готовясь, топтался Топорукий. Он увидел аразов, вдохнул их тошнотворный, зловонный запах <...> Ребро ладони потеплело, стало горячим, оттачиваясь и покрываясь иззубринами, становясь как бы волнистым...».

В «МЗ» Илья носит в петле под тулупом топор – беляевский Раскольников. Но в «БВР» в этой старомодной

литературности уже нет нужды: сложи правильно мысленные кубики, и рука станет топором! Это литературность новая, глубинная...

А чтобы та же ладонь – правая – служила *юдофоном* (мобильным телефоном), даже и кубики не нужны (у некоторых Стражей ладонь может служить оружием: *лучемёт*).

И новая литературность, и физическая сила проявляются в полной мере в «БВР», но зарождаются – в «НД», и это зарождение знаменует окончательный разрыв с реализмом – остаточным реализмом – «Москвы златоглавой».

**Иудейские числа.** Отметим особую роль чисел 6, 7, 18. Ну, семёрка – традиционно число особое, и мы на нём останавливаться не будем. А вот особость шести и восемнадцати у Юдсона идут от иудейской символики, от иудаизма. Приведём примеры.

**ШЕСТЬ:**

– оказавшись в мавзолее: «Я поскорее достал из ранца фломастер и, от греха, очертил вокруг себя шестиугольник» (как Хома Брут – круг);

– «–Видите, в глубине, в туманности, небольшое такое желтоватое сгущение, пульсирующее, – нечто вроде звездочки с шестью лучами? Это и есть так называемый «гекса-ген»... он же так называемый «е-ген». Здесь, конечно, цвет – «желтоватое» – не случаен: *жёлтая звезда*;

– «Илья подул на свое тавро – шестиугольный щит, сдобренный коротким мечом»;

– «Он <Ялла Бо – *И.К.*> осенил себя гексаэдром – по-нашему, шестѳм...»;

– «Ил ясно увидел – шестью внутренними глазами – как открывается «калитка», проем миров, пространственный тоннель»;

– «Тов, давай сразу по второй, за Первую Звезду! За все шесть плавников!»

(Аллюзия на Мандельштама, но только у Мандельштама *семь* плавников:

Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,

Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда);

– «вписался в социумосферу шестым углом и думал, так будет всегда»;

– В Арфадии Илья разъезжает на шестиногой кобылице Бурьке;

– А во время мстительных вылазок в Колымоскву: «дабы народец не путался, Илья везде аккуратно рисовал свой знак – шестиугольник с ресницами – «Зрак Мрака». Предначертательная геометрия!»;

– «Он решительно сунул руку в карман меховушки, а там – шестиалтынный! Как раз чтоб Яхве подать – выпить за него крепленного и попросить, чтоб все было хорошо»

(Реально, исторически – существовал *пятиалтынный*: монета в пятнадцать копеек. Стало быть, мифический *шестиалтынный* составлял *восемнадцать* копеек).

**ВОСЕМНАДЦАТЬ:**

– «Я сидел на полу и совершал необходимые манипуляции. Восемнадцать заученных движений – и оружие в боевой готовности»;

– «... аще тщета и умножение скорби неделимы на восемнадцать, – гундел водила»;

– «Водила добродушно подталкивал»;

– Ну, плюхайся в плескательницу! И чтоб мне окунулся восемнадцать раз!»;

– Под ножку хромоногого стола «подложена толстая книжка с надписью «18-й том»;

– «Дружина, ша-агом марш! «Шмонаэсре» запевай!» <Шмонаэсрè (*иврит*) – восемнадцать. Имеется в виду молитва «Восемнадцать благословений»>;

– «Мы, служители Порядка и Правил, экипаж восемнадцать, приветствуем вас, прохожий человек»;

– «– Тридцать семь – околеть всем! Дважды по восемнадцать и один лишний!» <Имеется в виду 1937-й год>.

**Десятый В.** Пусть «МЗ» самая реалистическая часть «Лестницы», но давайте присмотримся и к её фантастической части, попытаемся фантастичность – упорядочить. Найти, если повезёт, её доминанту.

Прежде всего: когда происходит действие?

В конце второго раздела читаем: «На станции тускло горели плафоны. Илья зубами стянул правую рукавицу и показал в окошечко дрожащий мизинец с выколотым на нем проездным на нисан месяц».

А в конце раздела двенадцатого («Хорошее каноническое число», – полагает Ратмир) находим важное уточнение: «в середине нисана, в чрезвычайно холодное время, под вечер...».

Ну, достоевскую интонацию мы, оценив по достоинству, всё-таки отринем – чтоб не мешала, а вот над датировкой поразмыслим.

В «МЗ» имеются три эпизода, три «казни», явно навеянные тремя новозаветными казнями – Иисуса и двух разбойников.

Раздел 8-й: «казнь» директора. «...директор в коридоре слабой рукой стучал в грудь, пытался рвать на себе волосы и все норовил пасть на колени ... Откуда-то снова возник Евпатий, не теряя дорогого времени, ловко накинул на голову директора мешок, придвинул ногой небольшую табуреточку...».

Уже упомянутый раздел 12-й: «казнь» Бородатого. «Наверху гимназисты уже заканчивали монтировать и устанавливать раздвижной столб с перекладиной. Бородатого стали крепить к столбу, быстро и молча, причем – без единого гвоздя, как издавна ведется на Руси. Бичевать предварительно не стали. Звук этот неприятный на морозе ... обойдется...».

<...> «Мальчик-подшефный достал из походного ранца загодя заготовленный колючий венок (вот и стодился), взобрался на плечи Евпатия (опять этот Евпатий! – *И.К.*) и возложил венок Бородатому на лысую макушку».

А между этими «казнями», в разделе 11-м, совершается (*не совершается!*) «казнь» самого Ильи. Вернее, не казнь, а некий её аналог: кастрация.

В числе лиц, захвативших Илью в Лесу, упоминается «человек без одного уха» – аллюзия на евангельское «отсечение уха рабу первосвященника».

Илья бежит к телефонной будке, оставив позади подшефного мальчика и всех учеников, и *проваливается вниз* – Иисус, оставив учеников, *восходит* на гору Елеонскую и *возносит* молитвы.

А в предыдущем разделе, 10-м, что есть трапеза в «заимке» – в избушке у «старика со старухой»? Ну конечно же, Тайная вечеря!

Двенадцать десятиклассников, решивших с помощью Ильи изучать компьютер – двенадцать апостолов. Сам Илья – Иисус Христос.

Да и весь десятый В – XV – не просто дружный класс. Ведь мы пишем: «десятый В», а не «десятый V». Но почему же тогда «XV», а не «XV»? Давайте уж и здесь перейдём на великий и могучий. И получим XV, то есть: Христос воскрес.

Эта хитрая аббревиатура встречается и в «Повести временных зим», когда за Ильёй гонятся Совы: «Крики долетали издалека, как с куличек слизнутые (если кулички, то Пасха, а если Пасха, то Христос воскрес – *И.К.*), заглавные, прописные, морозно разрозненные:

- Х-В-АТАЙ!
- ЗА Х-В-ОСТ!»

Спасаясь от Сов, Илья переносится в Арфадию, и там его встречают всё те же двенадцать. «Все кричали наперебой:

- А мы ждали-ждали вас!
- Ух как ждали!
- Заждались уже!

<...>

– С пришествием, Илья Борисович, – негромко сказал Ратмир».

Вот и произнесено это слово: *пришествие*.

Второе. Первым было – пришествие в гимназию, в класс.

**Продолжение легенды.** Тема пришествия положена в основу пьесы Юдсона «Ревизор-сад». Юдсон, кажется, из литераторов первый (и пока единственный), кто заметил сходство сюжетов: религиозного пришествия Христа в Евангелиях и – светского пришествия ревизора (или подменяющего его Хлестакова) в пьесе Гоголя. В «Ревизоре-саде» – в его начале – замечательным образом смешано время Гоголя со временем Евангелий, религиозный аспект пришествия – со светским, христианство – с иудаизмом, русское – с еврейским. И это смешение проведено более явно, более сатирично (в обе стороны), более вызывающе, чем в «Лестнице».

К сожалению, воплотить в полной мере этот глубокий замысел Юдсон не смог или не захотел. Помешало словечко *сад* в названии. Ибо оно означало: садизм. С появлением женских персонажей подул ядовитый ветер садо-мазохизма, и всё разьел, развалил... Хлестаков, первоначально соединявший черты наивно-благородного Дон-Кихота с чертами Христа, становится хитровато-циничным... да и всё тускнеет. И это при том, что замечательные словесные юдсоновские игры продолжаются! Но для спасения замысла – этого мало.

Жаль.

**Слон сказки и мифа.** Но вернёмся к «Москве златоглавой». Её фантастичность не исчерпывается темой пришествия Иисуса. Вот, скажем, «заимка – бревенчатая избушка с узорными ставнями, резными воротами, плоской крышей с загнутыми кверху краями, на которой лежал деревянный раскрашенный крылатый чешуйчатый зверь с усами, вьющимися кольцами. Пряничный домик! На кольях изгороди – скукоженные от мороза, припорошенные черепа».

Пряничный-то он пряничный, да уж больно похож на избушку Бабы-Яги. Причём из двух обитателей домика – капитана

Филемона и бабушки Пу – на Ягу похож как раз дедушка Филемон, ибо одна его нога – деревянная, с *косяными* инкрустациями.

Ну, а можно ещё и так посмотреть, что дедушка Филемон и бабушка Пу – это гостеприимные Филемон и Бавкида, радушно принявшие Илью и Его учеников.

Различные слои и уровни фантастичности искрятся, играют, просвечивают друг сквозь друга.

**Пасомый свыше.** «Лестница на шкаф» построена так, что Илья во всех эпизодах участвует – или, по крайней мере, присутствует; всё, что на страницах трилогии произносится, – он слышит. Его смерть означала бы конец текста. А ведь действие в «Лестнице» временами очень лихо закручено, жизнь главного героя не раз подвергается опасности.

Поэтому неудивительно, что обнаруживаются некие силы, берущие Илью под покровительство и защиту.

Это, прежде всего, «подшефный мальчик». Обладающий, между прочим, недетской (а может, и нечеловеческой) силой: «При возвращении обратно на тропу Илью чуть было не затянуло в снежный омут – хорошо мальчик-поводырь схватил его за хлястик и с силой чудодейственной (! – *И.К.*) выдернул из чавкающей сугробной воронки». И ещё раз: «... он поскользнулся на банановой кожуре, взмахнул руками и чуть было не грохнулся на шейку бедра ..., но, к счастью, был подхвачен под локоть маленькой, но крепкой рукой. Это был все тот же мальчик-снежачок – явный подшефный и тайный опекун, сторож брату ...».

Это, во-вторых, недюжинная физическая сила Ильи, начавшая проявляться, как мы уже отмечали, в «НД» – то есть, там, где подшефного мальчика нет рядом. Этой силой он, надо полагать, наделяется свыше.

Это, в-третьих, прямое вмешательство высших сил в ответ на молитву. ««О Ты, Слово Из Четырех Букв, которое мы чтим! – мысленно воззвал привязанный Илья ... Спаси, а главное – сохрани!»

И вы знаете – было услышано».

Это в «МЗ», но подобное есть и в «БВР»: «Машина молчала, не заводилась. Илья откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и дважды прочитал про себя: «Слышь, Ты – Тот, кто вращает колесо...» Бывало, выручало в трудные минуты, он знал. И ныне – мотор тотчас чихнул, фыркнул и замолотил понемногу».

И, наконец, в-четвёртых, вмешательство высших сил возможно и по их собственной инициативе. Так, в «БВР», в Саду, во время пьянки Стражей в Будке у Гедеона, в крыше Будки возникает щель, и в неё смотрит огромный внимательный глаз.

Это означает, что Гедеона надо принести в жертву (видимо, потому, что он цепляется к Илье – Илью Тишайшему, оскорбляет его).

**Созерцатель.** Но и сам Илья ведёт себя очень осторожно, по возможности избегая осложнений, столкновений и т.д. Он, конечно, может, внезапно выхватив топор, уложить двух «коней» из трёх – и тем спастись (с. 20-21); может, «гремя топором и мечом, сверкая сталью, издавая грозный кровный рев: «А-зе сто-зе!» ... поучаствовать в благородно-освободительном безобразии» (с. 60); может свыше часа драться врукопашную с арами – и порубить всех (с. 241-242); может вцепиться в глотку оскорбившему его Гедеону (с. 293); может – один или вместе с Савельичем – совершать *«веселые прогулки»*: мстительно-разбойные вылазки из Арфадии в Колымоскву (стр. 470-474).

Да, всё это он может. Но всё-таки натура у него – созерцательная, и он, вероятно, предпочёл бы ничего этого не делать и не уметь. Вот (с. 323) Стражи, среди которых Иль, ведут бой с арами: «Иль смотрел, разинув рот. «Я наблюдатель. Я всегда (как правило) всего только наблюдатель. На ель незримо взгромоздись, как сказывал Савельич. Не бегу (от опасности – *И.К.*), но и не рублю. Голова отдельная, наблюдающая. Что, глядь, на блюде поднесёт судьба». В этом бою Иль не сделал ни одного выстрела, не нанёс ни одного удара...

В первой главе «Повести временных зим» Илья опять-таки умудряется смотреть на себя со стороны, при этом убегая от преследователей: «...хитро плутая в сугробах, рутинно путая следы, то ныряя, то разгоряченно подпрыгивая, чуть ли не делая «свечку» – *а мозг при этом лежал себе вкрутую в костяном ларце и с холодным интересом наблюдал за происходящим*, – Илья грустно и длинно вспоминал дела последних дней, изымал из ума. Началось все – нарушилось – со школы...».

Далее следует это «грустное и длинное» воспоминание. Оно занимает всю «Главу вторую» ... и третью! и четвёртую! и пятую! и шестую! И на протяжении всех этих глав Илья бежит – и думает. Думая – бежит. И ничего, кроме его мыслей о прошлом, эти главы не содержат.

Но и не в столь драматичных ситуациях – не в бою и ни от кого не убегая – Илья то и дело «выпадает из времени», присутствуя – отсутствует. Так, при допросе «двумя капитанами», Теллером и Теллером 2-м, говорят только они, а Илья молчит: «Илья сидел посередь на пыточном троне, а капитаны прохаживались кругом да около, как бы беседуя, эдакие

перипатетики, тары-бары – вроде бы и перекрестный допрос ... но вот ответов от него не ждали...».

И во время пьянки в Будке Гедеона Илья формально присутствует, и даже немного пьёт, но в разговоре не участвует – почему Гедеон и напускается на него.

Почти ничего не говорит Илья на встрече с семьёй мудрецами, зато они говорят очень много.

Интересно, что молчание не идёт ему во вред, все эти допросы и встречи заканчиваются в его пользу – или, по меньшей мере, не во вред. Видимо, высшие силы контролируют и направляют ход допросов и встреч.

Да, Илья молчит, ведь недаром его прозвища – *Краткий* (Люди краткий) и *Тишайший* (Иль Тишайший). И недаром его имя сокращается: Илья Борисович – Илья – Иль – Ил – И. «А я стерт. Имя мое по букве стирали, глинянно кроша отламывали, трубно проглатывали, оттирали от Мудрости – и осталось просто И. Безродный допотопный Пощипай». Налицо явная тенденция: перестать быть «действующим лицом», быть только присутствующим *созерцателем*.

Но в таком случае что же означают слова Д.Быкова в Послесловии: «еврея своего Юдсон вполне сознательно сделал трусливым конформистом, омерзительным типом, вечно трясущимся, на все согласным и ничего другого, в общем, не заслуживающим...»?

Да, пожалуй, ничего не означают. Они – о каком-то другом «еврее».

**Взрывы слов и шаги сюжета.** Язык и его возможности, высвобождение скрытой, «ядерной», энергии слов, использование этой энергии в мирных-немирных-всемирных-надмирных целях – вот подлинное содержание «Лестницы». Рассмотрим примеры высвобождения словесной энергии.

В «МЗ» описывается освобождение Ильи из скопческого схрона: «Едва они выбрались на поверхность, как Ратмир что-то извлек из-за пазухи, произвел быстрые манипуляции, швырнул эту штуковину вниз в бункер и задвинул ногой люк. После чего оттащил Илью в сторону и повалился с ним лицом в снег, закрывая голову руками. Грохот потряс лес, сугробы вздрогнули и осыпались, крышку схрона сорвало и отшвырнуло через ели, язык пламени взметнулся к небу.

<...>

Схрон горел, трещал, что-то там в глубинах лопалось, летели искры, сыпалась сажа».

Что же там взорвалось? Граната, что ли, противотанковая?

« – Разрыв-траву бросил, целый пучок наверное, – объяснил подшефный мальчик, неслышно возникший подле».

Самое большее, что могла сделать традиционная разрыв-травы славянских поверий – разнести на части замок, открыть железную дверь. Юдсон берёт ограниченную взрывную способность разрыв-травы, к тому же практически забытую, воскрешает её, многократно усиливает – и пускает в ход в совершенно иной, «военной» ситуации. Проще говоря, он высвобождает взрывную энергию слова *разрыв*.

Ещё один взрывной пример: в Новом Завете есть выражение «звезда полынь». Красивый образ. Но Юдсон хочет его сделать ещё более красивым. К слову *полынь* он справа прицепляет букву – получается *полынья*. Звезда-полынья. Это с одной стороны. А с другой – бросание снежков. Снежки, попадая в цель, «взрываются».

И вот описывается «сеча велика» на льду реки, Ледовое побоище: «Илья послушно доставал из тяжелого мешка снежки – твердые, смерзшиеся, чем-то начиненные – и подносил мальчику, потом пополз куда сказали, притащил, волоча за собой, еще один ящик, а мальчик все кидал и кидал, заледенев лицом, как тот заколдованный, в которого попали осколки (Кай – *И.К.*). Снежки холодным беззвучным пламенем разрывались на льду, *и там вспыхивала звезда-полынья*, лед под ногами «коней» вспучивался, проламывался, увлекая в темную трепещущую выплескивающуюся глубину».

Итак, повторяем, в «Лестнице» исследуются скрытые взрывные, ядерные возможности языка. Быть может, идея тепловой бомбы, долженствующей спасти Колымоскву от окончательного замерзания, наведена – бессознательно – взрывными экспериментами с русским языком.

**Холода.** «Илья проснулся от холода». Так начинается «Лестница». Он ещё не раз проснётся от разных причин: от шума соседей, от света фонариком в лицо, от голода, от того, что видел сон ... но первая фраза определяет температурный режим Беляево ... и «пустырей Замоскворечья» ... и всей Москвы златоглавой, которой суждено стать Колымосквой ... и никакая Свято-Беляевская Котельная не спасёт Русь Великую, потому что этот холод не какойнибудь сезонный, преходящий, а глубинный, сущностный ... если угодно – метафизический. Его наслал Константин Леонтьев (чьё имя в «Лестнице» отсутствует): «Надо *подморозить* хоть немного Россию, чтоб она не "гнила"».

Язык обитателей Руси великой – *льдынь*. Холод, метель проникли в их речь, и они говорят:

– Отвьюживать не хочет? («отстёгивать», делиться доходами);

– Метелить пора, лед ему в рот!

– Ни льда себе!

– Песца за пазуху!

«По ледяным пустырям Замоскворечья, среди черных пней сгнивших световых опор, среди всего выломанного, выбитого, загаженного метались «команды» подростков всех возрастов – с кистенями и железными палицами, и на всех – бойцовые коньки, страшные сверкающие лезвия – одним ударом ноги, говорят, путника на спор перерубают. «Ночные кони». Проходу от них никому не было, пощады – никакой, и спасались только пробираясь глубокими сугробами».

Вот Илья похищен в Лесу какими-то странными людьми, и размышляет: «Вопрос: кто же из множества причудливых разновидностей лесовиков его захватил и тащит неведомо куда, в чьи конкретно лапы он попал? <...> Разноверы дробились».

Далее называются некоторые их разновидности: «раскольники», «иконоборцы», «самосвяты», «расстрига Радонеж-солнцевский, прибывались к нему всякие добрые люди – беглые отлученные да потерявшие гармонию, да лишённые сана». Называются и мирные «единцы, утверждавшие, что Книга – она одна и есть, остальные – изводы. И надо плясать вокруг, и чтить, и прокалывать Ея».

Захватили же Илью – скопцы. И все эти разноверы существуют и действуют одновременно с «ночными конями» и с Армией Спасения, с лесными Воительницами во главе с Василисой-красой – и с подземными «Сиротами Льда»...

Это леонтьевский холод заморозил историческое время, и оно перестало двигаться. Он законсервировал беды России, её свары и междоусобицы, и они теперь существуют повсеместно, одновременно и неизбежно.

(А в «БВР» Колымоскве угрожает новое обледенение, абсолютное вымерзание, убивающее всякую жизнь – и Илью отправляют с тайной миссией в страну пархов: за спасительной тепловой бомбой).

**Виды фантастики.** В «Лестнице» существуют по меньшей мере *два* вида фантастики. Когда речь идёт о «Сиротах льда», «ночных конях» и прочих сектах и шайках Москвы-Колымосквы, то такую фантастику можно назвать исторической. Сюда же относится история Изхода-52 и основания БВР.

Но есть и фантастика «научная». Сюда относятся: существование счастливой страны Арфадии; ведущая в неё

«калитка»; губы-ворота в Сад; человеческая ладонь, могущая быть топором, лучементом, юдофоном; говорящие коврик и продающий напитки шкаф; не говорящий, но живой, обладающий характером компьютер-изменник; способность левитировать; бомба-разрыв-трава и т.д.

**Упрёки.** «Лестница» – текст художественно неровный, и есть в нём слои, расположенные ниже уровня юдсоновского таланта. Так, речь «авторитетного араза» (с.304 – 306) – слабый текст, и обилие восклицательных знаков не делает его сильнее. Да и вся тема аразов разработана слабо и фальшиво, это косвенно признаёт и сам Юдсон: «Здесь, в Саду, наедине с собой, Иль должен был сознаться, что знания его об аразах, увы, по-прежнему куцы и поверхностны, основаны на рассказах и взглядах издаля – «вид сверху»».

Есть в «Лестнице» вещи, которых мы не можем принять по другим причинам. Например, чрезмерное применение ненормативной лексики и, так сказать, ненормативных сцен. Например, бунт «Уходящих Домой» – эпизод плохо мотивированный и откровенно слабый, пожалуй, самый слабый во всей «Лестнице». Но этого мало: он содержит яд, от которого погиб «Ревизор-сад» - яд секса и мазохизма. Не отсюда ли слабость эпизода?

Юдсону следует задуматься над зависимостью между ненормативной лексикой и слишком откровенными сценами, с одной стороны, и художественным уровнем текста – с другой.

**Нужны комментарии.** Читать «Лестницу» нелегко. Вязкий, густой текст. На каждом шагу скрытые цитаты, и никогда не знаешь: вот те несколько слов, что сейчас прочёл – это цитата или просто так? Есть в них какой-то скрытый смысл? Встречается много ивритских слов, записанных русскими буквами – как правило, без объяснений. Много новояза, о который спотыкается глаз: *ковчегники, корчманьонцы*. Читателю то и дело незаметно подсовываются загадки – так, на с.42 подшефный мальчик разыскивает под сугробами снежных червей-зимничков и складывает их «в тут же найденную ржавую консервную банку с обрывком этикетки «...сайРа с ею»».

Ну-ка, читатель, попробуйте восстановить первоначальную надпись!

Но даже если никаких загадок нет, многие места нуждаются в комментариях. Вот, скажем, первые абзацы «Москвы златоглавой». Илья и его соседи: Рабиндранат и Юмжагин. Согласно Льву Гумилёву, индусы и монголы суть арийцы. Таким

образом, получается, что семит живёт в окружении арийцев – нелишнее замечание.

Мы считаем, что следующие переиздания «Лестницы» должны сопровождаться обстоятельными комментариями, по типу комментариев Эдуарда Власова к «Москве – Петушкам» (изд-во «Вагриус», 2000) или Сергея Хоружего к «Улиссу» («Кристалл», 2001).

Такие комментарии, помимо выполнения своей основной – разъясняющей – функции, ещё и продемонстрируют, что «Лестница» возникла не на пустом месте, что она множеством нитей связана с русской и мировой литературой. И, возможно, помогут определить место «Лестницы» в ряду творений национальных литератур, и её автора – в ряду писателей.

На этот счёт попробуем высказаться уже сейчас. Нам кажется, что в русской литературе нет явлений, близких «Лестнице» (разве что, в какой-то степени, по обилию скрытых цитат – «Москва – Петушки»). Но по фантастичности поступков и ситуаций, по интенсивности языковых экспериментов – сходные явления найдутся, скорее всего, в западных литературах. Наиболее перспективные, на наш взгляд, авторы: Льюис Кэррол и, в меньшей степени, Салман Рушди – в английской литературе. Во французской – Борис Виан и Жорж Перек.

**«У вас нет другой Руси?».** «Юдсон написал одну из главных книг нашего времени» – за такие слова Дмитрию Быкову многое простится. Но один вопрос хотелось бы прояснить: Быков утверждает, что Юдсон ненавидит Россию.

Что тут сказать? Начнём с того, что книга Юдсона – сказка. Таков её заявленный жанр. Сказка, фантазия, сатира... Можно ли утверждать, прочтя «Историю одного города», что Щедрин ненавидит Россию? Можно, отчего же. В своё время А.Суворин примерно так и объявил. Надо ли повторять его ошибку?

Ненавидит ли Юдсон 10-й В класс? А завуча, Василису Игоревну? А Люду Горюнову? А Сирот Льда – битых и резаных откольников и разуверов?

Быков оговаривает, что ненависть Юдсона не распространяется на русский язык – им, Юдсон, мол, блистательно владеет. Подразумевается, что «чем блистательно владеешь, то не ненавидишь» – такой ход мысли логически небезупречен, но мы готовы его принять.

Но тогда из-под удара юдсоновской «ненависти» следует вывести и русскую литературу: Юдсон дышит ею, смотрит её

глазами, её образы и сюжеты – это те лекала, по которым он вычерчивает контуры своего художественного мира.

Есть писатели, целыми страницами описывающие красоты природы – Юдсон не из их числа. Однако же, читая о походе дружного класса в Лес, нельзя не заметить, что Юдсон и его герой чувствуют и ценят красоту русской зимы.

Да много ещё в этом духе можно сказать в защиту Юдсона. А ненависть, если она есть, нацелена на те явления, сатирически преувеличенные, которые её заслуживают.

Приведём лучше некоторые мысли главного героя «Лестницы» – высказывания прямые и, так сказать, идеологически наполненные:

«Илье хотелось снять шапку и треснуться о стенку вагона (от пассажирских разговоров жидоедской направленности – *И.К.*). Когда же это все кончится, шипы в боку, все эти разыскания о начале конца Руси, упреки во всем, окромя погоды, когда же я перестану, колючка в глаз, все это видеть, слышать, обонять, когда же, а?..

У вас нет другой Руси? Я хочу обязательно Русь, но без этого всего. Она пьёт и бьёт – значит, любит».

И в другом месте: «Я – один, яхвезаветный, последний из изь, размазня-шлимазл, и моя тень так крепко примерзла к этой земле, что я никак не могу ее оторвать».

И ещё: «Хучь с учета меня сняли, на крючке я у Руси всеми мыслями и снами. Яхве, Осподи, спаси...».

Ну, кажется, хватит.

**Взошла звезда.** У Беляева – звезда КЭЦ, у Юдсона – звезда Кац. И ещё – запятая Юд: «вечна и нестираема вспорхнувшая запятая Юд».

Да, взошла-вспорхнула звезда-запятая Юд и смотрит сверху, восемнадцатью лучами смотрит на Беляево и всю Колымоскву, на хмурый Азохенвейден – и солнечную страну Из, на счастливую Арфадию, на дружный 10-й В ... смотрит она и на вас, дорогой читатель. Она шевелит лучами, она что-то хочет сказать вам, именно вам.

Звезда Юд будет говорить с вами – если вы захотите.



# Борис Сикар

## Золотой чёрт



ело шло к жаркому, душному вечеру. Бендер со своей свитой шагал по Преображенской в направлении Дерibasовской. По левую руку от Остапа шёл Ильф. По правую – Петров. Позади тройки тащились Паниковский, Балаганов и Воробьянинов. Антилопа Гну ползла за группой по мостовой, мешая трамваям. На противоположной стороне улицы, параллельно с эскортом Бендера робко трусил отец Фёдор.

На квартале, между Большой Арнаутской и Малой пульс крупной коммерции бился сильнее, чем во всём Черноморске. На углу Малой Арнаутской сидела Баба Дуся с корзинкой семечек. А на углу Большой Арнаутской, известный всему городу Сёма торговал газированной водой.

От великого до смешного – один шаг. Доходы Бабы Дуси сравнительно с Сёмиными были смехотворны. Но каждый черноморский прохожий, идя мимо семечек, прикидывал, сколько стаканчиков в корзинке? И, помножив на цену, сравнивал семечные доходы со своей зарплатой. Результаты подсчётов раздражали. Ничего не делавшая ни руками, ни ногами, ни, тем более, головой, Баба Дуся зарабатывала вдвое больше.

Подсчёт газировки проданной Сёмой мог свести с ума любого жителя Черноморска. У Сёмы всегда стояла очередь. Он всегда недоливал и воду, и сироп. И одинокие пузырьки истощённого газа изредка всплывали со дна стакана.

Изнывавшая от жары и зависти к чужим доходам очередь коротала время за умножением стаканов на разбавленный сироп. Без всякой древней Греции и Рембрандта красный сироп на глазах публики превращался в золотой дождь.

Размахивая руками, Остап кричал на Ильфа с Петровым, – Посмотрите, с кем вы меня связали?

Остап повернулся и ткнул пальцем в идущего сзади Воробьянинова. – Этот идиот меня чуть не зарезал!

Идиот поперхнулся и голосом заржавленных дверных петель произнёс, – Я машинально.

Остап обрадовался, – Я же говорил, что он идиот. Даже не помнит своего текста;

Паниковский тоже обрадовался и заметил Ипполиту Матвеевичу, – Это текст Балаганова.

Ильф с Петровым наконец нашли, что ответить Бендеру, – Комбинатор, вы сами подобрали Кису.

- Я не пять копеек, чтоб меня подбирать, – проскрипел Воробьянинов.

- Ах да, – извинился Бендер. – Вы стоите двадцать копеек! Любой дурак нагнётся и поднимет.

Остап повернулся к авторам, – Ну хорошо, я подобрал Кису. Но кого вы мне подсунули в качестве соперника?

И Остап показал пальцем на семяющего на противоположной стороне улицы отца Фёдора. – Я понимаю – Корейко. Было с кем повозиться. А этот болван позволил себя надуть как воздушный шарик.

- Вы, – он снова обратился к авторам, – Вы хоть понимаете, что для комбинатора моего калибра – унижение иметь такого конкурента? Просто Вам пришло в голову сделать из меня чёрта. И столкнуть с церковью. Признайтесь! И про ксендзов тоже!

Ильф с Петровым слегка завозражали, – Ну почему чёрт, Бендер? Дьявол – звучит солиднее. И приличней.

- Ага! – взорвался Остап. Думаете, я не понял, как вы решили с моей помощью обойти цензуру? Вместо атеистических романов подсунули религиозные? И вместо Бога подсунули Дьявола. Но раз есть Дьявол – должен быть и Бог!

Мы намекнули на чёрта, – сказал Петров.

- Намекнули? – ядовито промолвил Остап. – А двенадцать апостолов – стульев? И каждого я испытал на брильянт веры? Не много брильянтов я в них наковырял. Были лишь в одном.

- Не вы наковыряли, – мстительным тоном заметил Воробьянинов, – А честный человек.

- Ну да. Из-за такого болвана, как вы, этот апостол от меня ушёл. Он бы мне свою душу даром отдал, – промолвил Остап.

По ходу действия Бендер поддержал местную коммерцию, купив всем семечек. Отец Фёдор откровенно облизнулся.

Было видно, что вся группа чего-то с нетерпением ждёт от Остапа.

Остап продолжал, – Могли бы пооткровеннее. Почему не тринадцать стульев? Чёртова дюжина?

Ильф с Петровым, – Мы об этом думали. Но намёк получился бы слишком прозрачным.

Бендер, – И так – пришествие Чёрта? Правда, Шура, я чертовски умён и изобретателен?

Шура, – Вы же знаете, Командор – верю в вас, как в Бога!

Паниковский, – В чёрта, Шура, в чёрта.

Остап, – И в компанию мне, – обратился он к авторам, – Вы определили панику, балаган и рогатых козлевичей?

Козлевич услышал последние слова и обиженно надулся.

Ильф подтвердил, – Короля делает свита.

Ипполит Матвеевич тоже успел обидеться и заметил Бендеру, – А почему про меня забыли? Я тоже состоял при вашей светлейшей особе?

Паниковский поправил Воробьянинова, – Темнейшей особе, Киса. Очень тёмной. Ни мы, ни читатель с биографией Бендера не знакомы.

- Почему темнейшей? – возмутился Балаганов, – Комбинатор даже думал, что может попасть в рай!

- Какой такой рай? – изумился Бендер.

- Рио-де-Жанейро, – съязвил Паниковский. – Но туда его комбинировать не пустили. Теперь понятно – почему.

Бендер не стал спорить. И загадочно улыбнулся.

Когда эскорт Остапа поравнялся с находившимся посреди квартала трикотажным цехом, из дверей высыпали распаренные как картофель юные трикотажницы. Мало прикрытые сверху лёгкой одеждой.

Весь кортеж Остапа алчно вперился в девушек. Остап решил пошутить, – Каждой мужской Божьей твари, – он иронически оглядел свиту, – По паре девочек. По причине жары – без трикотажа.

Группа с надеждой посмотрела на комбинатора. Гадая о доле шутки. И уповая на правду.

Девушки тоже заинтересованно взглянули на Остапа. Но он пронёсся мимо.

Эскорт подошёл к Сёминой газировке. Широким жестом Остап отодвинул очередь и швырнул на мокрый прилавок десятку, – Всем, на все. И с двойным сиропом.

Отец Фёдор не выдержал, пересёк улицу и робко приблизился к группе.

- Ему тоже с двойным елеем, – сказал Остап. Угощаю всю очередь.

Привыкшая к Черноморским наглостям очередь, мгновенно сменила трусливый гнев на сиропные улыбки. Слегка опешивший Сёма по инерции стал наливать одинарный вместо двойного и противно ухмыляться. Остап поплыл в десятирублёвой

славе.— Значит, обкрадываем советское население? — обратился он к Сёме. Бумажные купюры плывут из водопровода? Недоливаем социалистическую собственность?

Сёма с перепугу начал лить больше двойного. Но Остап не успокаивался, — Строительство плавучей дачи в бассейне с газированными рыбками! Пять лишних золотых зубов в рот каждому члену семьи!

Одугловатое Сёмино лицо пошло фиолетовыми пятнами. Напивавшаяся газировкой впрок очередь заворожённо слушала Остапа.

Бендер решил погулять на весь червонец, — Ковры на потолке. Хрустальный унитаз. Председатель райисполкома на содержании.

Публика в страхе попятилась. Ощувив сценический вакуум, Остап успокоился и стал переходить Большую Арнаутскую. Свита следовала за ним как привязанная.

Вдруг Остап стал оглядываться на ходу и тихо сказал авторам, — За вами хвост.

Ильф с Петровым занервничали и не оборачиваясь спросили у Бендера, — Кто это за нами?

- Не кто, а что, — сказал Бендер. — С вас хвост причитается. Что ж вы оставили меня без хвоста? Рога и копыта вы мне приделали. А где мой длинный хвост?

- Да, — вмешался Балаганов. — Это несправедливо.

- Нарушение церковной традиции, — ехидно заметил присоединившийся к группе отец Фёдор.

- Рога, копыта и хвост цензура б не пропустила. Хвост непременно бы прищемили, — сострил Петров. — Слишком всё стало бы ясно.

- А с Золотым Тельцом не ясно? — взвился Остап. — Это же символ дьявола?

- Ну и что? — мечтательно сказал Паниковский. — Телёнок приятный. Он же золотой. Тяжёлый. Правда, Шура?

- Убью, — прошипел Балаганов...

- А ещё телец — символ жадности и наживы, — довольным голосом сказал Ильф. — На этой телятине нам удалось провести баранов из цензуры.

- Не знаю, зачем вам хвост, командор? — с улыбкой спросил Петров. — С вас и так искры сыплются.

Группа подошла к углу Базарной улицы. По диагонали перекрёстка, над магазином висела вывеска «Фрукты-овощи». Овощей в магазине было три. Капуста. Мелкая картошка. И

крупные, как баклажаны, солёные огурцы. Из фруктов была только маленькая горка червивых яблок.

Забыв про хвост, Остап простёр руку к магазину и завопил, – Артишоки, патиссоны, спаржа, брюссельская капуста! Не больше шести кочанов в одни руки. Белые грибы. И красные с белыми пятнами. Хитрые лисички и жирные маслята. Граждане, становитесь в очередь!

Вокруг Бендера действительно стала собираться толпа.

- Бананы прямо с дерева. Спешите кушать. Производство этого фрукта на местных заводах ещё не налажено. Ананасы и манго! Фиги бесплатно! Мадам, хотите крупную фигу, – обратился Остап к даме с авоськой. Дама обиделась, отвернулась, но не ушла.

Остап буйствовал, – Запишите рецепты повседневного меню: куропатка с трюфелями. Рябчик под апельсиновым соусом. Заливные акульки плавники с гарниром из сладкого картофеля, – толпа сглотнула слюну. – Папайя в шоколаде, – продолжал Остап. И стал пересекать Базарную улицу. Потянувшаяся было за ним толпа любопытных отстала.

Остап вернулся к прежнему разговору, – Можете делать из меня чёрта, но не делайте рогоносца!

- Вы сами говорили, – издевательским тоном сказал Паниковский. – Рога являются придатками черепа.

Пусть бы росли, – ответил Бендер. – Но вы же приделали мне олени, – обратился он к авторам.

- Только повесили над вашим рабочим столом, – возразил Петров.

- Ну да. Прямо над моей головой, – сказал Бендер. – Над чем тогда, по-вашему, смеялся пьяный Паниковский?

Ответа не последовало. Все молча улыбались.

Группа подошла к Успенскому собору. Беленые стены собора взлетали к небу. Будто соединяя его с верующими.

- Остап Ибрагимович, – примирительно сказал Ильф, – Вы прекрасно сыграли чёрта. Но был ещё один главный участник в нашем спектакле.

- Кто ж ещё? – обиделся Бендер.

- Вы сами сказали, – напомнил Петров, – Раз есть дьявол, должен быть и Бог.

- Где ж у вас в книжках Бог? – полюбопытствовал Остап. – Почему я с ним не встретился? Мелких чертей было недостаточно. Но ни одного, даже плюгового Божка.

- Отчего же, – возразил Ильф, – Бог постоянно присутствовал. Участвовал во всех ваших делах. Только незримо.

- Зачем вы его прятали? – спросил Бендер, – Из страха передо мной?

- Опасаясь вашего страха перед ним, – возразил Петров. – Мы не были уверены, что с вами произойдёт, узри вы его истинный лик.

Остап скорчил ироническую гримасу, – Прямо какая-то Горгона Медуза, а не Бог!

- Этот Бог, кстати, писал вам послания, – сказал Ильф. – Но вы не придали им значения.

- Какие? – удивился Бендер.

- Можно напомнить, – сказал Петров: «Мясо вредно», «Ноги», «Штанов нет», «Пиво только членам профсоюза»...

- И всё? – с облегчением выдохнул Остап, – очень даже весёлый Бог, – и добавил с насмешкой, – Я уж подумал, было послание: «Не подходи – убью!»

- Правильно подумали! – резко сказал Ильф. – Убил бы непременно, столкнись вы с ним близко. Да вы знаете его хоругви.

- Что за хоругви? – удивился Остап.

- Кровавые, – произнёс Ильф.

Тут вмешался Петров, – Наши романы всё-таки атеистические. Мы не поверили в нового коммунистического Бога. Мы ждали, что вы покажете – насколько он не всемогущ. Что его легко обведёт вокруг пальца такой чёрт, как вы. И вы с ролью справились.

Остап растерялся, – Так чего ж вам ещё от меня нужно? Чего вы все ждёте от меня сейчас? Я же вижу ваше нетерпение?

- Этот Бог ещё жив, – оглядываясь, сказал Ильф.

- Мы ждём, – взволнованно, наперебой заговорила вся группа, – что вы согласитесь на новый роман.



## Об авторах

**Евгений Беркович** – главный редактор журналов «Заметки по еврейской истории» и «Семь искусств», издатель альманаха «Еврейская Старина».

**Илья Гинзбург** – профессор НГУ, д.ф-м.н., главный научный сотрудник института математики СО РАН.

**Ирина Чайковская** – прозаик, критик, драматург, преподаватель-славист.

**Ян Пробштейн** – поэт, переводчик, редактор.

**Николай Кононов** – известный русский поэт, прозаик, арткритик, член русского ПЕН клуба, союза писателей СПб.

**Светлана Надлер** – член Союза композиторов РФ, кандидат искусствоведения.

**Михаил Носоновский** – специалист по теоретической и прикладной механике, автор научно-популярных статей по еврейской истории и ивриту. Живет в США.

**Илья Липкович** – специалист по статистическим методам анализа.

**Игорь Юдович** – инженер-механик, турбинист, экскурсовод, автор статей для русской прессы.

**Борис Тененбаум** – автор исторических очерков и книг.

**Галина Подольская**, академик Израильской независимой академии развития наук, доктор филологических наук, искусствовед

**Михаил Юдсон** – писатель, литературный критик.

**Александр Туманов** – певец, основатель и художественный руководитель вокального ансамбля *Кантилена*

**Павел Нерлер** – историк, географ, литератор

**Ася Лапидус** – математик, литератор.

**Александр Половец** – известный прозаик и публицист, член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра.

**Лев Харитон** – журналист, переводчик, тренер по шахматам

**Дмитрий Бобышев** – поэт, эссеист, переводчик, профессор Иллинойского университета в г. Шампейн-Урбана, США.

**Юлия Драбкина** – филолог, пишет стихи.

**Мишель Деза** – математик, поэт.

**Бахыт Кенжеев** – поэт, автор многочисленных стихотворных и прозаических книг.

**Моисей Борода** – композитор, писатель, поэт.

**Александр Матлин** – инженер-строитель, печатается в периодической прессе.

**Сильвия Плат** – американская поэтесса и писательница, считающаяся одной из основательниц жанра «исповедальной поэзии» в англоязычной литературе.

**Александр Левинтов** – профессиональный географ, литератор.

**Мина Полянская** – член немецкого Пушкинского общества и немецкого отделения международного ПЕН клуба.

**Яков Корман** – исследователь советской авторской песни.

**Андрей Алексеев** – социолог, кандидат философских наук, автор книги о «драматической социологии».

**Семен Резник** – писатель, историк, журналист.

**Илья Корман** – литератор.

**Борис Сикар** – предприниматель, публицист.

**Для заметок**

Журнал «Семь искусств», февраль-март 2014  
Главный редактор Евгений Беркович

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная верстка и техническое редактирование  
Изабеллы Побединой  
516 стр. 23,6 а. л.



Семь искусств  
Ганновер 2014